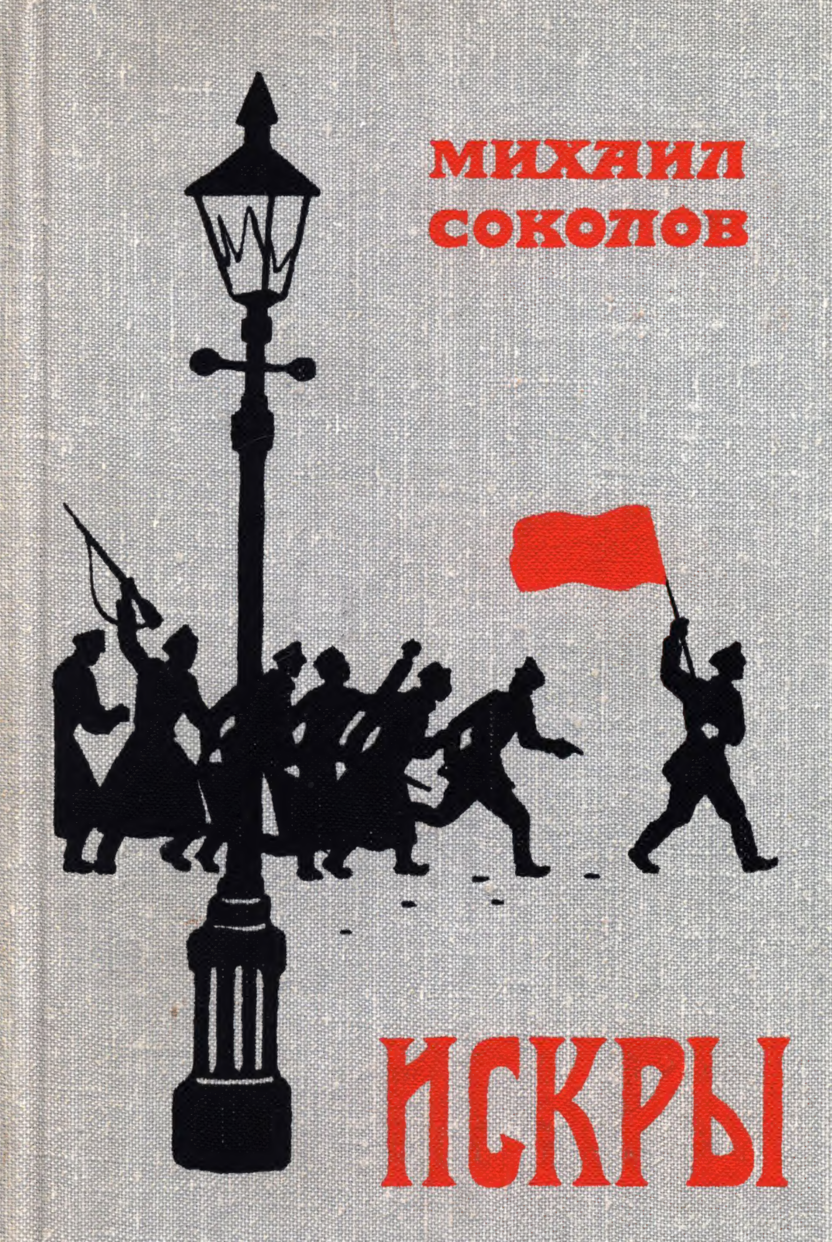
МИХАИЛ СОКОЛОВ



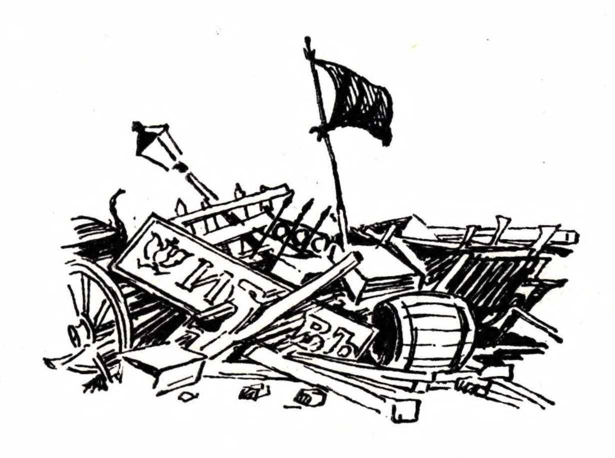
ИСКРЫ

МИХАИЛ СОКОЛОВ

ИСКРЫ

РОМАН

Книга третья



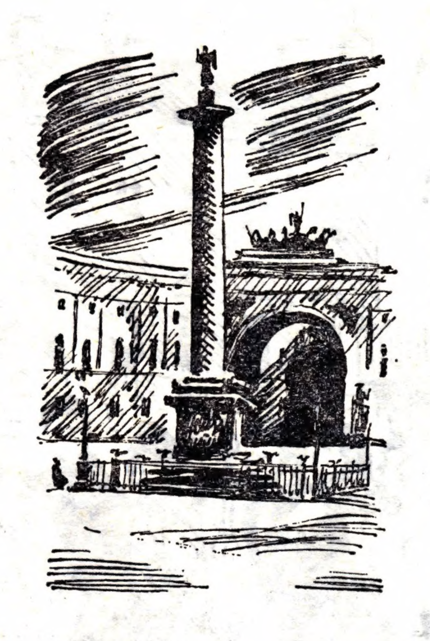


МОСКВА
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
1978

Р2
С59

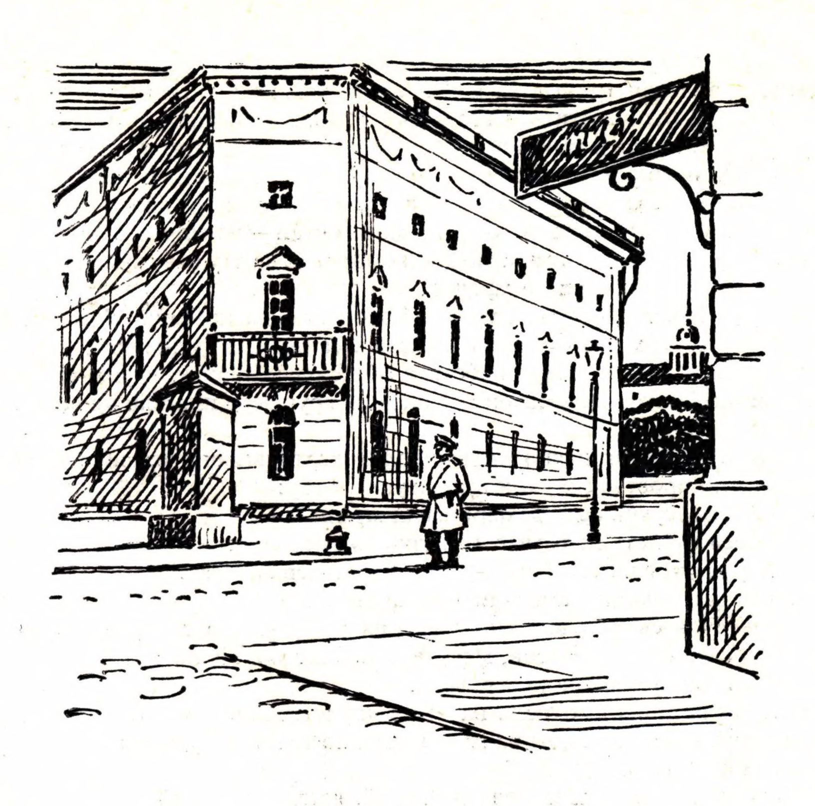
Оформление художника
Ю. ИГНАТЬЕВА

С $\frac{70302\text{-}202}{028(01)\text{-}78}$ 106-78



ЧАСТЬ ПЕРВАЯ





Глава первая

В Санкт-Петербурге провожали масленицу...

Всюду звенели бубенцы, звенели трамваи-конки, улицы и дома, витрины магазинов и даже сосульки, висевшие под крышами, как стеклянные побрякушки на карусели. И мчались, неслись по тем улицам лихие тройки и рысаки-одиночки, то красные, как жировавшая степная полынь, то черные и блестевшие, как антрацит, то белые, как пух, расписанные пепельно-серыми яблоками, и крушили сугробы в пыль, вздымая вокруг бело-розовые снежные вихри.

И еще врывались на улицы буйные ватаги и малиновый перезвон гармошек с колокольчиками – озорных, заливистых, а с ними врывалась непрошеная разудалая песня, неслась на розвальнях, как ярмарка, и, переполошив городовых, исчезала так же мгновенно, как и появлялась, и лишь перезвон колокольчиков долго стоял над улицами и медленно таял в морозной дымке.

Молодость и смех, искрометный, бесшабашный, и горячие, как огонь, всплески девичьих голосов рассыпались по улицам хрустальным звоном, и от него пела душа, и сильнее билось сердце, и хотелось схватить какую-нибудь озорницу в охапку, гикнуть во всю мочь и унестись с ней в неохватные заснеженные русские дали, подернутые легкой небесной синью.

И вдруг в эту праздничную сутолоку на Невский, чопорный и гордый, ворвалась золотая тройка, за ней влетели розвальни, такие широкие, что на них могла бы вместиться целая губерния, но на них воцарился и цвел всеми цветами степей табор цыган с бубнами и гитарами, и гремели песни, раздольные и широкие, как белый свет, полные лихости и небрежения ко всему сущему. И казалось, что запели и заплясали все дома и все прохожие на улицах, и зазвенела сама земля, а мороз стал – не мороз. И лишь особняки и дворцы спесиво стояли молча и смотрели на эту разухабистую праздничную стихию надменно и мрачно.

А шуму наделал золотой тройкой этой старый помещик Френин. Весь осыпанный снегом, он стоял на передних санях, как дед-мороз, распустив полы шубы и лихо сдвинув набекрень бобровую шапку, чудом сидевшую на его вечно бритой маленькой голове, а вокруг него плясали на всем скаку лошадей цыгане.

Старый помещик пьяно дирижировал вертлявыми руками и горланил во всю свою простуженную и пропитую глотку:

— «Ах ты, сукин сын, камаринский мужик!..»

Но, спев куплет, он тотчас же резко командовал:

— Верую во единого бога – творца и вседержителя...

И цыгане покорно сменяли «камаринскую» на церковные песнопения и застывали в святом величии лишь на минуту, а в следующую минуту заводили свои степные песни, мягкие и низкие, как орлиный клекот, и переходили в пляс тут же, на розвальнях.

Важные господа смотрели на это кощунственное представление и бросали возмущенные взгляды на городовых, но те лишь пучили глаза и ничего не могли поделать.

Кончалась масленица, шел пир горой, веселился какой-то старый кутила – что с него возьмешь? Впрочем, с Френина взять-то кое-что можно было... Он то и дело запускал руки в карманы шубы, извлекал оттуда золотые пятерки и серебряные целковые и щедро разбрасывал их по сторонам. Зеваки, рискуя жизнью, бросались под лошадей за пятерками и целковыми, городовые бросались на зевак и разгоняли их и сами кидались в снег, гребли его и хватали деньги с ловкостью степных хищников.

— Веселись, честной народ! Масленица идет по святой Руси! – кричал Френин и хрипел песнопения.

Лишь один человек, попыхивая трубкой, задумчиво стоял на тротуаре, смотрел на тройку золотых дончаков, которые и сами, казалось, отплясывали «камаринскую», грациозно изогнув шеи и сверкая лиловыми от азарта глазами, и думал свою думу.

То был Лука Матвеич. Он уже в который раз наблюдал такие картины катания на тройках всех мастей, с седоками именитыми и заурядными, молчаливыми и разухабистыми, наблюдал в Москве, на Воробьевых горах, на Ходынском поле, на Садовом кольце, в Сокольниках, на Красной площади и даже в Кремле, перед Иваном Великим.

Гудели колокола всех сорока сороков, гудел тяжким гулом сам Иван Великий, так что от него дрожали земля, и вековые кремлевские стены, и даже щербатый Царь-колокол, и неслась, плясала, смеялась на всю Москву, на всю Россию неповторимая, голосистая, ряженная во все наряды русская масленица и разносила с собой по всей отчей земле удаль

искрометную, песню горластую, лихость неуемную и великую силу жизни.

То была сама белокаменная, первопрестольная столица земли русской, пропахшая ладаном и щами, опаленная огнем мужицких бунтов и священных битв за отчизну.

Но чтобы здесь, в чванливом, опруссаченном сановном Санкт-Петербурге...

Санкт-Петербург... Величественный и надменный, строго расчерченный на безукоризненные линии проспектов и набережных, застроенный громадами-дворцами, красными, как мантии, желтыми, и зелеными, и серыми, как шинель жандарма, заставленный медными царями и царицами на конях и на тронах — каменный бастион российского самодержавия...

Это он залил кровью декабристов Сенатскую площадь, убил Пушкина и поставил у позорного столба Чернышевского, изгнал Герцена и затравил Лермонтова, сослал Шевченко и замучил Белинского, предал анафеме Толстого, не давал жизни Горькому, казнил Александра Ульянова.

Это здесь 9 января 1905 года гремели залпы по русскому народу и писались приказы: «Патронов не жалеть, холостых залпов не делать», и это отсюда во все концы многострадальной России посылались генералы-каратели и обрушивали на народы ее, на хижины их, на детей их огонь и смерть...

Санкт-Петербург... Венценосное логово самого кровавого из всех тиранов, самого жестокого из всех палачей, самого богатого из всех помещиков — Николая Второго Романова, жандарма Европы и Азии.

Санкт-Петербург... Символ мракобесия, оплот варварства, черное знамя громил и вешателей. Величественно твое великолепие, сумрачен твой державный лик, грозны твои золотые шпили, нацеленные в самого господа бога, монументальны твои дворцы и храмы, вызванные к жизни на топях потом и кровью простого люда. Но ты — колосс на глиняных ногах, и бессильны твои штыки и твои приказы остановить гнев народа. Уже горит под тобой земля, дрожат твои мраморные палаты и рушатся твои железные оковы. И скоро, скоро взойдет заря пленительная и яркая и встанет над каждым простым человеком день, светлее которого еще не было на земле.

Будут люди смотреть на тебя, Россия, будут любоваться немеркнущим светом твоим, новой жизнью твоей, и высокими устремлениями, и благородными подвигами и низко поклонятся твоим героям, открывшим путь к заветным солнечным далям, о которых человечество мечтало тысячелетиями и шло к ним через эшафоты, через костры, через смерть...

Так думал Лука Матвеич...

Когда это будет? Это будет, Санкт-Петербург, это уже идет. Идет рядом с тобой, наперекор твоим генералам-вешателям, на страх твоим царям и царицам, мертвым и живым. Идет из города, что живет в тебе самом, чьи отцы подняли тебя из болот и возвели твои чертоги, построили твои чудесные набережные и каналы, и прекрасные мосты, и огромные заводы потому, что любили родную землю, поля ее бескрайние и леса дремучие, реки ее большие и малые, и каждый холмик за околицей, и каждую травинку у дороги...

Потому этот город всяк простой человек ласково и любовно и называет Питером...

Окруженный заводами и рабочими поселками, окутанный дымом печей и кочегарок, овеянный грозным дыханием народных движений, это он посылал во все концы многострадальной страны святую правду жизни, окрылявшую своим заветным словом простого человека. Это он бросил набатный клич: «Смерть тиранам! Да здравствует революция!» И грозный клич тот поднял землю на дыбы, и она загудела в неистовой ярости и ринулась на смертный бой с угнетателями.

Питер... Священный город новой русской истории, в котором жил сейчас и кипел всеми страстями борьбы и пролагал еще неведомые пути-дороги в грядущее человек, которого ты, Санкт-Петербург, отторг от родины, но которого позвала революция, позвал Питер, позвала пробудившаяся Россия.

Владимир Ленин...

Питер и Ленин... Новая Россия. Новая история человечества. Она еще только расправила натруженные веками плечи, а старый мир уже шатается и трещит, как гнилое дерево.

— Революция продолжается! — гремело из края в край.

И революция продолжалась. И хотя была предана огню и мечу республика Новороссийская и расстреляна республика Читинская, хотя сожжена Пресня и усмирены рабочие заводов и рудников, но бушевали херсонские, николаевские, могилевские, екатеринославские крестьянские волнения, пылали в огне сражений Симбирская, Саратовская, Воронежская губернии, Кавказ и Прибалтийский край, Польша и Сибирь, и правительство объявляло все новые губернии и области на военном положении, посылало все новые карательные экспедиции Ренненкампфа, Меллер-Закомельского, Орлова, Грязнова, Алиханова и несть им числа, верноподданным псам-карателям.

Российская империя переживала невиданное потрясение — политическое, гражданское, финансовое. И царский двор метался в поисках выхода, в поисках средств и способов удушения революции.

Денег, во что бы то ни стало добыть денег! В любом банке Европы! На любых условиях!

Но Европа уже не верила Николаю Второму и за каждый рубль норовила урвать побольше и требовала поступиться государственными интересами России. Требовал Париж, требовал Берлин, требовал Лондон...

И Санкт-Петербург соглашался: Вильгельму Второму — поддержать притязания Германии на марокканский порт Касабланку; Франции — оставить Германию в дураках на Алжезирасской конференции; Англии — изолировать Германию от всех дел Европы, Африки и Азии на вечные времена.

Санкт-Петербург ловчил, хитрил и давал послам в Берлине, Париже, Мадриде, Лондоне приказы, исключающие друг друга, отказываясь от собственных интересов внешних ради того, чтобы поскорее выторговать средства для расправы с врагами внутренними. А чтобы Европа не сомневалась в силе и способности штыков, царизм громил народ из всех родов оружия под фейерверки и колокольный звон соборов.

А внешне было похоже: торжествует Санкт-Петербург, ликует русский двор и орет во всю полицейскую глотку, во все голоса извозчиков и военных оркестров на балах и карнавалах, во все колокола Исаакия, будто все ему

нипочем, будто не было на земле ни грозных бурь, ни потрясений народных и не лилась кровь безвинных, а была тишь и благодать неизбывная.

Так думал Лука Матвеич, толкаясь средь чиновников и военных, что запрудили Невский, как вдруг заметил на тротуаре молодого человека в распахнутой шубе, в бобровой шапке, а рядом с ним – черноусого и толстого господина в сибирской дохе. И черноусый говорил:

– Яков, сосед мой милейший, а ведь нашего чудака Френина могут и того... В околоток. Он и здесь, в Санкт-Петербурге, безобразничает.

– Френина? – удивился Яков и криво усмехнулся. – Что-то я еще не видел, чтобы помещиков волокли в околоток... Поехали в «Европу». Я сегодня наверняка продам не только эту тройку рысаков. Френин сделал мне хорошую рекламу. Значит, кутим во славу царя и отечества.

Лука Матвеич поднял серый каракулевый воротник, поправил такую же шапку и пошел своей дорогой. Шел и думал: «Оксана перебивается уроками, а муж прожигает жизнь в ресторанах. Тоже, поди, справляет масленицу».

Лука Матвеич искал Ленина. Это было нелегким делом, так как Ленин менял места ночевок едва ли не каждый день. Лука Матвеич видел его в Москве, но поговорить не успел: Ленин уехал тотчас после доклада партийцам второй столицы о тактике по отношению к Государственной думе. Сейчас Лука Матвеич шел на явку ЦК, где была Надежда Константиновна, и рассчитывал там все разузнать.

Явка находилась на складе литературы ЦК. Надежда Константиновна вместе с Менжинской сортировала литературу и одновременно разговаривала с каким-то рабочим парнем, видимо активистом. Лука Матвеич окинул беглым взглядом приготовленные для отправки пачки брошюр. «Не густо. По одной книжице на губернию придется», – прикинул он и, поздоровавшись, присел на старенький табурет.

– Вам кого? – спросила Менжинская.

Лука Матвеич указал глазами на Надежду Константиновну, и Вера Рудольфовна что-то шепнула ей.

– Я сейчас, товарищ, посидите пока. Можете почитать что-нибудь, – сказала Надежда Константиновна. – Откуда вы?

Лука Матвеич улыбнулся. Его не узнали и приняли за чужого.

– Адвокат я, пришел за добрым советом, если вы соблаговолите не отказать в нем.

Надежда Константиновна переглянулась с Менжинской и ответила не без иронии:

– Хорошо, сударь, постараемся помочь вам.

Вскоре парень ушел, нагруженный небольшими пачками литературы и распухший от листовок, которыми он наполнил карманы, пазуху и даже шапку-ушанку. Едва он вышел, как дверь в склад приоткрылась и показалась голова полицейского чина.

– Ага...

Дверь закрылась, и щелкнул замок.

Все случилось так неожиданно, что никто ничего вначале и не понял, но когда Надежда Константиновна попыталась открыть дверь, тут все стало ясно: полицейский чин, видимо, намерен был произвести обыск и закупорил всех в помещении.

— Что же будем делать, Надюша? – встревожилась Менжинская.

Надежда Константиновна еще и сама ничего не могла придумать и шарила взглядом по окнам, по стенам, будто искала там какую-нибудь щель, через которую можно уйти и унести то, что следовало унести от полиции. Но ничего не нашла и разочарованно ответила:

— Выйти невозможно. Вот разве что через окно...

Лука Матвеич встал с табурета, спрятал трубку, которую почему-то держал в руке, но не закуривал, и спросил обычным тоном, как будто ничего и не случилось:

— У вас есть такая литература, которая прежде всего и потребна сему усатому чину? Давайте-ка ее сюда, сударыни, и перестаньте мечтать об окнах.

Надежда Константиновна всплеснула руками и негромко воскликнула:

— Лука!.. Товарищ Цыбуля? Господи, да как же я вас не узнала?..

В считанные минуты Надежда Константиновна «начинила» Луку Матвеича письмами из провинции, адресами партийных работников и явками, а наиболее «крамольную» литературу пришлось жечь – листовки Петербургского комитета, брошюры, письма, и в помещении запахло дымом, а печь загудела, как на добрый мороз.

Сжигали молча, торопливо. Менжинская суетилась и все время сокрушенно вздыхала:

— Ах, негодяй, что устроил ради масленицы! Не иначе, сработал провокатор.

Умаялись до пота, а Лука Матвеич все спрашивал, нет ли еще чего, и шуровал в печке, как завзятый кочегар. Наконец щелкнул замок. И все возле печки притихли.

Лука Матвеич грел над плитой руки и тихо говорил:

— Я зашел купить Шерлока Холмса, кто я – неизвестно. Вы называете вымышленные фамилии, адреса и все прочее. В случае...

Он не договорил: дверь распахнулась, и вошел полицейский чин с дворником-понятым. Зычно и явно злорадно он еще издали спросил:

— Ну, чем вы тут занимались, господа? Грелись, кажется? Вот мы и посмотрим, чем это вы... грелись. Показывайте свои книжонки.

Лука Матвеич заметил: чин был навеселе – и спросил запросто, даже весело:

— Как там, на улице, господин хороший, не потеплело? А то грею, грею руки – все без толку. Эх, жаль, что коньячок остался в магазине. В самый раз бы пропустить по единой... Вы что, коньячок уважаете, или мадеру, или херес венгерский?

Чин посмотрел на него красными глазами и грубо сказал:

— Ты мне зубы не заговаривай. Кто таков и где проживаешь?

Лука Матвеич качнул головой и, как бы между прочим, заметил:

— А ваша благородь того, маленько хлебнула, коль полагает, что с французским подданным можно обходиться так бесцеремонно... Мосье Дюран я, и коммерсант к тому же. Могу предложить для вашей благоверной парочку чулочков и флакончик Коти...

Чин молчал и просматривал литературу, а искоса посматривал то на него, то на Надежду Константиновну и Менжинскую, чтобы они не бросили что-нибудь в печку. Но бросать уже было нечего, все сгорело, а то, что

не успело, было так далеко запрятано, что чину потребовалось бы перевернуть вверх дном весь склад. И чин ограничился тем, что переписал фамилии всех, кого застал здесь, а Луке Матвеичу тихо сказал:

— Так я вас жду, сударь, с тем, этим, как их... Тут недалеко, за углом, я буду все время на дежурстве... Э-э, ваша фамилия?.. Да это неважно.

Лука Матвеич понимающе кивнул головой, и чин и дворник ушли, к счастью удовлетворившись вымышленными фамилиями, а вскоре ушли и Надежда Константиновна с Лукой Матвеичем, оставив склад на попечение Менжинской.

По дороге на квартиру Лениных Лука Матвеич рассказал о себе, о друзьях, расспросил о новостях.

— Маета, а не жизнь,— жаловалась Надежда Константиновна.— Ездим то на вокзалы, то в ресторации, чтобы хоть часик посмотреть друг на друга... Сорочку ему не могу заштопать, все локти уже протер. Строчит день и ночь в газеты и журналы... Хоть бы вы поговорили с ним о переезде куда-нибудь в другое место.

Лука Матвеич вздыхал. Владимир Ильич и слышать не хочет о другой жизни, вне Питера, вне своей стихии — работы.

И Лука Матвеич пообещал:

— Хорошо. Я поговорю. Не повесит, чай.

Квартира была где-то возле церкви — Лука Матвеич не запомнил улицы — и состояла из двух маленьких комнат; собственно, из одной комнаты и кухни-передней. Кругом было чисто и тихо, в самый раз работать хоть всю ночь. Но Ленин почти не жил здесь.

Лука Матвеич еще не окреп после болезни, немного устал и с превеликим удовольствием готов был сесть на стул и сидеть весь вечер, но Надежда Константиновна решила угостить его блинами. И тут обнаружилось, что в доме нет ни яиц, ни молока, ни соды. Лука Матвеич, не желая обременять хозяйку хлопотами, предложил:

— Где у вас самовар, уголь и все прочее? Я сейчас раздую такой чай, что лучше блинов всяких получится. Стоит ли возиться с блинами?

Надежда Константиновна улыбнулась, смутилась немного и призналась:

— Стоит, Лука Матвеич. Блины «познакомили» нас с Володей. На масленице случилось это, на сходке. Поэтому он и обещался прийти сегодня. Хотя бы успеть, не больно я мастерица на такие вещи. Вот мама — той и пяти минут хватило бы.

После таких слов Луку Матвеича не надо было упрашивать, и он через несколько минут принес из лавочки все, что требуется для блинов, и даже ванилина прихватил и корицы, на всякий случай. Началась стряпня, и неизвестно, кто больше хлопотал: хозяйка или гость.

Надежда Константиновна шутила:

— Ох, горе-стряпухи мы с вами. Изругает нас Ильич и засмеет.

Когда Надежда Константиновна сняла первый блин, румяный, духовитый и такой воздушный, что его жалко было и есть, Лука Матвеич воскликнул:

— Получилось! Раз первый не пошел комом, остальные сами будут соскакивать со сковороды.

Стали ждать. Ждали час, пошел второй, но Ленин не появлялся. Лука Матвеич несколько раз уже выходил на улицу, убирал снег и заодно присматривался, нет ли поблизости филера, но возвращался ни с чем.

Надежда Константиновна принялась гладить и рассказала: центральные органы недавно слились в один, объединенный ЦК; меньшинство пыталось навязать резолюцию, запрещающую членам ЦК входить в редакции центральных изданий партии. Это означало, что Ленин не мог бы войти в редакцию «Партийных известий» – центрального органа партии, если бы такая резолюция оказалась принятой.

Лука Матвеич покачал головой. До чего же предприимчивая публика! Не мытьем, так катаньем, но обязательно всегда и во всем ставить подножку Ленину. И когда это кончится – трудно сказать. Одно мог сказать наверняка Лука Матвеич: не объединяться с людьми, которые открестились от декабрьского выступления, а размежеваться следует раз и навсегда. Он так и сказал:

– И ничего путного из этого объединения не получится. Пусть меня четвертуют, а я сие не понимаю и понять не смогу до конца света.

Надежда Константиновна погладила сорочку Владимира Ильича и осторожно повесила на спинку стула, а сверху положила черный галстук. Потом притронулась к тарелке, под которой покоились блины, – не остыли ли? – и сказала с явной грустью:

– Посмотрите еще раз, Лука Матвеич. Если не идет – будем ужинать.

Лука Матвеич тяжело встал со старенького стула и, набросив на плечи шубу, вышел.

На улице было тихо и безлюдно. Издали доносились развеселые песни да перезвон колокольчиков извозчиков. Над Летним садом вспыхивали и гасли огни фейерверков и слышался медный звон оркестра.

«Пускают фейерверки, а из народа пускают кровь. Палачи...» – мысленно негодовал Лука Матвеич и хотел было уже возвращаться в дом, как вдруг на противоположной стороне улицы в подворотне заметил явно подозрительную фигуру. Фигура курила и прятала огонек, но острый глаз Луки Матвеича не так легко было провести.

– Все, Надежда Константиновна: квартира обложена шпиками, – мрачно заявил он, возвратясь с улицы. – Так что неизвестно еще, что лучше: чтобы Владимир Ильич пришел или чтобы не приходил вовсе.

Надежда Константиновна заволновалась и была готова пойти навстречу Ленину – предупредить. Но Лука Матвеич сказал повеселевшим голосом:

– Садитесь, садитесь. Мы будем есть блины и пить чай, а филера пусть маленько померзнут. Владимир Ильич теперь не придет.

– Вы уверены? Но ведь я знаю его: коль обещал, значит, хоть земля гори, а он все равно придет.

– И я его знаю, дорогая Надежда Константиновна: не придет. Проследует мимо, а в квартиру не войдет.

Ели блины молча, пили чай, и лишь каждый громче обычного позванивал ложечкой, размешивая сахар.

Лука Матвеич посматривал на Надежду Константиновну и незаметно вздыхал. Ему невмоготу была такая тишина. Но он не подавал виду и делал все обстоятельно и неторопливо, будто работу выполнял. Наконец выпил третий стакан, положил его набок и проговорил с удовлетворением:

— Отменный ужин, доложу я вам. Благодарение превеликое. Теперь для полноты впечатлений осталось выкурить трубку и можно...— хотел сказать «на отдых», но сказал другое: — и можно почитать что-либо. Я вижу вон, на столике, брошюру Владимира Ильича, если не ошибаюсь?

— О думе. Только что вышла. Да вы отдохните, Лука Матвеич. Я кое-что сделаю по хозяйству.

Лука Матвеич отказался отдыхать и вышел на улицу. Филер уже ходил. Тогда Лука Матвеич демонстративно заработал метлой и поднял такой снежный вихрь, что филер выругал его и отошел в сторону. Но Лука Матвеич продолжал свое дело и все вихрил снег, пока, наконец, филер не ушел, закоченев, видимо, не на шутку.

— Вот так-то лучше, парень. Чего зазря погибать? — с удовольствием напутствовал его Лука Матвеич и еще долго приводил в порядок тротуар.

— Кажется, убрался совсем,— сказал он, когда вошел в дом.— Так что давайте я вам подсоблю маленько...

Надежда Константиновна читала письма, писала ответы на них и явно не управлялась: письмо напишет, а потом клеит конверты.

Лука Матвеич подсел к ней, стал помогать клеить конверты, и дело пошло веселей. Однако Надежда Константиновна была мрачна и все время посматривала на окна.

— Я боюсь, что его могли выследить и арестовать. Без причины он не заставил бы себя ждать,— сказала Надежда Константиновна и закрыла лицо руками.

Лука Матвеич глуховатым голосом уверил:

— Ничего, дорогая Надежда Константиновна, ничего. Все обойдется.

— Масленица ведь... Такой день в нашей жизни, а нам посидеть часик не дают. Каты...

У Луки Матвеича запершило в горле от таких слов, и он сказал:

— Придет и наша масленица. Все придет... А что каты — то каты отменные. Сами вон фейерверк пускают, а генералы-каратели шкуру с нашего брата спускают... Эх, дела! — вздохнул он и, одевшись, опять вышел на улицу.

Надежда Константиновна закончила писать письма, подошла к окну и все прислушивалась к малейшим шорохам на улице.

Ленин не пришел.

Совещание членов объединенного ЦК РСДРП было назначено на Загородном проспекте. Лука Матвеич знал эту явку и не раз прежде возмущался тем, что она была не очень-то удобна: имела всего один выход, да и находилась высоко, на четвертом этаже. Злой и уставший шагать по бесчисленным ступенькам, Лука Матвеич едва добрался до квартиры, как тотчас же принялся костылять всех, а больше всего — домоуправителя Комиссарова:

— Ты же партиец и должен понимать, что это не явка, а беда одна: нагрянут — и уйти некуда. С ума вы тут сошли все, что ли,— назначать такое совещание под самыми облаками?

Домоуправитель Комиссаров удивленно выпучил серые глаза и спросил:

— Какое такое совещание, старина? Мне никто ничего не говорил. А хозяин дома Семенов знает об этом?

— Этого еще недоставало. Тьфу ты, пропасти на вас нет, на конспираторов таких,— сплюнул с досадой Лука Матвеич и махнул рукой.— Ты — социал-демократ, да не знаешь. Откуда же хозяину знать?

В это время пришел Горев, и Лука Матвеич насел на него кочетом. Но Горев давно его не видел, стал обниматься, расспрашивать о здоровье, и было заметно, что он не хотел говорить о совещании в присутствии Комиссарова. А когда тот незаметно куда-то исчез, Горев сказал, в чем дело: явка, мол, старая, никто здесь не собирался сто лет, и вряд ли охранка станет интересоваться ею, тем более что совещание назначено на Невском у одного врача.

Но Лука Матвеич уже был раскален, и его не так-то просто было охладить, и он напустился на Горева:

— Приготовь подушку на то место, на котором сидишь. Придет Владимир Ильич, уж он-то по головке не погладит... Вы ему хоть сказали, что собираетесь именно тут? Впрочем, вы, поди, и не знаете, где он живет. Безобразие.

Горев ничего не мог ответить, так как действительно не знал, где живет Ленин и извещен ли о предстоящем совещании. Выручил его подошедший Красин. Мягко и даже нежно он сказал Луке Матвеичу:

— Да ты позволь хотя бы насмотреться на тебя, а уж после будешь ругаться... Жив-здоров? Похудел, почернел...

Они обнялись, похлопали друг друга по спинам и уединились в конце коридора, возле кухни. Красин все объяснил: совещание действительно предполагалось провести на Невском, но в последнюю минуту стало известно, что квартира провалена, и вот пришлось избрать Загородный. И Горев прав: охранке и в голову не придет, что здесь может быть совещание социал-демократов, да еще руководителей,— явка очень древняя и давно перестала быть явкой.

Но Лука Матвеич хотел все проверить сам и решил хорошенько осмотреть чердак, на который вела крутая лесенка из кухни. Красин заинтересовался: в самом деле, а этот чердак мог бы пригодиться в случае необходимости. И они поднялись по лесенке, открыли ляду — крышку — и пошли меж бесчисленных перекладин.

— Как на Невском, даже еще лучше,— шутил Красин, но Лука Матвеич не слушал его, а наблюдал за местом, откуда они поднялись, и прислушивался, не поднимается ли кто вслед за ними. Но за ними никто не поднимался.

Тогда он уселся на матку — перекладину, достал трубку, табак и попросил Красина рассказать поподробнее о положении дел и об объединении с меньшинством, не преминув тут же пустить несколько шпилек в адрес тех, кто настаивал на объединении.

Красин вежливо заметил:

— Владимир Ильич тоже был «за».

Лука Матвеич удивленно поднял брови. Не хотелось ему верить, что Ленин поддерживал идею объединения.

И в это время там, где был лаз, что-то упало, но потом все стихло. Лука Матвеич и Красин оглянулись, прислушались, и обоим стало ясно: квартира очень подозрительная. И тогда они стали искать какой-нибудь

новый ход и нашли: оказалось, что отсюда можно было пройти на чердак соседнего дома и выйти на противоположную улицу.

И оба облегченно вздохнули. Но тут же забеспокоились еще более: а почему Комиссаров никогда не говорил о таком пусть и неудобном, но надежном запасном выходе?

— Странно. То странно, что никто не знал об этом,— сказал Красин.

Лука Матвеич сердито заметил:

— Странным будет то, что в один не совсем прекрасный вечер мы потеряем Владимира Ильича... Эх, устроители! Плеткой бы за такие устроения надо, да с потягом, как запорожцы говорят, чтобы шкура отскакивала. Пошли, а то там и начнут без нас.

Красин тихо продолжал:

— Лукьян, тебя Владимир Ильич уважает, давно не видел и послушает, если ты посоветуешь ему одну вещь: перебраться в Финляндию. Как можно скорее. За ним шпики ходят шайками.

— Знаю. Но пока ты пойдешь к Михаилу Рюмину и скажешь ему, что сегодня Владимир Ильич будет ночевать у него. Пусть отошлет сестру и прислугу.

Красин легко хлопнул себя по лбу. Как он не додумался до этого? Ведь у инженера Рюмина — полная гарантия безопасности. И воскликнул:

— Великолепная идея!.. Я устрою это в самом лучшем виде.

Они спустились с чердака и пошли в комнату. Там уже были члены ЦК и ПК, негромко разговаривали, видимо стесняясь мешать Мартову, который стоял возле окна и что-то читал, весь черный, как монах, с черной бородкой, с черными глазами, в снежно-белом воротничке, гордый и недоступный, как памятник.

Лука Матвеич глянул на всех разом прищуренным взглядом, дольше других задержав его на элегантно одетом Мартове, на его блестевших штиблетах, особенно правом, который он поставил этаким крендельком, оперев всю тяжесть тела на левую прямую ногу.

— Лидеры меков готовятся к штурму нашего брата,— негромко, как бы только для Красина, заметил он и поздоровался со всеми общим поклоном.

Мартов оторвал взгляд от листков, которые держал близко перед глазами, и то ли шутливо, то ли насмешливо обронил:

— Лукьян прибыл? Любопытно, любопытно. А говорили, что он погиб на баррикадах в... доблестном сражении с казаками.

Луку Матвеича уже окружили знакомые, а незнакомых Красин представлял ему, и слова эти не каждый услышал. Но Лука Матвеич услышал их, подошел к Мартову поближе, заглянул, что он там читал такое важное, и спросил с явной подковыркой:

— Что, тезисы своим единомышленникам написали? Как впредь бежать с поля боя? Что ж, пишите, пишите, может, пригодятся для... мусорной ямы истории.

Мартов опустил руки с листками, сверкнул черными глазами и хотел сказать что-то резкое, но передумал и ответил с усмешкой:

— Видно сокола по полету. Наваливайся на меня, коль ты распотрошил там, на юге, всех инакомыслящих, а не самодержавие, разумеется. Здесь у тебя руки оказались коротки.

Лука Матвеич позеленел от ярости, но сдержался.

— Уважаемый, мы этими руками,— показал он на свои короткие сильные руки,— достали до Петербурга, и он зашатался. Пролетариат достал, народы России. А ваши ручки писали в это время: «Не надо было выступать! Не надо было браться за оружие!» Скажите, если это — помощь революции, то что тогда называется предательством?

Мартов выпрямился и резко повысил голос:

— Сударь! Не забывайте, что здесь собрались лидеры руководящих партийных центров, а не балаганные шуты!

Тут уж Лука Матвеич не мог больше сдерживать себя. Перед ним был человек, по указке, по наставлениям которого меки на местах позорно покинули революционные Советы, революционные боевые дружины, штабы восстаний и, за малым исключением, отсиживались дома в то время, когда шло сражение народа с самодержавием, с войсками, когда даже далекие от политики люди, такие, как Иван Гордеич Горбов, и те встали за баррикады. И вот этот человек, Мартов, самый крупный и самый упрямый противник, этот человек позволяет себе так говорить ему, чудом уцелевшему в огне сражений!

И Лука Матвеич выпалил все, что накопилось, что бередило душу:

— Вы, обанкротившийся лидер кучки лжемарксистов и политический перебежчик в лагерь оппортунизма, как вы смеете разглагольствовать тут о вашем партийном лидерстве, когда имя вам и вашим единомышленникам — срам, позор, капитулянтство перед врагом и измена делу марксизма и революции? Вы — лидер без армии, человек без настоящего и будущего!

— Наглец! Как вы смеете?! — вскипел Мартов и нервно спрятал листки в карман.

Тишина сковала всех. Мартов был не простой противник, а искусный противник, и с ним мог спорить только один человек — Ленин.

Красин даже поежился от слов Луки Матвеича и хотел успокоить его и увести в коридор, да в это время возле двери раздался знакомый голос:

— Гм, гм... Стало быть, «идем на вы»?..

Все обернулись — и увидели Ленина. Он, наклонясь, снимал и никак не мог снять калоши, но наконец снял их, поставил в угол, к двери, затем снял пальто и повесил его на гвоздик, вбитый в притолоку, и, вешая шапку, сказал Мартову:

— Спорить с противником, Юлий Осипович, даже неуважаемым противником, можно, должно и полезно во всех отношениях, буде оные служат делу партии, революции. Но оскорблять, повторяю — оскорблять даже неуважаемого противника и вести себя нелояльно, это, извините, недопустимая вообще, и в среде демократов в особенности, бестактность и архигрубость, да-с!

Мартов переступил с ноги на ногу, достал листки из кармана, но читать не стал, а шелестел ими и хотел что-то сказать, но махнул свободной рукой и стал читать.

Ленин глянул на него слегка насмешливыми глазами, качнул головой и обратился ко всем приподнято и радостно:

— Нуте-с, а теперь здравствуйте, товарищи. Я не опоздал? — Он посмотрел на карманные часы, послушал их и спрятал.— Идут. Значит, не опо-

здал... А где наши горе-устроители данного собрания? — обернулся он, ища глазами Горева, и, найдя его, продолжал: — Что же это вы, батенька, забрались под самые небесные выси, почти к боженьке? — повел он рукой вокруг. — Или вы полагаете, что департаментские, сиречь охранного отделения, архангелы сюда не доберутся, коль пронюхают про наше собрание? Доберутся и накроют ведь.

Лука Матвеич пригладил короткие усы, немного присмоленные табаком, немного посеребренные временем, и хотел ответить за Горева, да тот начал объяснять, что другая явка провалена.

— Провалена... Так, так, — согласно кивал Ленин головой и недовольно сказал: — Но это не ответ, позвольте заметить. Такая явка — это мышеловка... Как, товарищи, ведь в этой мышеловке просто великолепно и прямотаки молниеносно можно прихлопнуть любое собрание?

— Мы так ему и втолковывали, этому устроителю, но разве их прошибешь?

Ленин быстро обернулся и воскликнул:

— Ба! Отыскался след Тарасов! Вот уж кого не ожидал, никак не ожидал встретить здесь! А почему, позвольте спросить, товарищ кандидат в члены ЦК, вас не было в Таммерфорсе, на нашей, большевистской, конференции? — И, понизив голос, заговорщически тихо продолжал, кивнув в сторону Мартова, что стоял возле окна и все еще читал листки: — Нашему меньшинству сия конференция, разумеется, не по душе, и видите вон, как товарищ Мартов готовится читать свои тезисы о необходимости объединения обеих фракций! Но не наша вина, что неповоротливый наш ЦК не мог устроить объединенный съезд. Вот мы и собрались сами... Ну-с, позвольте пожать вашу руку, дорогой товарищ Лукьян.

— Вы знаете, где я был, Владимир Ильич, и почему не мог приехать на конференцию, — виновато ответил Лука Матвеич.

— Знаю, великолепно знаю. Но мне просто хотелось сказать, что мы вас ждали. Очень хотели вас видеть. И новостей ваших с нетерпением ждали и ждем. И уж теперь-то вы порасскажете нам все, как на духу. Можете при товарище Мартове говорить. Все равно он знает, за что мы критикуем и будем критиковать его единомышленников.

Мартов покачал головой и, как бы между прочим, бросил:

— Ленин остается Лениным и под облаками. И во сне будет пускать смертоносные стрелы в своих идейных противников.

Ленин слегка кивнул головой, подмигнул Луке Матвеичу и ответил:

— Весьма, весьма польщен, Юлий Осипович. — И, нахмурив широкие брови, уже серьезно продолжал: — Будем, будем, товарищ Мартов, всегда и неизменно будем пускать, как вы изволили выразиться, смертоносные стрелы в своих идейных противников. На том стоим и стоять будем. Даже в том случае, если объединимся формально, все равно своих позиций, своей точки зрения на положение вещей, своей тактики, мировоззрения и тому подобного никому не уступим ни на дюйм. Так и запишите в своих тезисах, которые, по всей видимости, вы и читаете с таким завидным вниманием и увлечением.

Сказал и, подняв подбородок, прошелся по комнате размашистым шагом, а потом спрятал руки под пиджак, из-за которого виднелся черный

жилет, а под ним – белая сорочка с жестким крахмальным воротничком и с черным галстуком, повязанным крупным узлом.

И вдруг заторопился к двери и с огорчением произнес:

– Ахти, какая оказия вышла! Наследил-то как. Оказывается, конспирация имеет и свои минусы... – И, взяв калоши, понес их из комнаты.

И тут почему-то, едва он открыл дверь, на пороге вырос домоуправитель Комиссаров и услужливо сказал:

– Да не беспокойтесь, товарищ Ленин. Эка важность – снег! Давайте я уберу их.

– Нет, нет, благодарю. И вы уж извинитесь от моего имени перед хозяюшкой – Катюшей.

Он вышел и закрыл за собой дверь, а все улыбчиво переглядывались и покачивали головами. Ну какой же он, право, Владимир Ленин! Стоило ли из-за калош так беспокоиться!..

Мартов тоже посмотрел на дверь и заметил:

– Педант во всем. Даже в заступничестве за своих учеников. Как находишь, старина? – спросил он Луку Матвеича.

– А я нахожу, что надо покурить, товарищ Мартов, – ответил Лука Матвеич и вышел в коридор, поманив за собой Красина.

Не понравилось ему то, что Комиссаров вдруг оказался у двери, которую неожиданно открыл Ленин. Было похоже, что домоуправитель проявляет слишком большое любопытство к совещанию. И Лука Матвеич с досадой отметил про себя: «А мы, кажется, называем друг друга не по кличкам. Черт знает, провокаторов расплодилось столько, что скоро и брата родного будешь называть по кличке».

И вслух раздраженно произнес:

– Не нравится мне эта подоблачная явка! И все тут вообще... Комиссаров явно подслушивал у двери. Чего ради социал-демократ будет торчать у двери, когда он может стоять в комнате? Надо сказать хозяину дома Семенову.

– Это – не обычная явка. Это – собрание видных деятелей партии, и не обязательно всем социал-демократам должно здесь присутствовать. Но проверить бы этого управителя следовало, – согласился Красин. – А ты напрасно ввязался в спор с Мартовым. Ты его плохо знаешь. Он укусит так, что и не заметишь. А в общем получилось прекрасно.

С кухни возвращался Ленин и потирал руки, которые он, видимо, мыл там. Увидев Луку Матвеича, раскуривающего трубку и разговаривающего с Красиным, он подошел к нему и сказал недовольно:

– И вы, батенька, хороши: вздумали учить Мартова марксизму, революционному марксизму, и искусству баррикадных боев. Поздно учить таких, товарищ Лукьян, очень поздно. А жаль. Умница ведь был, а свихнулся. И прекрасный работник и товарищ. Уж я-то знаю его по «Союзу борьбы».

– Он сам напросился, Владимир Ильич. И – не скрою: я готов схватиться с ним на пояски. Или на кулаки. Надоело, устали мы, рядовые партийцы, слушать этих пророков оппортунизма. Я всю жизнь их слушаю, уши попухли уже...

– Гм, гм. И я, представьте, всю жизнь слушаю, и у меня, кажется, уши начинают припухать. Но, – развел Ленин руками, – такова наша, как

говорится, доля — воевать, заметьте: воевать. Однако сила марксистов заключается не в кулаках. Сила революционных марксистов заключается в абсолютной, не сравнимой ни с каким иным мировоззрением, убежденности в правоте дела, которому мы с вами служим верой и правдой. Так-то. Ну, пошли, а то Юлий Осипович заподозрит нас во фракционном заседании. А мы как раз будем сегодня читать тезисы об объединении наших фракций: большинства и меньшинства... Да, Лука Матвеич, вам придется сегодня рассказать пообстоятельней о положении дел на юге. Вместо сообщений с мест, которые мы делали на Таммерфорсской конференции.

— Я готов, Владимир Ильич. И прошу дать мне слово на часик.

— Многовато. Время, время нынче такое бурное и архистремительное, что говорить много просто некогда, невозможно совершенно. Так что не обессудьте, товарищ Лукьян. Полчасика — это максимум.

Лука Матвеич согласно кивнул и буркнул без особого удовольствия:

— Что ж, раз нельзя, значит, нельзя. Время действительно не такое, чтобы митинговать. Да митинги теперь и не помогут...

— То есть как это — не помогут митинги? — спросил Ленин так, как будто услышал нечто несуразное до крайности.— Вы хотите сказать, что все уже пропало? Все уже разгромлено дубасовыми, ренненкампфами и прочими генералами-карателями? Ну, знаете, уважаемый товарищ Лукьян, уж от вас я этого не ожидал. И если вы с этим сообщением прибыли к нам, если этим откровением хотите порадовать нас, то вам и пяти минут будет вполне достаточно. Впрочем, вы с успехом уже выполнили свою задачу.

Лука Матвеич покраснел, как студент на экзаменах, но ответил твердо и даже немного сердито:

— Владимир Ильич, я хотел начать свое сообщение со слов, которые говорил арестованным югоринцам: «Выше голову, товарищи! Революция продолжается!..» Если такое начало моего сообщения вас удовлетворяет, можете дать мне пять минут.

— Вполне, абсолютно удовлетворяет,— одобрительно произнес Ленин, и глаза его сверкнули озорно и весело, а правый даже немного прищурился от удовольствия.— Вот теперь я узнаю нашего старого воробья. Приятные речи приятно и слушать.— Он обнял Луку Матвеича и повел его в комнату, продолжая: — Да. Именно — революция продолжается! И будет продолжаться и тем более идти вглубь и вширь, чем более свирепое, насквозь лицемерное, кровавое правительство будет подавлять непокорных в кавычках и будет пытаться загнать их в петропавловки, бутырки, нарымы, сиречь заставить широчайшие массы революционного народа отказаться от борьбы. Но результат этих усилий реакции будет прямо пропорционален тому, чего добиваются наши противники: за Питером поднялась Москва, за Москвой — донецкие шахтеры и металлисты, за этими — центрально-промышленный район, а там — Урал, Сибирь, Кавказ и так далее. Силища! — поднял он руку вверх.— При такой силище российский пролетариат может одержать, и непременно одержит, и вторую победу в революции. А вторая победа будет социалистическим переворотом не только в России, но и во всей Европе. Так и только так стоит вопрос, говорим мы, большевики. Надеюсь, так скажете и вы, товарищ Лукьян.

Красин видел: Ленин уже ходил по комнате, заложив руки в карманы своих черных, давно соскучившихся по утюгу брюк, и голову держал высоко, вызывающе даже, точно ждал противника и приготовился к схватке, а глаза так и сверкали, так и искрились победно. И весь он, небольшой и коренастый, налитой всеми жизненными соками и заведенный на все пружины, был огонь и кипение.

Казалось, он, Ленин, видел ее, всероссийскую победную революцию, и слышал ее громовую поступь, и ждал, напряженно и торжественно, готовясь сказать ей нечто, что следовало сказать именно ей, великой революции России, ее зачинателям, ее солдатам.

Лука Матвеич собрался с мыслями и продолжал немного повеселевшим тоном:

– В общем, рассказывать, Владимир Ильич, и ночи не хватит. Коротко можно сказать так: воевал на баррикадах весь народ. И даже такие люди, которые всю жизнь только тем и занимались, что читали святые писания да посылали деньги гробу господню в Иерусалим...

Ленин тотчас же остановился посреди комнаты, широко раскрыл глаза, и в них засветились огоньки.

– Воевали, говорите? Всем народом? – переспросил живо и звонко. – Все это и есть альфа и омега данной революции: народ превратился в воюющую армию. И как бы наши плехановцы ни говорили и ни писали: «Не надо было выступать! Не надо было браться за оружие!», истина от этого не перестанет быть истиной: надо было браться за оружие, милостивые государи. Да-с! – метнул он гневный взгляд в Мартова. – Ибо только открытое, действительно всенародное революционное выступление всей массы пролетариата и крестьянства способно свалить, и свалит наверняка, насквозь прогнивший, насквозь фальшивый и продажный полицейско-бюрократический строй и объявит демократическую республику рабочих и крестьян.

Он сказал это Луке Матвеичу и перед ним одним сделал резкий жест правой рукой, будто прибил свои слова к доске на веки вечные. И все, кто был в комнате, стояли и ждали, что он скажет еще, и наблюдали за ним, затаив дыхание, будто он был не перед горсткой деятелей партии, а стоял на трибуне перед огромной аудиторией, перед тысячами людей, которые ждали именно его слов: от них зависели несчетные человеческие судьбы.

Об этом думали Лука Матвеич, Красин, Горев – все. И, видимо, Мартов думал об этом, потому что он лишь посматривал на часы-ходики и в который раз вновь мучил свои несчастные листки, шелестя ими перед самым лицом. Ленин говорил с огоньком, с вызовом, с никогда не покидавшей его уверенностью, и Мартов отлично понимал, что все его слова адресовались в первую очередь ему, Мартову, и всем тем, кто стоял за его спиной, но не присутствовал здесь.

Впрочем, Мартов-то достаточно знал Ленина, и его темперамент, и его неиссякаемую убежденность в правоте всего, что он делал. И Мартов мысленно сказал: «Этой его энергии, силы духа, бесподобной убежденности в правоте именно тех принципов, тех взглядов, кои он исповедует, поистине хватило бы на всех нас. Этого не отнимешь. Эти-то качества заставляют уважать его не только со стороны единомышленников, но и противников».

Юлию Мартову нельзя было отказать в чувстве объективности. Ленин уважал его за это и говаривал, что работать с ним, когда он забывает о своем меньшевизме, – одно удовольствие. Но сейчас Ленин видел перед собой именно лидера меньшевизма и весь гнев и всю силу страсти нацеливал в его адрес.

Мартов молчал, то ли не желая выдавать свои мысли прежде, чем он получит слово для доклада об условиях предстоящего формального объединения обеих частей партии, то ли просто не был готов ринуться в спор. Во всяком случае, он перестал улыбаться, перестал читать свои тезисы и, видимо, ждал, чем кончится стихийный, как он мысленно назвал, доклад этого лукавого Луки, который то и дело бросал на него ехидные взгляды.

И все члены ЦК и ПК отлично понимали, что Ленин разговаривает не только и не столько с Лукой Матвеичем, хотя тот прибыл из самой гущи событий. Но если бы Луке Матвеичу больше и не о чем было говорить и он умолк бы, никто все равно первым не сказал бы: «Владимир Ильич, время подошло, пора начинать заседание». Не сказал бы по одной причине: Ленина всегда хотелось слушать на любой сходке или заседании, в любом окружении. С ним было удивительно хорошо и легко, и его присутствие всегда привносило особенное настроение, которое трудно было и определить, а можно было сказать так: «Все идет отлично, друзья! Все будет хорошо!», хотя было много трудного и тяжкого и не все и не всегда удавалось делать действительно хорошо. Но Ленин потому и был Ленин, что умел видеть жизнь не только ту, которая окружала тебя сегодня, но и ту, которая будет завтра, послезавтра, и через год, и через годы, и непостижимо отчетливо представлял себе все ее тайные и возможные ходы, какие раскрывались перед умом его задолго до того, как это поймут и увидят другие.

Это было той особенностью Ленина, его не сравнимой ни с чем способностью все учитывать, все взвешивать и проверять до мельчайших подробностей, прежде чем сказать «да» или «нет», которой никто другой из близких его, как равно и противников, не обладал.

Мартов хорошо понимал это и думал: «Вот откуда он все знает и вот почему все видит: он буквально набрасывается на свежего человека и от него узнает все, а через это узнанное проверяет себя, свои мысли и способы действия для каждого момента. А мы этого не делаем и делать не умеем».

Лука Матвеич был предельно собран и сосредоточен и старался говорить только то, что следовало. Но ему так много хотелось сказать! А времени уже совсем не осталось, и, по всему видно, собравшиеся в уме поругивали его, что он попался на глаза Ленину в такое неподходящее время – в канун очень важного совещания.

А тут еще и Красин посмотрел на свои карманные часы и удивительно светлыми и добрыми глазами глянул на Луку Матвеича буквально умоляюще: мол, да кончай же ты, старина, свой доклад. По крайней мере, Лука Матвеич так и понял его взгляд, и ему стало неловко: разболтался, как у тещи на именинах. И тогда он решился напомнить Ленину, что время уже подошло и пора начинать собрание.

– Владимир Ильич, нас ждут. Лучше я доскажу потом, чтобы других не задерживать. Да и что рассказывать? Идет война народа против самодержавия – вот и весь доклад, – заключил он.

На этот раз Ленин поднял глаза, посмотрел на старинные часы-кукушку, что тихо отстукивали минуты, и возразил:

— У нас есть еще целых три минуты, так что говорите, говорите. Это очень полезный, превосходный во всех отношениях доклад о событиях в стране и на юге. Имеющие уши — да услышат, имеющие глаза — да увидят: в стране действительно идет война народа с самодержавием, как вы совершенно правильно выразились, товарищ Лукьян. Поднимается масса крестьянства и становится на сторону революции, в стане врага растет растерянность, разложение, бессилие. Вот почему мы и говорим,— опять метнул он гневный взгляд на Мартова,— что в интересах революции, в интересах социализма мы должны приложить все силы партии и каждого ее члена для того, чтобы демократический переворот осуществился быстрее, полнее и решительнее. Так и только так мы должны говорить партии, рабочим, всей массе революционного пролетариата и крестьянства. Иначе мы не были бы большевиками, марксистами — в этом теперь суть дела! — звонко закончил он фразу и бросил одну руку в карман, а другую опустил, и она застыла. И спросил у стоявшего поблизости Горева: — Мы в самом деле задерживаем начало собрания, товарищ Горев? В таком случае придется прервать нашу беседу, а то товарищ Мартов еще заподозрит нас во фракционном сговоре против объединения.

Мартов ответил добродушно:

— Лукьян еще не все шпильки пустил в мой адрес, так что пусть продолжает. Если, конечно, товарищи согласны со мной.

— Нет, нет, зачем же нарушать принятый порядок? Коль время подошло, значит, подошло,— сказал Ленин и добавил: — А шпилек мы вам, мекам, еще подбавим. Гм, гм... и тут ничего не попишешь, придется подчиниться.

Со всех сторон послышались смешки, голоса:

— Дайте Лукьяну выговориться, Владимир Ильич, он еще не всю свою любовь высказал товарищу Мартову.

— Правильно. И наше собрание, можно сказать, уже началось.

Ленин развел руками и покорно согласился:

— Я человек дисциплинированный и могу слушать товарища Лукьяна весь вечер, если вы позволите и если, разумеется, того же желает и сам оратор. Как, товарищ Лукьян? Продолжайте, продолжайте, нам разрешили поговорить. Теперь-то встретимся, поди, не так скоро... Дальше что было?

Лука Матвеич погладил лысину, что обычно делал перед тем, как сказать нечто особенное, и продолжал:

— А дальше было так: мы издали манифест, сложили с рабочих и с мужиков окрестных хуторов все недоимки, уравняли оплату труда женщин с мужчинами. Наконец, ввели восьмичасовой рабочий день для взрослых и шестичасовой для подростков и взяли фактически под свой контроль ведение дел завода и предприятий.

И тотчас же раздался торжествующий и звонкий, как сама молодость, голос Ленина:

— Ведь молодцы какие металлисты и шахтеры, а?! Они уже сейчас, уже в данной революции преподали для будущих Советов Российской республики наглядный и прямо-таки прекрасный урок и образец революционной, социалистической уже, организованности и социалистического по-

нимания очередных задач настоящей демократической революции, задач, которые встанут на очередь дня сразу же после свержения самодержавия и установления демократической республики. Поистине, революционная практика ежедневно и ежечасно обогащает революционную теорию марксизма... Продолжайте, продолжайте, товарищ Лукьян. Об армии вы еще ничего не сказали. Как солдаты держались? Что делали во время вашего восстания? Поддержали? Отсиделись в казармах? Ждали агитаторов, которые, разумеется, не пришли, забыли прийти? – сыпал он вопрос за вопросом.

И тут Лука Матвеич опустил голову и умолк. Нечем ему было хвалиться, нечего было сказать о солдатах. Да, сочувствовали, да, хотели поддержать, но дальше обещаний не пошли, побоялись, не сумели пойти. И он так и ответил, со вздохом, с горечью и стыдом:

– Тут как раз и нечего рассказывать, Владимир Ильич. Солдаты согласны были поддержать, батарейцы например, но выступить целиком на стороне революции не смогли. Побоялись. Долго митинговали. А тем временем казармы окружили и всех разоружили. Мы и на том сказали спасибо, что хоть не выступили на стороне властей.

– А вот и напрасно говорили, напрасно успокоились, батенька. Вы поступили архиошибочно и неправильно, – заметил Ленин и сделал два шага вперед, два назад. – Точно так же, как московские товарищи понадеялись на сознательность солдатских масс. А следовало всеми силами и средствами пропаганды и агитации склонить солдат к активным действиям, к активным выступлениям против самодержавия, с оружием в руках. Это и есть одна из самых непозволительных и самых губительных ошибок революции, плод недооценки агитации в войсках, нерешительности, наконец...

Лука Матвеич переминался с ноги на ногу и не знал, что ответить. Да, понадеялись, да, плохо и мало агитировали, ну а питерцы, Питерский Совет лучше агитировал, что допустил отправку в Москву семеновцев? И, вздохнув, Лука Матвеич сказал:

– Не мы первые, не мы последние, Владимир Ильич. Солдаты вообще не входили в наши виды, это общая наша беда. Питерский Совет вон допустил до того, что семеновцы поехали громить Пресню.

– Гм, гм... – только и произнес Ленин, а потом отошел к окну, постоял там несколько секунд, задумчиво нарисовал что-то на заиндевевшем стекле и сказал глухим и как бы надорванным голосом: – Да, товарищ Лукьян. Вы, к несчастью, ко всеобщему нашему несчастью, правы по всем статьям. – И, повернувшись лицом к Луке Матвеичу, продолжал уже возмущенно, горячо: – Это позор, неслыханный, невиданный во всей деятельности Питерского Совета: не помешать отправке в Москву карателей-семеновцев! Это практический результат, если хотите, тех колебаний, шаткости, растерянности перед событиями, которые все время проводила головка Питерского Совета, – так скажет история этому Троцкому. Он, и еще раз он, повинен в истощении сил питерского пролетариата стачечной борьбой и неподготовленности его к активному вооруженному выступлению вместе с московскими и другими товарищами. И ЦК повинен, – кинул он резкий взгляд на Мартова, Горева, Красина. – Да, да, товарищ Мартов, ЦК, ибо один большевистский ПК ничего поделать не мог и заме-

нить этих, с позволения сказать, руководителей Питерского Совета не имел решительно никакой возможности.

Он опять заходил и закипел от волнения, а все, кто был в комнате, помрачнели и стали закуривать, но, как по уговору, едва чиркнув спичкой, тут же гасили ее.

Ленин заметил это, немного успокоился и сказал более ровным голосом:

— Да. Эту ошибку мы должны и обязаны исправить, елико возможно, быстрее, теперь же, иначе мы никакого нового выступления весной сего года не подготовим и не получим. Переход армии на сторону народа — это уже победа революции... Ну, а теперь покурите, и будем начинать совещание. Товарищ Мартов наизусть, поди, выучил целый реферат.

Мартов пожал плечами и шутливо ответил:

— Что поделать? Что дано Юпитеру, то не дано простому смертному, Владимир Ильич. Так что не сетуйте, именно прочту реферат.

— Еще раз покорно благодарю за комплимент, Юлий Осипович. Вы сегодня что-то мягко стелете мне, как бы спать не пришлось жестко. Ну-ну, валяйте, сдюжим. Так, товарищ Лукьян? — заговорщически подмигнул Ленин Луке Матвеичу.

— Попробуем, Владимир Ильич. Чай, не впервой.

— От меков всего лишь один товарищ Мартов присутствует, а нас — дюжина, — улыбнулся Красин.

Ленин, как бы между делом, заметил:

— Александр Васильевич Суворов, помнится, говаривал: побеждать след не числом, а умением. Советую записать это... Итак, — поднял он голову и обвел всех ясным, открытым взглядом, — слово по поводу думской тактики нашей партии в избирательной кампании имеет товарищ Мартов... Прошу, Юлий Осипович. Регламент, я полагаю, пятнадцать минут. Хватит вам? Мне, например, этого будет вполне достаточно.

Мартов согласно кивнул головой, достал из кармана листки, посмотрел на них внимательно и выпрямился. И стал как бы выше ростом, а смуглое лицо его точно окаменело и говорило: «Ну-ну, милостивые государи, посмотрим, что у вас получится».

Красин подошел к Ленину, что-то пошептал ему и, когда Ленин сказал: «Благодарю. Я согласен», ушел, бросив многозначительный взгляд на Луку Матвеича.

Лука Матвеич проводил его и, закрыв дверь поплотнее, немного подержался за ручку, ожидая, не попытается ли кто приоткрыть дверь из коридора. Но в коридоре никто к двери не прикасался.

Совещание началось.

Опасения Луки Матвеича и Красина подтвердились: дом оказался обложенным шпиками и, не будь выхода через чердак, неизвестно, чем бы кончилось.

Уходили цепочкой: Красин, Ленин, Лука Матвеич, Горев, Мартов и остальные. Шли молча. И потому, что нельзя было разговаривать, и потому, что разговаривать никому не хотелось. Совещание прошло бурно, каждый выступал по нескольку раз, и все устали донельзя. Но все были довольны: наконец-то в партии наступит относительное спокойствие, оба

центра партии сливаются, и теперь все силы можно действительно, как говорил Ленин, направить на подготовку нового, решительного подъема революции весной наступающего года.

Одно осталось нерешенным — тактика по отношению к Государственной думе: большевики настаивали на бойкоте выборов, меньшевики были против бойкота. Каждая часть партии оставила за собой свободу пропаганды своей точки зрения в партийных организациях и в партийной печати. Окончательное решение примет Четвертый съезд.

Лука Матвеич беспокоился: большевистские организации на местах ослаблены арестами, и готовиться к грядущим событиям лучше было бы обеим частям партии. Пойдут ли на это лидеры меньшинства на местах? И сейчас было не до думы, сейчас надо было ковать оружие, учить людей стрелять, создавать боевые дружины. Поймут ли все это те же лидеры меньшинства и не будут ли мешать своими криками: «Не следует браться за оружие! Уже брались, а что вышло?»

Трудно было поверить, чтобы все теперь пошло так, как того хотелось бы. Но следует попробовать и этот путь — объединение. Ленин прав.

Красин все время предупреждал:

— Осторожнее, вверху — балка... Под ногами — перекладина...

Ленин шутил:

— То-то — боевик. Все видит и ночью. А я, представьте...

Раздался глухой стук, и голос Ленина оборвался. Потом негромко послышалось:

— Господа, а я, кажется, набил порядочную шишку. Нельзя ли остановиться и немного осмотреться?

Все остановились, осмотрелись. Ленин заметил Луку Матвеича, тихо спросил:

— Товарищ Лукьян, а что же вы ничего не сказали о судьбе руководителя восстания? Леона, кажется?

Лука Матвеич вздохнул и не сразу ответил:

— Леон... арестован. И Чургин арестован. И много других товарищей. Леону грозит каторга, в лучшем случае.

— Да, в лучшем случае,— задумчиво подтвердил Ленин.— Напомните мне об этом, пожалуйста, завтра.

— Хорошо, Владимир Ильич.

На улицу выходили поодиночке.

Мела поземка, завывал ветер и швырял снег в лицо, за воротник и, кажется, норовил швырнуть в самую душу. Колокола давно умолкли, народу на улицах уменьшилось, однако не все еще управились и не все закупили, поэтому возле магазинов было по-прежнему шумно и людно.

Красин тихо напомнил:

— Разговаривать нельзя, господа.

— Гм, гм. Покорно благодарим,— смущенно проговорил Ленин и предупредил: — Снег, снег не вздумайте стряхивать с себя. Прекрасная маскировка получается. А теперь — глухи и немы.

Вскоре они вышли на Невский и затерялись в толпе.

А снег все падал и падал, и ветер швырял его во все стороны со щедростью и свистел соловьем-разбойником, будто засыпать и оглушить хотел всех городовых, и те топтались на одном месте, кутались в башлыки

и ровно никакого внимания не обращали на весь мир, а не только на прохожих.

Этого-то и хотелось Красину и Луке Матвеичу, шедшим теперь уже на некотором расстоянии от Ленина: один – впереди, другой – позади. И оба сжимали в карманах револьверы и были готовы на все.

...Инженер Рюмин встретил их радостно и немного растерянно: сестра Марфенька, как ее звали по-домашнему, отказалась идти домой, к отцу, видному сановнику, который опять станет читать ей нравоучения о правилах поведения курсисток Бестужевских курсов. Правда, Рюмин отчасти и рад был этому: по крайней мере, будет кому приготовить на стол в случае необходимости. Но он не сказал сестре, кто у него будет ночевать сегодня, а сказал, что придет адвокат, приятель инженера Красина, и, возможно, останется до утра.

Марфенька была дока отменная, частенько хаживала на нелегальные собрания, бывала среди рабочих, помогая подругам, которые преподавали в вечерних рабочих школах на окраинах Питера, и не так просто отнеслась к просьбе брата быть тише воды и ниже травы. Наоборот, она решила непременно докопаться, кто же может быть этот загадочный адвокат, которого брат вздумал приютить конечно же не только по соображениям дружбы с Красиным. Однако Марфенька сделала вид полного равнодушия и к брату и к его гостям и, усевшись за рояль, самым беспечным образом предалась музицированию.

Сейчас она играла Чайковского, и звуки рояля громко доносились из роскошной гостиной, куда она укрылась, эта хитрая Марфенька, и откуда прислушивалась к каждому шороху в прихожей и во всей квартире, снимаемой братом.

Инженер Рюмин ничего не придумал лучшего, как поспешно прикрыл дверь, которая вела в гостиную, словно там было жандармское управление, а вернувшись, негромко и виновато сказал:

– Сестра Марфенька... Удивительно упрямая девчонка, не захотела уходить домой – и вот, видите? Музицирует.

Ленин снял пальто, шапку, прислушался к звукам музыки и закивал головой:

– Не следует мешать... Михаил Константинович, кажется? Слышать – слышал, а знать лично не имел чести, извините.

– Михаил Константинович, – смущаясь, подтвердил инженер Рюмин и хотел пригласить Ленина в кабинет, да Ленин уже прислушивался, подошел ближе к двери, приоткрыл ее немного и так остался стоять, устремив взгляд кверху и о чем-то думая.

– Прелесть, честное слово! – прошептал он и знаком поманил всех к себе. – Это настоящий Чайковский. Тсс, – приложил он палец к губам и весь стал внимание.

Марфенька явно прозевала и ничего не видела и ничего не слышала, а Ленин, Рюмин, Лука Матвеич и Красин стояли возле двери и слушали.

– Молодчина, право, – через некоторое время опять заметил Ленин. – Я давно не слышал этой вещи... Из «Времен года», кажется? «На тройке»? – спросил он и сам ответил: – Так и есть. Ах, какая у вас сестра, Михаил Константинович! Так мягко, так вдохновенно все у нее получается. Вы не

находите? – шептал он и все более и более открывал половинку высокой двери и все более входил в гостиную. Наконец он раскрыл дверь совсем, вошел и замер, прислонившись спиной к косяку и откинув голову.

Лука Матвеич стоял позади него. И вспомнилась ему молодость, вспомнилась жена, хитрое венчание, когда вместо старшей сестры под венец стала младшая, вспомнились донские бескрайние степи и цветы, цветы, куда ни кинь взгляд. И Лука Матвеич взгрустнул. Да, быстро, очень быстро идет время: недавно, кажется, был молодым, а вот уже лысина разлеглась на всю голову и седина в бороде появилась...

И Лука Матвеич посмотрел на Ленина и подумал: «И он, должно, вспомнил молодость... Надежду Константиновну... Эх, время!»

В эту минуту музыка умолкла, и настала тишина. Вдруг Ленин как бы очнулся, захлопал в ладоши и восторженно сказал:

– Браво! Прелестная вещь, прелестная исполнительница! Давно не получал такого удовольствия... Нуте-с, а кто же познакомит меня с этой чудесной пианисткой, любопытно? – посмотрел он на Рюмина и на Красина с лукавинкой и озорством.

Инженер Рюмин позвал сестру, которая уже встала из-за рояля и смотрела на гостей удивленными и обрадованными глазами, а когда подошла к Ленину, Рюмин представил его:

– Это тот самый человек, сестра, о котором я тебе говорил: адвокат.

Марфенька сказала просто и немного смущенно:

– Здравствуйте, Владимир Ильич. Я так и знала, что брат обманывает меня, и поэтому не пошла домой.

Ленин всплеснул руками и весело воскликнул:

– Вот и крышка нашей конспирации, знаменитой нашей конспирации, господа. Благо, что мы попали в общество такой пианистки, знакомство с которой доставляет одно удовольствие, – пожал он руку Марфеньке и посмотрел на ее тонкие и длинные пальцы. – Ах, вот почему она так играла! Обратите внимание: у нее истинно моцартовские пальцы... Спасибо, огромное вам спасибо, Марфа Константиновна, за доставленное всем нам наслаждение. Такая молоденькая – и такая мастерица.

Марфенька застеснялась, зарделась и опустила глаза.

– Ну что вы, Владимир Ильич. Я просто для себя...

– Понимаю: не любите комплиментов. Я сам не люблю. В таком случае разрешите спросить, Марфа Константиновна: не найдется ли у вас по стаканчику чайку? Мы порядочно озябли, видите вон сих господ? Они стоят, как ледяшки, и не могут произнести ни слова, перемерзли, несчастные, – шутил Ленин, кивая на Рюмина, Луку Матвеича и Красина.

И тогда инженер Рюмин спохватился и пригласил всех в кабинет.

Чай пили кто где: Ленин сидел в глубоком кожаном кресле и больше грел руки о стакан, чем пил, а Лука Матвеич и Красин устроились по углам дивана и тоже держали стаканы в руках.

Ленин рассматривал кабинет, обставленный дорогой мебелью, устланный толстым красноватым ковром, занавешенный тяжелыми бархатными красными портьерами, а сам все время о чем-то думал.

Лука Матвеич неожиданно сказал:

— Владимир Ильич, а ведь Надежда Константиновна просидела тогда у окна всю ночь, вас поджидала. А каких блинов наготовила! Да, вот эти письма она просила передать вам,— достал Лука Матвеич пачку писем.

Ленин обернулся к нему, взял письма, бегло просмотрел конверты и шутливо спросил:

— Блины? Отменные? Ах, какая жалость! С блинами-то у нас связана целая романтика, наше первое знакомство. Я поэтому и намерен был прийти, вспомнить. Гм-гм...— запнулся он и с легкой грустью продолжал: — Меня хотели арестовать, но я успел удрать. Однако завтра я непременно их проведу, шпиков. А за письма — благодарю.

Рюмин застенчиво предложил:

— Владимир Ильич, вы можете жить у нас хоть месяц. Вместе с Надеждой Константиновной. Это безопасно вполне.

— Можно? Так это же прелесть — жить и не думать о шпиках! — весело произнес Ленин.— Благодарю, покорно вас благодарю, товарищ Рюмин. Но, знаете, о чем я все время думаю? О Леоне, о Чургине... Нельзя ли их освободить как можно скорее? Ну, на худой конец, взять на поруки. Чургина, например, ибо Леона не дадут.

— Трудно это сделать, Владимир Ильич...

— Не дадут, вы хотите сказать. Гм... Возможно. Но надо же что-то предпринять! — повысил он голос тревожно и настойчиво.— Повесят ведь, уж я это знаю. Военно-полевой суд — и все будет кончено. О Леоне речь. Он руководил Советом и восстанием... Леонид Борисович, а вы со своими боевиками не смогли бы отправиться на юг? Быть может, устроить налет какой-нибудь, например, когда будут конвоировать арестованных? Как вы полагаете? Или вы, Михаил Константинович?

— Я согласен, Владимир Ильич,— ответил Рюмин.

— По-моему, следовало бы поручить его защиту какому-нибудь опытному адвокату,— раздумчиво сказал Лука Матвеич.— Если не удастся выручить, попытаемся устроить побег.

Ленин задумался, позвенел ложечкой о стакан и решительно сказал:

— Я беру это дело на себя. И днями потолкую со своими старыми коллегами. Не возражаете?

— Спасибо, Владимир Ильич,— взволновался Лука Матвеич.

— Вот и отлично. Значит, условились? В таком случае давайте поговорим, что нам следует делать завтра, на низах. Центры-то наши на днях будут объединены, а как пойдет на местах? Не сядет ли нам на шею меньшинство и не станут ли местные лидеры меков полегонечку превращать наши комитеты в придаток либеральствующих краснобаев справа и слева? Эту тенденцию мы должны видеть уже сейчас, уже сегодня и, елико возможно, все предусмотреть и учесть при формальном слиянии обеих частей партии.

Он поставил стакан на стол, отдернул тяжелый красный занавес у окна, открыл форточку и, придвинув кресло, сел.

— Садитесь-ка, судари мои, поближе. Мы сейчас кое-что проясним на бумаге. Написанное — дважды прочитанное. А затем тиснем в газете.

Он взял ручку, макнул перо и, немного подумав, склонился над столом и стал быстро писать.

Лука Матвеич моргнул Красину, Рюмину, и все бесшумно, на носках, вышли из кабинета.

Марфенька было разогналась в кабинет, держа на тарелке дымящиеся пончики, и, сияющая, на ходу говорила:

– Пончики, господа, хотите?

Рюмин приложил палец к губам, взял у нее тарелку и прошептал озорно и торжествующе:

– Пончики твои мы успеем съесть. Приготовь-ка лучше ветчинки, икорки, лососины и все прочее, что ты там припасала к масленице. С нами будет ужинать товарищ Ленин! – значительно сказал он и, обняв сестру, взъерошил всю ее прическу.

– Ой, что же ты наделал, Михаил? Я совсем, совсем стала теперь как старая баба-яга, – ужаснулась Марфенька и побежала на кухню.

А Рюмин обнял Луку Матвеича и Красина и сказал проникновенно:

– Спасибо, великое вам спасибо, друзья мои, что вы пришли, что с вами пришел Владимир Ильич, что все вы существуете, мыслите, действуете и помогаете жить. Располагайте покорным вашим слугой во всем и всегда...

Лука Матвеич переглянулся с Красиным, и оба молча прижали его к себе так, что Рюмин качнулся сначала вправо, потом влево, а когда высвободился, быстро пошел к Марфеньке, переполненный радостью.

– Да, добрый большевик, – сказал Лука Матвеич и, заглянув в кабинет через щелку приоткрытой двери, потянул за руку Красина.

Ленин уже сидел без пиджака, в жилете, читал письма. Лицо его, озаренное настольной лампой, было строго и удивительно нежно и прекрасно, как бы изваянное из мрамора.

О чем он думал, что видел в непроглядной темени за окном? Видел град Петров сквозь дымку грядущего? Думал о завтрашнем новом великой земли русской и мысленно старался провидеть и начертать людям пути-дороги в прекрасное завтра?

Трудно было сказать. Но если бы об этом спросили у Луки Матвеича, у Красина, они бы ответили, не задумываясь: «О революции. Ленин думает о победе революции. И завтра будет думать, и всегда...»

Вот Ленин тоненько стукнул пером о чернильницу и стал писать быстро-быстро, склонив голову немного набок и следя за текстом как бы искоса.

Лука Матвеич заметил: на локте его, на белой сорочке, проглянула робко и смущенно маленькая заплатка и тотчас же спряталась, словно устыдилась постороннего взгляда.

Лука Матвеич и Красин переглянулись и отошли от двери. Радостно было на душе у них оттого, что здесь, в полной безопасности, сидит и работает и может отдохнуть Ленин, а вместе с тем и было тревожно: много, очень много работает и очень скромно живет Владимир Ленин...

Лука Матвеич достал трубку, табак и долго не закуривал. А Красин вынул из кармана бумагу, взял у Луки Матвеича щепотку табаку и стал делать цигарку, а потом вздохнул, кивнул ему, и оба вышли на кухню, к Рюмину.

На улице по-прежнему выл ветер, и было слышно, как бился в окно и шуршал снег, будто просился в комнату отогреться.

Глава вторая

...Революция продолжается!

На рудниках Донецкого каменноугольного района шахтеры сражаются с казаками. В Шуе бастуют тысячи текстильщиков. Читинская республика не задушена и бьется с карателями. Солдаты и матросы Владивостока, Бобруйска, Прибалтийского края братаются с бастующими рабочими и маршируют по улицам под красными знаменами... В Сибири, в Закавказье, в Поволжье и на Украине крестьяне вновь жгут барские имения и делят землю кровопийц помещиков... Близок, близок день, когда над Россией тюрем и виселиц взойдет солнце свободы, равенства и братства...

— «Выше голову, товарищи! Революция продолжается...»

Это Яков читал листовку, которую Френину сунула какая-то отчаянная голова на харьковском вокзале, когда тот выходил купить курицу. Старый помещик, вернувшись в вагон, долго рвал на куски курицу, долго ел ее, а когда хотел вытереть жирные руки, достал из кармана листовку вместо платка, размазал ею жир по бороде и губам и, бросив на столик, где покоились бутылки с ярлыками золотыми и серебряными, с сельтерской водой, забился в угол, накрылся шубой и погрузился в безмятежный сон.

Яков сидел возле окна. За окном вагона бежали трубы, красные, и черные, и седые, как столетние старухи, и каждая дымила на свой манер то дымом рыжим, как хвост лисы, то желтым, как канарейка, то синим-синим, как васильки в степи, а некоторые извергали огонь. Чад стоял всюду такой, что и в вагоне чувствовалась едучая сернистая гарь и было неприятно дышать.

И думал Яков: значит, революция приказала долго жить. Заводы и фабрики вон чадят на весь свет и извергают огонь, железные дороги покорно возят пассажиров, мужики промышляют извозом и тащат на своих горе-лошадках всякую всячину в города и поселки. Значит, Николай Второй выполняет свои обещания — раздавить, сокрушить крамолу под корень, и делает это по всем правилам военного искусства, о чем почти ежедневно пишут газеты. Правда, говорят, что у царя уже кончились денежки и он послал графа Коковцова в Париж с наказом выклянчить у французских банкиров хотя бы миллиард целковых, а графу Витте повелел умолить Вильгельма Второго отсрочить платежи по займам германским банкирам.

Но Якову мало было дела до царской казны, ему важно было, чтобы его собственные денежки не перекочевали в карманы республики, буде господа левые добьются первой цели: свержения царизма.

Не нравилась Якову демократическая революция? О нет, за нее он готов был отдать несколько тысяч, но при одном условии: чтобы на том дело и кончилось и чтобы левые перестали быть левыми и не вздумали бы устраивать в России новую Парижскую коммуну.

А Яков лучше других, по крайней мере лучше своих соседей, помещиков, знал, что левые элементы именно к тому и тянут людей: сначала — демократическая республика, а потом ее по шапке — и да здравствует социализм. Об этом он слышал от Леона, от Чургина и даже от собственной своей жены, кинувшей его именно из-за того, что он не был в восторге от таких перспектив и пресекал их в зародыше с помощью казацких нагаек.

И вот эта листовка испортила все настроение, и ему уже досадно было, что он взял ее со столика и стал читать. Собственно, испортили ему настроение строки, где говорилось о захвате помещичьих имений и земель. Уж он-то хорошо знал, что коль подпольщики это пишут, значит, помещиков действительно жгут. И он темнел все больше и вновь перечитывал треклятые строки о поджоге имений помещиков и злобно все щелкал языком, как волк зубами, и размышлял: «Значит, подпольщики живы-здоровы, черт их не взял, и портят порядочным людям настроение. И, значит, царь не так силен, как разглагольствуют газеты...»

И Якову уже мнилось: палят мужики его кошары, громят имение, растаскивают скот, делят землю и хлеб.

Но Яков не любил распалять воображение всякими благоглупостями и фантазиями и поймал себя на мысли: «Перепугала тебя листовка, парень, настращали господа подпольщики, и тебе уже почудилось бог знает что. Так ли уж черт страшен, как его малюют эти бесшабашные головы, наверняка такие же, как Леон, Чургин и иже с ними? Слышали уже, видели, чем кончают эти головы. И тем же кончать будут всегда — тюрьмой, виселицей, Сибирью».

К такому заключению в конце концов пришел Яков, и лицо его посветлело. И тогда, шутки ради, он поднес листовку к лицу Френина, дремавшего в углу, из которого он выглядывал, как древний каменный идол, и сказал:

— Это про вас, милейший сосед, написано. Стоит почитать.

Френин смертельно устал. И оттого, что кутил всю масленицу, и оттого, что пил и пел всю дорогу священные псалмы и «камаринскую», и, наконец, просто оттого, что его уже всего искусали клопы и на нем не было живого места. Надо ли было говорить, что он рад был хотя бы часик подремать перед тем, как выходить, чтобы стать приблизительно похожим на человека, который возвращается с первого дворянского съезда Русского собрания. Ну, если и не с самого съезда, который он просто-напросто прогулял, то по крайней мере из самого Санкт-Петербурга.

И он, лениво приоткрыв правый глаз, посмотрел на листовку и тотчас открыл оба.

— Продолжается? — хрипло спросил он. — Что продолжается?.. А-а, опять жгут помещиков. Это меня не касается, я прожил и пропил все до нитки еще в прошлом столетии. А вот соседа, — оживился он и заговорщически подмигнул, — милейшего нашего соседа хватит кондрашка, клянусь святой мадонной. Налейте мне мадеры, я сейчас приготовлю в своем путаном мозгу самую яркую политическую речь, какую я когда-либо произносил, — сказал он Якову и постучал в соседнее купе, где ехал помещик Чернопятов и спал богатырским сном с самого утра, так что и Харькова не видел.

Чернопятов не пришел, а старый помещик не счел нужным стучать еще раз и, с удовольствием выпив вино, вновь забился в угол, опять набросил на себя шубу и скрылся под ней, а через минуту уже заливисто похрапывал.

Яков взял «Биржевые ведомости» и стал читать последнюю страницу, где были курсы всех бирж Европы.

И в это время дверь тихо отползла в сторону, и в купе боком вошел новый пассажир, втянул большой желтый саквояж и, что-то положив в него, плотно закрыл дверь.

— Вы позволите? — спросил он, когда в этом уже не было нужды.

Яков бегло глянул на него и ответил вяло и безразлично:

— Вы вошли уже... Присаживайтесь. Если промерзли — можете согреться, у нас тут припасена целая батарея, — кивнул он на столик и углубился в чтение.

Пассажир поставил в угол сиденья саквояж, повел носом и качнул головой, как бы говоря: «Ну и ну...» Потом снял серую каракулевую шапку-вареник, шубу с таким же воротником, вынул ноги из черных суконных гетр-бот и, разгладив тронутые сединой волосы, расчесанные надвое, сел и достал из кармана газету. Но саквояж от себя не отпускал, а накрыл его шубой, и Яков подумал: «Трясется, будто там у него золото» — и посоветовал:

— Оставьте в покое ваш саквояж. Мы сейчас выпьем с вами по маленькой... Мой сосед, бог дал, напился по горло, вторую неделю кутит, так что он нам не компания.

Пассажир поинтересовался:

— Помещик Френин? Видал, видал, как он на ваших рысаках откалывал номера с цыганами на Невском... Добрую рекламу сделал вашим лошадям, весь Питер говорит об этом, так что ждите заказчиков.

Яков смотрел на него во все глаза и ничего не понимал. Откуда этот человек знает его, Якова, его соседей и даже то, что именно в целях рекламы Яков дал Френину своих рысаков для катания по столице? И он усмехнулся и сказал:

— Вы — коммивояжер, что все так обстоятельно знаете? Почту за честь познакомиться.

Пассажиром был Лука Матвеич. Он сел в Харькове, на вокзале увидел Френина, на всякий случай проследил, в какой вагон сел старый кутила, и понял, что в этом же вагоне едет и Яков. Сейчас случилось так, что надо было замести следы и отделаться от шпика, который увязался за ним с Харькова, и Лука Матвеич вошел в купе к помещикам. Едва войдя, он снял искусственные усы и бороду, так что Яков даже не заметил этого, а лишь обратил внимание на саквояж, который Лука Матвеич берег пуще зеницы ока — там были шрифты.

— Вы не хотите представиться? Или решаете международные проблемы, что молчите? — уколол его Яков, наливая ему вина.

— Мне представляться излишне, Яков Загорулькин... — ответил Лука Матвеич. — Адвокат я, еду по делу вашего зятя, Леона. Ему грозит... Впрочем, вы сами понимаете, что ему грозит в случае, если дело дойдет до военно-полевого суда. Они нынче в моде. Алена с ума сойдет, если вообще перенесет такое, — невесело заключил он и взял свой бокал. — Выпьем за добрый Новый год, хотя тост этот малость и запоздал.

Яков взял свой бокал и все еще не мог понять. Кто этот человек, который так подробно осведомлен о Леоне, знает Алену и конечно же принимает близко к сердцу ее горе? Или это самый обыкновенный шантажист и задумал выудить у него лишнюю сотню? «Ну, дудки, тут ты, дорогой, облизнешься», — подумал Яков и язвительно спросил:

— Вам сколько бы хотелось с меня получить за такой запоздалый тост?

Лука Матвеич увидел бобровую шапку, что висела на крючке, взял ее и самым бесцеремонным образом водрузил на свою голову.

— Добрая шапка. Идет? — спросил он, будто и не слышал вопроса Якова, а затем надел его шубу и заключил: — Теперь я — турок, не казак.

И Яков вышел из терпения.

— Да назовитесь же вы, черт возьми! — воскликнул он негромко.

Лука Матвеич будто оглох, и попивал вино с полным безразличием ко всему на свете, и прислушивался, не идет ли кто по коридору вагона. Наконец он доверительно сказал:

— Это — камуфляж всего только, на случай, если сейчас откроется дверь и просунется некая рожа. Ваша обязанность — сказать сей роже, что следует, чтобы не совал нос в чужое купе. Я знаю вас и уверен, что это-то вы сумеете сделать в отменном виде. Оксана не раз говорила...

Яков всплеснул руками. Чудеса в решете! Этот субъект все знает! Откуда, каким родом? Но спрашивать было некогда: дверь действительно приоткрылась, и в щель просунулась конопатая физиономия, в которой и Яков без труда узнал шпика. И у Якова молниеносно созрело решение.

— Вам что угодно, сударь? Или вы пьяны и не видите, кто едет в сем купе? — грозно спросил он и, встав, загородил собой Луку Матвеича, безмятежно попивавшего вино, а потом сказал тоном, не терпящим ни малейших возражений: — Если вы вздумаете следить за помещиками, милейший, смею вас уверить: я дам по морде, извините, не дожидаясь объяснений.

— Пардон, господа,— заискивающе извинялась и скалила зубы конопатая физиономия, а сама все же старалась заглянуть через плечо Якова.

Яков показал визитную карточку, потом сунул шпику под нос добрую фигу и снабдил все это весьма ясным и убедительным изречением:

— Вы — болван! Если бы мой сеттер вынюхивал след подобным манером, я выгнал бы его в двадцать четыре минуты. Пшел вон!

— Пардон, господин Загорулькин. Я ошибся, еще раз пардон,— пролепетала физиономия и скрылась.

Яков захлопнул дверь и утер вспотевший почему-то лоб.

— Задали вы мне задачу со многими неизвестными, черт подери,— проговорил он и тоном сведущего человека добавил: — Все ясно: за вами тащится эта дрянь, а вам это неинтересно. И еще ясно: вы — один из тех, кто пишет вот эти дурацкие листовки,— показал он листовку Луке Матвеичу, но тот попивал вино и молчал.

Наконец сказал так, как будто только затем и пришел, чтобы выпить:

— Доброе вино. Можно пить каждый день. А если бы вы еще и позволили мне уйти в вашей шубе и шапке — было бы вовсе великолепно. Не беспокойтесь, все вам привезет Алена, или Овсянников, или Варя... Порешили? — пронизал он Якова пристальным, испытующим взглядом, поставил бокал на столик и положил туда же листовку.

Яков терялся в догадках. Несомненно, этот кряжистый и медлительный пассажир — один из близких и Леону, и Чургину, и даже Оксане. И очевидно же, что он попал в затруднительное положение. Что ж, сделать ему доброе дело для Якова было проще пареной репы, но ему захотелось поговорить с таким человеком, который конечно же знает куда больше, чем то кажется. И он переставил саквояж на другое место, а сам сел поближе к Луке Матвеичу.

— Тяжеловат саквояж. Бомбы? Под меня-то, надеюсь, такой груз не сунете... Что угрожает Леону и что требуется от меня, чтобы вызволить

его? Я слишком много мешал им с Аленкой, и мне было бы приятно сделать для него хоть раз в жизни доброе дело. Сколько нужно денег? Говорите.

Лука Матвеич улыбнулся, пригладил теперь уже совсем белые, чужие, усы и с сожалением произнес:

— Никак не привыкну: свои сбрил, а чужие только голову морочат... Сколько нужно? Не знаю, Яков. Спасибо за отзывчивость, но позвольте мне сейчас отказаться от денег. После, потом, если потребуется... Что передать Алене?

Яков вздохнул. Что передавать Алене, когда она еле на ногах держится от всего пережитого? Вот если бы Оксане — о, тут можно было бы передать... Впрочем, что передавать-то с человеком, которого ты не знаешь, который может просто прикинуться близким твоим родичем ради того, чтобы выпутаться из положения? И он сказал вяло и неуверенно:

— Алене передайте привет. Я скоро буду у нее. А больше — что ж? Она ненавидит меня всеми фибрами души, равно как и Леон. Один Илья Гаврилович и относится ко мне как к человеку, хотя тоже способен подложить свинью... Шубу берите, аллах с ней, и шапку тоже, а я выйду в вашей — риск для меня не шибко большой. Может, в новой революции, про которую вон пишут в той листовке, вы дадите мне маленькую поблажку,— криво усмехнулся он и добавил: — Только вряд ли удастся начать все сначала. Разгромили вас по всем правилам.

— Вы так полагаете? — спросил Лука Матвеич и показал свои острые, глубоко спрятанные серые глаза.— Вы ошибаетесь, Яков. Революция продолжается, и вы скоро в этом убедитесь.

Яков взял листовку, ткнул пальцем в первые строки и спросил без обиняков:

— Ваша работа? Начинается вашими словами.

Лука Матвеич даже не посмотрел на листовку и ответил очень спокойно:

— Читал. В Харькове. Правильно хлопцы пишут. Вам стоит задуматься над тем, что вы там прочитали.

Яков усмехнулся, порвал листовку на мелкие кусочки, потом достал спичку и сжег их над пепельницей. И тогда ответил:

— Я все понимаю, но у меня чертовски дурацкий характер: если мне делают зло, я отвечаю вдвойне, втройне. И если вы убеждены в том, что революция продолжается...

— Убежден.

— И если она действительно докатится до меня...

— Докатится.

Яков встал, шагнул вперед, назад и опять сел. Он не любил таких пророчеств и начинал злиться. Но где-то в глубине души он чувствовал: да, не так просто кончится все то, что продолжается вот уже год. Да Яков и не возражал: пусть продолжается, но продолжается подальше от его хозяйства, от его благополучия, от его добра. И он так и сказал:

— Видите ли... Фу, неудобно разговаривать. Прикажите хоть условно величать вас как-нибудь, что ли, коль по вашим порядкам нельзя назваться.

— Называйте меня Матвеем Лукичом.

— Наконец-то... Так вот, дорогой Матвей Лукич, я ничего против революции не имею, но если она коснется меня — клянусь, я взъярюсь, как бык. Поприжать самодержавие — сделайте одолжение, но поприжать

меня – увольте. Так я устроен, Матвей Лукич, не взыщите. Пока меня не трогают – я к вашим услугам, могу даже несколько десятков тысяч отвалить для пользы дела. Но троньте меня – и дружбе нашей выйдет конец.

– Спасибо за откровение, Яков. Вам следовало бы быть вместе с Леоном, а не с помещиками. Но теперь...

– Теперь уже поздно, вы правы. Пути-дороги наши так разошлись, что соединить их может разве что полный крах всего моего начинания, – откровенно признался Яков и добавил с легкой грустью или нарочитой грустью: – Я и сам уже не раз думал о том, что зря не пошел с Левкой. Но что положено богу, то не положено кесарю.

Лука Матвеич уже одевался понадежней, кустик усов исчез у него из-под носа, а на его месте появились пышнейшие черные усы, такие же, как у Чернопятова. Потом тут же, на глазах у Якова, парик с головы Луки Матвеича исчез, и на его месте появилась великолепная черная, как у цыгана, шевелюра, так что Яков восхищенно прищелкнул языком и негромко произнес:

– Чистая работа! Вылитый мой сосед! Вас любой в этих местах примет за Чернопятова.

– Он где живет?

– Он спит в соседнем купе, помещик, так что можете сработать под него... Вот же, нечистые духи, как могут видоизменяться, простите за вульгарность! – смеялся Яков, рассматривая и так и этак Луку Матвеича и дивясь перемене во всем его облике.

Лука Матвеич и сам дивился своей дерзости, а вернее сказать – риску, которому он подвергал себя, делая все это на виду у такого человека, как Яков, но у него не было выхода: он знал, что шпик все едино от него не отстанет, а это означало одно – провал. Поэтому Лука Матвеич и делал все напрямую, а когда встал, сказал с благодарностью:

– Вы действительно сделали доброе дело, Яков Загорулькин. Позвольте поблагодарить вас и удалиться. Под видом вашего Чернопятова. Когда шпик войдет – задержите его, притворитесь пьяным и скажите, что вас обокрали...

Яков посмотрел на него странным и злым взглядом и подумал: «А следует ли отпускать такого? Все равно от них мне пользы, как от козла молока. И мазаны они одним миром: все крамольники – и повесят меня рядом с Френиным на первом фонарном столбе. И он понял мои мысли, но удивительно спокоен, черт! И все они такие. Вот в чем их сила».

Лука Матвеич на всякий случай опустил руку в карман брюк, где был браунинг, и спросил вежливо:

– Ну, расстанемся подобру-поздорову?

Яков хорошо понимал, что было в кармане Луки Матвеича, и все еще не знал, что лучше сделать: позвать ли жандарма, благо поезд подходил к станции, или распрощаться с этим отчаянным человеком, не уважать которого просто было нельзя. И он усмехнулся и сказал:

– Вижу все, дорогой Матвей Лукич. Но успокойтесь: мне нет никакой нужды делать вам неприятности... Алене передайте, если вас не затруднит, что я готов принять участие в судьбе Леона. Пусть она даст мне знать в случае чего. А за сим честь имею, – кивнул он.

Лука Матвеич вышел и закрыл за собой дверь, а Яков постоял немного, все еще думая, правильно ли он поступил, потом налил вина, залпом осушил бокал и чертом заходил взад-вперед по купе. Только теперь он вспомнил: этого лысого он видел давно-давно, на митинге, в балке, за Югоринском, в пору знаменитой югоринской стачки, ставшей известной всей России. И Яков схватился за голову:

— Старый лисовин... Это он сбил с толку Леона и Оксану... Эх! Вы слышите, сосед? Пить, пить давайте! — гаркнул он Френину.

Несчастный помещик перепуганно высунул голову из-под шубы, сонно повел глазами вправо-влево и спросил пискливо и робко:

— Кого бить, Яша? Меня? За что?

— Пить вино будем, я сказал.

И шуба мигом соскочила с Френина, и он сам вскочил на ноги, сунул их в короткие желтые боты, отряхнулся, как помятая петухом курица, зевнул во весь рот, а потом налил бокалы, взял свой и торжественно произнес:

— Да здравствует жизнь и вино, а без оных — аминь миру сему! Ваше здоровье, мой друг.— А когда выпил, достал табакерку, заложил табак в обе ноздри и крикнул: — Цыган сюда! Эй, кто там есть из смертных: цыган требует Френин! — И пошел чихать на весь вагон.

Яков сидел опустив голову, думал о своей жизни, об Оксане и не хотел видеть самого господа бога, а не только Френина и ему подобных...

На станцию Белая поезд пришел вечером.

Была та пора, когда вечер кончился, а ночь не начиналась, но в хатах повсюду уже горели красноватые огоньки, а там, где ставни были закрыты, сквозь щели пробивались едва заметные лучики, такие ласковые, что хотелось войти в хату с мороза, скинуть шубу и протянуть руку к раскаленной плите, а еще лучше — стать спиной к печке и так постоять малость и чувствовать, как по всему озябшему телу разливается приятное тепло.

Но Яков только завистливо посмотрел на хутор, на теплые огоньки его и вздохнул: не было там у него ни души из близких, как не было их на вокзале, а был здесь лишь управляющий — выхоленный немец, длинный, как оглобля, с усами, ни дать ни взять, самого кайзера Вильгельма Второго: стрелки закручены под прямым углом, рыжие и задиристые, если не сказать — воинственные.

Френина встречали его древний кучер Василий и дочь, но странное дело: дочь была одета в монашеские одежды, и Яков готов был биться об заклад, что это была настоятельница какого-нибудь монастыря, но никак не помещица, о поведении которой в мужском обществе вряд ли можно было сказать что-нибудь хорошее. И он подумал: «Чертова жалмерка, нашла же чем прикрыть свое беспутство».

Яков поздоровался с ней, негромко сказал:

— А тебе идет эта Христова одежина. Чертовка...

Френина просияла и благодарно поклонилась, а родитель ее, заметив наконец, что Яков был одет в чужое, покачал головой и сказал дочери:

— Обрати внимание: хамелеон. Со мной был — в бобровой шапке и шубе, а ради тебя обрядился в серый каракуль... Помолодеть решил... Откуда, когда — ума не приложу.

Яков усмехнулся и пошел к лошадям.

В имение ехали гуськом: Яков – впереди, Френин с дочерью – позади, и только Чернопятов не пожелал ехать вместе и укатил прямиком через степь, обуреваемый желанием поскорее взглянуть на свои владения и удостовериться в их целости и неприкосновенности.

Яков расспрашивал немца о том, как идут дела, что интересного случилось в округе, и осторожно осведомился, не сожгли ли кого из соседей-помещиков. Управляющий обстоятельно доложил о делах, сообщил о том, сколько и от каких фирм приезжало доверенных и сколько еще ждет, чтобы сторговаться о поставках зерна, скота, шерсти, и наконец заключил:

– Да, смейт огорчение сказать вам: соседа вашего немножко огонь предал. Ошень горячо горел. Все огонь съел. И все грабил мужик.

Яков помрачнел. Этого-то как раз он и не ожидал. Ему вспомнились слова Луки Матвеича. «Какой я все еще юнец в делах политики! Какие-то несчастные пролетарии видят на три аршина под землей, а мы, пупы земли и опора правительства, верим всякой газетной чертовщине и потираем руки: мол, кончилось все, да здравствует монарх! Олухи царя небесного», – костылял Яков себя и своих друзей и, почувствовав, что озяб, велел управляющему пустить лошадей.

Немец стеганул тройку коротким кнутом, и лошади рванули крупной рысью, подняв такой снежный буран, что ни саней Френина, ни самого Френина и его дочери не стало видно.

Остальную часть пути ехали молча, и всю дорогу Яков прикидывал, что можно сделать завтра, послезавтра, чтобы усластить рабочих мельницы и шерстомойки, смотрителей табунов и чабанов и их помощников. И решил: «Сокращу-ка рабочий день на час. Накину расценки. Одежонку еще выдать всем, чтоб не мерзли в своих лохмотьях. Ну и подарки надо посулить по случаю масленицы. Это много стоить не будет».

...Дома его встретила Устя. Она стояла за воротами, что яблоко румяное и налитое, и смотрела на него такими счастливыми глазами, что Якову стало неловко. «Ждет. Бедная, бедная ты, Устя, убей, не пойму, чем я приклеил тебя к себе», – подумал он, а вслух спросил негромко и мягко:

– Зачем вышла раздетая? Простудиться долго ли? Мороз вон градусов под двадцать, столбы над фонарями поставил до самого неба. – И, подойдя ближе, сказал ласково: – Ну, здравствуй, хозяйка моя, полуночница. Как оно тут, ничего дела? Узнала и в чужом наряде, значит?

Устя улучила миг, когда немец ушел, смущенно и тихо сказала:

– Я узнаю вас в любом наряде. А в этом вы схожи с тем Яковом, какой приехал сюда попервости.

– А тот лучше был? – усмехнулся Яков.

– Лучше, – нимало не смущаясь, ответила Устя и добавила: – Я баню истопила, парку припасла...

Яков погладил ее по румяной и горячей щеке, улыбнулся и пошел в дом. Переодевшись и просмотрев почту, он взял лампу, пошел в спальню. Там он постоял немного возле порога, потом прошелся взад-вперед, потрогал безделушки Оксаны, что стояли и висели повсеместно, в гардероб заглянул на бесчисленные ее платья, блузки и вздохнул: «Оторвалась ветка от яблони. И удастся ли прилепить ту ветку – про то никто не знает. Скорее

всего, не удастся. Крамольники, вроде того, что ехал со мной, сбили ее с толку окончательно... Эх, дела!»

В гостиной он увидел Устю. Она стояла молча, а в глазах было полно слез. И Яков все понял: «Ждала меня... А я жду Оксану... Какая все-таки жестокая эта штука, жизнь!» Подойдя к Усте, он чмокнул ее в щеку и ушел в кабинет. Потом, уже направляясь в баню, сказал невесело и даже мрачно:

— Не выходи замуж, Устя. Изведешься только, ожидаючи мужа. Как я — Оксану.

Устя хотела сказать: «Как же я выйду, как я без вас дыхнуть не в силах?» Но не сказала, а велела поскорее мыться, потому что обед давно перестоял.

Яков сказал виновато:

— Не дуйся на меня, Устя. Порушилась у меня жизнь, муторно у меня на душе, а что придумать — не знаю. И скажу откровенно: славная ты девка, и не будь я женат, обвенчался бы с тобой — и делу конец. Но... ты сама знаешь: люблю я Оксану и не могу жить без нее.

Он пошел, а Устя кончиком косынки вытерла слезы и не знала, что делать: идти с ним или идти во флигель. Понимала она и знала, что ей, простой крестьянской девушке и сироте круглой, не на что рассчитывать, да она никогда ни на что и не рассчитывала, а все же больно было и обидно на судьбу. Но что же ей делать, если она любит его по-прежнему и никогда не сможет забыть тех счастливых минут, которые выпали на ее скромную долю в те месяцы, когда он появился в этих краях? Не может она забыть этого, да и не к чему ей забывать тех дней, а, наоборот, теперь она еще больше любит его, одинокого и кинутого женой, опостылевшего не только Оксане, но и мужикам, которые опять замышляют подняться на него бунтом. И Устя не пошла с ним, а ушла во флигель, спряталась там в своей комнатке и дала волю слезам.

...На следующий день Яков с утра поехал осматривать хозяйство. Он побывал у смотрителей табунов, у чабанов, присутствовал при отеле коров и даже сам принял трех телят, золотистых и бойких, все пытавшихся стать на ноги и порезвиться в первые же минуты появления на свет божий, да ноги были еще слабы и не держали.

Яков прислушивался, казалось, к самому дыханию своих работников — не замышляют ли чего? Но ничего особенного не слышал и на лицах не прочитал. И все же он объявил: чабанам, табунщикам и всем работникам назначается новая оплата, выше прежней на десять процентов, будет выдана хозяйская справа, вводятся наградные перед каждым годовым праздником, а по случаю настоящей масленицы будет выдано по пятидесяти рублей каждому табунщику и чабану и по четвертному билету — всем другим.

Его холодно поблагодарили за такие слова, но радости Яков не услышал. Однако он не придал значения такому отношению к его благодеяниям, как не придал значения и тому, что его встречали довольно равнодушно и почти никто не снимал перед ним шапку.

И вдруг Яков понял: а ведь рабочие что-то замышляют. И никакие поблажки им, никакие наградные ничего не значат.

Дома Устя подтвердила его опасения и сообщила:

— Вы ничего не приметили в степях? Мужики опять хотят подняться на вас бунтом... Андрей похвалялся третьего дня. Седлайте коня и скачите к атаману. Не то беда нагрянет.

Неужели тот лысый, Матвей Лукич, прав? А как же обещания царя искоренить крамолу всеми имеющимися у империи средствами? А как же понимать то, что все заводы возобновили работу?.. «Нет, доведется-таки тебе, господин коннозаводчик, пройти курс марксистских наук. Ни черта ты не понимаешь в законах развития общества и своего собственного дела. А не зная противника, его стратегии, тактики, мировоззрения, с ним нельзя бороться», — не то шутя, не то серьезно рассуждал Яков.

Но в станицу не уехал: к нему пожаловала дочь Френина в своем монашеском облачении и попросила проводить ее на станцию.

Яков в душе чертыхнулся и не особенно любезно спросил:

— А что это ты, дорогая, вырядилась, как отроковица? Или решила... грехи молодости замолить на старости лет?

Френина не обиделась, не повела бровью, а лишь усмехнулась мило и совсем не по-монашески ответила вопросом на вопрос:

— Неужели черная одежда так меня старит, милый? Но ведь это вполне поправимо, и ты сейчас в этом убедишься, мой демон-искуситель.

Она сняла монашеское одеяние — и перед Яковом во всем блеске предстала женщина в белом, такая соблазнительная и яркая, что Яков даже причмокнул языком.

— Чертовка! Извини... Сказала бы уж, что приехала совратить холостяка, — и все дело, — шутил он, а сам решал: «Выпроводить ее или посмотреть, что будет дальше?»

— Ты почти угадал, мой дорогой: такие грешные мысли у меня родились еще вчера, на станции, когда я увидела тебя... Ну как, хороша? — крутилась помещица-монахиня перед зеркалом, поправляя волосы.

Яков облизнулся, как кот, и прямодушно ответил:

— Хороша. Но... меня ждут доверенные фирм...

Помещица обвила его шею белыми надушенными руками, и Яков не смог отстранить их...

Уехал он в станицу лишь на второй день, оседлав Орла, выдрессированного немцем так, что Яков готов был отказаться от своего любимца: дончак плясал под ним, становился на дыбы, обрушивал на землю передние ноги и опять плясал, пока наконец Якову не надоело это и он не прикрикнул:

— Орел, отставить! Вижу, что тебя тут научили уму-разуму, да мне это вовсе без делов.

Немец наблюдал за поведением своего воспитанника и самодовольно покручивал стрелки усов.

У окружного атамана сидела теплая компания — Френин, Чернопятов, отец Дионисий — и резалась в карты. Первым Якова заметил Френин и воскликнул:

— Господа, внимание: аттракцион коннозаводчика и моего воспитанника! — И, бросив карты, хотел бежать на улицу, да отец Дионисий поймал его за штанину и недовольным баском пожурил:

— Чадо мое, вы вознамерились удрать от проигрыша? Дудки, под стол все едино полезете, а на аттракцион посмотрим все.

Френин рванулся, но отец Дионисий держал за штанину надежно, и старому помещику ничего не оставалось, как сесть на свое место и недовольно произнести:

— Ходите, батя. Я вам сейчас покажу, кому следует лезть под стол. Но прежде вы хорошенько поразмыслите над такой проблемой: подобает ли духовному пастырю ползать под столами? И как сие поведение скажется на престиже церкви?

Отец Дионисий бросил карту и сердито ответил:

— Не богохульствуйте, чадо недогадливое. Духовное лицо не вознамерено ползать под столом, а вознамерено послать туда вас. Смекаете?

Атаман и Чернопятов ухмылялись и играли молча, а Френин сопел, тер лоб, щурился и все никак не мог выбрать именно ту карту, которая смогла бы уложить карту бати намертво. Наконец он решил: «Бить так бить, напропалую»,— и кинул на стол козырного туза.

— Это не кушаете, святой отче? Тузика прихлопнуть — это вам не анафему графу Толстому пропеть с амвона.

— Ну-ну, не богохульствуйте, говорю, не то я когда-нибудь пропою вам такую анафему, что геенна огненная на том свете покажется вам аки рай.

— А вот стращать меня, отче,— это затея совершенно несуразная, доложу я вам. Вы бы лучше постращали свою паству, коей наша бренная жизнь все еще не дает покоя и кои вон собираются вздернуть моего милейшего и не менее глупейшего друга Аристарха Ниловича в самое ближайшее время.

Отец Дионисий мучительно думал, как ему выйти из положения, в которое он попал, а Чернопятов подбил свои черные усы снизу вверх, поерзал на стуле упитанным задом и опять подбил усы, торчавшие у него по обеим сторонам крупного красного носа, словно два беличьих хвостика.

— Перестаньте каркать, милейший. Не то я брошу с вами играть,— не сразу, чтобы не выдать себя и противной дрожи в руках, которая почему-то появлялась всякий раз, когда речь заходила о мужиках, сказал Чернопятов и посмотрел в окно.

— Ничего, вы просто трусите, когда я говорю о самом обычном столбе. А вы не смотрите на них, как на свою могилу, и играйте, милейший,— успокаивал его Френин, а сам тоже косил глаза на окно, за которым был виден Яков, гарцевавший, или танцевавший, или черт его знает что там делавший на своем дурацки-соблазнительном золотом дончаке так, что там уже было полно казаков и слышались самые восхищенные слова.

И старый помещик скомандовал своему кучеру:

— Василий, голубчик, коня мне! Живей только! Я ему покажу...

Никакого Василия, конечно, в доме не было и никакого такого особого коня не было, чтобы можно было что-то показать и чем-то удивить мир, но Френину не хотелось отставать, и он даже думать не желал, что не может тягаться с каким-то юнцом и с его конем, и делал все на полном серьезе. Но так как Василий не отзывался, Френин все же выбежал на улицу и тут увидел: Яков выделывал на своем коне такие непостижимые лошадиные па, что казаки замерли от восторга, и сам Френин замер и только махал своими проворными тонкими руками, как бы желая сказать: «Изыди, не соблазняй, нечистый дух», но собрался с силами и крикнул:

— Василий, сукин ты сын, да как же ты можешь равнодушно созерцать такое издевательство над нашим мерином? Подать его сию секунду, мы с ним покажем всем этим немецким фокусникам!..

В это время конь Якова этак изящно крутнулся, изогнул шею змеей и завальсировал, как на манеже, грациозно выбрасывая вперед то правую, то левую, перевязанную белым ногу. И вдруг взвился на дыбы под самое небо, потанцевал на задних ногах и рухнул на колени, а голову покорно опустил перед стоявшими на крылечке атаманом и отцом Дионисием.

И атаман благосклонно похлопал в ладоши и воскликнул:

— Браво, господа! Великолепный номер, великолепная дрессировка.

Яков спрыгнул на землю, дал коню сахару, похлопал по блестевшей красной шее и сказал тихо:

— Молодец, Орел, не уронил чести своих предков.

Старый помещик разочарованно произнес:

— Мошенник. Все вы, коннозаводчики, мошенники. За сахар и мой мерин так станцует. А вы ему соломки, соломки, какой мужики кормят своих сирых, а тогда и заставляйте плясать. Черта он сделает хоть одно па.

Яков поздоровался, шепнул атаману, что приехал по важному делу и хотел бы поговорить наедине, но отец Дионисий категорически заявил:

— До поры, пока я не отыграюсь, никаких дел, чадо мое непутевое. Так что пошли в обитель и продолжим мирское занятие.

Френин возразил:

— Отче, я не привык свои денежки перекладывать в чужие карманы, буде таковые у меня окажутся. Наоборот, я привык, чтобы чужие денежки попадали в мой карман. Так что давайте лучше выпьем по чарке по случаю приезда нашего великолепного соседа и моего ученика, в способностях коего, надеюсь, вы давно перестали сомневаться... Яков, ты, конечно, привез бутылочку?

— Даже троечку, сосед.

— Ну вот видите! В таком разе — цыган сюда! Все по местам, господа! — распорядился Френин и, подбежав к Якову, извлек из его карманов три бутылки, наполненные таким соблазнительным напитком, что старый помещик перецеловал их с умилением и торжественно понес в дом.

Стоявшие поодаль казаки качали головами и посмеивались или сожалели, что содержимое тех бутылок попадет в рот такому несерьезному человеку. А как хотелось хотя бы пригубить только, хотя бы понюхать, что там за таинственный напиток был, в бутылках, коль старый помещик даже расцеловал их.

Яков выбрался из станицы лишь к вечеру и возвращался домой немного успокоенным, но все же не радостным: атаман пообещал прислать полусотню казаков денька через два-три, но без особого распоряжения генерала Суховерова отказался послать конные наряды в окружные деревни, чтобы приструнить мужиков.

И Яков мысленно чертыхался и отпускал по адресу атамана нелестные штуки: «Слюнтяй, как батя говорит, а не атаман. Прежний был действительно атаман и понимал, что к чему, с полуслова. А этому подавай приказ генерала Суховерова. Я напишу генералу про такого растяпу, и может статься, что на том ваше атаманство и кончится, полковник. Коннозаводчики не могут ждать, когда вы получите все приказы».

Мороз спал, и наплывший откуда-то с юга туман обещал оттепель. Яков повел носом, кинул острый взгляд в мутную даль вечера и сказал вслух:

— А немцу придется дать жару: навозу совсем мало вывез на поля, надеется на культурные удобрения. Идиот, это тебе не Германия... У нас культура лежит в каждом хлеве...

Мысли его прервал мчавшийся навстречу всадник. Яков всмотрелся, насторожился и каким-то шестым чувством понял: дома случилась беда.

И действительно, Устя, скакавшая на коне, еще издали крикнула:

— Скорей!.. Беда!.. Запалили первый зимовник! Андрей верховодит!.. Ваш приказчик...

Яков подумал немного, бросил решительно:

— К атаману... Чтоб сотню прислал... А это возьми и оденься.

Он снял с себя полушубок, кинул его Усте и гикнул:

— Аллюр три креста, Орелик! Поучим благородным манерам наших мужичков!

Устя панически крикнула:

— Яков! Яков же!.. Убьют! Яша-а!..

Она хотела догнать Якова, но это было невозможно. Тогда она перекрестила туманную дымку, в которой он растворился, и поскакала в станицу.

А Яков мчался по степи, по заснеженным полям и буеракам, не разбирая дороги, не чувствуя, что ветер уже сбил с его головы шапку, что туман уже облизывает его лицо мокрым, холодным языком и сгребает все капли воды в глаза, в самую душу, и не знал, что лучше сделать: в землю ли вогнать Андрея и его единомышленников, или повесить всех и каждого на колодезных журавлях зимовников, или просто оторвать всем головы начисто и на том расквитаться?

В темной одежде, с темным, перекошенным от злобы лицом, с темной, развевавшейся на ветру копной волос, он мчался в этой вечерней, затуманенной степи как смерч, страшный в своей ярости, жестокий и неумолимый, готовый на все, а в груди его бушевала такая жажда мести и ненависть к проклятому миру, который вознамерился порушить все, все, что ты с таким трудом создавал, накапливал и чем гордился больше, чем отцом родным, что, попадись на пути сейчас бунтовщик, Яков втоптал бы, вогнал бы его по колено в снег, в мерзлую землю.

Что он думал сделать и как поступить там, на первом зимовнике, он не знал. Он знал, что там пошли против него, пошли против его владений, его хозяйства и всего, что является его плотью и кровью и без чего он не мыслил своего существования, видел мужиков с топорами в руках, с теми самыми листовками, одну из которых он читал в поезде, и был готов схватиться насмерть хоть со всем светом.

— Шутки шутить изволите, уважаемые? С Яковом Загорулькиным изволите шутить, скоты вы этакие? В благодарность за то, что накинул вам заработки? Обещал выдать наградные? Одеть-обуть по-человечески? Ну, я научу вас, я отучу вас от таких шуток, крамольники. Навек. До седьмого колена... Наддай ходу, Орел! В дым и пепел всех их, хамское отродье!

Дончак уже храпел, уже летел над землей, и из ноздрей его валил пар, а ноги едва касались земли и спешили, спешили, не ведая, куда, зачем и во имя чего они несутся.

На первом зимовнике тем временем хозяйничали крестьяне трех окрестных сел. Обложив усадьбу, вооруженные вилами, топорами и охотничьими ружьями, они связали главного объездчика и смотрителя, перестреляли собак-волкодавов и стали выгонять скот в безопасное место и там делить его на едоцкую душу. Постройки же предали огню, растаскивали их баграми, рубили топорами в щепки...

Яков еще издали увидел сквозь дымку тумана кроваво-красное зарево, почувствовал запах гари и в какую-то долю секунды подумал: «Убьют. И пусть. Без этого моя жизнь — не жизнь». И, ударив коня плеткой-свинчаткой, поскакал навстречу огню.

Усадьба-зимовник пылала, как солома. Огонь взвивался длиннейшими языками до самого неба, стрелял мириадами искр, метался из стороны в сторону, будто норовя слизать все, до самой земли, и тут же метались быки и коровы, свиньи и овцы, хозяйственные лошади, птица, и среди всего этого хаоса бегали взад-вперед мужики.

Яков ворвался в толпу и, потрясая плетью, крикнул так, что лицо его почернело от натуги:

— Останови-и-те-есь! Зака-та-а-ю!

Но его никто не слышал и не узнал. И тогда он вздыбил дончака и крикнул:

— Гардэ!

Конь задрал голову к поднебесью, поднял ноги, и мужики увидели чудовищного черного всадника. Озаренный огнем, осыпаемый дождем искр, со сверкавшими, как два уголька, черными глазами, Яков в эту секунду был похож на привидение, на страшилище, и один вид его наводил на людей ужас.

— Антихри-и-ист! — крикнул кто-то неистово-пронзительно, и люди шарахнулись в смятении прочь.

Яков обрушил коня на мужиков, вновь вздыбил его, еще кричал «Гардэ!» и стегал, стегал плеткой-свинчаткой по спинам, по головам, по рукам всех, кто попадался под его сумасшедшую плетку, стегал молча, с каким-то диким наслаждением, с животной яростью и беспощадностью. Он не видел, что плетка уже блестела от крови, не слышал стонов и воплей изувеченных, на карачках уползавших в дым, в огонь — лишь бы душу унести из этого ада, и единственное, что было на уме у него — не дать никому убежать.

— Да порешите же его, братцы!.. Всех сгубит! — кричал кто-то.

Яков услышал этот голос, направил на него коня, вздыбил в огненном вихре и обрушил на человека. И в этот миг чьи-то сильные руки схватили коня за уздечку.

Дончак взвился на задние ноги, поднял вцепившегося в сбрую Спиридона и рухнул вместе с ним на землю, копытами на грудь...

И в это время Яков почувствовал удар и нестерпимую боль во всей правой части тела.

— В огонь его, изувера! — крикнул кто-то совсем рядом.

Яков увидел, как Андрей заряжает охотничье ружье, выхватил револьвер, но выстрелить не успел: в него самого выстрелили раз, второй. Но конь в какую-то долю секунды успел пролететь смертельное место и скрылся в дыму.

Яков ощупал окровавленное плечо, одежду и понял: «Все. Они больше не будут, и я больше не жилец на этом свете».

Очнулся он под утро. Конь, прихрамывая, еле шел и дышал тяжко. Яков сообразил: конь ранен и поэтому еще не дошел до центральной усадьбы. А дойдет ли — неизвестно. И в это время, как во сне, Яков увидел толпу.

— Мою озимку делят, — сказал он тихо и крикнул толпе мужиков: — Приготовьте веревку!

Мужики растерялись, замешкались, но плотник Евсей, отец Андрея, строго сказал:

— Анисим, Семен, догоните его, он ранетый. А мы будем делить. Пусть хоть детишки наши узнают, как добывать землицу-матушку.

Двое мужиков хотели было догнать Якова, но он скрылся в тумане, и они не нашли его и вскоре вернулись.

— Эх, кабы всей Расеей мужицкой подняться на них, кровососов! А так — он передушит нас, как хорь цыплят, видит бог, — сказал сухой, как соломинка, крестьянин в излатанном полушубке и вбил длинный кол в землю.

Евсей заметил:

— Не мужицкой, а вместе с мастеровыми. Так мы управимся поскорее с катами. — И, поплевав на ладони, деловито потер их и продолжал дележку земли. — Ефим, у тебя шесть душ? Ставь веху. Шесть десятин в аккурат отмерил, — сказал он и пошел, пошел по озими, и сажень торопливо запрыгала за ним неуклюжими прыжками, точно догнать кого-то хотела, да никак не могла.

Ефим, бородатый сутулый человек в облезлой шапчонке и в старых сапогах, широко перекрестился и вбил свой кол в мерзлую землю.

— Шесть десятин! Аль я сплю, господи? Так вроде не сплю. Шесть десятин пшеницы! — восклицал он негромко и плакал, и на носках ходил туда-сюда, не желая топтать курчавившуюся озимь, отныне принадлежавшую ему, вечному работнику и горемыке.

А Яков, то и дело теряя сознание, торопил коня, чтобы поскорее добраться домой. Он знал, что ему лучше было бы ехать в окружную станицу, где был врач, но конь уже совсем не мог идти.

Наконец он добрался до центральной усадьбы и мутным взглядом посмотрел вокруг. «Цела. Все цело. Но может полыхнуть через минуты. И мне, кажется, осталось жить минуты», — подумал он и положил голову на шею коню.

Из ворот выбежала Устя, всплеснула руками и бросилась навстречу, причитая во весь голос:

— Убили-и! Яков же, сокол мой ненаглядный.

Яков лежал на шее коня что полено. Он слышал голос Усти и хотел сказать ей, чтобы не кричала, но не мог повернуть язык. Одно он говорил мысленно Оксане: «Эх, Ксани, Ксани! Была бы ты рядом со мной, ничего

этого не случилось бы. Ты – человечная. Я – зверь... Давил конем людей. И конь – зверь, и ему не жить больше».

Устя ввела дончака во двор, закрыла ворота. Яков хотел спрыгнуть на землю, но силы совсем покинули его, и он упал. И конь упал и выкатил лиловые глаза.

– Яков... Яша,– причитала Устя и вдруг диким голосом вскрикнула, подняв руки: – Убили же они его, изверги! Что сделали, нехристи бессердечные?!

Яков зашевелился, оперся руками и головой о землю и выдохнул с гулом:

– У-ух! – А потом рывком встал на колени, на ноги и скорее прорычал, чем сказал: – Не убили, Устя!.. Мы еще поживем на этом свете, черт возьми!

И пошел, пошел, как медведь, большой, весь в крови, спотыкаясь и широко расставив руки, будто учился ходить.

Устя подхватила его, и он отчетливо распорядился:

– Йод, бинт. Коня. Его прокололи вилами. Скорее. Или все пропадет пропадом.

И не успел Яков уехать. Едва Устя, сделав ему перевязку, вышла сказать кучеру, чтобы запряг пару лошадей, как со стороны степи, из тумана, как из моря, вылилась неисчислимая толпа людей и, размахивая топорами, вилами, охотничьими ружьями, с воинственными криками разливаясь вокруг усадьбы, хлынула к дому.

Устя только и успела заметить, как новый управляющий метнулся в парк – и был таков.

– Баба! Трус! – презрительно сказала она и, наскоро заперев ворота и спустив собак, скрылась в доме.

– Пореши-ить душегу-уба!

– Кровь за кро-овь!

– Кру-у-ши-и-и его, братцы! – загремела толпа и ураганом налетела на усадьбу.

Раздались выстрелы, лай и визг собак, треск дерева и звон стекла, крики домашней птицы, и разом в дом забарабанили, застучали топоры, и он будто зашевелился и закачался, как пьяный.

– Открывай, зверь!

– Пали-и-и, братцы! – слышала Устя грозные крики, и тонкие темные брови ее хмурились до боли.

Она стояла у главной входной двери и держала охотничье ружье наизготове. Что она могла сделать с этими разъяренными людьми – об этом думать было некогда. Она видела, что мужики пришли добить Якова, и этого для нее было достаточно, чтобы уложить на месте любого, кто переступит порог дома.

– Устя! Отчиняй, непутевая, не то и тебе будет конец! – услышала она голос отца Андрея и вся напружинилась, как стальная тростинка, и еще крепче сжала в руках ружье.

Дверь начали рубить топорами. Устя перекрестилась и открыла ее.

Андрей и все, осадившие дом и запрудившие веранду, ахнули от изумления. Устя, в черной юбке и белой кофточке, перехвативший ее тонкую девичью талию, в сапожках и с обнаженной головой, стояла в дверях

с ружьем в руках и сверлила мужиков сверкающими глазами, будто выбирая, в кого пустить разом оба заряда.

Андрей взвел курок револьвера и жестко сказал:

— Устя, именем народа велю тебе: отступись. Не то убьем.

— Не дам! Не дам, клятые! — неистово крикнула Устя и сделала шаг назад, чтобы не схватили за стволы.

— Дочка, опомнись, на кого руку поднять решилась? — сказал отец Андрея и хотел было еще что-то сказать, да мужики подняли грозный шум:

— Хватай ее, бесстыдницу и приживалку!

Кто-то из молодых мужиков рванулся вперед, к Усте, поднял над головой топор. Прогремел выстрел, вылетело из ружья облако черного дыма, шарахнулись назад мужики, а тот, что был с топором, качнулся и упал навзничь.

Андрей исподлобья посмотрел на мужика, на Устю и снял каракулевую шапку. Сняли шапки и мужики.

— Мы идем свести счеты с помещиком, а ты на пути встаешь, — сказал Андрей и резко добавил: — Связать ее! Будем судить именем народа.

Устя вскинула ружье и готова была пустить второй заряд в Андрея, но потом опустила руки и с ненавистью бросила ему в лицо:

— Вяжи! Суди! Не боюсь! Но ты еще вспомнишь Устю и пожалеешь. В Сибири вспомнишь! И все вы!

Мужики вяло подошли к ней, начали связывать руки веревкой, а Андрей с отцом и еще несколькими пожилыми крестьянами пошли в дом.

...Яков ничего не слышал. Он лежал на диване, свесив ноги и широко разбросав руки. Белая сорочка его была в крови, забинтованные плечо и правая рука тоже кровоточили, лицо как у мертвеца, брови черные как уголь.

Андрей подметил: «И в беспамятстве красивый и сильный», а вслух сказал:

– Доходит он.

Евсей косо взглянул на сына и качнул головой, как бы говоря: «Тяжелая у тебя рука, сынок. А теперь... каторга нам».

— С кровей сошел. Стал быть, отходился хозяин.

Мужики опустили головы и молча вышли из кабинета. Последним вышел Андрей. Шел и думал: когда-то этот человек дал ему кусок хлеба и вывел в люди. И отцу дал кусок хлеба. Почему так устроена жизнь, что люди должны убивать друг друга? Почему один должен давать кусок хлеба, а другой должен сто потов пролить, «оправдывая» этот кусок? Ведь в России так много добра всякого и его хватило бы старому и малому на всю жизнь. А его не хватает... Подымешь руку, чтобы его добыть силой, и тебя топчут конем. Хочешь отомстить за это, свои же подваливают насмерть.

И Андрей вздохнул. Жалко ему было изувеченных конем Якова мужиков, жалко было убитого Устей парня и хотелось минуту тому назад разорвать на части и Якова, и Устю. Но вот увидели мужики две смерти и опустили головы. Над ними же хозяин измывался, их топтал своим зверем-конем, и они хотели снести с лица земли усадьбу, – так почему же они не делают этого и ждут чего-то от него, Андрея, а может, и не ждут вовсе?

И на какой-то миг Андрея охватило чувство безразличия и к мужикам, и к Якову, и к Усте. Увидел он отчетливо и ясно: не знают мужики, как

добывать волю. А что им надобно знать — Андрей и сам того не разумел. Но отступать он не любил и поэтому властно, как всегда, сказал, выйдя на веранду:

— Мужики! С хозяином нам более делать нечего. Приступаем к разделу имущества, как решил крестьянский революционный совет. А Устю развяжите. Вам говорю, батя.

Евсей ушел во флигель, где была Устя, а мужики приступили к делу. Они раскрывали амбары, вытаскивали из-под навесов машины, осматривали их и восхищенно прищелкивали языками.

Один, белый, как ковыль, парень забрался на паровик молотилки, оседлал его и весело балагурил:

— На таком коне я не иначе как в раю буду, право слово. Который желает со мной — лезь сюда, раскурим по цигарке.

Другие насыпали в мешки пшеницу, спорили:

— А я тебе сказываю: на едоцкую душу надоть, а не на двор.

— А ежели у меня, к примеру, семь девок — не помирать же им с голодухи, мужики?

Из-под навеса выкатили бричку и стали нагружать ее мешками с мукой, а когда нагрузили — впряглись в нее и потащили прочь со двора.

Андрей смотрел на этих мужиков и думал: «Как все-таки мало надо человеку: два мешка муки — и он готов плясать от радости. Проклятая жизнь, когда-нибудь мы тебя все едино прикончим».

В это время пришел волостной старшина, в черной поддевке, с медной бляхой на груди, и подавленно сказал:

— Андрей, что делаешь? В Сибири будешь, дурья голова.

Но на дворе стоял такой шум, что никто не слышал слов старшины.

Андрей посуровел, грубо спросил:

— Господин старшина, если вы пришли передать свои полномочия мужикам — это дело. Если угрожать — я вас арестую.

— Ах ты сукин сын! Да ты кто такой? Ты есть...

— Товарищи,— прервал его Андрей,— заприте его в амбар, чтобы не мешал революции.

— Ну, хамлет! — погрозился старшина и прикрикнул на подбежавших мужиков: — Кто тронет представителя власти — тому Сибирь!

Его и не стали трогать.

Устя, предоставленная себе, незаметно проникла в дом, заперла за собой дверь и побежала в кабинет к Якову. Припав на мгновение к его груди ухом, она деловито и быстро бросилась было открывать окна, но оставила эту затею и задумалась.

— Увидят. Как же быть?

Яков открыл глаза, спросил:

— Ты жива? Молодец. А мне настают концы...

Устя вся засияла, услышав его голос, и тихо сказала:

— Не будет конца! Не будет, Яков, Яша, родименький мой. Только подсоби мне, хоть малость иди сам, а то я не донесу тебя, хворого.

— Устя, хорошая моя, они убьют тебя. А тебя любит Андрей. Выходи за него, Устя.

Устя не слушала. Она открыла летнюю дверь в сад, хотела поднять Якова и унести, но он запротестовал:

— Я сам. Я еще не мертвец. — И, опираясь на ее плечо, пошел в сад.

Отец Дионисий увидал его и всплеснул руками, но говорить было некогда, и он велел работнику запрягать лошадей.

Когда Андрей пошел проверить, что делает Устя, и, не найдя ее во флигеле, бросился в дом, он понял: с Яковом Загорулькиным он, кажется, рано распрощался.

Со стороны станицы черной воинственной лавой во весь конский дух мчались казаки, грозно вращали над головами клинки, и вся округа наполнилась шумом атаки...

...Оксана сидела в кабинете генерала Суховерова в тот день, когда Якова доставили в Новочеркасск и положили в военный госпиталь. Оксана ничего не знала и пришла просить генерала за родных. Ей не хотелось просить, а хотелось сказать все, что она думала, сказать до конца, что правительство и его генералы-каратели все едино ответят за те злодеяния, которые они чинят над народом. Но она понимала, что генералу говорить об этом было бесполезно. И она возможно спокойнее сказала:

— Жестоко, чудовищно и бесчеловечно поступают власти. Создается впечатление, что правительство потеряло голову. Куда мы идем, дядя?

— Мы идем... Вернее, мы уже пришли к порядку, душа моя, исконному внутреннему порядку в империи нашей, — улыбчиво ответил генерал, прохаживаясь по кабинету. — Я понимаю тебя: несчастья с родственниками расстроили твои нервы. Но я обещал тебе, что прикажу вернуть твоих родителей на хутор, а дурака атамана Калину распоряжусь арестовать.

Оксана горько усмехнулась:

— Но я говорю не о Калине. Я говорю о России, о русском народе, о русском правительстве и о его деяниях, вызывающих у всех культурных людей Европы ужас и отвращение. Оставим этот разговор, он не убедит тебя.

— Оставим, душа моя. Такой разговор и не способен убедить в чем-либо генералов по той простой причине, что за подобные разговоры... Впрочем, ты достаточно умна, чтобы понять меня. Я солдат, а не революционер. В стране идет война с бунтовщиками. Правительство обязано принять исключительные меры, если оно хочет называться правительством России, великой державы мира... Жестоко? Не спорю. Но на войне жертвы не считают, дорогая, через них просто перешагивают и идут дальше. Конечно, ты можешь назвать меня солдафоном, но, — генерал развел руками, длинными как жерди, — все мы, военные, — солдафоны, верные присяге, монарху и престолу русскому, а значит, и России...

Оксане нечего было больше говорить, и она поднялась с кожаного дивана.

Генерал Суховеров, все время ходивший по кабинету заложив руки назад, более мягко сказал:

— Ксани, дорогая, революция разгромлена, крамольников умыли их же кровью и заточили в тюрьмы или повесили и расстреляли. Если твой брат получит каторгу — это будет счастье, ибо других таких расстреливают. На месте. Без суда и следствия. Ну, что я могу тебе сказать? Я люблю тебя и только поэтому говорю с тобой об этих вещах. Облегчить судьбу твоего

брата я не могу. Вот, пожалуй, и все, если ты не возражаешь, – остановился генерал посреди кабинета и скосил глаза на стол, как будто там лежало что-то такое, что не должно было быть ведомо Оксане.

Оксана уже натягивала желтую лайковую перчатку на левую руку. И тогда генерал подошел к ней и, обняв, повел к столу – молча, но явно взволнованно. Достав из ящика стола казенный пакет с пятью сургучными печатями, уже разрезанный, он отдал его Оксане и сказал тихо и мрачно:

– Читай, душа моя, и рассуди, кто из нас прав. Здесь сообщается, как так называемый народ сжег Якова... Читай, читай, это подействует на твое пылкое воображение.

И он вновь стал прохаживаться по кабинету – высокий, тонкий и мрачный, с большими, седоватыми усами, и красные лампасы его заиграли в солнечных лучах вызывающе-озорно и беспокойно, и было похоже, будто по ногам стекала кровь и пряталась в блестевших сапогах, которые чуть-чуть поскрипывали, тонко и даже жалобно. «Интересно, что она скажет теперь, эта взрослая и наивная девочка? И еще интересно, что скажет Ульяна? А в общем, мы с тобой, Ульяна, поступили немного опрометчиво: следовало бы выдать ее за попа, за Виталия. Жила бы она в деревне, рожала детей... А Якову я нашел бы невесту сам.: Жаннет».

Так думал генерал Суховеров, искоса посматривая на Оксану и наблюдая за переменами ее лица. Вот оно стало бледнее бледного, потом загорелось огнем, все загорелось, и на нем не осталось ни одного светлого пятнышка. И тогда генерал сказал как бы незлобиво, но явно колко:

– Ну, поняла, душа моя, что делает правительство?

Оксана ничего не поняла. Она лишь поняла одно: Якова сожгли, Якова едва не убили, и он отправлен сюда, в Новочеркасск, в госпиталь, и будет ли жить – неизвестно. И она с дрожью в голосе, пряча письмо в конверт, тихо произнесла:

– Какое варварство! Друг друга готовы проглотить живьем. Ужас! – заключила она и, бросив письмо на стол, вышла на средину комнаты и сказала еле слышно: – Я поеду домой.

– А к Якову? Он – в госпитале.

– Нет... Не знаю. Я ничего не знаю. Я порвала с ним. Навсегда. И прошу тебя: ничего мне больше не говори. Если что можно сделать – сделай.

Она говорила нервно, быстро, глядя куда-то в окно, а генерал смотрел на нее, потом подошел, поцеловал в лоб и сказал ласково и предупредительно:

– Хорошо, Ксани. Поезжай домой и успокойся. Я понимаю: тебе трудно решиться на что-либо сейчас. Ты не ожидала этого. Но если ты любишь его, иди к нему, дорогая. Теперь уж нечего сводить счеты, кто сделал зла друг другу больше, а кто меньше... Передавай привет Ульяне и скажи, что я сегодня навещу ее. Насчет твоих родных я прикажу.

– А... больше ничего? – испуганно спросила Оксана, подняв налитые слезами глаза.

– Я обещаю: затребовать дело твоего брата в Новочеркасск, как уроженца нашей станицы. Это все.

Оксана вздохнула. И то было хорошо. И она признательно поцеловала его в щеку и вышла из кабинета.

— Возьми лошадей! — крикнул ей вслед генерал.

Оксана выскочила на улицу, остановилась у подъезда и не знала, что делать: ехать ли домой и рассказать матери обо всем, или в госпиталь? И тут же спрашивала себя: «А зачем? Зачем узнавать? Ведь это будет... это будет возврат к прошлому».

Проходили мимо какие-то офицеры и козыряли ей, шутливо говорили что-то, но Оксана и не слышала их и не видела. Она видела Якова на смертном одре, слышала его страдальческий голос: «Пришла. Родимая...», и ее душили слезы, и она готова была уехать куда угодно, лишь бы не в госпиталь, потому что знала: из госпиталя она никуда более не пойдет. От Якова.

В это время подкатил генеральский выезд. Механически, не раздумывая, Оксана села в сани и сказала кучеру-солдату:

— В госпиталь!.. Нет, домой. Ради бога, быстрее.

Белые лошади потанцевали немного и помчались по Новочеркасску так, что прохожие еле успевали сторониться: этак племянница помощника наказного атамана давно не ездила.

Ульяна Владимировна, выслушав сообщение Оксаны о Якове, засуетилась, забегала по комнатам, собираясь в госпиталь, а потом села в кресло, закрыла лицо руками и просидела так несколько секунд в полном молчании.

— Едем вместе, Ксани. Быть может, это последняя встреча...

— Я не могу. Пойми меня и не осуждай, — взмолилась Оксана.

Ульяна Владимировна раскрыла глаза, посмотрела на нее долго и укоризненно:

— Какое сердце! Какое каменное сердце! Ждать ребенка — и отказываться идти к его отцу в такую минуту!

Оксана готова была сойти с ума и решительно прервала ее:

— Хорошо, я еду.

Когда они прибыли в госпиталь, Яков был в операционной. Ульяне Владимировне сообщили: из плеча больного уже извлекли девять кусочков свинца и извлекают остальные.

И Ульяна Владимировна решила ждать конца операции. Тяжело было на душе у нее и оттого, что случилось с зятем, и оттого, что дочь так ведет себя. Ульяна Владимировна не верила в то, что Оксана всерьез порвала с Яковом, и надеялась, что рано или поздно все уладится. Надо лишь, казалось ей, выждать, пока сгладятся впечатления от катастрофы с ее родственниками.

Но сейчас не время было говорить об этом. Сейчас Ульяна Владимировна думала о Якове, а Оксану жгла глазами и шептала ей с великим гневом:

— Какое сердце! Ни одного вопроса врачу, ни одного звука! Словно бы вы не муж и жена. Срам! Позор!

Это была неправда. У Оксаны в мыслях было столько сейчас вопросов к врачу, что, задай она их, он и не ответил бы. И сердце у нее было не каменное, а обыкновенное женское сердце — доброе, отзывчивое сердце молодой русской женщины, которое может быть и ласковым, может быть и жестоким, которое умеет ненавидеть смертельной ненавистью, а уж если любить — так любить.

Оксана ненавидела в Якове многое. Но сейчас это был беспомощный, боровшийся со смертью отец ее будущего ребенка, и она не могла не быть рядом с ним.

А Ульяна Владимировна думала об одном-единственном: «Неужели и это не примирит их?»

Так они и сидели в приемной начальника госпиталя, каждая занятая своими мыслями, но, в сущности, обе они были заняты одной и той же мыслью — о Якове, о том, чтобы увидеть его живым.

И они увидели его: на белой коляске-столе, завернутого во все белое, с безжизненно белым лицом. Взглянула Оксана на него, рванулась вперед и... больше ничего не помнила — ее едва успели поддержать.

Когда Яков проснулся и открыл глаза, он никого уже не увидел и скорее прошептал, чем сказал:

— Не пришла... Тогда уж лучше бы смерть...

Заряд картечи угодил ему в правое плечо и руку. Потеряв много крови, Яков был на волоске от смерти, но здоров он был необыкновенно и выдержал.

— Вам надо спать, есть — в этом ваше выздоровление. Никаких треволнений,— сказал главный врач и, обернувшись к старшему врачу, добавил: — И никаких свиданий.

Яков закрыл глаза. И опять перед ним предстала Оксана. Вспомнилось, как он приезжал сюда, в Новочеркасск, простым хуторским парнем, потом начинающим коннозаводчиком, потом крупным дельцом. И все это неизменно было связано с ее именем. Где она? Знает ли о том, что он был на операционном столе? Неужели у нее нет ни капли жалости, простой человеческой жалости к нему, Якову, которого она все-таки любила, пусть и несносного, пусть и недостойного, но любила же! Она ведь была прежде такая добрая, и сердце у нее было такое хорошее. А вот не пришла даже теперь.

И показалось Якову: будто лежит он где-то далеко-далеко в чужой степи, один на один с серым холодным туманом, со всей землей, и нет вокруг него ни одной живой души, ни одного человека, с которым можно было бы хоть словом добрым перемолвиться. И Яков думал: «Один остался, один во всем свете. Неужели я проклят богом и людьми, что ни одна человеческая душа не хочет знать, что я мог подохнуть, как скотина бессловесная?! Так пропади вы все пропадом — и бог и люди!»

Он клацнул зубами и несколько минут лежал в забытьи. А когда открыл глаза, увидел: перед ним стояли две женщины в белом и смотрели на него пристально и тревожно. Он рванулся, чтобы встать, и рухнул на кровать от боли. Как стон, как мольба, как заклинание он выдохнул из самой глубины груди:

— Оксана... Пришла-а-а... Родимая...

Глава третья

В доме Задонсковых произошел скандал. Никто о нем не знал, никто о нем и не подозревал, а если бы и узнал, не придал бы значения. Но для Оксаны этот день запомнился на всю жизнь: воспитательница ее, Ульяна

Владимировна, нанесла ей такое оскорбление, после которого мог быть только разрыв. Навсегда.

И Оксана пошла на него.

А случилось это так: когда Оксана уже намерена была остаться в Новочеркасске и ждать выздоровления Якова, а может быть, и вернуться к нему, пришел инженер Рюмин-старший. Одетый с иголочки, в белых перчатках и в золотых очках, холеный и нежный, как женщина, он вошел в дом как раз в тот момент, когда Ульяна Владимировна была не в духе и, расхаживая по комнатам, черная, как монахиня, сжимала виски белыми тонкими пальцами и незлобиво выговаривала Оксане за то, что она не отслужила молебен по случаю близкого выздоровления Якова.

Оксана не особенно придавала значение молебнам, но обещала зайти в собор и заказать молитву. И на том, пожалуй, дело и кончилось бы. И вдруг этот визит этого роскошного инженера... Оксана лишь взглянула на него — и у нее подкосились ноги: перед ней стоял восставший с того света Леонид Рюмин, инженер Югоринского завода, умерший у нее на руках. Она даже рванулась было вперед, готовая поверить в чудо, но вовремя остановилась и смотрела, смотрела на Рюмина-старшего блестевшими не то от радости, не то от слез глазами. И лишь когда он сказал, что он брат Леонида Рюмина, Оксана сникла, опустила голову на грудь, и свет в ее искристых зеленых глазах потух, и они поблекли.

В одно мгновение она вспомнила все события недавнего прошлого, баррикады, смертельно раненного инженера Рюмина... И она готова была вскрикнуть: «Нет и нет! Я не вернусь к прежней жизни, к Якову! Не хочу, ненавижу, проклинаю всех, кто отнял у меня счастье, которое никогда уж более не вернется!..» Но она достаточно умела владеть собой и не проронила ни звука.

— Чем обязана, милостивый государь? — только и спросила она, когда Рюмин назвал себя.

Рюмин замер. Такой красивой женщины он еще не видел. Но и он умел владеть собой отлично и поэтому, кивнув ей почтительно и холодновато, передал конверт, в котором было письмо Луки Матвеича.

Оксана быстро распечатала его, еще быстрее пробежала взволнованным взглядом и узнала: Чургин вот-вот освободится — так сказал инженер Стародуб, Леона будут судить обыкновенным судом и, по всей вероятности, дадут каторгу — так сказали приехавшие из Петербурга два адвоката. «Ну, об остальном тебе расскажет этот человек, брат Леонида. Он же передаст тебе шубу и шапку Якова, которые я позаимствовал по крайней нужде...»

И Оксана сухо спросила:

— Вы не желаете попить чаю прежде, чем мы пойдем с вами в город?

Рюмин понял: она не хочет разговаривать с ним дома, и бросил косой, недоверчивый взгляд на Ульяну Владимировну, сидевшую в черном креслекачалке в соседней комнате и делавшую вид, что читает какую-то книгу. Наконец она не выдержала, вышла в гостиную, и Оксана представила ей гостя.

— Очень рада, очень, сударь,— произнесла Ульяна Владимировна еле-еле, как будто у нее страшно болели зубы, а потом спросила: — Из Петербурга?

— Так точно, сударыня,— почему-то по-военному ответил Рюмин.

— А вы... не сын сановника Рюмина, простите великодушно за любопытство?

— Родной и теперь единственный. Младший брат погиб... Умер...— запнулся Рюмин и вопросительно посмотрел на Оксану.

— Погиб или умер? — насторожилась Ульяна Владимировна.

И тогда Оксана ответила:

— Погиб на баррикадах. От пуль наших казачков.

— Ах, так ты его знавала? — недобро усмехнулась Ульяна Владимировна.

Оксана переглянулась с Рюминым, как бы спрашивая: говорить или не говорить? И вдруг сказала:

— Он умер на моих руках. Суди сама, знала ли я его...

Ульяна Владимировна сдержалась. Но когда спустя час Оксана вернулась домой, проводив Рюмина и условившись о новой встрече, произошел разговор, который и определил весь жизненный путь Оксаны на многие годы.

— Так вот какова ты, оказывается, дочь? — начала Ульяна Владимировна, едва Оксана вошла в дом.— Я и не подозревала, что моя воспитанница и любимица может стать такой ханжой. И... обыкновенной девкой,— добавила она, вложив в это слово все свое отвращение, на какое была способна.

Оксана не знала, верить ли ушам своим или не верить. Так с ней не говорил ни один человек на свете. И она резко крикнула:

— Как ты смеешь так называть меня?! Как ты могла!..

Ульяна Владимировна прервала ее:

— Смею! Называю! Потому смею, потому называю так, что ты, оказывается, имела любовника задолго до того, как разошлась с мужем! Да, смею, потому что я никогда не предполагала, чтобы моя дочь прелюбодействовала! Чтобы моя воспитанница стала...

Она кричала еще что-то, теперь уже как обыкновенная баба, но Оксана не слушала ее. Все, чем она жила многие годы, во что верила и чему поклонялась столько лет и чтила как святыню,— любовь к этой женщине, преданность этому дому, вера в извечность человеческих идеалов,— все рухнуло.

Оксана рыдала, кусала губы и готова была уйти из жизни. И решила то, что так долго не могла решить: уехать, немедленно уехать, хоть за тридевять земель и из этого дома, и от этой женщины, и из этого города.

И она гордо и вызывающе бросила:

— Да, мама, ты сказала слишком чудовищные вещи. Я никогда этого не забуду. И не прощу. Но я не буду отвечать тебе тем же. Я уезжаю. Навсегда.

Ульяна Владимировна поняла: она хватила через край. Но было поздно.

Сейчас Оксана шла по ростепельным улицам Александровска и все еще думала: не во сне ли привиделся ей этот неслыханный скандал с матерью? Что сказал бы Задонсков, будь он жив? Да он разнес бы весь дом, весь Новочеркасск!

Наступал вечер. В окнах домиков ослепительно горели закатные сполохи, и казалось, что горят сами домики и сама земля дымится синим дымом. Всюду щебетали воробьи, щебетали дети, и было похоже, что на улицы высыпал весь юный мир, и каждый старался во что горазд: одни резвились и швырялись снежками, другие лепили баб, третьи катались на санках

и дрались за горку. А наиболее отчаянные выбегали из домиков едва ли не в чем мать родила, в одних рубашках, бесцеремонно садились голышом на ледяную горку и, проехав сажень-две, торопливо убегали домой, меся мокрый снег красными, как гусиные лапки, ногами.

Оксана улыбалась и хмурила брови одновременно. «Жизнь... Даже к детям ты жестока и бессердечна»,— думала она, но сознание того, что и у нее скоро будет свой такой же забияка, вызывало в душе радость и гордость, и ей не хотелось размышлять о бренности жизни.

На окраине города, где жили Чургины, было особенно шумно: тут катались, как на масленицу, и вся улица, длиннейшая и кривая, что плохая степная дорога, была переполнена детьми, а над ними, как телеграфный столб, возвышался какой-то шахтер. С лампой на шее, длинный и черный, как уголь, он бежал посреди улицы в шароварах с кожаными лоснящимися наколенниками, в больших черных сапогах, а за ним катилась целая ватага санок, и на них, лежа и сидя верхом друг на дружке, как стайка скворцов, ликовала детвора:

— Но-о-о!

— Шибчей, дядя Ваня!

— Дай дорогу-у!

Прохожие шахтеры уступали дорогу, одобрительно качали головами, шутили:

— Иван, раструсишь всех и не соберешь.

Огромный шахтер был Иван Недайвоз. Он бежал по улице так, что земля гудела под его ногами и в пыль крошился смерзшийся в комья снег, но зато сам Недайвоз, с белыми зубами и сверкавшими белками глаз, сиял от удовольствия, а частички штыба на нем вспыхивали и сияли в багряных лучах заката. И казалось, что Иван Недайвоз весь светится огоньками и что за ним словно несется звон бубенцов и плывет над улицей, над поселком, как веселый птичий гомон.

И Оксана сказала себе: «Нет и нет! Я буду иметь ребенка».

...У Чургиных гостил Игнат Сысоич. Он, как всегда, сидел на корточках возле печки, чадил цигаркой и что-то рассказывал. Оксана увидала его и обрадованно воскликнула:

— Батя! Вот хорошо, что вы здесь! — И обняла отца.

— Тебя привязали в Новочеркасске, что ли? Мы уже два раза были на твоей квартире,— попеняла ей Варя.

Игнат Сысоич заметно изменился. Под глазами у него появились отеки, лицо потемнело, борода стала совсем седая. Оксана смотрела на его согбенную спину, слушала его сбивчивый рассказ о новой жизни в Югоринске, об извозе, и ей хотелось сказать: «Батя, батя, какой же вы стали».

Медленно, не оборачиваясь, Игнат Сысоич говорил:

— Так что совсем теперь загубилась наша жизнь, мои детки. Леон и Илюша — в тюрьме. Федора совсем кашель забил, Алену прямо из больницы Нефед забрал в хутор. Мать совсем бабкой сделалась, а я в деды гожусь. Ну, скажи, никому в семействе нет удачи! — Игнат Сысоич умолк, шмыгнул носом и добавил: — Настя одна, бог дал, при теле держится и еще одного дитя привела. Славный такой внучек получился. Как квочка, высиживает их, прости бог.

Варя стояла возле печки, готовила незамысловатый ужин и фартуком утирала глаза, а Оксана сидела у стола опустив голову. «Бедность, бедность, бедность. И нет ей конца,— думала она, и на какой-то миг ей пришла мысль: — А быть может, вернуться к Якову? По крайней мере, тогда хоть родным можно будет помогать... И судьбу Леона и Чургина можно будет облегчить. У Якова много денег...»

Мысли ее нарушила Варя:

— Проживем как-нибудь. Другим не легче нашего приходится. Третьего дня Еська Бахмутский полез в забой, а сегодня его похоронили. Один Иван Недайвоз не боится их, хоть и посидел в полиции.

В это время на пороге крыльца что-то загремело, потом дверь широко распахнулась — в переднюю, волоча санки, с шумом вошел шестилетний Чургин. И тотчас все в домике наполнилось веселым звоном:

— Дедушка, а нас дядя Иван катал! Он как конь: много-много вез да быстро-быстро!

— Да ну! Ах ты внучок мой дорогой! — воскликнул Игнат Сысоич и заулыбался, засуетился.— Ну, иди к деду, я гостинца тебе дам, конфету-марафету.

Оксана дала малышу шоколадку, спросила:

— Арсений, а для чего ты санки в комнату прикатил?

— Пусть погреются, тетя Оксана, а то они очень и очень замерзли.

— «Очень и очень»... Грамотей какой... Поставь их в коридор, им и там не холодно будет,— строго сказала Варя.

Чургин-маленький надул розовые губы и молча поволок санки в коридор, а Оксана напустилась на сестру:

— И надо же было тебе испортить ему такое прекрасное настроение. Он как солнышко сиял, а ты оборвала его.

— А вот будет у тебя такое солнышко, посмотрю я, как ты реветь от него станешь... Давайте ужинать, картошка охолонула уже. Батя, бросайте свои цигарки. Это ж беда, как вы чадите! Одну за другой, одну за другой смолите.

— Нам только и осталось, дочка, чадить на этом свете. А на том, может, и чадить не дадут: в один раз живьем зажарят черти-то... Эх, дела! — вздохнул Игнат Сысоич и сказал Оксане: — Оно, детки мои, дите, хоть и солнышко в хату приносит, а все-таки выходить его не так просто. Вот, к примеру, ты, дочка: как теперь жить будешь? Найдись у тебя дите — куда ты с ним денешься, как оно будет без отца?

Оксана вспыхнула от смущения, но ничего не ответила и стала рассказывать о своем разговоре с генералом. Игнат Сысоич навострил уши, даже цигарку отставил, но, как ни слушал, ничего утешительного не услышал и сказал с болью и великой грустью в голосе:

— Так... Значит, каторгу Леону дадут. Не доведется теперь свидеться с тобой, сынок. Эх, звери, что удумали, а? Каторгу! Такому парню! За то, что стоял за правду и людям про нее толковал...— Он помолчал немного, потянул несколько раз длинную, с палец, цигарку и продолжал: — Ну, мы к горю привычные, переживем и это, сдюжим. А как же ты, дочка, теперь будешь с чертом тем, с Яковом? Вы ж вроде теперь не муж и не жена, чи как понимать? Да и какая ты могешь быть жена змею такому подколодному, какой конем топтал людей?

Варя была за пологом и укладывала детей спать, а Оксана сидела у стола, думала о том, о чем спрашивал отец, и ничего не могла ему ответить. Да и что было? И она невесело произнесла:

— Не спрашивайте, батя, об этом. Очевидно, буду учить детей и тем жить.

Игнат Сысоич покачал головой, достал кисет и стал крутить новую цигарку, хотя окурок еще дымился на краешке поддувала. И опять вздыхал: «Пропала жизнь и у этой. А ей ли плакаться на судьбу? Обличьем первая красавица на весь Черкасск, ума — палата, как не больше, а вот же и ей не везет, не идет в руку удача. Как меченые, накажи бог! Никому не выпала людская доля, а так, одно мучение только и досталось...»

Из-за полога, где была Варя, послышались слова ее дочурки: «А я дедушке скажу, он серого волка убьет». Игнат Сысоич тотчас же обернулся к кровати и с готовностью ответил:

— Беспременно, моя кундюбочка, как только ты кликнешь деда — так я его враз убью, серого... А пока спи, спи, внучечка, а я ружье изготовлю к бою...— И, тяжко поднявшись, сказал Оксане: — Учи детей, дочка, так оно сподручней будет. А то как загребут и тебя — пропал тогда весь род наш, считай. Эх, судьба, пропасти на тебя нету!

— Вы так вздыхаете, батя, как будто я по меньшей мере уже в полиции нахожусь.

— Я не знаю, дочка, по меньшей чи по большей мерке ты будешь жить, а только так и тебя стреножит судьба, как стреножила твоего брата, живи лучше с Яковом. Там хоть цела-невредима будешь и всякая шваль при погонах не будет душу из тебя выматывать, а у нас все вверх дном перевертывать да стращать Сибирью, как политических родителей. Так-то, дочка.

Оксана усмехнулась довольно легкомысленно, а это обидело Игната Сысоича, и он сердито заметил:

— И смешки строить тут нечего, дочка. Ты — жена того идола с рогами, Яшки, и никто теперь тебя не возьмет и сватов не пришлет. И в нашем роду еще не водилось такого, чтобы законный брак порушать. На что это похоже? Аленка кинула Леона, а теперь волосы на себе рвет. Ты кинула Яшку. Вы не побесились, случаем?

Варя вышла из-за полога, недовольно заметила:

— Ну, батя, это не ваше дело. Оксане не семнадцать лет. И Леон знает, что делает, если не вернулся к Алене. Не надо было кидать его...

— Так-то оно так, дочка, а только ваше горе для нас — вдвое горше. У матери вон уже слез нет, все выплакала, и я совсем побелел от такой вашей житухи непутевой. А все через них, Загорулькиных тех. Их, должно, матери сучьим молоком кормили, прости бог, звери, а не люди.

— Батя! Ну что это за слова? — возмутилась Оксана.

— А что, не правду сказал? — удивленно уставился на нее Игнат Сысоич.— Сукин сын и есть твой Яков. Это он растрепал жизнь Аленки и всех нас. И ты по правильности обошлась с ним. Я, как твой родитель, не велю тебе и в думках держать, а не только возвертаться в ихнее семейство. Хватит с нас! Довольно вертеть нашим родом, как бычачьими хвостами! — горячился Игнат Сысоич, забыв, что минуту назад говорил как раз обратное тому, что сейчас.

И, устало сев за стол, взял нож и начал резать хлеб – торжественно и медленно, а когда отрезал несколько ломтей, собрал со стола крошки, бросил их в рот и заключил:

– Все, довольно языки чесать. Давайте подкрепимся и – спать пора. Я зорькой думаю ехать...

Ели молча, долго пережевывая картошку и черствый хлеб, и каждый думал свою думу. Что будет завтра?

Варя посматривала исподлобья на отца, на Оксану, что ела как будто через силу, и наконец сказала:

– Поздно говорить теперь про Оксану, батя. Она – в тяжестях...

Игнат Сысоич даже поперхнулся. Зло швырнув вилку на стол, он встал и заходил по комнате, не зная, что и говорить. Увидев на полу, возле печки, тлевший окурок, он надавил на него своим пудовым сапогом и уничтожил начисто. И только тогда возмущенно заговорил:

– В тяжестях! Дитя еще тебе недоставало от таких иродов! Да ты чем думала, что живот надула, извиняй за гострое слово? Какой крест на хребтину свою молодую кладешь? Вот же везет, накажи бог! Головой в омут, только и осталось. Тьфу, да и только! – сплюнул он от злости и опять сел на корточки возле печки.

Оксана решила утихомирить его и сказала, что генерал Суховеров обещал вернуть Игната Сысоича на хутор.

Игнат Сысоич хлопнул ладонями по коленям и встал, как молодой, и пошел, пошел честить Калину, и генерала, и Загорулькиных:

– Держи карман шире! Одна у них шайка! Не верю я им больше, кончилась вера. Ить же хамлеты какие: по-первах гонют в шею, а после усластить хотят...

Речь его оборвалась: в хату быстро вошел Иван Недайвоз и радостно сообщил:

– Чургин идет! Домой идет! – и вылетел из комнаты, точно его и не было.

И засуетились Варя и Игнат Сысоич, забегали по комнате, не зная, что бы это сделать такое особенное, а потом побежали на улицу.

Оксана стояла посреди комнаты, слушала, что там творится на улице, и у нее блестели слезы радости: теперь-то ей будет куда лучше и жить и учить гимназистов, все будет лучше. И впервые с тех пор, когда она породнилась с Чургиным, спросила себя: а почему ей всегда хорошо было с ним? И почему его присутствие прибавляло ей сил, поднимало настроение, вселяло в душу чувство бесстрашия и решимости на самое трудное? Ведь сказал же он, что она не пойдет замуж за Овсянникова, а будет учиться? И она поехала в Петербург, на Бестужевские курсы. Сказал он, что ей следует хорошенько задуматься над своими отношениями с Яковом? И она покинула его. А баррикады? А ее знакомство с Леонидом Рюминым?

– Все он. Чургин... – вслух проговорила она.

И вспомнилось ей, как давно-давно, когда она еще не знала его, он встретился ей в Новочеркасске, у собора, и так посмотрел на нее, гимназистку, что Оксане показалось: сейчас он подойдет к ней и скажет: «Будьте моей женой». Но он не подошел к ней и ничего не сказал, и она прошла мимо него, а потом часто спрашивала себя: кто этот молодой и конечно же железный человек и почему он так смотрел на нее, почему оказался

на площади, возле собора, почему встретил именно ее, а не других гимназисток, почему и откуда вообще появился в Новочеркасске? И ни на один из этих вопросов она не нашла ответа. А потом он женился на Варе...

И Оксана вздохнула печально, тяжко и вяло пошла из комнаты. Понимала она отлично, что это за человек и что он значил в ее жизни.

Чургин шел по улице, как глыба: прямой и несгибающийся, шагавший ровными, точно саженями отмеренными шагами, не обращая внимания на окружающих, и если что и было светлое в нем, так это кудрявая бородка, отросшая в тюрьме, да глаза были светлые и смотрели мирно и безмятежно.

Но это лишь казалось так. На самом деле Чургин смотрел на все с волнением и великой радостью: он — на свободе! Он вновь живет и жить будет человеческой жизнью, как все люди, что идут ему навстречу,— нет, не все, а как эти, его друзья-шахтеры, что идут и улыбаются ему за квартал, а иные поворачивают назад и радостно убегают в поселок и кричат, как мальчишки:

— Чургин идет!

— Чургин вернулся!

— Чургин сызнова с нами!

И мягкая, сдержанная улыбка разбегалась от уголков его рта весело и озорно, а в глазах сверкали искорки радости, и он сам готов был бежать по поселку и кричать: «Здравствуйте, друзья! Я вернулся, к вам вернулся! Вместе теперь будем жить и думы думать! Спасибо вам, милые!» Но он продолжал идти крупными шагами и говорил шедшему рядом с ним инженеру Рюмину:

— Обратите внимание, Михаил Константинович: у шахтеров сияют лица. А это означает: дух революции живет. И революция, надо полагать, живет и здравствует. Как видите, математика довольно простая.

Инженер Рюмин притронулся к своим золотым очкам и более пристально посмотрел вокруг. Действительно, у всех стоявших возле домиков шахтеров глаза светились радостью, и кажется, скажи им: «Товарищи, вперед за дело рабочего класса!» — и все станут в строй. Просто и ясно. Он же только что говорил Чургину: «Настроение человека — это сложная математика, очень тонкий инструмент, который и настроить-то может не каждый». И он, как бы извиняясь, ответил:

— Я не могу сравниться с вами в познаниях шахтеров. Они вот-вот бросятся к вам в объятия. Но от объятий до восстания — сто верст.

— Даже больше,— пошутил Чургин и добавил серьезно: — А вот ежели бы нам удалось вызволить Леона, Ольгу, моих друзей по руднику — это расстояние могло сократиться втрое. Вы понимаете меня: я говорю о командирах революции. А их теперь у нас поубавилось вдесятеро. Значит, главная наша с вами задача — готовить и еще раз готовить новых вожаков грядущей битвы с самодержавием. Доктор Симелов, мой друг, ровно ничего в своей думе не сделает. Это утопия.

— Я очень рад, что познакомился с вами и помог, чем располагал. Хочу сообщить вам приятное: вас заочно избрали на очередной съезд, так что поздравляю.

Чургин крепко сжал его руки и сказал проникновенно:

— Передайте Владимиру Ильичу... Товарищу Ленину шахтерское спасибо за все.

Больше ему говорить не пришлось: недалеко от домика его окружили шахтеры, тискали в объятиях, что-то говорили, а потом вдруг подняли на руки и понесли.

И Чургин, железный Чургин, из которого десятипудовой гирей не выдавишь и слезинки, почувствовал в горле такой ком, что у него дух перехватило и повлажнели глаза.

— Качай его, ребята! Это наш, шахтерский, царь!

— У-ух, какой тяжелый, братцы! А ну еще р-р-раз!

Чургин взлетал в воздух, проваливался вниз и падал на человеческие руки и плечи, опять взлетал, и сколько бы это продолжалось, трудно было сказать, да Иван Недайвоз, главный закоперщик, крикнул:

— По поселку его! По всем шахтам его носить! Пущай властя смотрят и мотают на ус, с кем шахтеры идут и за кого жизни не пожалеют!

И понесли бы, и не только по шахтам, а и по городу, но Чургин взмолился:

— Родные мои... Милые вы мои люди, поставьте же меня на нашу шахтерскую землю. Я хоть посмотрю на вас хорошенько.

И его поставили, и тогда к нему бросилась Варя и стала целовать.

— Илья... Душа изболелась... Черные думы истомили...

Он поцеловал ее и не успел ничего сказать как к нему подошла Оксана, посмотрела в его счастливые, влажные глаза пристально и нежно одновременно. И прильнула к его груди.

— Такой же, каким был тогда, возле собора...

У Чургина дрогнула левая бровь, и под сердцем что-то дрогнуло. Неужели она помнит тот светлый день его юности? Да, тогда он носил такую же пушистую бородку, какую носили былинные богатыри, и искал, искал по свету ту, которую заколдовал и унес в свои золоченые тенета страшный чародей-волшебник, и мечтал вызволить ее из беды и умчаться с ней на белом коне в неведомые райские дали. И не нашел любимую. А ведь она, Оксана, прошла мимо него. И он забыл тот день, ту встречу. И вот она напомнила ему о ней. К чему? Ради чего? Проснулось что в ее неустроенной душе и хотелось хоть теперь, спустя много лет, сказать, что тот солнечный день и в ее памяти оставил какую-то крупицу прекрасного?

И Чургин мягко, подавив нахлынувшие воспоминания, ответил:

— Спасибо, милая. И за то спасибо, что ты оказалась здесь. А теперь позволь...— хотел он представить инженера, но Оксана сказала, что они знакомы, и протянула руку Михаилу Рюмину.

Все это случилось в считанные секунды, а в следующие секунды Чургина обнял Игнат Сысоич, прослезился и сказал дрогнувшим голосом:

— А Леонтия хотят закандалить, супостаты и ироды, богом клятые. Эх!

Чургин подумал: «Да, Леону дадут каторгу. Это — в лучшем случае». Но Игнату Сысоичу ответил бодро:

— Ничего, папаша. Как его закандалят — про то еще бабушка надвое сказала.

...Долго в эту ночь светился огонек в домике Чургина, много перебывало в нем шахтеров, знакомых и незнакомых, ближних и дальних, с соседних

рудников, расспрашивая о его здоровье, жалуясь на подрядчиков, на штейгера Петрухина, на власти и неизменно задавая один и тот же вопрос: неужели все в этой жизни так и останется на веки вечные и рабочий человек не найдет правду, не найдет управу на живоглотов, больших и малых, на хозяев рудников, на чины полиции? Ведь всех их, душителей рабочего человека, так мало, а шахтеров – видимо-невидимо, а всего мастерового люда – войско целое, с которым не может сравниться никакое войско всех царей на свете.

Чургин был предельно осторожен и хорошо знал, что за его гостями, как и за ним самим, наблюдает не один шпик. Но мысленно говорил шахтовладельцам, и властям, и всем инакомыслящим: «И вы, милостивые государи, все еще хвастаете своей «победой». Не вы победили, а пролетариат отступил на время. Тому свидетельство – шахты работают еле-еле и добычи выдается на-гора ровно половина прежнего; в душе у каждого рабочего человека горит ненависть к вам, и скажи сейчас: «Топите уступы», как все рудники будут заполнены до самых стволов. Вот что такое победа, уважаемые. Но это – победа революции, наша победа».

И Чургин вслух сказал:

– Что же вам ответить, милые? Отвечу я вам так: последнее слово о такой вашей судьбе далеко еще не сказано – слово о том, как и что делать дальше. Скажут это слово рабочие люди России, придет время. Значит – не опускать голову, а держать ее гордо и смело смотреть только вперед, туда, где восходит солнце. В этом заключается весь смысл нашей с вами жизни, милые. В борьбе. За рабочее дело.

Он встал и медленно заходил по комнате, а все, кто стоял у двери или сидел на корточках возле печки, все глубоко задумались, чадили самокрутками, переглядывались понимающе и значительно и негромко говорили друг другу:

– Вот так-то, брат. Смекай, что к чему сказано.

– Вперед, к солнцу, стало быть.

– За рабочее, за шахтерское дело...

– Да-а, ребятки, такие-то дела...

Они всё поняли. И положили его слова в самую душу, и спрятали там понадежнее.

Игнат Сысоич уже сто цигарок выкурил, на этот раз устроившись возле раскрытой двери, и все перевел на свой манер: «Вот он какой, рабочий человек: за версту видит кругом и на три аршина под землей, аж еще глубже. К солнцу, стало быть, надо направляться. А мы, крестьяне, дальше своей хаты да загорулькиного ветряка чи хоть бы церкви хуторской ничего и не примечали. Вот беда где наша! А Илюша, по всему видать, – голова шахтерскому делу. Со всего света идут и идут, как на праздник. Эх, люди! Побольше бы нам таких голов рабочих, таких глаз орлиных! Повиднело бы за тыщу верст и полегчала бы наша судьбинушка-лиходейка, враз посмирнела бы, а то и кинула в душу радость какую мужицкую чи добрую надежу в жизни. Но нет у нас, мужиков, таких голов, и сам бог велит нам прибиваться к ихнему берегу, к мастеровым. Тут сподручней будет валить загорулькиных и атаманов, да и повыше каких, прости бог...»

Оксану провожал инженер Рюмин и все время восхищался:

— Какие люди! Какие замечательные люди! Теперь я понимаю, почему брат вернулся сюда, на завод. Жаль, безмерно жаль, что судьба так рано оборвала жизнь этой поэтической души. Многого он не успел понять, многого не успел сделать. И дай мне бог сделать за него и за себя все, что требует наше великое время.

Оксана молчала, Оксана дрожала не то от холода, не то от нервного напряжения, или оттого, что увидела Чургина и сказала ему то, что говорить не должна была, что скрывала от него много лет; или оттого, что вновь на ее пути встал инженер и брат человека, которого она любила, из-за которого порвала с Яковом, а теперь порвала с матерью. Что она теперь, кто? Ни замужняя, ни девица, ни подпольщица, ни монархистка. А ей предстоит жить и жить, воспитывать ребенка и пройти с ним нелегкий путь в полном одиночестве.

Оксана готова была пройти этот тяжкий путь, ни на что и ни на кого не надеясь. В конце концов, она выросла не в оранжерее. Но зачем судьба ставит на ее пути этого гордого и красивого инженера, который уже ясно намекнул, что ей трудно будет так жить, как она задумала, и что Яков никогда не оставит ее в покое и не перестанет заманивать к себе, в свою тюрьму, великолепную и полную добра, но все-таки тюрьму...

Он так и сказал пять минут назад, этот удивительно бесцеремонный инженер,— в тюрьму. И хотя Оксана внутренне была согласна с ним, она все же готова была протестовать против такого назойливого вмешательства в ее жизнь человека, которого она видит всего лишь второй раз в жизни, пусть и в чем-то близкого ей, как брата того, кого она любила, но все-таки постороннего, чужого...

Но такая уж была Оксана: думала об одном, а говорила совсем о другом. И сейчас — едва инженер Рюмин умолк, как она ни с того ни с сего спросила:

— Вы любили кого-нибудь, Михаил Константинович?

Инженер Рюмин опешил. Разве он говорил ей о себе? И, не подумав, ответил с усмешкой:

— Вы, простите великодушно, очень злая. Я — Михаил Рюмин, а не Леонид. И, насколько мне не изменяет память, я ни единым словом не обмолвился о своих сердечных тайнах. Впрочем, у меня их нет,— добавил он поспешно и смущенно.

И тогда Оксана сказала хлестко, хотя и сдержанно:

— Вы — жестокий, жестокий даже человек, Михаил Константинович, и не вам понять меня... Да, я — жена Якова, но я никогда не любила его. Я любила Леонида Рюмина, вашего брата, и готова была идти за ним до конца дней своих. Однако он ушел из жизни. Что я теперь? Кто я теперь? Ничто. Никто. Революционерки из меня не получилось. От попадьи я отказалась. Помещицей я не хочу быть. Остается одно: просто — жить. Без цели, без вдохновения, без любви к тому делу, которому тебя учили.

Рюмин нетерпеливо воскликнул:

— Да почему же? Почему надо непременно так жить, Оксана? Без цели, без вдохновения, без идеалов и даже без любви к своим гражданским обязанностям. Это же — тление, а не жизнь!

— Да. Это — тление, Михаил Константинович,— печально согласилась Оксана и заторопилась прощаться.— Однако мы увлеклись. Я уже дома. Спасибо вам, что проводили меня.

— Погодите... Погодите уходить, я прошу вас,— пытался удержать ее Рюмин, но Оксана уже высвободила руку из его мягкой и теплой руки и пошла.

И тогда Рюмин настиг ее, задержал и сказал дрогнувшим голосом:

— Я не могу вас отпустить, не хочу вас отпускать, Оксана. Я должен сказать вам нечто очень важное, очень важное и значительное...

Оксана остановилась и совершенно равнодушно спросила:

— Что вы можете мне сказать, мой дорогой инженер? Чтобы я держала нос кверху? Хорошо, я обещаю вам это. Чтобы я любовно относилась к своим гражданским обязанностям? И это я вам обещаю. Одного я не могу в силах обещать: закрыть дверь перед человеком, который будет, который есть отец моего ребенка. Яков и есть такой человек...

— Значит, возврат в имение...

— Я этого не сказала.

И Рюмин пошел на шаг самый неожиданный и дерзкий и взволнованно сказал:

— Я предлагаю вам свою руку, Оксана Владимировна. Сейчас, немедленно и готов соединить с вашей навсегда. Смею уверить вас, что вы будете счастливы. И ребенок ваш будет счастлив — я сделаю из него порядочного человека и хорошего инженера...

Оксана улыбнулась горько и снисходительно и отрицательно покачала головой.

— Леонид говорил мне, что вы очень решительный и горячий человек. Я уважаю вас за это. Но согласитесь...

— Не соглашусь, Оксана. Никогда не могу согласиться,— прервал ее Рюмин.— Я давно привык к вашему имени, к вашей жизни, ко всему вашему — брат рассказывал не раз,— и был бы безмерно рад, если бы судьба соединила вас. Но этому помешали злые силы... Поверьте мне: я никогда никого больше не полюблю. И никому никогда не сделаю предложения...

Оксана задумалась, помолчала немного и произнесла твердо:

— Благодарю вас! Я понимаю благородный порыв ваш и желание избавить меня от возможных неприятностей в жизни. Но я не могу принять вашего предложения. И вы не должны настаивать на нем: это легкомысленно, извините, для нас обоих... Прощайте.

Она ушла в дом, а Рюмин стоял в полной растерянности и не знал, что лучше сделать: догнать ее и вернуться или ворваться в дом и уж больше не уходить из него. Но он понимал: и то и другое делать нельзя, и медленно пошел по улице, опустив голову, опустив руки.

А Оксана вошла в дом, как больная, и остановилась посреди небольшой комнаты, заваленной тетрадями и книгами с бесчисленными бумажными и ленточными закладками в них. И думала Оксана: вот и случилось то, чего она более всего боялась,— она перестала владеть собой. Да, она видела перед собой счастье, то самое, о котором мечтала, которое двигало ею в жизни в последние годы, ради которого она пошла на баррикады, под пули солдат — пошла за Рюминым, за его идеалами, за его любовью. Но то было скоротечное счастье и ушло так же вдруг, как и явилось: ушел любимый человек. И вот он вдруг явился перед ней вновь, и его любовь явилась, и его идеалы. Как же так? «Он же мертв. И счастье мое умерло и не может вернуться. А это мираж, призрак, небытие,— думала Оксана и

впервые сказала себе: — Чургин Илья — вот моя реальная жизнь, реальная мечта. Я всегда любила его и лишь делала вид, что он существует на свете для моей сестры, для Варвары. Нет и нет! Он живет для всех. И для меня».

Она подошла к пианино, тронула клавиши, потом села, подумала немного и стала играть. И запела тихим, дрожащим голосом:

Я плачу, я стражду...

И заплакала.

Тем временем Чургин слушал рассказ жены о житье-бытье, гладил по белым головкам сына и дочь и думал все ту же думу: как теперь жить, что и где делать, чем кормить детей? Ведь никто теперь не даст ему работы на сто верст вокруг. Впрочем, ему и не придется искать работу в ближайшее время, а придется уехать за границу, на съезд партии, о чем его предупредил Рюмин. Значит, самое неприятное и тяжкое — поиски работы — отложится, потерпится, а там видно будет, свет не без добрых людей.

И он спросил совсем не о том, о чем говорила жена и чего ждала.

— Оксана как сюда попала? И как устроилась на должность?

— Стародуб устроил на старое место.

— И тут — Стародуб... Сколько сделал для нас этот человек! И кто бы мог ожидать подобное? Впрочем, я не прав: именно Стародуб и мог,— задумчиво ответил Чургин сам себе и добавил: — Надо зайти к нему и поблагодарить за все. На большее, конечно, рассчитывать невозможно.

— Он может дать записку на другой рудник,— сказала Варя.— Он все может.

Чургин отрицательно качнул головой и с горечью ответил:

— Нет, Варюша, нет, милая, Стародуб уже не все может.

В это время посыльный мальчик принес записку от Стародуба, в которой тот приглашал Чургина зайти в контору. Чургин долго читал ее, как бы стараясь понять, что она сулила ему: радость или новую печаль, но записка была написана кратко и предельно сухим языком, и ничего в ней нельзя было увидеть обнадеживающего.

Стародуб ждал его с раннего утра. Он вообще стал появляться на шахте ни свет ни заря, успевал до начала занятий в конторе побывать едва ли не в каждом закоулке шахты, все проверял сам, все распоряжения отдавал сам, все отчеты подчиненных слушал сам. Он не верил никому и все более взваливал на себя рудничные заботы до самого мелкого, до самого ординарного, вплоть до хлопот о костылях и гайках, но именно от этого становился совсем невозможным и разносил подчиненных буквально за всякую мелочь. Да что там — разносил, он изничтожал их и за время, пока Чургин сидел, прогнал с рудника всех десятников, и штейгеров, и подрядчиков и принял новых. И терпел только одного Петрухина, потому терпел, что кум его, хозяин рудника, Шухов умолял не трогать этого штейгеришку «по весьма важным и далеко идущим соображениям», как он говорил.

Стародуб догадывался об этих «соображениях» и мог бы просто не обращать на них внимания, но не хотел ссориться с Шуховым, с его женой,

с полицией. Однако Петрухин не переоценивал себя и боялся Стародуба животной боязнью и был готов к самому худшему каждый день.

Чургин вошел, как входил всегда: так тихо, что и шагов не было слышно, но Стародуб почувствовал, что Чургин вошел, и радостно пошел ему навстречу, взял за руки. Стиснув их и пристально глядя в его глаза, он сдержанно произнес:

— Ну-с, вот и хорошо, вот и обошлось, бог дал. Рад, от всей души рад видеть вас, дорогой Илья Гаврилович, и выразить вам самое сердечное сочувствие мое и некоторых моих и, косвенно, ваших друзей. Ух, какой же вы худущий, друг мой! А бородку отпустили роскошную,— заметил он, усаживая Чургина в кожаное кресло, а сам сел напротив.— Ну-с, рассказывайте...

Чургин взволновался. Он знал, что Стародуб, этот самый грозный и высокомерный из всех управляющих и самый образованный из всех инженеров, дал за него поручительство властям и написал им письмо, под которым поставили свои подписи едва ли не все видные техники Александровского каменноугольного района.

Этот поступок мог дорого стоить Стародубу: не только принести неприятности, но даже мог стоить ему всей карьеры. И, однако же, он пошел на него. И конечно же убедил пойти на это и своих друзей.

И Чургин, поднявшись и сдерживая желание обнять этого человека, сказал низким голосом:

— Спасибо, от всего сердца спасибо вам, дорогой Николай Емельянович. Вы и не подозреваете, какую услугу вы оказали мне. И не одному мне... Я... Мы никогда этого не забудем.— И отошел в сторону, заметив, что все в кабинете вдруг потеряло привычные очертания.

Стародуб уже ходил по кабинету, заложив руки за спину и наклонив голову, как делал всегда в минуты крайнего напряжения мысли. Было видно, что он что-то решает, готовится сказать. Наконец он подошел к столу и стал набивать трубку. И Чургин достал папиросы.

— Да,— задумчиво произнес Стародуб и, чиркнув спичкой, дал прикурить Чургину.— Все это пустяки, мой друг. Гораздо существеннее другое: почему мы, техники, не вмешивающиеся в политику, дали властям такое письмо о вас? Ведь все мы не считаем вас непорочным агнцем, нет. И все же вмешались в самую настоящую политику. Техники и... политика! Парадокс!

Чургин усмехнулся, пыхнул дымом и ответил:

— Мы как-то говорили с вами, Николай Емельянович: вы лишь делаете вид, что не интересуетесь политикой, а на самом деле вы живете ею ежедневно, читая газеты, споря по тем или иным вопросам современного положения вещей. Но я понимаю вас: произошло нечто большее, чем просто появился интерес к политике.

— Вот именно: произошло нечто большее. Не сейчас, нет. Произошло за последние месяцы. Но что? Социалистом я-то не стал? Нет.

Чургин сел в кресло, скосил глаза на дверь и пустил под потолок два синих кольца дыма. Стародуб заметил это, прошелся по мягкому текинскому ковру и сказал:

— Я не боюсь, Илья Гаврилович. Я был и остался тем же Стародубом, так что можете не стесняться.

Чургин хотел спросить: «Тем ли, Николай Емельянович? По-моему, нет», но ему хотелось услышать, что еще скажет этот человек в простых русских сапогах и в простой суконной черной тройке, под которой конечно же билось сердце честного русского инженера.

— Я на днях «беседовал», как вы изволите иногда говорить, с владельцем рудника, — продолжал Стародуб. — И знаете, что я ему сказал? Я ему сказал следующее: «Если таких, как Чургины, вы будете держать в тюрьмах, нам с вами нечего будет делать в жизни, не говоря уже о том, что таких тюрьмы не вместят».

— Благодарю вас, Николай Емельянович. А что ответил вам владелец рудника?

Стародуб остановился против него, пристально посмотрел в лицо и раздумчиво продолжал:

— Он спрашивал об одном: социалист вы или нет? Я сказал: «Нет». Но я покривил душой. Вы, мне сдается, не только социалист, Илья Гаврилович. Вы — тот человек, который в одно прекрасное время придет и скажет инженеру Стародубу: «Ну, милый мой, довольно тебе мозолить здесь глаза. Отныне управлять всеми шахтами буду я, Чургин».

Чургин пустил сразу три колечка дыма под золотую люстру и на этот раз с явным удовольствием сказал:

— Вы впадаете в крайность, Николай Емельянович. Что касается меня и, не скрою, моих друзей по шахте, то мы держались бы совсем иного взгляда на вашу роль в горнорудном деле, если история поставила бы подобный вопрос.

Стародуб недоверчиво скосил на него свои черные глаза и некоторое время смотрел сурово и молча. Потом потер виски пальцами белых рук и пошел расхаживать по кабинету.

— Поймите меня правильно, мой друг. Я не спрашиваю вас: верно ли то, что я сказал о вас? Я спрашиваю себя: если Россия, если простые шахтеры, простой народ дошел до понимания самых сложных вопросов общественного движения и пытается свернуть историю с ее вековечного пути на новый, лучший путь и делает это ценой своей жизни, позволительно заключить: как же далеко вперед ушла Россия и как тщетны попытки удержать ее на этом старом пути, не вызывающем восторга, мягко говоря, даже у нас, техников?

Он сел за стол, отложил трубку в сторону, подумал немного и понизил голос:

— Вот над чем я думал в последнее время, Илья Гаврилович. Кто прав: вы или мы? Мне хотелось бы, чтобы правы были мы, по привычке, очевидно, хотелось бы, а между тем я вижу: правы вы, прав народ. Никому я не могу сказать этого, а вам могу. Вам хочу сказать, милый мой Чургин! Позвольте Стародубу хоть немножко побыть сентиментальным...

Он умолк, взял блокнот и стал что-то писать. И Чургин понял: «Значит, мне здесь не служить», — подумал он с тревогой, но, как всегда, спокойно сказал:

— Мне приятно слышать, Николай Емельянович, что вы пытаетесь понять события последнего года. И, не скрою, мне доставляет удовольствие еще раз сердечно поблагодарить вас и ваших коллег за все то хорошее, что вы думаете о нас, простых шахтерах. Но... — Он помолчал и пристально

посмотрел на хмурое и сосредоточенное лицо Стародуба. – Но позвольте задать вам один деликатный вопрос...

– Сделайте одолжение, Илья Гаврилович.

– Как же вы теперь будете служить, будете жить в обществе шахтовладельца, коллег-ретроградов и прочих, коль у вас, насколько я не ошибаюсь, наметился разлад, – подчеркнул он это слово, – с окружающей вас действительностью? Это ведь трудно...

Стародуб не торопился отвечать, а потирал виски указательными пальцами, смотрел на блокнот и не вырывал исписанного листа. И Чургину не составляло труда понять: этот человек вновь что-то решает и никак не может решить или не хочет решить. Во всяком случае, записку он еще не подписал.

– Как жить, вы спрашиваете? – горько усмехнулся Стародуб. – А вот так и придется жить. Попробуем еще думу. Мы решили послать в нее вашего друга, доктора Симелова. Если и это предприятие не принесет желаемых успехов, тогда, – развел он руками, – тогда нам останется исповедовать свою старую религию: бразды правления новой Россией должны и могут взять в свои руки техники, прогресс...

И он размашисто подписал записку, встал и отдал ее Чургину, сказав мягко и сочувственно:

– Вам следует уехать из этих мест, Илья Гаврилович. Я говорил об этом инженеру Рюмину, когда он был у меня по поводу вас. Конечно, временно уехать, я полагаю, – добавил он уверенно и твердо. – Эта записка поможет вам на первый случай... Вот и все, мой дорогой Чургин.

У Чургина мелкая дрожь пошла по телу, но он и виду не подал, что взволнован таким неожиданным предложением – Рюмин еще не успел ему сказать. Но каленый характер был у Чургина, и он спокойно спросил:

– Вы уверены, Николай Емельянович, что мне следует непременно покинуть наши края?

– Вас не примут ни на одну шахту, Илья Гаврилович, – печально и тихо ответил Стародуб и, достав сотенный билет, хотел было отдать ему, Чургину, да постеснялся, замялся и не отдал – он знал, с кем имеет дело.

И действительно, Чургин встал, надел фуражку с золотыми молоточками и стал прощаться, а на сотенный билет и внимания не обратил.

– Благодарю вас, Николай Емельянович, за беспокойство. Я попытаюсь устроиться где-нибудь сам. Все же я, с вашей помощью, штейгер... Да, если вы позволите, разрешите мне, в случае крайней нужды, прибегнуть к помощи вашего имени. Ну, скажем, вы подтвердите, что я уехал за границу по делам рудника.

Стародуб поднял на него темные глаза, сел за стол и, помолчав немного, сказал:

– Хорошо, Илья Гаврилович. Я согласен. А деньги вы все же возьмите, если не хотите оскорбить меня.

– Я не хочу унизить вас, Николай Емельянович, – отказался Чургин и протянул ему свою длинную руку. – Ну, желайте мне успехов, добрый и неизменный учитель мой. И позвольте еще раз сказать вам от всего сердца: спасибо вам за все.

Стародуб долго смотрел на дверь, которая закрылась за Чургиным, и вдруг с ожесточением скомкал и швырнул сотенный билет на трубочки чертежей.

— И таких людей, такой талант и истинно народную силу духа вы хотите поставить на колени!.. Тогда и меня ставьте, милостивые государи! Да, да, меня, дворянина и инженера Стародуба! Ибо я никогда, ни при каких обстоятельствах не соглашусь с вами. Никогда! — заключил он гневно и сверкнул глазами в сторону окон, будто там и были те, к кому он обращал свои слова, обращал впервые в жизни.

А Чургин вышел из кабинета, закурил папиросу и неторопливо зашагал по коридору конторы, недоступный, казалось, никаким человеческим страданиям, а на самом деле все время твердивший: «Работы нет. Денег нет. Жить нечем. И детям завтра нечего есть. Проклятье».

Навстречу шел штейгер Петрухин. Он не знал, о чем говорил Чургин с управляющим, да это его и не интересовало. Его интересовало другое: почему Стародуб дал поручительство за этого человека, одного слова которого было бы достаточно, чтобы шахтеры затопили все рудники? И еще: почему власти поверили Стародубу, а не ему, Петрухину? Нет ли здесь чего-то такого, над чем следует хорошенько задуматься? Но Петрухин был реалистом и понимал: Стародуб снесет ему голову раньше, чем он успеет донести на него кому следует.

И Петрухин с предельной вежливостью сказал:

— Глядя на вас, дорогой Чургин, ей-богу, ни за что бы не поверил, что вы только что были, извините, в местах, не столь завидных. Ну-с, здравствуйте.

— Надеюсь, не без вашего участия. Говорят, вы очень довольны своей службой?

Петрухина передернуло, но он сдержался и весело ответил:

— О да! А вы, говорят, полезете рубать уголек? Могу предложить свои услуги: беру зарубщиком. Пятнадцать целковых в месяц. Квартира: нары в бараке для семейных и полог из мешковины, чтобы любопытные не смотрели, так сказать, в замочную скважину. Ваше мнение, дорогой коллега? — язвил он с превеликим удовольствием.

Чургин готов был развернуться и вогнать этого человека на аршин в землю, но вместо этого слегка улыбнулся и сказал:

— К сожалению, вашему, разумеется, вы — очень мелкая шавка, чтобы сие от вас зависело. Благодарите бога, что вас хоть как, да кормят. Честь имею.

Петрухин налился злобой, но не нашелся что ответить. Лишь когда Чургин отошел от него, сказал негромко:

— Ну, шахтерский радетель, голод смирит твою гордыню, скоро смирит. Ты еще узнаешь, что значит просить штейгера Петрухина...

— Штейгер Петрухин! Сколько я буду ждать вас? — раздался грозный голос Стародуба, стоявшего возле своего кабинета.

Петрухин вытянулся в струну и пошел по коридору так, будто аршин проглотил.

Стародуб в кабинете загремел:

— Если я застану вас еще раз в коридоре праздно болтающим, с той секунды вы можете быть свободны от своих тяжких обязанностей штейгера

шахты. Докладывайте: почему лавы подрядчиков Жемчужникова, Ильина, Кандыбина – всех ваших любимцев – не выдают добычи?

У Петрухина язык онемел и ноги подкосились от таких слов.

– Позвольте, как это – не выдают добычи? Почему – не выдают? – спросил он, посматривая в окно на копер, будто там видно было, из каких лав выдается на-гора уголь.

– Я сказал вам, что, если еще раз замечу вас в коридоре праздно болтающим, вы можете считать себя свободным от своих обязанностей штейгера. Я исправляю свою ошибку и освобождаю вас от этих обязанностей сегодня. Можете идти.

У Петрухина все в глазах пошло кругами.

– Боже мой... Жена, дети, общество... Пощадите, Николай Емельянович! – простонал он и упал на колени.

– Позор! Вы находитесь в кабинете управляющего, милостивый государь, а не в голубой мечети Константинополя. Встаньте!

– Боже, да за что же так, господин управляющий? – подымаясь, прошептал Петрухин и поплелся из кабинета.

Стародуб сел за стол, макнул перо в чернильницу и написал распоряжение, а потом надел брезентовый плащ, взял лампу и спустился в шахту...

Домой Чургин возвращался почему-то крайне уставшим, как после болезни, и с удивлением отметил: «Отвык ходить. Да. А когда теперь полезу в уступы – неизвестно. Но ничего, господа хорошие, мы еще походим по земле русской. Даже побегаем, уверяю вас...»

Невдалеке от конторы его встретили шахтеры, забросали вопросами:

– Ну как, Гаврилыч?

– Что он тебе насулил, Стародуб?

– Небось свое кресло решился в твои руки передать?

Чургин повел глазами по сторонам и заметил подозрительную личность.

– За нами наблюдают, милые. Так что не говорите лишнего. А работать мне здесь не придется. Нельзя. И Стародуба не ругайте, он хороший человек.

И умолкли, пригорюнились шахтеры и лишь переглядывались понимающе и значительно. Да, этого должно́ было ожидать: Чургину теперь не дадут работы. Но почему, по какому праву? И кто не хочет давать ему работы, когда все шахтеры, все рудники, весь каменноугольный бассейн почтет за честь рубать рядом с ним, крепить рядом с ним, проходить новые выработки вместе с ним и готов за него хоть в огонь и в воду!

Так думалось каждому и так хотелось сказать, нет, крикнуть, чтобы слышали все. Но кричать нельзя было – поодаль вразвалку шел действительно подозрительный субъект.

Иван Недайвоз приглушенно спросил:

– Братуша, а как же ты... кормиться будешь? Детишки, Варя и все такое...

– Ничего. Свет не без добрых людей, – ответил Чургин, а сам волновался все больше. Есть у него друзья – много друзей, которые всегда будут рядом и подадут руку. Но нельзя им быть сейчас с ним, опасно, могут

рассчитать. И он сказал: — Спасибо, милые. А сейчас расходитесь. Так будет лучше.

Шахтеры смутились, отстали и о чем-то заговорили горячо и громко. Когда Чургин оглянулся, позади уже никого не было, и лишь высокий и костлявый Иван Недайвоз трепал шпика за шиворот.

Дома Чургин снял шинель, бережно повесил ее на вешалку, потом снял фуражку, рукавом вытер лакированный козырек и, водрузив ее поверх шинели, достал расческу и причесал разделенные пробором слева волосы.

И Варя поняла: не дают работы. Однако спросила мягко:

— Где же ты пропадал? Или Стародуб все рудники решил взвалить на твои плечи, что ты даже почернел от натуги? Посидел бы лучше дома, отошел бы после тюрьмы, а уж потом бы и нанимался. От тебя одни кости да кожа остались.

Чургин сел на табурет, достал папиросы, но курить не стал и сказал негромко, будто охрип:

— Всю жизнь мечтал получить золотые молоточки. А они, оказывается, никого и не интересуют... Печально устроена жизнь, господа, очень плохо устроена.

Варя, худая и черная от работы и нехваток всякого рода, всхлипнула, фартуком утерла глаза и с горечью проговорила:

— Я так и знала: не приняли. А у меня уже руки онемели от стирки чужих шахтерок... И детей нечем кормить... Проклятая судьба, никогда с тобой не будет сладу...

Она плакала и накрывала на стол. А что было накрывать? Поставила стакан молока, положила кусочек темного, пеклеванного, хлеба. Но Чургин не стал есть и даже не посмотрел, что она там подала, а наклонился и так остался сидеть. Что он мог сказать утешительного, чем мог подбодрить жену? «Денег, денег, где раздобыть денег?» — только и вертелось у него на уме.

Наконец он тяжко поднялся с табурета, постоял немного, как бы подбирая слова, и, обняв Варю, сказал, как всегда, уверенным тоном:

— Ничего, милая, переживем, не бог весть сколько у нас ртов. Поеду по Донецкому бассейну и наверняка где-нибудь определюсь. Меня знают на всех рудниках. Так что потерпи, милая, совсем немного придется терпеть, — уверял он и даже усмехнулся некстати.

Более никуда он не пошел, а мастерил что-то, ставни на окнах прикрепил понадежней, санки детям починил, за ключевой водой в балку, что была в степи за шахтой, сходил, потом брал книгу и пытался читать, но вскоре бережно ставил ее на бамбуковую этажерку и придумывал какое-нибудь новое дело.

Перед вечером он собрался навестить друзей, как он сказал. Варя только и предупредила его:

— Смотри, чтобы они тебя опять не подсекли. Шпик какой-то все крутился возле нашего дома.

Чургин сам все видел и усмехнулся. Ему было приятно, что и жена не дремлет, и он добродушно заметил:

— А у тебя глаз наметан, милая. Только с арифметикой не того... Шпиков было два. — И, ласково потрепав ее волосы, поцеловал в голову.

Когда он открыл дверь, намереваясь уходить, перед ним появилось чумазое лицо и сверкающие зубы Ивана Недайвоза. Сбив на затылок и без того лихо сидевший на взлохмаченной голове картуз, он негромко сказал:

— Извиняй, братушка, я на минуточку. Выйди сюда.

— Нас и в комнате никто не укусит, не бойся,— пошутил Чургин.

Но Недайвоз настаивал на своем, и Чургин вышел во двор. И тут Иван Недайвоз, самый отчаянный и бесшабашный человек на шахте и самый грозный драчун в недалеком прошлом, робко сунул в руку Чургина несколько бумажных целковых, потом запустил свою ручищу в шахтерку, в карман, и выгреб оттуда жменю мелкой монеты.

— Вот... Ребята скинулись... Детишкам чтоб. Извиняй, что маловато, но уж в получку мы скинемся на славу.

Чургин был смущен, Чургин растерялся и не знал, брать ли деньги или не брать, но Недайвоз уже сделал свое дело и был таков.

— Иван!.. Брат Иван, постой же! — хотел было остановить его Чургин...

К доктору Симелову он пришел немного раньше, чем было условлено с инженером Рюминым.

Симелов только что пообедал и сидел в глубоком мягком кресле, держа в руках газету и подремывая, чтобы набраться сил к вечеру. А сил ему требовалось с каждым днем все больше, и не потому, что прибавлялось пациентов в больнице, которую он возглавлял по поручению земства, а главным образом потому, что его персону выставили кандидатом в депутаты Государственной думы по крестьянской курии. И доктор Симелов стал еще более популярной личностью во всей округе: к нему шли ходоки, к нему шли прошения по делам земельным, медицинским, народного просвещения, торговли, промышленности и даже по делам бракоразводным.

И несчастный доктор еле успевал поворачиваться вокруг своей оси и завел уже десятки папок для предстоящей думской деятельности. А дом его, право же, затмил собой все клубы города и превратился в место, куда всяк считал своим долгом зайти в любое время дня и ночи. Собственно, заходили большей частью коллеги по профессии и по земской деятельности, народные учителя, либерально настроенные чиновники, техники рудников, владельцы мелких торговых заведений — и несть им числа. Заходили, рассаживались кто где и начинали вести беседы о внутреннем и международном положении страны, о задачах первого русского парламента и о его, будущего депутата Симелова, обязанностях перед избирателями. Потом собеседование переходило в спор, спор — в крики до хрипоты, и так продолжалось до тех пор, пока жена доктора не приглашала всех к столу на чашку кофе.

И тут все прекращалось так же внезапно, как и начиналось: выпивали кофе из китайских чашечек, благодарили и желали спокойной ночи. А на следующий день все повторялось с поразительной последовательностью: беседы, споры, крики и кофе из китайских чашечек.

Полиция вначале насторожилась, прислушивалась, записывала, кто о чем печется и какие такие речи произносит, но потом успокоилась: ничего противоправительственного в особняке доктора не говорилось, никакие бунты не готовились — и махнула на все рукой.

Чургин и инженер Рюмин именно это и намерены были использовать и на сегодняшний вечер назначили во флигеле доктора нелегальное собрание уцелевших активистов-партийцев всех шахт, чтобы обсудить, что и как делать в связи с предстоящими выборами в думу.

Чургин, как и полагалось входить к будущему депутату, вошел через парадный вход. Жена доктора, открывшая дверь, радостно всплеснула полными руками и воскликнула:

— Доктор, проснитесь! Чургин появился! — И более тихо сказала Чургину: — Он совсем замучил меня своими гостями, спорами, газетами... Не успеваю кофе покупать, честное слово... Ну, как вы? Покажитесь на свет. Молодец. Немножко похудел, немножко зарос, как и положено инженеру... Уж не заболели ли вы там?

— Благодарю, милая Полина Андреевна. Бодрствую, как видите.

Симелов проснулся, когда Чургин взял из его рук газету «Без заглавия», и кинулся обниматься.

— Илья! Родной! Вызволили все же мы тебя, милый... Ух ты, за такого стоило идти на бой кровавый, — тормошил он Чургина и тотчас же пошел гвоздить «Русские ведомости»: — Ты представь, эти борзописцы обвиняют нас в крамоле. Каково, а? Нахалы? Подметных дел мастера!

Чургин усмехался и качал головой. Нет, ничто не изменит этого человека: мечется из стороны в сторону, ругает всех и вся, а что сам исповедует — не разберут и сто мудрецов. И он сказал:

— А ты все такой же, Михаил: ругаешь всех, а кого хвалишь — не поймет и сам аллах.

Но Симелов словно рад был свежему собеседнику и старался поскорее высказаться.

— Всероссийский крестьянский союз привлекается к ответственности за попытку ниспровержения существующего строя, а эти «защитники» народа — «конституционные демократы», — потрясал он газетой «Русские ведомости», — обвиняют правительство в том, что оно не делало ничего, что могло бы умиротворить крестьян, и «дало свободно разрастись опасному движению». Иными словами: кадеты просят правительство спустить шкуру с мужиков и тут же хотят проехать в думу на спинах мужиков. Черт знает что делается!

Чургин пригладил и без того гладко причесанные волосы и сел в глубокое мягкое кресло.

— Ничего особенного не делается, друг мой кипяченый, — сказал он, беря газету. — Кадеты действуют по правилу: если народ прижмет кадетствующих землевладельцев или заводчиков — они с самодержавием, если самодержавие прижмет кадетов — они с народом. Но ты-то при чем здесь? Или ты за это время записался в «беззаглавцы», то бишь в полукадеты? Этак, чего доброго, ты докатишься до «Союза русского народа».

— Это непостижимо! — воскликнул Симелов, поправляя пенсне и расхаживая по ковру. — Я — полукадет! Я — отменный монархист! Нет, с тобой положительно невозможно спорить, невозможно!

Невысокий, располневший, с рыжей бородкой и с плешинкой, доктор не ходил, а метался по гостиной и размахивал короткими руками, а Чургин

читал газету, улыбался и переглядывался с накрывавшей на стол женой Симелова, которая вздыхала поминутно. Наконец он положил газету на круглый столик, серьезно сказал:

— Михаил, у меня нет времени спорить по поводу деятельности кадетов. Мы не спорим с ними, а боремся. Давай лучше поговорим о делах, пока у тебя «клуб» не открылся.

— Ну конечно, конечно, я говорю не о делах,— обиженно произнес доктор и сел в кресло и затих.

Пришел штейгер Соловьев и удивленно заметил:

— Что случилось? Тишина немая стоит.

Чургин моргнул ему, и Соловьев понимающе усмехнулся.

За чашкой традиционного кофе Чургин сказал:

— Я пришел предложить вам, земским деятелям, следующее: давайте вместе бойкотировать выборы в думу. Мы согласны с вами: кадеты хотят при помощи думы взобраться на спину не самодержавию, как они болтают, а народу. Мы обязаны помочь избирателям понять это.

Доктору Симелову, духовному отцу земского союза, только вчера местные кадеты ясно сказали: они поддержат кандидатуру земцев, а земцы должны поддержать кандидатуру кадетов. Симелов считал «своих» кадетов более положительными, чем чужих, однако согласия на такой блок не давал. Приняв же предложение Чургина, он рисковал оказаться совсем вне думы. И он не хотел кривить душой, а честно ответил:

— Нет, Илья, мы вас, эсдеков, не можем поддерживать.

— Потому, что в этом случае ты рискуешь не попасть в думу? — спросил Соловьев.

Симелов пил кофе крошечными глотками и рассчитывал: «Принять такое предложение — значит провалиться на выборах. А мне обязательно надо быть в думе. Непременно. За моей спиной — тысячи крестьян-выборщиков».

— Да,— наконец произнес Чургин,— в таком случае мне остается пожалеть, что я зашел к тебе. Из тебя никогда не получится честного политического деятеля, а получится... карьерист, авантюрист.

И доктор взорвался. Красный, как перец, он ударил кулаком по столу так, что чашечки зазвенели, и на самой высокой ноте воскликнул:

— Да как ты смеешь так оскорблять меня?!.. Кто тебе дал право так аттестовать меня, я спрашиваю? И это — в благодарность за все то, что мы сделали для тебя...

— Михаил, ты сошел с ума! — оборвал его Чургин.

— В своем я уме! Я — доктор и лучше тебя это знаю,— схватился с места Симелов и зашагал по гостиной.

Соловьев покручивал черные усы и молчал. Не нравился ему такой разговор, но он не мог вмешиваться в спор и ушел в другую комнату.

А Чургин пил кофе с таким удовольствием, будто ничего и не случилось, и продолжал разговор подчеркнуто и неторопливо:

— Что тебе, представителю крестьянства, делать в думе, которая будет ползать на коленях перед самодержавием, вымаливать для себя бумажные реформы и заверять Николая Второго, что «истинно русские люди» под-

держат его в борьбе с народом, как это делают некоторые устами «Русских ведомостей»? — кивнул он на газету. — Неужели тебе не ясно, что это — надувательство, пародия, жульничество, а не русский парламент? Никогда не ожидал, чтобы ты попался на этот кадетский крючок.

Доктор немного успокоился или понял, что зря нашумел на Чургина, которого он все же уважал, и как бы виновато ответил:

— Илья, я не ведаю, что там будут требовать кадеты. Я знаю, что мы, представители крестьянства, потребуем политических свобод, надела землей, борьбы с эпидемиями, с невежеством и знахарством, с бездорожьем и пьянством. Разве это можно сделать отсюда лучше, чем с думской трибуны? У меня сотни писем от крестьян, сотни прошений, в которых вопиет сама жизнь. Она только и может служить путеводителем во всей нашей общественной деятельности.

Чургин уже не слушал и встал из-за стола. Не такого разговора, не такой встречи хотел он после долгой разлуки, но спорить не стоило, и он невесело сказал:

— Дело твое, Михаил. Избирайся в думу. Посмотрим, что ты запоешь через несколько месяцев. А сейчас... Флигель, я полагаю, ты открыл? Сейчас туда начнут собираться наши партийцы. Рюмин должен был тебя предупредить.

— Предупреждал, был и, наверное, уже сидит там, — ответил Симелов. — Собирайтесь, митингуйте. Быть может, вы окажетесь и правы, — заключил он явно неуверенно.

Чургин позвал штейгера Соловьева, что сидел в соседней комнате и читал газеты, и они вышли через черный ход во двор.

Свистел ветер, начиналась метель, хотя дело подходило к весне, и Чургин заметил:

— Весна на дворе, а зима еще лютует... Ты пойдешь со мной, Семен? У нас будут разговоры более интересные, чем ты слышал в этом особняке. Если, разумеется, мой новый друг из Питера успел кое-что сделать.

— Ты у Стародуба был? — неожиданно спросил штейгер Соловьев. — Он отказал тебе в должности, я слышал!

— Его заставили так поступить. Стародуб нынешний — далеко не тот человек, которого мы знали прежде, милый. Предлагал мне записку своим друзьям, предлагал деньги. Но ты понимаешь... А жить, откровенно говоря, совершенно нечем, брат. Шахтеры сегодня собрали пять рублей, из последней копейки...

Соловьев достал две бумажки по двадцать пять рублей, сунул их в карман Чургину и сказал:

— От меня-то, я надеюсь, ты возьмешь, Илья.

— От тебя возьму, Семен. Спасибо. Я скоро верну, не беспокойся, — пожал он его руку.

— Не обижай меня, Илья. Я хотел сам прийти к тебе, да узнал от доктора, что будешь у него.

— Ну-ну, я пошутил... Нам пора.

И они пошли во флигель. Там инженер Рюмин уже делал доклад активистам о думской тактике партии...

Глава четвертая

Перед отъездом из Александровска Игнат Сысоич зашел проститься с Оксаной. Ничего нового он ей не сказал, ничего не советовал. «Нечего ей советовать: она вот-вот дитя приведет от черта того, от Яшки». И, прощаясь, он так и сказал:

— Значит, некуда тебе подаваться, дочка. С дитем теперь будешь горе мыкать.

— Служить я буду, батя, а не горе мыкать. Ребенка прокормлю и сама. А вы «подавайтесь» в хутор. Дядя, наверно, уже распорядился.

Игнат Сысоич вздохнул и неуверенно возразил:

— Нет, дочка, туда нам дорога заказана. Хату, может, и возвернут, но земельки, земли у нас нет! На крыше пшеничку не посеешь. Вот где корень. А без своей земли... Э, да что толковать! — досадливо махнул он рукой.

Дешевкой доехав до станции Донецкая, он взял мешок со старыми вещами Чургина и затоптался в нерешительности: завернуть в Кундрючевку или ехать в Югоринск, где теперь жил?

— А заеду. Хоть на подворье гляну. За смотрины пока еще деньги не берут, слава богу, — рассуждал он вслух.

Новая кирпичная станция Донецкая была много больше прежней, деревянной, но в ней было так много приезжих, а цементный пол был так заставлен узлами, сундучками, завален пилами, топорами и артельными котлами, что в здании негде было шагу ступить. Дым от цигарок, спертый воздух и шум стояли тут, как в харчевне.

Игнат Сысоич, опираясь одной рукой на палку, а другой держа край мешка, перекинутого через плечо, вошел в вокзал и остановился. «Переселенцы, что ли, из голодных краев? Ну, чисто из могил встали», — подумал, глядя на пассажиров, сидевших и лежавших прямо на полу. По одежде из домотканого материала, по тому, что мужики были в рыжих свитках, подпоясанных веревками, а женщины — в сборчатых коротких шубейках, Игнат Сысоич понял, что перед ним был кочующий мастеровой люд из центральных губерний России. И вспомнил Ермолаича: «И тот так кочевал, пока богу душу не отдал. Судьба-судьбинушка!»

— Никак на рудники путь держите, люди добрые? — спросил у худощавого молодого мужика, державшего на руках годовалого ребенка. — Здорово дневали.

— Доброго здоровья. На чугунку едем наниматься. Дорогу тут где-то будут ладить на рудники. Из голодающих мы, из Расеи. Считай, тут остатнее село, а большая часть померла, — ответил мужик и отдал ребенка жене: — Настасья, возьми дитя, мы свернем по козьей ножке.

Игнат Сысоич присел на корточки, достал кисет и более внимательно взглянул на мужика, на его заросшее белесой бородкой худое лицо с провалами под глазами. И что-то знакомое вспомнилось ему. И даже близко знакомое. Но он не стал расспрашивать и, качнув головой, сказал:

— Та-ак. Голод скосил... Из цельного села только этих и оставил?

— Человек пятьдесят. Вы сами-то тутошние?

Игнат Сысоич набил козью ножку махоркой, отдал кисет мужику и невесело ответил:

— Был тутошний, да весь перевелся, парень. По пятому году выкинули отсюда со всем семейством. Теперь уголь на кобыленке и лошонке доставляю в завод, и тем кормимся. А это в хутор еду, в Кундрючевку. Думка была хату продать, как атаман к казне еще не приписал, упаси бог.

— В Кундрючевку? — живо переспросил мужик, облизывая свою козью ножку. — Моего отца — Ермолаичем звался — случаем не знавали? Косить сюда к вам ездил. Он тоже по пятому году... — запнулся мужик. — Сын я его старшой, Петром кличут, а по фамилии — Нечаевы мы.

— Сын Ермолаича? Так он же у меня всегда на харчах стоял! Игнат Сысоич я, Дорохов... Как не знать Ермолаича? Его весь Дон, вся Россия угадывала за версту. Мастер был на все руки.

— Да никак это вы? — обрадовался Петро. — Настасья, это ж самый и есть дядя Игнат! Отец сколь раз сказывал про них.

Игнат Сысоич задергал носом, Петро с женой прослезились, и разговор оборвался. Наконец Игнат Сысоич предложил:

— Вот что, Петро: выкинь из головы думку про чугунку, а подавайся на завод. Мастеровые, они люди дружные, не в пример нашему брату, мужику. А квартировать будете у нас, места хватит.

Он рассказал, как найти его дом в Югоринске, выкурил еще цигарку, вновь помянул Ермолаича добрым словом и заторопился уходить, надеясь, что кто-нибудь подвезет в Кундрючевку. Однако попутчиков не нашлось.

Был полдень. Над степью низко нависло хмурое небо, и от этого казалось, что наступал вечер.

В степи было безлюдно. По балкам белел сметенный ветрами снег, и от него тянуло холодом, но озимь уже проснулась, зазеленела и нацеливала в небо еле приметные щетки молодых побегов, будто высматривала, далеко ли солнце и скоро ли оно дохнет на землю теплом и лаской. А солнца не было.

Игнат Сысоич шел неторопливо, то и дело озирался по сторонам, будто не был здесь долгие годы, и мысленно говорил: «Загулялась где-то весна. В иной год мы в это время уже сеяли».

Дорога была разбитая, как все весенние дороги, ноги увязали в грязи и талом снегу едва не по щиколотку, но Игнат Сысоич шел и шел и все смотрел по сторонам тоскливыми глазами и вздыхал.

— Дали бы мне вон ту делянку, на какой будылья от подсолнухов торчат, так я бы их уже все сволок на межу и все изготовил бы для плуга, а они... Эх, хозяева! На пьяное дело только мастера, прости бог, — тихо корил он неведомого хозяина земли, а потом узнал: то был пай отца Акима. — А еще батюшка. Подрясник жалко замарать. Да в такую земельку только кинь зернышко — враз молодь выскочит и к солнышку потянется! — сказал он так, точно отец Аким был рядом.

И странное дело: еще несколько часов назад Игнат Сысоич был убежден, что уже отвык и от степей этих неоглядных, и от хлебов, и от самой земли, а вот сейчас увидел ее, землю, черные, слегка заснеженные наделы кундрючевцев — и вновь сердце заныло от обиды. Ведь вокруг так просторно! Хутора целые можно разбить в этих степях, гурты скотины можно разводить неисчислимые! А вот ему, исконному пахарю, не оказалось здесь места и не нашлось лишней десятины.

И Игнат Сысоич в который раз вздохнул и опустил голову, чтобы ничего больше не видеть. Понимал он хорошо: нет, не пересилить ему своей мученической любви к этой земле, к этим затуманенным низинам, взгорьям и балочкам и спрятавшимся в них лескам, даже к этой кривой, размякшей дороге, изрезанной колесами дрог, истоптанной копытами лошадей и быков, даже к этим горемычным, выбеленным морозами и дождями, одиноким былкам полыни, что толпились и плакали росинками возле дороги и будто ждали своей смертной участи, - ко всему, что видит глаз, близкому и родному с детства.

И Игнат Сысоич вновь клял своих обидчиков на все лады и грозился когда-нибудь отомстить им за все их злодеяния.

К хутору он подошел совсем разморенный и хотел навестить друга и свата своего Максимова Фому, да решил прежде взглянуть на хату.

Был тот тихий предвечерний час, когда казаки управлялись по хозяйству: чистили базы, готовили на ночь сено скоту, дергая его крючками из скирд, а надергав, подымали над головой пахучие зонты-навильники сухих трав и цветов. И было похоже, будто не навильники носили хуторяне, а великаны в огромных зеленых шляпах ходили, ходили по дворам и что-то высматривали или прикидывали и никак не могли остановиться.

Возле колодцев, звеня цебарками и скрипя длинными журавлями, парни поили скот. Быки и лошади совали морды в цебарки, но их отгоняли, и тогда они припадали к корытам и высасывали воду, как насосом.

Возле хат, в синей предвечерней дымке, как нахохлившиеся старые грачи, сидели пожилые казаки, раскуривали цигарки и негромко судачили о том о сем.

Над хутором, над усеянными зеленым сеном и золотистой соломой улицами, над приземистыми черными хатами и сиротливыми голыми садами, словно откуда-то из далекой степи, лился и дрожал в воздухе глухой вечерний благовест кундрючевской церкви, скликал хуторян к вечерне, и старухи шли на него с посошками в руках, приветствуя соседей тихими словами: «Здорово дневали».

Игнат Сысоич шагал по улицам хутора, как вор, опустив голову, ни на кого не глядя, и ему казалось, что вот-вот, как и в пятом году, раздастся грозный окрик атамана Калины: «Ты по какому праву заявился без моего разрешения? Вон из хутора в двадцать четыре часа!» Но окрика не было, и Игнат Сысоич стал искоса посматривать по сторонам, не веря, что атамана действительно вблизи не было.

То и дело до слуха его доносилось:

— Глянь, Игнат объявился!

— Отец арестанта того, Левки? Чего он тут забыл?

— Никак, пай загубился. Видишь, зенки уставил в землю, ищет?

Игнат Сысоич готов был крикнуть: «Да подавитесь вы своей землей» — но молчал и все ускорял шаги, а в душе отчитывал хуторян: «Отец арестанта»!.. Я — отец сына, какой за народ пошел, — вот кто есть Дорохов! А паями вы все одно поперхнетесь... По пятнадцать десятин на казака — шутейное ли дело?»

Проходя по нижней улице, Игнат Сысоич услышал:

— Ну, держись теперь ветряки и разные какие хозяйства. Крамольники сызнова зачнут бунтовать.

— Бунтовать супротив твоей «экономии», парень,— только руки марать.

— Я таких в пятом годе в две руки плетью катал.

— Добром похваляешься. Зазря народ тебя с коня не стянул.

Возле хаты Пахома-вахмистра стоял смех. Игнат Сысоич обернулся и в это время увидел атамана. Калина, как всегда, вышел из переулка тихими, кошачьими шагами, намереваясь подслушать, о чем говорят и над кем смеются казаки, но, видимо, ничего особенного не услышал и направился к толпе.

— Об чем сказ ведете, что на весь хутор рыгочете? — строго спросил он.

Игнат Сысоич ускорил шаги, и в это время Калина заметил его и окликнул:

— Никак Дорохов? А ну постой!

«Все. Запрет в холодную, супостат»,— всполошился Игнат Сысоич и остановился.

Возле хаты Пахома стало тихо, будто там никого не было.

Калина — в сюртуке, в новых сапогах, над которыми нависали новые шаровары с лампасами,— подошел к Игнату Сысоичу, пригладил пышные усы, будто добычу хорошую увидел, и строго спросил:

— По какому праву шляешься в хуторе? Забыл мои слова: «В двадцать четыре часа чтоб духу твоего тут не осталось»? Давай пачпорт, и идем в правление. Я проверю, кто ты таков и каким родом не исполняешь приказания власти.

Игнат Сысоич спокойно ответил:

— Я твое распоряжение исполнил, Василь Семеныч...

— Не твое, а «ваше».

— Не велик барин, обойдется и так.

— Охальничаешь?.. Казаки! — крикнул Калина, задрав голову, и осекся.

Перед ним как из земли вырос огромный казак в серой папахе, в наброшенной на плечи шинели — Егор Дубов. Игнат Сысоич заметил: на левой стороне груди Егора, там, где были георгиевские кресты, остались лишь четыре тени, четыре отметины, будто их кто нарочно припечатал там потехи ради, и понял: Егора разжаловали. Но Дубов то ли насмешливо, то ли по привычке скомандовал атаману:

— Смирна-а перед полным бантом!

Калина механически вытянулся и бросил руки по швам, но тотчас же вспомнил, усмехнулся криво и спрятал руки назад.

— Пятнышки вон на грудях остались от твоего банта, парень, так что дурочку тебе валять больше не доведется,— съязвил он и гаркнул на Игната Сысоича: — Марш в правление! Кому велено?

Егор глянул на свою грудь, на тени от снятых крестов и недвусмысленно сказал Калине:

— Все едино вы возвернете мне кресты, настанет черед. А теперь отвяжись от человека — сгинь и пропади, пока я душу из тебя не выверну. Пойдем, Сысоич,— сказал он Игнату Сысоичу, но Калина угрожающе остановил его:

— Егор, это тебе не пятый год! И я, как должностное лицо, велю тебе не встревать не в свои дела... Пахом! — позвал он Пахома-вахмистра, своего дружка.

Пахом и без того стоял возле него и, лихо сбив папаху на затылок, вызывающе спросил:

— Чего изволишь, атаман? Чи хочешь, чтобы мы из тебя крошево сделали? Так это мы могём в одночас.

Калина пустил в него лютые стрелы-взгляды, покрутил усы и расшумелся на весь хутор:

— Сукины сыны! Горлохваты! Крамольники! Ну, погодите, поуспокоится все малость — в тот час мы потолкуем с вами, станишники. Мы распытаемся, хамлеты маньчжурские, и расквитаемся, бунтовщики против веры и царя. — И пошел в правление. Шел и скулил: «Вот сговорятся, черти немазаные, и скинут с атаманства. Ох, тяжка царева служба!»

А Егор Дубов шел по улице с Игнатом Сысоичем, здоровался с хуторянами, думал о Леоне, о Чургине, о Луке Матвеиче и мысленно говорил им: «Эх, браты! Зазря вы раньше не наставили нас на ум. Гляди, может, мы и подсобили бы вам скинуть эту погань».

Игнат же Сысоич, видя, как хуторяне насмешливо посматривают на Егора, сказал:

— Вот оно какое дело, без Георгиев жить. Картузы скидать бы перед тобой положено, а они смешки строят. Житуха!

— Ничего, Сысоич, — негромко отвечал Егор. — Я был сотенный командир в пятом годе, отсидку за народ имел два месяца — вот и стал им поперек горла. А кресты возвернут, не имеют прав не возвернуть. Ты на хату наведаться приехал?

— Думка была глянуть, а может, сдать кому-нибудь хоть за так, под квартиру, чтобы в целости была. Может статься, бог даст, и возвернуться доведется.

— Ну, пойдем, я провожу тебя. А потом ко мне заглянем, чайком побалуемся.

Игнат Сысоич бросил на него восхищенный взгляд и качнул головой. Отрадно ему было видеть в Егоре независимого и уверенного в себе человека, которому даже атаман ничего не может сделать, а вместе с тем ему и завидно было, что и Егор, и Пахом, и Фома Максимов живут в хуторе, в своих родимых хатах... «А может, они возвернут меня на самом деле, властя эти?» — блеснула у него искорка надежды.

Подворье Дороховых, и без того неказистое, выглядело теперь совсем убого. Снег завалил его по самую каменную загорожу и еще не растаял, а только осел и почернел, ворота покосились, на ставнях кто-то отодрал доски, и меж ними зияли пустоты — вынули оконные стекла. Углы же крыши были совсем голые, и из них торчали кривые вербовые стропила, а стены облупились, как после градобоя.

Смотрел Игнат Сысоич на хату печальными глазами, и сердце его готово было разорваться от боли. Ведь жизнь была здесь! А какие песни звенели по вечерам! А сколько радости было, когда собиралась ребячья улица! И Оксана была здесь и пела под этой осиротевшей, раздетой ветрами, акацией, и Чургин бывал и говорил о правде. Почему, по чьему велению все это теперь стало что кладбище?

И Игнат Сысоич смахнул слезу. Вся жизнь его вспомнилась на этом подворье. И то, как они с Марьей по ночам, после работы на чужих загонах, били камень на скале за хутором, возили его тачкой и при луне ставили

хату... И то, как во время такой работы у них родилась Варя, как потом они носили ее с собой в поле, и она целыми днями лежала под копной в степи и плакала, а они не могли даже убаюкать ее, потому что хозяин грозился платить десять копеек в день, а не пятнадцать, если они будут сидеть под копной с дитем... И то, как потом приходилось запирать в этой хате маленьких Леона, Варю, Оксану, Настю, оставив им краюху хлеба и кувшин квашеного молока, а поздно вечером, полусонных, приходилось кормить горячей похлебкой из лебеды и лука.

Вспомнил Игнат Сысоич и то, как впервые заарендовал землю у соседа Степана Вострокнутова, посеял две десятины собственной ржи и едва ли не каждый день ходил в степь проверять, цела ли озимь, и накрывал лысины ее снегом; как купил телку и по три раза на ночь подкладывал ей сена, чтобы скорей росла; как обзавелся конем и едва не переселился в конюшню, чтобы, упаси бог, цыгане не увели его дурной ночью... И многое, многое пришло на память — беспокойное и радостное, чем он жил здесь, что носило его по земле и кормило.

Ничего ему сейчас не было роднее этой ветхозаветной, одинокой хаты с ободранной крышей, с древней акацией и перекосившейся от старости клуней — овином. И захотелось ему войти в хату и остаться в ней навсегда. Умирать. Вместе с ней.

А по улицам хутора бродили чужие быки и коровы, чужие лошади, пахло чужое сено, слышалось тоненькое блеяние ярочек, голосистое всхлипывание колодезных журавлей, звон цебарок, и над всем этим лился и лился мерный вечерний благовест: бом, бом, бом.

И казалось: такая благодать, и покой, и довольство царят на хуторе, и в каждой хате, и в каждой человеческой душе, что жить и жить людям в этом мире нескончаемой безмятежной жизнью и ни о чем не думать.

Игнат Сысоич ходил возле хаты, дрожащей рукой гладил ставни, стены, двери, точно прощался, и тяжко вздыхал.

Егор молча ходил за ним, бросал хмурый взгляд куда-то поверх соломенных почерневших крыш, на серое мутное небо, и вспоминал погибшего от руки Загорулькина сына, арест за сочувствие югоринским рабочим в пятом году, командование сотней, угрозы Сибирью и, наконец, разжалование. Но не хотел Егор покориться и вел с атаманом свой разговор: «Брешете, народ вы не согнете и хребтину его не осилите, Василь Семеныч. И настанет такой час, в какой народ вашу хребтину переломит надвое, господин атаман и живоглот Загорулькин».

И вдруг увидел огонь, увидел, как Игнат Сысоич бросился в него с поднятыми руками, без шапки.

— Что делаешь, Сысоич?! Опомнись! — крикнул замешкавшийся Егор.

Прибежали казаки и навалились на огонь. Хате Дороховых не дали сгореть, а Игнату Сысоичу не дали наложить на себя руки.

И лишь тогда тревожно забился церковный колокол, и прибежал атаман. Узнав, в чем дело, он сказал:

— Ну, таким подворьям туда и дорога.

Хуторяне молчали. Егор Дубов выступил вперед, утер черное лицо рукавом и сказал жестко:

— Вот что, атаман: ежели не возвернешь Игната Дорохова в хутор, мы составим про́токол, скинем тебя с атаманства и предадим суду. За что — сам знаешь.

Калина молчал. Он знал, за что́, и только по-бычьи повел глазами в сторону, где жил Нефед Миронович. «А все через тебя, куманек любезный, черти б на тебе ездили на этом чи на том свете».

Нефед Миронович, узнав о появлении на хуторе Игната Сысоича, встревожился. «Не могёт быть, чтобы он зазря явился. Не задумали ли они, нехристи, нового красного петуха мне подпустить?» — размышлял он. И ему уже виделось, что вот-вот полыхнет огонь на вальцовой мельнице, над подворьем, над маслобойкой, магазином. Он обошел двор и проверил, не пахнет ли где керосином, сходил на мельницу, в магазин, на маслобойку и строго-настрого приказал работникам:

— Полыхнет пламя — тушите хоть своими пузами. Промашка выйдет — сгною в Сибири.

Возвратясь из обхода своих владений, он запер новые железные ворота на засов, позвал всех четырех кобелей и строго наказал им:

— Смотрите у меня: чуть не так — все печенки выпотрошу и на плетнях развешу.

Собаки покорно повиляли хвостами и разошлись по своим местам.

Подворье Загорулькиных было приведено в порядок, и от пожара и следа не осталось. Сараи и амбары были покрыты железом, подновлены свежими кирпичами. Дом, такой же большой, как и прежде, выделялся теперь среди всех других еще и чугунной лестницей на парадном входе и ослепительно белой железной крышей. И сарай для инвентаря был лучше прежнего, а стояли в нем уже две новых лобогрейки. Поэтому и беспокоился Нефед Миронович и сам все осмотрел на всякий случай.

Но, возвратясь в дом, он поразмыслил: «А чего я испужался, на самом деле? Не разбойник же он, Игнат? Ну, приехал, должно, на хату глянуть, так что в том? И я б приехал, доведись у меня такое дело. И не он палил меня, это Егор выместил за сына. Да и Аленку, должно, думку держит повидать. Все-таки она — законная жена черта того политического, Левки... Нет, Игнат не должон», — заключил он, и у него отлегло от сердца.

Дарья Ивановна сидела в передней, в углу под образами, обрамленными холщовыми полотенцами с красной вышивкой, а Алена читала письмо от Якова:

— «...Так что считайте, что я чудом остался жить. Теперь все уже позади. Скоро увидимся...»

Дарья Ивановна мысленно видела Якова на смертном одре и оплакивала его горькими слезами. Она не знала, что привело сына в больницу, как не знала и о том, почему Алена едва не дошла до умопомешательства, а видела, что дети ее не обрели счастья и вне этого проклятого дома, из которого они так стремились уйти, что у обоих у них жизнь разрушилась прежде, чем успела сложиться, и готова была отдать последнюю кровинку ради их счастья.

Нефед Миронович увидел ее и хотел подойти к ней и трахнуть, чтобы земля закачалась, так надоели ему эти слезы. Но он каким-то чувством уловил: нет, не зря она плачет. Но что еще могло случиться? И он незлобиво спросил:

— Опять расквасилась? Не горим, упаси бог. А как по-семейному сказать — можно и обсоветовать. И, скажи, где они там у тебя берутся, прости бог, слезы те? Чисто из криницы текут и текут...

Он снял картуз, повесил его на вешалку в углу, потом снял поддевку из темно-синего сукна и ее повесил. Пройдя по комнате, он поднял с крашеного желтого пола былинку от веника и, бросив ее в поддувало печки, устало сел у стола, положил на зеленую клеенку правую руку с золотым обручальным кольцом на толстом безымянном пальце. И затаился.

— По-семейному, — не сразу ответила Дарья Ивановна. — Когда ты советовался по-семейному? От сына жена ушла, и сам он был при смерти, лежит в Черкасске. Дочку отторг от мужа, а ноне и подворье ихнее замыслил продать. И сватов с хутора выжил, и других людей, как Степана, как Егора, гнешь в дугу. Да на тебе крест есть православный чи рога антихристовы растут на голове?

— Не я выгнал, а атаман, — глухо оправдывался Нефед Миронович.

— А ты не в одной шайке с ним, нечистым духом, был? Ты и атаманом вертишь, как тебе схочется... Всем хутором вертишь и всем горе несешь... Казнитель, а не христианин, — отчитала его Дарья Ивановна и скрылась в горнице.

Алена отдала ему письмо и сказала гневно:

— Читайте, как ваш потомок губит людей... Зверь. — И ушла в землянку к бабке.

Нефед Миронович сидел, что дуб на поляне, — могучий, темный, с полным лицом и седоватой бородой, и смотрел на письмо блестевшими от злобы глазами. «Чертова баба, как на картине все расписала. И, скажи, как оно складно у нее выходит: я — голова всему делу! Ха, так это ж как раз и пользительно нашему роду, дурная!» — думал он и наконец расправил перед собой письмо, долго читал его по складам и, наконец, прочитал:

«Конем малость помял работников... Тяжело ранен... Операция... Не знаю, чем оно кончится... С Оксаной не живем, как муж и жена», — запрыгали перед Нефедом Мироновичем строки письма, и само письмо запрыгало в руках, и мурашки пошли по телу.

— Яша ранен! При смерти был! И с Аксюткой нелады! — с отчаянием воскликнул он и встал, прошелся по комнате, сел на кровать и обхватил голову руками.

Дарья Ивановна вышла в переднюю и не знала, верить ли своим глазам. Нефед Миронович вздыхал так, будто неимоверную тяжесть на его спину взвалили.

— Кровинушки мои родимые... Да когда же вы поладите с жизнью и про между собой, чтобы мы радовались, глядючи на вас, а не слезами обливались с матерью?.. — говорил он, кряхтя и ворочаясь на кровати, как на горячей сковороде. Наконец он тихо-тихо сказал, будто из последних сил: — Покличь свата Игната, мать. Надо обсоветовать по-семейному, как подсобить детям нашим. От такой жизни Якова и Аленки я скоро умом тронусь.

Игнат Сысоич хорошо знал: Загорулькины ничего зря не делают, а уж если «сам» приглашает, значит, жди подвоха. Он так и сказал Дарье Ивановне, пришедшей за ним к Егору Дубову:

— Теперь он меня и на коне не объедет. Знаю я, зачем он кличет, но тебе скажу по-свойски, сваха: вражина он мне по гроб, и я горлянку могу ему перегрызть.

Дарья Ивановна кинула беспокойный взгляд на торчавшую из-за его голенища рукоять ножа, которым Игнат Сысоич колол свиней, и еще жалостливей сказала:

— Про детей хочет погутарить, про жизнь ихнюю. Сделай хоть для меня милость, сват, сходи к нему, ироду. Может, на самом деле дети наши... Все ж таки мы с тобой с молодых лет...

Она не договорила и закрыла глаза кончиком белого пухового платка.

Игнат Сысоич хотел сказать: «Поздно теперь про детей толковать», но не сказал. Знал он ее жизнь с девичьих лет — вместе гуляли на улице, как знал и то, что она едва в речку не бросилась, когда отдавали ее за Нефеда, и всей душой сочувствовал ее судьбе. Потому он и сменил гнев на милость:

— Ладно, сваха, пойдем. Мне не чаи с ним распивать, черт с ним.

Нефед Миронович сидел под образами, дымил тонкой дешевой папиросой и то и дело кашлял с непривычки. Стыдно и противно ему было встречаться с Дороховым, и он лишь чертыхался: «Чертовы деточки, сами перепутались и меня спутали, как коня. Теперь и шагнуть по своей воле не могёшь: то на сына, то на дочку наткнешься. Господи, и за какую провинность ты назначил мне такой семейный крест нести? Невмоготу стало дыхнуть».

Игната Сысоича он встретил смущенно и не нашелся, с чего начать разговор, а сказал сбивчиво и робко:

— Ну, значится, жив-здоров, бог дал.

— Кобелю под хвост такую жизнь,— раздраженно ответил Игнат Сысоич.

Нефед Миронович виновато опустил глаза и забеспокоился: «Истинный бог, сцепимся. А я принужден с ним речи сказывать, нехристем».

И опять разговор не клеился, да выручила Дарья Ивановна. Она уже приготовила рыбец, полбутылки водки, моченые яблоки, пригласила Игната Сысоича к столу.

— Извиняй, сват, за угощение. Пост ноне,— сказала смущенно, а Нефеду Мироновичу посоветовала: — Ты б велел работнику навалить на арбу соломы да хату сватову подправить. Все углы какой-то живоглот пообдергал.

— Надо сказать завтра,— покорно согласился Нефед Миронович и в уме отметил: «Чертова баба, мужу небось за всю жизнь рыбца не клала, а свату, видал, какого зарезала? Воспомнила, как гуляла? Ну, погоди, я воспомню тебе, в другой раз рыбцами кидаться не будешь». И продолжал вслух: — Хата еще добрая. Зазря ты хотел спалить ее, сват. И тебе пора возвертаться домой. В гостях оно хорошо, как говорится, а в своем углу, как ни толкуй, аж еще слаще.

Игнат Сысоич хотел воскликнуть: «Хамлет! Гадючая твоя душа! Да ты же сам с кумом своим меня выгнал, а теперь — такие речи?», но не воскликнул и ответил:

— Потому и хотел спалить, что отрезанную краюху к хлебине не прилепишь. Так и это дело... Нету мне места тут! — начал он распаляться, но вспомнил об Алене и спокойнее спросил: — Алена жива-здорова?

Нефед Миронович предложил выпить за здоровье детей, покряхтел, поерзал на стуле так, что он жалобно заскрипел, и примирительно сказал:

— Жива-здорова, бог дал. А про хату — несогласный я с тобой. Ты уехал незаконно. И, как по правде речь, тебя не имели прав сселять. Для такого дела бумагу от наказного след иметь. А он такими бумагами не кидается. Потому, так весь Дон можно раскидать и беды нажить.

Игнат Сысоич удивленно посмотрел на него и спросил:

— Вы сами с атаманом все обделали чи черт вас за руку приводил в мой амбар? Извиняй за гострое слово, я люблю напрямки говорить.

— Известное дело, не Николай-угодник,— миролюбиво согласился Нефед Миронович, а в уме сказал: «Не будет толку, задарма только водку выставил».

— Нет, парень, кончилась тебе вера,— отрезал Игнат Сысоич.— А эта твоя песня — старая побаска на новый лад. Опять чуть что повернется не так — вы с атаманом на поганой вербе вздернете нашего брата, а потом разбирайся, по закону вы вздернете аль по самосуду. Не верю больше ни тебе, ни атаману, ни самому черту. Научили, на ум наставили, благодарствую,— заключил он и залпом выпил стаканчик водки.

Нефед Миронович решил стерпеть все. Он тоже выпил водку, разорвал пополам кусок рыбца, наполнил водкой стаканчик Игната Сысоича и продолжал свое:

— Не думал я, как по правде речь, язык с тобой чесать... Но мы с тобой сваты, вроде как родня.

Игнат Сысоич осторожно кусал рыбец и говорил:

— Знамо дело, родня, от этого никуда не денешься. А куда это ты клонишь, я б хотел знать, что про сродствие вспомнил?

— Куда клоню? — переспросил Нефед Миронович и поднял глаза.— А к семейному. Мы есть родители своим детям. А раз мы есть родители, стало быть, должны восчувствовать и душой об них болеть. Скажем, к примеру, про Яшку и Аксюту: почему они не живут? Ить они состоят в законном браке, церковью освященном...

— Так что ж с того?

— А то, что это позор на нашу родительскую голову — бросать законного супруга. И ты должон Аксюте повелеть: «Я, мол, отец твой кровный и не разрешу чехарду в семейном деле. Жить след, как люди, и нас не срамить».

— Что ж она, меньше моего понимает, как ей жить? Она в Петербурге училась, все понятия прошла и свою голову носит.

— Но в том в Петербурге не дураки ж сидят, какие ее учили?! — вскипел Нефед Миронович.

— Дураки не дураки, а совести у них не шибко много, раз людей безвинных в Сибирь назначают,— возразил Игнат Сысоич и отодвинул водку в сторону.

— То не нашего ума дело. Царь лучше знает, кого в какие места назначать. У него все права.

Игнат Сысоич не мог больше слушать и воскликнул:

— Значит, моего сына, а твоего зятя, по праву в Сибирь порешили угнать?! А Алена, дочка твоя и моя невестка, по праву принуждена будет

пять чи семь, а может, и десять лет горе мыкать? Плевать мне на такие права, парень,— вот что я скажу, как по-семейному.

— Десять ле-ет? В Сибирь?! — насмерть перепугался Нефед Миронович и сокрушенно обхватил голову руками.— Десять лет! Пропала у Аленки житуха...

Игнат Сысоич встал, намереваясь кончить этот бесполезный разговор, и твердо сказал:

— Вот что, сват: запозднился ты соболезновать своим детям. А чтобы ты меня больше не треножил, знай: я в твои охи и вздохи все одно не верую и наперекор своим детям не пойду. Хочет Алена — пусть с вами живет. По правде сказать, невестка должна при родителях мужа состоять.

— А как же Яков? Яков как должон жить, я у тебя спрашиваю?! — с отчаянием хлопнул Нефед Миронович кулаком по столу.

— А как хочет. Ты об Леоне не думал, когда разбивал их жизнь с Аленой? Ну и я не хочу про Яшку думать. Прощайте. Извиняй, сваха, за такой конец.

— Постой... Еще одно слово,— встал Нефед Миронович.— Я собираюсь в Черкасск. Яков в больнице, ранетый. Поедем со мной. Озолочу... Земли, зерна, всего по горло дам. Подсоби только, богом прошу. Ослобони от стыдобы, что моего сына баба кинула.

Игнат Сысоич вздохнул: «Земля... Хлеб... Ох, господи, не соблазняй душу» — и еле-еле выдавил из груди:

— Нефед, ты уж давал один раз. Не соблазняй! Не верую! Не хочу больше! Не в силах совладать с совестью!

И он ушел, провожаемый Дарьей Ивановной. Тогда Нефед Миронович ударил дверь ногой и грозно бросил ему вслед:

— В таком разе ослобоняй подворье Аленки и под три чёрты долой с моих глаз!

Игнат Сысоич вернулся в дом, растерянно спросил:

— Как это — ослобонять подворье? Это — дом моего сына, и ты не имеешь на него прав...

Нефед Миронович прервал его:

— Дом уторгован за наше золото. Я есть хозяин его и велю тебе съехать с подворья в одночас, как только чугунка довезет тебя до того паршивого завода.

Игнат Сысоич подумал: «Дороги сошлись. Разминуться нельзя», а в следующую секунду потеснил Нефеда Мироновича и, плотно закрыв дверь, запер ее на крючок.

Нефед Миронович почувствовал: сейчас что-то произойдет, и бросил взгляд на образа: «Господи, наддай силы. По всему видать, вдаримся». И более миролюбиво продолжал:

— Не кипятись, парень. Мы больше с тобой не сваты, потому как у наших детей семейное дело расклеилось. Значится, приискивай себе квартеру. С чужого коня среди грязи долой, как говорится.

Все злодеяния этого жирного, как добрый кабан, краснощекого человека вспомнились Игнату Сысоичу, все обиженные им люди. Не отдавая себе отчета, он бросился на Нефеда Мироновича, схватил его за грудь и, тряхнув что было силы, прохрипел:

— Так вот ты зачем звал меня, супостат? Не про сына моего, не про дочь свою доброе слово сказать и пособолезновать, а совсем по миру пустить решил? Удушу-у хамлета!

— Игнат! В Сибири...— повысил голос Нефед Миронович, пятясь, но споткнулся о табурет и упал.

Игнат Сысоич навалился на него всей тяжестью, коленом придавил грудь и вцепился в горло жесткими, как колья, руками.

— Сват, не связывайся с ним,— забеспокоилась Дарья Ивановна и хотела разнять, но Нефед Миронович и сам вывернулся, вскочил на ноги, исступленно поднял кулаки и загремел на весь дом:

— На казаков кидаться, каторжанский выродок?! Сгною-у-у!

— За детей, за все, сатана! — крикнул Игнат Сысоич и выдернул из-за голенища нож.

И в это же время Дарья Ивановна схватила его за руку и вскрикнула:

— Сват, пропадешь! За-ради детей, за-ради нашей молодости, охолонь, брось нож...

И Игнат Сысоич опомнился и опустил руку.

— Извиняй, сваха. Но жить нет мочи,— простонал он и открыл дверь.

Перед ним стояла Алена, пристально смотрела на него горячими, блестевшими глазами. И вдруг бросилась на грудь.

— Папаша, родимый, вызволите меня... Я пропаду тут.

Игнат Сысоич не выдержал:

— Леона, мужа твоего, дочечка, мы лишились. На каторгу назначают и закандалить хотят. Эх! — махнул он рукой и, отвернувшись, рукавом закрыл глаза.

У Алены все закружилось и поплыло перед глазами, и она беспомощно опустилась на кровать.

Нефед Миронович рассвирепел.

— Сама виновата! Все вы повинны в такой своей непутевости! — крикнул он и, сев на табурет, обхватил голову руками.— Изломали, испоганили жизнь детей, богом клятые, властя все...— прогудел он и так остался сидеть.

Дарья Ивановна подсела к Алене, обняла ее и беззвучно зарыдала.

Алена, болезненно белая, тонкая, как жердинка, словно окаменела. Ни одного звука, ни одного движения, ни одного вздоха не вырвалось из ее груди, и лишь глаза ее, еще более потемневшие, узкие-узкие, словно две щелки, смотрели в какую-то точку на полу.

Казалось, не Алена это была — неистовая, рвавшая на себе волосы, метавшаяся при каждом взрыве снаряда во время баррикадных боев в Югоринске, а смирившаяся с самим адом и безразличная ко всему на свете страдалица. Тронь ее — и она упадет и не произнесет ни слова. Подними, посади — и она будет сидеть, как неживая, до скончания века.

Тяжко, безмерно тяжко было на душе у Алены. Она хотела разрыдаться, но не могла, хотела вскрикнуть, но не поворачивался язык, хотела взметнуть кулаки и сказать: «Я проклинаю вас, отец», но не могла сделать и этого. Никогда она еще не испытывала чувства горшего, чем было у нее в эту минуту. Ей казалось: все беды, все людские страдания навалились на нее и нет сил противостоять им и побороть их.

Но и покориться, склонить голову перед горем она не хотела. Не для того она страдала из-за своей любви, не для того билась за свое счастье.

Когда Нефед Миронович поднял голову, он увидел: лицо Алены пылало огнем, глаза сверкали, как у разъяренной степной птицы.

Он встал, участливо проговорил:

— Дочка, у тебя вроде жар. Чисто полымем взялась вся. Может, полежишь?

Но Алена жестко и неторопливо сказала:

— Уходите с глаз долой, батя.

Нефед Миронович растерялся, затоптался на месте и сказал жене:

— Клади ее на кровать, за бога ради. Она совсем хворая. И умом...

— Уходите, я сказала! — крикнула Алена.

— Ой, да Аленушка, ой, да кровинушка моя, да не связывайся ты с ним, богом умоляю,— запричитала мать.

Но Алена не слышала ее слов, а бросила Игнату Сысоичу:

— Папаша, я поеду с вами. На завод. Домой.

— Знамо дело, дочка, надо возвертаться домой,— с готовностью ответил Игнат Сысоич.

И Нефед Миронович отступил: пошел в спальню, принес оттуда пять сотенных билетов, бережно положил их на стол и тихо произнес:

— Возьми, дочка. И уезжай. Бог с тобой.— Потом надел картуз и голосом, полным обиды, и укоров, и отчаяния, добавил: — Сват было не заколол, как паршивого кабана. Ты кричишь, как на мальчишку. И Яшка такой, и мать. Все пошли супротив меня. За какую вину? За что, я спрашиваю? Вы ж дети мои, а я — отец ваш... Эх! — махнул он рукой и ушел.

И только теперь Алена упала на кровать и зарыдала. Мать гладила ее по голове, по горячим, вздрагивающим плечам и успокаивала:

— Ничего, моя донюшка. Поплачь, моя ластовонька, поплачь, моя кровинушка, дай сердечку легкость.

Игнат Сысоич шмыгнул носом, подумал: «Вот какая гордая. Не схотела перед отцом-хамлетом горе выказывать».

А Алена шептала:

— Сколько слов ласковых я не сказала моему соколу, маменька... Сколько раз не приголубила, не поцеловала... Проклятая, что я сделала со своей жизнью? Никогда, никогда я теперь не буду прежней, Лева, муж мой ненаглядный, отрада моя, любовь моя...

Глава пятая

Ранним мартовским утром инженер Рюмин приехал в Югоринск, нанял извозчика и коротко бросил:

— В город, в «Гранд-отель»...

На город навалился туман. В белой мути его утонули окраинные рабочие поселки, деревья, и даже черной махины завода не стало видно, и оттуда, где он был, доносился тяжкий шум печей и станов, резкий свист паровозов да пахло сернистым газом.

Михаил Рюмин думал: ну, вот он и в Югоринске, о котором так много слышал. Как он встретит его, этот незнакомый город, эта незнакомая, чужая жизнь, незнакомые, чужие люди, за счастье которых младший брат его отдал свою жизнь?

И инженер Рюмин поежился не то от холода, не то от нервного напряжения.

Март выдался холодный, и не было дня, чтобы погода не изменялась самым неожиданным образом: с утра шел снег, в полдень проглядывало солнце и превращало его в лужи воды, а к вечеру начиналась метель и заносила все, как в декабре. Сейчас было раннее утро, был туман, и, однако же, мороз пощипывал за уши и пар валил изо рта клубами.

Инженер Рюмин потер мочки ушей, поправил фуражку с золотыми молоточками, как будто от этого могло быть теплее, закурил и повел разговоры с извозчиком о жизни...

И извозчик поведал... Более тысячи рассчитанных с завода жили как бог на душу положит: иные сбились в артель, приладились копать небольшие шахты и выклевывали из утробы Донецкого кряжа руду и известняк для завода; иные мастерили бочки для вина, тарантасы для лавочников, ходы для крестьян; нашлись и мастера, которые расписывали бумагу самыми невероятными красками и изображали на ней лебедей и тигров, а больше всего русалок, таких ярких, что не прицепить их возле кровати было просто невозможно. А некоторые бродили с инструментом в сундучках по окрестным селам и перебивались всякой всячиной — кладкой печей, стеклением окон, пайкой жестяной посуды, чеботарным ремеслом. Многие же вовсе съехали со своих мест и разлетелись искать счастья в чужих городах и губерниях, а семьям оставили в удел ходить по харчевням и собирать недоеденные куски.

Югоринские базары шумели теперь, как весеннее половодье, а торгового люда на них появилось столько, что на каждого покупателя наверняка приходилось десять продавцов. Но вот беда: не всем шла коммерция в руку, не очень-то сбывались изделия безвестных мастеров, а если и были удачи, то только по воскресеньям, когда приезжали крестьяне. Но воскресений было так мало, а крестьяне стали такими прижимистыми и так дрожали за каждую копейку, вырученную за нехитрые деревенские товары, что новоявленным коммерсантам большей частью приходилось уносить свои изделия в кошелках и в мешках восвояси.

Один Иван Гордеич Горбов слыл удачником: у него всегда было полно покупателей, особенно крестьян, и его товар пользовался неизменной популярностью. Но на то были веские причины...

Извозчик так и сказал:

— Иконки продает, травки святые и тем кормится... Но-о, арабская кровь, не то как жигану кнутом,— пугал он приземистого конька длиннейшим кнутом, но бить не бил, а лишь усиленно чмокал белыми с просинью губами.

Инженера Рюмина мало интересовали торговые дела Ивана Гордеича, а более всего интересовало настроение рабочих, их отношение к предстоящим выборам в думу, и он осторожно стал расспрашивать именно об этом. Однако извозчик был не особенно словоохотлив и ответил кратко:

— Что ж дума? Она кормить-поить нашего брата не будет и на старые места людей не поставит. Сгоняли мастера на митинг выборный, силком в шею толкали, да мало кто ходил в Народный дом. Которых же пригнали, те сидели на лавочках в саду и курили. Еще про пятый год потихоньку судили: вот, мол, тогда сами бежали в Совет, никого не надо было силком

загонять... Но-о, я сказал! А то как жигану, так у меня враз на рысь перейдешь,— вновь грозился он коньку и вновь только махал кнутом, чмокал губами.

Инженер Рюмин думал: на митинги по случаю предстоящих выборов в Государственную думу гонят силком. В Совет ходили сами. И конечно же и сейчас пошли бы сами. «И, очевидно же, старина, противодумский митинг мы непременно устроим и вывернем наизнанку всю эту думскую затею реакции. Но как это можно сделать? С кем, когда и где, если основные рабочие рассчитаны и разъехались?» — рассуждал он.

Михаил Рюмин был человеком действий, но Лука Матвеич не советовал ему начинать что-либо здесь до его приезда, а наказывал: «Не горячись, прежде всего познакомься с людьми, а уж дело покажет, с чего начинать». С Чургиным началось и кончилось хорошо за какую-нибудь неделю. Дело Леона близко к завершению, и его скоро будут судить обыкновенным судом, как и остальных его товарищей. А Ольга должна освободиться. Чего это стоило Рюмину? Это не имело значения, да он об этом и не думал, он просто делал то, что следовало. Что же касается неудобств, разъездов, денег — про такие пустяки и беспокоиться-то некогда было.

Рюмин беспокоился лишь об одном: удастся ли ему договориться с дирекцией завода о службе? И еще: удастся ли ему сойтись с местными товарищами? Ведь они воспитаны Лукой Матвеичем, прошли его школу, объявили свою республику и как черти дрались на баррикадах с вооруженными до зубов войсками. Очевидно же, что здесь живут не простые рядовые партийцы, не обыкновенные смертные рабочие, а люди особого склада, особой закалки, прошедшие сквозь огонь и дым сражений за свободу.

И инженер Рюмин внутренне весь подтягивался и готовился к встрече с этими людьми — с героями вооруженного восстания, перед которыми преклоняется сам Ленин...

Побрившись и переодевшись в гостинице, он осторожно разузнал, не спрашивал ли его кто из дирекции завода, и ему ответили: «Нет». Конечно, Рюмин ждал не звонка директора завода, а Луку Матвеича, с которым была условлена встреча именно в гостинице «Гранд-отель», но, видимо, Лука Матвеич задержался в губернском центре.

В главную контору завода Рюмин явился барин барином. Бросил на стол управляющего делами свою визитную карточку, а самому управляющему бросил высокомерно:

— Прошу доложить. Я не располагаю лишним временем.

Конечно, времени у него было хоть отбавляй и высокомерием он не страдал, но так надо было держаться, так полагалось держаться сыну именитого сановника.

Директор завода, бывший начальник мартеновского цеха, инженер Шелгунов, встретил его любезно, пригласил сесть и не замедлил с расспросами:

— Извините за деликатный вопрос: вы — сын Константина Константиновича Рюмина?

— Да.

Директор завода мило улыбнулся, мизинцем правой руки провел по уголкам рта и продолжал:

— И брат погибшего на баррикадах Леонида Константиновича?

Рюмин непринужденно сел в желтое роскошное кресло, холеный, одетый с иголочки, и его белое молодое лицо с темными усиками как бы выражало: «Вы ведь все равно мне не откажете». Но он рассеянно взглянул на директора и ответил:

— Разумеется. Еще что вам желательно знать? Я весь — к вашим услугам.

— Так-с,— запнулся директор. «Брат социалиста и сын отъявленного монархиста. Поистине — диалектика»,— заключил про себя, но вслух дружески продолжал: — Мне желательно предварить вас, мой друг, что заводам нужны инженеры, а не политические деятели. К тому же для некоторых из сих деятелей наступили трезвые времена. Революция закончилась. Если вы разделяете сию элементарную точку зрения, я буду счастлив видеть в вашем лице пока что помощника начальника мартеновского цеха завода. Условия: меблированная квартира, две тысячи семьсот рублей в год. Будем хорошо служить, вы понимаете...

Он встал из-за стола и весь заблестел золотыми пуговицами и застыл в величественной позе — невысокий и худощавый, с прилизанной рыжеватой головой. Некоторое время он молча смотрел на Рюмина в упор, ожидая, что тот ответит.

Инженер Рюмин тоже встал — высокий, сравнительно с ним, в сверкающих очках, с гладко причесанными волосами, с красивым носом и тонкими яркими губами, и директор не мог не вспомнить о дочери: «Великолепная партия тебе, дочь! Но...»

Но мысль его нарушил чеканный голос инженера:

— Благодарю за честь, господин директор, но согласитесь со мной, что помощником начальника цеха... А вашу точку зрения я вполне разделяю,— добавил он как бы между прочим.

— Начальником мартеновского цеха,— тотчас же переиначил директор свое предложение.

— Еще раз покорно благодарю, но...

— В самое ближайшее время — моим заместителем,— добавил директор.

Инженер Рюмин благодарно кивнул головой:

— Почту за честь...

— Три тысячи рублей, особняк, выезд,— продолжал директор, а в уме сказал: «Один из нас, несомненно, идиот. Но... сынок сановника! Откажи я — этим воспользуется Юм. А что скажет сановник — мне ведомо заранее».

Говорить о делах больше не было смысла, и директор перешел на неофициальный тон:

— Устроитесь как следует, Михаил Константинович, а тогда уж и приступите к службе. Служба — не медведь, в лес не убежит. Все распоряжения будут отданы... Холост, извините за нескромный вопрос?

— Да.

— Ай-яй-яй,— закачал директор красноватой головой и совсем фамильярно заключил: — Либерал, семейный либерал ваш батюшка. Пардон. Впрочем, наши местные девицы несказанно будут рады этому... Ну-с, желаю удач, мой друг.

Инженер Рюмин, натягивая на левую руку черную лайковую перчатку, заметил, тоже переходя на интимный тон:

— А брат ваш, насколько я знаю, не согласился бы с вашими мыслями. Не так ли?

Это был намек вызывающий, но из песни слова не выбросишь, и директор, вздохнув, ответил:

— Да, мой друг. Времена настали такие, что сам бог ничего не поймет. Брат — против брата, отец — против сына. Какая-то сумасшедшая эпоха!

Он говорил о своем родном брате, видном публицисте и либеральном деятеле, умершем не так давно, и одновременно уколол Рюмина напоминанием о его брате, погибшем на баррикадах. И обоим было ясно: они — квиты... Или они связаны одной веревочкой...

Рюмин так именно и заключил, когда вышел из кабинета, и был уверен: начальником мартеновского цеха быть ему всего лишь для проформы.

...По цехам он ходил в сопровождении смотрителя завода — высокого и сухопарого человека с белой бородкой клинышком, с седыми усами — под генерала Линевича,— с черной тросточкой в правой руке. Это был простой человек, выбившийся в смотрители завода из мальчика на побегушках, видевший десять директоров, знавший родословную едва ли не всех инженеров и мастеров. Когда-то он был обласкан еще старым хозяином, Сухановым, квартировавшим в хуторской хате будущего смотрителя в пору закладки завода, и мог рассказывать о каждом цехе, о его рождении хоть целыми днями.

Но Рюмина не интересовала давняя история, его интересовала жизнь завода сегодня, и он почти не слушал смотрителя, а ловил шум домен, станов, печей и, как опытный доктор у постели больного, отметил: «У домен неровный ход, а это означает, что процесс плавки сдерживается искусственно; паровой машине прокатного цеха недостает пара, а это означает, что металла искусственно прокатывается меньше положенного; печи мартенов — «холодные», и сталь варится более обычного. В общем, господин директор, напрасно вы делаете хорошую мину при сомнительной игре: завод — больной. Живет революция в душе рабочих, живет и расстраивает все ваши преднамерения».

Смотритель между тем рассказывал уже не об истории. Он говорил о более близких событиях на заводе и то и дело опасливо посматривал по сторонам.

— Какие события вы имеете в виду? — спросил Рюмин, поняв, о чем идет речь.

Смотритель хитровато кашлянул, вновь посмотрел по сторонам и ответил:

— А всякие. Забастовка, например. Уволили многих. Крамольниками их называют почему-то.

— А как вы думаете: почему?

— А шут их знает. Я политикой не интересуюсь. Дед Струков, однокашник мой, поинтересовался — и чуть было жизни не лишился. На баррикадах каких-то. Вон на тех печах работал,— указал смотритель тросточкой в сторону нагревательных печей.

Рюмин готов был спросить: «А мой брат, инженер Рюмин, был вместе с ними?», но лишь сжал губы и пристально посмотрел на печи. Там, с перекошенными от жара лицами, оголенные до пояса, рабочие извлекали из огня раскаленные болванки, подхватывали их клещами, свисавшими

с рольгангов, и толкали к прокатному стану. И Рюмину казалось: вот-вот там появится брат и крикнет ему: «Михаил, да ты знаешь, где стоишь?! Здесь мы начинали строить новую жизнь. Сними фуражку перед прокатчиками!» Но возле печей брата не было, а были быстрые, ловкие люди, которым некогда было на свет белый смотреть, а не только на незнакомого человека.

Рюмин задержался у стана. Грохочущий, затянутый паром и залитый водой, он по-обычному гремел валками и проглатывал то короткую и белую, то длинную и темно-красную полосу железа, а между теми полосами вертелись, нагибались и разгибались вальцовщики в синих очках и изредка, в свободную секунду, руками растирали пот по лицу.

– Александрова хорошо помню, старшой был здесь. Погиб в пятом году,– услышал Рюмин слова смотрителя и посмотрел на вальцовщиков, будто среди них находился Александров.

Странное состояние испытывал Рюмин. Смотритель говорил ему о неизвестных событиях, а Рюмину казалось, что события эти происходили здесь лишь вчера и что он сам будто участвовал в них. Смотритель говорил о погибших людях, а Рюмину казалось, что люди эти вовсе и не погибали, что они где-то здесь, и брат Леонид где-то здесь и вот-вот покажется с друзьями и радостно пойдет ему навстречу, расставив руки для объятий. Но никто навстречу не шел, никто не улыбался, и в глазах Рюмина блекли искринки.

В литейном цехе он волновался слишком заметно. Здесь решительно все было связано с именем брата, бывшего начальника цеха, и от этого Рюмину казались особенно близкими и люди, и краны, и вагранки, и чугун, лившийся в ковш огненными ручейками и стрелявший брызгами во все стороны. Но более всего взволновало Рюмина то, что многие литейщики при его появлении замедлили работу и зашептались.

Рюмин смутился, протер очки – точно так, как делал брат,– и, подняв голову, увидел перед собой черного, с розовыми щеками, пожилого человека. Тяжелой деревянной бабой, подкованной железом, он якобы утрамбовывал черную землю в окопе-форме, а сам пристально смотрел на гостя.

– Здесь был начальником Леонид Константинович. Это ваш брат? – услышал Рюмин слова смотрителя и не знал, что ответить. И тогда смотритель тихо сказал: – Гордитесь своим братом. Он умер за народ...

У Рюмина перехватило дыхание. Ему хотелось обнять и смотрителя, и рабочих, и всех, всех этих незнакомых ему, но казавшихся такими близкими людей, однако он не мог делать этого и быстро пошел прочь из цеха, провожаемый настороженными взглядами литейщиков. «Хорошо, превосходно же здесь, дорогой Лука Матвеич! Здесь замечательные люди! И никогда, никогда мы теперь не расстанемся»,– решил он.

Выйдя из цеха, он не увидел рядом с собой смотрителя и остановился закурить. К нему подошел испачканный сажей старик, таинственно спросил:

– Я извиняюсь, вы не в сродстве будете с Леонидом Константиновичем? Душевный человек был, за рабочих смерть принял. Эх, дела!

Рюмин некоторое время смотрел на старика блестевшими глазами и вдруг порывисто пожал его руку.

— Спасибо вам, родные, от всей души спасибо,— торопливо проговорил он и быстро пошел дальше. Полы его шинели распустились и бились на ветру, как крылья, и казалось, что он вот-вот взмахнет теми крыльями и полетит над штабелями старых труб, над цехами, над заводом — горячий, как огонь, полный неистребимых сил и дерзновенных мыслей...

Русский инженер, посланец Ленина...

...Остаток дня Рюмин провел в гостинице. Ему хотелось хорошенько присмотреться к мартеновскому цеху, поговорить со сталеварами, сказать им, как лучше вести плавку, хотелось поскорее найти деда Струкова, Ивана Гордеича, к которому была явка. Короче говоря, ему хотелось действовать немедленно. И он уже весь был в этом действии...

Вот он, гневно обжигая взглядом директора завода, говорит ему: «И вы, инженер и брат известного демократа, утверждаете, что все кончилось. Не кончилось, милостивый государь».

Вот он говорит деду Струкову, Сергею Ткаченко: «Засыпать все листовками, каждодневно, постоянно говорить во весь голос: «Нет, революция не окончилась! Она живет в душе у каждого честного человека, она видна в глазах каждого рабочего».

Наконец, он говорит Оксане: «Оксана, Оксана! Видели бы вы, слышали бы вы, с какой любовью, гордостью, сочувствием говорили эти простые люди о Леониде Рюмине, который так любил вас. Что может быть дороже этих трогательных взглядов, этих скупых жестов, тихих многозначительных слов? Я сожалею, я очень сожалею, что вас нет здесь, рядом с этими людьми, рядом с нами...»

Рюмин сел в кресло и задумался. Вспомнилась все же Оксана, не смог он забыть ее и на заводе. И вспомнилась ему последняя встреча с ней в тот вечерний час в Александровске. Зачем, почему он сказал ей с такой мальчишеской поспешностью то, что не сказал бы ни один серьезный человек прежде, чем семь раз не примерил? Что она могла подумать о нем после такого дурацкого объяснения?

И Рюмин готов был отругать себя самым жестоким образом и принести извинения Оксане немедленно. Но когда они теперь встретятся — трудно было сказать. А писать о таком деле было бы слишком неумно.

«Да... Оксана... Наделал я вам беспокойства. А ради чего? Не полюбить такую женщину не может ни один здравомыслящий человек. Но имеет ли он право на это? Вот вопрос. Брат такое право имел. Я — нет. А между тем полюбил. И, кажется, не только как сестру. Или — как сестру?.. Вот вы и запутались, инженер Рюмин. Приехали делать дело, а занялись черт знает чем и попали в историю, из которой теперь и не выпутаетесь»,— досадовал он на себя и готов был рассказать об этом Луке Матвеичу, который вот-вот приедет. Но, поразмыслив, решил: а о чем говорить-то? Что плохого он сделал? Ничего.

Дверь в номер открылась, и на пороге появился Лука Матвеич, одетый в шубу и в котелок, с толстой палкой в руке, с квадратной бородкой,— ни дать ни взять живой купчина из пьесы Островского.

Рюмин поначалу не узнал его, но быстро сообразил, в чем дело, и рассмеялся.

— Однако далась же вам эта шуба, право. Я готов был держать пари...— сказал он.

Но Лука Матвеич приложил палец ко рту и произнес в тон ему:

— А вас искать — что иголку в стогу сена,— тише добавил: — Собирайтесь, быстро, пока все идет хорошо. Извозчик ждет.

Спустя немного они уже ехали на вокзал, но вскоре отпустили извозчика и пошли пешком в сторону города, потом сели на другого извозчика и поехали к монопольке. Там они вошли в здание, спросили какую-то особенную водку, которой, разумеется, не было, и вышли, но Рюмин успел там же переодеться в обыкновенное платье, а инженерскую куртку спрятал в саквояж. И лишь теперь, убедившись, что за ними никто не следит, они направились к Ивану Гордеичу, в самый дальний заводской поселок. И Рюмин наконец мог сообщить обо всем, что он успел сделать за это время.

Иван Гордеич Горбов был рассчитан вместе с другими за сочувствие Совету, как ему сказал мастер доменного цеха Квасница, но никуда не уехал. Он был человеком дела, был связан с монастырями и монахами, которым так много посылал в свое время золотых монет, собранных среди верующих, и это обстоятельство выручило его в трудную минуту: он стал распродавать крестьянам святых угодников, которых ему прежде присылали монахи, и тем кормился в первые дни. Но когда запасы святых угодников были исчерпаны, Иван Гордеич решил: а почему бы ему самому не попробовать мастерить подобных угодников, скажем, из гипса? Делают же их монахи?

И стал Иван Гордеич отливать из гипса таких святых, что соседи диву давались, а дед Струков только ахал и руками разводил: такого таланта в своем куме он и не подозревал. И пошел промысел в гору так успешно, что иногда крестьяне из соседних хуторов и слобод закупали гипсовые фигурки оптом, на весь приход.

Иван Гордеич поразмыслил, а что, если к гипсовому товару присоединить и травки божьи, и слезы богоматери, и прочие целебные вещи? Ведь этак можно будет и горе покатить! И он написал монахам Ново-Афонского монастыря и Киево-Печерской лавры письмо, а вскоре получил дорогую посылку с травами и пузырьками со слезами богоматери. Выкупил он ту посылку, распродал ее содержимое и еле выручил свои деньги. Монахи оказались не такими дураками, чтобы не сообразить, где пахнет жареным, и заломили за посылку втридорога.

И Иван Гордеич отважился на истинно сатанинское дело: собрать на полатях все травы, что ему присылали монастырские дельцы раньше, сделать из них маленькие пучочки, а пузырьки наполнить своей колодезной водой — и все сойдет за милую душу: не написано же будет на пузырьках и на пучочках, откуда они родом и что собой представляют?

Дед Струков вполне одобрил такой коммерческий замах, назвался в компанию и дал клятвенное заверение ходить в степь, когда настанет весна, и приносить на алтарь отечественной торговли самые лучшие травы, а воду вызвался приносить из самого лучшего колодца или из криницы, что была в Сибирьковой балке, в трех верстах от города.

И пошло круто на подъем торговое заведение Горбова, и вскоре Иван Гордеич стал монополистом по продаже святых изделий. Само собой разумеется, что у него даже завелся и белый хлеб, а по воскресеньям стала водиться и колбаса, правда, немного — всего с полфунта, но все же колбаса,

а не требушка, составлявшая главный предмет в рационе с тех пор, как ушла в небытие Дементьевна.

Одно немного беспокоило Ивана Гордеича: а что ему будет на том свете? Ведь за такие дела черти церемониться не будут и наверняка окунут его по самую шею в котел с кипящей смолой. Но тут опять выручил дед Струков и категорически заявил:

— Ты думай про одно: как бы нам не протянуть ноги на этом свете, язви те. А на том свете я самолично доведу тебя до райских ворот и скажу Михайле-архангелу такую речь, что он на колеснице доставит тебя прямиком сразу во все райские места, да и меня прихватит за компанию, язви его.

Иван Гордеич гудел недовольно и неуверенно:

— Боюсь. Противохристианское дело это — продавать слезу богоматери из криницы. Кощунство...

Деда Струкова подобные речи приводили просто в ярость.

— А Дементьевну, куму мою и твою супругу, подвалить из пушки за здорово живешь — это не кощунство? А мой живот распахать снарядом так, что его еле заштопали доктора,— это не кощунство? А Александрова, инженера Рюмина, Ермолаича и всех пролетариев губить за то, что они шли за правду,— это богово дело? Или Леонтия, Лавренева, Вихряя и Ольгу и прочих засадить в каталажку — это как называется? Да это называется настоящим убиением народа, язви те с твоими святыми разговорами. Что ж как воды в рот набрал? Не правду разъясняет дед Струков? Правду, святую правду разъясняю тебе, бороде несознающей.

Иван Гордеич молчал. Против такой речи кума возражать было нечего, да и не к чему. Дементьевну действительно уложили за здорово живешь, и спрашивать было не с кого. И рассчитали с завода целую армию самых лучших мастеровых, которые теперь бродят, как бездомные, и живут — лишь бы ноги не протянуть. И Леона нет с Ольгой, и других. А спрашивать не с кого. Собственно, Иван Гордеич-то хорошо знал, с кого следовало бы спросить за все это, но молчал... и еще усерднее доводил напильником гипсовую фигурку богородицы.

Дед Струков понял его невеселые думы и миролюбиво заметил:

— Аккуратней подшабривай, борода. Божья мать что-то обличьем больно на Гаращиху скидывается, куму твою. Не купят с таким носом картошкой — и шабаш нашей Христовой фирме, язви ее.

— Купят,— вяло ответил Иван Гордеич.— При водворении иконы на завод. С руками оторвут. А наждаком пройдусь — и настоящая святая дева получится.

— Дева, может, и получится, а вот святости, парень, как раз и недостает. Не иначе гипсу маловато сыпали, как отливали,— зудел, как шмель, дед Струков и вывел Ивана Гордеича из терпения.

— Да ты сам будешь покупать ее, что ли? — повысил он голос.— Отливали-то по твоей курносой модели? «Святости» ему не хватает. Такое понятие должно содержаться в душе, а не в гипсу. Разливай божьи слезы и не мешкай мне. Шабашить пора и суп варить.

Дед Струков разливал по пузырькам воду из колодца и уже выставил тех пузырьков на столе с дюжину. Но на этом кончать дело не собирался, пузырьков у него было еще с дюжину, а воды — целая цебарка, и он сказал:

— Пузырьки шибко махонькие, язви их, не льется вода в такие горлышки. И за такое дуросветство нам могут врезать по загривку. Может, бросим это богово дело, а займемся бондарным ремеслом?

И Иван Гордеич вскипел и шлепнул напильником по столу:

— А-а, боишься в геенне огненной жариться? А кто меня подбил на это богохульство? Ты. И я вот что тебе скажу, кум: метись из моей компании. Я беру все грехи на свою душу, а ты подыхай голодной смертью.

Этого дед Струков не мог снести. Он грохнул донышком пузырька по столу, так, что склянки посыпались на пол, потом сгреб со стола все наполненные и пустые пузырьки и пошел расшвыривать их по комнате ногами, приговаривая:

— Не угодил? Захотел все барыши захапать? Хорошо. Хапай, торгуй, зарабатывай на дураках, а я не желаю состоять в твоей компании. Все! Шабаш!

Он сплюнул на цементный, крашенный суриком пол, сел в стороне и стал крутить цигарку.

Тогда и Иван Гордеич сгреб стоявшие на столе фигурки, смахнул их на пол и тоже сел; хотел закурить, да не умел делать цигарки и отчаянно махнул рукой:

— Значит, конец нашему торговому делу. А жрать будем травку, вот эту,— взял он пучок трав и шлепнул его об пол, а потом раздавил своим чугунным сапогом.

Дед Струков молчал, делал ему цигарку и слюнявил ее сверх всякой меры.

Лука Матвеич и Рюмин стояли у порога и улыбались. Наконец Иван Гордеич заметил их, но в полумраке не узнал, принял за божьих странников, которые навещали его почти ежедневно, и пригласил:

— Раздевайся, Христово воинство. Сейчас похлебку варить будем.

Дед Струков обернулся, потом схватился со скамьи и воскликнул:

— Борода, да ты узрел, кто пришел к нам? Ах, язви нас! Записать в «божьи странники» моего самого главного политического дружка! Тьфу, дураки старые...— И отрапортовал: — Докладаю, товарищ Лука: кожу зашили, внутренние части сохранились в исправности. Так что рядовой дружинник, Никита Струков, вошел в строй сполна. Давайте оружие — и хоть нынче в бой, язви его.

— Молодец, старый солдат. Объявляю благодарность за мужество,— пошутил Лука Матвеич и обнял его.

Иван Гордеич обнял Луку Матвеича, прослезился малость, несмело поздоровался с Рюминым и запер на засов наружную дверь. Потом вытер стекло лампы и дал сильный свет, но Лука Матвеич прикрутил фитиль:

— Нам не чистописанием заниматься, друзья мои... Расскажите, что у вас тут делается. А то власти трезвонят, что, мол, все кончилось. Да, познакомьтесь: это — брат Леонида Константиновича. У вас будет служить, на заводе.

— Леонида Константиновича? — глухо спросили Иван Гордеич и дед Струков, и оба затрясли руки Рюмину.

— За пролетариев смерть принял. Братец-то,— торжественно-печально произнес дед Струков.— А властя брешут. Не кончилось все, а вот куда засело, в душу самую,— стукнул он кулаком по своей впалой гулкой груди.

— Они хотят панихиду сделать по баррикадам. Но мы и не тронемся идти туда! — горячо произнес Иван Гордеич.

— Какую панихиду? — спросил Лука Матвеич.

— Молебствие. Икону богоматери будут водворять на завод, чтоб мир был между нами и властями, язви их, — пояснил дед Струков.

Лука Матвеич переглянулся с Рюминым и, что-то прикидывая в уме, сделал несколько шагов по комнате.

— Так, — произнес он задумчиво. — А что, если этот случай... Нет, мы пойдем туда, дорогие мои, обязательно пойдем... Вот только повидать бы Сергея Ткаченко. Где он обитает?

Дед Струков гордо выпятил грудь и сообщил:

— Я есть главный квартирмастер. Как не знать? Замуровался он, живет, язви его.

— Квартирмейстер, кум. Когда ты образуешься и правильно будешь понимать слова? — заметил Иван Гордеич.

— Мои понятия — самые правильные, а твои, куманек, не того, — начал было читать мораль дед Струков, но Лука Матвеич прервал его и спросил:

— Так когда будут водворять на завод божью мать, говорите?

— В воскресенье, — хмуро ответил Иван Гордеич. — А вы на самом деле решили полюбопытствовать?

— Непременно, Иван Гордеич, полюбопытствую... Да, так о Ткаченко. Расскажите, что знаете. И вообще расскажите о себе — я давно у вас не был.

Иван Гордеич недоверчиво скосил на него глаза и пожал плечами: самый главный над всеми политическими хочет идти на молебствие? Непостижимо! Но разговаривать об этом не стал и начал рассказ о жизни рабочего человека...

Сергей Ткаченко знал, что приехали Лука Матвеич и брат инженера Рюмина, и готовился встретить их: побрызгал и подмел землю сибирьковым веником, убрал лишний хворост за печку, приладил лампу, чтоб ярче светила, и, наконец, поставил на плиту кастрюльку с картошкой, а рядом приспособил чайник с талой водой.

Трудно жилось Сергею Ткаченко в подполье, и он уже не раз поругивал Леона за то, что тот велел ему не даваться в руки властей и наказал возглавить организацию. И он возглавил ее, но вот беда: он мог делать отлично решительно все, но лишь при условии, чтобы ему говорили, что следует делать. А кто ему мог говорить, если комитет фактически распался из-за арестов и остались лишь Кулагин и Поляков — от меньшинства, а Бесхлебнов и дед Струков — от большинства?

И Сергей Ткаченко, самый отчаянный комитетчик в недавнем прошлом, вдруг размяк и растерялся, а вернее всего — пал духом и разуверился в самом себе, а не только в друзьях, которые позабыли даже о его существовании.

Сейчас, управившись с делами, он сидел возле печки на низкой скамеечке и обдумывал, как встретить и что говорить Луке Матвеичу.

В печке шипел и потрескивал хворост, на плите варилась картошка и пел чайник. В землянке было полутемно, и она освещалась лишь светом,

вырывавшимся из раскрытой дверцы. Ткаченко взял длинную вишневую хворостину, переломил ее и бросил в печку. Там хворостина вспыхнула синим пламенем, перевернулась и загорелась белым огнем.

Сергей Ткаченко рассуждал вслух – не с кем было перемолвиться хоть двумя словами за целый день:

– Да, хвалиться нечем. И надо сказать правду: я – неспособный председатель комитета, не умею приноровиться к такой жизни, не знаю, что делать, с чего начинать, с кем начинать. А вообще – мне лучше уехать туда, где меня не знают, и жить легально под чужой фамилией... – подвел он итог своим раздумьям.

Раздался условный стук. Ткаченко открыл дверь и впустил деда Струкова, Луку Матвеича и инженера Рюмина.

– О, да тут целая депутация! – пошутил он. – Ну, здравствуйте, дорогие товарищи. Давно не видались...

– Здравствуй, монах. Жив-здоров? – спросил Лука Матвеич. – Знакомься: брат Леонида Константиновича, инженер Рюмин-старший.

Поздоровались, обнялись, и сразу не о чем стало говорить. По крайней мере, Сергей Ткаченко растерялся, засуетился, стал помогать гостям раздеваться, ставить им табуретки, потом отодвинул в сторону кастрюлю с картошкой, а на ее место поставил чайник. И все время беспокоился: «Ну, вот и пришел конец моему такому положению. Приехал новый председатель комитета».

Лука Матвеич осмотрелся, переглянулся с Рюминым, как бы говоря: «Вот какое здесь подполье: друг друга не видно. Придется начинать все сначала», а Сергею Ткаченко сказал:

– Да, Сережа, слишком глубоко забрался. Шахта настоящая, можно и ослепнуть. А зарос – как старовер в скиту.

Рюмин видел: Ткаченко слишком опустился и скорее был похож на затворника, чем на руководителя организации, и в уме отметил: «Это мы изменим самым решительным образом. Отсюда и солнца не увидишь, а не только революции. Надо же уметь так опуститься, так отгородиться от живой жизни...»

Разговор начал сам хозяин квартиры:

– Я знал, что вы приехали, Лука Матвеич, и приготовил целую речь. Но речей говорить не надо, вы сами видите: я – негодный руководитель, запустил дела, а вернее – и не начинал их. Увольте меня от такой службы. Не умею я этим заниматься. Мне бы листовки печатать, оружие отымать, с дружинниками водиться и учить их стрелять – это дело. А тут...

Он махнул рукой и оборвал свой доклад. И Луке Матвеичу стало жалко его. Ведь какой боевик был! Какой начальник дружины! И вообще: милый парень, а силач – каких мир не видал. И он мягко спросил:

– У тебя, кажется, картошка варится? А огурчики найдутся? Мы малость проголодались с инженером. – И, сев у раскрытой дверцы печки, достал свою неизменную спутницу – трубку, набил табаком и прикурил от хворостины.

Ткаченко мигом спустился в подполье, в погреб, покопался там и весело крикнул оттуда деду Струкову:

– Папаша, дай-ка сюда чашку. На угольнике, рядом со святыми стоит!

Дед Струков пошарил на угольнике под образами, но ничего не нашел, потом пошарил на столике, что был приткнут к навеки затемненному крошечному оконцу, и нашел наконец.

— Язви те... Сам ослеп и других может решить зрячести. Совсем закуршивел, идолов парень,— ворчал он, подавая Ткаченко злополучную чашку.

Картошка была в мундире, обжигала руки, но Лука Матвеич дул на нее изо всех сил, перекладывал с ладони на ладонь и как ни в чем не бывало негромко говорил:

— Добрая штуковина. А как бы соточку в придачу — совсем великолепно вышло бы. Может, найдется, хозяин?

Инженер Рюмин удивлялся: о какой соточке говорить тут, когда надо разнести такого хозяина по всем статьям, если не отстранить от дел? Впрочем, какие уж тут дела...

А Ткаченко искренне пожалел, что не догадался купить соточку водки, но с детской простодушностью ответил:

— Не потребляю я ее. И послать некого. Может, папаша Струков сбегает?

— Свят, свят, язви те! — перекрестил его дед Струков, глядя на него, как на богоотступника.— Ты, парень, совсем рехнулся. На дворе — ночь, монопольщик десятый сон видит, а ты... Скинуть тебя за такие речи надо, рассчитать с комитетской должности — вот тебе что положено! — ожесточился он и выхватил из кастрюли картофелину, но в тот же миг бросил ее обратно.— Картошку разучился подавать старшим, попалить руки друзьякам надумал, язви те...

Лука Матвеич улыбнулся и сказал медленно:

— Это ты напрасно, старина. Сергея мы знаем. Ну, малость задичал, малость потерял веру в себя и в людей, глубоко залез в подпол — так это все поправимо! — слегка повысил он голос и спросил у Ткаченко: — Типографию уберег?

— В целости и сохранности,— ответил Ткаченко.

— Бумага?

— На сто тысяч листовок хватит. И оружие есть, и бомбы захоронены, и пороху добыл, и револьверов целых два десятка, наотымал у полиции по ночам,— докладывал Ткаченко.

— Слыхал, старина? — обратился Лука Матвеич к деду Струкову.— А ты говоришь...— Потом встал, обнял Ткаченко и сказал серьезно и строго: — Молодец, Сережа. Хороший руководитель. Замечательный хозяин.

И можешь быть еще лучшим. Можешь, не прикидывайся дурачком.

Сергей Ткаченко готов был расплакаться, как мальчишка. Так мог говорить, так мог верить ему только Лука Матвеич. И Сергей Ткаченко порывисто обнял его и сказал взволнованно и грубовато:

— Все исправлю. Все закипит, завертится, Лука Матвеич. Спасибо. Вы — как отец мне... Вы... хороший человек...

— Ну, ну, Сережа... Я знаю, что у тебя нет отца, что у тебя одна мамаша. Кстати, а как ты помогаешь?.. Впрочем, тебе самому впору помогать.

Лука Матвеич волновался. Досадно ему было, что у такого парня все получилось нескладно, а вместе с тем и жалко было, как сына. Ведь горы

свернет — скажи лишь ему. И он верил, что Сергей Ткаченко именно свернет эти горы.

Вскоре, как и было условлено, пришли Поляков — Арсений и Кулагин. Лука Матвеич рассказал о положении дел в партии и о выборах делегатов на Четвертый съезд, а затем предложил объединить оба югоринских комитета: большинства и меньшинства. И инженер Рюмин стал членом комитета.

— ...Ну, и последнее — о митинге. На завод будут водворять богородицу. Попытаемся использовать это событие в своих целях следующим образом...

Молебствие по случаю начала выборов в Государственную думу и водворения иконы богородицы было назначено на воскресенье. Во всех цехах завода разбросали желтый песок, цеховые часовни побелили и начистили до блеска, возле икон святых угодников были зажжены свечи, а возле главной конторы и на воротах завода вывесили государственные флаги. И все приняло торжественно-праздничный вид.

Воскресный день выдался пасмурным и морозным. Шел крупный снег и грозился перейти в метель, но медлил и пока что прихорашивал землю нежным холодным пушком.

Мерно и однотонно звонили все церкви города.

Ровно в десять часов утра ударил главный колокол собора и загудел, затревожился на всю округу. Под его звон из собора отцы города вынесли на носилках икону богородицы, постояли немного в ограде, приладились поудобнее, и многотысячная колонна тронулась в путь.

Впереди шли священники в золоченых ризах, кадили серебряными кадильницами и гнусаво читали положенные молитвы, за ними сводный хор пел псалмы, а за хором, на обтянутых лиловой парчой носилках, все мастера завода несли икону богородицы. Божья мать была окаймлена золотом и серебром и скорбно смотрела куда-то вдаль черными глазами, будто хмурилась и была недовольна, что ее вынесли из собора в такую стынь, но люди не обращали на это внимания и истово смотрели, смотрели на нее и крестились широко и размашисто, каждый вымаливая свое, а те, кто был позади в длиннейшей веренице, просто шли, просто крестились и тихо переговаривались о житейских делах.

Над иконой, над процессией в морозном воздухе курилась белая дымка ладана, смешивалась с клубочками пара от человеческого дыхания и поднималась вверх благовонным мутным облаком.

Шел снег, звонили колокола, пели певчие и священники, колыхались над толпой хоругви с потемневшими ликами спасителя и угодников, и казалось, что идет и поет и курит ладаном сама благодать, вечная и не омрачаемая никакими бурями и невзгодами судьбы, и являет людям мир и благоденствие неизбывное. Так думали многие, но по сторонам процессии шла полиция, шли городовые, и это кое о чем напоминало...

Наконец голова колонны вошла в распахнутые заводские ворота. Тут к ней присоединились рабочие, зеваки, забегали вперед, рассматривали икону, забыв снять картузы, треухи, и тогда послышались резкие окрики:

— Шапки долой, крамольники!

— Освободи дорогу!

— Расходись вправо-влево!

И городовые набросились на толпу и стали кулаками и ножнами шашек расчищать путь шествию.

В центре завода, в самом большом, новопрокатном цехе, процессию ожидали рабочие дружинники. Разместившись на стане, на замершем маховике паровой машины, даже на его канатах, они многозначительно перемигивались и перебрасывались довольно легкомысленными словами:

— Панихиду по нашему брату порешили устроить!

— Ничего, мы еще живые и устроим им кое-что похлеще.

— Товарищи, помолчите пока. Бросать и кричать по моей команде.

Это говорил Сергей Ткаченко. Он сидел на огромном маховике среди своих дружинников и пристально наблюдал за Лукой Матвеичем. Ткаченко, начиненный листовками со всех сторон, чувствовал себя как рыба в воде. Сегодня была его стихия. Сегодня он наконец жил полновесной жизнью, сидел со своими друзьями и то и дело негромко напоминал, кому что следовало делать, когда запоет дьякон. Но все и без того знали свои обязанности.

Лука Матвеич стоял возле помоста вместе с инженером Рюминым, тихо говорил:

— Хорошо получится. Спасибо вам, Михаил Константинович, за изобретательность. Но вам лучше держаться ближе к дирекции, во избежание лишних толков.

Инженеру Рюмину никак не хотелось находиться в свите директора, но делать было нечего. И он ушел.

Тем временем процессия ввалилась в цех, заполнила его до отказа. Икону принесли к помосту и стали укреплять ее свежеоструганными рейками, понадежнее.

Наступило молчание. Все ждали чего-то особенного. Поляков — Арсений, как верстовой столб, стоявший позади Луки Матвеича, наклонился к нему и сказал:

— Мне кажется, что сейчас что-то произойдет. Боюсь, чтобы не повторился тот бунт, что был некогда в прокатном, узнай рабочие о снижении заработков. Быть может, ограничиться разбрасыванием листовок?

— Лучше ограничиться этим твоим разговором. Комитет решил делать так, как мы будем делать. Ты — член комитета и, стало быть...

— Как хочешь, старина. Я высказал свои опасения.

— Оставьте их при себе.

Поляков — Арсений вспомнил Ряшина: «Тот не разговаривал бы, тот сказал бы: «Нет! Мы можем вызвать провокацию и навлечь на себя неприятности». Но Ряшина все еще не было, он куда-то уехал, и Поляков — Арсений не знал, как лучше поступить, потихоньку стал пятиться назад и незаметно вышел из цеха.

Икону наконец укрепили. Священники что-то прочитали, что-то пропели, их поддержал хор певчих, и все присутствующие усердно замахали руками у груди, крестясь и то опуская, то поднимая головы. Но дьякон молчал, все время приглаживал свою черную бороду и посматривал вокруг настороженно и торопливо.

Иван Гордеич стоял в стороне, крестился и бубнил одновременно:

— Богохульники. Тут молятся, а в конторе уже разметили, кому сколько скинуть заработка...

Полицейский чин спросил над самым ухом:

— Борода Саваофова, ты где собираешься ночевать?

Иван Гордеич, не переставая креститься, обернулся, окинул чина грозным оком и ответил:

— Дома я собираюсь ночевать, фараон. Удались с моих глаз, пока я не шибанул тебя.

— Ну-ну, не заговаривайся...

Молебствие подходило к самой торжественной минуте. Молился директор завода, молился полицмейстер, инженеры и мастера — все в белых крахмалках и в таких же перчатках, молились торговцы, городовые чиновники, и на лицах их было одно радение и елей, а на богородицу все смотрели так преданно и раболепно, крестились так истово, будто пришли к рабочим и принесли икону с единственной целью — вымолить у нее, у всех святых, самую сладкую манну небесную, самую лучшую долю людскую, самую счастливую жизнь для этих простолюдинов.

Лука Матвеич — в рабочей одежде, с чужими черными усами — смотрел на этих людей и мрачнел все более. В кармане у него лежала бумага, которую дирекция накануне разослала по цехам. В той бумаге говорилось, что заработки рабочих снижены неделю назад «в видах равномерного и справедливого распределения временных тягот и неудач в делах на всех работающих и в видах заботы о каждом рабочем, коему предоставляется возможность содержать свою семью».

По этой бумаге была отпечатана листовка, но Лука Матвеич хотел улучить момент и прочитать ее на митинге. И вот дьякон все еще молчит и не начинает здравицу в честь царствующего дома, да и директор беспокойно посматривает по сторонам и о чем-то переговаривается с полицмейстером. Не выдал ли им кто замысел комитета? Что-то уж больно много собралось полиции...

Но Лука Матвеич напрасно опасался: директор говорил полицмейстеру о своем умилении образцовым порядком, а был обеспокоен тем, что намеревался говорить речь после молебна и поздравить присутствующих с началом новой эры в управлении делами империи Российской, с началом выборов в Государственную думу.

И дьякон запел. Нет, это был не человеческий голос, это был заводской гудок — неистовый, оглушающий землю и небо, но на этот раз он забрался в человеческую глотку, и от него задрожали воздух, крыша цеха и сама земля:

— Мно-о-о-га-ая-я ле-е-е-е-та-а-а-а-а...

Лука Матвеич кивнул. Сергей Ткаченко взмахнул шапкой, и в ту же секунду с маховика, с крана, с ажурных ферм-опор и самого неба, что виднелось в проемы над головами молящихся, полетели и закружились в неистовом бумажном вихре листовки, и все забелело от них, как от снега.

Лука Матвеич пригладил усы и улыбнулся одними глазами: «Молодцы! Умеют же делать, скажи на милость!» А инженер Рюмин поправлял очки, смотрел на директора, что-то говорил ему, но директору было не до него: он растерялся, засуетился, сбрасывая с себя листовки, воздев руки к небу и что-то крича.

И в цехе началось столпотворение. Могучий бас дьякона осекся и повис в воздухе, а сам дьякон вертелся на месте, как на жаровне, и не знал,

что такое сотворилось на белом свете; все триста человек певчих умолкли и сбились возле иконы, стряхивая с себя листовки и озираясь вокруг перепуганными глазами; священники стягивали с себя ризы и норовили укрыться в тылу помоста, но не могли протиснуться сквозь толпу и жались поближе к иконе; директор, инженеры, чиновники, торговцы и сам полицмейстер устремились туда же, в тыл помоста, кулаками прокладывая себе дорогу, крича и выкатив глаза, и лишь рядовые чины полиции бросились в толпу и грозились всеми карами небесными и земными. Но никто их угроз не слушал, а, наоборот, их самих не пускали к иконе, к месту, где будут выступать ораторы. Так обставил дело Сергей Ткаченко со своими дружинниками.

Подбрасывая шапки вверх, рабочие ликовали:

— Ура революции!

— Долой думу!

— Давай митинг!

А листовки все сыпались и сыпались и парили, как чайки – белые и нежные, и им не было конца. А когда их прочитали и поняли, в чем дело, тогда гневно зашумела, всколыхнулась и закипела вся семитысячная толпа и двинулась к помосту, где укрылись священники, директор, власти, в ярости сжимая кулаки, в которых были листовки.

— Иуды! Сами молитесь, а втихомолку урезаете заработки?! Долой их!

— Громи всех, иродов! – кричал Иван Гордеич, но его кто-то схватил за руку и прокричал:

— Уймись, борода! Переведешь все дело наше.

И помост не выдержал, качнулся, наклонился назад и затрещал, зазвенел, как звенит и лопается на реке лед в половодье.

— Христопродавцы, опомнитесь! – кричала какая-то сердобольная душа, но ее заглушили десятки голосов:

— За божью мать хоронитесь, кровопийцы! Тащи их сюда!

— За ворота – власти!

— Долой думу!

— Давай речь!

— Ура революции!

— Повторить пятый год, товарищи!

Дед Струков стоял на самом высоком месте, на кране под крышей, и ликовал, размахивая шапкой:

— Так их, ребятки! Под корень всех, язви их! Ура пролетарским рабочим и какие есть дружинники!

Лука Матвеич стал на приготовленную табуретку и, напрягая голос до отказа, начал:

— Товарищи! Нас пригласили на молебен. Рядом с нами молились дирекция, полиция, чины...

Но его голос потонул в шуме. Тогда он выхватил из кармана листовку и, потрясая ею над головой, продолжал:

— Это неслыханное издевательство: стоять, молиться рядом с рабочими, а в черной душе своей считать, сколько сотен тысяч рублей будет удержано с рабочих после снижения заработков!

В цехе стало тихо-тихо, будто он опустел, и лишь во дворе завода слышался шум голосов – там шла потасовка дружинников и черной сотни,

которую не пускали в цех. Вдруг тишину нарушил писклывый, старческий голос:

— Значит, они ни бога, ни царя не боятся по-прежнему?

Лука Матвеич крикнул:

— Ни одного голоса за кандидатов в холуйскую думу! Готовьтесь к новому сокрушительному удару по самодержавию!

Иван Гордеич как в колокол ударил:

— Бастовать, православные, а не думать про думу! За смерть баррикадных людей!

Тысячи голосов поддержали его:

— На баррикады! Прочь думу!

— Дайте оружие! Мы сделаем все сначала!

Лука Матвеич ответил:

— Будет оружие! Мы приберегли его! Запомните это!

Ткаченко запел «Варшавянку», ее подхватили дружинники, и она разлилась по всему цеху и загремела тысячами воинственных голосов:

На бой кровавый, святой и правый,
Марш, марш вперед, рабочий народ...

...Молебствие и митинг по случаю начала выборов в Государственную думу и водворения иконы богородицы не состоялись. Состоялся первый после декабрьских событий митинг рабочих Югоринска. Он еще продолжался, и по заводу катилось эхо революционных песен, когда у главной конторы появилось короткое объявление дирекции, в котором сообщалось, что «слухи о снижении заработков ошибочны. Рабочие могут спокойно продолжать работу».

Это было днем. А вечером, на заседании Югоринского комитета РСДРП, Лука Матвеич сказал:

— Меньшевики и прочие маловеры болтают, что у пролетариата России нет сил. Сегодня мы проверили: есть силы у пролетариата, товарищи!..

Глава шестая

Яков выписался из госпиталя, когда весна уже была в разгаре. Побывав у генерала Суховерова, он поблагодарил Войско Донское за щедрое участие в его, скромного делового человека, судьбе, подарил Суховерову выезд и спросил об Оксане.

Генерал знал о скандале в доме сестры, не одобрял ее поступка, но говорить об этом не стал, а, наоборот, насел на Якова:

— Вы, и только вы, повинны во всем, сударь. И в том, что вели себя в экономии, как мальчишка, и в том, что потеряли жену. Так что потрудитесь уладить все сами. Об Оксане могу сказать откровенно: мне она — что дочь родная, и вы согласитесь со мной, что мне не пристало осуждать ее. Кстати, от хороших мужей жены не уходят. А вы — молокосос, извините. Надо было прежде набраться ума, а уж затем жениться.

Яков ничего подобного услышать не ожидал и со злостью думал: «Мы не с превосходительством росли, это конечно. Но я не буду целоваться с теми, кому мое добро поперек горла. И жениться второй раз — не в нашем

роду, генерал. Но вы правы: нечего было мне совать свое рыло в ваш калашный ряд. Надо было подаваться по одной дороге с Левкой и наладить всех вас взашей, ваши превосходительства».

Разговор в особняке Задонсковых был не слаще. Конечно, Ульяна Владимировна была рада тому, что Яков выздоровел, и в другое время она не знала бы, куда его и посадить, но разрыв с дочерью изменил многое. Яков был всего лишь зять, но Оксана, которой она отдала всю свою молодость, была для нее дороже самого дорогого. И вот она потеряла ее только из-за этого самодура и выскочки и черт знает, как его назвать.

Она так и сказала:

— Все я могла бы простить вам, Яков, но такого варварства, такого издевательства над народом я не могу ни простить, ни понять. Я сама вышла из простой казачьей семьи и не представляю, как бы я или покойный ныне брат смог бы пойти на подобное. Это ужас! И позвольте мне сказать вам, сударь: Ксани имела достаточно оснований порвать с вами. Не удивляйтесь таким моим словам. Вы — чудовище!

Яков приуныл. «Чудовище так чудовище, черт с вами. Но мне нужна Оксана, а не ваши благородные выдумки, милостивые государи,— рассуждал он и ожесточился: — Мне нужна Оксана, понимаете? Болтать вы мастера, это я знаю, но вы-то не хуже моего знаете, что дело тут не только во мне. Дело тут в том инженере, который заморочил ей голову и, бог дал, протянул ноги на баррикадах. И вы задарма крутите мне мозги»,— мысленно отчитывал он Ульяну Владимировну, но сказал иначе:

— Виноват кругом я сам. И называйте меня хоть горшком, но в печку, в печку не сажайте, как говорится. Что делать, делать что, скажите, бога ради?! — воскликнул он с отчаянием.— Я без Оксаны не проживу. То есть я-то проживу, но это будет не то, совсем не та жизнь. Эх, и черт надал мне родиться в Кундрючевке!

— Что делать? А это от вас зависит, Яков. Езжайте к Оксане и становитесь на колени. А меня увольте. С меня достаточно того, что из-за вашей милости мы поссорились. Она порвала со мной, если хотите знать. И дайте прежде осмотреть себя, а потом попьем кофе.

Она ощупала его плечо, поправила черную повязку, которая поддерживала его правую руку, и покачала головой осуждающе и сожалеючи, но сказала мягко:

— Дурень. Какой дурень, извините!

И с этим Яков был вполне согласен.

Кофе был горький, как полынь, но Яков пил его из серебряной, расписанной эмалью чашечки и будто не замечал горечи. Наконец он чистосердечно сказал:

— Ваша правда, Ульяна Владимировна. Но, к сожалению, от этого самобичевания мне не станет легче. Я приехал к вам спросить: намерены ли вы принять участие в моих семейных делах и напомнить вашей дочери, а моей жене об элементарных нравственных нормах, освященных церковью, или вы решили все предоставить воле случая и моим не слишком крепким, как оказалось, нервам? Мне не хотелось бы обращаться в духовную консисторию. Скажите просто: да — да, нет — значит, нет.

Сказал и вздохнул. Что-то уж очень большую тираду он произнес. Стоило ли? «Прошлогодние события и тут тряхнули все основы и толкнули

умы влево. Вот что значит ваша революция, Леон, черти бы на ней ездили, прости бог, как батя говорит. О! Идея: надо завернуть в Кундрючевку. Батя разбирается в таких делах немного лучше сих господ, даром что простой казак. Скажет – обращаться в духовную консисторию, значит, быть по сему».

А Ульяна Владимировна все время решала: говорить или не говорить о беременности Оксаны? А если она сделает аборт, как намекала? И решила: не говорить. Но сказала довольно прозрачно:

– Езжайте к ней в Александровск. Никуда она от вас не уйдет и не убежит. Это я вам говорю, мать.

Яков в Александровск решил не заезжать. Ничего разговор с Оксаной не принесет хорошего, а поставит его лишь в унизительное положение. Да и до разговоров ли сейчас, когда добрые люди пашут землю и сеют хлеб? «Хватит. Наговорился в Новочеркасске, как меду напился. Отсеюсь – тогда можно будет начать все сначала», – решил он и прилег отдохнуть. И когда поезд пришел в Александровск, он даже не пошевелился. И когда дали два звонка – лежал. И вдруг он вспомнил: сегодня Оксане двадцать пять лет. Он опрометью вылетел из вагона, ворвался в почтовое отделение, дал телеграмму. И дальше не поехал.

...Оксана все силы отдавала службе в гимназии: вставала рано, ложилась поздно и к концу дня так уставала, что у нее круги ходили перед глазами. Возвратясь домой и пообедав, она обычно брала какую-нибудь книгу и ложилась читать на диван. Но усталость одолевала, и вскоре, свернувшись клубочком, Оксана засыпала коротким сном с книгой в руках. А после готовилась к урокам, проверяла тетради, занималась с неуспевающими гимназистами, с реалистами, и ей некогда было выйти на улицу подышать свежим воздухом.

Так и шла ее жизнь – беспокойная, заполненная хлопотами о том, как бы больше заработать. Но сколько она ни зарабатывала – денег все равно не хватало.

В первое время Оксана была довольна такой суетной жизнью, потому что она не оставляла времени для размышления обо всем, что было вне гимназии, вне забот об уроках. Подавленная расправой властей с рабочими и арестом близких, она отгородилась теперь китайской стеной от всего того, что было за пределами ее квартиры, вне службы, избегала разговоров на политические темы, не бывала в театре, не показывалась в обществе, а с приближением каникул и вовсе сбилась с ног.

И Оксана все чаще стала спрашивать себя: «Когда же кончится эта сумасшедшая служба и когда можно будет хоть поспать хорошенько? Должна ведь я думать о себе, о своей личной жизни? Некогда пойти в театр, побыть час-другой в обществе! Этак, чего доброго, я скоро начну седеть».

Однако в следующие дни Оксана забывала о себе, и все продолжалось по-прежнему. И по-прежнему в начале каждого нового месяца почти все деньги она отсылала родным, а себе оставляла гроши. И вновь горничная несла какую-нибудь вещь в городской ломбард, лишь бы свести концы с концами.

Таким образом Оксана освободилась от нескольких платьев, от огромного персидского ковра, от бриллиантов. И тогда она сказала себе:

«Это – последнее. Больше не могу, не имею права. В конце концов, не могу же я существовать только ради своих родственников, которые никогда не слушали меня, всегда подсмеивались надо мной, противились моей жизни с Яковом, а сейчас жестоко расплачиваются за свою безрассудность?» Но совесть останавливала ее: «Но ты тоже была на баррикадах. Значит, ты осуждаешь этот свой поступок и отрекаешься от всего, с чем была согласна, во имя чего порвала с Яковом, пошла под пули солдат и случайно не оказалась в тюрьме? О, какая же ты эгоистка, если так быстро забыла все это».

Оксана ничего не забыла. Она просто слишком беспокоилась о своей судьбе, а судьба эта спрашивала ее: «Чего тебе-то еще нужно от жизни? За Овсянникова ты не пошла потому, что не любила его, с Рюминым не сблизилась потому, что была замужем, с Яковом не ужилась потому, что он был жесток с людьми и превыше всего ставил «золотого идола». А годы идут и проходят невозвратимо, лучшие твои молодые годы. Да и о чем теперь думать, если ты вот-вот будешь матерью?»

Вначале Оксана ждала Чургина: освободившись, он наверное же поможет ей разобраться в сомнениях и подскажет, что делать. Но Чургин освободился и пропал. Да, откровенно говоря, дело было не в Чургине. Дело было в том, что Оксана не привыкла так жить. И не хотела.

Вот и сейчас, уныло опустив голову и отложив в сторону ученические тетради, от которых у нее уже рябило в глазах, она сидела за столом и тихо плакала. Обидно, до слез было обидно, что жизнь ее сгорает в мелочных житейских хлопотах о хлебе насущном, в бестолковой суете с маменькиными сынками и дочками, в выдуманной борьбе с человеком, которого она еще недавно так любила, с Яковом. А она оставила его едва не на смертном одре и уехала. Кому нужна такая «борьба», такое самоотречение от своего счастья, если счастьем называется любовь? И Оксана сказала:

– Больше я так не могу. Не умею, не привыкла, не обязана так жить. Ах, Яков, Яков, что ты сделал со мной!..

И в этот час к ней приехал Яков. Одетый в черное, с черными усиками и как бы помолодевший, он явился перед ней, как искуситель, и смотрел на нее немигающими, задумчивыми глазами. И только черная повязка, которая держала его правую руку, да бледность лица выдавали недуг. Больной ведь он, и нелегко у него на душе, а нет, не хочет быть немощным и вот стоит, как молодой дуб – вызывающе, несокрушимо, и кажется, что нет и не может быть силы, перед которой он упал бы на колени. Так думала Оксана.

Яков был занят другим. В один миг он заметил и нужду Оксаны, и напряженную ее работу, и отсутствие перстня с бриллиантом на ее руке, и даже лопнувшую фарфоровую чашечку, стоявшую на столе с недопитым кофе, – остаток от китайского сервиза, купленного им, Яковом, перед свадьбой. Но прежде всего он увидел на безымянном пальце Оксаны свое обручальное золотое кольцо и торжествующе подумал: «Носит. Значит... Значит, не все так безнадежно. Вперед, Яков!»

А Оксана смотрела на него широко раскрытыми глазами. «Такое ранение, такая операция – а он все тот же. Какая у него сила?» – удивлялась она, или завидовала, или осуждала – не понять было.

Яков поцеловал ей руку, на которой было обручальное кольцо, и с легким укором проговорил неровным голосом:

– Я думал, что ты... останешься... Ждал тебя каждый день. Но ты уехала. Жестокая ты, Оксана. – Он отвернулся, поднес к глазам платочек и продолжал: – Бог с тобой. Тебе сегодня двадцать пять лет, и я не хочу корить тебя. Я приехал навестить тебя... Разреши присесть – у меня еще не так много сил.

Оксана бросила взгляд на календарь. Да, сегодня ей исполнилось двадцать пять лет. Но она не хотела думать о себе. Она смотрела на Якова, на его белое лицо, белые руки, торчавший из кармана платочек, на повлажневшие глаза и не знала, верить ли его слезам. Это было невероятно. И Оксана хотела броситься к нему в объятия и сказать: «Милый, сейчас ты такой человечный. Если бы ты остался таким навсегда». Но она стояла опустив голову, молчала и боялась произнести слово, после которого... Она и сама не знала, что было бы после этого слова.

Яков сел на диван, взял лежавший тут же томик Байрона и, перелистав несколько страниц, вслух прочел:

Беда, коль девушки ученые в мужья
Себе берут мужчин, лишенных воспитанья,
И если я блестящ бываю в чем-нибудь,
То лишь в умении улаживать раздоры...

Он вздохнул и с сожалением произнес:

– Последнее мне не присуще. Я – мастер устраивать раздоры. А жизнь идет. Кажется: недавно ты приезжала в хутор ученой девушкой, а я был молодым, лишенным воспитания, парнем. И вот – мы уже взрослые люди, в летах, как говорится. А там начнем стареть, да так, незаметно, и поседеем.

Он говорил грустным, уставшим голосом, и было в его словах столько боли и раскаяния, что Оксана села возле него, пощупала плечо, руку его и возмущенно сказала:

– Людей давить конем! С ума сошел. Никогда не предполагала, что ты способен на такое зверство. Ведь ты был совсем другим, когда я увидела тебя в Кундрючевке.

Яков отложил книгу в сторону, достал портсигар и не сразу ответил:

– Сошел, Оксана. Они-то и жгли всего лишь несчастную овчарню, которой цена – три целковых в базарный день.

Он открыл портсигар, достал папиросу и попросил зажечь спичку.

– Рука еще плохо действует, извини, пожалуйста.

Оксана зажгла спичку, дала ему прикурить, а сама тревожилась все более: зачем она приняла его? ради чего слушает его?

В это время почтальон принес телеграмму. Оксана прочитала и с грустью сказала:

– Первый раз в жизни я забыла о своем дне рождения. Мама, дядя, ты – все помнят об этом, а я... Боже, что за жизнь стала сумасшедшая!

Горничная внесла огромный букет сирени. Когда она вышла, Яков сказал:

– Да, двадцать пять лет... моей жене... А я, как галантерейный кавалер, вынужден приносить эту кавказскую сирень на чужую квартиру... Эх, дела!

Оксана поставила цветы на круглый столик, сухо произнесла:

— Ты с равным успехом можешь дарить цветы и пороть крестьян, вздыхать и давить людей. Зверь ты, Яков, а не человек.

Яков повинился:

— Зверь я или нет — поздно теперь говорить об этом, Оксана. Я — твой муж. И сирень тут ни при чем.

— Ты — крепостник! И крестьяне хорошо сделали, что проучили тебя! — негодующе воскликнула Оксана. — Уходи! Я не хочу тебя видеть.

Яков боялся обмолвиться лишним словом. Вот он и услышал слова, которых так боялся. И он встал.

Оксана отошла к окну и ожидала, когда он уйдет.

Так они и стояли, как чужие, и обоим казалось, что ближе друг другу они никогда не были. И каждый думал: что свело их несколько лет тому назад? Чужие люди, чужие друг другу души, почти враги — и вдруг они стали мужем и женой.

Яков хорошо знал, что именно сблизило его, связало с ней и вновь привело сюда и будет приводить вечно.

Оксана была уверена: она стала просто игрушкой случая, а на самом деле всегда тяготилась им и будет тяготиться вечно. Сейчас он — человек, завтра будет дьяволом. Но внутренний голос говорил ей: «Но он — твой муж и отец твоего ребенка и будет приезжать к тебе всегда, а ты будешь принимать его всегда. Сколько это может продолжаться? Всю жизнь».

Яков вел с ней разговор вслух:

— Ты бросила меня в самую тяжкую пору. Ты обманула меня своими слезами в госпитале. Ты ведешь себя сейчас как мой враг или что-то в этом роде. За что, Оксана? За что, я спрашиваю?

Наконец Оксана, сдерживаясь, внятно повторила:

— Яков, я не вижу смысла в продолжении нашего разговора. Уходи, прошу тебя. И больше никогда не приходи.

Яков пропустил это мимо ушей и как ни в чем не бывало сказал:

— Поговорим спокойно, Ксани. Я еду за границу, на воды, и пришел к тебе не с угрозами, не с требованием, не с жаркими словами, наконец, не как муж к жене. Я пришел поздравить тебя с днем рождения и спросить: что ты намерена делать со мной? После того, как ты так внезапно уехала из Новочеркасска, я понял: да, ты ненавидишь во мне решительно все — характер, мысли, грубую душу, дела. И однако же, — развел он руками и немного помолчал, — я стремился к тебе и готов идти на унижение, на бесстыдство, на вероломство, лишь бы ты осталась со мной. И никогда это не кончится. Заставить тебя вернуться ко мне я не в силах. Жить без тебя не могу.

Оксана посмотрела в его бледное, вспотевшее лицо и сказала:

— Ты очень долго думаешь. Я могу подсказать тебе, что говорить дальше: «И вот я пришел к тебе, как к человеку: посоветуй мне, что делать...»

Яков достал золотые часы, посмотрел на циферблат и щелкнул крышкой.

— В таком случае мне больше нечего говорить. Через час я буду, — он спрятал часы, — в поезде. Отвечай, что мне делать с собой, с тобой.

— Влюбись в помещицу Френину и женись. Разумеется, предварительно разведясь со мной. Я не буду возражать, если это будет сделано в самое ближайшее время.

— Та-ак,— задумчиво произнес Яков и вдруг заорал:— Не могу! Не хочу! Понимаешь ты русский язык? А Френина мне и без твоего совета осточертела, сама кидается на шею...

Оксана улыбнулась. Игра кончилась, Яков стал Яковом. И она полушутя-полусерьезно сказала:

— Тогда ты конченый человек. А быть может, и разоришься.

Яков рассмеялся. Это он-то разорится из-за женщины! Она совсем перестала соображать, эта Оксана. Но ответил сдержанно:

— Ты можешь отгадывать мои мысли, но здесь ты печально ошибаешься, дорогая. Я никогда из-за баб, прости, не разорюсь. В делах — да, тут меня могут сожрать акулы более крупные, чем я. Но и в этом случае я легко не дамся.

Он прошелся по комнате, наклонив голову и заложив здоровую руку назад, и уже мрачно спросил:

— Значит, все остается по-прежнему?

— Да.

— А зачем ты плакала возле меня в госпитале?

— Яков, я не могу больше продолжать этого бесполезного разговора. Извини, но мне надо еще и зарабатывать деньги. Уходи, еще раз прошу тебя. И больше не приходи.

Яков готов был схватить ее и задушить — такая ярость охватила все его существо. На части разорвать! На куски, чтобы никому не досталась, раз не досталась ему! Но он поборол в себе приступ ярости и сказал на самой низкой ноте:

— Дорогая моя жена, я не отстану от тебя даже тогда, когда ты будешь просить меня об этом из гроба. Клянусь тебе: я буду верен себе до последнего своего вздоха... Оставайся и будь здорова, друг мой,— поклонился он и пошел к двери.

В это время Оксана почувствовала себя плохо. В глазах у нее потемнело, ее бросило в пот, голова закружилась, и она беспомощно опустилась на диван и прилегла.

— Что я делаю? Что я делаю, безумная? — шептала она.

Яков хотел вернуться, чтобы еще раз глянуть на нее и хоть искорку надежды увидеть в ее злых глазах, но не вернулся и вышел на улицу, вздохнул горько:

— А я-то летел к ней орлом-соколом!

Позвав извозчика, он подумал немного, что делать, и поехал к Чургиным.

«Варвара — она душевная. Она может подсобить»,— цеплялся он за последнюю надежду.

День клонился к вечеру. Солнце уже скатилось к горизонту и запалило все небо золотисто-оранжевыми сполохами.

На улице было душно, в воздухе стояла дымка не то от пыли, не то от летних печей. Яков почувствовал приторно-сладкий запах и удивленно поднял голову.

То цвели акации. Много их было здесь, на главной улице, стоявших рядами вдоль тротуаров. Высокие и развесистые, они так густо были

увешаны неожиданно ранними гроздьями цветов, что из-за них не видно было листьев. Мальчишки сбивали гроздья палками, сидя на колючих ветках, и бросали бело-розовые пучочки девчонкам, а те, подставив подолы платьиц, ловили их и тут же с удовольствием съедали.

Тротуары, бульвары, мостовые будто кто снегом усыпал.

Яков вспомнил: когда-то он с Леоном и Федором лазил в хуторе на такие акации и рвал цветы, а когда спускался на землю, великодушно угощал девчонок.

И Яков невесело сказал себе: «Тогда мне было десять лет и единственным состоянием моим были цветки акации. Но зато на душе было спокойно. Теперь мне — тридцать лет, состояние — в сотни тысяч, а на душе — тревога и одиночество. Как волк, рыскаю по белу свету, растрачиваю молодые силы, хлопочу, домогаюсь, разоряю себе подобных. А ради какого дьявола? Ради денег. Деньги, деньги и ничего больше не было на уме у меня с тех пор, как я перестал ломать акации. Теперь во всех банках есть мои деньги, а душа — пустая, как барабан. Значит, мой «золотой конек» — это дохлая кляча. На ней сломали головы тысячи. Теперь настанет мой черед. Дурацкая жизнь, дурацкие идеалы. Вот оно какое дело».

Он с завистью посмотрел на детей, облепивших акации и кричавших как галчата, и ему впервые стало жалко минувшей своей молодости. И еще ему стало завидно: у других есть семьи, есть эти галчата, а у него нет ни того, ни другого и будет ли — неизвестно. Но не любил Яков предаваться грустным мыслям и тотчас подбодрил себя: «Ничего, молодой Загорулька. Не вся жизнь прожита, не все ты получил от нее. Вперед — и никаких гвоздей».

Возле гастрономического магазина он велел извозчику остановиться и пошел купить что-нибудь для детей Чургина.

Варя только что закончила стирку белья и готовила ужин. Черная от усталости, с запавшими глазницами и белыми, точно вываренными в кипятке, тонкими руками, она стояла возле летней печурки во дворе, словно девчонка — тонкая, худая, и крошила картошку. В печурке сидел чугунок, в нем кипела и брызгалась похлебка-кондер, но Варя не слышала шипения брызг и думала свою думу: мужу не дали должности, и он куда-то уехал, оставив ей с детьми четвертной билет. Когда он устроится на место? А если, не дай бог, его где-нибудь опять арестуют?

Мысли ее нарушил тихий скрип калитки. Варя обернулась и устало произнесла:

— А-а, помещик непутевый. Выжил?

Яков неторопливо подошел к ней, положил кульки на скамью под акацией, снял шляпу и отер лоб платочком.

— Выжил, Варюша. А вот ты не того, не шибко толстеешь... Ну, здравствуй, станишница. Где детишки? Гостинцев накупил.

— Здравствуй. На акации где-нибудь сидят. Рано цветут что-то нонешний год. Садись, рассказывай. Ты из Черкасска?

— Оттуда... Да-а, я тоже когда-то сидел на акациях. Помнишь, как вас, девчонок, угощал цветками? Славное времечко было!

— У Оксаны был?

— Выгнала она меня,— простодушно ответил Яков и повесил шляпу на сук дерева.— Илья Гаврилович вышел?

— Выгнала? И ты стерпел? Смирный ты стал после картечи в плечо.

— Станешь смирным, девка, как любишь,— невесело произнес Яков и достал портсигар, но тотчас же спрятал его: «На ней — одна кожа, а я в золотом портсигаре папиросы ношу. Срам»,— сказал себе мысленно.

Варя вытерла руки о фартук, снесла кульки в домик, а когда вышла, спросила не то серьезно, не то насмешливо:

— Так любишь? Несчастный. Миллионщиком стал, а все вздыхаешь.

— Где Илья Гаврилович? Я шахту буду открывать, хочу предложить ему должность управляющего.

Варя усмехнулась, села на краешек скамьи, стала приводить в порядок косу.

— Это тебя бунтом мужики настращали. Пройдет — и калачом в шахту не заманишь.

— Я — парень не гордый. Правда, я понимаю в шахтерском деле не больше, чем баран в святом писании, но Илья Гаврилович поможет. Как думаешь, согласится? Он ведь недолюбливает меня, Оксану поддерживает. Но мы целоваться не будем: я ему — двести целковых в месяц, а он мне — уголь.

— Илья к тебе не пойдет,— будто холодной водой окатила его Варя.— Тебе нужна Оксана? Илью на эту удочку ты не поймаешь, парень.

— Гм. Ты, как в воду смотришь, все видишь. Догадливая, идол. Но на тебе кости да кожа остались — об этом ты думаешь? И еще детишки...

— Не помрем. Придет время — потолстею,— спокойно возразила Варя и предложила: — Пойдем, накормлю супом. Будущему хозяину рудника надо привыкать к шахтерской похлебке.

Яков улыбнулся. Удивительные люди!.. Нужда гнет их в три погибели, а они и в ус не дуют. И он искренне сказал:

— Молодец, Варюха, люблю вашу породу. За то, что перед судьбой шапки не скидаете. А вот Аленка наша, кажется, совсем согнулась, да и меня тряхнуло. Не мне жаловаться на судьбу, а нет у меня ни друзей, ни радостей. Как бирюк живу, один кругом.

Варя не слушала его и продолжала:

— Сотню белья перестирала за день, а во рту погостевали кусочек хлеба и тарань с луком. Так что пойдем в дом, чайком угощу. Нашим кондером тебя потчевать неловко.

— Не царская персона, похлебаю за милую душу. Пахнет хорошо — хутором отдает.

Сгущались сумерки. Скрывались в темноте постройки, ярче вспыхивали в печке дрова, на миг освещая землю вишнево-красным светом. И тогда из тьмы к печке ближе подступала развесистая старая акация, будто в чугунок заглядывала или хотела подкрасить заревом гроздья цветов. А когда они действительно порозовели, так нарядно и заманчиво, что их хотелось схватить рукой, старая акация отступила в тень и зашептала, зашелестела тихо и счастливо.

Якову не было смысла вести дальнейший разговор. Глянув на Варю, стоявшую возле печки, на ее розовую блузку, темную, пахнувшую мылом юбку и розовые от света ноги, он достал из бумажника пятьдесят рублей и сказал:

— Я поеду, Варюша. Не до супа мне. Вот, возьми на расходы, а то скоро упадешь от худобы.

— Спасибо, как-нибудь обойдусь. Илья должон скоро получить место.

— Я не милостыню подаю, а детишкам на молоко и франзольки. Не последние, не беспокойся, — положил он деньги под пустую кастрюлю на лавке. — Оксане можешь ничего не говорить, бог с ней. Я сам скажу. Всегда буду говорить. Не может же наша канитель тянуться вечно?

Он снял с ветки шляпу и задержался, обдумывая, что бы еще сказать душевное. Лицо его озарял огонь. Красное и мрачное, с изогнутым кончиком носа, как у беркута, оно было и красивое и злое. Он посмотрел на Варю своими острыми глазами и сказал по-свойски:

— Кланяйся Илье Гавриловичу и передай ему мои слова о шахте. А моей жене скажи следующее: я пускаю на ее имя сто тысяч рублей в торговый оборот. Через год она будет иметь двести тысяч, через два — четыреста и станет капиталисткой.

Варя рассмеялась, пощупала его лоб и заключила:

— Холодный. Я думала, что ты рехнулся.

— Гм. Кажется, рехнулся, — согласился Яков. — Таких процентов деловой мир еще не знал.

Варя вздохнула и с каким-то неясным сожалением произнесла:

— Ничего теперь делать не надо, Яков. Оксана — в положении.

Яков схватил ее за плечи и торжествующе воскликнул:

— Так что же ты молчала, идолова станишница моя дорогая? Эх! — поцеловал он ее в обе щеки и, забыв о том, что болит рука, побежал со двора, но тотчас вернулся, сунул левую руку в карман, нашел там несколько золотых пятерок и, бросив их на столик возле печки, растворился во тьме.

— В город! Аллюром! — слышался его голос на улице.

К Оксане он ворвался, словно ветер, и остановился на пороге.

Оксана сидела за столом, склонив голову на тетради.

Скорее почувствовав его, чем увидев, она подняла голову, посмотрела на него заплаканными глазами. Тихо и, как показалось Якову, торжественно-медленно она произнесла:

— Яков, я скоро... Ты скоро будешь отцом...

Яков повалился перед ней на колени и стал целовать, целовать ее влажные от слез руки, платье, вновь руки, опять платье и приговаривал:

— Оксана, кровинушка моя, солнце мое...

В Кундрючевку он прилетел как на крыльях.

Нефед Миронович был на мельнице, устанавливал новые вальцы для тонкого помола. Увидев Якова, он облегченно вздохнул: «Слава богу, выцарапался, считай, из могилы. Живуч, весь в отца» — и пошел навстречу неторопливой, тяжелой походкой.

— Ну, здорово дневали, сынок. Одолел, значится, хворь. Молодец. Наша порода живуча, бог дал, и свинцом не сшибешь с жизни.

— Здорово дневали, батя. Спасибо на добром слове. Порода наша меня и вызволила с того света.

Яков осмотрел мельницу, одобрил хозяйственные планы отца и сказал то ли одобрительно, то ли завистливо:

— Хорошо у вас идет все, батя, прямой дорогой: ширятся посевы, раздается мельница, магазин...

Нефед Миронович удивился:

— А тебе кто мешает, сынок? Ширься и ты во все края привольные. Степей кругом — глаз не окинет, а сметки и прочего нам не занимать, сами могём добрым людям подсоветовать.

— Шабашить я надумал со степным своим делом, — неожиданно объявил Яков. — Возвернусь из-за границы — продам экономию и заложу шахту. Мастеровые если и бунтуют, то на крайний случай хоть имущество не калечат и до головы не добираются. А мужик чуть что — сразу за топор хватается. Еще раз подымутся — башку снесут.

Нефед Миронович задумался, сказал не сразу:

— Твоя правда, сынок, про мужиков. А все-таки жалко пускать на распыл добро такое. Сколько трудов положил — и кидать кобыле под хвост. Шахта, она, может, и поспокойней, а только на земле мы видим все на сто верст и понимаем, что к чему. И на бунтовщиков у нас есть управа: казаки.

— Э-э, батя, близко вы смотрите. Не те теперь времена... Впрочем, не будем про это толковать: дело решенное. Свата Илью хочу приспособить к этому делу. Как думаете?

— Не бери, — твердо возразил Нефед Миронович, — умен больно. Как бы тебе не пришлось быть у него на службе... Он вышел из тюрьмы?

— Вышел, уехал должность искать, Варвара говорила. А что умен, так мне такой и нужен. Да, — как бы вспомнил Яков, — свата Игната надо возвернуть в хутор. Генерал Суховеров лютует на вас с Калиной за самоуправство.

Теперь Нефед Миронович понял, почему пришла бумага от окружного атамана с предписанием: сообщить, кем, за что и куда выселен Игнат Сысоич Дорохов. Глухо он спросил:

— Это Аксютка нашептала тому генералу чи ты сам записался в сватовы аблокаты? Забыл, как отца палили?

— Верните Дороховых, батя, — твердо повторил Яков, — не то худо вам с Калиной будет. Не такое теперь время. Политикой след заниматься.

— Под три чёрты мне времена разные и политика. Сват было не заколол, жена твоя отторглась от тебя. Какие это времена? Срамота это. Оно правда, я не дюже печалюсь, а все ж таки обидно за тебя. Сын ты мне, а не пришей собаке хвост, извиняй за деревенское слово.

Яков улыбался. Вот теперь-то он огорошит отца своей новостью.

— Так, — произнес он как бы серьезно. — Значит, не нравится вам Оксана?

— Плетюганов надо твоей Оксане, как по закону.

— Да. А она скоро дитя мне принесет, а вам — внука. Как тогда доведется понимать ваши слова, батя? — насмешливо допрашивал Яков.

Нефед Миронович скосил на него злые глаза и недовольно ответил:

— Брось дурочку валять, сынок. Не до этого нам с тобой. И осталось теперь Оксане носить детей. Допрежь след было про это думать.

Яков обнял его, похлопал по могучей спине и серьезно подтвердил:

— Не обижайтесь, батя. Правду сказываю: скоро вы будете дедом. Я только что от нее, специально завернул порадовать вас. Наследник дел Загорулькиных нам с вами вот как нужен! — провел Яков рукой по горлу.

И подобрел Нефед Миронович, посветлел и в уме отметил: «Слава тебе, господи. Теперь она никуда не денется, Аксюта та непутевая», а вслух сказал:

— Внук, оно, конешное дело, к месту — наследник, значит. А сама она как? К тебе возвернется чи так жалмеркой непутевой останется и будет хвостом вилять перед чужими мужиками?

Яков рассмеялся, весело ответил:

— Батя, моя жена — помещица, а не жалмерка. Будет сын — будем жить-поживать да добра наживать.

Нефед Миронович даже помолодел от таких слов и заторопился домой. Ухарски распахнув калитку во двор, он еще от ворот крикнул:

— Дарья! Мамаша, где вы там? Живо — сюда! — и пошел в дом.

Войдя в переднюю, он перекрестился на образа во весь замах и с великим облегчением произнес:

— Благодарю тя, господи. Хоть у одного дитя нашего ладится семейное дело. А как бы еще и Аленка...

В комнату испуганно вошла Дарья Ивановна и не успела рта открыть, как Нефед Миронович торжественно объявил:

— Ну, мать, готовься в бабушки. Оксана вознамерена внучка принести нам с тобой, господь посылает на радость.

Он сказал это с такой гордостью и так важно, как не говорил с тех пор, когда родились Яков, а потом Алена, и Дарья Ивановна заплакала и уж потом бросилась обнимать и сына, и старого.

Древняя бабка Загорульчиха вошла в дом неторопливо и остановилась у порога, стараясь понять: была драка или будет. Но Нефед Миронович не дал ей спросить и сказал тем же тоном:

— Ну, мамаша, внучек ваш хорошее волнение семейное доставил самолично: наследство у них с Аксютой скоро объявится. Так что вы будете прабабушкой, бог того желает.

Бабка перекрестилась и сухими губами прошамкала:

— Ну, теперя некуда, стало быть, подаваться поганке той, Аксютке,— и пристукнула костылем об пол.

— Бабушка, она — моя законная супруга, а не поганка,— с улыбкой заметил Яков, но бабка оборвала его:

— Знамо дело, поганка, коль отчихнулась от тебя. И Аленка поганка — кинула законного мужа. Тьфу на вас, бесстыжих...

Все промолчали. Напоминание об Алене было некстати. Чтобы как-то смягчить слова бабки, Яков сказал:

— Алена не повинна, бабуся. Мы сбивали ее с толку... Ну ничего, поправятся дела у Леона — я улажу все сам.

На следующий день Нефед Миронович пошел к атаману и строго сказал ему:

— Кум, промашку мы сделали с тобой, видит бог. Дороховых надо возвернуть в хутор, пока беда не вышла. Генерал Суховеров дюже в лютости на нас. А он — крутой, черт, могёт по загривку пройтись случаем.

Калина сидел в своем маленьком кабинете. Отвалясь к спинке стула, он, ехидно покручивая рыжие усы, язвительно спросил:

— А третьего дня ты какие наказы мне подсовывал? «Утаить бумагу из Черкасска». Чтобы меня помели метлой, а которые, тем часом, в ата-

манья пролезли бы? О, наживу я с тобой беды, кум, видит бог... Но... так и быть. Ставь четверть.

— Ставлю. Могём и бочку выставить за-ради наследника.

— Наследника? Свят-свят... Так Яков же с Аксюткой не того... Чи Аленка подарок от Левки принесет?

Нефед Миронович заерзал на табурете, будто на горячее пересел. От каторжника ему прочат наследника! Этого еще недоставало Загорулькиным! Но так говорить было обидно и неловко для Алены, дочери... И он рассказал о приезде Якова.

...В тот же день Дороховым в Югоринск пошла бумага от Калины. В ней предписывалось Игнату Сысоичу возвратиться в Кундрючевку, «как она есть родимое место»...

...Яков счел свою миссию законченной и уехал. В поезде он снял черную повязку, сделал несколько движений правой рукой: рука действовала хорошо. И он с удовлетворением заключил: «А пожалуй, хромой лорд прав: я таки умею улаживать раздоры — батю помирил со сватами, сватов тем самым — с собой, с Оксаной же — мир не за горами. Благодарю вас, лорд Байрон. Никогда не мечтал, что ваша лирика может сотворить такое доброе дело».

За окном вагона была весна. В ясном небе треугольником летели куда-то медленные журавли. Яков смотрел на них и причмокивал языком.

— Припозднились. И я припозднился. Умнеть... А красиво летят! — сказал он мечтательно.

Глава седьмая

В Стокгольм Чургин прибыл через Финляндию на небольшом шведском боте.

Одетый в форму инженера, в белоснежном воротничке с отвернутыми накрахмаленными уголками и в такой же сорочке с манжетами, подтянутый и посвежевший, он высадился на шведский берег молодец молодцом, и на выбритом худощавом лице его не было и следа недавно курчавившейся тюремной бороды, а чернели небольшие усы да выделялся орлиный нос.

Это был не штейгер и не шахтер Чургин. Это был русский горный инженер Гаврилов, приехавший в Швецию по делам к поставщикам электрических машин и телефонов,— гордый, недоступный и холодный как лед человек, которого не могло согреть никакое весеннее солнце. Он шел надменно-медленно, ни на кого и ни на что не обращая никакого внимания и ничем не интересуясь, будто видел на своем веку по меньшей мере полмира. И казалось: встань на его пути дом — он, не задумываясь, грудью спихнет его и пойдет дальше как ни в чем не бывало.

А на самом деле это был Чургин. И видел он решительно все, что было перед ним, простым русским шахтером, и интересовался всем, чем мог интересоваться человек, впервые попавший в чужую страну,— даже гранитом, из которого была выложена мостовая, даже вывесками магазинов и кафе, даже кожей, из которой стокгольмцы делали свои тяжелые, будто на всю жизнь изготовленные, ботинки. И на душе у него было празднич-

но, и глаза его светились, и весь он был переполнен теплотой и новыми, неизведанными чувствами и готов был обнимать каждого встречного.

Стокгольм дымился в легком тумане — большой и темный, возведенный на гранитных скалах, украшенный гранитными набережными и зданиями всех эпох и стилей, окаймленный рощами-парками и изрезанный живописными внутренними заливами, где плавали лебеди и утки.

Чургин смотрел вокруг и думал: огромной, вековой энергии и сил стоило стокгольмцам возвести на этом тяжком каменном ложе свой красавец город, много потребовалось изобретательности и фантазии от его зодчих, чтобы сообщить жизнь этой железной земле, которую забыла украсить природа, прорыть тоннели, высечь в скалах пути для транспорта, перебросить виадуки для пешеходов, дорожки для велосипедистов, которых здесь была тьма-тьмущая.

И Чургин с восхищением подумал: «Трудовой народ...»

Неожиданно его кто-то легонько тронул за руку. Он обернулся — и готов был обнять остановившего его человека в легком черном пальто, с черным котелком на крупной голове, с толстой тростью, повешенной на левую руку, но слегка улыбнулся и молча ответил на рукопожатие.

То был Лука Матвеич. «Умница. Ни одного лишнего жеста», — не преминул отметить Лука Матвеич и лишь в гостинице затискал его в объятиях и заключил:

— Пять с плюсом. Отличный конспиратор. Мы так хотели, чтобы ты приехал, что немножко ускорили твое освобождение. К сожалению, повидаться не пришлось. Я то проводил конференции...

— Спасибо, дорогой мой друг...

Лука Матвеич осмотрел его фальшивый паспорт и начал наставлять, как нужно вести себя, с кем и как в случае необходимости разговаривать, как ходить, ездить, заказывать обед в ресторане, и много другого наговорил, так что Чургин еле успевал запоминать. Наконец он прервал его и спросил:

— Ты молчишь о самом главном. Он... здесь?

Лука Матвеич пожал плечами и не сразу ответил:

— Не ведаю, парень. Увидишь, если здесь.

Завтракали они в небольшом кафе, на одной из тихих улочек шведской столицы. В кафе играли на скрипке, а какой-то высокий молодец с большими баками, но без усов, похожий на рыбака, мурлыкал песенку, и ему негромко подпевали приятели.

— Сдержанный народ, — заметил Чургин. — Жаль, что нельзя понять, о чем поют.

— Ничего, чаще будешь ездить — поймешь, — рассеянно ответил Лука Матвеич и, посмотрев на карманные часы, бросил настороженный взгляд на входную дверь.

Вскоре вошел невысокий человек в темном пальто с бархатным воротничком и в котелке и направился к свободному столику. Быстро сняв пальто, он положил его на спинку стула, поверх водрузил шляпу. Проведя рукой по лысой голове, он взял карточку-меню и погрузился в чтение. Но читал недолго, несколько раз наклонялся над карточкой, будто там было неразборчиво написано, и поднял голову, ища взглядом официанта.

Чургин посмотрел на него, перевел взгляд на Луку Матвеича, как бы спрашивая: «Не он ли?», но Лука Матвеич сделал вид, что ничего особенного не замечает, и попивал пиво из высокой, тяжелой кружки.

Чургин чувствовал: хитрит что-то старый, но спрашивать было нельзя. И вдруг его осенила мысль: Ленин! В нескольких шагах от него сидит Ленин! У Чургина глаза засверкали от охватившего его волнения, и он нетерпеливо заерзал на стуле.

— Ленин же это! — прошептал он восторженно, но Лука Матвеич и глазом не моргнул и не спеша пил пиво, так пил, что в кружке почти ничего не отбавлялось или Чургину казалось, что не отбавлялось, будто кто невидимо наполнял ее ежесекундно, пил и посматривал по сторонам из-под густых бровей да приглаживал усы.

От столика, где сидел Ленин, послышалась немецкая речь, потом русская:

— Студень — понимаете? Этакое... — Ленин пощелкал пальцами. — Из говядины, желе, желе... — И он живо сказал несколько слов по-французски.

Чургин немного знал немецкий язык, но ничего не мог понять, кроме того, что речь идет о «студне», и подумал: «Нет, это не он. Не может такой человек интересоваться каким-то студнем, обыкновенным нашим холодцом».

И тогда Лука Матвеич сказал:

— Ну, брат, смотри и запоминай...

Какая-то сила подбросила Чургина со стула-табурета, и он встал во весь рост, едва не касаясь потолка, но вовремя спохватился, сел и все смотрел, смотрел на Ленина. Смотрел и усердно пил злосчастное пиво, которое он сейчас выплеснул бы с великим удовольствием. «Два шага, два моих шага до него! — думал он, и у него от волнения испарина проступила на лбу. Он вытер его платком и точно окаменел, позабыв обо всем на свете, и думал только об одном: — От него, от этого имени, зависит судьба партии, революции, судьба России. Ленин... А я смог увидеть его лишь за тридевять земель от родины... Варварство!»

Ленин быстро позавтракал, подозвал официанта, поблагодарил и положил деньги на стол. Проходя мимо Луки Матвеича, он задержался и, как бы вспомнив, спросил:

— Извините, господа: который час? — Потом достал свои карманные часы, послушал их и виновато добавил: — Простите, идут, — а тихо сказал: — Товарищи, вечером непременно ко мне... Честь имею, — поклонился он и торопливо пошел к выходу.

Лука Матвеич оставил на столе деньги и тронул Чургина за руку:

— Ну и мы засиделись. Дремлется даже что-то. Должно, после пивка.

Чургин улыбнулся. «Ему дремлется! Ах, старый!» — мысленно восторгался он сдержанностью своего учителя.

Они вышли на улицу. Впереди шагал размашисто и деловито и слегка размахивал одной рукой Ленин, а в другой держал газеты, купленные только что.

Чургин прибавил шагу, боясь отстать от Ленина, но Лука Матвеич дернул его за руку и остановил:

— Не торопись, не на пожар идем.

И они пошли спокойно на некотором расстоянии от Ленина, настороженно посматривая по сторонам.

До вечера Лука Матвеич показал Чургину едва ли не все достопримечательности шведской столицы, но, по совести говоря, Чургин мало что запомнил и то и дело нетерпеливо доставал часы и недовольно ворчал:

— Экий длинный день здесь!

Вечером они пошли к Ленину, жившему у рабочего одной из фабрик Стокгольма, и возле квартиры встретились с Надеждой Константиновной.

— Вот неожиданный сюрприз! — обрадованно воскликнула Надежда Константиновна и спросила: — А это кто с вами, товарищ Лукьян?

Лука Матвеич представил Чургина.

...Ленин был дома... В жилете и в сорочке с расстегнутым воротничком, он сидел в уголке старого кожаного дивана, набросив ногу на ногу, и, положив на колено общую тетрадь, что-то писал. Надежда Константиновна вошла первой.

— Хозяин, принимай гостей, — весело сказала она.

— Надя? — радостно спросил Ленин и заторопился навстречу ей. — Я ждал тебя утром, даже на пристань ходил. Да тут целая делегация, оказывается! Ну-с, добрый вечер, товарищи. А тебя с приездом, Надюша, — пожимал он руки всем и помог Надежде Константиновне снять короткую шубейку.

Чургин уже держал в руках свою форменную фуражку и хотел повесить ее, но Ленин взял ее сам.

— Дайте-ка сюда, товарищ... Чургин, поди? Таким именно я вас и представлял. Освободились? Молодец, нашему брату там засиживаться некогда, — говорил он, затем повесил фуражку на деревянную вешалку и хотел то же сделать с пальто, да Чургин сам повесил его.

— Спасибо, Владимир Ильич. И за хлопоты спасибо. Инженер Рюмин оказался быстрым. Ваш доверенный.

— Гм, гм... Чайку хотите, господа? Надя, ты, кажется, продрогла. Я сейчас... Хозяюшка! — позвал было Ленин хозяйку, но Надежда Константиновна остановила его:

— Это наше дело, женское. Кстати, мы и познакомимся. А ты займись гостями.

— Да, да. Благодарю. Я приглашал товарищей именно для того, чтобы побеседовать.

Чургин косил глаза по сторонам, рассматривая комнату и ее старинную, потемневшую от времени обстановку. «Неудобно получилось: пришли одновременно с Надеждой Константиновной. Надо бы оставить их одних», — подумал он.

— Нуте-с, давайте познакомимся ближе, товарищ Чургин, — подал руку Ленин и, слегка наклонив голову и рассматривая его с ног до головы, восхищенно заметил: — Илья Муромец настоящий. Как, Лука Матвеич? — подмигнул он с лукавинкой.

— А он и есть Илья.

— А по батюшке? И по кличке? Здесь только по кличкам надо называть друг друга. На всякий случай.

— Гаврилович, — ответил Чургин. — А приехал под фамилией Гаврилова, инженера.

— Очень хорошо и очень похвально.

— О нем не беспокойтесь, Владимир Ильич. Это отличный конспиратор. В тюрьму посадили, а все равно вывернулся.

— Вот это замечательно. К сожалению, из-за неумения конспирироваться, из-за ребяческого бравирования опасностью мы теряем уйму замечательных, превосходных людей. Я бы принял специальное решение ЦК и запретил самым строжайшим образом, под страхом исключения из партии, всякое пренебрежение конспирацией, всякое, даже малейшее, позирование перед реакцией... Прошу, товарищи, вот сюда — и будьте как дома,— указал Ленин на диван и поставил возле него стул.

Лука Матвеич сел на диван, достал трубку, а Чургин подождал, пока сел Ленин, и осторожно примостился на краешке стула, точно боялся, чтобы он не развалился, а на всякий случай надежней уперся своими тяжелыми ногами в простой деревянный пол из пластин.

Ленин улыбнулся, заметил:

— Ничего, не поломается. Шведы делают вещи на две жизни... Ну-с, рассказывайте, Илья Гаврилович,— с Лукой Матвеичем мы говорим частенько. Каково настроение шахтеров? Что с крестьянами? Что говорят об объединении обеих фракций рядовые партийцы? Каково отношение рабочих к думе? — засыпал он вопросами, убирая в сторону тетрадь, карандаш и брошюру, а Луке Матвеичу бросил: — Курите, курите.

— Спасибо, Владимир Ильич.

Ленин уселся поудобней в углу дивана, поджав под себя ногу, и приготовился слушать.

Чургин поднял брови, собрался с мыслями. Трудно было ему в эти секунды. Перед ним был Ленин, и не в трех — пяти шагах, как в кафе, а совсем рядом и ждал его слов, обняв руками колени. Чургин заметил на руках Ленина мелкие светлые волосики и почему-то подумал: «Как у Стародуба. И бородка такая же. А усы торчат, словно он только что пришел с сильного мороза».

Все Чургин успел заметить, даже беленькие костяные пуговицы на сорочке, и нашел, что одна была выщерблена, даже на квадратные запонки с зелеными глазками посредине обратил внимание. Не заметил он одного: как и когда он растерял свои мысли, и мучительно вспоминал, с чего хотел начать доклад Ленину.

Лука Матвеич накануне говорил ему: «Рассказывай просто, как будто мне». Хорошенькое дело: рассказывай просто. Ведь это же Ленин! Как ему рассказывать? Каким тоном? Быстро или неторопливо? Чургину почему-то сдавалось: Ленину обязательно надо сделать доклад обстоятельный и предельно выразительный.

— Илья, у тебя язык еще не вышел из подполья, что ли? — услышал он шутливый вопрос Луки Матвеича и зарделся, как школьник, но внешне остался спокоен и даже отшутился:

— Ведь доклад специально приготовил, а сейчас все куда-то провалилось.— И провел рукой по светлой причесанной голове.

Ленин оживленно заметил:

— Приготовили доклад. И напрасно, как видите. В другой раз не будете «специально» готовиться, батенька мой. Я — не классный наставник, а вы — не гимназист. Говорите о чем хотите, к чему более всего лежит душа.

— Да. Тогда разрешите доложить так, Владимир Ильич: плохие у нас дела...

— Вот с этого мы и начнем,— подбодрил Ленин.— В чем — плохие? Какие именно дела? Нельзя ли уточнить: где?

— В партии плохие дела, я хотел сказать. В местных комитетах — это первое; на заводах плохи дела: на Югоринском, Юмовском, Бельгийского акционерного общества, на шахтах Шухова, Паромова, РОПИТа и других — это второе,— чеканил Чургин.— В партии, едва мы объединились, как меньшинство стало садиться на голову искровским комитетам, болтает, что, мол, «растворит» нас в своей фракции. На заводах и шахтах арестовано все лучшее, что было в большевистских организациях, комитеты фактически прекратили свое существование и теперь, после объединения, состоят большей частью из меньшевиков. Оные же выбирают в думу и торжествуют больше, чем реакция,— это третье. И последнее: владельцы шахт и заводов не приняли всех рассчитанных, люди толпами бродят от завода к заводу, от шахты к шахте в поисках работы...

Ленин мрачнел все больше и уже барабанил пальцами по боковине дивана, потом сел прямее, наконец встал и заходил по комнате, наклонив голову и спрятав руки в карманы брюк.

Чургин подумал: «Расстроился. Я, кажется, сгустил краски».

Лука Матвеич курил и молчал. Чургин только что приехал и знал больше его, но неужели все стало так безнадежно плохо за последнее время? Неужели меньшевики уже успели захватить комитеты? И он с досадой заметил:

— Ты что-то... милый, слишком мрачными тонами пользуешься...

Ленин прервал его:

— Погодите, товарищ Лукьян. Пусть скажет все. Только без прикрас и дипломатических ухищрений. Пожалуйста, Илья Гаврилович, продолжайте. О крестьянах вы еще ничего не сказали...

— Крестьяне идут революцией на помещиков, захватывают земли. Моего, с позволения сказать, родственника, Якова Загорулькина, едва не убили, но...

— Но? — обернулся Ленин и остановился посреди комнаты.

— Казаки «усмирили».

— А масса, вся масса крестьян что делает и что думает? На том и кончили поход революцией на помещиков? Говорите, говорите все, как на духу.

— Тут я не силен, Владимир Ильич, отстал,— признался Чургин.

— Должны быть сильны, не имеете права отставать, ни на одну минуту не имеете права, сударь. Вы — не просто член партии, вы — один из руководителей партии и должны, обязаны знать все, что делается не только в комитетах, но и далеко за их пределами. Зарубите это на носу, товарищ Чургин,— жестко сказал Ленин.

— Он недавно освободился, Владимир Ильич,— заступился Лука Матвеич.

— Виноват. Но вы не адвокатствуйте, товарищ Лукьян. Мы и в тюрьме обязаны знать все, да-да, решительно все, что творится за ее стенами. Тюрьмы-то находятся не бог весть где... Итак, вы считаете, что после объединения бывшее меньшинство «растворит» большинство в своем оппортунистическом болоте, Илья Гаврилович?

Чургин переглянулся с Лукой Матвеичем, как бы советуясь: «Говорить все или повременить?»

Ленин заметил его нерешительность, сел на диван и спросил:

– Вы не все сказали, товарищ Чургин?

– Не все, Владимир Ильич. Я не сказал самого главного: того, что мне велели передать вам шахтеры. А они наказывали передать вам следующее: «Растолкуй товарищу Ленину, что если бы он выгнал взашей из нашей рабочей партии меньшевистских болтунов и трусов – революция нанесла бы самодержавию куда больший удар».

– Что и требовалось доказать,– ударил Ленин ладонью по колену.– Правильно наказывали растолковать. Именно: революция могла нанести царизму куда больший удар! И потому, что этого не случилось, в том числе и по вине меньшевиков Питера, шахтеры не верят в целесообразность и необходимость в данный момент объединения обеих частей партии, вы хотите сказать?! – бодро воскликнул Ленин.

– Не верят. И я не верю, Владимир Ильич,– признался Чургин так спокойно, будто речь шла о каком-нибудь заседании у Стародуба. И, помолчав, добавил: – Считаю, что нам не объединяться надо с этими болотными «революционерами»...

– А что делать?

– Очиститься от них и создать свою, большевистскую партию,– ответил Чургин и глазом не моргнув.

– Ну, положим, большевизм существует еще с третьего года. Но, допустим, я согласен: очиститься от меков и колеблющихся и открытых оппортунистов. А во имя чего, позвольте спросить, коль, судя по вашим словам, все задушено, предано огню и мечу и больше положительно не на что надеяться? Так я понял вас? – скорее сердито, чем насмешливо, спросил Ленин.

– Нет, я так не говорил, Владимир Ильич,– твердо возразил Чургин.– Я нарисовал внешнюю картину того, кажущегося, поражения, которое товарищ Плеханов и все меньшевики принимают за действительное поражение и кричат «караул».

– Кажущееся принимают за реальное... Очень хорошо сказано. Ну-с, дальше?

– Но я ничего не сказал вам о том, что есть в душе у каждого пролетария, не говоря уже о рядовых партийцах-рабочих.

– Нуте-ка? – оживлялся Ленин все больше.

Чургин уже справился с волнением и чувствовал себя совершенно свободно и даже успел отметить: «Какой же он, право... А я-то боялся...» И он кратко, но достаточно выразительно рассказал о настроении металлургов и шахтеров южных шахт и заводов, о том, как рабочие отказывались идти на митинги по случаю выборов в думу, о вооруженном столкновении горловцев с казаками.

Ленин слушал не прерывая, и лицо его светлело все больше, и он то и дело бросал Луке Матвеичу:

– Вы слышите, товарищ Лукьян? Это же великолепно! Листовки на виду у начальства, призывы повторить пятый год... Превосходно, честное слово!

– Не только на глазах у начальства, а у самой святой богородицы.

Помните, я говорил вам? Одним словом, молодцы,— похвалил Лука Матвеич, попыхивая трубкой.

— Вот именно... Это-то и есть самое главное, самое глубокое и глубочайшее воздействие революции на массы. Теперь они знают и на собственном опыте познали, что никакие думы, никакое краснобайство и холуйство перед царизмом никакого улучшения и коренного изменения существующего порядка не даст и дать не может. Революция — вот альфа и омега всего современного положения России.

Вошла Надежда Константиновна с чайником в руке и удивленно спросила:

— Вы еще не кончили, господа? Давайте-ка чайку попьем лучше, а потом и продолжите разговор.

— Надюша, тут, оказывается, такие дела открываются, что просто дух захватывает от радости. Ты только послушай... Ну-ну, Илья Гаврилович, дальше? Значит, горловцы против пулеметов стоят? Слышишь, Надя? Шахтеры продолжают драться против царских войск и пулеметов. А Георгий Валентинович вновь увещевает: «Не беритесь за оружие».

И Ленин опять встал и опять заходил по комнате.

— Нет и нет! Мы не растворимся в меньшевистском болоте, товарищ Гаврилов. Наоборот, мы еще более определенно, более отчетливо выявим размежевку правого и левого крыла партии, в интересах здорового развития ее, в интересах политического воспитания пролетариата, в интересах отсекания от социал-демократической партии всяких чрезмерных уклонений от правильного пути. Так и только так будет стоять вопрос на съезде. И после съезда,— энергично заключил Ленин.

— Володя, ну поимей совесть,— взмолилась Надежда Константиновна.— Товарищи чайку хотят, а ты рад до утра расспрашивать.

— Гм, гм. Виноват, прости великодушно. Глух и нем как рыба,— поднял обе руки Ленин и пригласил гостей к столу: — Прошу, товарищи, откушаем чайку — нашенского, питерского. Чувствую, что хозяйка привезла.

Когда сели за стол и налили в стаканы крепкого, душистого чаю, Чургин сказал таким тоном, будто все, что он создавал за многие годы, рухнуло безвозвратно:

— Значит, я так понял вас, Владимир Ильич: будем все-таки объединяться.

— Будем, Илья Гаврилович, непременно будем, в интересах партии, в интересах революции. Я знаю, что вы с Лукой Матвеичем не согласны. Но...— развел Ленин руками и немного помолчал.— Платон, ты мне друг, но революция дороже всего, дорогие товарищи.

Лука Матвеич положил сахар в стакан, подавил лимон ложечкой и разразился целой речью:

— Интересы революции нам, конечно, дороже всего, это верно. Но дороже ли они мекам? Они, как христославщики, шляются по номерам гостиниц, по квартирам делегатов, по кафе и разглагольствуют о том, что они «дадут баталию Ленину» и всем бекам, и призывают проваливать наши проекты резолюций. Хотят связать нас по рукам и ногам формальным объединением, а сами еще более прежнего станут призывать на всех пере-

крестках устами Георгия Валентиновича: «Не беритесь за оружие! Это революция буржуазная! Ждите революции социалистической!»

— А пока идемте в думу и поможем оттуда свергать самодержавие,— добавил Чургин и, посмотрев на Ленина, спросил: — С этими объединяться, Владимир Ильич?

— Не понимаю, не принимаю и не приму, что хотите делайте со мной,— с нескрываемой обидой и горячностью заключил Лука Матвеич.

Ленин отставил стакан в сторону, переглянулся с Надеждой Константиновной, как бы говоря: «Трудно им примириться с объединением. С баррикад же они только что», а вслух задумчиво сказал:

— Я понимаю вас, очень хорошо понимаю, товарищи. Вы были на поле боя, вас не поддержали ваши же товарищи по партии, а теперь говорят, что вы напрасно воздвигали баррикады. Пролетариат же, как вы изволили сообщить, говорит: повторить пятый год. Вот во имя этого «повторения», во имя победы революции, еще раз победы революции и только победы мы и должны, обязаны объединиться и отбросить в сторону боязнь «растворения» одной фракции в другой. Мы, большевики, не растворимся, смею вас уверить. Вам отвечаю, Илья Гаврилович.

Наступило молчание. Чургин вновь переглянулся с Лукой Матвеичем, словно бы говоря: «Ну, а что теперь? Осрамились мы с тобой, старый».

Лука Матвеич так и понял его и более сдержанно, но все еще сердито проговорил:

— Пей чай. Близко мы с тобой смотрим, милый. За это и побили нас тут хозяева. Эх, дела!

— Ну, ну, ну... Я здесь ни при чем, Лука Матвеич,— запротестовала шутливо Надежда Константиновна.— Это хозяин так принимает гостей.

Ленин пил чай маленькими глотками и молчал. Ему и самому было неловко, что так получилось. Уж он-то хорошо знал, что, коль и Лука Матвеич сказал то же, что Чургин,— а он говорил это,— значит, дела на местах действительно не так хороши. Но он не мог ответить иначе. Ему хотелось верить, что объединение всех социал-демократических сил должно принести пользу общему делу партии, и он думал: «А коль не принесет — значит, не принесет. Тогда на очередь дня встанет необходимость отсечь от партии все ее правое крыло формально. Иного пути у нас не будет и быть не может».

Видя, что пауза затянулась, он отпил несколько глотков чаю и с преувеличенным восторгом сказал:

— Вот это чаек! А помнишь, Надя, какой мы пивали в Шуше? Как Паша писала нам свои инструкции. «Никовды, никовды чай не выливай»? И поила прошлогодней заваркой. Тоска смертная брала.

Надежда Константиновна рада была изменить разговор и пояснила гостям:

— Паша — это моя тринадцатилетняя помощница. Я ее малость научила грамоте, ну, она и оклеила все стены своими упражнениями, в том числе и такую инструкцию нам сочинила: никуда чай не выливай, береги...

— Прелесть что за девочка была! — засмеялся Ленин.— Бывало, нарубит мне котлет на неделю, в корыте нарубит, имейте в виду, и кормит, кормит одного меня. Более никому не позволяла есть их. Для собственной супруги приходилось воровать те котлеты, честное слово. Прижимистая была,

крестьянская душа... Господа, а не прогуляться ли нам по шведской столице? Здесь такие превосходные вечера. Как вы смотрите на это? – бросил он исподлобья озорной взгляд на всех.

Лука Матвеич знал, что к Ленину вот-вот придут шведские социал-демократы, и напомнил об этом, а Чургину наступил на ногу – мол, не вздумай еще речи вести и задерживаться.

Ленин посмотрел на часы и сказал:

– Да. Скоро придут. Хотят, чтобы я прочитал реферат о современном положении в России. Что ж, придется прочитать. Западная пресса пишет про нас такую несуразицу и нелепицу, что диву даешься. Но мы не засидимся. Условимся так: вы идете на набережную, подождете нас возле Национального музея, а мы подойдем. Ты не устала, Надюша?

– Я с удовольствием погуляю, посмотрю на знакомые места.

– Вот и отлично. Значит, договорились: через час – на набережной, возле Густава Третьего,– заключил Ленин и встал из-за стола.

Провожая Луку Матвеича и Чургина, он добавил немного грустно, немного раздумчиво:

– Съезд, по всей вероятности, будет иметь правое большинство,– уже имеет, судя по составу делегатов,– и, возможно, мы объединимся лишь формально. Но с тем большей настойчивостью, с тем большей энергией мы должны, обязаны отстаивать наши проекты резолюций. Никаких уступок ни в одном сколько-нибудь принципиальном вопросе мы ни в коем случае не сделаем и делать не имеем права. Наш путь – революция. Все, что будет так или иначе мешать на этом пути, в осуществлении задачи революции и еще раз революции, должно быть решительно и без колебаний, с плебейской беспощадностью, как говорил Маркс, отметено в сторону.

Надежда Константиновна укоризненно покачала головой, как бы говоря: «Ведь они с дороги...» И Ленин понял ее и поспешно произнес:

– Всё, всё, Надюша... Да, Лука Матвеич, здесь вот...– вспомнил он и, вернувшись к дивану, взял там тетрадь.– Здесь я записал некоторые мысли. Возьмите, пожалуйста, вот это и прочтите на досуге с товарищем Гавриловым. А завтра вернете.

– Хорошо, Владимир Ильич.

Лука Матвеич спрятал тетрадь во внутренний карман. То были тезисы доклада Ленина по аграрному вопросу.

Когда вышли на улицу, Чургин громко вздохнул, как кузнечными мехами двинул, и сказал восторженно и немного не так, как говорил обычно:

– Знаешь, старина, какое у меня сейчас чувство? Мне кажется, что мы побывали в чертежной революции...

– Илья, не говори красиво. Мы побывали у Ленина. Этим сказано все,– мягко укорил его Лука Матвеич.

Чургин помолчал и поправился:

– Да. Ты прав: мы побывали у Ленина.

Глава восьмая

Чургин встал рано и решил побродить по городу. Накануне он засиделся в кафе с делегатами, лег поздно, с больной головой, и не мог дождаться рассвета.

Стокгольм был занят утренним туалетом: умывались окна домов

и витрины магазинов, очищались от окурков тротуары и поливались мыльной водой. И Чургин подумал: «Дунул бы сюда наш черный, пыльный «астраханец» – в четыре руки не отмылись бы».

Над городом клубился белый туман. Было сыро и прохладно, и весна угадывалась разве что по бесснежным улицам да немного набухшим почкам на деревьях. Сквозь туман проглядывал оранжевый диск солнца, но оно светило так тускло и шло так низко над горизонтом, что впору было думать о шапке. А тут еще высоченные каменные дома-громады заслоняли его со всех сторон, и на улицах было что в сумерки.

На велосипедах, серым войском, катил и стар и млад, видимо спеша на службу, и по угрюмым лицам всех было видно, что эти люди не очень-то довольны тем, что их так рано стащили с теплой постели. Во всяком случае, они не разговаривали друг с другом, смотрели вперед и никого не желали замечать.

Изредка пробегали по улицам черные с красными колесами экипажи, в которых сидели важные господа и о чем-то сосредоточенно думали или подремывали под однотонный цокот копыт лошадей, резвых и красивых.

И только дети, направлявшиеся в школу на велосипедах и пешком, шумели, как все дети, строили друг дружке рожицы, а то схватывались врукопашную, и тогда в дело шли черно-желтые ранцы из тюленьей кожи, фуражки и чернильницы.

Чургин улыбнулся: и у него растет такой же сорванец. Но тотчас же вспомнил, что оставил дома всего четвертной билет, и помрачнел. «Да, я, кажется, зря поскромничал, когда Стародуб предлагал сто рублей. В конце концов, я мог бы их вернуть через месяц-два... Но ничего, Варюша, как-нибудь придется пережить и это, милая. Надо пережить», – про себя говорил он жене и перестал обращать внимание на окружающее.

Незаметно он оказался в небольшом сквере возле театра и увидел позеленевший от времени и засиженный птицами памятник. Подойдя ближе, он прочитал: то был памятник Карлу Двенадцатому. Король стоял как бы в стороне от всех смертных, гордый и воинственный, и держал в правой руке такую же, как и сам, позеленевшую шпагу и указывал на юго-восток.

Карл указывал в сторону, так ему знакомую по Полтаве. Это рассмешило Чургина, и ему хотелось сказать: «Не туда, ваше величество, совсем не туда указываете путь своим соотечественникам», но он лишь закурил папиросу и решил пройти на набережную, где вчера гулял с Лукой Матвеичем.

Набережных было здесь что улиц: бесконечно длинных, прямых и полукруглых, безлюдных и заполненных экипажами с дремавшими извозчиками, выехавшими на заработки, видимо, чуть свет. Тут было просторнее и свежее, если не сказать – просто холодно. Кое-где в заливе белели крошечные парусники рыбаков, совсем далеко коптили небо пароходы – там угадывался порт, а у гранитной набережной беспечно плавали дикие утки и хлопотливо ныряли, что-то выискивая в синей воде. Одни лебеди горделиво плавали поодаль, изящно изогнув свои белоснежные шеи, и посматривали по сторонам настороженно и зорко.

Солнце уже успело немного пробить туман и осветило и море, и лес на противоположной стороне залива. Там, средь голых деревьев, маячили всадники, иные гарцевали на рыжих и серых красавцах лошадях, как на

арене цирка. Вот солнце выглянуло из тумана, осветило лес полным светом, и там загорелись и засверкали тысячи огоньков, и в них замелькали черные точки – черные амазонки, а потом сорвались с места и поскакали вдоль берега. За ними запрыгали в седлах желтые мужчины.

Чургин подумал: «Рано встают стокгольмские господа. Как на работу выехали. Два века, наверное, думают жить».

В гостиницу он возвращался посвежевшим и немного усталым. Ходьба по гранитным булыжникам – это тоже была работа.

В кафе, куда он зашел перекусить, было много делегатов, стоял шум, звенела посуда.

– ...Посмотрим, как вы будете голосовать...

– Они обе руки думают пустить в дело, так что наберут, поди.

– Наберем, наберем, не извольте беспокоиться, господа.

– Господами называть своих товарищей по партии – это безобразие.

Чургин сел в стороне, взял меню, но ничего не мог понять. К нему подошел молодой человек и на ломаном русском языке спросил, что он желал бы покушать. Чургин назвал: стакан молока, ломтик хлеба.

– О! Так немного будет, товарич. Больше требуется, вы – большой человек, – сказал официант, который, очевидно, был приставлен к делегатам шведскими социал-демократами.

Чургин подумал и добавил:

– Можно еще стакан какао.

За соседним столиком шумели более всех. Спорили кавказские делегаты. Они горячились, нападали на одного и того же, что-то говорили ему на своем языке, качали головами и прищелкивали языками, но тот сидел, пил пиво и молчал, будто все, что говорилось, не имело к нему никакого отношения.

Чургин услышал на русском языке:

– Ай, вай, Сосо, какой ты упрямый... Не сами избрались, тебе говорят, а нас избрали массы. – И сказавший это вновь перешел на грузинский язык и разразился бы длиннейшей тирадой, да его прервал другой голос:

– Генацвале, что ты, понимаешь, растрачиваешь дар красноречия на этого человека, если он даже не слушает тебя? Пошли, дорогой, погуляем по шведской столице.

Черный, с бородой и белым воротником, сказал сердито и кратко:

– Довольно, друзья. Сосо еще в Тифлисе укусила муха, а он и здесь сердится на нее... Расплачивайтесь – и пошли. А что будет на съезде – увидим. Во всяком случае, вы, беки, останетесь с носом, это я вам гарантирую.

И тогда тот, кому адресовались все эти слова, сказал негромко, но внятно и резковато:

– Вы напоминаете сорок. Как сороки, вы налетали на собрания, как сороки, кричали свои фамилии. Так было в Тифлисе, так было в Кутаисе, в Батуме и так далее. Как это называется, по-вашему?

– Это называется: нас избрали массы.

– Это называется самоизбранием, господа. И никак иначе. Вы – самозванцы. Я опротестую ваше избрание перед мандатной комиссией.

Все загалдели, замахали руками, но Чургин ничего понять не мог – говорили по-грузински. Наконец тот, что был постарше всех, сказал по-русски:

— Вот что, товарищ Иванович: если ты будешь позволять себе так обращаться с товарищами по партии и называть их господами, мы прекратим с тобой всякие отношения.

— Это — не отношения. Это тифлисский базар. А вы — настоящие кинто, а не политические деятели,— ответил ему тот, кого называли Ивановичем.

— Это — безобразие, понимаешь! Раньше ты называл нас сороками, а теперь оскорбляешь таким паршивым словом — «кинто»? Ты ответишь!

— Раньше вы и были сороками, которые хотели изображать себя соловьями, но пролетариат вас не слушал все равно. Теперь вы напоминаете тех животных, которые кричат во всю глотку и тоже думают, что поют самую прекрасную песню. А на самом деле только орут и только зря надрывают глотку. Песни вы все рано не споете никакой. Меньшевистские ваши песни были и останутся меньшевистскими.

Поднялся гвалт, все вскочили с мест, жестикулируя, сверкая взбешенными глазами, а Сосо так спокойно заключил:

— Вот вы и доказали, что умеете только кричать.

Он набил трубку табаком, закурил и, встав и бросив на стол несколько мелких монет, добавил:

— Вы не представляете Кавказский комитет. Вы захватили его, как разбойники. И можете орать: правда свое возьмет. А вы как были крикливыми ишаками, так ими и останетесь.

И он вышел — прямой и тонкий, в черной шляпе, в сапогах и в легком пальто, провожаемый криками возмущения и угрожающими жестами тех, кто спорил с ним.

Чургин расплатился и вышел на улицу. И тут познакомился с Ивановичем, который стоял с Лукой Матвеичем.

— Да. Вы, конечно, резковато говорили с Жордания, но я понимаю вас.

— Это им полезно. Шакалы, а не политические деятели,— ответил Иванович и пыхнул трубкой.

— Они могут устроить тебе скандал, Иосиф. Ной, конечно, будет выгораживать самоизбранников,— говорил Лука Матвеич.

— Мне не привыкать, старина. Я всю жизнь скандалю с этим Жордания... Ты лучше скажи мне вот о чем: ты поддерживаешь тезис о национализации? — изменил разговор Иванович.

— Это — тезис Владимира Ильича. Как ты думаешь, кого я буду поддерживать? А ты в муниципалисты записался?

— Нет. Я стою за раздел.

— Зря.

Иванович задумался, попыхтел трубкой и уверенно произнес:

— Не зря, Лука Матвеич. Я убежден, что раздел помещичьих земель — это и есть то, что наиболее понятно и близко крестьянину сегодня.

— Сегодня. А завтра, когда победит народ? Этого-то вы, разделисты, как раз и не принимаете во внимание.

Иванович молчал.

...Открытие съезда было назначено на десять часов утра в Доме гражданина. Лука Матвеич и Чургин проходили вчера мимо этого дома —

большого, деревянного, с резными окнами и тяжелой входной дверью. Сейчас возле дома, на небольшой площади, был рынок: торговали зеленью, рыбой, мясом, сыром, маслом и цветами. Цветов, пожалуй, было больше, чем продуктов. И – удивительное дело: на рынке было тихо: покупатели смотрели товары, выбирали то, что нравилось, а хозяева стояли и ждали, когда им уплатят деньги, или стояли в стороне и о чем-нибудь разговаривали с соседями, будто не на рынок приехали, а на свидание.

Чургин заметил: некоторые брали покупки, клали деньги на продукты и уходили молча, как немые. И хозяева молча брали деньги, и уж потом бросали вдогонку какое-то слово, видимо, благодарили.

– Как будто на похороны пришли шведы. То ли дело – наши базары! Шум и гам – оглохнуть можно, – проговорил Чургин.

– Это и не базар в нашем понимании слова. Это – площадь. Расторгуются, разъедутся – и площадь примет обычный вид. Дорогая земля тут, особенно не разгуляешься, – пояснил Лука Матвеич. – Пошли, мне надо еще поговорить с Владимиром Ильичем по поводу его тезисов. Думал утром зайти, да он где-то спозаранку читает реферат. Удивительный человек: всюду поспевает...

– А твой друг, Иосиф, озадачен, отстал даже. Объясни мне, пожалуйста, какая разница между разделом и национализацией земли? Не могу разобраться, – признался Чургин.

Лука Матвеич объяснил.

В Доме гражданина уже было полно делегатов.Собственно, больше было шведов, приглашенных на съезд. Они стояли особняком, посматривали на русских и тихо говорили о чем-то, а когда кто-либо из делегатов намеревался закурить, тотчас же угощали сигаретами, предлагали спички, знаменитые шведские спички, и дарили их целыми коробками.

Чургин заметил: один пожилой человек подарил уже три коробки и держал в руках наготове четвертую, и в уме отметил: «Хорошие товарищи. Спички – дело пустяковое, а вот внимание и чувство товарищества каждый из наших увезет домой с благодарностью».

Все ожидали Ленина и Плеханова и то и дело посматривали на входную дверь. И тут произошел инцидент: кавказские делегаты привалили всей группой – десять человек – и тотчас начали спрашивать, пришел ли Ленин или Плеханов.

– Протестовать надо! Мы – законно избрались, и он не имеет права.

– Мандатная комиссия все решит и все скажет.

– Ной, что же ты молчишь?

Ной Жордания действительно молчал и не торопился искать Ленина, а искал глазами кого-то другого и отвечал невпопад:

– Успокойтесь, друзья. Я поговорю с Даном.

Ленин пришел не один, а с группой шведов. Подвижной и веселый, с газетами в карманах и с трубочкой бумаг в руке, он запросто стал здороваться с каждым и тут же сыпал вопросы делегатам:

– Ну, как доехали? Как устроились? Хорошо ли кормят? Говорите, говорите все, не стесняйтесь. Дело делом, а потребы живота имеют не последнее значение.

Жалобщиков на потребы живота не нашлось. Тогда кавказские делегаты окружили его и стали возмущаться поведением Ивановича.

Ленин слушал, слушал, но говорить ему было невозможно из-за шума. Наконец он улучил момент и ответил:

— Товарищи, съезд еще не начал своей работы, мандатная комиссия еще не избрана, а без оной ваши полномочия никто не отменит и не подвергнет сомнению. Вы — от меньшинства, надо полагать?

— Какое это имеет значение? Съезд — объединительный, — ответил Ной Жордания.

— Гм, гм. Конечно, съезд — объединительный. Но позвольте вам заметить, товарищи: мы решили объединиться, решили созвать съезд не для того, чтобы вы, бывшее меньшинство, устраивали здесь, извините, свары и склоки. Мы созвали настоящий съезд для того, чтобы объединить все силы партии и направить их на осуществление новых неизмеримо более грандиозных, чем то было прежде, задач данной революции.

— Об этом мы поговорим после, на самом съезде, товарищ Ленин. Сейчас мы протестуем против недопустимых фракционных действий и, как вы правильно сказали, свары.

Ленин резко возразил:

— Те-те-те, милостивые государи, о какой недопустимости, о каких именно действиях идет речь, позвольте спросить? У вас, товарищ Жордания, например? Если о том, что мы, большевики, намерены сказать вам, и непременно скажем, всю правду-матку, — этого вы нас не лишите, ни в коем случае не лишите, уверяю вас. Если о тактике партии, ее стратегии, ее практических действиях в данный момент — то и здесь мы скажем вам все, что думаем, чего добиваемся, что защищали и будем защищать всеми фибрами души марксистов до последнего, как говорится, дыхания. Об этом речь, если не ошибаюсь? — прищурился он и пристально посмотрел на Жордания.

Жордания и все его друзья переглянулись. Такого оборота они не ожидали. Обо всем этом они намеревались говорить на самом съезде и пока что предпочитали помалкивать.

Но Ной Жордания нашелся:

— Хорошо, Владимир Ильич, мы обратимся со своим протестом в бюро съезда.

— Буде в том окажется нужда, я полагаю? — спросил Ленин уже немного насмешливо.

— Да.

— В таком случае инцидент исчерпан. С вашего позволения, я поздороваюсь с товарищами.

Наступила тишина, в которой отчетливо слышались смешки и не особенно лестные слова в адрес Жордания и его друзей.

И вдруг раздались негромкие аплодисменты и возгласы одобрения на шведском языке. Чургин обернулся и увидел: те, что пришли с Лениным, перевели друзьям его разговор с кавказскими делегатами, и именно это было причиной аплодисментов.

И Чургин подумал: да, Ленина знают и понимают не только русские рабочие.

Ленин увидел его и спросил:

— Товарищ Гаврилов, вы не заметили, куда запропастился наш Лукьян?

— Я здесь, Владимир Ильич,— отозвался стоявший с Ивановичем в стороне Лука Матвеич.

— Вы прочитали те заметки, что я вам дал? Успели, поди?

— Прочитал, Владимир Ильич, вполне успел и имею замечания,— подойдя к нему, ответил Лука Матвеич.

— А именно? — насторожился Ленин.

— Давайте уединимся, а то здесь много народу.

— Вот и хорошо, пусть послушают. Это полезно во всех отношениях и нам, и всем делегатам. Так какое же замечание, если не секрет?

— О национализации земли и о разделе.

— Любопытно. Вы что, против национализации?

— Нет. Но у вас говорится... Впрочем, вот я тут написал на полях.

Лука Матвеич достал из внутреннего кармана тетрадь, отдал ее Ленину, хотел указать на место, где были замечания, но он решительно запротестовал:

— Не беспокойтесь, не беспокойтесь. Я найду сам.— И, взяв тетрадь, отошел к окну и углубился в чтение.

Лука Матвеич молча последовал за ним и превратился весь во внимание. Что-то скажет Ленин? Ведь замечаний было целых пять... И вдруг через минуту-две Ленин поднял голову и сказал:

— А вы знаете, я, пожалуй, с вами согласен, товарищ Лукьян, по всем статьям согласен, кроме одного пункта: без союза пролетариев и крестьянства мы революции не совершим и самодержавия не свергнем. Запомните это, товарищ Лукьянов. Вы допускаете ту же ошибку, непростительную и непозволительную для марксиста, какую допускают другие товарищи, так называемые коммуналисты, или муниципалисты.

За спиной Чургина раздался возмущенный голос:

— Это ложь! Бакинцы были бойкотистами. А вы ходили по собраниям и сами выставляли себя кандидатами на съезд и в думу.

Ленин поднял голову, спросил:

— Что еще случилось, товарищ Степан? Почему кавказские товарищи так ведут себя, так шумят?

Ной Жордания сердито посмотрел на Шаумяна, что сказал эти слова, махнул рукой и ответил с досадой:

— Я вам говорил, Владимир Ильич: вон кто виноват во всем,— кивнул он в сторону, где стоял Иванович.

Тогда Иванович подошел к Ленину и сказал:

— Владимир Ильич, меня тоже интересует аграрный вопрос. Я придерживаюсь иной точки зрения, чем некоторые товарищи... Я стою за раздел.

— Прежде положено поздороваться, товарищ... Коба, если мне память не изменяет?

— Да. Здравствуйте, Владимир Ильич. Извините.

— Здравствуйте,— подал Ленин руку.— Что касается вашей точки зрения, я могу вам сказать следующее: сия точка суть неправильная и ошибочная, если хотите, но она отличается от точки зрения муниципалистов. Их программа и ошибочна, и вредна, и ни в коем случае принята быть не может. Вы удовлетворены?

— Да, Владимир Ильич. Но я эту точку зрения...

Лука Матвеич вмешался в разговор, сказал недовольно:

— Сосо, а ты мог бы и повременить со своей точкой. Мне нужно доложить Владимиру Ильичу о делах, о Плеханове...

— А что, Георгия Валентиновича все еще нет? — спросил Ленин.

— Он приедет через день-два, говорят.

— Через день-два мы, чай, половину повестки дня исчерпаем. Но коль через два, так через два... Товарищ Гаврилов, а вы-то что такой мрачный? Или вас тоже кто обидел? — спросил Ленин.— А быть может, дома что случилось? Вы, наверное, и денег не оставили семье? Виноват, вы-то еще не служите,— оборвал Ленин разговор и укоризненно посмотрел на Луку Матвеича, как бы говоря: «Что же вы, батенька, так заботитесь о своих питомцах?»

Чургин ответил твердо:

— Не беспокойтесь, Владимир Ильич. Немного оставил. И свет, как говорится, не без добрых людей. А что касается настроения, то признаюсь: оно у меня не шибко веселое. Меки торжествуют и намерены провалить все наши резолюции. Вон товарищ Иванович может подтвердить, он ругался со своими.

— Знаю, знаю,— бросил Ленин быстрый взгляд на Ивановича.

— Они сговариваются провалить все большевистские резолюции, Владимир Ильич,— подтвердил Иванович.

Лука Матвеич недовольно заметил:

— Что-то ты пужливый стал, Сосо.

— Намерены провалить? — переспросил Ленин.— А мы не уступим. Ни на йоту. Ни в чем. Ни в одном сколько-нибудь принципиальном пункте. Так что у вас есть все основания смотреть вперед уверенно. А то Плеханов еще не прибыл, а вы уже помрачнели, товарищ Гаврилов,— пошутил он.

— Я не намерен вешать носа, Владимир Ильич.

— Вот и отлично! Наши дела не так плохи, как то кажется меньшинству. У них одна надежда: Плеханов. Но все равно: наша возьмет,— бодро заключил Ленин и заторопился в зал.

Лука Матвеич шутливо толкнул Чургина и сказал:

— Да иди же ты. Довольно тебе стесняться, как барышне, и позорить мою лысую голову. Не маленький, чай.

Чургин еле приметно улыбнулся. Слова своего учителя он прочитал как раз наоборот: гордится им старый перед Лениным, очень гордится, а делает вид, что сердится.

Луку Матвеича остановил Иванович и сказал недовольно:

— Лукьян! Я хотел объяснить Владимиру Ильичу свою точку зрения подробнее, а ты помешал. Нехорошо так делать, дорогой.

Лука Матвеич удивленно поднял широкие брови и сказал почти сердито:

— Ты услышал все, что тебе надобно было услышать от Владимира Ильича.

Сосо взял его об руку, отвел в сторону и сказал:

— Ты — мой друг, мой близкий друг по Тифлису. Я прошу тебя: помоги мне поближе познакомиться с Ильичем и потолковать с ним по аграрному вопросу. Что-то тут меня тревожит. Я хочу защищать свою точку зрения и боюсь, что попаду впросак.

— Значит, тебе нечего соваться с такой точкой зрения, которая не принесет пользы партии, съезду, дорогой Сосо.

— Ты полагаешь, что мне нечего и выступать со своей точкой зрения?

— Нечего, не стоит выступать,— ответил Лука Матвеич и, подняв голову, поискал кого-то взглядом, увидел вышедшего из зала Ленина и шепнул: — Ильич кого-то ищет.

Ленин искал их, нашел и громко спросил еще издали:

— Товарищ Иванович, что вы там наговорили кавказским товарищам? Жордания рвет и мечет против вас и просит меня вмешаться в ваши дела... Какие у вас там стряслись беды и недоразумения, кроме тех, о которых мне стало ведомо сейчас,— про случай в кафе речь?

Иванович подтянулся, но с ответом не торопился, а подождал, пока Ленин подошел совсем близко, и подумал: «Теперь ты мне не помешаешь, хитрый Лука, поближе познакомиться с Ильичем. И я ему расскажу обо всем».

— Товарищ Сосо все еще, видимо, ругает меня мысленно, что я помешал ему поближе познакомиться с вами,— вклинился в разговор Лука Матвеич.

— Вот как! — негромко воскликнул Ленин и улыбнулся: — Ничего, друзья мои, еще познакомимся и, представьте, успеем надоесть друг другу. Съезд, поди, продолжится несколько дней... Итак, я слушаю, товарищ Сосо.

Иванович ответил горячо, но четко, стараясь всячески избегать принятых у кавказцев словесных оборотов:

— Владимир Ильич, все наши делегаты, то есть от Кавказа, в большинстве избраны незаконно. Они почти что сами баллотировались, в том смысле сами, что сами выставляли свои кандидатуры и агитировали партийцев голосовать за них, то есть за себя. Это во-первых...

— Гм, гм... Сами выставляли. Это какая-то новая и самая нобейшая форма демократии,— насмешливо произнес Ленин и спросил: — Ну, а что было во-вторых, позвольте спросить?

Иванович все так же строго и четко ответил:

— А во-вторых было следующее: все наши меки, во главе с этим Ноем, намереваются любой ценой провалить все большевистские проекты и сделать съезд меньшевистским по духу и по форме. Я сказал им в кафе, чтобы они не очень на это рассчитывали.

— Вы правильно им сказали, товарищ Иванович, очень верно. И, надо думать, именно этим и разозлили своих кавказских товарищей...

— Владимир Ильич, в одну телегу прячь неможно коня и трепетную лань, как сказал Пушкин.

— С этим я, пожалуй, согласен. Неможно, никак неможно,— подтвердил Ленин и добавил: — Но поймите меня, товарищ Сосо: мы приехали объединиться, попытаться объединиться. Во имя интересов дела, в целях нового подъема революции. И запомните: никаких, решительно никаких отклонений от научного, революционного марксизма, никаких шашней меньшинства с оппортунизмом во всех его видах и проявлениях мы не потерпим и не примем. Костьми ляжем, но не примем.

— Он всегда стоял на том, Владимир Ильич,— заметил Лука Матвеич.

— Превосходно. В таком случае ни ему, ни вам, как его защитнику,— уколол Ленин Луку Матвеича шутливо,— нечего бояться съезда. Попытаемся все же впрячь коня и мековскую лань в одну телегу и двинем ее общими усилиями к победе нашего дела. Выйдет,— хорошо. Нет,— стало быть, разрыв окончательный. И навсегда,— жестко заключил он и посмотрел на часы.

Иванович пригладил черные усы, будто речь обдумывал, и произнес уверенно:

– Ваша логика, Владимир Ильич, обезоруживает. Но я бы вышвырнул всех таких революционеров в кавычках без промедления. Ишак не может быть впряжен в одну телегу с конем.

Ленин недовольно поморщился, стрельнул в Ивановича быстрым колким взглядом и сказал:

– Товарищ Иванович. Нехорошо, недопустимо для социал-демократа – выражаться даже о противниках нелояльно.

– Простите его, Владимир Ильич. Это его Ной подогрел, – опять заступился Лука Матвеич.

– Адвокатствуете. Так, так. Ну, валяйте, валяйте.

Иванович смутился, Лука Матвеич лукаво ухмылялся и искал вечно терявшуюся в карманах трубку и бурчал:

– Бисово дело, куда же я ее заховав так надежно? Как раз приспичило покурить, а ее нету.

Ленин тронул его за локоть, пошутил:

– Крутите, выкручиваетесь, вижу по глазам, но я незлобивый. Хорошо адвокатствуете, хорошо защищаете друзей. Да, – как бы вспомнил он, – как вы намерены поступить со своей разделистской точкой зрения, товарищ Коба? Будете выступать, если я правильно вас понял?

– Думаю выступать, Владимир Ильич, – ответил Иванович. – И не только по этому вопросу.

– Гм, гм. Твердость – дело похвальное, но, – сделал Ленин паузу, – но в таком случае пощады не ждите. От покорного вашего слуги в частности. Ваша разделистская точка зрения ошибочна, я уже сказал вам. А по другим вопросам повестки дня съезда, надеюсь, мы не будем спорить с вами?

Иванович подумал немного, посмотрел вокруг, на столпившихся возле них делегатов, и смущенно ответил:

– Владимир Ильич, я всего только думаю высказать некоторые соображения по аграрной программе, но совершенно не намерен спорить с вами. Кавказ состоит из тысяч гор, но Эльбрус среди них – один.

– Добре знаешь свой Кавказ, парень. Молодец, – похвалил Лука Матвеич.

Ленин строго посмотрел на него и покачал головой с таким сожалением, как будто Лука Матвеич тонул, и сказал:

– Я не сомневался в том, что оба вы хорошо знаете географию. Но я не предполагал, что вы оба уже успели пристраститься к мещанским сладостям Европы и пытаетесь обмазать своих товарищей патокой. Это не делает вам, социал-демократам, чести, судари. Позвольте откланяться, пока вы не облили меня патокой с ног до головы.

Он пошел к Надежде Константиновне, а Лука Матвеич вздохнул, посмотрел на Ивановича исподлобья явно недовольно и заметил:

– В чужом пиру – похмелье. Плохой я адвокат, выходит, совсем никудышный.

Иванович усмехнулся, пригладил усы, но на этот раз с таким удовольствием, будто грузинское вино пить намеревался.

– Спасибо, дорогой Лукьян! Ты – хороший адвокат, хорошо сказал о моем отношении к меньшевикам.

Лука Матвеич отмахнулся от него, попенял:

— Отстань, не маленький, чай. Ничего я тебя не поддерживал, а вот с географией влез по уши.

— И географию правильно поддержали. Ленин — и есть наш Эльбрус, дорогой. Кроты этого никогда не увидят, а тысячи гор видят. Партия видит.

— И ты, конечно,— поддел Лука Матвеич.

Иванович нахмурился и сказал недовольно:

— Мы с тобой, генацвале Лукьян,— всего лишь маленькие горки в хребте. Рядовые партийцы. Не надо так говорить о твоих друзьях, понимаешь. Ты старше меня, и твое слово для меня — слово отца.

— Ну, ну... Я пошутил, Коба, не придавай этому значения. А с меками ты хорошо воюешь.

Подошла Надежда Константиновна с пачкой бумаг в руке, взволнованно сказала Ленину:

— Плеханов потому и опаздывает, что не успел подготовиться к выступлению. Против наших тезисов, разумеется. Подробности знает Луначарский.

Ленин подумал немного, взял у нее бумаги и спросил, будто ничего и не слышал:

— Еще кто-нибудь из наших прибыл? Сколько всего прибыло? Какое превосходство будут иметь меньшевики? Подсчитай, Надюша, пожалуйста, это очень важно, как ты знаешь.

— Хорошо. Но я уже прикинула: меков будет куда больше, чем наших. Вот списки делегатов,— отдала Надежда Константиновна большой список.

Ленин пробежал его взглядом, положил в карман, а Луке Матвеичу и Ивановичу сказал:

— Слышали, товарищи? Меки, безусловно, воспользуются своим численным превосходством и попытаются протащить свои проекты резолюций. И Плеханов, так же безусловно, поддержит их целиком. Придется воевать не на живот, а на смерть. За Маркса воевать, за марксистскую партию, за нашу тактику, стратегию в грядущей новой революции. Вас записать для выступления, товарищи?

— Меня и Чургина — непременно, Владимир Ильич. Думаю, что и Луначарского тоже. А ты, Коба? — спросил Лука Матвеич у Ивановича.

— Запишите и меня, Владимир Ильич. И Шаумяна, он мне говорил.

— Хорошо... Вообще, Надюша, было бы неплохо, если бы ты попыталась выяснить, кто из наших будет выступать,— сказал Ленин Надежде Константиновне.

— Хорошо, я опрошу товарищей,— ответила Надежда Константиновна.

Ленин, увидев Луначарского, позвал:

— Анатолий Васильевич! Извините, товарищи, мне надо переговорить с Луначарским.

Лука Матвеич задумчиво произнес:

— Вот и объединяйся с такими. Не успели объединиться, как уже придется размежевываться. Эх, дела! — махнул он рукой и пошел в толпу делегатов.

Иванович покручивал усы и молчал.

— А вы о чем задумались, товарищ Коба? — спросила Надежда Константиновна.

— Думаю, Надежда Константиновна. Боюсь, что Владимир Ильич задаст мне за мою «разделистскую» точку зрения. А хочется выступить.

— Как? И вы против Ленина?

— Что вы, дорогая Надежда Константиновна! — немного испуганно воскликнул Иванович. — Как можно выступать против Ленина? Это козел может выступать против пастуха, когда заупрямится. Но в таких случаях пастух просто бьет его палкой.

— Слава богу, — облегченно вздохнула Надежда Константиновна. — Я уже подумала шут знает что. Меки затевают драку, всякие подвохи и, должно, подбили Плеханова на это. Пропадет съезд. Издергают они Ильича окончательно.

— Не надо думать о плохом конце, дорогая Надежда Константиновна. Надо думать о хорошем конце съезда. Владимир Ильич ведет партию. Плеханов ведет партийных гнилушек. А гнилушки никогда не запрудят могучего потока жизни. Он смоет их с лица земли и пойдет своей дорогой вперед, навстречу солнцу.

Надежда Константиновна неопределенно пожала плечами. Что ж, быть может, он и прав, этот Иванович, не надо волноваться прежде времени...

Плеханов появился на съезде на второй день, во время заседания, и на него сразу обратили внимание все делегаты и гости и встретили его аплодисментами хотя и не горячими, но дружными.

Председательствовавший Ленин встал из-за стола, покрытого зеленым сукном, поднял руку и очень уважительно сказал:

— Товарищи, на наш съезд прибыл основоположник российской социал-демократии товарищ Плеханов. Предлагаю приветствовать товарища Плеханова, — и захлопал в ладоши.

И тогда зал взорвался бурей аплодисментов. Делегаты встали, иные вышли из рядов в проход и, подняв руки, аплодировали едва ли не у самого лица шедшего к столу бюро съезда Плеханова и смотрели, смотрели на него сияющими, полными восторга, уважения и преклонения глазами.

Чургин тоже стоял, тоже аплодировал и смотрел на Плеханова с тем любопытством и уважением, с которым ученик смотрит на учителя. Так вот он какой, «патриарх российской социал-демократии», автор книг, по которым училось марксизму поколение русских революционеров, человек, имя которого произносят с благоговением.

Плеханов, высокий, затянутый в черный сюртук, с гвардейской выправкой, шел по залу неторопливо и величественно, ни с кем не встречаясь взглядом, никому не улыбаясь, не обращая никакого внимания на шум аплодисментов и принимая их, видимо, как должное и необходимое, и во всем его облике, даже в походке, такой, как будто он не шел, а легко плыл по воздуху, оторвавшись от дубового пола, было сознание своего неоспоримого превосходства, казалось, над всеми смертными, а не только над этими своими товарищами по партии, стоявшими и хлопавшими в ладоши так, что гул и треск наполнил здание дома, как будто оно само трещало и вот-вот готово было рухнуть и рассыпаться под ногами этого человека, Плеханова.

А он все шел и шел, как полководец среди своих солдат. Худощавое и белое, будто никогда и не видавшее солнца, лицо его с угловатой темной бородкой и большими усами, такими пышными, что они почти закрывали рот, было не то слишком усталым, не то болезненным, а небольшие, прятавшиеся под густыми бровями глаза так щурились, что их трудно было рассмотреть, словно они и не хотели, чтобы их рассматривали и по ним угадали его мысли и чувства. И лишь когда он наконец дошел до стола бюро съезда и поздоровался с Лениным и Даном, глаза его слегка раскрылись, посмотрели в зал, в ближние ряды стоявших и в самые дальние, и тогда из них кольнуло холодком или придирчивостью, а скорее всего – равнодушием.

Чургин был разочарован крайне. Не таким он представлял себе основоположника русской социал-демократии, не такого ожидал встретить Плеханова, который еще не так давно один и безраздельно владел умами демократической молодежи и, после Маркса, стоял едва ли не первым в ряду духовных отцов своего времени, сказав на заре русских народных движений: «Революционное движение в России может восторжествовать только как движение рабочих. Другого пути нет и быть не может».

И вот, когда это движение достигло своего апогея и рабочие выступили против царизма с оружием в руках, этот человек сказал: «Не надо было выступать, не надо было браться за оружие». Как он мог сказать такое? Почему мог сказать? Ведь не забыл же он того, что сам писал и говорил прежде, на заре революционного движения в России? Не забыл...

И Чургин понимал: трудно переубеждать такого человека, и сказал Луке Матвеичу, когда все успокоилось и утихло:

– Да. Мне бы лучше в шахте сидеть год невылазно, чем пуститься в споры с таким человеком.

– Учиться плавать надо в реке, парень, а не в корыте. И думать надо прежде, чем болтать всякое.

Это уже был выговор, и Чургин умолк. Черт его знает, быть может, у него действительно кишка оказалась тонка, едва он увидел этого человека, с которым внутренне спорил много лет?

И он недовольно поднял брови и все смотрел на Плеханова.

Плеханов и Ленин... Они сидели рядом, эти два человека; один – в демократическом пиджаке, с живыми и цепкими глазами, ловивший малейшие шумы в зале и взвешивавший малейшие колебания настроений, а другой – в черном, строгом сюртуке, чопорный и недоступный, знавший, казалось, наперед, кто и что скажет, и не обращавший внимания решительно ни на что.

За каждым из них шла половина партии, имя каждого из них знала вся страна, к словам их прислушивалось все лучшее, что было в революционном движении России, но один из них – была сама русская революция, другой – история ее первых начинаний, первых кружков.

Ленин говорил: «Главной задачей пролетариата в настоящий исторический момент является доведение до конца демократического переворота в России... Всякое умаление этой задачи неминуемо приводит к превращению рабочего класса из вождя народной революции, ведущего за собой массу демократического крестьянства, в пассивного участника революции, тянущегося в хвосте либерально-монархической буржуазии».

Плеханов говорил: «Массовым напором поддерживать те оппозиционные шаги буржуазной демократии, которые могут... стать исходной точкой для дальнейшего движения вперед».

— Два человека. Два пути в грядущее. Две истории России. Плеханов — заря этой истории. Ленин — ее солнце,— негромко заключил Чургин свой внутренний монолог.

На него шикнули сзади:

— Сударь, вы что, лекцию про мир божий читаете? А вы лучше Плеханова читайте.

— Это — большевистский фанатик.

Лука Матвеич обернулся и насел на кого-то:

— А ты, чем зубоскалить, подумал бы прежде хоть раз в жизни: сподручно ли партийцу превращаться в попугая и каркать дурацкие слова?

— Лукьян, я потребую, понимаешь, чтобы ты извинился! — раздалось позади Чургина.

— Насчет попугая надо уточнить: каркает ворона, дорогой, и это как раз и есть ты,— послышался голос Ивановича.

— Ах, ты опять за свое, понимаешь! Из самого Тифлиса вез камень за пазухой. Вот ты какой, Коба. Запомним.

— Запоминай, запоминай, дорогой. Это тебе поможет стать большевиком.

Поднялся шум, стулья заскрипели, и председательствующий Ленин постучал карандашом по стеклянному кувшину с водой.

— Что там за шум, товарищи? — спросил он, вскинув бородку.

Чургин ответил низким голосом, как по пустому вагончику бухнул:

— На воре шапка загорелась, Владимир Ильич! Меки буйствуют, что их называют по имени: штрейкбрехерами баррикад.

Раздались аплодисменты, крики: «Браво!», но их заглушили неистовые протесты: «На трибуну его!», «Пусть извинится!»

Чургин только выпрямился на стуле и даже не удостоил кричавших вниманием: «Ничего, уважаемые, мы скажем вам все. Мы решили объединиться не для того, чтобы торжествовал оппортунизм. Мы решили объединиться для того, чтобы торжествовал марксизм. Вы не хотите этого? Тогда мы, рабочие России, не хотим вас»,— ответил он крикунам про себя.

Позади него послышался негромкий гортанный голос Жордания:

— Это — партиец или просто русский инженер, зашедший сюда скуки ради? Я второй раз вижу его.

Лука Матвеич хотел отчитать Жордания, но увидел Надежду Константиновну, которая пробиралась к нему, раскрасневшаяся, веселая.

— Ильичу еще не давали слова?

— Сейчас должны дать. Начинаются доклады.

— Фу-у,— усаживаясь рядом, никак не могла отдышаться Надежда Константиновна.— Я так спешила. Еще двое наших прибыли. Ну, пока суд да дело, устройство и прочее, и вот опоздала... А Ильич спокоен,— значит, все идет хорошо. А прошлой ночью на голову жаловался, три порошка проглотил.

— Врачу бы показать надо,— посоветовал Лука Матвеич.

— Не пойдет. На веревке не затащишь.

В это время Ленину дали слово для первого доклада по аграрному вопросу. Шум в зале стих. Плеханов насторожился, пересел поближе к трибуне — столику, за которым уже стоял Ленин, и Жордания пересел, и другие, будто плохо слышали.

Ленин положил перед собой тезисы, бросил руку в карман распахнутого пиджака и посмотрел на делегатов открытыми, блестевшими глазами.

Надежда Константиновна замерла и вся устремилась к трибуне.

Лука Матвеич заметил ее беспокойство и шепнул:

— Ничего. Все будет хорошо. Отлично даже, чтоб меня леший утопил.

Чургин усмехнулся: волнуется ведь старый, а нет же, не подает вида.

Ленин с первых же слов пошел в атаку на тезисы Маслова — они были опубликованы в специальном сборнике, как и другие. И в зале стало так тихо, что отчетливо было слышно, как бежали на улице и стучали копытами лошади, а со стороны порта доносился тяжкий гудок парохода.

— ...Аграрная программа, которую вам намерен предложить товарищ Джон, ошибочна и вредна. Ибо муниципализация помещичьей земли вместо национализации ее, вместо конфискации без какого бы то ни было выкупа, как предлагаем мы, большевики, есть половинчатость, непоследовательность, неполный или урезанный реакцией демократический переворот, коего ни один здравомыслящий и мало-мальски уважающий себя марксист никогда в свою программу не запишет,— звонко и напористо начал Ленин.

Меньшевики молчали. Молчали и Плеханов и Маслов. Они не были согласны ни с единой буквой доклада, начавшегося прямо и без обиняков с критики их проекта программы, но, видимо, хотели поймать Ленина на слове и ждали случая.

Надежда Константиновна насторожилась. Она чувствовала: за этим молчанием последует буря. Успеет ли Ильич сказать все? И она тихо сказала Луке Матвеичу:

— Неужели у них хватит сил промолчать весь доклад? Это было бы просто невероятным.

— Пока молчат,— значит, возразить нечего.

Маслов — Джон первым нарушил тишину и вызывающе крикнул:

— А Каутский считал национализацию нелепой в буржуазных условиях!

Ленин тотчас же ответил:

— А вы, товарищ Джон, почитайте Каутского еще разик, его «Аграрный вопрос». Там вы найдете написанное черным по белому, что Каутский считал национализацию нелепой в условиях Мекленбурга, но вполне уместной для Австрии и Англии...

Большевистские делегаты зааплодировали, послышались возгласы одобрения, а Луначарский громко крикнул:

— Совершенно правильно: Каутский именно это и говорил Розе Люксембург!

— Товарищ Джон хвалит петуха за то, что тот хвалит товарища Джона.

Это сказал Иванович. Ему что-то ответил Жордания, и поднялся шум.

Надежда Константиновна горько вздохнула и сказала с тревогой:

— Не дадут они ему прочитать доклад. А Ильич ночи не спал, готовился.

— Никуда они от его доклада не денутся. И он в долгу не останется, уверяю вас,— успокаивал Лука Матвеич, а про себя отметил: «Ничего этот

съезд доброго не принесет, уже видно. А на местах что будет — не приведи бог».

Чургин слушал Ленина и старался не пропустить ни одного слова, тем более что записывать речь было нельзя, а говорить о ней на местах придется не раз.

Ленин продолжал потрошить Маслова:

— ...Проект товарища Джона — это маниловщина, плод без сока, без жизни. Он не призывает к революционному способу осуществления аграрного переворота в России. Фразы о демократизме, которыми он наполнен сверх всякой меры и надобности, еще ничего, ровно ничего не означают и ни о чем не говорят. Кадеты тоже называют себя демократами, однако это нисколько не мешает им подобострастно обивать пороги самодержавия и входить с ним в сделку против народа...

Плеханов не выдержал и подал голос в поддержку Маслова:

— А по-моему, муниципализация будет способствовать реформе нашего землепользования, и поэтому она да здравствует.

Ленин обернулся к бюро съезда, где восседал Плеханов, и насмешливо переспросил:

— Вы так полагаете? А я полагаю, что товарищ Плеханов в который раз напрашивается на комплименты кадетов, которые он так часто, к сожалению, слишком часто, стал получать со страниц буржуазной либеральной прессы за последнее время... Да поймите же вы, уважаемый товарищ Бельтов, что оной муниципализацией всего лишь можно добиться либерально-чиновничьей кадетской реформы в землепользовании, но только не революционного захвата помещичьих земель!

Большевистская часть делегатов одобрительно захлопала в ладоши, кричала: «Правильно!», «Верно!», но меньшевистская молчала, потому что молчал Плеханов.

Ленин же продолжал страстно, с огоньком:

— ...Только революционные крестьянские комитеты могут решить и безусловно решат коренным образом коренной вопрос землепользования и упразднят действительно крепостнические порядки в России, решат, поддерживаемые революционным натиском всего пролетариата, новым, поистине всенародным революционным взрывом. Так и только так стоит вопрос, товарищи! — с неизбывным, вечно юношеским пылом произнес он, резко взмахнув рукой, в которой была зажата брошюра — тезисы его доклада.

— Именно так, Владимир Ильич! — басом оглушил всех Чургин.

— Береги голос для будущего, милый, — пошутил Лука Матвеич.

Надежда Константиновна беспокоилась:

— Боюсь я, собьют Ильича и помешают. Уж я-то их знаю, масловых и данов.

— Не собьют, ничего. А собьют — так на свою же голову, — ободрял ее Луначарский, что сидел позади.

И в это время случилось неожиданное: Плеханов, воспользовавшись секундным перерывом в речи Ленина, решил сострить и сказал своим бархатным голосом:

— Товарищи, Ленин противоречит сам себе... Он стоит за отмену сословий революционным путем и одновременно предлагает нам учредить

крестьянские, сословные тож, комитеты. Ленин – эсер и народоволец.– И расплылся в улыбке, явно довольный, что подложил противнику такую мину.

Лука Матвеич что-то шептал Луначарскому, и тот крикнул своим задиристым голосом:

– Совсем по Гоголю: «Бачь, яка кака намалевана! Ратуйте, братие, кто в бога вирує!»

Раздался гомерический хохот, взорвались хлопки, заскрипели стулья, и зал как бы пришел в движение.

Надежда Константиновна сидела белая как полотно и вздыхала. Уж такого от Плеханова и она не ожидала.

– Репликами не сбили, так остротами решили. Срам. И кто острит? Плеханов... Но ничего, они сейчас получат свое сполна.

– Вот именно. Не на того напали. Ильич в долгу не останется,– уверил ее Лука Матвеич, а Чургину сказал: – Приготовься: тебя записали, я видел...

Ленин поднял руку и, подождав, пока веселье улеглось, металлически-звонко объявил:

– Я принимаю вызов товарища Плеханова! Более того: я благодарен ему за столь великолепную остроту и постараюсь ответить ему...

И разом в зале стало тихо. Ленин согласен с такой убийственной репликой Плеханова? И еще благодарит? Ну, значит, что-то будет. Уж кто-кто, а Ленин в долгу не останется.

Плеханов тоже перестал смеяться, обернулся к Ленину всем корпусом и приготовился слушать. Он видел, что Ленин делает блестящий доклад, страстно, горячо и убежден в правоте своих идей. Плеханову это нравилось, и ему тем более хотелось услышать, что же ответит докладчик на его шутку.

Ленин выждал и при абсолютной тишине, с пылом, с огоньком и даже с азартом вошедшего в игру знатока всех ее премудростей, сказал:

– И знаете, эта острота товарища Плеханова не лишена юмористического чувства... У Ленина есть в проекте идея захвата власти крестьянами? Великолепно! Но в таком случае он эсер самый первостатейный. У Ленина есть в проекте идея захвата власти народом? Великолепно! Но в таком случае он народоволец самый древний. Но вот вопрос: кто же должен захватить власть в деревне? Крестьяне, разумеется. Под руководством рабочего класса. Каким образом крестьяне могут захватить эту власть? Само собой разумеется, при помощи крестьянской же революции. А кто, позвольте вам напомнить, уважаемый Георгий Валентинович, говорил, что марксисты не должны бояться крестьянской революции? Плеханов. Стало быть: Плеханов – народоволец и эсер?! Следуя его в высшей степени остроумной логике, он и есть народоволец и эсер одновременно, что и требовалось доказать...

Зал не просто задрожал от взрыва смеха и аплодисментов. Зал затрещал и зазвенел и как бы закачался оттого, что делегаты задвигались, а некоторые вскочили со своих мест и зашумели, закричали:

– Браво Ленину!

– Уложил насмерть!

– Подорвал Плеханова его же снарядом!

Плеханов не улыбался, Плеханов насупился, двигал большими бровями вниз-вверх, что-то пытался писать на листке или на скатерти или просто водил по ней пальцем – не понять было. Одно можно было понять: самочувствие его было не из блестящих, и он ерзал на стуле, что-то шептал председателю, но тот ничего не мог поделать, смеялся и шарил по столу, ища колокольчик и не находя его. А колокольчик-то держал в руке Плеханов.

Ленин поднял руку, подождал, пока шум улегся, и теперь уже с уничтожающим сарказмом, с явным превосходством над своим оппонентом и его друзьями резко спросил:

– Что же получается, товарищи? Ласковое «вырывание» власти у самодержавия при помощи либеральной буржуазии, как нам советуют делать товарищ Плеханов и его друзья из меньшинства,– это марксизм на все сто процентов. А захват власти революционным путем, как советует нам делать Маркс,– это народовольчество? – И, повернувшись к мрачному и уже сердитому Плеханову, бросил ему без обиняков: – Да сведите же вы концы с концами, Георгий Валентинович! Нельзя же, недопустимо на склоне лет так безбожно перевирать Маркса, так слепо плутать в трех соснах и путаться в вещах, знакомых всякому мало-мальски грамотному марксисту с пеленок!..

Поднялся шум невообразимый, крики одобрения, возмущения, угрозы.

– Вот так их! Под корень!

– Нельзя же с Плехановым?

– Он пошутил, а Ленин сразу на лопатки...

– Ленин в поддавки не играет!

– А «Не надо было браться за оружие» – тоже шутил? Позор!

– Ленинизм поднял забрало! Прервать съезд!

– А ленинизм никогда и не опускал забрала, а идет в открытую!

Плеханов махал обеими руками перед лицом, будто на него пчелы налетели, потом отодвинулся вместе со стулом, встал и заходил взад-вперед. Нервничал.

– ...Ну, вот и все,– подвел итог Лука Матвеич, обернувшись к Надежде Константиновне.– А вы волновались.

Надежда Константиновна улыбалась и дрожала от все еще не прошедшего напряжения или от радости, что все так обернулось, что Ленин все поставил на место. И она мысленно говорила: «Хорошо, очень хорошо получилось, Володя. Я знала, я чувствовала, что ты найдешь ответ на этот вызывающий поступок Плеханова. Ты нашел его с блеском. Ты ушел от Плеханова на годы вперед, родной. Это теперь видят даже рядовые партийцы...»

Второй доклад по аграрному вопросу делал Маслов, но он не привлек внимания слушателей. Маслов почти всю речь посвятил полемике с Лениным и обвинил его во всех грехах: и в том, что он зовет революцию не вперед, а назад, и что реакция воспользуется попыткой национализации и восстановит крестьянство против революционеров, и что вообще проект Ленина – «стремится не организовать революцию, а дезорганизовать, распылить ее на мелкие крестьянские комитеты».

Подобное все уже слышали не раз: обычные полемические приемы, не очень убедительные, не очень доказательные, зато очень фракционные, лишний раз показывающие, как далеки стали друг от друга обе половины партии: меньшинство, по сути дела, не шло дальше обычных демократических лозунгов о земельных преобразованиях в деревне.

Плеханов выступил вслед за Масловым, и тут все его почитатели затаили дыхание: вот кто загонит Ленина и ленинистов в угол наверняка. Однако Плеханов своим бархатистым голосом начал не с полемики с Лениным, а с истории об отрезках, потом перешел к разногласиям на Втором съезде и, наконец, сел на своего конька: вспомнил историю Индии и Египта, Китая и все это заключил: посему он считает программу Ленина антиреволюционной. А чтобы у слушателей не осталось сомнений, вызвал из небытия дух Наполеона и поведал, как император говорил о полководце, который рассчитывает на случайное стечение обстоятельств.

Его экскурсы вызвали ликование меньшинства, лица всех засияли, засветились в ожидании полного разгрома большевиков. И было похоже, что меньшевики только затем и съехались сюда, в Стокгольм, за тридевять земель от своих организаций, чтобы похоронить большевизм возможно шумнее и возможно надежнее, а не затем, чтобы найти общий язык и объединиться для предстоящих новых дел, нового подъема революции.

Плеханов был главным противником ленинцев, как называли большевиков, и поэтому все ждали от него чего-то особенного и не пропускали ни одного слова.

Плеханов великолепно понимал это, но почему-то не переходил в атаку, а даже делал Ленину комплименты: мол, замечательный доклад, сразу видно, что делал его блестящий адвокат. Речь его лилась, как тихий и ласковый ручеек, голос звучал предельно мягко, так что его можно было вполне назвать бархатным, а если в нем и слышались критические нотки, то они облекались в такую мягкую форму, что и сказать было нечего: Ленин, мол, не совсем понял то-то и то-то, что я писал в своем «Дневнике», а еще раньше в «Заре» или говорил в году таком-то и таком-то, и во всей его речи, в самом тоне, хоть и строго академическом, товарищеском, было видно: да, за ораторским столиком стоит не просто Плеханов, один из делегатов, а учитель и наставник и духовный родитель всех здесь сидящих, в том числе и Ленина, который все-таки приезжал в пору своей марксистской молодости именно к нему, Плеханову, и вел себя в высшей степени пристойно и с подобающим уважением, если не сказать — с любовью. А потом...

Плеханов все помнил, что было потом, и ничего не забывал, но он был убежден непреклонно: не ему, Плеханову, которого знает вся Европа, пристало придавать особенное значение расхождениям с Лениным: не новы они, не нов Ленин в своей неистовой воинственности и настойчивости. Видел он, Плеханов, на своем веку многих, не одно копье сломал в борьбе с ними, и вот имена их давно канули в Лету, а он живет и здравствует. Так будет и впредь. И иначе быть не может.

Однако здравый смысл подсказывал: нет, так может и не быть. Да, Европа еще мало знает Ленина, хотя и наслышана о его неуступчивости в спорах со старой гвардией русской социал-демократии. Зато Ленина хорошо знает

революционная Россия, низовые партийцы, и говорят, многие из них готовы за ним в огонь и в воду. Значит, Ленин – это нечто новое в социалистическом движении, и не только России.

Но самолюбив был Плеханов и слишком привык к кличке «Патриарх русской социал-демократии», поэтому и не признавал ни за кем права быть выше его в любом случае и по любому поводу, а, наоборот, считал своим извечным правом наставлять каждого, независимо от того, друг ли это или враг, и не хотел и слышать о том, что жизнь идет вперед и выдвигает новых людей и новых лидеров революции и ее масс.

Нет, он не был высокомерен в борьбе со своими противниками. Наоборот, он бывал и мягкосердечным и даже слишком деликатным и разил не столько голосом и характером, сколько великолепным знанием сути дела и всех его трансформаций в прошлом, в настоящем и в будущем, которое виделось ему с высоты его знаний, как учителю видятся возможные повороты судьбы своего ученика.

Сейчас он отвергал проект Ленина по аграрному вопросу с легкостью, казалось, и логичностью прямо-таки железной:

— ...Я уже говорил, что аграрная история России более похожа на историю Индии, Египта, Китая и других восточных деспотий, чем на историю Западной Европы. В этом нет ничего удивительного, потому что экономическое развитие каждого народа совершается в своеобразной исторической обстановке. У нас дело сложилось так, что земля вместе с землевладельцами была закрепощена государством, и на основании этого закрепощения развился русский деспотизм. Чтобы разбить деспотизм, необходимо устранить экономическую основу...

Да, конечно, думалось каждому. Иначе и быть не может. И никто не мог ничего возразить. Да и куда там было возражать! Курам на смех было бы это при всем честном народе.

Так думал и Чургин. И вдруг Плеханов заключает свою мысль совсем неожиданным:

— Поэтому я против национализации.

Сказал – и все. И умолк. Как оракул. Да еще под аплодисменты своих единомышленников. Возразить ему? Но за спиной у него вся история! Всего света! Как тут подступиться?

Чургин не был силен в аграрных вопросах, но хорошо знал дела земельные на Дону и думал: ну хорошо, допустим, он приедет в Кундрючевку и скажет: надо передать всю землю вашей общине – и все пойдет тогда хорошо. А Игнат Сысоич конечно же ответит ему: а она, земля эта, у нас и находится в ведении общины — казачьего круга, а что от того толку? У меня ее как не было, так и не будет. У Загорулькина же ее хоть отбавляй, и богатеет он на ней за милую душу, а наш брат мужик прозябает. Что будет, если и меня примут в казачью общину? А ничего не будет: у меня конь да корова – много ли обработаешь? А у Загорулькина полный баз скотины, и он в силах поднять хоть сто десятин.

Чургин вспомнил рассказы Ермолаича из России: у того тоже были только руки, а скотины – ни головы. Передай помещичью землю общине – ничего не изменится, и там есть свои загорулькины, которые и захапают ее, потому что могут обработать сколько душе угодно. Именно тут-то и ошибаются эсеры, требуя передачи земли общинам.

И Чургин вдруг понял: а ведь требование муниципализации и есть эсеровщина в самом чистом виде! Неужели такой человек, как Плеханов, не понимает этого?

Раздумья Чургина нарушил вновь поднявшийся шум, а сквозь него донеслись монотонные слова Плеханова:

— ...Вот почему я отвергаю национализацию. Проект Ленина тесно связан с утопией захвата власти революционерами, и вот почему против него должны высказаться те из вас, которые не имеют вкуса к этой утопии.

— Но имеют вкус к требованиям кадетствующих либералов, готовых покрасоваться на кулацком миру всего лишь за чечевичную похлебку со стола самодержавия! — горячо бросил из президиума Ленин. — Да вас сам Петр Струве облобызает за такие слова.

— И запишет в первые ряды легальных марксистов! — крикнул Луначарский.

Поднялся гвалт, крики:

— Лишить слова Луначарского!

— Извинитесь перед патриархом партии!

А Жордания выбежал в проход и, запинаясь, сказал:

— Требую слова! Нельзя так оскорблять оратора! Петр Струве — предатель марксизма, а Георгий Валентинович — наследник Маркса!

Надежда Константиновна сказала Луке Матвеичу:

— Вот этим они и берут: криками, истерикой. И этим способом провалят наши резолюции.

— Да. В такой обстановке ни о каком объединении не может быть и речи, — задумчиво произнес Лука Матвеич.

Плеханов помолчал, как бы пожевал свои пышные усы и продолжал:

— Я повторяю вслед за Наполеоном: «Плох тот человек, который рассчитывает лишь на благоприятное стечение обстоятельств». Впрочем, я не безусловный сторонник муниципализации. Я думаю, что если бы нам пришлось выбирать между национализацией и разделом, то в интересах революции следовало бы предпочесть раздел. Вот в чем заключается разница между моими взглядами, с одной стороны, и взглядами Ленина — с другой. Вы можете склониться к тому или другому из них, но вы должны понимать, что совместить их невозможно...

Теперь раздались уже не просто голоса одобрения, а крики восторга, так что даже председательствовавший Дан не мог управиться с ними. Тогда Чургин, встав во весь рост, как в набат ударил:

— Уважаемые, а вы-то сами совместимы с революцией, с современной русской революцией, или вы живете воспоминаниями о Рамзесе Втором? Это же позор — склонять съезд к архивной пыли истории аграрных отношений древности!

В зале стало тихо-тихо. Все обернулись в сторону Чургина, переглядывались: одни восторженно, мол, знай наших, большевиков, другие, меньшевики, даже вытянули головы, стараясь рассмотреть человека, осмелившегося сопричислить самого Плеханова к архивной пыли истории.

И вдруг раздались крики возмущения, требования извиниться перед оратором, предложения проверить мандат Чургина.

А Чургин вышел из зала, закурил, пустил несколько синих колец дыма под низкий потолок и хотел было выйти на улицу размяться, но к нему подошел Красин и сказал:

— А вы, коллега, острый на язык, оказывается. Рюмин не зря мне говорил, что с вами спорить прямо-таки огнеопасно... Красин моя фамилия,— представился он и засыпал вопросами о своем друге Михаиле Рюмине.

Чургин мало знал Рюмина, но был обязан ему досрочным освобождением и сказал с признательностью:

— Хороший товарищ! Вот он действительно огнеопасный: может сгореть прежде времени, если не окажется сдерживающих начал.

Красину было приятно слушать такие слова, и он сразу как-то проникся уважением к Чургину и пригласил его посидеть вечер в кафе. Но Чургин поблагодарил и отказался.

— Предполагается мое выступление, завтра. Придется ночь не спать.

— Против Плеханова? Смотрите, он очень резок и горазд на остроты.

— Волков бояться — в лес не ходить.

Красин задумчиво почесал бородку и многозначительно улыбнулся. Достанет ли у этого инженера с громовым голосом сил схватиться с таким противником, как Плеханов? И он посоветовал:

— Вы его жизнью, жизнью рабочих и крестьян прижмите. Он ее не знает... Пойдемте выпьем по кружке пива и потолкуем. Вы мне сразу понравились, Илья Гаврилович.

В это время из зала донеслись горячие слова Луки Матвеича.

— ...Плеханов говорил слишком мягко и слишком бархатно. Он все, видите ли, знает наперед: и то, что национализация приведет к реставрации реакции, и то, что против этого именно предупреждал еще Маркс, а за ним — Каутский, не говоря уже о таких своих учителях, как император Наполеон или китайский реформатор Ван Ган-че. Одного не знает товарищ Плеханов: что же, в сущности, представляет собой проект товарища Ленина и почему его поддерживает половина партии...

В зале поднялся веселый шум. Плеханов смеялся и приглаживал усы, явно полагая, что оратор попал в западню, или предвкушая, как он разделает его, оратора, завтра. И что-то записал в блокнотик, такой маленький, что в нем и записывать-то было можно разве что через микроскоп.

Лука Матвеич продолжал все с большим пылом:

— ...Но товарищ Плеханов, оказывается, располагает еще и великолепными сведениями об аграрных отношениях в казачьих районах, в частности на Дону, и говорит, что казачество потому и сплошь реакционно, что цари на веки вечные наделили его землей, то есть муниципализировали войсковые земли. Попробуй, мол, царь национализировать их — и казаки пойдут войной на царя...

— Совершенно правильно изволили излагать мои слова, товарищ...— подал голос Плеханов и спросил: — И что за сим следует, по-вашему?

Лука Матвеич набрал воздуха, будто до вечера собирался говорить, и ответил:

— За сим следует одно-единственное, товарищ Плеханов: вы не знаете аграрных отношений среди казачества, не знаете того, что многие казачьи

части выступали в пятом году вместе с восставшим пролетариатом, не знаете, что в станицах идет и все более ускоряется все тот же процесс капитализации верхушки казачества и пролетаризации беднейшей части казаков...

— Совершенно верно! — подал голос вставший в дверях Чургин. — Плеханов знает только одно обстоятельство: во что бы то ни стало забраковать проект большинства — и разжигает страсти против нашего докладчика, против товарища Ленина. Срам, а не приемы партийной критики!

— Верно-о!

— Против Ленина он нацеливает все свои стрелы!

— Пора положить конец таким недостойным приемам!

Голоса одобрения и возмущения и протесты слышались со всех сторон, и председатель Дан ничего не мог поделать, а что-то говорил, жестикулировал правой рукой, пока наконец не вскочил с места сам Плеханов и потребовал записать слова Чургина в протокол.

— Этот инженер с граммофонной трубой вместо горла мог бы выступать за дьякона в любом соборе! Требую от председателя не давать слова вне очереди! Или я откажусь от заключительного слова! — выкрикнул он.

Угроза подействовала на Дана самым странным образом: он сам объявил, что сложит с себя полномочия председателя, если делегаты будут пререкаться с ораторами.

Красин увел Чургина подальше от двери и там лишь дал волю смеху, а потом сказал:

— Ваше присутствие отрицательно сказывается на роли председателя и на настроении Плеханова. Если вы и впредь будете подавать подобные реплики, съезд будет заседать до следующего года... Эка голосок! Вам бы петь вместе с Шаляпиным, право. Князя Игоря — вы, а Шаляпин — Кончака.

Чургин пообещал более не подавать реплик ораторам и ждать, когда ему предоставят слово для выступления.

Плеханов говорил все тем же бархатным, даже сладким голосом:

— ...С Лениным мне пришлось сломать не одно копье во взаимной борьбе. Тем приятнее мне, что я могу начать свое возражение ему с комплимента. Он прекрасно говорил...

Все насторожились: Плеханов не станет расточать комплименты за здорово живешь и, конечно, сейчас подложит какую-нибудь пилюлю большевикам и Ленину. Но Плеханов ничего пока не подкладывал, а стал говорить совсем о других вещах: о том, что в России еще не установилась такая политическая свобода, какая установилась в Швейцарии, или в Англии, или в Америке; что в Англии добивался национализации земли Генри Джорж, а против него выступал Гайдман, вожак социал-демократической федерации. Потом спорил с Луначарским, уверил его, что он, Плеханов, не боится красного цвета, затем сказал, что он, Плеханов, «в революционном отношении переживает бабье лето», наконец, заверил, что он не боится «никакой революционности», и сказал с печалью в голосе:

— ...Ленин понижает уровень революционной мысли, вносит утопический элемент в наши взгляды. А против этого я буду бороться до тех пор, пока не пройдет для меня и осень, и зима... Положение дел таково, что между мною и Лениным существуют в высшей степени серьезные разно-

гласия. Этих разногласий не надо затушевывать... Бланкизм или марксизм – вот вопрос, который мы решаем сегодня...

Эти слова были так неожиданны для всех и так не вязались со всем тем, о чем шла речь, что делегаты не знали, что и сказать. Плеханов пошел ва-банк, это было ясно. Против Ленина лично. Сказал, что за Лениным идет половина партии, сказал, что Ленин прекрасно говорил, – и вдруг такой поворот...

– Вот и цена его сладким речам. А ведь Ильич был предельно вежлив, говоря о нем, – тихо сказала Надежда Константиновна и вздохнула. Да, она, как и все большевики, видела: Плеханов не только отходит все дальше от того Плеханова, которого все уважали искренне, любили даже, в том числе и Ленин, если не сказать – особенно Ленин. На что надеяться и что ждать от съезда?

– Да, мягко стелет, да жестко спать кому-то придется. Но Владимир Ильич не воспользуется такой его любезностью, и кажется мне, что спать на той постели придется самому Георгию Валентиновичу, – говорил Лука Матвеич.

Плеханов продолжал между тем почти что трагически:

– ...Заметьте, мы с Лениным, с одной стороны, очень близки, а с другой – далеки друг от друга. Ленин говорит: мы должны доводить дело революции до конца. Так... Но вопрос в том, кто из нас доведет до конца это дело? Я утверждаю, что не он...

И Ленин, все время не проронивший ни звука, вдруг громко и резко сказал:

– Не я, не я... Совершенно с вами согласен. Это дело доведет до конца партия, большевистская партия, пролетариат России. За это я ручаюсь головой.

Поворот ленинской мысли был совершенно неожиданным, настолько неожиданным, что меньшевики растерялись и умолкли, и сам Плеханов не ожидал этого и не знал, как ответить. И он, прорываясь сквозь одобрительный шум большевиков, повторил:

– Я утверждаю, что не Ленин доведет до конца революцию.

И тут Чургин не сдержался и дал повод для разговора, который остался в его памяти на всю жизнь:

– Неправда! Вы не знаете России и рабочего класса! – крикнул он и заставил всех замолчать.

Плеханов посмотрел на него, выделявшегося среди всех своей фигурой, и продолжал, ни на йоту не повышая голоса, как во время лекции:

– ...Я утверждаю, что семнадцатое октября пятого года ничего не может изменить в нашей оценке идеи захвата власти. Наша точка зрения состоит в том, что захват власти обязателен тогда, когда мы делаем пролетарскую революцию. А так как предстоящая нам теперь революция может быть только мелкобуржуазной, то мы обязаны отказаться от захвата власти...

Ленин громко бросил в зал:

– Поистине великолепный, прямо-таки восхитительный образец поведения прекраснодушной душечки, за которое кадеты и все кадетствующие либералы готовы будут еще раз расцеловать нашего уважаемого товарища Плеханова! Берите-де власть, наслаждайтесь в полное свое удовольствие, господа! Мы и не помышляем мешать и даже «вырывать» ее у вас из

рук. За кого вы нас принимаете? Мы же – марксисты, помилуйте! – воскликнул он и, встав, бурно заходил возле стола, забросив руки назад, а потом остановился и спросил гневно и горячо, глядя в упор на Плеханова: – Вы отказались от декабрьских событий, осудили вооруженное выступление пролетариата России. Сейчас вы отказались от захвата власти этим пролетариатом в грядущей схватке с самодержавием. Позволительно спросить: что, по-вашему, есть марксизм, а что – Бернштейн, Струве и компания?

Плеханов не смутился, Плеханов улыбался и что-то говорил, оборотясь к Ленину, но его слов не было слышно: зал гудел от одобрения, а Чургин стоял и хлопал в ладоши и кричал, как мальчишка:

– Не в бровь, а прямо в глаз!

Он еще что-то кричал, да его дернул за руку Лука Матвеич и укоризненно заметил:

– Выйди на трибуну и скажи, чтобы все услышали. А так что ж? Так Плеханов сомнет тебя одной фразой.

Надежда Константиновна была рада, что так идет дело, и уже не волновалась, а сказала Чургину тепло и сочувственно:

– Вы молодец. А Лука Матвеич просто пошутил. Он сегодня что-то в веселом расположении духа, все время шутит. А я все время волнуюсь, признаться. Теперь-то уже успокоилась: Ильича не так легко поставить в тупик.

Лука Матвеич посматривал на Чургина с любовью и гордостью, а Надежде Константиновне говорил:

– Этот маху не даст. Шахтер... Самому Плеханову не смолчит. Добрый хлопчик вымахал. Сегодня оглобли можно на спине гнуть, а завтра – Кавказский хребет понесет, не споткнется.

Надежда Константиновна подумала: «Любит ведь и души не чает, старый, а по лицу ничего и не приметишь». И ей было самой радостно за него, за то, что в партии есть такие люди, такие характеры, такие таланты революции. И она про себя заключила: «Ильич непременно полюбит такого».

Во время перерыва Чургин подошел к Ленину и несмело спросил:

– Владимир Ильич, когда же мне дадут слово для выступления?

Ленин оценивающим взглядом посмотрел на него, настороженно спросил:

– По какому вопросу, если не секрет? По аграрному или по думскому?

– По всем, – бухнул Чургин.

– Гм, гм. А вы взволнованы. Это вы там перекричали всех? Слышал и видел. Очень хорошо получилось: именно не в бровь, а в глаз!

Чургин смутился, вытянулся под самый потолок и ответил невразумительно:

– Ну уж, Владимир Ильич... Как сумел, так и сказал. И еще скажу, коль позволите.

– Позволим, обязательно позволим, Илья Гаврилович. И, знаете, вы мне нравитесь, положительно начинаете нравиться, честное слово.

Он ушел куда-то, а Чургин закурил и пошел в фойе.

В фойе было много народу, было много шуму, дым стоял коромыслом. Некоторые, уединившись, ели бутерброды, другие спорили громко, сердито.

— Товарищ Гаврилов!..

Чургин обернулся – и увидел Ивановича, жевавшего бутерброд.

— Хотите подкрепиться? – предложил он и, взяв с подоконника бутерброд, отдал его Чургину.

— Благодарю... А вы все же выступили со своим «разделом» зря.

— Зря, согласен. Плеханов поддержал даже. А раз поддержал лидер меньшевизма,— значит, я допустил ошибку. И съезд этот — ошибка.

Иванович пожевал кусочек сыра и продолжал:

— Не понимаю я: зачем мне нужно объединяться с Жордания? Не надо мне объединяться с Жордания. Он — изменник марксизму. С изменниками разговор может быть один: вон из партии.

Чургин ответил не сразу, а посмотрел на делегатов, большинство которых были меньшевики, и глухо произнес:

— Надо попробовать и этот путь. Так сказал Владимир Ильич. От этого мы не перестанем быть большевиками, я полагаю.

— А если они будут строить против нас свои заговоры? Стараться захватить партию?..

— Но Ленин сказал...

— Ильич сказал, да. Но рядовые партийцы-большевики посмотрят на нас не совсем хорошо. Очень плохо посмотрят. Придется нам объяснять необъяснимое.

— Тише, вон идет Плеханов и ваш Жордания с Даном. На нас смотрят.

— А наплевать, кто на нас смотрит, дорогой. Важно, что мы на них не смотрим.

Плеханов шел медленно и устало, с палкой в руке, в наглухо застегнутом сюртуке и жестком воротничке, из-за которого ему было трудно поворачивать голову, но белизне которого мог бы позавидовать снег, и при каждой фразе его темная бородка и большие усы шевелились, а белый галстук, казалось, дышал, как живой.

Дан что-то пошептал ему, глазами указал в сторону Чургина. Плеханов измерил его с ног до головы любопытным взглядом, пригладил усы, точно предвкушая удовольствие, и, подойдя ближе, спросил так ласково, будто перед ним был провинившийся юноша:

— Это вы-с, молодой Илья Муромец, изволили кричать мне из зала? Нехорошо, нехорошо так вести себя на съезде.

Чургин слышал, как кто-то прыснул, как кто-то сказал: «Ну, держись, шахтер!», и ответил слегка дрогнувшим голосом:

— Я не имел привычки кричать даже тогда, когда на меня «садилась» лава, товарищ Плеханов. Вы согласитесь, что «кричать» при виде вас мне не было решительно никакой нужды. Я просто сказал вслух то, что думал.

— А он не лыком шит.

— Грубиян он — вот и все.

Плеханов, наклонясь к Дану, что-то спросил его, но тот пожал плечами и обратился к Чургину:

— Георгий Валентинович не знает, что такое лава.

— Подземелье, галерея под землей, где добывают уголь,— ответили позади Чургина.

— Благодарю,— кивнул Плеханов.— И о чем же вы думали, позвольте

спросить, что так громко кричали во время моих выступлений? – допрашивал он Чургина явно для того, чтобы ответить остротой.

– Я думал о том, что Плеханов и Ленин – это два пути революции, две истории, – ответил Чургин.

– Молодчина! – одобряли позади.

Плеханов нахмурился, усы его шевельнулись, в глазах сверкнули огоньки, но он не вспылил, а мягко обратился к Чургину:

– Молодой человек, ваша, очевидно теперь уже покойная, бабушка еще учила вас ходить по этой грешной земле, когда покорный ваш слуга издал «Монистический взгляд на историю». Не находите ли вы более приличным перелистать эту работу вместо того, чтобы задавать мне вопросы о том, что есть боженька, а что черт? Право же, ваш могучий рост и такой же голос мало говорят о вашей учтивости и тем более о ваших познаниях окружающей действительности.

На этот раз раздался смех, недружные аплодисменты и голос:

– Все!

Чургина точно кипятком обдали. Подобного он еще не слыхивал ни от кого в своей жизни, даже от хозяина шахты. Вся гордость восстала в нем, а уважение к этому человеку как ветром сдуло, и в груди загорелась такая обида, что хотелось одной фразой уложить всех.

Но он смотрел на Плеханова, курил и пускал дым кольцами так, что тот обратил внимание на них и восхищенно повел глазами по сторонам. Ни одним движением лица, ни одним взмахом длинных белявых бровей Чургин не выдавал своего крайнего напряжения и сказал медленно, не торопясь:

– Я все знаю, товарищ Плеханов, что вы написали, в том числе и названную вами работу, по которой мы, русские рабочие, учились марксизму. Вначале учились...

– Вначале! Вы слышали, господа? – улыбнувшись, обернулся Плеханов ко всем и спросил у Чургина с явной насмешкой: – А теперь, позвольте осведомиться: ныне вы не читаете моих работ? Русские рабочие?

– Читаем, Георгий Валентинович. Не всё, правда, – ответил стоявший позади Лука Матвеич. – Расскажите, товарищ Гаврилов, все товарищу Бельтову. Он так редко видит живых русских рабочих и так редко разговаривает с ними...

Плеханов глянул на него, как со сторожевой башни, с усмешкой произнес:

– А-а, товарищ Лука... Слышу, слышу ваш голос. Вдохновлять решили своих учеников? Благородное дело.

Чургин ответил:

– И не только читаем. Мы храним те ваши книги на полках...

Плеханов засмеялся и прервал его:

– Господа, а Плеханова все же, оказывается, читают и хранят. Где Ленин? Ему это небезынтересно знать.

– Да, – продолжал Чургин. – Храним потому, что в тех книгах вы говорили: «Революционное движение в России может восторжествовать только как революционное движение рабочих. Другого пути нет и быть не может...» Это было сказано вами в Париже, на социалистическом конгрессе в тысяча восемьсот восемьдесят девятом году.

– О да! – с удовольствием произнес Плеханов. – Вы действительно читали мои работы и знаете их. Это делает вам честь, товарищ Гаврилов.

И Чургина прорвало:

– Повторяю: я все знаю, что мне кажется достойным этого. Одного я не знаю: почему вы забыли о том, что писали? Почему вы забыли, что революционное движение в России идет сейчас именно как революционное движение рабочих в первую очередь, однако идет совершенно не так, как вы говорите в последние годы, как вы говорили только что?

– Позвольте... Господа, вы слышали? – оборачивался Плеханов то в одну сторону, то в другую.

Но Чургин решил сказать все. Жестко, глядя прямо в его белое лицо, он продолжал:

– Во-первых, вы не знаете нынешнего рабочего класса; во-вторых, не знаете своей измученной родины, ее пролетарских центров; наконец, вы не знаете современной русской деревни, ее современной демократической части в особенности. И на этом печальном основании день ото дня советуете нам, русским рабочим, стать мальчиками в коротких штанишках, бегать за хвостом либеральной буржуазии и таскать для нее каштаны из огня революции. Не нужны нам такие советы! Не нужны нам чужие каштаны!

– Правильно, – заметил Лука Матвеич.

– Как вы смеете, милостивый государь?! – повысил голос Плеханов.

– Уймите этого грубияна!

– Лишить его мандата! – кричали вокруг Чургина.

Но это была напрасная затея: сейчас Чургина не могли смутить никакие громы и молнии.

– Помолчите, вы! – трубным басом утихомирил он всех разом и, глядя на Плеханова ледяными немигающими глазами, продолжал: – Я хочу закончить свою мысль следующим, товарищ Плеханов: вы спорили, кто доведет революцию до конца, и заявили: «Не Ленин».

– Я готов повторить это, молодой человек, еще десять раз, – прервал его Плеханов, но Чургина уже невозможно было прервать, и он продолжал:

– Пролетариат России шел на баррикады именно с Лениным. Прошу запомнить: с Лениным, а не с вами, товарищ Плеханов. Вопреки вашим предостережениям. Наперекор вашим призывам. Против вас, рекомендовавшего нам таскать каштаны из огня революции для буржуазии, – рубил он отрывисто, гневно. – И именно Ленин и никто иной доведет революцию до конца. Рано или поздно. И именно Ленин и никто иной – вот наша судьба, революционных рабочих России. И мы пойдем за ним до конца. А вас, извините, вас мы оставим на книжной полке, как воспоминание о лучших днях истории. Спасибо вам за нее, историю становления марксизма в России. Но позор вам за то, что вы открестились от нее своими руками. Честь имею, – слегка кивнул он и, отойдя в сторону, закурил папиросу и затянулся раз, второй. И не пускал синих колец под потолок.

Это было беспрецедентно! Неслыханно! Так дерзить, так осмелиться вести себя с Плехановым?! И кто осмелился?! Никому не ведомый, очевидно, только что вступивший в партию, низовик!

Но Плеханов молчал, опустив голову и нервно постукивая о пол толстой палкой. И все молчали и растерянно переглядывались. Такого еще не было, никогда.

И вдруг Плеханов взорвался, резко стукнул палкой, поднял голову, поднял бородку и выкрикнул далеко не бархатным голосом:

— Молодой человек! Вы плохо читали Маркса, плохо читали мои работы. Вы бланкисты и ничто более — я утверждаю это! И вы еще пожалеете о такой дерзости, да-с! И вы еще вспомните Плеханова!

Он ушел в зал, сопровождаемый друзьями, а потом обернулся к ним и сказал усталым, расслабленным голосом:

— Оставьте меня в покое.

А возле Чургина столпились Лука Матвеич, Красин, Иванович, Луначарский, одобрительно похлопывали его по руке, многозначительно подмигивали и то и дело кивали в сторону, куда ушел Плеханов.

— Я рад за вас, Илья Гаврилович. Хорошо получилось,— сказал Красин.

— Просто, последовательно и доказательно. Молодец,— хвалил Луначарский.

— Они хотели баталии. Они ее получили, генацвале. Я завидую вашему характеру, вашему голосу,— торжествовал Иванович, и тут Лука Матвеич поддел его:

— Не завидуй. У тебя характер — дай бог. Жаль только, что ты выказываешь его не там, где следует.

— И ты, Брут,— усмехнулся Иванович, но, видя, что все умолкли, задумался, долго прикуривал трубку и, лишь когда пыхнул дымом, виновато сказал: — Это ложь, дорогой Лукьян. Это ошибка — так думать обо мне. Я просто хотел поделиться... Я хотел поставить на обсуждение съезда...

Лука Матвеич бросил свою трубку в карман и горячо насел:

— Он хотел поделиться! Палки в колеса друзей ты поставил — вот ты что сделал. И... «разделил» себя и друзей.

— Что ты, дорогой Лукьян?! Как ты можешь так думать обо мне? — смутился Иванович.

— А как слышал... Пошли, товарищи, пивка хлебнем, пока я с ним не поругался окончательно,— дернул Лука Матвеич за руку Чургина, но тот стоял, как столб, на месте и смотрел, смотрел на Ивановича. И ничего не говорил. И Красин молчал, и Луначарский...

Иванович шагнул к урне и стал выбивать табак из трубки. И разбил трубку вдребезги.

...Вечером, после заседания, Лука Матвеич и Чургин гуляли по набережной залива, разговаривали о Югоринске, о Леоне и ни словом не обмолвились о стычке с Плехановым, как будто ее и не было. Каждый понимал, что стычка была очень резкой и не очень приятной. Что скажет Ленин, который конечно же уже знает обо всем?

Залив шумел и плескался у набережной и брызгался во все стороны, выбрасывая под ноги гуляющих фонтаны воды, так что то и дело кто-нибудь охал и торопливо отбегал в сторону, однако Лука Матвеич и Чургин не замечали этого, и уже несколько раз вода окатила их с ног до головы, благо, мельчайшими брызгами.

Наконец Лука Матвеич сказал:

— Давай уходить, пока не промокли. Ветер-то свежий, ненароком и простудиться можно.

Чургин молча отошел в сторону, подальше от берега, и все курил, курил, и огонек папиросы его то и дело вспыхивал красноватым светом и далеко виднелся в сумраке ночи.

— Ленин... Не один,— предупредил Лука Матвеич, увидев на набережной, у памятника Густаву Третьему, группу гуляющих.

— Превосходная ночь, честное слово! И, кажется, будет буря... Как это у Алексея Максимовича там? Анатолий Васильевич, вам и карты в руки.

— «Буря! Скоро грянет буря! Это смелый Буревестник гордо реет между молний над ревущим гневно морем; то кричит пророк победы: — Пусть сильнее грянет буря!..» — прочитал Луначарский.

— Вот именно: пусть сильнее грянет буря! Пусть сильнее грянет революция! А уж мы постараемся, чтобы она кончилась победой и только победой пролетариата, народа. Вопреки нашему уважаемому Георгию Валентиновичу... Да, господа, вы слышали про инцидент между товарищем Гавриловым и Плехановым? Это вы мне рассказывали, Клавдия Тимофеевна?

— Ба! — увидел Ленин Чургина и Луку Матвеича.— Что же это вы, милостивые государи, таитесь в тени Густава Третьего? Под крылышком короля решили укрыться на всякий случай? А вот и не позволим-с, никак не позволим, чтобы монархи устраивали шашни с прекрасными революционерами.— Он подошел к Луке Матвеичу и Чургину и, взяв их под руки, привел к компании и сказал: — Полюбуйтесь, господа: Плеханов настолько перепугал их, что они решили искать защиты у самого величества. Каковы?

Лука Матвеич отшутился:

— Разве то величество? А я и не приметил, шибко галками засижен.

Чургин поздоровался, не сразу сказал немного грустным голосом:

— Я не повинен, Владимир Ильич. Георгий Валентинович сам пожелал начать разговор. Плохо он начал его. Я не привык к подобному, ну и немного того, перехватил.

— Да. Немного перехватили, насколько мне известно,— согласился Ленин и, покрутив медную пуговицу на кителе Чургина, задумчиво продолжал: — Ну ничего, не отчаивайтесь. Поделом ему попало, Георгию Валентиновичу. Нельзя более молчать, да-с! Плеханов много сделал для нас, русских марксистов, и для меня лично, и за это все мы премного ему благодарны. Но мы не можем вечно кланяться ему за его былые заслуги, не имеем права кланяться и, как бы то ни было прискорбно, приходится называть вещи своими именами: вы правильно изволили определить его нынешние ошибочные, архиошибочные убеждения и действия и в высшей степени превосходно назвали ему самую суть. Он неделю теперь спать не будет от волнения, сиречь от оскорбленного самолюбия. Уж я-то его знаю, сам не раз имел несчастье разговаривать с ним.

Он взял Чургина об руку, медленно повел по набережной и негромко попенял:

— А вот... гм, гм... о Ленине — напрасно, совершенно напрасно так говорить, товарищ Гаврилов, как вы изволили выразиться. Нехорошо это — выделять Ленина среди других товарищей. Я, как и вы, как и они,— кивнул он в сторону, где шли остальные,— солдат партии. Да, да, солдат. Не рядовой, нет, как и вы, как и Лука Матвеич, или Красин, или Луначарский, но все-таки солдат, и не следует делать из меня этакого

социал-демократического Наполеона. Это омерзительно, неестественно, противно духу и букве марксизма, да-с!

— Виноват, Владимир Ильич. Но я именно букве и духу марксизма и следовал, когда разговаривал с Георгием Валентиновичем.

— Когда разговаривали с ним, — да. Когда говорили обо мне, — нет.

— Не согласен, Владимир Ильич. И могу повторить эти слова в дебатах, когда вы дадите мне слово. Впрочем, я сказал все. Вычеркните меня из списка ораторов.

— Гм, гм. Хорошо, вычеркнем. А вы кременный, вижу. Люблю такие натуры, извините за сантименты, — улыбчиво заметил Ленин. — Крепко стоите на земле, не собьешь, коль даже Плеханову не удалось сшибить вас. А он умеет это делать с успехом, достойным лучшего применения... Ну-с, мы увлеклись, — остановившись, сказал Ленин и, подождав, пока все подошли ближе, сказал: — Виноваты оба: покалякали всласть и позабыли...

В это время на набережную взметнулись каскады воды, обдали всех брызгами, но никто их будто и не заметил, и все стояли и смотрели на море, на залив. А он бушевал, метался и бил в гранит с шумом и грохотом, потом откатывался назад, разгонялся и вновь бил неистово, даже шипел, будто злился, что не может искромсать его в пыль: крепок красный гранит, не так легко справиться с ним даже морю.

Чургин стоял рядом с Лениным, туго натянув фуражку с молоточками, наблюдал за морем и думал: там, за синей-синей теменью, — Россия. И над ней стоит такая же ночь и бушуют такие же ветры, еще более холодная ночь, еще более лютые ветры, и от них стынет в жилах кровь. Как долго там будет ночь и когда встанет солнце? Трудно было сказать, но Чургин знал точно: оно встанет, солнце, и даст людям новый день, ради которого человечество шло на муки, на страдания, на смерть на протяжении тысячелетий...

И Чургин выпрямился, посуровел и словно бы приготовился к чему-то важному и особенному в его жизни и пристально посмотрел вперед, в темную даль, как солдат перед дальним походом.

И Ленин весь напружинился и смотрел на море, на темные, шуршащие волны и, держа в одной руке шляпу, а другую отбросив за спину, звонко, с юношеским задором читал:

— «Буря! Скоро грянет буря! Это смелый Буревестник гордо реет между молний над ревущим гневно морем; то кричит пророк победы: — Пусть сильнее грянет буря!..»

И, помолчав немного, сказал:

— Великолепно, Алексей Максимович! Спасибо вам. Именно: пусть сильнее грянет буря!..

Глава девятая

Самодержавие поднимало забрало...

Еще гремели над Россией грозные раскаты революции и под залпы орудий и огненные сполохи народ кричал: «Смерть царизму!»

Еще не рассеялся дым и пепел от сожженной генералом Дубасовым геройской Пресни и не высохли слезы матерей на могилах расстрелянных.

Еще потемкинцы и очаковцы гневно бросали царским сатрапам: «Да здравствует революция!» – и падали мертвыми под дулами винтовок...

Еще военно-полевые суды строчили безжалостные приговоры восставшим пролетариям и крестьянам юга России и Поволжья, Украины и Сибири, Закавказья и центральных губерний, а Николай Кровавый уже обнародовал манифест, в котором «божьей милостью» лишил будущую Государственную думу «дарованных» 17 октября 1905 года конституционных свобод, сместил министерство Витте – Дурново и заменил его министерством Горемыкина, а чтобы будущие депутаты будущего русского парламента не вздумали бунтовать, ввел в стране военное положение и урезал избирательное право так, что крестьяне могли избрать в пятнадцать раз, а рабочие – в сорок пять раз меньше депутатов, чем помещики и фабриканты.

И 27 апреля I Государственная дума начала свою деятельность. Главенствовавшие в ней кадеты сбросили с себя маски народолюбцев и в ответном адресе на тронную речь царя «забыли» вписать самые популярные в народе требования Учредительного собрания и политической амнистии. А чтобы «подчеркнуть свое почтительное отношение к главе государства», как писал Петр Струве, послали к царю специальную депутацию для вручения адреса.

Но царь не принял ту депутацию «народных», «на вежливость заблагорассудив ответить невежливостью», как заключил с горечью все тот же Петр Струве. Понимал все же Петр Струве толк в изящной словесности, бывший марксист, нынешний холуй, будущий злейший враг революции.

Так, с «почтительным отношением» к Николаю Кровавому, начал свою холуйскую миссию первый русский парламент.

И демократический Петербург пришел в движение. То там, то здесь вспыхивали и организовывались митинги и собрания, произносились пламенные речи ораторов от левых партий, выставлялись решительные демократические требования.

На многолюдных митингах в Соляном городке настаивали перед думой на экстренном созыве народных представителей и образовании Учредительного собрания.

Такое же было и на митинге в Доме трудолюбия и в других местах.

«Союз инженеров и техников» принял резолюцию социал-демократов и избрал делегацию для вручения ее думе.

Солдаты пехотных частей столицы предъявили на своих митингах требования к правительству: предоставить места в думе их избранникам. То же постановили и гвардейцы Преображенского полка.

Грозное дыхание революции вновь приближалось к русскому трону, и он вновь зашатался и заскрипел, как старая, изъезженная колымага.

...Лука Матвеич и Чургин, вернувшись из Стокгольма в Петербург, еще как следует не поспали и по нескольку раз в день успевали бывать на митингах и собраниях. А Чургин, кроме того, еще и успевал помогать редакции газеты «Волна», принося корреспонденции с митингов.

– Идет, подымается наш Илья Муромец, как по лестнице,– говорил Лука Матвеич Надежде Константиновне.– Вроде высшие курсы политические проходит. Молодец шахтер.

Надежда Константиновна уважительно посматривала на него и улыбалась. Ей нравилась неуемная любовь Луки Матвеича к своим питом-

цам и гордость за них, но ей жалко было Чургина, и она заступилась за него:

— Довольно вам мучить его. Я смотрю, у Ильича с ним почти роман: они едва ли не каждый день вместе — то Илья Гаврилович приносит корреспонденции в «Волну», то набирает их после правки Ильича и опять бежит куда-нибудь по его поручению. У него железные ноги, что ли?

Лука Матвеич твердил свое:

— Ничего, он привычный. Под землей всю жизнь ходил. Пусть хорошенько научится ходить по земле. А Владимир Ильич знает, в кого вцепиться.

Этот разговор был вчера, во время собрания Франко-русского подрайона, где Ленин делал доклад о Четвертом съезде... Чургин вел протокол, написал корреспонденцию в «Волну», сам набрал ее, потом перебирал после правки. А сегодня Ленин наказал ему выступить на собрании «Союза инженеров и техников». Чургин не только выступил, а и предложил резолюцию, которая была принята единогласно. Это было его первое публичное выступление в Петербурге и первая составленная им резолюция.

И вот Ленин читал ее, сидя за столом в небольшой редакционной комнате газеты «Волна». На спинке стула висел его пиджак, на столе были ножницы, клей, а гранки лежали всюду.

«Собрание протестует против того, что партия конституционных демократов выбросила из ответного адреса на тронную речь основные народные требования, и видит в этом измену данным перед избирателями обещаниям. Собрание требует, чтобы дума добивалась решительно и незамедлительно полной амнистии политическим, смещения реакционно-бюрократических министров и созыва Учредительного собрания»,— читал Ленин и, подумав немного, все еще держа в руках корреспонденцию Чургина, сказал:

— Это хорошо, что вы приняли такую резолюцию. Вас, техников, двинуть на подобный шаг — дело громадной важности. Но следовало указать: «Истинно народного, действительно представляющего все демократические слои населения, Учредительного собрания...» Политические лозунги ни в коем случае не должны, не имеют права оставлять место каким-либо недомолвкам или неточностям. Иначе они — суть пустой, ничего не говорящий и ни к чему не обязывающий звук, батенька... Ну-с, поздравляю,— неожиданно заключил он.

Чургин смутился, басовито произнес:

— Ну что вы, Владимир Ильич... Не с чем, право. Да и мне казалось это правильным, а получилось...

— Получилось,— похвалил Ленин.— Быть может, поместим и вашу резолюцию в «Волне». Как вы полагаете? — искоса, как бы проверяя свои мысли, посмотрел он на Чургина.

— «Наша жизнь», наверное, скорее напечатает ее — инженер один понес уже.

— В таком случае отлично,— одобрил Ленин.— В некотором роде, даже превосходно, честное слово, превосходно. Пусть думские кадеты узрят это со страниц своего партнера «слева».

— На завтра назначен митинг в доме графини Паниной,— сообщил Чургин.— Говорят, что будут выступать Дан, Водовозов, Мякотин и другие. Мы намерены с Лукой Матвеичем побывать там.

— Я знаю, из ПК сообщили. И, по всей вероятности, я тоже там буду. Впрочем, наверняка буду. Передайте Луке Матвеичу, чтобы он зашел сюда условиться об этом митинге.

— Хорошо, передам.

— Да, а корреспонденцию вашу о митинге солдат надо бы напечатать завтра. Вы не очень устали? Успеете написать? — спросил Ленин.

— Уже успел, Владимир Ильич. Вот она,— отдал Чургин два листка мелко исписанной бумаги.

Ленин пробежал взглядом оба листка, сел за маленький черный стол, заваленный бумагами и гранками, подчеркнул некоторые места в корреспонденции простым карандашом и отложил в сторону.

— Хорошо, спасибо, Илья Гаврилович. Немножко все-таки разрешите поправить, а? Не возражаете? — обернулся он к Чургину.— У вас очень ясное направление мысли, очень правильное направление, но мысли следует излагать короче, обязательно короче и предельно выразительней. Газету читают разные люди, в том числе и рабочие, и мы обязаны говорить с ними на самом обыкновенном, доступном каждому языке, но непременно говорить так, чтобы люди видели с первых строк, где правая, а где — левая.

— Спасибо, Владимир Ильич,— кивнул головой Чургин.— Я понял вас. Я пойду. Помогу малость наборщикам.

Чургин встал и головой задел свисавшую с потолка электрическую лампочку. Он посмотрел на нее и сделал шаг назад.

— Что, стукнулись? — заметил Ленин, потом взобрался на табурет, поднял лампочку выше и спросил: — По дому скучаете? Жена, вероятно, считает вас пропавшим без вести.

— Ничего, я предупредил, что вернусь не скоро.

— Детишки небось есть?

— Сын, шахтер будущий, и дочурка,— ответил Чургин.

— Гм. Это хорошо. А... деньги у сына и дочурки с матерью есть, как вы полагаете? — неожиданно повернул разговор Ленин.

— Полагаю, что уже нет, Владимир Ильич,— чистосердечно признался Чургин и поспешно добавил: — Но нам не привыкать к этому, так что не беспокойтесь, пожалуйста.

Ленин достал деньги из карманчика жилета, отдал их Чургину и сказал строго и официально:

— Возьмите это и немедленно отправьте домой. По телеграфу отправьте.— И, посмотрев ему в лицо, недовольно заметил: — Больше так не говорите: «Нам не привыкать». Ну-с, желаю всех благ,— пожал он руку Чургину и, сев за стол, взял бумаги.

Чургин замялся и не знал, что делать: деньги были в его руке — целых двадцать пять рублей! «А если они у Ленина — последние?.. Вернуть, мы обойдемся»,— была первая мысль его, но он не решался сделать этого, боясь, что ему наверняка попадет.

Ленин, не оборачиваясь и продолжая читать, повторил:

— Что же вы стоите? Благоволите идти на телеграф. Кстати, эти деньги вы заработали честным трудом, сиречь корреспонденциями.

И Чургин расчувствовался и принялся благодарить, но Ленин прервал его:

— Перестаньте же, право, и торопитесь на телеграф... Да!..— вспомнил

он и встал.— Пожалуйста, Илья Гаврилович, сообщите как-нибудь родным Леона, что его дело пересмотрено. Мой знакомый адвокат сообщил: в третьем разбирательстве каторга заменена ссылкой. А ссылка — это далеко не то, что тюрьма,— поверьте мне, старому воробью.

Чургин крепко пожал его руку и взволнованно произнес:

— Спасибо, сердечное спасибо вам, Владимир Ильич. За все.

— Ну, это уж ни к чему, совсем ни к чему, товарищ Гаврилов,— смутился или рассердился Ленин и посмотрел на свои руки.— Лука Матвеич все это сделал — и к адвокату ходил, и говорил, и прочее... Гм, гм... А силенка у вас, представьте, как у настоящего богатыря... Ну, вас ждет телеграф. Можно конкой, по Невскому. И на сегодня — все, и можете быть свободны. Завтра у нас с вами много дел: доклад будем читать о съезде в одной школе, для интеллигенции...

Чургин поклонился и вышел.

Ленин оглянулся, восхищенно щелкнул пальцами и улыбнулся:

— Молодчина. Какой молодец! Один за всех членов ЦК может потянуть, вполне может. Непременно надо привлекать его к более активной, к более широкой и разносторонней деятельности. Илья Муромец!.. Наш... Пролетарский,— влюбленно заключил он и погрузился в чтение.

Вечер у Чургина неожиданно оказался свободным. Это было так странно, что он не знал, что и придумать, чтобы скоротать время. «Посплю-ка я маленько, а там видно будет»,— решил он и, взяв газету «Думу», прилег на диван, свесив длинные ноги едва ли не до пола. Но сон не шел. Вспомнился Александровск, жена, дети... Завтра она получит условную телеграмму о Леоне, тотчас сообщит Оксане, та — родным... То-то радость будет! А потом получит деньги, купит детям гостинцев...

И Чургин мысленно говорил Варе: «Знала бы ты, милая, кто помог Леону и кто дал тебе эти деньги. Эх, и до чего же хороша жизнь!» Он поднялся, прошелся по комнате, раздумывая, чем бы занять вечер, и решил пойти прогуляться.

Спустя немного времени он уже шел по Невскому, рассматривал витрины магазинов, прохожих и решительно ни о чем не думал. И вдруг возле ювелирного магазина встретил Якова.

— Кого я вижу! Какими судьбами, Илья Гаврилович, дорогой?..— засиял тот, как новый пятак.

Чургин подумал: «И надо же было случиться такой встрече! Уж лучше бы я спал в номере». Но он пожал Якову руку и, увидев, что правую поддерживала повязка, рассеянно спросил, будто ничего не знал:

— Кто это вас окалечил?

Яков нахмурил чернявые узкие брови, нехотя ответил:

— Пятый год. Вам разве Оксана или Варвара не говорили?

— А-а... Да, я слышал,— произнес Чургин с таким безразличием, будто речь шла о сущих пустяках, и поинтересовался: — Покупки делали? Надо и мне что-нибудь придумать. Коня, что ли, купить сыну...

Якова обидело это безразличие к его ранению, однако Чургин для него сейчас был — что брат родной, и он предложил:

— Обедали? Быть может, разделите мое скучное общество, Илья Гаврилович, а?

— Благодарю, я сыт.

Яков пригласил его в театр, но Чургин и от этого отказался, а в уме отметил: «Ну, ну, сударь, старайся. Вижу, почему ты прилип ко мне».

Они медленно пошли по Невскому. Но Яков не лыком был шит, чтобы начинать разговор о том, что его интересовало более всего, а начал с планов поездки за границу. Тут было и лечение, и осмотр хозяйств помещиков и достопримечательностей Луврского музея, покупки и торговые сделки.

Чургин не без иронии заметил:

— Похоже, что вы думаете благоденствовать вечно. Везде у вас есть дела, всюду вы видите барыши.

Яков бросил на него удивленный взгляд и понял: «Перехватил. И всегда я перехватываю. Черт, эта болтливость начинает мне надоедать»,— и смущенно ответил:

— Вы правы. Я разболтался, а времена нынче такие, что не знаешь, что будет завтра... За работой думы, надеюсь, наблюдаете? Левые давят на кадетов изо всех сил и может...

Чургин прервал его:

— Может, лучше поговорим о наших краях, о наших делах? Например, вы не видели Алену? Как она там?

Яков умолк... И всегда вот так. Никогда не даст сказать то, что тебе хочется, и обязательно навяжет разговор о том, что хочется именно ему. И невесело ответил:

— Ничего, перед горем голову не гнет. Осталась теперь совсем одна. Отец с матерью и Федор с Настей, видимо, уже сеют в хуторе. Я говорил атаману Калине, чтобы возвратил их в Кундрючевку.

— По велению сердца или... по расчету, как говорится? — кольнул Чургин.

— Просто по-человечески. Вы все еще не верите мне? — начинал злиться Яков, а внутренне уже ругался: «Дьявол, никакого разговора не получается». И решил идти напрямую: — Да, а вы слышали, Илья Гаврилович? Я-то скоро буду папашей. Понимаете, что это значит?

— Разумеется.

Разговор начался. Но как его продолжить, чтобы подъехать к самому главному? Неужели и теперь этот Чургин скажет: «Нет, Оксана с вами жить не будет, не должна! И оставьте эти ребяческие расчеты. Навсегда».

Но Чургин молчал и хмуро смотрел вдаль, на Зимний дворец, что уже показался своим малиново-темным углом.

— Чудесное сооружение, не правда ли, Илья Гаврилович? — восхищенно произнес Яков, лишь бы возобновить разговор.

Чургин мрачно смотрел на дворец и шел к нему, медленно, не спуская глаз, высоко держа голову, как одержимый. Наконец он сказал:

— А больше вам нечего сказать об этом месте?

И Яков, невольно подчиняясь какой-то силе, весь подтянулся, тоже поднял голову и молча пошел рядом. И мысленно оба видели: вон там, вливаясь на Дворцовую площадь, шли тысячи людей с иконами, хоругвями, неся на руках детей, ведя под руку престарелых и жадно всматриваясь во дворец, в его окна, в балконы, будто там должен был появиться пророк и всех накормить, и всем дать счастье. И вдруг оттуда загремели залпы, еще раз залпы и только залпы, и царственно величавая, тихая площадь наполнилась дымом и громом и криками тысяч, узревших правду.

Яков поморщился и опустил глаза. «Мерзость. Варварство. За одно это народ должен смести с лица земли и дворец, и его венценосного обитателя», – с негодованием заключил он про себя.

А Чургин, суровый, подтянутый, как воин, все шел и шел навстречу дворцу, навстречу солдатам, стоявшим с винтовками на часах, и все смотрел на площадь, на дворец, огромный, озаренный розовым светом заката. И казалось, вот-вот он крикнет во весь свой трубный голос: «Вы ответите за это, палачи!», и площадь загудит от его слов, как от набата.

Но он остановился, снял инженерскую фуражку и опустил голову.

– Снимите шляпу! – властно бросил и тихо добавил: – Здесь люди умирали за счастье России.

«За счастье России... А может быть, он и прав, этот неистовый шахтер?» – спрашивал себя Яков и снял шляпу...

К набережной подошли молча. Чургин не хотел сворачивать к Зимнему и, дойдя до Дворцового моста, свернул налево. Потом остановился возле парапета и посмотрел на Неву.

И Яков остановился, опершись о трость.

Была чудесная белая ночь. Далеко за Невой, за Петроградской стороной, над горизонтом светилось матово-бледное небо, а в нем плыла розовая тучка и готова была вспыхнуть огнем, да никак не вспыхивала. Спустя немного времени она подвинулась ближе к Зимнему, протянувшемуся вдоль Невы, навалилась на Петропавловскую крепость, и тотчас золотая игла вонзилась в тучку, но не проткнула насквозь. Крепость лишь потемнела, будто от натуги, прижалась к земле и утратила свои грозные очертания. А тучка по-прежнему стояла над ней и не уходила – розовощекая, словно наполненная всеми хмельными запахами весны. И небо все светилось белым серебряным светом, и он шел и шел по краю земли, дальше к востоку, навстречу солнцу.

Чургин и Яков следили за этим диковинным полночным светом, и каждый думал: так бывает и в бескрайних степях юга перед рассветом – сначала небо белеет, потом над краем земли зажигается малиново-красная лента, поднимается все выше, выше, и не успеешь насмотрется, как она разольется и запылает от края до края морем огня. А потом выглянет из-за горизонта солнце, увидит, что люди уже встали, и птицы уже взлетели, и звери попрятались, и засверкает, заиграет миллионами зайчиков в речках, в окнах хат, в забытых детворой стекляшках на улицах. И тогда рождается новый день, яркий до боли в глазах.

На набережной, облокотясь, кто-то читал книгу. Яков посмотрел на карманные часы, качнул головой.

– Чудеса! У нас в это время – глухомань, а тут романы люди читают! – восхищенно произнес он, желая отвлечь Чургина от раздумий, о направлении которых Яков знал точно.

– Да. Ночь замечательная, – ответил Чургин и предложил: – Давайте к Петру пройдем, на Сенатскую площадь.

Яков досадливо поморщился: «Теперь заставит скидать шляпу и перед декабристами. Не человек, а фанатик. Одна революция в голове».

Но он ошибся: Чургин закурил, угостил его папиросой и спросил неожиданно:

— С Оксаной как жить думаете?

И Яков облегченно вздохнул. «Слава богу, заговорил по-человечески»,— с удовлетворением отметил он и ответил так, будто это дело было давным-давно решенным:

— Как жить? Самым обыкновенным образом: вернусь из-за границы и заберу к себе Оксану и сына, коль он уж появится к тому времени. Мне кажется, что у меня обязательно будет сын.

Чургин усмехнулся. Видел он отлично, что Яков именно потому и увязался за ним, чтобы поговорить о своих семейных делах и пощупать, чем дышит он, Чургин. А разговаривает так, будто в доме у него царит полный покой и образцовый семейный порядок.

И Чургин решил сказать все, не ожидая вопросов:

— Я понимаю, что вам требуется от меня. Не буду скрывать: мне кажется, что Оксана вряд ли поедет в ваше имение и вряд ли согласится жить с вами. Даже теперь. И напрасно вы строите на этот счет розовые иллюзии.

И с Якова как ветром сдуло все напускное. С отчаянием, с возмущением и болью в голосе воскликнул:

— Да почему же?! Почему вы даже теперь, когда у нас будет ребенок, когда все становится на место, рушите все мои мечты, все мои надежды, всю жизнь нашу с Оксаной?! У-у, какие вы... люди...

Он стукнул по гранитной ограде черной тростью так, что один конец ее полетел в Неву, швырнул остаток в сторону и нервно застучал по граниту кулаком левой руки. Нет! Никогда они не поймут его, не пожалеют, не помогут его беде, все эти его так называемые родственнички. Зло и только зло приносили они его молодой жизни и будут приносить вечно, пока существуют. «Так рвать с ними, плевать на них, мстить им всеми средствами, а не снимать с ними шапки перед памятью расстрелянных, таких же, как они. Довольно!» — мысленно бушевал он и готов был крикнуть городовому: «Эй, заберите этого! Он скорбел по расстрелянным крамольникам!»

Чургин поднял обломок трости, повертел его в руках и проговорил так, будто ничего не случилось:

— Жаль, хорошая тросточка была. Это... первая жертва вашей душевной ярости? Или, быть может, вы... кликнете еще и городового? — хлопнул он остатком трости по своему сапогу.

Яков готов был ответить: «Да, да, милостивый государь, вы вполне этого заслуживаете!» Но увидел: Чургин смотрел в его лицо колкими, чертовски холодными, все понимающими глазами, и Якову даже ясно слышалось жесткое, как железо, и грозное: «Какой вы подлец, молодой Загорулькин!»

И Чургин действительно думал именно так, но сказал иначе:

— Вы повторяетесь, молодой Загорулькин. Однажды вы уже так кричали — когда я был в вашем имении, но от этого ничего не изменилось. И ваш городовой, что вон стоит и смотрит сюда, ожидая вашего приказа, ничего не изменит...

Яков опустил голову. В самом деле: что может изменить городовой и все городовые, какие есть на свете, если с такими, как этот шахтер,— вся Россия? Ничего! И сказал полным смирения и стыда голосом:

— Бог с вами. Со всеми. Прощайте! — И решительно шагнул в сторону, да Чургин шагнул за ним и взял его за руку.

— Вы, кажется, хотели посидеть со мной в ресторации? Я к вашим услугам,— сказал он и, кликнув извозчика, добавил: — На свободе я рекомендую вам, очень рекомендую подумать о следующем: обязательно ли вам надо быть помещиком вечно и только в этом искать счастья? В том числе и в личной жизни?

Яков вытаращил глаза, но не успел спросить: «Вы не того?», как подкатил экипаж.

А когда они приехали в гостиницу «Астория» и там не оказалось свободного столика, Чургин пошел к метрдотелю и пропал. Посрамленный тем, что его так одурачили, Яков объехал несколько гостиниц, но безрезультатно. Чургина не отыскал. А спустя два дня уехал за границу. И странно: ему все время не давали покоя слова Чургина: «Почему он так сказал? Что имел в виду? Неужели на пути моего счастья стоит, как Петропавловка, мое собственное имение, мои дела и деньги?» — рассуждал Яков.

На следующий день, когда шли на митинг, Чургин рассказал обо всем Луке Матвеичу. Тот терпеливо слушал и рассердился:

— Нашел с кем откровенничать. Срам. Будет лучше, если ты впредь подобных встреч и разговоров постараешься избегать. Яков все может...

— Ты прав... Кстати, Михаил Рюмин женат? — неожиданно, сам не зная для чего, спросил Чургин и поспешно добавил: — Впрочем, можешь не отвечать, это от нечего делать.

Недалеко от Тамбовской улицы они остановились, а вскоре Лука Матвеич заметил Ленина и Надежду Константиновну, шедших со стороны Лиговской.

— Идут. И Теодоровича вижу, и других наших. Молодцы, знают свое дело,— негромко сказал он и направился навстречу Ленину.

Чургин оправил форму, картуз и пошел к дому графини Паниной. Шел и мысленно восхищался предупредительностью, с какой питерские товарищи обставляли путь Ленина: стояли почти на всех поворотах, пристально наблюдая, нет ли на виду чего подозрительного.

Лука Матвеич приблизился к Ленину, тихо поздоровался и сообщил:

— Все идет как по нотам. Народу валит — тьма, а новые люди все идут.

— И шпики, разумеется, среди них,— заметила Надежда Константиновна.

— Про этих я ничего не говорил, Надежда Константиновна. Значит, их пока нет.

— Отлично, товарищ Лукьян,— одобрительно сказал Ленин.— А мы не опоздали? Места найдутся? Да, из наших кто пришел?

— Места найдем. Из наших пока Дана видели.

Ленин бросил взгляд на проходящих рабочих, посмотрел в сторону Тамбовской улицы, что-то прикидывая, и заторопился:

— Гм. В таком случае надо спешить, господа,— и свернул за угол.

Надежда Константиновна предупредила Луку Матвеича:

— В такой толпе непременно будут шпики. Так что... вы понимаете меня,— и заторопилась вслед за Лениным.

Лука Матвеич кивнул головой и подождал дежурных, что были выставлены по пути следования Ленина.

— Ну как? — спросил он членов ПК.

— Все хорошо, старина. У тебя нос посинел что-то. Аль соточку пропустил прохлады ради? — шутил Теодорович.

— Иди, иди, разговорчивый какой. О «пропускании» поговорим, когда ты меня пригласишь на именины,— отшутился Лука Матвеич, толкая в спину друзей.

И все пошли на Тамбовскую, держась на некотором расстоянии от Ленина и Надежды Константиновны.

На Тамбовской улице было многолюдно, как никогда до этого. На митинг, о котором было объявлено в газетах, шли рабочие, ремесленники, студенты и чиновники, торговцы и инженеры, иные ехали в экипажах, на пролетках, и те шумно грохотали по булыжной мостовой. И одеты все были празднично: инженеры и студенты — в форму, рабочие — в короткие тужурки, из-под которых выглядывали красные и синие рубахи.

Ленин шел с Надеждой Константиновной по каменному тротуару, все время поглядывал на толпу и все время о чем-то говорил, говорил, жестикулируя правой рукой, а левую держа в кармане легкого, весеннего пальто.

— Быстрее, Надя, прошу тебя. Мы опаздываем...

Лука Матвеич шагал с друзьями поодаль и взглядом «прощупывал» буквально каждого на улице. А впереди, как адмиралтейский шпиль, виднелся Чургин, печатавший свои саженьи шаги. До слуха Луки Матвеича доносились то отдельные слова Ленина, то сдержанные замечания Надежды Константиновны. Вот она, видимо потеряв терпение, предупредила:

— Володя, тише говори, бога ради. На всю улицу слышно.

— Виноват,— ответил Ленин и, помолчав некоторое время, вновь продолжал: — А все-таки Питер превосходен, честное слово. Есть в нем что-то такое,— щелкнул он пальцами,— символическое, как поэты говорят, величественное и суровое, как само время. Разумеется, я имею в виду Питер демократический.

— Жаль, что ты не имеешь в виду Филатова,— намекнула Надежда Константиновна на жандармов.

— Гм, гм. Ты права. Об этой, истинно петербургской, действительности мы все, к сожалению, часто и непростительно забываем.

Ленин опять на некоторое время умолкал, шагая так, что слышен был стук его ботинок, и весь, казалось, был там, возле дома Паниной, где толпился народ.

Надежда Константиновна еле поспевала за ним, путаясь в своей длинной серой юбке, и мелкими бесшумными шажками как бы старалась догнать его, но никак не могла идти в ногу.

Возле Народного дома была огромная толпа. Но люди не шумели, не толкали друг друга, а чинно, поодиночке, входили в здание, будто на торжество. Привратник то и дело важно бубнил:

— Господа, зал переполнен — где сидеть будете?

— Ничего, отец, в тесноте, да не в обиде.

Ленин, едва подойдя к двери, спросил:

— Не начали еще, господа?

Но Надежда Константиновна дернула его за руку, и он умолк. Тогда Чургин двинулся в толпу, протаранил ее, и Ленин с Надеждой Константиновной пошли за ним, как по коридору, и легко поднялись по белой мраморной лестнице на второй этаж.

На площадке фойе второго этажа были две мраморные скульптуры: одна из них изображала мать, учившую девочку читать, вторая — повергнутого в печаль крестьянина и мальчика, стоявшего рядом с ним.

Ленин остановился, прищурившись, посмотрел на фигуры.

— Чижов. «Крестьянин в беде»,— произнес он.— Я где-то видел бронзу. Ах, да — в «Эрмитаже».

...В обширном зале действительно не было ни одного свободного места, и даже проходы по бокам были заняты — в них стояли мастеровые, а на галерке негде было яблоку упасть. Чургин протиснулся вправо, к боковой двери, вышел на железную лестницу, что вела во внутренний сад, и спустился вниз. «Отсюда, в случае необходимости, можно выйти на противоположную улицу. Очень хорошо. На всякий случай»,— прикидывал он и, обследовав сад, вернулся в зал.

— Что-то не начинают, ждут кого-то,— услышал он голос в стороне и посмотрел на его обладателя — тонкого, высокого чиновника с белыми усами и бакенбардами.

— Лидеров социал-демократов ждут — я слышал,— ответил низенький толстяк в форме почтового чиновника и в очках.— Они на всех митингах бывают. Бойкотировали-то они эту думу не без основания, как теперь оказалось.

— Да-а,— задумчиво произнес чиновник с белыми усами.— Мы недооцениваем их влияния на третье сословие. Смотрите, сколько навалило всякого люда! В недалеком будущем они, эти эсдеки, будут делать невероятные вещи.

— Браво, господа. Отлично сказано,— бросил мимоходом Чургин.

Чиновники подняли головы, посмотрели на него снизу вверх, переглянулись и умолкли.

Чургин обратил внимание: в задних рядах появились два пристава. Они пришли одни, без нижних чинов, и чувствовали себя как-то неловко: настороженно озирались, перешептывались и вдруг повернули назад и исчезли в толпе.

— Этак-то лучше,— послал им кто-то вслед под смешки мастеровых.

На сцене, за столом, покрытым зеленой скатертью, сидели несколько человек. Председатель стоял и говорил в зал:

— ...редакционной коллегии «Нашей жизни», господину Водовозову.

На авансцену вышел невысокий человек в черном сюртуке и в таком же галстуке и неторопливо, но громко начал доклад.

Ленин стоял в толпе возле двери. Он хорошо знал докладчика по его статьям в «Нашей жизни», в «Русском богатстве» и по исследованиям в области избирательного права и шепнул Луке Матвеичу:

— Этот господин нагородит сейчас очередной чепухи. Боюсь, что у меня не хватит времени и я не смогу ему ответить. Кстати, надо бы записаться для выступления. Как вы полагаете?..

— Пожалуй, надо,— согласился Лука Матвеич.

Ленин вырвал из записной книжки лист и написал: «Прошу предоставить слово для выступления. Карпов». Записка пошла по рукам, а Ленин приподнялся на носки и смотрел поверх людей до тех пор, пока записку не получил председательствующий.

Подошел Чургин и тихо сказал, не называя по имени:

— Господа, места для вас нашлись.

Ленин внимательно слушал докладчика и лишь пальцем сделал Чургину знак: «Не надо». Потом тихо спросил:

— Нельзя ли проверить, записали меня? «Фамилия»-то моя неизвестна председателю.

— Не волнуйся, пожалуйста,— ответила Надежда Константиновна и что-то сказала Теодоровичу, тот кивнул головой и послал в президиум свою записку.

Водовозов продолжал доклад. Напомнив о предвыборных обещаниях кадетов и перечислив то, что, по его мнению, ожидала от думы Россия, он страдальчески произнес:

— ...И вот прошло две недели с тех пор, как Государственная дума начала свою историческую миссию. Что же изменилось в политической жизни страны за это время, позволительно спросить? К великому сожалению, господа, я должен сказать с этой уважаемой трибуны, что по-прежнему всюду господствуют произвол и насилие и даже смертные казни и по-прежнему всюду мы слышим зловещий свист нагайки...

— Более прежнего,— раздался низкий голос Чургина.

— Виселицы и смерть витают над Россией! — прозвенел девичий голос с галерки, где были студенты.

Ленин быстро обернулся на голос, увидел Марфеньку и восхищенно сказал Луке Матвеичу:

— И сестра Рюмина здесь! Молодцы-то какие, а? Это же превосходная характеристика всей политической системы царизма!

— Здесь — половина партийцев из районов. И, однако, вам так громко нельзя говорить,— заметил Лука Матвеич и посмотрел на Теодоровича, как бы говоря: «Я один ничего не сделаю».

Оратор немного смутился и продолжал уже без восклицаний:

— Чем же была занята дума первые две недели своего существования? Дума была занята составлением ответа на тронную речь. Это, конечно...

— Это позор!

— Кадеты на большее оказались неспособными! — кричали с галерки.

Раздались аплодисменты, шум, и председательствующий поднял руку.

Ленин улыбнулся. Ему явно по душе были такие голоса, и у него даже глаза заискрились озорными огоньками. Вот он бросил веселый взгляд на Луку Матвеича, Надежду Константиновну, как бы говоря: «Каково? Ведь замечательно!» Потом поднялся на носки и посмотрел на докладчика немного насмешливо, немного лукаво, будто говорил: «А ну, что вы на это скажете, милостивый государь?»

Докладчик сделал вид, что ничего не слышал, и продолжал:

— Господа, но только ли ради этого мы избрали думу? Только ли ради этого мы вверили ей судьбу России и народа? Нет и нет! — патетически воскликнул он под аплодисменты первых рядов и отпил глоток воды из стакана, любезно предложенного ему председательствующим.

Ленин нахмурился, наклонился к Луке Матвеичу и возмущенно заговорил:

— Какая пошлость! Водовозовы, изволите ли видеть, вручили думе судьбу народа! — И, записав что-то в книжечку, более спокойно заключил: — Впрочем, семейная сцена: фактический кадет журит слева формальных кадетов.

Докладчик выждал, пока стихли аплодисменты, и решил вспомнить Великую французскую революцию, Конвент...

Ленин насторожился более прежнего, поднял голову и весь, казалось, был там, в первых рядах, не пропуская ни единого слова.

— ...Как Конвент испытывал на себе постоянно, каждодневно могущественную волю избравших его и выполнил эту волю, так и дума наша должна испытывать каждодневно волю избравших ее и выполнить ее до конца... — торжественно вещал докладчик.

— Архивреднейшая чепуха! Конвент был органом победившего народа, тогда как наша дума — полицейский отвод глаз борющегося народа, — заметил Ленин так громко, что на него обратили внимание сидевшие вблизи, а Надежда Константиновна забеспокоилась серьезно.

— Ты зря забываешь, что в зале могут быть переодетые жандармы.

— Гм. Извини, пожалуйста. Но Конвент приказал гильотинировать низложенного революцией Людовика Шестнадцатого, а наша дума составила верноподданнический адрес царю. Нельзя же так бессовестно перевирать историю! — оправдывался Ленин. — Да, кстати, записали ли меня и каким по счету?

— Все сделано, — ответил Лука Матвеич.

— Спасибо, старина.

Лука Матвеич заметил: на Ленина обратили внимание стоявшие вокруг мастеровые, чиновники. Одни загадочно подмигивали друг другу, другие качали головами и шептались. Но Ленин ничего не видел, слушал докладчика и что-то записывал в блокнот. Лука Матвеич осмотрелся, переглянулся с Чургиным, с Теодоровичем, как бы говоря: «Ничего, чужих вроде нет».

А докладчик тем временем развивал свои мысли о будущем думы.

— ...Мы, и только мы, господа, должны наталкивать и подталкивать думу вперед по пути выполнения ею своей тяжкой, но благородной миссии...

Ленин тотчас бросил ему:

— Вот именно: наши меньшевики толкали либералов на революцию, водовозовы будут теперь толкать их на революционную фразеологию в думе. Превосходное занятие!

Вокруг грохнул смех, кто-то захлопал в ладоши, на Ленина устремили взоры все и обернулись, и заговорили, зашумели одобрительно задние ряды, галерка.

Надежда Константиновна уже дергала Ленина за руку, а Лука Матвеич строго хрипел:

— Владимир Ильич, нельзя же...

— Виноват.

— Тише, господа, слов оратора не слышно, — звонил в колокольчик председательствующий.

— Не большая потеря.

— Интересно, зачем тогда надо было приходить сюда?

— А мы скажем, дай срок.

Ленин ловил эти слова с удовольствием и не успевал приподниматься на носки, чтобы увидеть, кто говорит, и по-озорному то и дело подмигивал Надежде Константиновне, Луке Матвеичу, как бы коря их: «Слышите? А вы не позволяете мне говорить!»

Докладчик заканчивал речь призывами поддерживать трудовую часть думы, но неожиданно заключил:

— ...Однако я должен категорически предостеречь всех, кому дороги интересы народа: критикуя думу, мы ни в коем случае не должны допускать дискредитации ее перед народом. Особенно я хочу предупредить об этом господ из крайних, левых, партий. Помните, — напыщенно воскликнул он, — то, что вы делаете, господа из левых партий, может привести именно к дискредитации думы! А такую думу правительство немедленно распустит...

Ленин на этот раз отчетливо, резким голосом бросил:

— Ах, какие эти «левые»! Им бы только «критиковать»! Но ведь вся их критика будущей думы блестяще подтверждена настоящей, кадетской думой, господин Водовозов!

— Замечательный ответ! — как гром прокатился по залу голос Чургина.

И тотчас раздались бурные аплодисменты, крики «Браво!», все обернулись, иные вскочили с мест, ища взглядом того, кто сказал эти слова, за ними встали другие, и в зале поднялся всеобщий шум. Поднялся и ничего не понимающий председательствующий и зазвонил в белый колокольчик.

Ленин пожимал плечами, смущенно смотрел на Надежду Константиновну, на улыбавшегося Луку Матвеича, Теодоровича, Чургина и оправдывался:

— Гм, гм. Я не знал, что так получится. Ведь я еще ничего, ровно ничего не говорил, честное слово.

Лука Матвеич кивнул Чургину и улыбнулся, как бы говоря: «Молодец! Очень хорошо получилось!»

...Первым в прениях выступил социал-демократ Алексеев и сразу схватился с докладчиком:

— ...Не на думу и ее кадетское направление надо воздействовать и обращаться к ней с призывом, а к рабочим, к крестьянам — как к самым многочисленным и революционным классам, способным бороться за свободу. Так стоит вопрос, так он поставлен историей. И так мы будем делать!

Его слова встретили аплодисментами и возгласами одобрения, а Ленин спросил у Теодоровича:

— Видимо, здесь много наших?

— Путиловцы, обуховцы, невцы...

Следующим получил слово эсер Степанов, призывавший поддержать трудовую группу думы, за ним говорил «народный социалист» Мякотин.

Ленин заволновался, наклонился к Луке Матвеичу, к Теодоровичу:

— Мне определенно не дадут слова. Они или не знают Карпова, или испугались чего-то.

Лука Матвеич и Теодорович направились в президиум узнать, в чем дело, и тут лишь председательствующий сказал им:

— Да, господин Карпов записан. Но кто он? Кого представляет? Не можем же мы дать слово неизвестному человеку. Поймите меня, господа.

— Господин Карпов — виднейший лидер тех самых «крайних», о которых говорил господин Водовозов,— ответил Лука Матвеич.

— Так это... господин... Ленин? Что же он так? Ах, боже мой...— забеспокоился председатель и сказал: — Извините, господа, господин Карпов обязательно получит слово. Непременно получит.

Мякотин избрал неблагодарную миссию: он стал защищать думских кадетов, и его речь то и дело прерывалась возгласами:

— Они написали верноподданнический адрес самодержавию, а вы их защищаете?

— Позор кадетам и вам!

Оратор не растерялся, но изменил направление своих мыслей и заявил:

— Господа, уважаемые господа, вы напрасно торопитесь опередить меня. Я сказал, что кадетская партия пойдет не на сделку с самодержавием, а лишь на переговоры ради достижения общих целей.

— Какие переговоры могут быть?! — гудели голоса в проходе.

— Нечего переговариваться с вешателями! — кричали с галерки.

— На улицу надо идти!

— Господа, дайте же мне досказать свою мысль! — воскликнул оратор.— Да, я согласен, что обращение к народу — самый верный путь для укрепления лозунгов свободы... Но вы согласитесь со мной...

Лука Матвеич вернулся на свое место, утвердительно кивнул головой выжидательно смотревшему на него Ленину и объяснил:

— Не знали фамилии «Карпов». Сейчас, за этим оратором, дадут.

Следующим оратором был Дан, получивший слово под фамилией Берсенева. Ленин весь насторожился, вытянулся и затих.

Дан начал высокомерно:

— Господа, мы переживаем революционное время.

Ленин тотчас заметил:

— Вот так всегда: архиреволюционно начинают и архиоппортунистически кончают.

— Совершенно справедливо сказали,— раздался голос позади.

Ленин обернулся и увидел крупного человека в красной косоворотке. Что-то знакомое показалось ему в этом человеке, и он спросил:

— Справедливо? Позвольте, вы не с Обуховского?

— Истинно,— подтвердил обуховец и, наклонившись, негромко добавил: — Угадали, товарищ Ленин. Давеча вы нам доклад делали... О съезде.

— Верно. Передайте всем товарищам привет, сердечный привет.

— Будет исполнено в точности, Владимир Ильич.

Оратор между тем продолжал:

— ...Мы знаем, что дума ничего дать сейчас не может. Однако этого не знают массы...

Лука Матвеич крикнул:

— Именно вы утверждали, что дума может сделать все, вплоть до переименования себя во временное революционное правительство, а массы говорили вам обратное.

— Не в бровь, а прямо в глаз! Превосходная справка из преддумской истории,— одобрительно заметил Ленин и пожал Луке Матвеичу руку выше локтя.

Оратор нахмурился, помолчал, глотнул воды и продолжал, будто ничего не слышал:

— Господа! Пролетариат России пролил уже немало крови. Неужели мы должны быть кровавым хлыстом, который толкает рабочих на революцию?

— До сих пор вы были хвостом у кадетов. Интересно, кем вы хотите быть теперь? — гремел в стороне Чургин.

Ленин так и прыснул.

— День великолепных исторических справок! Ну просто замечательно, честное слово! — негромко говорил он сквозь смех.— Нет, вы вдумайтесь: именно «кадетским хвостом». Это... это... — искал он взглядом Чургина.— А-а. Я так и предполагал: Илья Муромец.

Надежда Константиновна видела, что на Ленина уже все обратили внимание, значительно переглядывались, улыбались радостно и победно, и было трудно понять, кого больше слушали: его или оратора. Наконец она сказала Теодоровичу:

— Он никогда не был таким. Как на пружинах.

Ленин действительно оживленно оборачивался то в одну, то в другую сторону, смотрел, слегка прищурясь, как бы оценивая что-то, и в то же время слушал оратора самым внимательным образом.

Дан заметил оживление в конце зала, всмотрелся и понял, в чем дело, потому что в следующую секунду, почти прямо обращаясь к Ленину, драматическим тоном произнес:

— Я вас спрашиваю: почему погибло октябрьско-декабрьское движение? Потому, что широкие слои народа не знали истинного положения и соотношения сил. Вы же, уподобившись буржуазным революционерам, не говорили им всего, что надо было...

— Вот уж поистине: с больной головы — на здоровую! — звонко ответил Ленин и сказал Надежде Константиновне: — У меня не хватит времени, чтобы ответить им. Нельзя ли попросить президиум, чтобы мне продолжили время? И вообще: не останусь ли я без слова?

— Время не ограничивают, слово ты получишь, и тебе нет основания беспокоиться. Но я беспокоюсь о другом...

— Именно?

— Тебя могут «засечь» и выследить квартиру. Ты можешь быть поосторожней?

— Гм, ты права,— согласился Ленин и стал что-то записывать в блокнот мелким почерком.

Когда оратор сказал: «Только эта связь трудовой группы с народными массами, только такой путь приведет Россию к победе», Ленин записал крупными буквами: «Испытанный путь к победе один: всеобщее вооруженное восстание. Испытанное руководство восстанием одно: партия. Все остальное — архивредная игра в победу».

Оратор умолк вдруг, и в зале наступила такая тишина, что Ленин поднял голову и посмотрел на президиум: не закончился ли митинг? Но председательствующий поднялся, помолчал немного и многозначительно объявил:

— Господа, позвольте теперь предоставить слово следующему оратору, уважаемому господину Карпову.

Ленин выпрямился. Лицо его стало строгим, брови нахмурились, и он тотчас же двинулся к проходу. Надежда Константиновна, Теодорович, Лука Матвеич, Чургин пропустили его, и он направился к сцене – быстрый, в черной тройке нараспашку, чуть наклонив голову. В одной руке у него был блокнот, другой он слегка размахивал.

В зале настала абсолютная тишина: Все обернулись.

— Кто это?

— Почему – Карпов?

— Да ведь это...

— Ленин это!

Ленин торопливо поднялся на сцену по боковой лесенке, миновал стол президиума и вышел вперед. И тогда раздались резкие аплодисменты сначала в конце зала, потом по сторонам его, потом на галерке, и Народный дом загремел и задрожал от бури рукоплесканий.

Ленина узнали...

Вот он сделал было жест правой рукой и шагнул к авансцене, но аплодисменты взорвались с еще большей силой. Сотни людей поднялись с мест, толпы, что были в проходах, двинулись к сцене, а галерка вот-вот, казалось, перельется через край, – все пришло в такое возбуждение, что президиум и многие в зале не знали, куда смотреть и как понять эту неожиданную овацию неведомому «господину Карпову».

Ленин стоял взволнованный, бледный, с темно-каштановой подстриженной бородкой и небольшими усами, в вольно распахнутом пиджаке и не мог начать речь. Взгляд его – острый, пронизывающий зал во всех направлениях, в одной руке – блокнот, другая – спрятана в карман.

Впервые после возвращения из-за границы он выступал перед такой огромной и такой разнородной аудиторией. Он видел перед собой кадетов и меньшевиков, народных социалистов и чиновников, но больше всего он видел рабочих и учитывал все: и то, кто будет его слушать, и то, как могут принять его слова, и то, как их могут изложить корреспонденты газет. И сознание того, что он должен сказать всем этим людям правду, помочь одним из них отрешиться от заблуждений, другим – указать единственно правильный путь развития событий в России, приводило его в волнение неимоверное.

Он хорошо знал, что завтра его речь станет известной всему Петербургу, послезавтра – Москве, потом – всей стране, всей партии. Партия же еще не осведомлена как следует о решениях съезда и о тех принципиальных расхождениях, которые обозначились между меньшевистской его частью и большевистской. А удастся ли еще выступить перед такой аудиторией, в которой было около трех тысяч человек, – неизвестно.

И Ленин решил пренебречь условностями, – благо в зале не было ни одного полицейского.

Чургин приблизился к сцене и стоял на голову выше всех окружавших его и хлопал так, что маленькая дама в большой шляпе, сидевшая вблизи, заслонила уши руками. Стоял и думал: ведь такой обыкновенный человек был перед его глазами, и одет был, как сотни других, и держался просто, даже смущался, будто ему впервые было выходить на трибуну. А вместе с тем было в этом человеке, в его демократической позе, даже в его незастег-

нутом пиджаке что-то не соответствующее его внешнему виду: огромное, необоримое...

Казалось: вот он произнесет сейчас первую, одну-единственную фразу, и у всех этих людей неистово забьется сердце.

И действительно: едва Ленин сделал жест правой рукой, как аплодисменты стали стихать и вскоре стихли. В абсолютной тишине он звонким голосом начал речь:

— Граждане!

И тотчас зал затрясла буря аплодисментов.

«Граждане»?.. В Петербурге? Невдалеке от дворца самого кровавого из тиранов и самого жестокого из палачей? Да точно ли это Петербург — цитадель российского самодержавия? Или это — Париж времен великих народных бурь и потрясений?!» — думалось каждому, и тысячи людей затаили дыхание. Было похоже: дух Великой революции вдруг ворвался в зал, и заполнил все его закоулки, и охватил людей невиданным возбуждением.

У маленькой дамы в огромной шляпе даже личико побелело от страха. Она поспешно вцепилась в сидевшего с ней рядом инженера, но инженер успокоительно похлопал рукой по ее маленькой ручке, обтянутой черной сеткой перчатки, и успокоил:

— Да, милочка. Парижской коммуной повеяло.

Чургин посмотрел на даму, и ему стало смешно: чего ей-то бледнеть, этой пташке колибри, и зачем она пришла сюда и кривится и бледнеет от испуга, будто на ее ногу кто-то наступил и не отпускает?

Ленин подождал, пока стихли аплодисменты, и продолжал:

— ...Мы переживаем начало нового великого общественного подъема. Перед лицом этого нового широкого народного подъема кадетская дума блекнет, отцветает, не успевши расцвести,— подчеркнуто произнес он и сделал резкий жест рукой.— Недавно один кадет, член Государственной думы, сетовал в газете «Дума» на то, что народ, мол, ждет от своего парламента коренного и немедленного решения самых сложных вопросов и немедленного практического осуществления ожидаемых реформ. «Но помилосердствуйте! — взывает этот кадет.— Ведь у нас не Конвент, а дума! Вот если бы был Конвент, тогда он удовлетворил бы требования значительной части народа...» Что верно, то верно. «Значительная часть народа» требует Конвента, а получает... кадетскую думу. Бедные, бедные кадеты... Могли ли они ожидать, что общественный подъем так быстро и так безнадежно обгонит их?! — воскликнул Ленин.

Зал вновь загремел аплодисментами. Маленькая дама сказала своему супругу:

— Бедная графиня, если бы она могла предполагать здесь такие якобинские речи, она никогда не построила бы этот дом... Интересно, кто этот Робеспьер? Так говорить о демократах — ужас!

— Этот «Робеспьер» режет под самый корень не только кадетов, дорогая... Слушай, это — Ленин, Ульянов-Ленин.

— Господин Ульянов? — прошептала дама, и глаза ее округлились в ужасе.

— Я извиняюсь, а вы кого бы желали видеть подрезанным? — раздался возле инженера басовитый голос.

— Того, кого имеет в виду оратор, — нимало не смущаясь, ответил инженер.

Чургин обернулся, пристально посмотрел на инженера и вспомнил: он видел его в «Союзе инженеров и техников». «Надо познакомиться. Мне он что-то нравится», — подумал он и попросил какого-то господина встать, так как даме плохо было видно. Господин встал, а дама благодарно взглянула на Чургина из-под своей большой черной шляпы со страусовыми перьями и бросила: «Мерси».

Ленин ходил по сцене, заложив левую руку с блокнотом назад, а правой время от времени делая короткие жесты, и отчитывал Мякотина и Дана:

— ...Вспомните начало заседаний думы, пресловутое «начало мирного парламентского пути», приводившего в восторг и умиление кадетов, правых эсдеков и всех мещан от политики. А это было всего лишь начало черносотенных погромов, начало самых грубых, самых прямых и непосредственных проявлений гражданской войны, начало вспышек самого примитивного насилия, решающего государственные вопросы истреблением несогласно мыслящих, уничтожением огнем и мечом политических противников. Что делали кадеты в думе в это время? Они сетовали на народ: слишком-де много хочет от думы народ, но мы же — не Конвент?.. Бедные кадеты! Они хотели так помочь народу, что «забыли» вписать в ответный адрес на тронную речь первейшее требование народа: созыва Учредительного собрания — и верноподданнически направились засвидетельствовать свое «почтительное отношение к главе государства», который, кстати говоря, совершенно непочтительно вытолкал их в шею...

— Позор! — раздался хор голосов.

— Это Струве выдумал, — подал реплику Водовозов.

— Струве просто выболтал ваши сокровенные мысли, милостивый государь, — срезал его Чургин.

Ленин слышал это и продолжал:

— И вот гражданин Берсенев лукаво вопрошает: «А не сделал ли рабочий класс ошибки, не послав в думу своих представителей?» Я хочу спросить у гражданина Берсенева: а не сделал ли он ошибки, выступив с точкой зрения, коренным образом отличной от точки зрения партии, к которой он имеет честь принадлежать? От точки зрения рабочего класса, о котором он здесь так милостиво заботился?

Зал грохотал, зал торжествовал и был весь с Лениным, слился с ним, и уж больше никто не спрашивал, кто это так говорит, а каждый ждал, что Ленин еще скажет, смотрел, смотрел на него горящими глазами.

А Дан съежился, вобрал голову в плечи и только озирался по сторонам.

И вдруг глаза Ленина тоже загорелись, лицо покраснело, и загремели огненные слова:

— Пролетариат хотел снести думу с лица земли и бойкотировал ее именно потому, что предвидел в ее лице прекраснодушную, почтительную холуйку главы государства. Но тогда это не удалось сделать. Неужели гражданин Берсенев, так же как и граждане Мякотин и Водовозов, не видит, что кадетская дума стоит позади пролетариата, позади народа, что она не является, и ни в коем случае не может явиться, вождем крестьянской массы, а тем более — пролетариата? Крестьянская масса, и тем более рабочий класс, не будут поддерживать кадетскую думу, а поддержат те свои

требования, которые они выставили в октябре – декабре и которых, как черт ладана, испугались кадеты и выбросили из ответа на тронную речь.

— Верно-о! – крикнули из задних рядов.

— Пятый год мы поддержим, а не кадетов,– раздался голос возле двери и потонул в аплодисментах.

Ленин выпрямился, посмотрел на Мякотина, на Водовозова и сказал:

— Кадеты мнят себя пупом земли. Они мечтают о мирном парламентаризме, но боятся, чтобы реакция не разогнала их думу. Они чувствуют, что не могут быть органом народной власти, не могут быть вождем народа, но боятся, чтобы дума не стала, видите ли, игрушкой «толпы», и вот свое бессилие, свою отсталость валят на народ. Жалкие люди! – воскликнул он.– Они знать не желают, что вся та свобода, которая еще есть сегодня в России, завоевана народом, «толпой», что эта «толпа» именно завоевала в России новую эру, которая держится только народной страстью, силой народа!..

Зал затрясся от ликования. На этот раз аплодировали почти все. И уже не вздыхала дама-колибри в большой шляпе, а только смотрела на Ленина черными глазками и то и дело спрашивала у Чургина:

— Скажите, пожалуйста, это – революция? Да?

Чургин добродушно улыбнулся, наклонился к ней и отвечал:

— В клубах революция не происходит, милостивая государыня. Ваш муж, кажется, это знает.

— Да, дорогая. Коллега прав,– подтвердил инженер.

Ленин сделал два шага вперед, несколько секунд постоял молча, смотря то в одну сторону, то в другую, точно ощупывал каждого, и, вскинув бородку, словно хотел обратиться к самым задним, стоявшим толпой, горячо продолжал:

— Дума уже блекнет, конституционные иллюзии уже рушатся. Октябрьско-декабрьские формы борьбы, которые вчера не хотели видеть близорукие люди, уже надвигаются... Все наши помыслы, все усилия мы должны направить на то, чтобы пролетариат и крестьянство оказались более подготовленными к новой, решительной борьбе. Пусть же будут все на своем посту! От сплоченности, сознательности и решительности рабочего класса России зависит многое, если не все в исходе великой революции... Объединительный съезд Российской социал-демократической рабочей партии признал непосредственной задачей этого нарастающего движения – вырвать власть из рук самодержавного правительства... И мы вырвем эту власть рано или поздно. Так стоит вопрос! – заключил Ленин, махнув рукой, будто воздух рассек, и пошел со сцены.

И тогда в зале разразилась буря:

— Браво!

— Да здравствует республика!

— Долой думу!

Кричали отовсюду до тех пор, пока Ленин не сел на приготовленное ему место.

Необыкновенное чувство взволнованности и решимости охватило всех. Боевым 1905 годом, великим дыханием революции пахнуло на каждого, и еще горячей забились сердца, и крепче сжимались кулаки...

А когда предложенная Лениным резолюция была единодушно принята и митинг закрылся, рабочие разорвали несколько своих красных рубах, прикрепили полотнища к палкам, и улицы, прилегающие к Тамбовской, наполнились гордыми звуками:

...Смело, товарищи, в ногу,
Духом окрепнем в борьбе...

...На бой кровавый,
Святой и правый,
Марш, марш вперед,
Рабочий народ...

А над городом лился серебряный свет белой майской ночи и плыла к востоку огнистая заря, разгораясь все ярче, все сильнее, и от нее вот-вот, казалось, вспыхнет небо, потом глянет солнце и засияет новый день...

Озаренный розовым светом, подняв голову, гулко шагал по улице и слегка размахивал рукой Ленин.



ЧАСТЬ ВТОРАЯ





Глава первая

Ольга вышла на свободу, когда цвели сады. Ярко горело солнце, звенело от птиц небо, обряжались, как под венец, во все белое вишни, розовыми переливами красовались приземистые яблони, горделиво стояли особняком груши и все смотрели на солнце своими бесчисленными кремовыми цветками, будто хотели перехватить и вобрать в себя весь жар его, всю силу жизни.

На крышах домов и сараев сидели и стояли подростки, гоняли голубей длинными палками с белыми тряпками на концах, свистели соловьями-разбойниками, не давая голубям садиться, и они парили и кувыркались под облаками разноцветными клубочками.

Хозяйки прихорашивали домишки, набеливая их известкой, подводя карнизы и завалинки яркой охрой, а ставни густо накрашивали синькой.

Ольга улыбалась. Отвыкла она от всего этого. Сколько времени ничего, кроме камеры, мрачной и холодной, не видела – и вдруг столько света, столько простора, а от красок глаза разбегались. Легкая и тонкая, как девчонка, в потускневшей ситцевой кофточке и в черной юбке, она смотрела на белые сады, на поселок, на синеокие домики, на разноголосую детвору так счастливо, словно она только что на свет народилась, и готова была петь, плясать от радости и кричать людям, и садам, и солнцу: «Я тоже

с вами! Я всегда была с вами, люди, земля, небо. И всегда буду, родные мои, единственные мои...»

Но мало теперь было сил у Ольги, и она шла и качалась, как былинка на ветру, и рада была поскорее добраться до знакомого дома, до близкого человека, чтобы отдохнуть, расспросить о друзьях. Но знакомых домов не было видно, близких людей не встречалось. Ольга свернула в переулок, взошла на бугор и больше не могла ступить ни шагу. Ноги ее подламывались, лоб покрылся испариной, и ей стоило больших усилий просто стоять, а не только идти, или петь, или приветствовать жизнь, бившую через край.

Она вздохнула в полную грудь, и голова ее закружилась от хмельных запахов земли.

Внизу перед ней предстала знакомая и родная картина: там дымил и шумел натужно махина завод и жил своей извечной огненной жизнью.

Все, казалось, было таким же, как и много лет назад, когда они с Леоном, рассчитанные с рудника, приехали сюда наниматься. А вместе с тем все было не таким... Не было теперь здесь многих и многих друзей и знакомых, не было Леона...

Ольга опустила голову, и перед глазами ее все завертелось и пошло ходуном. Она как-то неловко упала на молодой бархатистый полынок и замерла.

Полынок наклонился к ней, коснулся беломраморной от голодовки щеки, заострившегося кончика носа, погладил шелковой метелкой черные, выгнутые как бы от удивления брови и закивал на все стороны, словно звал на помощь или кланялся небу, птицам и самому солнцу.

Набежал легкий ветерок, покуражился возле Ольги, потрогал рассыпавшиеся по лицу светлые волосы и бережно переложил их на висок, на часто вздрагивающий синий бугорок вены. Потом дунул раз, второй на усыпанное бисеринками испарины бледное лицо, на бескровные, белые губы, и они приоткрылись, захватили пахучий степной воздух и уже не закрывались, розовея все больше и показывая ряды мелких зубов.

...Когда Ольга очнулась и открыла голубые глаза, она увидела возле себя рыжую куговую кошелку и торчавшие из нее красные пучки редиски с белыми хвостиками и услышала грубый голос тетки Гаращихи:

— Ну чего убиваешься? В хате мало места, что вышла на свет божий показывать нашу бабскую хворь? У-у, какая присяжная: с полчаса сижу, а она все пластом лежит. Хватит. Всех слезами не обольешь, девонька.

Сняв с головы белый, в крапинку платок, она тряхнула его, словно с дороги подняла, водворила на прежнее место и, завязав узелком на подбородке, теплее прежнего продолжала:

— Я, когда своего хоронила, царствие ему небесное, не ревела. Душат слезы, а плакать — провалиться на этом месте! — не умею... Ну, вставай, вставай, матушка, и сказывай про свое горе горемычное, расшиби его гром.

Ольга знала эту могучую, с вечно красным лицом и плутоватыми глазами женщину, соседку Горбовых, с которой только Иван Гордеич и мог ладить, и недолюбливала ее. Но сейчас она была рада и ее появлению и смущенно стала оправдываться:

— Не плакала я, тетенька. От тюрьмы это. Памяти лишилась почему-то и упала.

Тетка Гаращиха всплеснула руками, быстро перекрестилась и заквохтала, заохала во весь свой мужской голос:

– Господи Исусе! Оленька! Да откуда же ты взялась? Неужто прямо из острога, расшиби его гром?.. Ох, сиротинушка ты моя горькая,– захлопотала она возле Ольги, стряхивая с нее прошлогодние былки травы, что прилепились к ней со всех сторон, гладя по голове, утирая пот с лица, и все вздыхала: – Ох, горюшко ты мое, ох, страдалица. Уходили-то как тебя, разнесчастную, ироды. Ну, чисто Варвара-великомученица сделалась, одни косточки остались...

– Я двенадцать дней голодала, требовала выпустить на волю.

– Две недели! Ни маковой росинки?! – ужаснулась тетка Гаращиха и готова была разрыдаться, да не могла.

И всю дорогу, пока шла с Ольгой домой, ругала власти и весь род человеческий. Дома она поставила на плиту чугун с водой, нажарила картошки, положила на стол редиску и лук, квашеного молока раздобыла у соседки и начала потчевать Ольгу, как знатную гостью, да вовремя спохватилась:

– Ох, грешница, что же я делаю? Нельзя тебе все потреблять, раз ты долго не ела,– и разделила свое нехитрое угощение на две части.

Ольга стеснялась, и радовалась, и не знала, как благодарить свою неожиданную благодетельницу. Она не предполагала, что судьба приведет ее к этой ничем не примечательной, никогда не унывающей женщине, а вот, поди ж ты, какая она, оказывается: что мать родная. И Ольга совсем расчувствовалась:

– Спасибо вам, тетя. Вы – как моя мама... А есть я ничего не буду. Спать хочется.

– Да мне не жалко, горюшко ты мое, но надо иметь воздержание. Внутренности-то у тебя тоненькие теперь, прохудиться могут...

Ольге действительно хотелось спать, и у нее язык заплетался и смежило глаза от бессилия, но тетка Гаращиха потчевала своей нехитрой снедью и тараторила без умолку, рассказывая о житейских новостях, о том, как Ивана Гордеича «скинули с мастеров» и как он проклял и домны, и начальство, а потом пошел в церковь, купил пучок свечей и заказал молитву за упокой директора завода и начальника доменного цеха.

– А они умерли, что ли? – удивилась Ольга.

– Какой там! Живехоньки, расшиби их гром! – как в трубу, гудела тетка Гаращиха.– Да ты слушай, что было опосля... Ну, поставил он эти свечки, Гордеич наш, а они, расшиби их гром, в руку толщиной. Ну, горят себе перед ликом Варвары-великомученицы, а Гордеич гудит, чисто доменная: «Упокой души их анафемские и снизойди на них огненная геенна, аки на антихристов...» Это – на начальство, значит. Ну, бабки, какие стояли рядом с ним, сперва молились, а вскорости смекнули: не иначе это богомольная душа перехватила с горя по покойнице, по Дементьевне, да возьми дьячку и шепни, мол, так и так. Ну, тот подошел, ухи навострил, как осляти, и со строгостями к Гордеичу: «Ты, мол, самый набожный християнин, а почему недозволенное позволяешь? Не разогрешу, говорит, живых благородий отпевать!» Да хвать свечи! Эх, как тут загорелся Гордеич – да за свечи свои, да как трахнет ими по лысой макушке дьячка и кричит: «Я с богом разговариваю, а ты, пьявка на теле Христовом, вводишь меня

в грех?» И что тут сотворилось! Дьячок, весь в воску, хватается за лысину, потому воск со всех свечей прижарил ему живую кожу и припечатался, орет благим матом: «Спасите, православные! Во храме господнем муки адовы восприемлю!» А Гордеич и ухом не ведет, насилу угомонился — отец дьякон встрял в дело. А он же бугай, расшиби его гром... Ну, а вскорости Гордеич и стал промышлять божьими товарами и тем кормился, да и меня выручал.

Ольга развеселилась.

— Иван Гордеич? — удивленно переспросила она.— Он всю жизнь золотые в монастыри посылал.

— Посылал, как дурной был... А ты ешь, ешь, моя детка. Молочко, оно легкость дает внутренностям,— угощала тетка Гаращиха и продолжала: — Золотые он посылал до смерти Дементьевны. А когда похоронил ее — эту блажь с него как рукой сняло. «Не святые, сказал, а пустобрехи. Кончилось ихнее божественное действие надо мной!» Совсем как дед бессмысленный Струков сделался... Ты ложечкой ешь, чайной ложечкой,— хлопотала она возле Ольги, подкладывая на блюдечко квашеного молока.

— Я уже не могу, тетя, спасибо. Спать хочется. А Никита Иванович ничего? Поправился?

— Спать успеется, моя горемычная. Сейчас баньку сделаем — и с богом,— ворковала тетка Гаращиха и, внеся из коридора оцинкованное корыто, принялась делать «баню».

Ольга с удовольствием искупалась, помыла голову, переоделась в длинную домотканую рубаху и села возле печки просушить волосы, а тетка Гаращиха уже стирала ее белье, засучив рукава и подоткнув подол исподней юбки, и продолжала рассказывать теперь уже про деда Струкова:

— Про Никиту того, антихриста, расскажу, слушай... Ох, умора, расшиби его гром! Ему ж живот распахало пушкой на рабочих позициях. Ну, думали, отжился наш Никита...

— Значит, выжил? — обрадовалась Ольга.

— Слушай дальше... Да распусти, распусти волосы над печкой. Так враз просохнут.

Ольга распустила волосы, наклонилась ближе к печке, а тетка Гаращиха выкрутила черную юбку, что стирала, и продолжала:

— Ну, приволокли мы его, бабы, в хату, положили на лавку и думаем-гадаем: обмывать его, болезного, и прямо в гроб класть или подождать, пока он окончательно души лишится? Только я эти слова сказала, а он — что бы ты думала? Поднял голову, вытаращил на меня глазищи, да как стрельнет ими в самое мое сердце, да как гаркнет: «Ты, ведьма краснорожая, что, живьем меня во гроб хочешь законопатить? Да как ты смеешь баррикадного солдата при жизни хоронить? Убью,— кричит,— и ответствовать за тебя не буду, растрикурносую холеру». Подумай: это я, значится, такая, а? И востребовал: «Дайте мне иголку с суровой ниткой, я вам покажу, какой есть дед Струков». Ну, мы — ни живы ни мертвы. Даем ему иголку с суровой ниткой, он берет ее и — господи помилуй! — перекрестилась она быстро,— своими руками кожу на животе, как полотно, сшивает, расшиби его гром. Да еще командует: «Сделайте мне настой укропа, шалфея и всякой зелени. Живо!» Ну, мы делаем, а он ругается на чем свет стоит: «Дуры стоеросовые, язви вас, так и сяк, осатанели навовсе и живую душу ко гробу

представить надумали. Уходите с глаз долой! Убью прежде вашего времени!»

— Но ведь могло получиться заражение крови, — прервала ее Ольга.

— И мы ж ему про то толковали: «Мол, живот — это самое мягкое место на теле людском, и антонов огонь может от твоего шитва прикинуться». А он нам: «Я вот как возьму эту иголку да как сделаю вам шитво на мягких местах, какими вы сидите, так вы до смерти и спать на ходу будете. Марш отсель!» Тьфу, страмотницкая душа, рази его гром!

— Крепкий старик, — усмехнулась Ольга. — И вылечился?

— Память как раз бог отобрал у него. Ну, мы потихоньку за доктором. Пришлось ему в больнице все по-ученому перешивать. А то довелось бы старому черту ходить скособочившись всю жизнь, расшиби его гром.

Когда Ольга наконец добралась до постели и уснула крепким сном, тетка Гаращиха развесила белье во дворе, вернулась в дом. «Маша моя такая была б теперь... Ох, горюшко ты наше!» — вздохнула она и поправила кончик спускавшейся с кровати домотканой простыни.

Ольга, розовая после бани, с длинными, слегка изогнутыми кверху ресницами, лежала на старой деревянной кровати, подложив руку под голову, и казалось, что не спала, а лишь закрыла глаза, отдыхая.

Тетка Гаращиха перекрестила ее, переоделась и бесшумно ушла к Горбову поделиться своей новостью.

Иван Гордеич, водрузив на нос очки, а на голову старую соломенную шляпу и подпоясавшись мешком, сидел посреди двора на скамейке и перебирал рассыпанную картошку. Худое, заросшее рыжей длинной бородой лицо его было мрачно, старый жилет прохудился, кумачовая рубаха под ним была не первой свежести, сапоги покраснели то ли от руды, то ли от времени, и весь он был — одно горе.

У тетки Гаращихи сердце закатилось от жалости, и она, едва войдя во двор, забубнила:

— Сколько разов говорила тебе: женись, каланча несчастная, а то бабские наши дела совсем уходят тебя. Так нет, красавицу заморскую ожидаешь, расшиби ее гром... Бог в помощь, мущинская хозяйка.

Иван Гордеич посмотрел на нее поверх очков, нехотя ответил:

— Спасибо, — и продолжал заниматься своим делом.

Тетка Гаращиха подошла ближе, покачала головой и продолжала сочувственно:

— Это когда же ты пересортируешь ее? И огород тоже: сколько же тебе одному надо жил положить на него? И кабанчик, птица глазу женского требуют, а ты все один и один. Женись скорей, расшиби тебя гром. Бабская душа тебе требуется в дом!

— На тебе, что ли? — недовольно спросил Иван Гордеич, обламывая с картофелины длинные белые ростки, и кольнул: — То-то ты нарядилась, как на престольный праздник... Села бы лучше да помогла, чем талдычить про разные фантазии. Замуж повыходили мои невесты.

Тетка Гаращиха присела на корточки и стала перебирать картошку. Хитровато она возразила:

— Не все повыходили. Ты рассмотрись хорошенько, божий ты человек.

Иван Гордеич помолчал, оборвал ростки еще с нескольких картофелин и невесело ответил:

— Вон наш один женился не в свои лета, а теперь волком воет. Баба, чуть что, берет скамейку, становится на нее и лупит, антихристка, как за провинность.

— К порядку, значит, приучает. Твоя покойница, царствие ей небесное, щипала тебя за бороду? Щипала...

— Ты мне такие речи не болтай. Моя за народ смерть приняла. Перебирай лучше картошку да ростки пропускай, чтоб скорей взошла. Огород на старом месте будешь сажать? Давай один посадим.

— Нужен ты мне здорово. У меня возле речки земля нарезана.

— А у меня возле доменной, по-твоему?

Тетка Геращиха просияла от таких слов и не знала, что и сказать. Она уже явственно представляла, как они вдвоем ходят на огород, поливают там всякую зелень, потом возвращаются домой и говорят, говорят... Но о чем они говорят — она никак не могла представить.

— Да я ж к тебе с новостью: Оленька пришла,— сообщила она таинственно и оглянулась: не слышал ли кто?

Иван Гордеич посмотрел поверх очков на ее красное лицо и плутоватые маленькие глазки и с явной досадой переспросил:

— Ольга? Наша Оленька? Так чего ж ты молчала, идол красноносый? — И решительно встал.— Я заберу ее к себе.

И пропало хорошее настроение у тетки Геращихи, и поблекло в кои веки просиявшее лицо, и она с обидой и горечью сказала:

— Я и так одна-одинешенька осталась, как былка горькая, а ты...— всхлипывала она и утирала нос краешком косынки.

— Мне требуется женский глаз в доме, поэтому отстань от меня,— оборвал разговор Иван Гордеич, но потом сказал: — И еще по секрету тебе доверюсь: нам с Дементьевной очень по душе была Оля, мы хотели сделать бумаги, чтобы дочкой звать. Пойдем к ней...

— Она на Машу мою, покойницу, всем обличьем скидается, а ты заберешь,— жалобно протестовала тетка Геращиха и перешла в атаку: — Изверг ты, тиран женский, расшиби тебя гром на этом свете! Чтоб твоя картошка посохла, чтоб твой огород вода залила, чтоб ты...

Дед Струков смотрел на них из-за невысокой загорожи, что отделяла его подворье от подворья Горбовых, и качал головой:

— Эка глотка, язви ее! Расшумелась на всю улицу. А ну цыц, пока я не сказал тебе главного мущинского слова. Ольга есть сознательный борец за рабочее дело и не может жить поблизости от такой курносой. Ясно?

— Ах ты, штопаный мужчина, расшиби тебя гром. Сгинь и не встревай в наши семейные дела! — накинулась на него тетка Геращиха.

Дед Струков рассвирепел. Мигом козлиная бородка его протиснулась в щель между досок, затем протиснулся он сам и распетушился:

— Велю тебе прикусить язык, язви его... Я буду смотреть за ней, как она есть пролетарская политичка. Где она? Я сам пойду, мне потолковать об делах государства надо с ней...

Ольга стала жить у Ивана Гордеича. У тетки Геращихи и у деда Струкова только и было забот, чтобы угодить ей. Но у Ольги было единственное желание: как можно скорее повидаться с Сергеем Ткаченко.

Дед Струков вызвался помочь ей.

Утром следующего дня Ольга проснулась, когда Иван Гордеич уже ушел на огород. Она убрала в комнатах, открыла окна, выходившие в палисадник, и заторопилась в тень, ослепленная сиянием дня.

Возле летней печурки, в глубине двора, что-то делала и недовольно бурчала тетка Гаращиха:

— А еще был мастером, расшиби тебя гром. Попалил всю. Кабану даже не понравится.

После завтрака тетка Гаращиха ушла на огород, а Ольга осталась домовничать. Она побрызгала землю водой, подмела во дворе, побелила печку, цветы в палисаднике прополола и села отдохнуть на порожке под навесом.

Из палисадника, из садов лился сладкий запах. Всюду сновали пчелы, и от них в воздухе стоял мерный тихий звон.

На макушке тополя, на тонкой, будто начищенной до глянца ветке, беспечно насвистывал скворец, а на скворечне чирикал воробей. Важно нахохлившись, он озирался по сторонам, робко заглядывал в черную круглую дырочку домика и вдруг юркнул в нее. Скворец камнем упал с тополя, нырнул в скворечню, и воробей не вылетел оттуда, а свалился почти на землю, и пушинки полетели вслед за ним, кружась и перевертываясь в воздухе. Через минуту как ни в чем не бывало он уже сидел на сарае, отряхивался после неудачного набега, а потом зачирикал пуще прежнего и запрыгал по гребню крыши, распустив крылья, как беркут.

И Ольга взгрустнула. И у нее не было ни своего угла, ни своей семьи...

Сергей Ткаченко появился вдруг, со стороны сада. Ольга схватилась с места и хотела обнять его, да у нее закружилась голова, и она закрыла глаза рукой и качнулась. Ткаченко поддержал ее робко и застенчиво.

— Это от голодовки, сейчас пройдет,— успокоил он ее, и как-то случилось, что он погладил рукой по ее горячей спине, по плечу и убрал руку с такой поспешностью, будто к раскаленной плите прикоснулся.

— Ничего, все образуется, Сережа,— проговорила Ольга тихо и устало.— Пойдем в хату, тут нельзя быть.

— Можно. Я не очень-то нужен властям, Карпов говорил... Да, а ты знаешь, что Леону заменили каторгу ссылкой? А из ссылки ноги могут донести его и сюда.

Ольга посмотрела на него посветлевшими глазами и завертелась по комнате, переполненная радостью.

И Сергей Ткаченко в душе позавидовал Леону: счастливый! «Но Алена, Алена как же будет жить?» — застрял в его голове вопрос и немного омрачил встречу с Ольгой. И он стал рассказывать о друзьях: Лавреневу и Вихряю дали ссылку, Михаил Рюмин является теперь душой организации, вернувшийся в Югоринск Ряшин помог Полякову захватить губернский комитет, Чургин вышел на волю, был на съезде и скоро должен приехать в родные края.

Ольга ничего об этом не знала и была рада каждому его слову.

— А Алена жива-здорова?— осторожно спросила она.— И о себе ты ничего не говоришь. Жениться не надумал?

— Жива-здорова. Все тюрьмы объездила: Леона искала. А я еще невесты не нашел.

Ольга умолкла. И такая досада охватила ее, что, попадись ей сейчас Алена, она отчитала бы ее без малейшей жалости.

— Искала Леона,— повторила она, глядя куда-то в окно, на трепетавшие серебристые листья тополя.— А где она раньше была? Почему не искала во время баррикад, бросила его в беде? Не верю я ей. И Леон не поверит,— заключила она гневно.

Сергей Ткаченко опустил голову. А он-то думал, когда шел сюда... Нет, не выросла еще его невеста...

Вскоре они тропинками-переулками ушли на речку погулять.

На речке росли вербы. Когда-то их здесь была роща непролазная и темная, как ночь, и югоринская знать устраивала здесь пикники, но со временем их вырубили и оставили одни столетние вербины да кустившуюся молодь. Но с тех пор было много весен, было много солнца, молодь подросла и вымахала в поднебесье и обступила речку со всех сторон. И шумели теперь вербы, как лес, и пели в них все птицы, а в тени под ними отдыхали в полдень все сазаны, которых вечно караулили рыбаки.

Сейчас была новая весна, новая пора жизни, и все цвело, все дышало молодостью и пьянило ее запахами.

Но Сергей Ткаченко не слышал никаких песен, не чувствовал никаких запахов, а чувствовал руку Ольги, которую держал в своей руке, и слушал ее рассказ о тюрьме, о том, как следователь пытался обесчестить одну неизвестно за что арестованную гимназистку, а Вано пришиб его во время своего допроса, потом выпрыгнул через окно — и был таков.

— ...Тогда-то мы и объявили голодовку, в знак протеста против глумления над арестованной. Нас поддержали мужчины — и вот я вышла. И гимназистка вышла,— заключила Ольга.

— Кто она и где живет? Мне надо срочно разыскать ее. Об этом надо напечатать листовку, сообщить в газету... Негодяи! Какие негодяи!

— Она не из наших мест.

— Все равно надо найти ее! Я найду! — кипел Сергей.— А листовку я сегодня наберу.

У брода через речку, под скалой, Ольга ступила на скользкий камень и едва не упала, да Сергей успел поддержать ее.

Миг - и она оказалась на могучих руках Ткаченко.

— Сергей, ты с ума сошел! Я еще сама могу Пусти,— запротестовала Ольга.

Но куда там было противиться и укорять или что-то требовать от Сергея Ткаченко, когда он держал ее на руках, как святыню, и брел по воде там, где переходили речку кони, и смотрел куда-то мрачно и жестко, и не чувствовал ни воды, ни неровностей бродка, ни даже того, что в сапоги его уже пробрался холодок. Не чувствовал потому, что ему казалось.. он был уверен в этом: Ольга не все сказала — следователь пытался обесчестить ее самое.

Ольга посматривала на его мрачное лицо, на сжатые губы и думала: сказать или не сказать? И не сказала — о следователе, о себе, а лишь тихо промолвила:

— Ну и медведь ты, Сережка. Счастливая будет твоя жена.

Ткаченко выбрался на противоположный берег и понес, понес ее вдоль

речки, а потом остановился на пригорке, посмотрел в ее ясные и немного грустные глаза долго и пристально и вдруг выпалил:

— А вот ты и будь моей женой, — и запел негромко:

— Ах, ты, душечка, красна девица,
Мы пойдем с тобой, разгуляемся...

Ольга готова была убежать от смущения, от охватившего ее волнения, но стояла с опущенной головой. Все обернулось так неожиданно и так трудно. Да, Сергей — очень хороший и чистый, как это небо, человек. Но она-то любит Леона...

Сергей смотрел на нее и ждал ее ответа. И не дождался.

— Все понятно, Оля... Я этого и боялся... твоего такого молчания, — произнес он убитым голосом и вздохнул: — Ну, дело твое. Леон, конечно, — это не Сергей Ткаченко.

— Не надо, Сережа, родной мой, не надо об этом... — умоляюще произнесла Ольга и, сев на траву, обхватила колени руками и опустила на них голову.

«Ольга, Ольга, наивная душа! Ничего ты не видишь и ничего не знаешь... Алена никогда не отступится от Леона», — говорил ей в уме Сергей Ткаченко и сел рядом.

Мы пойдем с тобой в зеленой лужок,
Мы нарвем цветов и совьем венок... —

запел он тихо-тихо и на этом умолк.

Под скалой шумела речка и разговаривала звонко с красноталом, с могучими вербами, а о чем говорила — никто не знал. И в садах кричали и надрывались в своих песнях соловьи, вздыхали, щелкали, посвистывали ухарски, конечно же от радости, от счастья, и эхо подхватывало ту радость и то счастье и разносило их всем, всем: и замшелым скалам, и садам, и гордым вербам, и даже горячему небу. Не было этой радости лишь у Сергея Ткаченко.

На другом берегу речки, в молодых камышах, молча сидели рыбаки, сосредоточенно смотрели на желтые веера удочек, на торчавшие из воды гусиные поплавки с красными головками и терпеливо ждали клева или вспоминали свою молодость, своих суженых, свои песни.

— Безработные. А я... А мы веселимся, — не в лад поправился Сергей Ткаченко.

Со стороны речки послышался низкий голос:

— Дочка, ты одна вышла? Про других не слыхать?

Ольга переглянулась с Ткаченко и ответила:

— Одна, дядя.

И настала тишина. Но ее разорвал тот же голос:

— Значит, в Сибирь...

Ему ответил другой голос, такой же низкий, но решительный и быстрый:

— Бастовать след, а не вздыхать... Клюет, смотри.

Обладатель первого голоса неторопливо взял удочку, подержал ее в руках, видимо карауля, когда поплавок совсем уйдет под воду, и резко дернул так, что леса свистнула и зазвенела, как струна, и удочка пошла ходить туда-сюда.

— Сазан, — понял Сергей Ткаченко.

Действительно, через несколько минут, уходившись и ничего не выгадав, сазан выпрыгнул из воды, взвился дугой и засверкал золотой своей обновой, а потом шлепнулся на берег, позади рыбака, и запрыгал там, замелькал в траве червонным самородком.

— Вот так их, парень. Умеешь ведь, а? — произнес второй голос не то с завистью, не то с одобрением, а Сергею Ткаченко бросил: — Пой, Сергей, пой. Сазаны от нас никуда не денутся, как видишь. А песня, она душу греет, силу дает человеку. Да и подружке твоей радостно послушать после казенной квартеры... Когда-нибудь они за это ответят, сучье отродье...

Сергей Ткаченко тяжко встал и бросил Ольге:

— Пошли. Не могу я больше... Ни сидеть, ни гулять, и вообще...

Вскоре они увидели Алену. В белом платке и в такой же блузке, она копошилась на своем огороде и ни на кого не обращала внимания, точно одна была во всем мире.

По всему берегу речки раскинулись куты — левады, где обычно сажали огороды. Куты постоянно заливались вешней водой, долго просыхали и поздно засаживались, но зато урожаи давали как по заказу и кормили тысячи рабочих завода.

Сейчас тут было что на базаре: сотни людей, сотни лопат, мешки и ведра с картошкой, а от пестроты одежды рябило в глазах.

Алена копала лунки. Лопата ее была отполирована до блеска, и на ней то и дело вспыхивали ослепительные солнечные зайчики. И всюду они вспыхивали, веселые и озорные, и от этого казалось, что весь кут горел и перемигивался белыми огоньками, будто заселен был тысячами ребятишек и они баловались и слепили друг друга невидимыми для стороннего глаза зеркальцами. Внешне же было красиво: платки, платки белели всюду, как крупные степные ромашки, среди них — черные согбенные мужчины, а между ними сновали дети, волокли тяжелые ведра с картошкой, бросали ее в лунки.

Алена не разгибала спины. Белая косынка на ней была низко надвинута, белая блузка потемнела от пота, и из-под нее проглядывали острые лопатки и плечи, на ботинки, на каблуки налепились комья земли.

Ткаченко и Ольга подошли к ней, поздоровались.

— Принимай помощников, молодица. На своих харчах — двадцать копеек, на хозяйских — гривенник от солнца до солнца, — пошутил Сергей.

Алена обернулась не разгибаясь, потом подняла косынку, потом распрямилась, и черные брови ее порхнули на лоб и застыли удивленно и растерянно.

— Вышла? — спросила она явно недружелюбно.

— Вышла, — ответила Ольга и смотрела на нее печально и сочувственно — похудевшую, почерневшую, как после хворобы, с синими кругами под глазами, с ввалившимися щеками. «Уходила тебя жизнь, Алена!» — думала она и сказала: — Изменилась ты. Не сладкая жизнь, видать, выпала...

Косынка с головы Алены слетела, черные глаза сузились и засверкали в щелках, как два огонька. Полная ненависти и ярости она сказала:

— А через кого у меня такая жизнь? Кто разбил мое счастье — ты про это думала? Уходи с глаз долой! Убить могу случаем! — грозно повысила она голос.

— Дура, какая ты дура редкостная! — спокойно произнесла Ольга. — Ты бросила Леона, ты мучила его целые годы. Ты во всем виновата.

И Алена опустила голову.

Ткаченко предложил:

— Давай мы поможем тебе.

Простились, когда над речкой уже курилась лиловая дымка вечера, а в садах, под скалой, сходили с ума соловьи, охая с неистовством и лихостью и щелкая так, будто кто крушил и раскалывал гору орехов.

В камышах лягушки старались изо всех сил, дулись до стона, до хрипоты и не могли заглушить соловьиного буйства — песни жизни, песни любви...

Долго в тот вечер светился огонек в доме Алены. Собственно, он никогда раньше полуночи и не гас, потому что дел было у Алены — не переделать: надо было заквасить молоко для господ инженеров и чиновников, которое она разносила по квартирам ранним утром, потом надо было сшить соседке платье или раскроить кому-нибудь юбку, и себе кое-что требовалось простирать или подлатать, а потом надо было дать травы корове — словом, надо было успеть во всем.

Соседки дивились: когда она успевала все делать? И сколько у нее жил, у этой Алены? Даже на крылечке не посидит вечером, не посудачит, а замуровалась в своей крепости, как сурчиха в норе, и к себе никого не позовет, и сама ни к кому не заглянет на полчасика. Уж не наблудила ли по бабьей слабости и вот теперь затворилась, как монашка?

Алена не блудила. Алена бросила мужа и отреклась от него как раз тогда, когда другие жены были на баррикадах вместе с мужьями, и ей было тошно теперь смотреть на белый свет, а не только на соседок.

Вот почему она так и жила: как отшельница, как отверженная, и уже сожалела, что не уехала вместе с Дороховыми на хутор. А как уговаривал ее Игнат Сысоич, какие золотые горы сулил в Кундрючевке! Но упрямая была Алена — не уговорил Игнат Сысоич, не сманили ее золотые горы. Она лучше знала, что там ожидает ее и Дороховых, и даже не поддалась на уговоры матери, приезжавшей в Югоринск.

И осталась. Одна во всем огромном доме. И жила тем, что выручала за молоко. И еще жила надеждой, надеждой на будущее. Понимала она очень хорошо: тоненькая ниточка связывала ее теперь с Леоном, не поверит он ей, что она давно поняла, давно осудила и сто раз казнила себя за такую свою жизнь, за такое свое вероломное отношение к мужу, к его жизни, его устремлениям. Но надеялась и ждала. Поймет, простит Леон — она пойдет за ним хоть в огонь и в воду. Нет — так, значит, нет. Тогда нечего будет мозолить людям глаза на этом свете...

Вот почему в свободные минуты Алена долго не гасила свет, брала фотографию Леона, и смотрела, смотрела на нее, шептала ему самые лучшие, самые душевные слова. И плакала безутешными слезами.

Так и шла ее жизнь — мучительная и одинокая.

Вот и сейчас: сидела она за столом, смотрела на фотографию Леона, бережно водила своей загрубевшей, загорелой рукой по холодному стеклу карточки и шептала:

— Лева... муж мой... тяжко мне...

И роняла на стекло теплую непослушную слезу.

Такой ее и застал Яков. Тихо подойдя на огонек, светившийся в окне со двора, он хотел было крикнуть: «Эй, хозяйка, открывай двери!», но,

увидев ее с фотографией в руках, промолчал и подумал: «Вот и все, сестра, что осталось от твоей любви: карточка». И у него кошки заскребли на душе от обиды за нее. Он постоял немного, потом взошел на крылечко и постучал в дверь. Алена впустила его в дом без радости и без печали и лишь настороженно наблюдала за ним и будто предчувствовала что-то нехорошее.

Яков ничего нехорошего говорить ей не намеревался. Он только что возвратился из-за границы, ехал в Александровск навестить Оксану и узнать, не разрешилась ли она, и вот по пути завернул к Алене. И конечно же не обрадовался ее житью-бытью.

— Да, сестра, неважная твоя житуха, на карточку Леона только и осталось глядеть,— грустно сказал он и сбил шляпу на затылок.

— Скинь свой котелок, не к басурманам пришел,— недовольно заметила Алена и более зло продолжала: — Поздно ты про мою судьбу стал печалиться. Раньше про нее надо было думать вам с батей. Может, я и не так бы жила сейчас и не плакала над карточкой мужа.

Яков промолчал. Да, о ее судьбе они с отцом беспокоились мало, радость ее не берегли, горе ее вместе не горевали. То есть они-то с отцом хотели ей лучшей жизни, настоящей радости, но искали ее не там, где следовало,— искали в разрыве Алены с крамольником мужем. Но ничего не достигли, а, наоборот, исковеркали ее душу. Он поднял глаза и хотел сказать что-нибудь в свое оправдание, но сказать было нечего. Бросив шляпу на стул, а папиросу в поддувало, он подошел к Алене, взял ее за плечи и посмотрел на нее пристально и сожалеюще. И она смотрела на него темными, затуманенными печалью глазами, и в них была великая тоска, и укор, и скорбь, и сама она, маленькая, как бы присевшая, была такая измученная и одинокая в своем горе и так мало, казалось, осталось у нее сил и прежнего горения жизни, что у Якова сердце заныло от обиды за нее и стыда перед ней. Он поцеловал ее в щеку и низким голосом проговорил:

— Прости, сестра. Я никогда больше не причиню тебе зла,— и отошел к окну, а потом глухо спросил: — Оксана не родила? — И пальцем написал на окне: «Сын».

— В Черкасске она. Родить поехала, Варя говорила,— так же глухо ответила Алена.

— Илья Гаврилович не был? Я его в Петербурге видел. Он нужен мне до зарезу. Шахту покупаю. А тебе... А нам с тобой — магазин присмотрел тут,— поправился он.

Алена молчала, и Яков понял: уходит, ушла от него сестра, и стоит как чужая, и будто ждет, когда он провалится сквозь землю.

— Значит, отчихнулась от брата.

Алена подняла голову, внятно произнесла:

— Яков, уходи.

Яков был ошеломлен.

— Что ты мелешь?

— Я сказала: уходи. Магазин твой мне без надобности. Сын твой будет твой сын. Хватит, нахлебалась я ваших радостей вот как,— провела она рукой по горлу.

И Яков больше не мог терпеть и гаркнул во весь голос:

— Да я брат твой единоутробный чи пришей кобыле хвост? Что ты

дурочку валяешь и монашку из себя строишь? Я хочу обеспечить тебе безбедную жизнь... Я хочу, чтобы вы с Левкой жили как люди! Ты это можешь в понятие взять, наконец?

— Не надо.

— Дура! Дура, прости бог, немазаная и некрашеная. Кто себе враг? Не хотите с Леоном торговать одежой-обувой, торгуйте книгами, лаптями, тряпьем, но торгуйте же, живите же как люди, черти сумасшедшие. Сто тысяч даю вам, шутка ли?!

И тогда Алена крикнула:

— Уходи с моих глаз долой! Не то я выцарапаю твои бесстыжие, лицемерные глазищи.

И Яков стал Яковом и усмехнулся:

— Вот это — Аленка. А то плетет черт-те что... Ладно, не хочешь — силком не тяну. Иди по своим делам. Я спать буду. А утром уеду так, что ты не приметишь,— миролюбиво проговорил он и привлек ее к себе: — Худоба несчастная. Еще кочетится, а у самой руки похолодели, как у покойника... Каюсь, я и только я во всем кругом повинен. Черт мне шептал всегда под руку одни пакости. Но теперь все, научили. Так что надо умнеть, сестра. Вот с Оксаной только не знаю, где ума взять и что делать: дитя приведет, а ехать домой не захочет наверняка... Видно, крепко у них был завязан узелок с крамольным инженером тем, какой отдал богу душу на баррикадах, пухом ему земля, нечистому духу.

В раскрытую дверь вошел Михаил Рюмин. Он услышал эти последние слова Якова и готов был дать ему в физиономию, но сдержался и, снимая белую перчатку с правой руки, измерил его с ног до головы презрительным взглядом и сказал:

— Послушайте, вы! Не имею чести вас знать... Оксана поступила, как благороднейшая женщина, и закрыла глаза честному русскому инженеру и борцу. А вы в это время, как мне говорили, пороли мужиков... Извините, Алена, что я невольно вмешался в ваш разговор. Я не имею права не сказать этому господину, в котором без труда угадывается ваш братец, что есть доблесть, а что — подлость.

Яков сделал над собой великое усилие, чтобы не броситься на Рюмина с кулаками, и, как бы заканчивая разговор с Аленой, продолжал:

— Да. Ну что ж, сестра? Потолковали мы, кажется, откровенно. Я еду в свои края. Бывай здорова.— И в свою очередь, измерив Рюмина с ног до головы, спросил предельно спокойно: — С кем имею честь? С другом моей жены? С коллегой ее покойного друга? Или с тем и другим одновременно? Стреляться нам не придется, так что не извольте беспокоиться, а познакомиться не вредно.

Рюмин смотрел на него и молча снимал вторую перчатку. А когда снял — сложил обе и вдруг ударил Якова перчатками по лицу.

— Инженер Рюмин моя фамилия,— отчеканил он и удалился.

Яков сначала растерялся, но в следующую секунду рванулся с места и хотел догнать Рюмина, да Алена преградила ему путь.

— За дело получил. А чтобы ты знал, кто это, могу сказать: это брат того инженера, который умер на руках у Оксаны.

Яков опустил голову. Стыд, и обида, и ярость — все смешалось в его горячей душе, но, странно, он молчал и лишь мысленно говорил: «Еще

шаг – и я дошел бы до тюрьмы. Из-за Оксаны. Боже мой, сколько ты стоишь мне жизни, Оксана, Оксана...»

– Спасибо, сестра, – наконец проговорил он и вернулся на прежнее место.

– Не стоит, брат, – язвительно ответила Алена.

– Стоит, Аленка. У меня в кармане – револьвер, и я мог бы разрядить его в этого Р-р-рюмина.

– За такой пустяк ты мог убить его?

– Да, – хладнокровно ответил Яков. – Не умею прощать обиду. Даже любимому человеку не прощу.

– Даже Оксане?

– Даже Оксане... Эх, испортил мне этот инженер настроение. Ну ничего, я помирать не собираюсь. Когда-нибудь наши пути-дороги скрестятся... Бывай здорова и не поминай лихом, – попрощался он и ушел.

Алена долго сидела на кровати, тупо уставившись в глянцевый желтый пол... А потом села писать письмо...

В таком положении ее и застал Чургин, пришедший с Рюминым.

– Ну, здравствуй и дай обнять тебя, – привлек ее к себе Чургин и легонько похлопал по спине. – Не шибко толстая, можно даже сказать: шибко худая. Или жизнь плоха?

– Молочка хотите, Илья Гаврилович? – спросила Алена и убежала в погреб.

Чургин снял картуз, повесил его на створку двери, что вела в горницу, и поправил расческой светлые волосы, разделенные пробором. Зоркий глаз его заметил на столе недописанное письмо, портрет Леона. Прикуривая от лампы, он прочитал: «...Ну, прости, прости меня, окаянную. Верни мне свою любовь. Я последнюю кровинку отдам за тебя, сокол мой бесценный...»

Чургин пыхнул дымом, переглянулся с Рюминым и сказал:

– Видал, что она тут пишет?

А когда Алена вошла в комнату, он весело произнес:

– Так. Все понятно, милая... Михаил Константинович, не томи ее.

Алена насторожилась, руки ее задрожали, и она торопливо поставила на стол кувшин и тут лишь вспомнила о письме, но его на столе уже не было.

Рюмин блеснул золотом очков и достал из кармана другое письмо.

У Алены сердце запрыгало от радостного предчувствия: «Письмо!.. От Леона!..»

– От Левы? Мне?! – приглушенно воскликнула она и закрыла лицо руками, стыдясь собственной радости и смятения и смертельно боясь: а вдруг в письме будет самое худшее, что может быть в ее жизни?

Письмо Леона было самое обыкновенное: он сообщал, что жив-здоров, что часто думает о доме, о «нашей жизни».

Алена, как крючок, вцепилась взглядом в слова «о нашей жизни» и больше ничего не могла читать. Лицо ее вспыхнуло малиновыми пятнами, черные глаза раскрылись и заблестели на свету, как дождевые росинки, и вся она засияла и засветилась солнечным светом и все читала, читала письмо...

Чургин расспросил Алену о житье-бытье, сказал, что Варя приедет на днях в гости, и, как бы между прочим, проговорил:

— Недоволен я был тобой, очень недоволен, но...— Помолчал немного и посмотрел на стол, где только что было письмо Леону.— Но если все то, что ты написала ему, останется в тебе капитально, навсегда,— я буду очень рад. Крепись, милая. Когда-нибудь радость вновь вернется к тебе. Да, письмо не ищи, оно попадет по адресу.

Алена порывисто подлетела к Чургину, поднялась на носки и поцеловала его.

Рюмин улыбался и думал: «А хорошая ведь женщина!» — и кивнул Чургину, напоминая, что пора уходить.

Чургин стал прощаться.

— Ну, милая, извини за ночной налет. Мне просто хотелось взглянуть на тебя и услышать твой голос. Хороший голос, молодец. Будь умницей и слушай только свою любовь. А Якова гони... В шею...

Алена проводила их, вернулась в комнату и осталась стоять возле двери, прислонившись к ней спиной.

— От самого сердца, от каждой кровинки спасибо вам, люди добрые,— шептала она и, погасив свет, застыла у окна — светлая и гордая.

За окном висела белая луна, за окном светилась серебряная ночь, и где-то в садах и вербовых рощах пели соловьи. И предстали перед Аленой девические годы ее, и ясные ночи на хуторе, и белые-белые, точно запушенные инеем, майские сады.

В такую ночь она бежала к Леону из родительского дома. Сейчас она готова была на крыльях лететь к нему, хоть за тридевять земель, хоть сквозь десять смертей, и отдать ему всю жизнь.

Чургин объезжал южные организации и уже сделал на сходках активистов несколько докладов о Четвертом съезде. Но странное дело: бывшее меньшинство проводило самостоятельные собрания или до его приезда, или вовсе ничего не предпринимало под тем предлогом, что все явки провалены и собраться просто невозможно было. Однако на заводе Юма Чургин узнал: тут только что был Поляков — Арсений и делал доклад сам, на паровозном делал доклад Ряшин, в Горловке вообще ни о каком собрании не было и речи. И вот что-то похожее на это было и в Югоринске: здесь тоже никто ничего не знал о приезде докладчика, и даже инженер Рюмин и Сергей Ткаченко были удивлены, когда Чургин свалился вдруг на голову, как снег среди летнего дня.

Было очевидно, что губернский центр, который возглавляли Поляков — Арсений и Ряшин, делал все возможное для того, чтобы помешать выступлению большевистского делегата съезда перед рядовыми партийцами. Для чего все это предпринималось — не трудно было понять.

Обо всем этом Чургин узнал от Михаила Рюмина и решил созвать экстренное заседание комитета и обсудить положение дел в Югоринске и вообще в губернском центре, членом которого он был. Заседание было назначено на квартире деда Струкова, но в последнюю минуту полицейский Карпов сообщил, что за квартирой ведется наблюдение.

Михаил Рюмин предложил:

— Тогда давайте соберемся у меня дома. Моя квартира — вне подозрений, а в случае чего — у меня надежный черный ход. Впрочем, Загорулькин

может напакостить мне. Скажет он директору, что видел меня на квартире Леона, – и моя квартира будет взята под наблюдение.

– Да. Такая возможность не исключена. Яков – это подлая скотина. И влепил ты ему здорово. Хотя тебе-то именно так поступать и не следовало. Но поживем – увидим, как говорится. А сейчас ты иди домой, а я заверну к Ряшину. Мне сдается, что этот человек непременно попытается удрать на рыбалку, чтобы сорвать заседание.

...Рюмин пришел домой и увидел там Ольгу, которой отдал запасной ключ.

– А Кулагин где? Вы были у него? – спросил он, когда вошел в комнаты.

– Сейчас явится... А вы чем-то взволнованы, Михаил Константинович. Что еще случилось?

– Пустяки. С Загорулькиным познакомились. Ну, я ему преподнес пощечину. За оскорбление памяти Леонида и имени Оксаны, – ответил Рюмин и предложил: – Ольга Ивановна, а давайте сделаем кофе, по чашечке.

– Вы ждите гостей, а я все сделаю сама... Где у вас кофе?

– На кухне, видимо.

Ольга ушла на кухню, а инженер Рюмин сел за стол в кабинете и задумался. Ничего и никогда в своей жизни он не боялся и делал то, что считал нужным. А сегодня встревожился: неужели эта скотина Яков посмеет наболтать директору завода об этом инциденте, конечно придав случаю политическую окраску? И неужели директор завода, все-таки хорошо расположенный к нему, Рюмину, придаст значение такому пустяку, потребует объяснения и поймет его истинную роль в политической жизни Югоринска? – рассуждал он, и его охватила досада и на себя, и на Якова, что того нелегкая поднесла под руку.

Вошла Ольга – в переднике горничной, с наколкой на голове, вся белая, и лишь лицо ее было румяное да глаза голубели, как синь.

– Кофе будет готов через пять минут, сударь. Куда прикажете подавать и в чем? – шутливо спросила она.

Рюмин подвел ее к буфету в столовой, раскрыл дверцы и указал рукой на сервиз:

– Достаточно будет? На двенадцать персон.

Ольга улыбалась. Все она уже обследовала и говорила так шутки ради, а он принял всерьез, этот мрачный инженер Рюмин. И она недовольно заметила:

– Забили себе голову всякими пустяками, а теперь и спать не станете... Не надо было заходить к Алене – и все было бы хорошо. И вообще к ней заходить не стоит. Будет или плакаться на судьбу, или бросаться, как волчица, и норовить схватить за горло. Поздно теперь плакаться.

– Вы так полагаете?

– Я не полагаю, Михаил Константинович. Я уверена, что с этой династией, с Загорулькиными, вообще нечего встречаться. Ни вам, ни мне, ни Илье Гавриловичу. И с Оксаной. Она теперь прикована к Якову надежными цепями.

– Не говорите так об Оксане!

В это время раздались условные стуки в черную дверь, и Ольга заторопилась открывать.

— ...Да, да, милостивые государи, именно — морочите голову рядовым партийцам. Спрашивается: чего вы испугались? Ведь съезд-то состоял из большинства ваших единомышленников, принял ваши, в большинстве, проекты резолюций? — ворвался бас Чургина, вошедшего первым.

За ним шел Ряшин и возмущался:

— Да откуда я знал, что ты именно сегодня приедешь? Ты должен был сейчас выступать в Юмовском районе, а у нас — завтра.

— Именно поэтому вы перенесли мое «сегодняшнее» выступление на «вчера»? И именно поэтому ты провел собрание низовиков Югоринска сегодня? Храбритесь, как львы, а трусите, как зайцы,— гвоздил Чургин.

Ряшин пожимал плечами, разводил короткими кривыми руками и говорил:

— Черт его знает, как оно получается.— А на уме у него было: «Коль противник обескуражен, значит, мы правильно поступаем». Наконец, как бы вспомнив, он оглядел свой необыкновенный охотничий наряд, спросил: — Ну хорошо, ты разреши мне хотя бы переодеться? Сазаны мои теперь все одно разбежались, рыбалка пропала, так что я никуда не денусь.

— Посидишь и в таком виде, не женить тебя будем здесь,— бросил Чургин.

Рюмин посмотрел на Ряшина и рассмеялся: в таком неуклюжем костюме он его никогда не видел — в больших сапогах, в каком-то дрянном пиджачишке, в картузе, в котором, видимо, ходил рыбалить еще его дед.

Вскоре пришли Ткаченко и Кулагин, одетый как под венец — в тройку, в белую сорочку с черным галстуком бабочкой, и, едва вошел, извиняющимся голосом зачастил:

— Извините, товарищи, пришлось переодеться. Совершенно ответственно заявляю вам, Илья Гаврилович: ваш приезд — что гром среди ясного неба.— Он снял пенсне, протер пальцами синие стекла, водрузил на место и спросил: — Позвольте заметить: я не вижу еще трех членов нашего объединенного комитета. Какое же это заседание? Оно неправомочно.

— Час от часу не легче. Когда же это вы успели так расшириться? — спросил Чургин.

— На вчерашнем тайном собрании,— ответила Ольга.

Ряшин стрельнул в нее ехидными глазами и грубо сказал:

— Дамские сочинения... Никто не расширялся. Просто мы обсуждали вероятность пополнения комитета пролетарской частью.

Кулагин незаметно хихикнул в кулак, подумал: «Вывернулся, бестия. Скользкий, как уж, а хитер, как черт».

Время было позднее, и Чургин торопился. Кратко рассказав о съезде, о положении в столице, о выступлениях Ленина на митингах, он пообещал подробнее рассказать обо всем на сходке и навалился на Ряшина за его фракционные действия...

Кулагин, раздобревший, затянутый узким пиджаком и жестким накрахмаленным воротничком, сидел на диване и слушал его совершенно безучастно. И, странно, он и Чургина слышал, и отчетливо видел: вот Ряшин бродит в речке, ловит золотых сазанов... Вот он поднес одного из них к его, Кулагина, лицу и говорит: «Видал? То-то. Я не зря это делаю». А потом сазан превратился в огромное чудовище, похожее не то на сома,

не то на кита, и шевелит усищами и смотрит, смотрит на него, Кулагина, будто проглотить хочет. Потом чудовище раскрыло пасть и...

Кулагин отшатнулся и ударился головой о спинку дивана.

— Пардон, — произнес он и услышал голос Ряшина:

— ...Дискутировать с решениями съезда я не позволю. Не для того, наконец, мы объединились, чтобы вспоминать старое. Нет теперь ни большевиков, ни меньшевиков.

«Черт, сколько же я проспал? Час, полтора?» — думал Кулагин и басовито подал и свой голос:

— Я полностью согласен с Иван Павловичем.

Ольга, сидевшая в стороне, возле стола, посмотрела на него с усмешкой и выдала с головой:

— Вы ловите, ловите своих сазанов, товарищ член комитета. А резолюцию комитета не выловили? По поводу вашего участия в подпольном собрании.

Ряшин скосил на него злые глаза и ничего не сказал. Но Кулагин-то понял, что он хотел сказать, и про себя ответил ему: «Ты баламутишь — ты и в ответе. А мне нечего здесь вилять хвостом».

Ряшин ходил по комнате. Он видел, что Чургин от него не отстанет со своими «придирками» по поводу вчерашнего собрания партийцев-меньшевиков, придумывал способы отделаться от заседания и все время посматривал на часы: «Могу опоздать, черт их подери».

Чургин между тем сидел за столом и писал, писал что-то, видимо разгромное, потому что перо его то и дело окуналось в чернильницу и быстро ходило по бумаге.

Ряшин подошел к нему, заглянул через плечо и прочитал:

«Ко всем членам партии Югоринской организации... Дорогие товарищи! — Ряшин скользнул взглядом ниже, и оспинки на его лице потемнели. Дальше было: — ...И вот вместо того, чтобы направить объединенные силы организации на подготовку нового натиска на самодержавие, бывшее меньшинство взяло курс на искажение решений съезда, на возрождение прежней фракционной борьбы, на разобщение организации и дошло до тайных, от других членов партии, собраний...»

Ряшин взорвался:

— Комитет не давал вам права на подобные писания и не даст! Если вам этого мало — вы получите указания губернского центра. Собрание было проведено по директиве Полякова. Все. А теперь — заседание объявляю несостоявшимся из-за опоздания остальных членов комитета. Пошли, Кулагин.

— Заседать будем тогда, когда организация изберет комитет, угодный ей, а не отдельным личностям, — догнал его голос Чургина.

Кулагин тяжело поднялся с дивана и бросил:

— Мне такая дисциплина начинает того, господа... Иван, погоди, нельзя же так!

Но Ряшин не вернулся. Не вернулся и Кулагин, и Рюмин закрыл за ними черную дверь.

Ольга вздохнула и спросила у Чургина:

— Илья Гаврилович, из такого комитета получится дырка от бублика. Надо что-то предпринять.

Чургин встал, отдал исписанный лист бумаги Рюмину и сказал:

— Читай. Послушаем все. Потом Сергей наберет и сегодня же напечатает... Листовка должна быть вручена партийцам завтра же. Тебя касается, Сергей.

— Завтра листовка будет роздана, — подтвердил Ткаченко.

— Через три дня я вернусь. Собрание партийцев назначайте на болгарских плантациях — там легко разойтись в случае чего. Вас касается, Михаил Константинович.

— Все будет сделано, — заверил Рюмин.

В это время раздался стук в парадную дверь, потом протяжный звонок. Все переглянулись.

— Полиция, Михаил Константинович. Вступите в пререкания, а мы выйдем черным ходом, — сказал Чургин.

— Вы выйдете через сарай, вот сюда. Быстрее!

Рюмин проводил их через потайной ход, выводивший в сарай и за двор, и вернулся открывать дверь, в которую теперь уже барабанили по-настоящему.

...В эту же ночь типография, литература и оружие были перенесены к старому знакомому, болгарину Трифону.

Когда возвращались с плантации, Чургин сказал:

— Рюмин провален или провокаторами, или Яковом, что, впрочем, одно и то же, и для организации пропал. Ряшину — ни слова обо всем. Мне кажется...

— И мне это же кажется. Этот Ряшин не выходит у меня из головы с первого часа его появления на заводе. Товарищей председателя Совета так просто на волю не выпускают.

— Да, — неопределенно произнес Чургин и посмотрел на молчавшего Ткаченко.

Ткаченко понял намек. Он знал, чем это могло кончиться, если бы все подтвердилось, но что, что дает право подозревать Ряшина? И Ткаченко решительно заявил:

— Я не согласен. Я знаю Ивана Павловича много лет, учился у него и не допускаю мысли... Он решил все же отправиться на рыбалку. Я проверю и переговорю с ним.

— Если вы это сделаете, вы предстанете перед партийным судом, — не повышая голоса, предупредил Чургин.

— Я? Перед партийным судом? За то, что хочу выяснить истину? — изумился Ткаченко.

Ольга недовольно остановила его:

— Сергей, мы ни о чем не говорили, и ты ничего не слышал.

...На следующий день директор завода пригласил к себе Рюмина, угостил его гаванской сигарой и сказал:

— Вы не сдержали своего слова, коллега, и мне приходится пожалеть, что властям известно о действиях моих подчиненных гораздо больше, чем мне.

«Все. Моя работа здесь кончилась. Но кто, кто этот негодяй?» — думал Рюмин, сидя в желтом кресле, как на жаровне.

Шелгунов помолчал немного, как бы давая почувствовать всю серьезность положения, и продолжал, переходя на неофициальный тон:

— Но меня, как я уже имел честь сказать вам, политика не интересует, Михаил Константинович, и я осмелюсь порекомендовать вам следующее: вы можете исповедовать то, что вам по душе, принимать у себя всех, кого вам вздумается, наконец, жить так, как вам то кажется более интересным. Но...— поднял он печальные глаза и умолк.

— Но? — спросил Рюмин, не любивший затягивать совершенно ясного разговора.

Директор вздохнул и ответил неожиданно:

— Но делайте все, елико возможно, осторожнее. Вчера вы превосходно разыграли комедию с протестом, выраженным приставу со всей присущей вам энергией. Однако я не убежден, что и после этого полиция теперь изменит к вам свое отношение. Вот и все, что мне хотелось сказать вам. Да, насчет вашей должности,— продолжал он так, как будто это не имело никакого значения.— Вы назначаетесь доверенным нашего акционерного общества по закупке машин в Европе.

Такой оборот дела никак не входил в расчеты Рюмина. Он удивленно взглянул на директора и спросил:

— Это... ссылка, позвольте осведомиться? И кому я обязан этой честью, этими страхами перед моей личностью?

— Это желание избавить вас от настоящей ссылки, друг мой. Они хотели арестовать вас вчера, хотели сегодня, но к чему торопиться? К тому же ваш батюшка просил меня быть вашим другом, когда мы виделись с ним в министерстве. Что же касается последнего вашего вполне понятного вопроса, то здесь я...— развел руками директор.

«Так вот в чем дело! Папаша, оказывается, продолжает беспокоиться обо мне по-прежнему»,— подумал Рюмин и мило улыбнулся. Он понимал, что улыбаться ему сейчас куда лучше, чем сидеть за решеткой. Однако он все же сказал:

— Моему батюшке всегда мерещится, что меня обязательно должны арестовать... Ну что ж? Благодарю вас, господин директор, за ваше столь доброе отношение ко мне. Я покидаю завод.

— То есть отказываетесь ехать в Германию? Напрасно. И на батюшку сердитесь напрасно. Ему-то там виднее, что задумали по отношению к вам жандармы. Вас нашли здесь они, к сожалению, а не наши мелкие шавки,— совсем фамильярно говорил директор и добавил: — Я подумаю. Быть может, вам нет нужды ехать за границу и вы сможете продолжать служить на одном из ближних к нам заводов. Честь имею, мой друг,— протянул он Рюмину свою рыжую мягкую руку.

— А у вас, извините, не был некий субъект из коннозаводчиков?

— Нет. А что, романтическая история приключилась? Любопытно. Да, уехать вам следует без промедления. Не позже следующего дня, Михаил Константинович,— посоветовал Шелгунов удивительно заботливо и даже с грустью и проводил его до двери.

Рюмин написал два письма: одно — Чургину, а второе — Оксане. Но, подумав, решил: «А заеду к ней проститься. Мы вряд ли теперь увидимся, независимо от того, буду ли я здесь служить, поступлю ли на другой завод или отправлюсь за границу».

Вечером он пошел к Ольге, чтобы отдать письмо для Чургина, но ее не оказалось дома, и он оставил письмо у Ивана Гордеича.

Возвращался инженер Рюмин домой возбужденный. Ничего ему сейчас не хотелось более, как пойти на завод, приказать остановить станы, печи, вагранки, собрать все три тысячи рабочих и бросить клич: «Не верьте думе! Не верьте краснобаям земцам! Все – ложь, все ухищрения реакции! Только ваше, пролетариев, выступление, только ваша мозолистая рука даст вам свободу и новую жизнь. Вставайте, подымайтесь вновь на святой и правый бой с тиранами! В этом ваше будущее...»

Но он не мог так делать, потому что знал: для этого надо выйти из подполья. А выходить нельзя...

Глава вторая

Чургин шел по влажной, вымытой ночным дождем, донецкой степи и настороженно посматривал по сторонам.

Было раннее июньское утро. Солнце еще не встало. На хлебах, на траве, на ромашках лежала крупная роса, и от этого все казалось будто посеребренным и курилось матово-белой дымкой, а полынок будто кто забрызгал ртутью, и она гнула его в три погибели.

В хлебах стонали перепела, в синем небе трезвонили жаворонки, у норок торчали мокрые суслики и, заметив Чургина, исчезали под землей, коротко свистнув.

Но вот солнце выкатилось из-за горизонта, обдало степь огнем и повисло над землей, словно раздумывая, взбираться ли в непостижимую розовую высь или прокатиться по небесной меже. Но потом все же поднялось над рудниками и поселками, оседлало шахтерские пирамиды – терриконы и остановилось. И задымились терриконы, зажглись поля и степи, вспыхнули лужицы на дорогах, и все засверкало, засветилось огнем.

Чургин жмурился, туже натягивал на лоб маленький картуз, но смотреть все равно было трудно, и он притенял глаза ладонью. Правая нога его была что деревянная, в боку что-то ныло, и хотелось отдохнуть немного и осмотреть ушибы, но этого делать было нельзя. За ним следили, и он только что избавился от шпика, спрыгнув с поезда на полном ходу.

Поэтому он и шел по сырой дороге безостановочно, оставляя за собой крупные отпечатки своих кованых больших сапог, и досадовал: «Провокатор на провокаторе сидит. Что случилось за эти месяцы? Откуда их привалило? Этак еще раз когда-нибудь спрыгну – и без ног останусь».

Наконец он остановился, настороженно посмотрел вокруг, но ничего подозрительного нигде не было. Закурив папиросу, он сделал несколько шагов и не мог больше идти – нога совсем онемела.

– Что и требовалось доказать, – произнес он, качнув головой с досадой и удивлением. Но, постояв немного и счистив с сапог прилипшую землю, он шагнул зло и широко и пошел, пошел, вдавливая землю на два вершка.

Когда он добрался до рудничного поселка, солнце уже поднялось высоко над горизонтом и все краски восхода растаяли. Возле конторы рудника было человек триста. Они сидели под заборами, что огораживали особняки, и просто на солнцепеке, посреди черной улочки, – молчаливые, с лампами на шеях, с обушками на коленях – и мрачно посматривали на контору.

«Рассчитанные... Для одной шахты многовато. Придется немного задержаться, узнать, что тут делается»,– решил Чургин и неприметно сел на корточки в стороне, под забором.

Это действительно были рассчитанные зарубщики, крепильщики, тягальщики, откатчики и коногоны, бурщики и камеронщики бельгийского рудника. Молчаливые и черные в своих шахтерках, они курили самокрутки, кашляли тяжелым кашлем и исподлобья следили за конторской дверью, будто она могла убежать от них и унести с собой всю жизнь.

Из конторы то и дело выходили и уезжали в фаэтонах дельцы, и тогда раздавался негромкий горький голос:

– Сызнова купец. Десятый за утро. И откуда они берутся, скажи на милость?

Ему с легкой иронией отвечали:

– Считай, считай, может, пятиалтынный кинут.

Чургин повел глазами по сторонам и увидел Ивана Недайвоза. Он сидел на стопке кирпичей, легонько клевал обушком черную землю и то и дело бросал хмурые взгляды на товарищей. «Далеко забрался, брат»,– подумал Чургин и шепнул соседу, молодому парню:

– Толкни вон того, длинного.

Парень толкнул Недайвоза, тот обернулся, сорвался с места и подсел к Чургину.

– Илья Гаврилович? Да ты же... Как ты тут очутился? – зашептал он.

Чургин приложил палец к губам, негромко сказал:

– Во-первых, здравствуй. А теперь скажи, как ты-то сюда забрался?

Недайвоз рассказал: он уже исколесил все рудники в поисках заработка и вот попал сюда. А эти люди – без работы четвертый месяц. Хозяин-бельгиец уехал за границу, продал там рудник за какие-то «акции». Шахтеры выбились из сил и не знают, что делать и как жить...

В это время из конторы вышел элегантный человек, и вновь раздался негромкий голос:

– Купец. Одиннадцатый... Ничего мы и нынче не высидим тута!

Низкий, уверенный голос ободрил:

– Третьего дня двоих зарубщиков в тягальщики взяли. Полтинник за упряжку поклали. Это же – деньги!

– Двоих,– мрачно повторил голос позади Чургина.– А нас тут – не менее трехсот. Сколько же придется жариться на солнце?

И заговорили все, зашевелились, будто только этих слов и ждали.

– ...Мои детишки уже два месяца побираются, тошно в глаза им смотреть,– сказал тонкий как жердь человек с лампой на шее и с ожесточением заключил: – Голодной смертью порешили взять, кровососы. Все одно не возьмут!

Чургин подбодрил его:

– Очень хорошие слова: не возьмут. Не надо падать духом!

Все обернулись, но не все поняли, кто это сказал, и вопросительно переглянулись. Иван Недайвоз уже подсаживался то к одному своему новому знакомому, то к другому и что-то говорил и жестикулировал.

Шахтер с жидкой бородкой, что сидел впереди Чургина, прошепелявил:

– Не падали которые, а знаешь, паря, где они теперича? В Сибири, солоно хлебают.

— А ты сластена, паря. Хозяин может за такие речи кинуть тебе монпансье,— ответил Чургин.

Прокатился смешок, и опять все обернулись в сторону Чургина, но он наклонился, сделав вид, что переобувается.

В это время из конторы вышел подрядчик с книжечкой и карандашом в руке.

Шахтеры неторопливо встали, а подрядчик сошел со ступеней парадного и остановился, ожидая, пока к нему подойдут ближе.

Чургин тоже встал, но идти не мог — нога была что колода. Подрядчик заметил его, самого высокого среди всех, поманил карандашом, но Чургин сделал вид, что ничего не заметил.

— Подойди сюда, говорю, дубина,— настаивал подрядчик.— Сегодня мне требуется: в зарубщики — три, в бурильщики — два, в тягальщики — четыре, в откатчики — два. Итого — одиннадцать душ. Подходи, которые опытные и жилистые.

Иван Недайвоз зло ответил из толпы:

— Мы все одинаковые. И ты не ори, а то глотка может треснуть...

— Какой это там верещит? — задрал подрядчик голову.

Тот же хриплый голос, что говорил о Сибири, не к месту бойко прошепелявил:

— Человек, он, чай, разный: какой к работе способный, а какой, к примеру, к сицилистам подался, супротив начальства.

— Эка башка! Да ты в ноги, в ноги вались, чего совеститься? — заметил Чургин.

Шахтеры зашикали на шепелявого, но подрядчик строго прикрикнул:

— Цыц все!.. Полезешь в тягальщики, «сицилист». Фамилия?

— Так я ж, чай... Я рубать... Десять лет обушком махаю,— запротестовал шепелявый, но подрядчик уже записывал в книжечку: «Тягальщиком, шепелявый» — и, подойдя к Ивану Недайвозу, спросил:

— Фамилия? Покажи зубы. Кулаки. Ого! — пощупал он его руки.

Недайвоз посинел от обиды и грозно спросил:

— Ты нанимать меня хочешь или в морду получить?

— Не подходишь. Язык длинный,— заключил подрядчик.

— А-а, гадюка,— замахнулся обушком Иван Недайвоз, но Чургин отстранил его и, взяв подрядчика за руку так, что у того перекосилось лицо от боли, негромко, но внятно отчеканил:

— Уважаемый, это — шахтеры. Если вы полагаете, что пришли нанимать скот, я могу проводить вас на точок... Падаль,— оттолкнул он от себя подрядчика.

Тот еле удержался на ногах, а когда оказался на почтительном расстоянии от Чургина, погрозил ему кулаком и выкрикнул:

— Ты! Поговори у меня! Эй, околоточный! — завертелся он, ища глазами полицию.

Недайвоз вырвал из рук у него карандаш, переломил надвое, потом ткнул в книжечку длинным указательным пальцем и повелел:

— Пиши. Пока все эти ребята не будут в шахте, на прежних местах — никто сюда, в твою книжку, не запишется... Так, братва? — обернулся он к шахтерам.

— Что, социалисты научили? — ехидничал подрядчик. — Отлично-с! Отлично-с, господа! В таком случае я еду нанимать на соседние рудники. А вы будете во сне кашу жрать.

— Мы шахтеры, а ты — в зубы нам, как цыган коню? — раздался гневный голос.

— А может, ему зубы пересчитаем, а? — зазвенел молодой голос.

— Давай сюда управляющего! — бушевал Иван Недайвоз. — Не желаем с тобой, гадюкой, говорить! Вертайте всех на шахту. Не то полезем в уступы и все затопим! — И пошел на подрядчика.

Толпа двинулась за ним, зашумела вечно простуженными голосами:

— Громи их, кровососов!

— Забыли, как в Совете просили жизни не решать?

— Вспомнить им прошлый год.

— В контору-у!

Чургин властно повысил голос:

— Спокойнее, товарищи!

И шахтеры остановились.

Подрядчик уже не кричал, а бормотал что-то, крестился и, воспользовавшись тем, что все обступили Чургина, улизнул в контору.

Чургин негромко говорил:

— В шахту наниматься поодиночке нельзя, товарищи. Предъявите требования: принять всех рассчитанных, платить по прежним расценкам за пай, подрядчиков выгнать. Не послушает этого управляющий — назначьте посты-пикеты возле ствола, шурфа, подъемной машины и никого под землю не пускайте. Понятная задача?

— Понятно.

— Будет исполнено!

— Назначить его главным, ребята!

— Назначаем! — шумели со всех сторон.

— Дозволь спросить, товарищ: значится, дума не того, а пятый год того...

— Дума — это пыль в глаза нашему брату. А пятый год продолжается, товарищ, — ответил Чургин, а Ивану Недайвозу тихо сказал: — Ты будешь главным. В дело пускай не обушок, а голову. Расходитесь. Требования вручите сегодня.

— Я? — удивленно выпучил глаза Недайвоз.

— Ты. А перед вечером все придете на старую юмовскую. Там будет митинг. Объявишь потихоньку.

— Будет исполнено, братушка. Все в точности.

Из конторы быстро вышли штейгер и растрепанный, как куделя, подрядчик, а за ними — Яков. «Опять Яков. Откуда он здесь и что ему нужно на руднике?» — удивился Чургин и сказал Недайвозу:

— Иван, проводи меня, я не могу идти.

Но было поздно: подрядчик истерически кричал:

— Вон стоит он! Верзила в маленьком картузе!.. От него все началось...

Яков и Чургин смотрели друг на друга и молчали. Встреча была более чем неожиданная, и Яков прищелкнул языком. «Чудеса! Я ищу его по всем шахтам, а он вот где, оказывается... И успел попасть в историю. Черт, как же нам остаться вдвоем? — рассуждал он. — И вон уже Недайвоз засло-

нил его. А скажу Ивану, чтоб передал мою просьбу,— и все дело»,— решил Яков и с безразличием сказал штейгеру:

— Пустяки. Никакого бунта здесь нет. Наш подрядчик просто хватил лишнего... А вы знаете этого господина?

— Не впервой встречаемся.

— Золотая голова, доложу я вам.

— И тем не менее — без должности.

— А мне наплевать...— небрежно заметил Яков и хотел все же подойти к Чургину, да его уже не было. Яков поманил Ивана Недайвоза, сказал так, чтоб все слышали: — Передайте рабочим, что завтра контора начнет прием.— И совсем тихо добавил: — Скажи Илье Гавриловичу, что он мне очень нужен. Я буду ждать его в степи.

Штейгер, исполнявший обязанности управляющего, запротестовал:

— Господин Загорулькин, я не могу выполнить вашего распоряжения...

Яков грубо прервал его:

— Уважаемый, если вы не выполните моего распоряжения — завтра на вашем месте будет тот господин,— кивнул он в сторону, где был Чургин.— Я не люблю, когда к моим словам относятся, мягко говоря, легкомысленно, и предпочитаю от подобных деятелей освобождаться немедленно.— И, сев на линейку, укатил с рудника.

Штейгер, подрядчик, шахтеры смотрели ему вслед и пожимали плечами. Таких хозяев они еще не видели... Однако и таких распоряжений штейгер не хотел выполнять без разрешения управляющего и объявил об этом рабочим.

Тогда Иван Недайвоз подошел к нему и сказал:

— А мы так и не полезем, а составим требования вам, гадюки: или принимай всех, или братва затопит всю шахту. Разумительно я говорю? Если не разумительно — я способный засвидетельствовать эти мои слова вот таким манером,— приподнял он обушок, а шахтерам сказал: — Как, товарищи, способны мы постоять за себя?

— Постоим!

— Сколько они будут измываться над человеком?

— Громить ихнего брата, как в прошлом годе!

— Подрядчика — первого!

— И всех, какие заодно с ним! — зашумели со всех сторон.

Подрядчик юркнул в контору, а Иван Недайвоз так спокойно продолжал:

— Слыхал, господин штейгер? Мотай на ус, пока находишься на должности, как сказал господин Загорулькин. Промежду прочим, Загорулькины слов на ветер не кидают, я это в точности знаю, и спускают шкуру сразу и без упреждения. А теперь мы расходимся, а завтра полезем в уступы. Пошли, братва! — кинул он шахтерам и увел всех.

А Яков выехал в степь и сказал кучеру:

— Вот что, дядя Митяй: я буду ждать тебя здесь, а ты возвращайся на рудник и без того высокого шахтера назад не приезжай.

Кучер погнал лошадей на рудник, а Яков остался ждать, прохаживаясь возле дороги. Пятый день он колесил по этим степям, пятый день рыскал, как волк, от имения к имению, от рудника к руднику, выискивая, где можно купить за бесценок новую землю или готовое промышленное

«дело», хозяева которого разорились, или были близки к разорению, или просто напуганы бесконечными крестьянскими бунтами и рабочими стачками.

Он плохо знал, как ведутся дела на рудниках и заводах, но ему было хорошо ведомо, что некоторые иностранцы бежали «из этой сумасшедшей России», как они говорили, и распродавали свои предприятия на всех биржах Европы.

Яков купил в Берлине акции одного из бельгийских рудников и вот приехал глянуть на свое дело и убедиться, стоило ли оно того, чтобы в него вкладывать деньги. И тут у него разгорелись глаза, и он серьезно задумался: а почему ему следует весь век пребывать в коннозаводчиках, сеять хлеб и колотиться с утра до вечера, как последнему обормоту, вместо того чтобы жить в роскошном особняке в Новочеркасске, или в Ростове, или, наконец, в самом Петербурге, конечно, вместе с семьей, и наслаждаться дарами жизни так, как наслаждаются ими более умные деловые люди, например господин Паромов, владелец рудников, пароходов, мельниц, издательств и черт его знает чем он там еще владеет?

Однако Яков любил сперва попробовать новое, пощупать его своими руками, а уж потом ринуться в него с головой. Поэтому ему и нужен был Чургин. Этот человек знает горное дело, как свои пять пальцев. И все же — родственник, как ни крути. Значит, он и может помочь принять окончательное решение: хапнуть ли весь контрольный пакет нового акционерного общества или повременить. В зависимости же от этого решится и участь двух рудников петербургского вельможи Юсупова, который никогда в этих краях даже не был и не знает, что оно тут делается и чего стоит. Управляющие скажут, что дела из рук вон плохи, — и все будет в шляпе. А с ними Яков уже найдет общий язык.

В степи становилось душно. Солнце, как одержимое, лезло на небо, распалялось все больше и уже давно высушило и лужи на дорогах, и росу на хлебах и травах, обожгло лиловые стаканчики цветов, так что они торопились закрыться, чтобы не сгореть вконец. Один чабрец, храбро раскрыв светло-сиреневые глазки, не очень-то обращал внимание на жар, а, наоборот, смотрел в белое огненное небо, как в зеркало, и слушал, слушал жаворонков, будто в том только и была его забота.

На курган опустился старый беркут, осмотрелся и принялся чистить перья и что-то вытаскивать из когтей. И вдруг вытянул шею, подпрыгнул и, расправив полусаженьи крылья, полетел над степью, слегка подобрав пепельно-серые ноги и приготовив на всякий случай когти.

Яков восхищенно щелкнул языком и сочувственно проговорил:

— Вдовец, видно, один промышляет. Отдохнуть бы надо, умаялся, бедолага, но нет, добычу учуял, — проговорил он и, сорвав пучок чабреца, понюхал его и воткнул в карманчик черного суконного жилета.

С кургана все вокруг просматривалось на многие версты: хлеба, бугры рудничной породы, дымившие заводские трубы, хутора, поселки, дороги и тонкая кайма леса, частоколом стоявшая на горизонте.

Яков снял шляпу и устремил острый взгляд в дымчатые степные дали.

И мысль его настойчиво искала новых, неизведанных путей к более значительному в жизни — путей и способов разорения какого-нибудь землевладельца или хозяина рудника или небольшого заводика, даже своих со-

седей, помещиков Чернопятова и Френина. Но тут он смотрел на вещи трезво: эти ничего особенного не прибавят.

«Мелкие сошки. Вот Суханова бы, югоринского заводчика, положить на лопатки или самого Паромова — это было бы здорово. Акулы! С такими и потягаться — одно удовольствие...»

Он так ушел в свои дерзкие мысли и разбойничьи планы, что ему уже мерещилась и собственная шахта, собственный, пусть и небольшой, завод, и деньги, деньги без конца, золотой поток денег! Но Яков был Яковом и умел вовремя наступить себе на ногу. «Размечтался, как последний идиот. В наше время мечтать — это только загромождать голову. Тут хватать след за руки и за ноги и валить на землю — вот закон нашей жизни. Валить противника без всякой там сусальности и мечты!» — заключил он и увидел: по дороге, недалеко от кургана, шел и слегка прихрамывал Чургин. Шел, низко опустив голову, о чем-то думал или устал смертельно и еле тащил ноги.

— Илья Гаврилович! А я-то вас именно и поджидаю, кучера даже послал за вами в поселок,— весело окликнул его Яков и сбежал с кургана.

Чургин разозлился:

— Вам бабка, что ли, на ухо шепчет, где я бываю? Это может плохо кончиться. Я не люблю наблюдателей и всех, кто подсматривает в замочную скважину. К тому же я — не мировой, чтобы улаживать ваши семейные дела.

Яков ухмыльнулся и с удовольствием произнес:

— Эврика! Чургин умеет сердиться! — И поспешил успокоить: — Не волнуйтесь. Пока вы не наступили мне на горло — я не представляю для вас ровнехонько никакой опасности. Просто вы нужны мне, как знаток горного дела, как родич, если хотите. От этого-то вы не отвертитесь, как бы того ни хотели. А что касается моих семейных дел, то они пребывают в самом лучшем виде: Оксана подарила мне сына.

Чургин несколько секунд помолчал и произнес не то удивленно, не то радостно:

— Сына? Это хорошо. Поздравляю. И, можно полагать, Оксана теперь у вас... в кармане? — кольнул он Якова свирепым взглядом.

Якову все же понравилось, что этот человек поздравил его с сыном. Обняв Чургина за талию, он интимно сказал:

— Не станем теперь ссориться, Илья Гаврилович. Все-таки мы — свояки, и теперь-то уж нам не следовало бы вспоминать старое. Тем более что я рассчитываю на вашу помощь самую серьезную. Разрешите изложить ее?

Чургин будто и не слышал этих слов, а спросил довольно грубовато:

— Мне сказали, что вы намерены принять шахтеров на работу. Это серьезно или красивый жест?

Яков отпустил его и всплеснул руками. Нет, ничто никогда не станет интересовать этого человека, если ты не уважишь всех шахтеров, всех пролетариев и не дашь им куска хлеба! Но разве можно так жить, так думать, так беспокоиться о всех, если у тебя самого нечего есть? Но это была уже область философии, а Яков был человек дела и поэтому ответил со вздохом и сожалением:

— Вы остаетесь самим собой даже в самые трудные минуты жизни. У Варвары, должно, и молока детишкам не на что купить, а вы все

о других печетесь. Не понимаю и не могу понять. Ну, это дело не мое. Меня интересует рудник.

– И, разумеется, люди?

– Да, да, дорогой своячок: и люди! – воскликнул Яков с огорчением и досадой. – Люди, которых я приму завтра же. Так что не думайте, что Яков Загорулькин – кат и сволочь. Учен, хватит. Если тот штейгеришка не начнет прием завтра же – я предложу его место вам. Собственно, я хотел бы сделать это сейчас. Смею вас уверить, что я способен еще постоять за свое мнение.

Чургин улыбнулся и одобрительно заметил:

– А вам все-таки нельзя отказать в известной последовательности... Так что же с Оксаной? Помирились?

– Какой там... Сына родила, а ехать со мной в имение – и не заикайся. Хоть воруй собственную жену... Но тут я как-нибудь и сам управлюсь. А вот с рудником, кажется, я влез, определенно влез, – заключил Яков и рассказал, как стал акционером, что думает делать и какие мысли вынашивает насчет контрольного пакета акционерного общества.

Чургин выслушал его и не знал, что ему посоветовать. Рудник бельгийца он знал как старый и крайне запущенный, однако не бесперспективный. Но на что может надеяться человек, который понимает в горном деле не более, чем в китайской письменности? И он спросил:

– Сколько вы вложили сюда денег?

– Сто тысяч, – соврал Яков и глазом не моргнув, хотя вложил ровно половину этой суммы.

– Да. Поторопились. Шахта – старая, мокрая, то есть много воды, выработки запущены, все рассчитано на ручной труд. Придется еще раскошелиться, прежде чем ваши сто тысяч начнут давать приличный дивиденд.

Яков пришел в отчаяние и воскликнул так, что жаворонок, сидевший на дороге, испуганно взмыл в небо:

– Черти! Ну жулик на жулике сидит и жуликом погоняет! А как хвалил бельгиец! Как разукрасил все штейгер!.. Значит, влез. Собакам под хвост выкинул пятьдесят тысяч целковых. Придется теперь наверстывать на торговле хлебом. Ах, бандиты! Ах, грабители! Ну не продохнешь, честное слово! Мошенник на мошеннике сидит! Хотя бы вы, социалисты, турнули эту шайку так, чтобы у нее ноги замелькали вместе с августейшим, черти бы на нем блины жарили.

Чургин развеселился. Смешно было слушать такое от человека, который сам проглотит живьем любого, но говорить об этом не стал, а сказал:

– Ну, не последнюю копейку вложили. Теперь осталось немного вложить: еще пятьдесят тысяч, чтобы было столько, сколько вы назвали для красного словца, углубиться до второго горизонта – и дело пойдет. Пласт-то здесь более аршина...

– Хоть сажень, хоть до горизонта – все равно теперь меня не надуют. Не верю. Жулики все, разбойники с большой дороги. Пусть лучше пропадут эти пятьдесят тысяч целковых, чем я кину в эту дыру еще хоть один целковый. Всё. Кончилась моя промышленная деятельность. Будем заниматься своим делом – хлебом, землей, скотиной. Тут нас не проведешь. Тут мы сами с усами.

Чургин спросил улыбчиво, по-простецки:

— У вас сколько лежит в банках? С полмиллиона, надо полагать?

— Девятьсот тысяч чистоганом, да в хозяйстве находится тысяча триста.

— Прилично. Так стоит ли сокрушаться по поводу каких-то пятидесяти тысяч? Вкладывайте, я гарантирую вам, что не останетесь в дураках.

Яков достал золотой портсигар, угостил Чургина папиросой и незаметно опустил в его карман сторублевую бумажку.

И в это время их настиг кучер и разочарованно произнес:

— А я их там шукаю... Депеша пришла вот,— подал он Якову телеграмму.

Яков распечатал телеграмму, прочитал и схватился за голову.

— Оксана при смерти! — воскликнул он в отчаянии и бросил кучеру: — На станцию! Аллюр три креста!

Чургин все-таки задержал его, прочитал телеграмму. В ней управляющий имением сообщал, что Оксана лежит без сознания.

И Чургин сказал:

— Яков, вы понимаете: Оксана для меня — что родная сестра. Езжайте в Харьков и пригласите профессоров, это рядом. Я прибуду немного позже.

— Спасибо, Илья Гаврилович. Так я и сделаю. Весь Харьков привезу, весь Петербург медицинский доставлю, но Оксану... Оксана должна жить! И будет жить! Или не буду жить я,— заключил Яков так тихо, что Чургину показалось, будто он заплакал.

Рванулась линейка, взвихрила дорогу и пропала в бурой пыльной туче, поднятой копытами рысаков.

Иван Недайвоз задержался в конторе рудника, вручая штейгеру требования, и был рад этому: во время переговоров зазвонил телефон и кто-то сообщил о митинге шахтеров возле старой шахты Юма. Штейгер сначала перетрусил и побелел, но потом улыбнулся, покраснел и на радостях забыл выслать из кабинета Ивана Недайвоза, а продолжал кричать в трубку:

— ...Казаки? Отлично-с! Покорнейше вас благодарю, ваше благородие. Да, да, разумеется. Ни одного человека... Ни в коем случае... Да это наш акционер распорядился, но теперь об этом не может быть и речи. Да... Пошел вон, болван! — наконец сообразил он удалить Ивана Недайвоза, а в трубку сладко сказал: — Да нет, ваше благородие. Шахтер здесь один. Требование вручать пришел. Гоню, так точно. Задержать? Можно и задержать... Эй, ты, а ну, задержись,— бросил он Ивану Недайвозу, но тот выразительно показал свою неизменную лампу и спокойно вышел, но потом вернулся и оповестил:

— Так завтра мы лезем в уступы... Для порядка...

— Арестовать! — крикнул штейгер.

— Тогда шахта будет затоплена.

— Вон! Околоточный! Где вас черти носят, канальи? — расшумелся штейгер, но Иван Недайвоз уже не слышал его грозных слов, а бежал на старую юмовскую шахту и думал: успеет ли предупредить Чургина?

Ноги у него были добрые и длинные, бегать умели и донесли до шахты вовремя.

Чургин стоял на склоне террикона и говорил речь:

— ...Я спрашиваю тех, кто спутал революцию с думой: уважаемые, дума существует почти два месяца, а что она дала нам, рабочим?

— Под забор кинула рабочего человека!

— А моим детишкам дала свободу — собирать объедки по харчевням. Пустобрехи все там сидят!

— Они заодно с хозяевами, которые удрали с рудников! А на их место прислали обратно казаков.

— Совершенно правильно, папаша: самодержавие прислало воинские части в каждый рабочий поселок, не говоря уже о городах. Оно открыто готовится разогнать думу. А наши меки толкуют о каком-то вырывании власти при посредстве думы, через час по столовой ложке... И не пора ли перестать болтать о революции, а начать делать ее,— говорил Чургин.

— Верно.

— Мы тут недавно сражались с солдатами, а наши меньшевики умоляли начальство отозвать войска.

— Долой таких революционерных, язви их! — крикнул дед Струков.

Иван Недайвоз с ходу поддержал его своим никогда не унывающим голосом:

— Сделать им... баррикады... перестрелять всех, как гадюк!

— Обушками перестреляешь, что ли? У них — винтовки, а у тебя — кулаки.

— Но-но, винтовочный какой,— отпарировал Иван Недайвоз.— Ты мой обушок знаешь?

Чургин поднял руку, и страсти утихомирились.

— Товарищи, большевики говорили на съезде и повторяют здесь, перед рабочими рудников и заводов: не верьте меньшинству и их краснобаям ораторам! Наше освобождение зависит только от нас самих и находится в наших руках. Дума нам его не даст. Сладкоречивые земцы не дадут. Хозяева рудников и заводов не дадут. Вот что даст нам освобождение и республику! — показал он свой пудовый кулак.

Шахтеры одобрительно зашумели:

— Ого! Такими с одного маху можно и царя к едрене-фене наладить!

Иван Недайвоз протискивался сквозь толпу и бросал направо-налево:

— Дай дорогу. Экстренная нужда...— И, наконец добравшись до Чургина, рассказал о том, что слышал в кабинете штейгера.

Раздался резкий голос Полякова:

— ...Четвертый съезд высказался в пользу вооруженного восстания. Чего вы еще хотите?

— Но вы протащили на съезде резолюцию, в которой сказано, что мы не можем принять на себя заботу о вооружении народа!

— Партия — не арсенал,— отмахнулся Поляков.

— Товарищ лектор, а не кажется ли вам, что вы вступаете в противоречие с постановлениями съезда?

— Нет, не кажется, товарищ Ряшин,— ответила Ольга.— Мы будем разъяснять всем и каждому тот вред, какой принесли ваши резолюции, навязанные съезду.

— Вот это по-рабочему, язви ее, с девкой такой,— одобрил дед Струков.

— Это бланкизм, уважаемые! — крикнули оттуда, где стояли конторщики и Кулагин.

Чургин увидел казаков и крикнул конторщикам через всю толпу:

— Молодые люди в крахмалках! Бланки́ был во сто крат честнее и революционнее вашего советчика в синих очках.

Все обернулись назад, в сторону конторщиков и Кулагина, и увидели: из-за бугра показался отряд казаков.

Чургин сказал Сергею Ткаченко:

— Приготовиться. Стрелять по моему сигналу. Не поддавайтесь на провокацию. Всем подняться на террикон и рассыпаться.

Ткаченко повторил во весь голос:

— Всем подняться на бугор и рассыпаться! Боевикам приготовиться!

Казаки пришпорили коней, обходя террикон со всех сторон, как на позициях. В руках их замелькали плетки, послышались голоса:

— Вот они где, крамольницкие души!

— Круши христопродавцев!

Но, подскакав к террикону, все остановились, не зная, что делать. Шахтеры поднялись на средину черной горы, рассыпались там и залегли, вооружившись кусками породы. Чургин и Иван Недайвоз ждали, что будет дальше.

Чургин обратился к передним всадникам:

— Казаки, тут не бунт, не собрание погромщиков, а обыкновенная беседа, какие вы проводите у себя в станице на майдане, беседа про свои рабочие дела...

— Взять его! — раздалась команда подъесаула, гарцевавшего на красавце дончаке с тавром на задней правой ляжке: «Я. З.».

Чургин успел подумать: «Яков просит меня помочь ему в рудничных делах и дает сто рублей, а правительству дает лошадей разгонять наши митинги. Логика дьявола», — и продолжал:

— Подъесаул, вы хорошо знаете, что это — такое же собрание, какие проводятся в Петербурге, в Болховском полку. В Батуме вон артиллеристы отказались подчиняться таким, как вы. В Тамбове кавалеристы сделали то же. В Курске солдаты проводят митинги и требуют, чтобы их допустили в думу... Что же вы вводите в заблуждение казаков и отдаете им неконституционные приказы? Не слушайте его, станишники!

— Разойдись, не то все будете арестованы! А этого — взять! — гарцевал подъесаул на своем золотом коне.

Казаки направили коней на Чургина, но он поднялся повыше, и ему ничего не могли сделать. И тогда послышалось:

— Мелют черт-те чево. Как ее одолеешь, эту чертову гору?

— Тут и батарея не управится, братцы.

— А сказывали, бунт супротив начальства. А тут, как и у нас на майдане, — сход мастеровых.

— Евлампий, три наряда вне очереди!

— А пошел бы ты, урядник, знаешь куда?.. Поехали, братцы, мы не каты.

— Да и на самом деле: аль мы ироды, что принуждены измываться над народом? Повертай коней, станишники! — крикнул длинный казак с пшеничными усами.

Черная гора зашевелилась, зашумела одобрительно и немного весело:

— Правильно, станишники! Счастливого пути!

— Передавайте вашим любушкам наш поклон!

— Шахтерский, с кисточкой!

— Обратно приходите пеши, раскурим по цигарке!

Подъесаул подскакал к казаку с пшеничными усами, замахнулся плеткой, но бить не стал, а крикнул:

— Кто уедет в казармы — будет отдан под суд! Взять зачинщиков! Остальных разогнать!

Казаки стали нехотя спрыгивать с лошадей, иные тут же принимались подтягивать подпруги, переседлывать коней, поправлять торбы, и было ясно без слов: они не хотели ввязываться в рукопашную. Но вахмистр что-то задумал, что-то сказал нескольким казакам и поскакал в тыл террикона.

Чургин сказал Ивану Недайвозу:

— Быстро на макушку. Не дать ее захватить.

Ивана Недайвоза не надо было учить взбираться на макушку, и он не полез, а побежал на нее на четвереньках с такой быстротой, с какой бегал когда-то под землей, по уклону, согнувшись в три погибели. А когда он взобрался на самый гребень террикона, то увидел: туда уже лезли по-пластунски вахмистр и несколько казаков. Но порода мешала им, уходила из-под ног, катилась навстречу, так что приходилось то и дело юлить туда-сюда, чтобы она не расшибла голову.

На макушке террикона лежал опрокинутый старый железный вагончик. Иван Недайвоз подумал немного, сел на него, набрал кусков породы и крикнул казакам, что лезли к нему:

— Осади, станишники: не то сшибу породой за милую душу!

Вахмистр, запыхавшись, погрозился ему приподнятой винтовкой и даже приложил ее к плечу, показывая, что будет стрелять, но Иван Недайвоз швырнул в него кусок породы, она покатилась и увлекла за собой лежавшие груды, и на вахмистра, на казаков посыпался черный град камней.

— Метись отсель, крамольник! Стрелять буду! — кричал вахмистр.

Шахтеры, Чургин, казаки и сам подъесаул как бы забыли обо всем и наблюдали за этим поднебесным поединком, будто от его исхода зависело сражение.

Чургин сказал Сергею Ткаченко:

— Пошли двух боевиков. Не справится Иван. И приготовь бомбы.

И тут вахмистр выстрелил. Иван Недайвоз скрючился, но потом поднялся во весь свой огромный рост, крикнул:

— За народ! За свободу, братуши! — и, натужившись, спихнул вагончик с макушки террикона. Прямо на вахмистра и казаков.

Вагончик покатился вниз, увлек за собой глыбы породы, и все покатилось и загремело, как при горном обвале, и в черной пыли замелькали катившиеся, как мячи, казаки, винтовки, фуражки...

А Иван Недайвоз победно кричал в поднебесье:

— За свободу! За революцию, товарищи!

Хлопнули выстрелы. Иван Недайвоз схватился за живот, качнулся и повалился лицом на землю, а потом покатился вниз.

— Пли! — скомандовал подъесаул.

Раздались недружные выстрелы, бугор породы пыхнул черными фонтанчиками земли, кто-то застонал, и тогда Чургин взмахнул рукой.

С терриконa полетели бомбы, раздался взрыв, еще один, потом еще... Красавец конь под офицером упал, подъесаул бросился наутек, и все смешалось в черном дыму.

Казаки ускакали. Иные гонялись за лошадьми, которые метались по степи.

И тихо стало на склоне. Шахтеры помогли Чургину и Ткаченко поднять Ивана Недайвоза и осторожно спустили его к подножию террикона.

Недайвоз стонал:

— Братуша, все палит огнем. Отомстите за Ивана Недайвоза...

У Чургина ком подкатил к горлу, и он с трудом говорил:

— Отомстим, брат. И ты еще сам поможешь нам отомстить... Крепись, милый.

— В живот он меня... Вахмистр... А кто-то — в спину...

Ольга разорвала на себе белую блузку, стала бинтовать раны и еле успевала смахивать слезы. Она смахивала их, как капли росинок, и говорила:

— Ничего, Ваня. Мы еще поживем... Мы еще скажем им, палачам, наше последнее шахтерское слово. Потерпи только, родной...

Иван Недайвоз потерял сознание...

Глава третья

В семье Дороховых чуть было не случился разлад.

Игнат Сысоич, получив бумагу от атамана Калины, собрал семейный совет и заявил:

— Ну, все, детки мои: кончились наши мучения. Собирайтесь домой. А ты, мать, приспособь корову к странствию, шибко здорово не корми, чтоб легкость была в ходу. Кабана положим на дроги и повезем, как барина. Ну, а прочий хабур-чабур как-нибудь доставим — птицу там чи овечек. И ты, дочка, — сказал Алене, — свою корову не шибко набивай, а то наша с твоей не сойдет. Наша-то — простых кровей животина...

Он говорил бодро, ходил молодо и легко и весь как бы обновился и готов был взвалить все свое нехитрое добро на собственный горб и доставить на хутор хоть пешим ходом. И тут его постигло первое разочарование: Алена отказалась уезжать из Югоринска. Игнат Сысоич и так и этак старался внушить ей ту простую мысль, что невестки должны жить вместе с родителями мужа и что вообще жить на хуторе — одно удовольствие и почти что рай сравнительно с городом, но Алена стояла на своем. Тогда Игнат Сысоич покряхтел возле печки, где сидел на корточках и курил цигарку, и махнул рукой. Что ж, не хочет так не хочет, силой он никого тащить за собой не намерен.

Марья Алексеевна не принимала участия в совете и занималась домашними делами. Знала она отлично, почему Игнат Сысоич старается уговорить Алену, но не хотела портить ему настроения и молчала. Но когда он стал вздыхать и вновь принялся за свое, она подсекла его под самый корень:

— Чего ты пристал как репей? Говорил бы уж напрямки: отдай, мол, дочка, свою корову нам, а нашу забери себе. Все ж таки твоя дает больше двух ведер молока, а наша — половинку цебарки еле-еле нацедит. Это ж

беда, какие глаза завидущие! Ты уж вали на спину весь дом невесткин и неси его в свои райские хуторские владения.

И тут Игнат Сысоич взорвался, как бомба:

— Это я — завидущий? Да как у тебя язык поворачивается молоть такое? Я есть родитель своим детям и хочу, чтобы все вместе жили и вместе горе горевали, а ты мне такую мыслю подсовываешь. Тьфу, да и только,— встал он и затоптался возле печки, не зная, уходить ли из дому или разругаться окончательно. И заключил с сердцем: — Доите ваших паршивых коров, режьте кабанов, пропасти на них нету, все режьте, хоть последнего кочета, а мы с Федором все одно уедем. Не способная крестьянская душа кормиться тут извозом и коптиться, как в аду. Всё! Собирайся, Федор, и ты, Настя. Завтра будем трогаться,— заявил он категорически и для вящей убедительности пристукнул ногой по жестянке, прибитой возле печки.

И тихо стало в семье Дороховых. Перечить отцу никто не решался, но и уезжать на хутор никому не хотелось. Знали все, что там ожидает: земли нет, а если бы и была, то ее нечем засеять. Да и хата теперь стала такой, что в ней и жить нельзя, сам же отец рассказывал.

Федор вздохнул и сказал матери:

— Ладно, мамаша. Куда иголка — туда и нитка. Раз батя решил, значит, быть по тому...

Алена молчала. Не хотелось ей расставаться со свекровью, со всеми Дороховыми, и она готова была отдать им не только корову, а последнюю кофточку, лишь бы им было хорошо, но знала она Игната Сысоича: коль он что надумал — ему хоть кол на голове теши, а все едино на своем настоит и уговорит любого последовать его совету. И она незаметно дала Насте сто рублей, а матери сказала:

— Трогайтесь, мамаша, с богом. Там было не сладко, да и тут булки в рот не кидают. И бате нечего ворочать грудки угля, пока живот не надорвал.

И Игнат Сысоич воспрянул духом:

— Спасибо, дочка. Как в воду смотрела: тут булку в рот пока кинут, так и ноги протянешь. А в хуторе, как ни говори, все свои, подсобят в случае нужды. Да и сват подмогнет поперво́сти — не лиходей же он своему сродствию? И Егор с дорогой душой отрежет от своего пая четвертинку земельки. И заживем, как кот в масле, аж еще лучше,— не к месту развеселился он и засуетился, захлопотал, как будто поезд вот-вот уходил и надо было поспеть в вагон.

В Кундрючевку Дороховы въехали, как цыгане: с шумом, с визгом, со скрипом. Домашний скарб на дрогах-арбе лежал навалом, из-под него выглядывала кабанья морда с красным пятачком, а визжал кабан так, как будто его собирались резать. Корова, привязанная к дрогам, упиралась и ревела, словно ее на бойню вели, гуси беспокойно гоготали, утки что-то все время горячо обсуждали и никак не могли утихомириться, а петух, лежа где-то в недрах дрог, между узлами, кроватями, ящиками и подушками, то и дело кукарекал, как на насесте, и Игнат Сысоич даже похвалил его:

— Вот исправная животина: несет свою службу, как солдат. А я хотел разогрешить прирезать его, старый дурак. Да за такую птицу золотой дадут, как услышат его голос!

Его восторг не встретил поддержки, и не потому, что Игнат Сысоич был неправ, а потому, что глянули Дороховы на свою хату — и у них руки опустились. Куда и зачем они приехали? Помирать разве что...

Хата на самом деле была неказистая и выглядела убого: ободранная ветрами и морозами, занесенная черной пылью, с обшарпанной крышей и безглазыми, разбитыми окнами, она как бы ушла на аршин в землю от старости, и на нее жалко было смотреть. Даже калитка, такая певучая прежде, и та покосилась, как пугало на бахче, а древняя акация совсем была голой и лишь шуршала старыми, иссушенными рожками, то ли приветствуя своих благодетелей, то ли жалуясь на судьбу свою бездомную...

У Игната Сысоича ком подступил к горлу, и он на некоторое время лишился дара речи, но потом произнес с искренним отчаянием:

— Эх, судьба-судьбинушка!..— Но спохватился, что взял не ту ноту, и заключил бодро и уверенно: — Ну ничего, настроим все по-старому, аж еще лучше.

Марья Алексеевна утерла косынкой тихие слезы и заметила с тоской и разочарованием:

— Осталось теперь настраивать, отец...

Игнат Сысоич уже крутил цигарку, примостившись на облупившейся завалинке, как будто никуда и не уезжал, и бойко возразил:

— Как это — осталось? Да мы что, без рук, без ног на свет божий народились? Лиха беда — начало, девка. Да мы как засучим с Федором свои рукава, так враз все переменится к лучшему. Давайте разгружаться, пока солнышко светит, и нечего носы вешать. Мы такие наведем порядки, что вы и на городские хаты паршивые не захотите смотреть. А шумнем кому: мол, Дороховы собираются свое подворье продавать — с руками оторвут любые купцы да еще ведро водки-белоголовки поставят в придачу. Давай, Федор, струмент, гвозди и всякие стекольные материалы. Я вам покажу, какой есть ваш отец...

И пошел, пошел стучать по воротам, по калитке и ставням, вставлял привезенные стекла, тесал топором, забивал гвозди, колья и наделал такого шуму, будто на подворье маялась дюжина отходников. А потом полез на крышу, привел ее в порядок, трубу выправил и обмазал глиной, и вскоре она задымила, на крыше зачирикали воробьи, а в хате зазвенели детские голоса, и потекла в ней жизнь своей размеренной извечной дорогой.

Игнат Сысоич ходил по подворью, покрикивал на кур, на уток и гусей, что хлопотали там и сям, и тихо шептал:

— Благодарю тя, Николай-угодник, нашему делу помощник, что подсобил пересилить все и возвернуться в родимый угол. А теперь... Да теперь мы и горе покатили, считай, и потягаться способные хоть с самим чертом, прости бог.

Это было весной. А сейчас и не узнать стало хаты. Белая, с синими ставнями и подновленной соломенной крышей, огороженная каменной изгородью с новыми, плетенными из лозняка воротами, она выглядывала на улицу из-за старой акации, как молодица, а из окон ее глазасто выглядывали яркие цветы, а у завалинки шелестела и вела долгие разговоры с ветерком повеселевшая кудрявая акация. И вновь возле нее по вечерам собирались парни и девчата и хороводили под гармошку Федора до вторых петухов.

Хуторяне диву давались: и когда все это успел сделать неугомонный Игнат со своей Марьей? Ведь даже улица преобразилась, и повеселела, и стала краше!

Так Игнат Сысоич еще раз одержал верх над лихоманкой судьбой. И если бы ему теперь даже сам царь сказал: «На леченом коне ты, братец, далеко не ускачешь», он, по крайней мере про себя, отругал бы его самыми крепкими словами. Но царь ему не являлся даже во сне, зато наяву сослал его сына в Сибирь, и Игнат Сысоич втихомолку поносил за это венценосца на чем свет стоял.

Сегодня Марья Алексеевна попеняла ему:

— Ты доругаешься, пока царь и тебя в Сибирь загонит и закандалит. Прикуси язык от греха. Все одно Леон больше не жилец на хуторе.

— Как так — не жилец? — запротестовал Игнат Сысоич.— Что ж он, по-твоему, на тот свет перекочевал, прости бог? Да ему теперь в самый раз быть на хуторе, потому ему после тех дел на заводе места не дадут. О, если бы он возвернулся! — мечтательно произнес он, тяпкой подкашивая траву на огороде.— Да мы такое дело раздули бы с ним и с Федором, что все ахнули бы от нашей жизни и от белого куска. Жалко, что корова Алены не тронулась за нами. Три ведра молока в день — это тыща ведер в год, вагон, должно, масла, не считая сыра и прочего. Капитал! — пропел он, но спохватился, что сболтнул лишнее, и умолк. Однако через минуту опять разговорился и пошел, пошел развивать свои удивительные жизненные планы и мысли о том, как бы он с Леоном и с Федором да с коровой невестки поставил теперь дело и сколько десятин сеяли бы хлеба, выгодно продавали его, а на выручку покупали бы добра всякого — не счесть.

Марья слушала, слушала его и наконец прервала:

— Я не про добро толкую — оно у тебя распланововано, как у землемера, на весь век, думки твои райские. Я тебе про царя говорю: прикуси язык, бога ради, пока атаман за загривок не взялся.

— Плевать я хотел на атаманьев и на загривки, девка. Я теперь трошки рассмотрелся, что к чему, и вполне способный тебе целую речь про царя сказать: царь — он есть сучий сын, задарма его прозвали божьим помазанником. Как бы бог все про него знал, он враз бы послал его туда, где раки зимуют. Вон Егор может подтвердить такие мои слова... Эй, сосед, как оно там у тебя?! — крикнул он.

— Слава богу, Сысоич,— ответил Егор Дубов.

Разговор этот происходил в степи, на картофельной делянке, которую Дороховы пололи всей семьей на виду у Егора Дубова, сдававшего Игнату Сысоичу полпая земли.

Делянка зеленела кудрявыми кустами молодой картошки, убегая рядками к балке, и все вокруг зеленело и шепталось мягкими шорохами: подсолнухи, кукуруза, просо, бахчи, и катившиеся, как море, зеленые хлеба, и блестевший серебром на пригорках ковыль, и леса по обочинам балок.

Хороша в такую пору степь! Хороша ее теплая, согретая солнцем и распушенная людьми земля, хороши ее слегка затуманенные бескрайние зеленые дали, и убеленные сединами старики курганы, и одиноко маячившие средь хлебов дикие яблони и груши или просто поросль от былых вековых деревьев, и неумолчный птичий гомон, и запахи цветов, и старозаветные ветряки с поднятыми до самого неба крыльями, даже тучки пыли, лениво

плывшие над дорогами вслед за медлительными быками, даже рыжие байбаки, как часовые стоявшие на задних лапах возле желтых курганчиков, – все, все, что видит глаз и что угадывается за многие версты, близкое и родимое, знакомое с детства каждой травинкой, каждой ямочкой на дороге, каждым лепестком бесчисленных цветов.

Приди в такую степь рано утром, посмотри кругом, прислушайся к ее голосу – и ничего лучшего на свете не захочешь, а захочешь остаться в ней на веки вечные, и уж никакие соблазны потом не заставят тебя кинуть ее и вытравить из сердца любовь к ней и благодарение матери-природе, что она создала ее, расцветила всеми нарядами и всеми цветами, заселила птицами, и песнями, и всякой дикой животиной.

Так думал Игнат Сысоич, то срезая тяпкой траву возле кустов картошки, то нагибаясь и выпалывая ее жесткими руками. Ничего ему теперь не нужно было в жизни, никуда теперь не тянуло его на сторону, в чужие, неведомые края, и единственное, что было у него на уме, – это лучше обработать землю, больше собрать урожая, выгодней сбыть его на базаре и купить... Тут его мысли споткнулись: он готов был накупить добра полный двор. Поэтому, наклонясь едва не до земли и вырывая из средины куста толстую осотину, он и сказал жене:

– Слышь, мать? Отчего бы у меня такая легкость на душе? Пальцы уже онемели от осота этого чертячьего, рубашка прилипла к спине, а на душе – как будто и не я все это делаю. Вот оно, девка, какое родимое место. Я теперь скорей в гроб пойду, чем тронусь куда-нибудь в другие города. Навидались чужих сладких мест, наездились по горло. Так-то...

Марья Алексеевна, распустив по земле темную сборчатую юбку, сидела на корточках, выщипывала из кустов мелкую траву – мышей. Она, так же как и Игнат Сысоич, чувствовала себя в этой горячей неоглядной степи как рыба в воде и работала споро, по-молодому, так что Насте трудно было угнаться за ней, и рада была ни о чем больше не думать, как о том, чтобы вот так, всей семьей, жить и жить до скончания века и, пока есть силы, делать и делать все, чтобы дети ее жили вольготно и сытно. Но как же ей ни о чем больше не думать, если с ней нет Леона, а у Оксаны все впереди так туманно и неопределенно, и неизвестно, чем кончится такая ее жизнь?

Поэтому она ничего не сказала, а только вздохнула и разогнула спину.

Игнат Сысоич мягко посоветовал:

– Отдохни трошки. Притомилась ты, кажись. – И крикнул Насте: – Дочка, брось свою делянку и подсоби матери!

Марья Алексеевна отнесла траву к меже и, вернувшись, сказала тихо и грустно:

– Не притомилась я, отец. За Леву и Аксюту душой изболелась.

Игнат Сысоич молчал. И у него душа изболелась, но он не хотел тревожить семью горькими разговорами, а вот мать, оказывается, все время только об этом и думает. И он признался:

– И меня, мать, черные думки одолевают, да только что ж поделаешь? Ничем мы с тобой делу не подсобим.

Настя осторожно заметила:

– А вы поменьше про черное думайте, батя, а то у вас осотины торчат на прополотом месте.

— Где? — живо обернулся Игнат Сысоич и, увидев пропущенный осот, со злостью вырвал его и отбросил на межу. Потом глянул на небо, сел на мягкую теплую землю в стороне и, достав кисет, стал крутить козью ножку. — Мать, дети, бросайте, кажись, пора подкрепиться, а то солнышко уже через обед перевалило. — А Насте велел: — А ты дитя покорми. Проснулась уже моя кундюбочка, плачет, — посмотрел он на нехитрый балаган, сделанный из мешка на двух палках.

Обедали молча. Игнат Сысоич порезал краюху житного хлеба на ровные крупные ломти, собрал крошки с мешка, служившего скатертью, и забросил их в рот.

Подождав, пока Марья Алексеевна налила в зеленую поливную чашку борща, что стоял в чугунке под старой одежиной, кинул в него стручок красного перца, взял свою деревянную ложку и принялся усердно растирать его.

Все молча переглянулись: обед пропал, попалит все нутро.

Игнат Сысоич будто ничего и не заметил, а когда зачерпнул ложку борща и отнес его в рот, с удовольствием крякнул:

— Ах! Ну и горчичка... Дух захватывает!

Ложка у него была старая-престарая, лопнувшая еще в незапамятные времена и скрепленная тремя медными скобочками, и ею никто не рисковал есть, чтобы не поцарапать губы, но Игната Сысоича это не страшило, он привык к ней и знал все ее повадки.

Настя зачерпнула борща, проглотила и как открыла рот, так и не могла закрыть.

— Батя, палит же огнем. Как вы едите? — еле вымолвила она.

Марья Алексеевна посмотрела на покрывшуюся потом лысину Игната Сысоича, качнула головой и, отведав борща, выплюнула его и сказала:

— Ты всю вязанку положил бы и глотал бы по стручку заместо конфет. Это ж беда! Полымем берет, а он и глазом не моргнет... Дочка, неси молока, а то мы наедимся сегодня, как меду напьемся.

Игнат Сысоич отправил еще несколько ложек борща в рот и тогда лишь возразил:

— Много вы понимаете, как я посмотрю. Она кровь разгоняет, горчичка, все болезни вышибает из суставных мест и палит их не в пример разным лекарствам. А как водку на ней настоять — мертвого из могилы подымет. Правда, сынок? — поднял он мохнатые брови и подмигнул Федору.

— Про болезни не знаю, а язык мой, кажется, вот-вот огнем возьмется, батя.

— А ты воды хлебни — и враз как рукой снимет все, — посоветовал Игнат Сысоич и, заметив, что по меже к ним шел старый Загорулька, тихо сказал: — Будет языки чесать. Сват пожаловал самолично, сейчас петли начнет класть, хитрить...

Нефед Миронович шел не спеша, посматривал на прополотые делянки и мысленно одобрял работу: «Хозяева. Ни травинки не оставили. То-то — свое!» А когда подошел — поздоровался по-свойски:

— Здорово дневали, сват и сваха. И помогай бог в делах и в харче, как говорится.

Дороховы поблагодарили, пригласили обедать, но Нефед Миронович отказался и стал усаживаться на теплой земле, давая понять, что пришел не на минуту.

— Ну молочка выпей, сват. Холодненького, только что из криницы вынули,— угощала Марья Алексеевна, видя, что сват пришел с какими-то добрыми намерениями.

— Молочка — можно, сваха, место найдется после Дарьиного борща,— согласился Нефед Миронович и, скосив глаза на ложку Игната Сысоича, пожурил его: — Сват, а ты и жадюга, прости бог. Я твою ложку еще с молодых лет помню, мы с тобой ею кашу кабашную ели. Копейку стоит она, как не меньше.

— Много ты понимаешь. Этой ложкой сам царь Солома едал, а мне повелел наследовать ее,— отшутился Игнат Сысоич и, наконец кончив обед, облизал ложку, вытер о мешок и спрятал за голенище, где торчал нож.

Нефед Миронович глянул на нож и вспомнил схватку зимой. «Супостат, мог, как кабана, заколоть. Счастье твое, что я не предал дело огласке, а то был бы ты ноне там, где Макар телят пасет»,— подумал он и, выпив стакан молока, попросил закурить.

— Пристрастился к этому зелью, не знаю, что оно теперь и будет.

— Это такое зелье, парень,— только начни, а опосля до смерти не отвяжешься,— посочувствовал ему Игнат Сысоич.

Нефед Миронович делал цигарку и тайком говорил про себя: «Через вас, оглоедов, не токмо к зелью пристрастишься, а выть по-бирючьи научишься».

Федор еле сидел. Ему хотелось вцепиться в горло этому человеку и расквитаться за старое, но он знал, чем это может кончиться, и лишь хмурил светлые брови. И вдруг Нефед Миронович начал каяться перед ним:

— Ты не серчай, Федор. По дурости то было, в прошлом годе, бог не даст сбрехать. А как мы теперь помирились — я порешил загладить свою промашку. И с Егором загладить надо, и со Степаном. Надо жить по-свойски, а не по-чертячьему, прости бог. Ох, как бы поясницу не простудить, уже ширяет, как все одно шилом,— болезненно произнес он, щупая поясницу.

— Земля — теплая, так что не бойся,— успокоил его Игнат Сысоич.

Дороховы не знали, зачем пожаловал сват, и ждали его слов, а Нефед Миронович не знал, с чего начать речь, ради которой он завернул сюда, проезжая мимо на свой ток. Собственно, об одном уже сказал, о том, что решил наладить отношения с Егором Дубовым и Степаном Вострокнутовым, как ему советовал сделать Яков в письме. Но не это беспокоило Нефеда Мироновича. «Тут я дам пару четвертей зерна — и вся недолга. А вот как с Аксюткой — не прикину»,— мысленно тревожился он и не знал, как лучше подъехать к Дороховым.

И начал с погоды. Сказав, что погода стоит наилучшая и что, судя по всему, урожай должен быть хороший, он покряхтел немного, посмотрел исподлобья на сватов и проговорил:

— По правде говоря, я завернул потолковать по-семейному. Невмоготу мне такая жизнь Яшки и Аксютки, колом застряла в горлянке, а как его, кол этот чертячий, вытащить — ума не приложу. Дитя нажили, наследника

нашего, скоро вылупится, значится, а то дите, может, и родителя своего в глаза не увидит, отца, как говорится. Как можете – подсобите, богом прошу. Мы есть родители своим детям и должны блюсти ихнюю жизнь, как полагается по закону, а не разогрешать кидать один другого. А она кинула Яшку, Аксютка та непутевая, и в ус не дует. Вот какое дело, значится, сваточки,– выпалил он единым духом и умолк, жадно посасывая цигарку.

Дороховы переглянулись. Настя дернула Федора за руку, отвела в сторону и там дала волю своему возмущению:

– Тошно смотреть. Плачется в жилетку, хамлет и жила, а думку держит совсем другую.

– Ничего, придет и его черед белугой реветь. Пойдем отсюда, не то я за себя не ручаюсь,– сказал Федор, и они пошли на делянку.

Игнат Сысоич курил и не торопился с ответом. Он привык к манере Загорулькиных: надо им что – лисой прикидываются, а потом три шкуры спускают. Однако сват помог ему зерном, соломы для хаты дал, денег занял, и отделаться от него было неловко. И он с участием ответил:

– Трудное наше дело, сват. Мало мы с тобой смыслим в молодых душевных понятиях, вот закавыка.

– Знамо дело, трудное. С легким я и сам управлюсь,– подтвердил Нефед Миронович.

Игнат Сысоич продолжал:

– Я толковал с Оксаной, когда был в Александровске, да ничего путного из этого не получилось. Так что не прикину, что тебе и посоветовать.

– Так,– угрюмо буркнул Нефед Миронович,– значит, мы и совладать со своими детями не в силах. Хороши порядки настанут, как такая вольность верх возьмет: схочу – живу, не схочу – силком не заставишь. А по мне, надо таких деточек арапником на ум наставлять, раз своих понятий не хватает.

Марья Алексеевна вздохнула и вмешалась в разговор:

– Ты когда-то уже наставлял на ум Алену. А что вышло?

– А-а, сваха,– досадливо отмахнулся Нефед Миронович и заворочался на земле так, что зад ввинтился в нее, а толстые ноги не знали, куда лечь.– Аленка – другой разряд. А тут – внучек, гляди, скоро получится, наследник по смерти отца и деда, меня, значится. И Аленку...– хотел было сказать: «Мало я порол ее, чтобы не своевольничала», но сказал другое: – Про Аленку чего ж теперь, как Леона угнали в Сибирь? Но там властя распоряжаются, а тут мы должны присоветовать и прицыкнуть на них, на Яшку и Аксютку, чтоб не кочетились, прости бог.

Марья Алексеевна, чтобы прекратить этот нудный разговор, сказала:

– Никуда от нас внук, чи наследник тот, не денется. Пусть только найдется благополучно. И Аксюта никуда от своего мужа не ускачет.

– И я ж про то толкую,– с живостью поддержал ее Игнат Сысоич, вставая и делая вид, что пора кончать разговор.– Она, как ни говори, законная жена, в браке церковном состоящая, и другому какому супружницей стать прав не имеет.

Нефед Миронович с радостью подтвердил:

– Известное дело. Но только твоими устами меда, кажись, я не шибко напьюсь, сват.

– Напьешься и еще покуражишься. Это я в точности говорю тебе.

Нефед Миронович рассердился и повысил голос:

– Не хочет она домой возвертаться. Ты это можешь в понятия взять чи нет? А-а, да что с тобой толковать,– махнул он рукой.

– Как это – что толковать? – вспылил Игнат Сысоич.– Ты сам пораскинь дурной своей башкой: у благородных не заведено слушать «кува, кува»? – пискливо подражал он неведомому детскому голосу.– Не заведено. Потому Аксюта и должна жить в городах. А как только опростается, бог даст, враз доставит дитя к нам, чтоб подросло трошки и бегать научилось. Это я в точности говорю тебе: дите, внучек стало быть, беспременно и самолично приедет к нам в гости, к деду своему Игнату. Ясно тебе?

– Опять ты меня отделяешь? А я где буду? – обиделся Нефед Миронович и встал, тяжко и неуклюже.

– А где ж тебе быть? На небе, заместо ангела, чи как? Вдвоем и будем нянчить, черед только расплануем и выработаем, кому когда,– говорил Игнат Сысоич и, увидев, что семья уже работает, заключил: – Так что извиняй, сват. Нынче день – год кормит.

– Значит, нам с тобой не след ехать в Черкасск? Чи я недопойму твои речи?

– Без надобности,– категорически заверил Игнат Сысоич.– Все образумится само собой. И ты не вмешивайся, бога ради, в такое дело, как ты есть дуб мореный и неспособный семейные слова говорить своим детям.

– По правде сказать, я б арапником отхлестал – и все образумилось бы. Но послушаюсь твоего совета...

Уходил Нефед Миронович и говорил себе: «Эх, мало я порол вас, чертовы деточки! А теперь сгубили свои жизни навовсе. И того дурака, Яшку, мало учил уму-разуму. Женился – значится, держи семейство в законе. Распустил нюни, а ноне батька должон заместо сводни состоять при вас. Тьфу – да и только! – сплюнул он и, сев на линейку, пугнул лошадей кнутом и покатил к своим владениям. И тут он вспомнил впервые за много лет: а ведь и он не очень-то слушал родителей и нажил незаконную дочь, благо батюшка взял ее на воспитание, как сироту, и выходил.– А наипрочем, не выходил, не уберег, шалопай патлатый, сгубил мою красавицу приказчик. Аленка только скидывается на нее обличьем. Но энта с норовом, а та была – ангельская душа».

И он громко вздохнул:

– Эх, жизня-а! Сам черт об тебя ногу поломает...

Дороховы закончили работу засветло. Игнат Сысоич отпустил семью в хутор управляться по хозяйству, а сам остался почистить криницу и накосить травы для коня и коровы.

Солнце уже зашло, оставив на горизонте малиновые разливы зари, а звезды еще не показывались, словно ожидали, пока отгорит и растает огонь заката. Лишь зарница, белая как майская роза, отважно и гордо сияла в голубом небе, а поодаль дрожала и робко подмаргивала ей одинокая маленькая звездочка.

Умолкли птицы, угомонились намаявшиеся за день хлеба и травы и застыли в тиши.

Отчетливо слышалось, как на дорогах переговаривались, перезванивались подводы, увозя домой разморенных кундрючевцев, и их провожали длинные шлейфы степной пыли, а проводив, тянулись к низинам, к балкам и долго стояли там рыжими облачками, а потом сливались с лиловой дымкой и пропадали.

Издали доносилась первая вечерняя девичья песня, обрывалась на мгновение и вновь вытягивалась до хрустального звона.

Игнат Сысоич прислушался к песне, щелкнул языком одобрительно и заключил:

— Славно играют. Марья в молодости так выводила.

Накосив на обочинах балки сочной, тяжелой травы, он сгреб ее в копенку и принялся за криницу.

Пришел Егор Дубов с лопатой на плече, устало поздоровался:

— Бог в помощь, Сысоич. Воду берем всем хутором, а чистить завсегда доводится тебе. Принимай пополнение.

— За приемкой остановки не будет, Егор Захарович, спасибо, что надумал,— ответил Игнат Сысоич и, достав из криницы черную, как сажа, землю, выбросил ее в сторону.— Гостя моего видал? Мировую надумал делать с Федором.

Егор поплевал на ладони, вогнал свою лопату в дно криницы по самую верхушку держака и, выбросив в сторону грязь, ответил:

— Видал... Посмирнел он нонешний год. Надолго ли?

— Посмирнеешь, парень, как ихнего брата палят на чем свет стоит. В Садковском вчера опять красного петуха пустили одному такому,— рассказывал Игнат Сысоич.

— Слыхал. Потому он и мировую ищет с народом, собачий сын,— протяжно от натуги произнес Егор, складывая ил на зеленой траве.

— Ты дюже много захватываешь. Успеется...— заметил Игнат Сысоич.— Да-а, говорил, мол, и с тобой мировую будет ладить, и со Степаном. Видит бог, чувалом ячменя откупиться норовит от нашего Федора, за печенки. Да и вам со Степаном, гляди, подкинет по мешку житца, за разор хозяйства, а тебе — за убиенного сына. Добряк!

— У меня мировая с ним наметилась одна: в пепел всю его породу,— мрачно сказал Егор и так нажал на лопату, что взбаламутил криницу до черноты.

Игнат Сысоич посмотрел на него и подумал: «Да, такой пойдет на все, попадись под горячую руку».

Вскоре они закончили дела, помыли в ручье руки, сапоги, лопаты и сели на склоне балки раскурить по цигарке.

— За сына, за разор всей моей жизни — откупиться мешком ячменя! Я зарубаю его, а не мировую буду делать,— возмущался Егор и, послюнявив цигарку кончиком языка, склеил ее и закурил.

— Не связывайся. У них — сила, а у нас... Эх, да об чем толковать...

Грозен был Егор Дубов, и боялись его Загорулькин и Калина, но казаки относились к нему по-разному: иные считали отступником, потому, что он сочувствовал в пятом году «крамольникам», иные, с кем он делил службу, по-прежнему считали его героем и не скрывали этого, а некоторые прямо говорили, что он-де рехнулся и не знает, в какой омут кинуться головой.

Но Егор не в омут намеревался кидаться, он вынашивал месть и ждал случая. Собственно, особенного случая ему и не требовалось: он в любое время мог встретиться с Загорулькиным и расквитаться, но теперь Егору Дубову этого было недостаточно. Ему хотелось покончить и с атаманом, и с теми, кто арестовывал его за пятый год, и с судьями, которые пустили его хозяйство за ветром по жалобе Загорулькина,— со всеми, кто держал его в черном теле. Но он знал: один — в поле не воин. «Так они передушат нас в одиночку, как хори — цыплят. Всем надо подыматься, как мастеровые на заводе. Советом надо на них идти, кровососов»,— рассуждал он и ждал своего часа.

Покурив с Игнатом Сысоичем и отдохнув у ручейка, он пообещал привезти из дому плоский камень и выложить возле криницы площадку, чтобы не было грязи, и ушел домой. И надо же было в это время ехать с поля Нефеду Мироновичу!

Егор лишь услышал перезвон его линейки — и уже задрожал от ярости, однако свернул с дороги от греха.

Нефед Миронович, придержав лошадей, сам начал разговор:

— Аль Егор? Он и есть. Никак меня подкарауливаешь на моих путях? А я, парень, с миром к тебе надумал... — Егору надо было пропустить эти слова мимо ушей и тем дело кончилось бы, но такая уж душа была у него: вспыхнула, как порох, и никакая сила не могла уже утихомирить ее.

— Со мной — мировую? — грозно переспросил он и, как клинком, рубанул: — Палаш нас помирит с тобой, вражина, помни это!

Нефед Миронович совсем остановил лошадей и недовольно крякнул:

— Так. Значится, я к тебе — с добром, а ты — опять за старое, за разбой? Ну, сучий выродок, тогда мы другим манером будем толковать. В правлении потолкуем, у атамана, значится. Но-о! — дернул он вожжи.

В один миг Егор схватил лошадей за уздечки и остановил, а в следующий миг схватил самого Загорулькина за грудки и стащил с линейки.

— Я — донской казак, герой японской войны и — сучий выродок? — загремел он, тряся его так, что Нефед Миронович не мог и слова произнести.

Наконец он вырвался, молча схватил с линейки шкворень — железный прут, который подобрал днем на дороге, и ударил Егора по лицу с такой силой, что кровь брызнула.

И Егор Дубов позабыл обо всем на свете. Как разъяренный бык, он кинулся на Нефеда Мироновича, выхватил шкворень из его рук, и не успел Нефед Миронович увернуться, как на него, подобно грому, обрушился удар. Степь вспыхнула тысячами молний, ослепила — и все сразу померкло и провалилось в преисподнюю.

«Убил»,— забеспокоился Егор и отшатнулся от бездыханно лежавшего на дороге и раскинувшего толстые ноги Нефеда Мироновича.

В это время вблизи фыркнула чья-то лошадь. Егор метнулся в сторону и исчез в сумерках...

Часом позже хутор взбудоражил невероятный слух:

— Загорульку убили!

И Кундрючевка пришла в смятение: казаки бежали к правлению, к дому Загорулькиных: отец Аким, распустив черные паруса подрясника, семенил к церкви за справой для соборования убиенного; верховые скакали

аллюром в станицу, на станцию Донецкая, в степь, на участок Егора Дубова. Все смешалось в суматохе.

А атаман Калина все приказывал:

— На станцию! Депешу Якову! Депешу Аленке! В станицу за лекарями. Из-под земли выкопать Дубова!

Игнат Сысоич только что пришел со степи и, узнав о случившемся, торопился к свату и все время вздыхал и сокрушался: «Все. Пропал Егор, закандалят. И зачем я рассказал ему о сватовых думках, грешник?»

Его настиг дед Муха, сухонький и немощный, засеменил рядом и тихо, прерывающимся голосом, шептал:

— Запалился, пропал навовсе, Сысоич. И теперича они переведут всех нас до пятого колена.

— Облизнутся, парень. Мы теперь не какие-нибудь. Мы им способны такую узду накинуть, что они до пятого колена закажут не замать нашего брата мужика...

Над хутором висела красная, как медь, луна, мерцали в просветах туч звезды, а далеко-далеко на горизонте догорала кроваво-красная полоска зари, тускнела все больше и наконец погасла. Лишь голубая, тонкая и бесконечно длинная лента вилась по самому краю земли.

Это было все, что осталось от жаркого, солнечного дня.

Яков был в Новочеркасске и чувствовал себя счастливейшим человеком в мире. Оксана только что подарила ему сына. И Яков торжествовал. Он завалил особняк Задонсковых всеми игрушками, какие только продавались в новочеркасских магазинах, накупив их на два года вперед, разослал всем знакомым и незнакомым приглашения посетить его семью, Оксане купил столько подарков, что извозчик еле довез, а в боковом кармане берег для нее купленный в Петербурге изумрудный с бриллиантами браслет.

И вдруг он получил из имения телеграмму: «Отец убит». Дух перехватило у Якова от ярости, что судьба в такой торжественный момент подсунула ему эту пилюлю, и он еле доехал до станции Донецкая.

«Проклятье! Ну ни одной радости нельзя иметь! Только соберешься улыбаться, как тебя грохают по башке. Кто, каким образом так жестоко поступил с отцом?» — спрашивал он мысленно и решил: это мог сделать только Егор Дубов. «Засечь! До смерти! Плетьми! Чтобы другим неповадно было», — грозился он Егору. Но когда наконец сошел с поезда на станции Донецкая, встречавший Игнат Сысоич поспешил успокоить его:

— Ничего, ничего, сынок, жив он. Ох, и что сотворилось на свете? И зачем Егор связался с ним, господи ты наша святая воля?

Яков свел черные брови к переносице, и кровь хлынула к его лицу, и оно стало темнее тучи.

— Где Егор?

— Сам повинился, в станице, в остроге.

— Повинился, а отца моего может не стать. Как по-вашему, батя, что мне надо делать с такими людьми?

— Ничего не надо делать, Яша, властя разберутся и без тебя. А ты... Я знаю твою руку, сынок. Не дай тебе бог поднять ее. Так что выкинь эту думку из головы, — уговаривал Игнат Сысоич.

Яков знал лучше его: да, рука не из легких. И почему-то тронул правое плечо и все вспомнил.

— Хорошо, батя, я разберусь прежде. У меня такая радость, такая радость, а тут... Эх! Сына же подарила мне Оксана.

— Сына? Внучка?! — воскликнул Игнат Сысоич. — Ох, господи... Я, кажись, заплачу от такой приятности. А тут сделалось со сватом... Эх!

Он стеганул лошадей Загорулькина, и они перешли на крупную рысь.

В Кундрючевке все замерли, когда узнали, что едет Яков. Что теперь будет: закатают Егора на сходе стариков? Вгонят на три аршина в землю? И хата Егора Дубова стала словно прокаженная: ее обходили, и смотрели, как на змеиное гнездо, и грозились стереть ее с лица земли, чтобы и пепла не осталось.

Пахом Крутояров отрезвлял таких:

— Если подворье Егора кто тронет хоть пальцем — зарубаю.

— И ты заодно? В таком разе возьмемся и за тебя! — грозились Пахому, но он отговаривался:

— Спробуй только. Я тебя и на том свете клинком догоню, видит бог.

— Короток твой клинок будет, односум.

— Ну, пуля будет длиньше, — резал Пахом.

Разговор этот происходил возле правления, где толпились казаки, и прошел бы, как и многие другие разговоры, но в это время появился Степан Вострокнутов, живший в соседнем хуторе, и, отозвав Пахома в сторону, попросил рассказать, что произошло. Казаки поняли это по-своему: старые буяны что-то замышляют. И вдруг в них бросили камень, да промахнулись.

— Это кто там исподтишка зайчиную храбрость показывает? Выходи, пластунская душа! — загорланил Пахом, подкатывая рукава и лихо сбив картуз на затылок.

Казакам только этого и надо было. Они наежились, обступили Пахома и Степана, тоже закатывая рукава, а некоторые взяли камни, выдернули из плетней колья.

— Громи их, царепродавцев и богоотступников! — сипло загорланил сын маслобойщика.

И началась драка.

— Эх, станишники, не мнилось мне вдариться с вами, а доведется! — крикнул Пахом и скомандовал: — Степан, заходи от ворот! Митрий, давай от улицы! В морду им, в морду, дурошлепам! — И пошел на хуторян тараном.

— В плети их, крамольников! — вскрикнул кто-то пискливо.

Но Пахома не так легко было настращать, и он весело командовал:

— Не робей, Степан! Митрий, бей в пах! Санька! Вот так их! — и раздавал он удары направо-налево и сам получал не меньше.

На крылечко правления выбежал атаман Калина, зычно гаркнул:

— Прекратить! Какой ослушается — десять суток холодной! Марш в степя, дурошлепы! Нечего кулаками размахивать, как дело ждет.

Голос Калины подействовал, а вид его — властный, с отброшенными в обе стороны усами — убедительно говорил о том, что он недалек был от исполнения своих слов. И казаки, отплевываясь и утирая кровь на лице, доругиваясь и обещая еще схватиться по свободе, разошлись в стороны, а потом как ни в чем не бывало стали выпрашивать у Пахома:

— Однокашник, дай на цигарочку, а то свой кудысь делся после твоего кулака чертячьего...

— Пахом, сатана горячая, угощай хоть за нос. Возвеличился дюже, так что и баба чи признает. Ох, и рука у тебя...

В эту-то минуту и показалась подвода Загорулькиных, на которой Игнат Сысоич привез Якова.

Кто-то негромко произнес:

— Ну, прибыл. Теперича, считай, конец свету настанет.

Калина сбежал с крылечка навстречу Якову, поспешил успокоить:

— Ничего, ничего, крестный. Он — живой...

Яков чертом посмотрел на станишников и молча ушел в правление, не удостоив чести даже поздороваться с хуторянами.

Кто-то бросил ему вслед:

— Знатный стал, не дюже смотрит на своих людей. Бирючья порода!

В наступившей тишине Пахом сказал:

— То-то и оно. А ты лез на меня с кулаками, дурья голова.

— По дурости и лез, не серчай, станишник.

...Яков не мог поговорить с Егором Дубовым. И с отцом не мог повидаться — ему сделали операцию, и он все еще не приходил в сознание. Но и это было хорошо. Не ударь Егор вскользь — был бы старый Загорулькин уже на том свете...

Увидел его Яков на следующий день. Нефед Миронович лежал с забинтованной головой и отекшим лицом, и Якову вновь пришли на память события в имении. «Меня подстрелили. Отца едва не убили. Что будет дальше? На каторгу всех не угонишь. Плетьми всех не закатаешь. Значит... Значит, надо жить иначе. Да, иначе», — рассуждал он и голосом, полным тревоги и печали, сказал:

— Плохая у нас с вами судьба, батя, по всему видать. Меня пометили в прошлом году, вас — в нонешнем. А когда-нибудь порешат совсем. Как жить будем теперь?

Нефед Миронович долго смотрел на него красными, отечными глазами, будто не понимал, и еле слышно ответил:

— Не надо, сынок... Так жить... Не трожь Егора. Я батюшке... покаялся при святом причастии. Сам я зачал все... Не любят нас люди...

Он заморгал глазами, и из них выкатились слезы.

— Хорошо, батя. Бог с ним, с Егором. А люди действительно не любят нас. Ненавидят... Плохо так жить. Очень трудно...

А в хате Дубова голосила Арина, жена Егора, проклинала судьбу, грозилась наложить на себя руки. Марья Алексеевна успокаивала ее и сама плакала горькими слезами. Нет, никогда в этой клятой Кундрючевке не будет ладу между людьми. А жить надо...

На завалинке под хатой сидели Игнат Сысоич и Пахом, курили самокрутки и зорко посматривали по сторонам — не подожгли бы хату. Но никого поблизости не было, и Игнат Сысоич в который раз тихо говорил:

— Вот тебе и родимое место. Я по нему всей душой изболелся, а выходит, его крушить надо под самый под корень. Эх, жизня! — вздохнул он.

Неожиданно во двор вошел Яков, и Пахом встал и приготовился на всякий случай, но Яков устало сказал:

— Не беспокойтесь, я — с миром пришел. Отец простил Егора, потому — сам начал все... Передайте это Арине, батя, — достал он четвертной билет и отдал его Игнату Сысоичу. — И скажите, чтобы не металась по хате. Егора выпустят.

Он сел на завалинку, попросил закурить и долго сидел молча. Потом вяло встал, постоял немного и произнес с отвращением:

— Плохо устроена жизнь человеческая. Как бирюки живем: так и норовим перехватить горлянку один другому. А отец Аким болтает, что в мире должно быть благоволение и рай. Нету в мире благоволения. Не может быть на земле рая. И бога нет. И черта нет. И ничего там, — кивнул он на низкие облака, — не было и нет. Все — вранье, все для дураков...

Он крутнулся на каблуках и пошел со двора быстрой, решительной походкой, а Игнат Сысоич смотрел на его темный силуэт и качал головой:

— Научили и этого. Изуверился во всем...

— Отойдет и все повернет на старый лад. Знаем мы ихнюю породу, — зло заметил Пахом и сделал несколько затяжек подряд, пока не закашлялся.

Луна уже выбралась из садов, желтая как лимон, и застряла на макушке векового панского тополя и смотрела, смотрела оттуда на хутор, на черные крыши хат холодно и равнодушно. Потом приподнялась, оторвалась от макушки тополя и медленно поползла в черное небо, как в пучину, а вскоре пропала там и померкла, а на ее месте появилась и расползлась над всем хутором туча.

— Будет дождик. В самый раз придется, — сказал Игнат Сысоич.

В это время из тучи, как бешеная, вырвалась кривая белая молния, метнулась в одну сторону, в другую, зажгла облака огнем, и не успел он погаснуть, как новая молния озарила сразу полнеба, и оно вспыхнуло малиново-красным пламенем да так уж и не гасло.

И только теперь отдаленно загрохотал гром.

— В Чекмаревом гремит. Скоро до нас дойдет, — сказал Пахом и встал.

Игнат Сысоич перекрестился, посмотрел на розовые тучи и с облегчением, как после работы, вздохнул:

— Золотой дождик. Урожай несет людям. Жизнь...

Глава четвертая

В Государственной думе было неспокойно. Левые депутаты грозились внести проект закона о новом землепользовании, главным положением которого называлась отмена частной собственности на землю.

Правые газеты разразились гневом и набросились на авторов проекта за то, что они «позволили себе грубое оскорбление по адресу Государственной думы», а кадетское большинство думы предавало проклятию всех левых на всех перекрестках и уверяло правительство, что будет достойно своих избирателей, читай: помещиков, и провалит проект.

Иностранная пресса писала более определенно: русский парламент готовит проект своей собственной смерти — у нее был куда больший опыт в таких делах.

Победоносцев послал царю докладную записку и предложил сменить министерство Горемыкина.

Двадцать первого июня 1906 года проект нового закона землепользования был внесен на рассмотрение думы. В нем действительно главным значилось требование отмены частной собственности и полное переустройство аграрных отношений в стране.

Тогда самодержавие выпустило правительственное извещение и без всяких околичностей заявило «о незыблемости существующего в России строя аграрных отношений». В ответ на это левые группы думы приступили к обсуждению нового проекта — обращения к народу — и торжественно заверили его в решимости довести дело до конца.

Николай Второй вызвал в Петергоф генерала Трепова, графа Игнатьева, Победоносцева, посовещался за стаканом чаю и проводил с напутствием: с божьей помощью уничтожить крамолу. А еще через два дня Петербург был наводнен войсками. Левые газеты «Эхо», «Голос труда», «Мысль», «Обрыв», «Крестьянский депутат» и другие были закрыты, типографии их были опечатаны.

Когда вечером 8 июля депутаты Государственной думы пришли в Таврический дворец, где заседали, принимать проект обращения к народу, они увидели возле дворца войска, а на массивных железных воротах замок.

Генерал Трепов явно перестарался: он закрыл Таврический дворец амбарным замком раньше, чем газеты опубликовали высочайший указ о роспуске думы и о созыве новой, о смещении кабинета нерешительного Горемыкина и о назначении председателем кабинета министров Столыпина...

Так одним росчерком пера «хозяин земли русской» благополучно покончил с первым русским парламентом. Эхо его падения покатилось по всей Европе и вызвало вздох облегчения у французских банкиров, ссудивших Николаю более миллиарда целковых.

Столыпин перетасовал кабинет, ввел чрезвычайное положение в столице, а губернаторам послал телеграфное предписание «усилить репрессии против смуты». Губернаторы усилили военные гарнизоны едва ли не в каждом городе и рабочем поселке, а в наиболее «неспокойные» крестьянские волости послали отряды солдат.

Реакция сравнительно легко восстановила все то, что потеряла в октябре пятого года. Депутаты думы были изгнаны из Таврического дворца через пятьдесят два дня после своего появления там и уехали в Выборг протестовать против произвола правительства и попрания несуществующей отныне конституции. Но увы! Они уже не были депутатами, а были обыкновенным собранием обыкновенных граждан.

Яков ничего не знал обо всех этих думских треволнениях. У него было полно своих забот. Только что благополучно кончилось с отцом, а вот уже подкралась новая печаль и забота: Оксане стало плохо, так плохо, что Яков вынужден был свезти в особняк Задонсковых едва ли не всех врачей Новочеркасска. Врачи успокаивали его, писали бесчисленные рецепты, посыльные носили из аптек бесчисленные лекарства, а сам Яков носился по городам и искал самые лучшие лекарства и самых лучших врачей.

Сейчас он только что приехал из Харькова, привез двух профессоров и хотел взять извозчика, но у новочеркасского вокзала было хоть шаром покати: ни одного фаэтона, ни одной пролетки.

Яков был взбешен. В столице Области Войска Донского исчезли извозчики! Это ли не безобразие? Яков извинился перед профессорами и пригласил их пройтись пешком, благо особняк Задонсковых был в нескольких кварталах от вокзала. И тут они, едва стали подниматься навстречу золотой голове собора, увидели: по Крещенскому спуску ехала кавалькада фаэтонов. И странно: лишь на первом сидел пассажир, а на всех остальных одни кучера печально восседали на облучках, затянутые в поддевки, подпоясанные красными и синими кушаками, с траурными повязками на рукавах.

На бульваре, под тенью тополей и акаций, стояли прохожие, удивленно смотрели на странную процессию и качали головами, а иные возмущались и поносили городовых за ротозейство.

Яков бросил злой взгляд на передний фаэтон: на нем сидел и дремал красный как бурак Френин, а за ним медленно ехали добрых три десятка пустых экипажей, пролеток, и на них покоились вещи старого помещика: шляпа, визитка, трость, часы и даже сапог.

Какой-то чиновник с огромными чемоданами в руках, шедший на вокзал, остановился передохнуть, увидел эту картину и разразился гневом:

— Один человек нанял всех извозчиков, чтобы показать свою глупость, а порядочные люди должны идти пешком. За чем смотрят власти?

Френин услышал эти слова, велел остановить фаэтон и, приподнявшись с места, громко ответил:

— Милостивый государь! Как вы смеете оскорблять траурную процессию? Убирайтесь к дьяволу со своей фанаберией! — и сел, но в следующую секунду загорланил: — Яков, чертушка! На меня чиновники с баталией идут, караул!

— Убирайтесь вы ко всем дьяволам, сосед! — гаркнул на него Яков. — Вы заставили меня вести пешком профессоров. А Оксана, может, доживает последние минуты.

— Пошли вы к черту, милейший. Я думу провожаю в последний путь, избранников народа. Каково? Возницы — к собору! Панихиду служить по думе шагом а-арш! — скомандовал Френин остановившимся извозчикам и, схватив Якова за руку, тревожно спросил: — Оксана, вы сказали, больна? Ах, идиоты, что устроили, а? Ах вы, мерзавцы, канальи, что придумали, а? Кру-угом, рысью а-арш! — вновь скомандовал он извозчикам.

Извозчики обложили его со всех сторон и загалдели, как цыгане на ярмарке:

— По золотому уговорились.

— Хоть по полтиннику, ваше степенство!

— Не забижай детишек!

Френин бегал меж фаэтонов, хватал свои вещи и кричал:

— Замолчите, пока я городовых не кликнул! Где это видано, чтобы с меня деньги брали? Да вы соображаете, в каком царстве-государстве живете и промышляете, бестии вы этакие? Пшли прочь! — замахнулся он сапогом, но решил, что его лучше надеть на ногу.

Когда отошли, Яков спросил у Френина:

— Что вам взбрело в голову устраивать эту карусель, сосед? Завтра распечатают во всех газетах.

— А вы, милейший, полный невежда, коль задаете мне подобные вопросы — о кортеже... Думу монарх распускает. Ну я решил устроить похорон-

ную процессию и ей и ее проекту нового землеустройства. А что, плохо вышло? Замечательно, черт меня подери!

Якову было неловко перед профессорами, и он виновато сказал:

– Извините, господа. Этот старый чудак – мой сосед и помещик, но на него, как видите, иногда находит...

– Дурак вы, и больше ничего, – обиделся Френин. – На меня еще никогда не находило. Нашло на августейшего, и дума приказала долго жить, а проектик о новом землепользовании унесла с собой, царство ему небесное. Буде и новая избранница народа позволит вести себя подобным образом – похороним и ее... Понятно я изложил свои государственные мысли?

Яков торопился в особняк Задонсковых и ни о чем больше не думал. Лишь узнав тут, что Оксане стало лучше, он вышел на веранду, где уже дремал в полном одиночестве старый помещик, закурил сигару и возобновил разговор о думе:

– Значит, миф о русском парламентаризме развеялся как дым. Наших либералов умыли помоями. Но тогда... тогда левым останется открыто встать на путь Парижской коммуны. Как вы полагаете, сосед? – спросил он, расхаживая на веранде.

– А? Что я предлагаю? – проснулся Френин, отряхнулся и встал. – Я предлагаю ехать в ресторацию по случаю выздоровления Оксаны. Кутнем сразу по двум поводам: за упокой думы, пухом ей да будет земля наших предков, и за благополучное разрешение от бремени вашей дражайшей половины, коя, надо полагать, отныне будет составлять единое с вами целое...

– Идите, кутите, торжествуйте! Но смею вас уверить, что крестьяне и рабочие так просто с подобным актом монарха не согласятся, – неожиданно резко сказал Яков и сам удивился: чем не левый?

Френин тоже удивился:

– То есть это почему они не соизволят согласиться, коль в каждом городишке и слободе полки стоят? Согласятся, обязательно. Вопреки вашей левой фанаберии. Марксистской даже, насколько мне не изменяет слух. Расстреляют несколько десятков, повесят несколько сот, вышлют в Сибирь несколько тысяч, и мы помянем все новшества бутылочкой коньяку! Ясна моя концепция? А за сим – в ресторан, пока в соборе идет молебен во здравие империи и царствующего дома.

– Идите вы ко всем чертям, сосед. Надоели мне ваши рестораны и все эти коники, которые вы выкидываете.

Френин не умел сердиться и хихикнул с явным злорадством:

– Хе-хе... Но позвольте поинтересоваться: а вы сами не намерены отправиться вместе со мной? На фонарный столб, к примеру? Веревочка-то одна связывает нас с вами. Экзекуции мужиков, подавление восстания при помощи копыт вашего, убиенного ныне, рысака, контрибуции и прочее.

Яков потемнел и грубо ответил:

– Народ сильнее нас с вами. Если мы не изменим отношения к нему – он сотрет нас в порошок.

– Не сомневаюсь. Но... мне хотелось бы только глянуть прежде, как вы будете висеть на столбе, а уж потом я подставлю и свою старую шею.

– Столбовых повесят раньше, чем новых деловых людей, – злился Яков.

Однако Френина не так легко было вывести из равновесия, и он примирительно сказал:

— Ну, довольно острить. Я дьявольски проголодался, а Ульяна что-то тянет с приглашением к обеду. А что касается наших споров, то они, в сущности, ничего не стоят, мой друг: будущая революция сметет с лица земли всех нас.

Яков ухмыльнулся и подумал: «И то правда: всех и сметет. Умный, черт старый, хоть с виду и болтун».

На веранду пришла Ульяна Владимировна, следом за ней вышел профессор, закурил папиросу и с наслаждением затянулся пахучим дымком.

Яков замер: неужели Оксана...

Ульяна Владимировна вздохнула и с великим облегчением сказала:

— Ну, Яков, благодарите бога и профессоров. Оксана будет жить. Сейчас кормила ребенка.

Яков бросился целовать ей руки, потом стал благодарить профессора и, наконец, сорвался с места и побежал в комнаты, да навстречу ему вышел второй профессор и остановил его:

— Спокойнее, спокойнее, сударь. Там не горит, и к тому же супруга ваша уснула безмятежным сном. Часика через два вы можете войти к ней, а сейчас,— посмотрел профессор на свои карманные часы,— мы с коллегой пройдемся по городу и в пять вечера, с вашего позволения, покинем вас.

— Как?! — испуганно переспросил Яков.— А если...

— «Если» не будет, милостивый государь,— твердо ответил профессор.

Ульяна Владимировна пришла в себя от волнения, утерла слезы маленьким розовым платочком и сказала:

— Никуда, господа, сегодня вы не уедете. Сейчас будем обедать...

Френин переглянулся с Яковом явно обрадованно и даже состроил рожицу и перекрестился, а уж потом благодарно приложился к ручке державной хозяйки, которой обязан был если не жизнью, то, по крайней мере, своим человеческим обликом и боялся едва ли не пуще самого господа бога. И однако же улучил момент, нашел в буфете бутылку коньяку и отполовинил ее в считанные минуты.

— Ваше здоровье, милейшие мои,— в который раз говорил он как бы Оксане и ее сыну, изящно подняв хрустальную рюмку с золотым ободком и мигом опустошая ее.

...Чургин приехал, когда Яков уже проводил профессоров и безмятежно дремал в кресле, в кабинете Задонскова. Нет, он не обижался, что его все еще не пускали к Оксане и не показывали сына. Наоборот, он был несказанно рад, что он здесь, рядом с Оксаной и сыном, что его не гонят, от его помощи не отказываются и принимают его, как и должно быть. А что Варя, сестра Оксаны, шипит на него, как гусыня,— так это даже хорошо: значит, все идет своим чередом и надо ждать, ждать и ждать. «Варвара — она властная, если бы что не так, турнула бы за милую душу. Значит, мои дела не так уж безнадежны, как мне то казалось»,— рассуждал Яков и не заметил, как уснул.

А когда он проснулся, он увидел перед собой Чургина и услышал его слова:

— Идите, посмотрите на них. Чего уж теперь играть в прятки? Об Оксане речь... Спасибо вам, что всех подняли на ноги. Я тоже был в Харькове и там узнал, что с вами уехали профессора.

Яков вскочил с кресла, кинулся ему в объятия, но Чургин приложил палец к губам, шепнул:

— Идите за мной. Но сразу не входите. Так будет лучше...

Яков подождал немного, потом на носках приблизился к двери, приоткрыл ее немного и увидел такую картину: Чургин стоял возле кровати, неудобно наклонившись над ребенком, которого ему показывала Варя, и говорил совсем не своим голосом, низким и грубоватым, а как будто пел тенорком:

— Так вот мы какие! Красные, как перчик, а и красивые — на зависть всем молодым людям... А вот мамаша наша не того... Не очень румяная, даже совсем белая. Ну, да это пройдет. Все теперь будет хорошо...

Яков увидел сына, вошел в комнату и упал на колени перед Оксаной.

— Дорогие мои... Кровинушки мои... Я в огонь и в воду пойду, лишь бы вам было хорошо... Спасибо, родная моя, жизнь моя, что ты подарила мне сына, — дрожащим от волнения голосом говорил он и целовал, целовал руки Оксаны.

И заплакал от счастья, от бесконечной радости...

А Рюмин ходил по Крещенскому спуску, посматривал на часы и волновался все больше. Что там с Оксаной? Что с Чургиным, что он уже два часа не идет? Не случилось ли что? И не вытерпел: сам пошел к особняку Задонсковых. И тут встретил Чургина.

— Ну, что она, как она? — нетерпеливо спросил он у Чургина. — Плохо?

— Плохо, милый. Очень плохо. Она возвращается к Якову. Полагай, что уже возвратилась, — невесело ответил Чургин.

И Рюмину расхотелось читать реферат на собрании активистов Новочеркасска, и противны стали улицы и проспекты, и зеленые шеренги деревьев, и золотые купола собора. И он упавшим голосом спросил:

— Что ты посоветуешь мне делать теперь, Илья? Ехать за границу? Жениться? Исчезнуть с лица земли?

— Уезжай за границу, Михаил. А там видно будет, милый.

— А как же Оксана? Ведь я люблю ее, Илья... Я не знаю, как это случилось, но я полюбил ее и ничего не могу теперь поделать с собой. Не такая она женщина, чтобы так просто перечеркнула все то хорошее, что в ней было, с чем она пошла на баррикады, что в ней безусловно живет и может жить...

Чургин прервал его:

— Михаил, я тоже люблю Оксану. По-своему люблю. Как сестру, как самого близкого и родного человека. Но... ты — это совсем другое дело, милый. Можешь ждать — жди.

Рюмин удивленно посмотрел на него и не мог ничего сказать, будто дара речи лишился... Но потом все же сказал:

— Хорошо, Илья. Я буду ждать.

В Петербург Рюмин приехал ранним утром.

Над столицей нависли серые, тяжелые облака. Было прохладно и сыро, видимо от ночного дождя, а на душе у Михаила Рюмина было так серо и неуютно, что он не прочь был взять билет и катить обратно, на юг, к солнцу.

Отца дома не было, и Рюмина встретила мать, сухонькая и маленькая, с болезненно-белым лицом и страдальческими глазами, и как обняла его, так и не отпустила, а спрашивала, спрашивала о Леониде, о том, как он погиб, и все время плакала.

Рюмин рассказывал все, что знал о брате, об Оксане, о том, как она сидела над мертвым Леонидом до самого вечера и никому не разрешала унести его, пока ее силой не оттащила полиция.

— Несчастный мальчик мой... Бедная девочка моя... — вздыхала мать. — Они любили друг друга... Что же ты не привез ее к нам, не представил, не дал обнять? Ведь она — почти наша, член нашей семьи...

— В другой раз, мама, после когда-нибудь. Она не может сейчас...

— Я знаю, что она любила его, он говорил мне...

В это время тихо и медленно раскрылась большая черная дверь и вошел отец. Рюмин встал и хотел поклониться, да отец как бы удивленно сказал:

— Михаил, ты невозможный человек: опять мать разволновал, и у нее будет теперь мигрень... Здравствуй.

— Здравствуйте, отец, — поздоровался Михаил Рюмин и почувствовал: отец, несомненно, стал мягче, хотя и не подает виду.

— С каких это пор ты стал называть своего родителя на «вы»?

Отец закрыл за собой высокие и тяжелые двери, причудливо изрезанные краснодеревщиками, и посмотрел на сына как бы спокойными, но на самом деле тревожными глазами. Потом положил портфель на круглый столик с мраморной доской, тронул большие бакенбарды и поцеловал жену в щеку.

— Садись и рассказывай. Затем я сообщу тебе нечто приятное, — устало сказал он Рюмину и сел в кресло.

— Я знаю: мне придется ехать за границу.

— Ты так говоришь, как будто тебе придется спускаться в ад, — усмехнулся Рюмин-старший и мягко добавил: — Ты поедешь в свадебное путешествие. На месяц-два. Во Францию, в Италию или куда вам хочется.

Михаил вопросительно посмотрел на мать, спросил:

— И ты этого хочешь, мама?

— Нет, мой мальчик. Этого хочет твой отец.

И тогда Михаил Рюмин сказал:

— Отец, я люблю человека, ради которого пойду на все. Суженая тобой меня не интересует.

— Кто она? Дочь сиятельных родителей? Наследница миллионеров? Княжеский отпрыск?

— Она — дочь простых родителей.

— Ты жестокий, Константин. Ты невыносимо жестокий, — простонала Рюмина, поднимаясь с кресла, и, выпрямившись, сказала: — Ты не имеешь права... Я не допущу, чтобы над моими детьми царило насилие! — И пошла в свои комнаты.

Михаил проводил ее, вернулся и спросил у отца:

— Если ты сказал все, отец, разреши и мне удалиться?

Рюмин-отец уже медленно ходил по ковру, отбросив руки назад и слегка опустив голову, и о чем-то думал. Высокий и худой, с седым ежиком на голове, с большим хищным носом и длинными руками, он казался в своем министерском мундире величественным и недосягаемым, и с ним не всякий человек мог осмелиться говорить. Михаилу не хотелось ни стоять рядом

с ним, ни разговаривать, а хотелось уйти к Марфеньке или к друзьям, на Петроградскую сторону.

— Я не все сказал тебе,— продолжал Рюмин-отец.— Я не сказал о Сибири, которая была для тебя уготована и которую мне стоило труда отвести от твоей легкомысленной жизни. Далее: я не сказал, что для тебя нашлась великолепная партия. Если тебе не изменит благоразумие, ты сделаешь нашу семью более чем счастливой.

Михаил Рюмин ждал, что будет дальше, и нетерпеливо посматривал на золотые часы, что были вделаны в крошечную малахитовую скалу и стояли на письменном столе. «Скоро придет сестра. Мы скажем ему вдвоем все».

— Конечно, ты поедешь по делам. Но это будет хороший вояж, смею тебя уверить. И Столыпина будет этому рада.

— Ты далеко смотришь, если определил мне в родственники председателя кабинета министров,— зло усмехнулся Михаил.

— Ты оказываешь мне честь. Это приятно. Но мне будет во сто крат приятней, если ты перестанешь дерзить, а подумаешь о своем будущем. Хорошенько подумаешь, а не с таким легкомыслием, которое рано или поздно будет стоить тебе Петропавловской крепости. Или Шлиссельбурга, наконец,— говорил Рюмин-старший все жестче.

— Благодарю, отец, за столь чудесное предложение. Но я люблю женщину, на руках у которой умер Леонид, мой брат, а твой сын. Вот все, что я могу тебе ответить. Если ты будешь настаивать на своем предложении относительно родственницы госпожи Столыпиной, я уйду.

Рюмин-отец продолжал ходить и молчать, как будто ничто его не задело. Он лишь поглаживал седой ежик, прикасался слегка к таким же седоватым усам и ходил, ходил, будто измором хотел взять противника, будто всю душу намеревался вытянуть из него, а уж потом заявить: «Ты сам повинен во всем».

Когда Михаил уже направился к двери, он сказал:

— Так... Следовательно, Оксана Задонскова. Жена коннозаводчика Загорулькина... Фи, какая неблагозвучная фамилия... Это и есть твоя партия? Как в французском романе: двое — и одна? — поднял он глаза, колкие и даже враждебные.

— Да, отец. Но французский роман назван тобой некстати. Она оставила мужа еще в прошлом году.

И тут Рюмин-старший повысил голос так, что часы в углу загудели:

— Неблагодарный! Как ты смеешь так рассуждать, так осуждать отца, так вести себя и разговаривать? Тебе ведомо, что моего молчания — не слова, а именно молчания — будет вполне достаточно для того, чтобы ты пошел в простые рабочие в лучшем случае?

Быстро вошла мать, испуганно спросила:

— Что здесь происходит? Почему ты кричишь, Константин? Разве это министерство?

— Перестань, дорогая. Ничего здесь не происходит, и, право, тебе лучше оставить нас одних. Этот упрямец не желает слушать отца и убежденно заявил мне, что хотел бы соединить свою жизнь с той, которая...

— Которая одна стоит всех твоих столыпиных, горемыкиных, коковцовых и прочих знакомых, отец,— прервал его Михаил.

Рюмин-старший раньше указал в сторону двери, а потом сказал:

— Уходи. И забудь, что у тебя есть родители.

Мать бросилась к Михаилу и, обняв его, с болью произнесла:

— Не уходи. Не слушай отца. Я — мать и не позволю... Слышишь? — оборотилась она к Рюмину и повысила голос: — Не позволю распоряжаться судьбой моих детей! В министерстве распоряжайся! Чиновниками распоряжайся!

Рюмин подождал, пока она ушла вместе с сыном, посидел немного в задумчивости и, взяв портфель, пошел из дома.

Навстречу ему шла Марфенька. Испуганно и быстро она посмотрела на него, когда он пропустил ее и аккуратно закрыл черную тяжелую дверь, и побежала к матери. Оттуда вышел Михаил, намереваясь, видимо, еще что-то сказать отцу.

Марфенька повисла у него на шее и выпалила:

— Я все видела — по его глазам, по его движениям, по походке. Идем отсюда. Совсем. Я тоже не могу здесь жить. Мама только и удерживает.— И заплакала.

— Ничего, сестра. Успокойся. Все идет так, как и должно.

Михаил Рюмин все же пошел в министерство за документами и пробыл там до полудня. Когда он наконец освободился, получив заграничный паспорт и несколько писем к германским фирмам, его пригласили в кабинет. Рюмин вошел как ни в чем не бывало и остановился перед стоявшим за столом и сиявшим золотом отцом.

— Я слушаю тебя, отец.

— Получил документы? — спросил Рюмин-отец, делая вид, что забыл об инциденте.— Великолепно. Теперь отдохни денька два и — с богом... Деньги тоже получил?

— Получил.

— Хорошо. У тебя нет ко мне вопросов?

— Нет, отец.

— Один поедешь?

— Один.

— Возьми это. На карманные расходы. Три тысячи,— положил Рюмин-отец конверт на стол.

— Благодарю. У меня есть свои.

Разговор явно не ладился. Михаил не хотел продолжать то, что оборвалось дома, а отец не хотел напоминать об этом, надеясь, что все кончится хорошо. Потому он и сказал:

— Ну, воля твоя. В таком случае располагай собой, как тебе будет угодно. Надеюсь, на этот раз ты не станешь скитаться по чужим квартирам и будешь жить дома. Здоровье матери очень плохое, доктора говорят.

Михаил поблагодарил и поклонился. Вышел на улицу, вздохнул и спросил себя: «К чему эта комедия? Ума не приложу. Но... Но все-таки придется выехать за границу. Иначе передо мной закроются все двери всех контор империи Российской».

Остаток дня он провел с сестрой в Летнем саду. Он рассказывал ей о Югоринске, о своих новых друзьях, но ни слова не говорил об Оксане. И Марфенька наконец попросила:

— Расскажи о ней... Мне кажется, что я тоже полюбила бы ее.

— Почему «тоже»?

— Женщину, которую полюбили два брата, не может не полюбить их сестра. Я даже хотела поехать к тебе, но отец сказал, что ты скоро будешь в Питере. О, он наблюдает за тобой куда лучше, чем все жандармы, вместе взятые. Итак, об Оксане...

И Рюмин рассказал все...

Марфенька была моложе его на семь лет, еще училась на курсах и каждое его слово воспринимала романтически. И в то же время она думала: «Два моих брата пошли вместе с народом, и один из них отдал ему свою жизнь. А я все еще пребываю в гимназистках и боюсь шагу ступить без папенькиного разрешения. Какая я жалкая и ничтожная! А Ленин еще говорил мне комплименты. Нет, что бы там ни было — мой путь в жизни может быть лишь один: путь моих братьев».

Но она не хотела говорить о своих мыслях брату. Ей казалось, что он не примет всерьез ее слов, не поверит и, главное, не доверит ей. Поэтому она продолжила разговор об Оксане:

— Ну, а дальше, дальше что? Неужели она останется со своим мужем и порвет с вами, с тобой, например? Ведь ребеночек — это даже хорошо! Это просто восхитительно!

Рюмин горько улыбнулся. Что он мог ответить на наивный вопрос сестры?

— Глупенькая ты. Жизнь — очень тяжкий и сложный человеческий путь. И я не знаю, чего на этом пути больше: счастья или горя.

Марфенька обняла его, прислонилась к его плечу разгоряченной головой и сказала:

— А глупенький-то ты, братец. Любить, быть любимой и идти вместе рука об руку во имя высоких человеческих идеалов — разве это не счастье? Я мечтаю о таком счастье.

Рюмин улыбнулся. Сестра его уже вполне взрослый человек! А он-то все еще считал ее девчонкой...

Глава пятая

Лука Матвеич, предупрежденный депешей Чургина, поджидал Рюмина с минуты на минуту и уже начинал беспокоиться. Наконец, когда все сроки прошли, он надел шляпу, взял трость и пошел в кафе на Невский, где обычно встречался со своими людьми.

Возле кафе прогуливалась Надежда Константиновна. Увидев его, она облегченно вздохнула и сказала, чтобы он шел на квартиру, где его ждет Ленин.

— Целых полчаса фланирую на виду у всего Питера, а вас все нет. Менжинский уже, очевидно, там. Надо еще поймать Иннокентия. Так что торопитесь, а я задержусь.

— А инженера Рюмина здесь не было?

— Не было.

Лука Матвеич пришел на Забалканский, деловито пересек двор и, убедившись, что слежки нет, вскоре был на квартире Ленина. Оттуда слышалось:

— ...Это же неслыханное дело: самые ярые, самые фанатичные поклонники мифической конституции совсем не по-конституционному удрали за границу! Замечательное похмелье после верноподданнических думских адресов монарху! Превосходная пощечина всем этим муромцевым, водовозовым и несть им числа прекраснодушным либералам, возомнившим себя вершителями судеб народа...

Лука Матвеич прошелся по коридору, будто искал кого, а на самом деле посматривал на вход со двора и прислушивался к голосам в других квартирах, и лишь потом постучал.

— Войдите! — крикнул Ленин и сам отворил дверь. — А-а... Давненько, давненько поджидаем вас, товарищ Лукьян. Ну-с, здравствуйте. Надя прислала или сами надумали? А Иннокентия не встречали? Он тоже нужен нам.

Лука Матвеич поздоровался, объяснил, почему задержался, и недовольно заметил:

— А вы больно громко разговариваете, господа. В коридоре все слышно.

— Гм, гм. Виноваты, увлеклись, — произнес Ленин и спросил: — Лука Матвеич, вы говорили мне, что ждете инженера Рюмина. Он тоже пригодился бы нам. События разворачиваются так стремительно, что дорога́ каждая минута, каждый человек. Вы, надеюсь, все знаете о наших думских беглецах? О настроении в Свеаборге, в Кронштадте?

Лука Матвеич повесил шляпу-котелок на гвоздь, поставил трость в угол, затем поздоровался с Менжинским и лишь после этого ответил:

— О Свеаборге слышал краем уха. А думские беглецы, должно, уже митингуют. Надо бы поехать кому-нибудь туда из наших. Товарищ Жордания и его сиятельство князь Урусов трогательно объединились и решили вместе бороться с царизмом, за народ. Тьфу ты, дьяволы, до чего додумались...

— Умилительная картинка плехановского объединения! — возмущался Ленин. — Вот почему мы и намерены послать вас туда, товарищ Лукьян. Немедленно, сегодня же, если не возражаете, — неожиданно сказал он и обратился к мрачно покручивавшему усы Менжинскому: — Как, Вячеслав Рудольфович, хорошая кандидатура? Член ПК и ЦК, завзятый баррикадчик, маху не даст.

— В Выборг или в Свеаборг?

— И туда и туда.

Лука Матвеич достал из внутреннего кармана листок бумаги, отдал его Ленину и невесело произнес:

— Проект обращения к народу. Манифест, как сказал мне доктор Симелов. Плеханов наверняка подпишется под таким опусом.

Ленин стал читать. Менжинский встал, заглянул в листок и покачал головой. И вдруг Ленин закипел:

— Чепуха, ересь! От первой до последней строки. Кадетская бумажная манифестация. Они, изволите видеть, хотят быть с народом до конца! — воскликнул он негодующе, шелестя листком в воздухе. — А для какой цели, позволительно спросить! В сознание крестьянина, самого темного, стучится теперь обухом вбитая мысль: ни к чему дума, ни к чему никакая дума, если нет власти у народа. Свергнуть старую власть и учредить новую, народную, свободную, выборную... Этому еще и еще раз научила народ кадетская

дума. Вот почему мы скажем всем, и партии в первую очередь: споем же вечную память покойнице и воспользуемся хорошенько ее уроком! – сделал он броский жест рукой, потом положил бумагу на стол и прихлопнул ее ладонью.

И тут увидел сверток, достал из него колбасу и вдруг вспомнил:

– Вячеслав Рудольфович, яйца же переварятся! – И быстро вышел из комнаты.

В это время в коридоре послышался дикий женский крик:

– Помоги-и-ите!

Лука Матвеич прислушался и хотел выйти, но Менжинский остановил:

– Не вмешивайся. Нельзя, к сожалению. Очередная баталия фельдфебеля с женой.

Лука Матвеич взял со стола проект обращения депутатов думы к народу, спрятал его в карман и достал трубку, чтобы закурить, да увидел на столе небольшую книгу Клаузевица и перелистал ее. На некоторых страницах были пометки на полях, отдельные строки были подчеркнуты. Странным казалось, что Ленин, глубоко штатский человек, читает книгу прусского теоретика войны. Вошел Ленин с кастрюлькой в руках, негодующе воскликнул:

– Опять колотит! Каждый день таскает за волосы несчастную женщину. И помочь нельзя: может быть скандал с моим паспортом. Негодяй.

– А может, горяч больно, ревнует?

– Я б таких «ревнителей» в Нарым, в тундру пешим порядком высылал. Для охлаждения... Мерзость, – возмущался Ленин и спросил: – Клаузевицем интересуетесь? Полезная книжица. Всем революционерам следует знать.

Лука Матвеич положил книгу рядом с томиком Маркса на немецком языке, с сожалением причмокнул языком.

– Жаль, что я слабоват в немецком, а то утащил бы, – сказал он и заглянул в кастрюльку, из которой Ленин ложкой доставал яйца и раскладывал на столе – по паре против каждого стула. – Не по мне, крутые. Такими Владимир Ильич в Швейцарии кормился.

– Мы, когда уходили с Надей в горы, питались всухомятку: яйца и бутерброды с сыром. Так что не обессудьте, привычка, – усмехнулся Ленин и принялся резать колбасу, франзольки и делать бутерброды. – А книжицу можете взять. Со словариком, со словариком потрудитесь, авось и прочитаете... Прошу, господа, червячка заморим...

Лука Матвеич сел за стол, с деланным сожалением произнес:

– Сами-то к бутербродам, поди, и мокрое брали в Швейцарии, а нам одно сухое попадает.

– Ах, да! Бутылку вина еще брали с собой вместо жидкого. Но то были другие времена, – вспомнил Ленин и, разложив бутерброды на столе, заговорщически тихо сказал: – Только уничтожить все молниеносно, господа. Это я тайком от своей супруги купил в магазинчике. Узнает – будет мне на орехи... А чтобы время не терять – поговорим обстоятельней о Свеаборге и Кронштадте. Там зреют восстания. Наш же объединенный ЦК, к сожалению, совершенно к этому не подготовлен и палец о палец не ударяет. Рассказывайте, Вячеслав Рудольфович, послушаем вдвоем с Лукой Матвеичем. А затем обсудим, что можно предпринять.

Менжинский рассказал...

Вести из Свеаборга шли все более тревожные. Новый комендант крепости, генерал Лайминг, принимал драконовские меры против революционно настроенных солдат и матросов и наказывал даже за то, что солдаты непочтительно косили глаза на его искусственную ногу. Дважды на Лайминга покушались во время представления в кинематографе. И еще: вчера артиллеристы заявили членам Государственной думы, которые обратились к ним за поддержкой, что «крепостная артиллерия Свеаборга головой ручается за неприкосновенность членов Государственной думы», на что Лайминг ответил новым приказом, грозя расстрелом каждому, кто попытается перечить воле самодержца.

– ...Так что думские изгнанники могут ускорить события,– заключил Менжинский.

Ленин снимал с яйца скорлупу и слушал очень внимательно. Неожиданно он хлопнул ладонью по столу и горячо произнес:

– Провокация! Несуществующая дума и несуществующие горе-депутаты решили: коль умирать, так с треском, и утащить за собой в могилу ничем к ее бесславной деятельности не причастных солдат и матросов.– И вдруг спросил у Менжинского: – На какое расстояние могут стрелять крепостные пушки?

Менжинский готов был ответить на любой вопрос, но на такой не знал, что и говорить, и вопросительно посмотрел на Луку Матвеича, как бы прося: «Выручай».

Лука Матвеич посыпал яйцо солью, пожал плечами и проговорил шутливо:

– Я слыхал, что двенадцатидюймовые способны кинуть верст на десять – двенадцать. Так что до Зимнего все равно не докинут. Но в Свеаборге, мне сдается, таких пушек нет.

– Нет! – подхватил Ленин.– В этом – суть. А на военных кораблях есть. Это означает, что в случае восстания Свеаборг может быть, и непременно будет, расстрелян военными кораблями Ревеля или Кронштадта, недосягаемыми для крепостной артиллерии. И это случится тем скорее, чем быстрее свеаборгцы выступят без надлежащей подготовки, без широкой и немедленной помощи питерского и всего пролетариата... Вот почему я и пригласил вас, товарищи, чтобы обсудить все хорошенько... Каково настроение матросов в Кронштадте и в Ревеле, Вячеслав Рудольфович?

– В Кронштадт надо посылать нашего человека,– заметил Лука Матвеич.– В Ревеле – не знаю, что делается.

– Ничего не делается,– добавил Менжинский.– Там – наиболее преданные самодержавию корабли: крейсер «Цесаревич», побитый в японскую кампанию, крейсер «Слава»...

– «Цесаревич» – броненосец и «Слава» – тоже. А вот «Богатырь» – действительно крейсер,– поправил Ленин так просто, что Лука Матвеич и Менжинский рты раскрыли от удивления. А Ленин продолжал: – А на броненосцах, как вам должно быть ведомо, имеются именно двенадцати- и четырнадцатидюймовые пушки... Да-а...– Он задумался и прошелся по комнате.– Придется провести через ПК специальное решение о Свеаборге: начинать сейчас восстание ни в коем случае нельзя, одиночно начинать, пока все не будет подготовлено на суше для общего выступления Балтийского флота.

И сел писать.

— Мое дело — солдатское, Владимир Ильич,— ответил Лука Матвеич и спросил у Менжинского: — Ты уверен, что в Ревеле дела плохи? Есть слухи, что ревельская эскадра сочувственно относится к революции.

— К сожалению, это только слухи.

Вошла Надежда Константиновна и ахнула от удивления:

— Бутерброды!.. Яйца!.. Это ни на что не похоже, Владимир,— напустилась она на мужа, кладя на стол покупки.— Как ты мог выходить из квартиры, когда за тобой следят, когда ты нездоров? Ох, беда мне с такими больными.

Ленин продолжал писать и оправдывался:

— Извини, пожалуйста, Надюша. Но я выходил тайком, через соседний двор. Больше этого не повторится. И ни один лавочник меня больше не узрит, вот увидишь... Итак, проект получается такой. Прошу,— показал он листок, написанный размашистым и немного вытянутым почерком.

Лука Матвеич и Менжинский стали читать, а Ленин помог Надежде Константиновне раздеться и, заглянув в кульки и свертки, сказал:

— Вкусное, не то, что у нас...

— Не могли подождать. Я ведь всего накупила, что нужно. А ты опять бутербродами угощаешь. Они в Швейцарии смертельно надоели...

— Да съедим, все съедим, честное слово! — уверял Ленин и добавил: — Вот сидят надежные помощники. Как, господа, не возражаете?

— Полагайтесь, как на каменную гору, Надежда Константиновна,— ответил Лука Матвеич и даже облизнулся для вящей убедительности, хотя ему было не до еды: он все время думал о Свеаборге.

— Вот видишь? — оживился Ленин, разворачивал покупки и расспрашивал: — Ну, что там слышно про наших беглецов? Все уехали или часть попала в каталажку?

— Уехало около двухсот человек. До каталажки пока дело не дошло,— ответила Надежда Константиновна.

— Дойдет, обязательно дойдет,— оставив кульки в покое, заметил Ленин.— Самодержавие такого непослушания своих верноподданных не потерпит... Ну, а еще что нового?

— В Свеаборге совсем неспокойно, подпоручик Коханский сообщил. Зверствует хромоногий генерал.

Ленин спросил у Менжинского и Луки Матвеича:

— Ну как, подойдет? Проект...

— Подойдет, Владимир Ильич. Я сегодня же передам ПК,— ответил Лука Матвеич.

— Отлично. А теперь давайте наметим несколько человек, которым следует немедленно выехать на места. Надя, а где Иннокентий?

— В Кронштадте уже.

— Хорошо. Но одного мало. Вячеслав Рудольфович, вы не могли бы тоже отправиться в Кронштадт?

— Я готов, Владимир Ильич.

— Вот и договорились. А Лука Матвеич — в Свеаборг, а? Условились?

— Там есть наши: Коханский, Емельянов,— сказал Лука Матвеич.

Ленин посмотрел на него слегка прищуренными глазами, спросил недовольно:

— Вы полагаете, что этого вполне достаточно? А я полагаю, что не вполне достаточно. Да, да, для такой крепости три-четыре человека наших — это архимало, капля в море. Я именно для того и просил вас поехать в Свеаборг после Выборга. Стихийного выступления мы ни в коем случае, ни при каких обстоятельствах допустить не можем. Во избежание излишних жертв и — что суть главное — во избежание разгрома правительством революционно настроенных моряков и солдат крепости.

Лука Матвеич усмехнулся и спросил:

— Вы уверены, Владимир Ильич, что я хорошо знаю морское дело?

— Я уверен не в ваших морских познаниях, Лука Матвеич,— твердо ответил Ленин.— Я уверен, абсолютно уверен в ваших познаниях революции, отличных познаниях. А это, батенька, посильнее морской науки.

Лука Матвеич вздохнул, пригладил усы и сказал:

— Что остается говорить солдату после таких слов? Поблагодарить за честь и ехать.

— И ехать, совершенно правильно. А товарища Рюмина нельзя захватить с собой? Он — инженер, а там — крепость, сплошная инженерия. Только прежде вы заедете к думским беглецам в Выборг. Итак — по рукам,— протянул Ленин руку.

— Хорошо, Владимир Ильич,— сказал, пожав ее и немного задержав в своей руке, Лука Матвеич.— Думаю, что инженер Рюмин изменит свой маршрут...

До Выборга Лука Матвеич ехал вместе с Рюминым. Инженер был в приподнятом настроении и оттого, что ему доверили такое поручение, и вообще оттого, что он сможет наконец приложить руки к живому делу революции. И у него разом вылетели из головы все иные заботы и даже поездка в Европу.

Лука Матвеич напомнил ему:

— Что-то ты очень развеселился, инженер. Едешь-то не в концерт...

В Выборге они условились о встрече в Свеаборге. Лука Матвеич наказал быть осторожным и ничего не предпринимать без согласия ПК, и Рюмин уехал.

На вокзале Луке Матвеичу встретился доктор Симелов. Он был расстроен, не дожидаясь вопросов, сразу обрушился на своих думских коллег с градом упреков:

— Это же чехарда! «Лебедь, рак и щука»! Эсеры тянут левее левого, ваши — просто влево, наши, трудовики,— немножко правее, кадеты — назад, к доманифестскому времени. Черт знает что творится! И зачем меня принесло сюда? Этак мы до потопа ни к чему не придем,— выпалил он все разом и заключил: — Не хочу, не желаю быть посмешищем перед своими избирателями. Уезжаю домой, будь оно неладно, такое «депутатство». Надо захватывать власть на местах — вот к чему я пришел в Выборге.

Лука Матвеич улыбался. Ему приятно было, что доктор наконец-то начал трезво смотреть на вещи, и он сказал:

— Конечно, из такой окрошки ничего путного не получится. Но в одном ты прав: надо захватывать именно власть. Без власти — дума ничто.

И первая, и какая там будет последней. В общем, ты правильно решил: уезжай домой.

— В Гельсингфорс мы хотим ехать с Михаличенко. Завтра. А уж там видно будет, что делать дальше.

— Поднимать Свеаборг? — насторожился Лука Матвеич.

— Нет, зачем же? Мы — не анархисты. Просто обратимся за помощью к честным людям.

— И потащите их в могилу раньше времени?

— Да. Ты, пожалуй, прав, — согласился доктор и спохватился: — Я ведь шел встречать Онипко! А встретил тебя. Впрочем, на кой ляд он мне нужен, писаришка несчастный, — имел он в виду депутата из Ставрополья, бывшего волостного писаря Онипко.

После обеда Лука Матвеич слушал выступление доктора Симелова на совещании бывших депутатов думы. Его сразу же начали прерывать то председательствующий, профессор Муромцев, то князь Урусов и подобные ему, но доктор не растерялся и продолжал свое с присущим ему пылом:

— ...Вы все равно не заставите меня сойти с этой трибуны до тех пор, пока я не скажу всего, что хочу сказать... Не оправдываться мы, депутаты, должны перед своими избирателями, не кивать на левые фракции, которые, мол, сбили нас с правильного пути и «разозлили» правительство, как здесь говорили некоторые господа. Призвать народ мы должны! — повысил он и без того резкий голос. — Призвать народ к немедленным активным действиям!..

— Быть может, призвать прямым сообщением на новые баррикады? — вновь прервали его, но он ответил:

— Я о баррикадах не говорю. Но если это окажется необходимым, я первым пойду на них, господин Урусов!

— Господин Симелов, вы по явной ошибке попали в думу! — крикнул князь Урусов.

Его бурно поддержали кадеты, но председатель поднялся из-за стола и сказал предельно вежливо:

— Господа депутаты, мы приехали сюда для того, чтобы выразить наше негодование по поводу неконституционного акта правительства, а не по поводу выступления того или иного из нас. Прошу господ депутатов быть корректными в отношениях друг к другу. Насколько мы поняли господина Симелова, он выступает за активные действия.

— Да, да, господа, я выступаю за революционные действия на местах, — ответил Симелов, — и предлагаю: принять проект обращения к народу, предложенный левыми фракциями.

— Браво-о! — крикнул Лука Матвеич из задних рядов, где толпились гости.

— Ура трудовикам! — поддержали его со скамей левых.

Кадеты кричали еще громче:

— Долой!

— Мы не для этого приехали сюда!

— Вы, левые экстремисты, приведете нас к позорному столбу.

И в зале поднялся такой шум, что профессор Муромцев долго не мог навести порядок. А когда наконец ему удалось это сделать, он откашлялся и трагически тихо произнес:

— Господа депутаты, я, председатель настоящей Государственной думы, могу сказать следующее: вместе с моим председательствованием кончилась и конституция. В следующей думе будут председательствовать князья Петр или Павел Долгорукие. Так что я понимаю все негодование и радикальные предложения господина Симелова...

И все вздохнули. Да, профессор Муромцев, кажется, прав. Правительство настойчиво и нагло ведет дело к тому, чтобы демократические силы народа вовсе не допустить в будущую думу, если она вообще когда-нибудь будет созвана...

Вечером на общем совещании всех фракций обсуждался проект обращения к народу, предложенный кадетами. Однако совещание ни к чему не привело. Тогда каждая фракция собралась самостоятельно.

Лука Матвеич выступил от имени Петербургского комитета на совещании социал-демократических депутатов и разнес проект кадетов:

— ...Нельзя, недопустимо для членов нашей партии принимать обращение в такой редакции, в какой оно предложено кадетами. Не является дума собранием «народных представителей», как пишут кадеты, поймите вы это. Ибо народ ее не избирал, в частности рабочий класс...

— Слушай, товарищ Лукьян! — прервал его лидер фракции РСДРП Ной Жордания.— Что ты, понимаешь, агитируешь нас, дорогой? Как мы могли, по-твоему, попасть в думу, если бы рабочий класс нас не избирал? За нас, например, на Кавказе подано более восьми тысяч голосов выборщиков. Ты это знаешь?

Лука Матвеич хорошо знал, как кавказские меньшевики избирались в думу, выставляя свои кандидатуры вопреки запрещению ЦК, но не стал напоминать об этом и продолжал свое:

— В таком случае социал-демократы тем более должны склонить других депутатов к тому, чтобы в манифесте непременно было требование Учредительного собрания, чтобы было недвусмысленно заявлено, что вы требуете свержения самодержавия путем открытого вооруженного выступления всего народа.

— За этим тебя Ленин и прислал? Но мы подчиняемся ЦК! — надменно заявил Жордания.

— Да, за этим меня и прислал Петербургский комитет,— подтвердил Лука Матвеич.— А представителем ЦК являюсь тоже я.

— Ах вон оно что. Святой Лука, один в двух лицах...

— Я согласен с товарищем Лукьяном,— неожиданно горячо заявил Рамишвили.— Мы должны ясно сказать, чего добиваемся и ради чего приехали в Выборг.

— Рамишвили у нас всегда поет раньше, чем выпьет вина,— уколол Жордания и, изменив тактику, сказал: — Я тоже согласен с товарищем Лукьяном, но,— развел он руками,— для нас его слова хороши, а другие депутаты могут их принять? Не могут. Что тогда будет? Ничего, дорогой, не будет.

— То есть с вами не согласятся кадеты? — спросил Лука Матвеич.

— В том числе.

— Но зато нас поддержат трудовики! — воскликнул Рамишвили.

— Довольно тебе кричать, кацо! — вскипел Жордания.— У социал-демократов не может быть ничего общего с трудовиками. Им нужна только земля, а мы должны заботиться и о благе пролетариата. Понимаешь ты,

русский язык или тебе надо переводить все на грузинский? – отчитывал он Рамишвили.

Совещание фракции РСДРП длилось долго, споры были жаркие, но когда стали принимать «Проект обращения» – проголосовали за то, что рекомендовал Жордания.

Лука Матвеич был взбешен. Ради чего в таком случае надо было тратить время попусту?

– Окрошку сделали. Немножко от кадетов, чуточку от эсеров, еще чуточку от трудовиков. А где же, где ваше, социал-демократов, принципиальное отношение ко всем событиям, связанным с думой? Нет его! Кошки съели!

Черный, как цыган, Жордания усмехнулся и вежливо спросил:

– Дорогой Лукьян, а наш призыв не давать солдат в армию? А наш призыв не давать самодержавию ни копейки денег? Это, по-твоему, не социал-демократическая позиция?

Лука Матвеич раздраженно ответил:

– Ваш проект – это сдача позиций кадетам, это нежелание выполнять постановления Четвертого съезда о думской фракции. Так я доложу ПК и ЦК.

– Ну, докладывайте, докладывайте. Вы, беки, бойкотировали думу, не имеете в ней своих представителей и пожинайте плоды сами. Мы здесь ни при чем.

Десятого июля 1906 года бывшие депутаты бывшей Государственной думы приняли в Выборге обращение «Народу от народных представителей». Самыми резкими призывами в нем были:

«...Теперь, когда правительство распустило думу, вы вправе не давать ему ни солдат, ни денег. Если же правительство... станет делать займы, то такие займы, заключенные без согласия народных представителей, отныне недействительны.

Итак, до созыва народных представителей не давайте ни копейки в казну, ни одного солдата в армию! Стойте за свое право как один человек! Перед единой и непреклонной волей народа никакая сила устоять не может.

Граждане! В этой вынужденной, но неизбежной борьбе ваши выборные люди будут с вами».

Лука Матвеич спрятал обращение и выехал в Петербург. Вместе с ним уехал и доктор Симелов.

Доктор Симелов был неудовлетворен событиями и кипел, как самовар:

– Стоило ли из-за этого тащиться за границу? Стоило ли два дня заседать в Выборге, если в итоге всего народ получил такую программу действий, которую всякий кадет мог подписать, не выходя из своей квартиры в Петербурге? Позор это на нашу голову, нар-родных избранников. Всё. На этом моя думская деятельность кончилась.

– А дальше что? – спросил Лука Матвеич, как бы не все поняв.

– Дальше? Дальше не знаю. Скорее всего, пойду к Илье Чургину с повинной. Прав оказался он. И ты. И все вы, большевики, – заключил Симелов.

...Лéнин ждал вестей из Выборга и Свеаборга с нетерпением и уже несколько раз посылал Надежду Константиновну на явку ПК узнать, не приехал ли Лука Матвеич.

Увидев его, он обрадованно сказал:

— Наконец-то! Теперь мы получим исчерпывающую информацию обо всем. Ну как, что там? Что решили «беглецы», господа кадеты? А наши, наши как вели себя, что говорили? Что в Свеаборге? Да рассказывайте же, не томите,— сел он на диван и поджал одну ногу.

Лука Матвеич достал текст обращения и зло ответил:

— Вот тут все расписано, как по нотам: кто и как вел себя и что болтал.

— Нуте-ка,— оживленно сказал Ленин и, взяв обращение, стал его читать.

Но по мере того, как он вчитывался в текст, брови его хмурились все больше, усы уже несколько раз вздрогнули, и наконец он взорвался:

— Что и требовалось доказать! Они, изволите ли видеть,— бил он левой рукой по бумаге,— будут вместе с народом. Кто их удостоил чести именоваться «народными представителями», если подавляющая масса народа не имела права избирать своих кандидатов, позволительно спросить, если даже на минуту, только на одну минуту допустить, что революционные массы внемлют им? И для чего, спрашивается, они собирались в Выборге? Для того только, чтобы протестовать? Но правительство у нас — люди действия; оно огнем и мечом будет искоренять всех подобных бумажных протестантов...

Он прочитал дальше и, указывая пальцем на строки воззвания, продолжал:

— А это трудовики вставили? «Ни одного солдата, ни одной копейки». Крестьянская душа, робкая и поэтому половинчатая. А где Учредительное собрание? Где призыв «захватить власть на местах, смещать чиновников, разоружать полицию и готовиться для нового, решительного, действительно всенародного натиска»? — посмотрел он на Луку Матвеича так, словно это он написал подобное и пропустил самое главное.

Лука Матвеич набивал трубку. Не подымая глаз, он ответил:

— Кошки съели.

— А наши, наши тоже были с этими «кошками»? Жордания, Рамишвили в частности?

— Рамишвили и я поругались с Жордания.

— И правильно поступили. Этот тифлисский Цицерон далеко пойдет... О Свеаборге, о Свеаборге что слышно? Инженер Рюмин там?

Вошла возбужденная Надежда Константиновна. Сняв шапочку, она поздоровалась с Лукой Матвеичем, с облегчением произнесла:

— Слава богу, приехали. Он меня совсем замучил, в посыльную превратил,— указала глазами на Ленина и отдала ему записку.

И тогда Лука Матвеич сказал:

— Рюмин там. Приезжал вчера в Выборг. В Свеаборге положение очень неопределенное. Могут произойти трагические события.

Ленин быстро обернулся к нему, посмотрел удивленно и осуждающе, с горечью воскликнул:

— Лука Матвеич, ну как же можно молчать об этом?! Да ведь с этого следовало начинать! Ах, какой же вы спокойный...— Он встал, прошелся по комнате и твердо сказал: — Попытайтесь сегодня же уехать в Свеаборг. Сможете это сделать? Промедление — смерти подобно. Если невозможно

предупредить события – следует попытаться взять их в наши руки. Надя, от Инока есть сообщения?

– Есть. Кронштадт может выступить через три дня.

– Поздно, поздно же! А что думает делать ЦК и ПК здесь, в Питере? Немедленно, сегодня же? Теодоровича удалось найти?

– Сейчас будет... ПК ждет развития событий, – ответила Надежда Константиновна.

– Гм, гм. Ждет... А кто ему позволил ждать? Время, время не ждет – об этом вы, пекисты, думаете? – посмотрел Ленин на Луку Матвеича, как будто тот именно и ждал развития этих событий, и сел на диван. – Пропадет все. Пойдет все прахом. Брянский комитет вон без всяких околичностей говорит, что сдерживает выступление масс рабочих. А наши, питерские, табачники рвутся в бой, хотят выступать. Какой разброд, какая недопустимая медлительность и разноголосица! Этак мы и революцию прозеваем... Где же Теодорович?

– Я здесь, Владимир Ильич. Здравствуйте, – ответил Теодорович, входя в комнату.

– Наконец-то... Здравствуйте... Вы, пекисты, можете собрать свой комитет немедленно, сегодня же? И обсудить поведение нашего удивительно спокойного, удивительно нерешительного и прямо-таки оппортунистического ЦК и потребовать от него немедленных действий, немедленной организации массового выступления пролетариата России, Питера в частности?

Теодорович переглянулся с Лукой Матвеичем, который стоял и вертел в руках трубку, и не успел ответить – Лука Матвеич сказал мрачно, но твердо:

– Сможем, Владимир Ильич. Сегодня же соберемся и все решим.

– Надо успеть, – настаивал Ленин. – А почему вы таким загробным тоном говорите? Я не вижу, решительно не вижу никакого предлога для уныния и растерянности. Разве я сказал нечто похоронное?

– Дело не в этом, Владимир Ильич, – продолжал Лука Матвеич. – Дело в том, что такой ЦК, такой центр партии надо сместить немедленно. Но этого делать нельзя.

– Понимаю. Для этого следует созвать очередной, Пятый съезд партии... Вы правы. Я согласен с вами. Но сегодня, к сожалению, к великому сожалению, у нас есть вот такой ЦК. Наша задача – потребовать от него немедленных и решительных действий. Именно это и должен сделать ПК и большевики – члены ЦК, в том числе и вы. Что мы и пытаемся делать с вами и сегодня же скажем об этом письменно и самым решительным образом...

Лука Матвеич вздохнул, посмотрел на Теодоровича и спросил:

– Без меня обойдетесь? Я еду в Свеаборг.

Теодорович решительно запротестовал:

– Владимир Ильич, без Лукьяна мы не обойдемся. Пусть Менжинский едет, а Лукьян отправится через два-три дня.

Ленин подумал, подержался за бородку и сказал:

– Хорошо. Поедет Вячеслав Рудольфович.

И тогда Надежда Константиновна мрачно сообщила:

– Володя, Вячеслав Рудольфович арестован.

Ленин посмотрел на нее широко раскрытыми глазами и не мог ничего сказать.

Вечером левые фракции думы выпустили манифесты: «Ко всему русскому народу», «Ко всему русскому крестьянству», «К армии и флоту». Под последними стояли подписи ЦК РСДРП, ЦК партии социалистов-революционеров, ЦК ППСС, Бунда.

Под крестьянским манифестом были подписи Всероссийского крестьянского союза, Союзов учителей и железнодорожников.

На этот раз левые группы думы вставили в свои документы более определенные требования: Учредительного собрания, захвата власти на местах, захвата земель и передачи их избранным народом местным органам власти. Однако средствами для достижения всего этого называлась всенародная забастовка. На большее меньшевистский ЦК РСДРП не пошел.

Ленин прочитал эти манифесты и сказал Луке Матвеичу:

— Левее кадетов, правее нас. Всенародная забастовка — это меньшевистско-эсеровский сфинкс... Писать в наш ЦК более не стоит. Бесполезно. Езжайте в Свеаборг. И действуйте по-революционному. От имени народа, действительно революционного народа. Питер мы поднимем завтра же...— И попросил Надежду Константиновну: — Надя, пригласи, пожалуйста, ко мне Теодоровича, Никитича и всех наших пекистов. Немедленно. Через час чтоб...

Надежда Константиновна только что принесла манифесты и еще не успела отдышаться. Но она лишь вздохнула и стала собираться в новый путь.

— Я сам все сделаю, Владимир Ильич,— предложил Лука Матвеич.

— Нет, вы едете в Свеаборг. С первым же поездом,— жестко ответил Ленин.

Надежда Константиновна ушла. Ушел и Лука Матвеич...

А Ленин заходил по комнате, опустив голову и вслух обдумывая статью:

— ...Такое более продолжаться не может. Мы не имеем права равнодушно наблюдать, как наш ЦК... наш объединенный ЦК ведет себя... Проваливает все решения съезда... Пятый съезд — вот что встает на очередь дня... Да. Пятый съезд, господа. Только так. Только в этом спасение партии... Всего нашего дела...

Глава шестая

Коменданту Свеаборгской крепости генералу Лаймингу стало известно, что в Кронштадте идет брожение среди матросов и что оттуда готовится выйти целая эскадра мятежных кораблей курсом на Свеаборг. И еще стало известно генералу: бывшие депутаты Государственной думы намерены приехать из Выборга в Гельсингфорс, устроить митинг и склонить солдат и матросов Свеаборга к противоправительственному бунту и к захвату стоявших на рейде кораблей «Финн» и «Эмир бухарский».

Никто точно не знал, действительно ли Лайминг получил такие сведения или он все это сочинил для того, чтобы раз и навсегда покончить с крамольно настроенными солдатами и матросами крепости. И поэтому, когда офицеры собрались в кабинете генерала, они лишь выслушали его сообще-

ние и удивленно переглянулись. Единственный человек, который поверил генералу, был полковник Нотар. Он даже позволил себе сказать после того, как генерал умолк:

— Я полагаю, господа офицеры, что мы родились под счастливой звездой, удостоившись столь высокой чести служить трону и отечеству бок о бок с таким ревностным военачальником, каким является наш новый комендант, его превосходительство генерал Лайминг. И что касается меня — я приложу все силы и старания, чтобы оправдать звание офицера его величества доблестной русской армии, и приму все зависящие от меня меры, чтобы пресечь малейшие колебания в умонастроении вверенных мне нижних чинов и вырвать крамолу с корнем.

Его длинная речь не вызвала восторга у офицеров, но генерал Лайминг расчувствовался, поблагодарил полковника за столь патриотические слова и приказал: отпуска и увольнительные на берег прекратить; всех штатских, не связанных службой, удалить из крепости; за подозрительными служащими и нижними чинами установить негласное наблюдение; тщательно смотреть за морем и в случае появления неизвестного судна открывать огонь без предупреждения.

Генерал Агеев, начальник артиллерии крепости, хорошо знал, что в Кронштадте спокойно, что все корабли стоят там на месте, и был убежден, что его коллега Лайминг явно находится на грани умопомешательства, или вздумал выслужиться с первых же шагов своего вступления в должность коменданта, или просто все высосал из пальца, чтобы затем «навести» в крепости порядок и получить высочайшую благодарность. И он, когда ушли офицеры, сказал Лаймингу:

— Ваше превосходительство, я очень внимательно слушал все, что вы изволили нам сообщить, но мне кажется, что вы сгустили краски. Крамолы, бог дал, у нас нет, идти к нам кронштадтцам с плохим умыслом нет решительно никакого смысла ни с какой точки зрения. Быть может, следует все проверить и снестись с Адмиралтейством, прежде чем принимать меры предосторожности, кои вы соблаговолили назвать так широко, как если бы у нас был театр военно-морских действий? Я мог бы оказаться в этом случае добрым помощником вашего превосходительства, имея в виду свои связи.

Генерал Лайминг был взбешен. Он этого и ожидал: старые службисты конечно же ревниво встретят его появление и встретили — изволите видеть. И не поэтому ли матросы уже дважды покушались на него, нового коменданта крепости? Но говорить об этом не стал — Агеев был генерал, причем не новичок в крепости, да и черт его знает, какие у него там связи, в Адмиралтействе? И он ответил возможно корректней:

— Ваше превосходительство, разумеется, достаточно хорошо осведомлены обо всем, что у нас делается. Но поймите меня, генерал: я имею совершенно конфиденциальные сведения о брожении в кронштадтской эскадре и — доверительно — приказ применить оружие, если она появится в наших водах. Что же вы рекомендуете мне, сидеть сложа руки? Ждать, пока нас с вами вздернут наши же крамольники, коими кишат все роты? Не допущу! И я не привык сомневаться в том, что совершенно очевидно. Так что советую вам, милый генерал, проверить состояние своих пушек и быть готовым ко всяким неожиданностям... У вас еще есть ко мне вопро-

сы? – спросил Лайминг и вышел из-за стола, неудобно выбрасывая вперед искусственную ногу и глядя упорно и даже враждебно на своего коллегу.

Генерал Агеев пожал плечами и чистосердечно ответил:

– Нет, ваше превосходительство, у меня более нет вопросов. Но, если вы позволите, я попытаюсь проверить, как обстоят дела на месте, в солдатских казармах, и о результатах доложу вам лично.

– Проверить вы можете, на то вы и командуете артиллерией, а докладывать – не утруждайте себя, ваше превосходительство. Мне все ведомо. Сегодня же начнем минировать подходы к крепости со стороны моря. Как только приказ будет изготовлен, так я его и подпишу, – заявил комендант и заключил уже совсем официально: – Потрудитесь привести свои батареи в состояние боевой тревоги.

Генерал Агеев улыбнулся и заметил:

Вам хорошо известно, генерал, что мои пушки имеют калибр девять дюймов и могут поразить противника не далее, как на расстоянии девяти верст. На броненосцах же нашего флота имеются двенадцати- и четырнадцатидюймовые батареи. Они остановятся в двенадцати верстах от нас и расстреляют крепость, зная, что наши снаряды будут не долетать до них по меньшей мере на две версты.

Генерал Лайминг подумал, проковылял по кабинету и ответил:

– Будем ставить минные заграждения. Ответ, как видите, простой и точный... Еще что вам угодно предложить мне, генерал? Быть может, вы и в способности наших мин сомневаетесь? – настороженно и как-то уж очень откровенно нагло спросил он, сверля Агеева нетерпеливым взглядом.

Генерал Агеев слегка кивнул и вышел, так ничего и не ответив. «Наглец! Карьерист! Уж тебя-то солдаты и матросы повесят на первом фонарном столбе».

А комендант достал из стола конверт с пятью сургучными печатями, прочитал еще раз то, что в нем писалось из Петербурга, поразмышлял немного и спрятал понадежней. Петербург знал свое дело и прямо говорил в той бумаге о ненадежности кронштадтской эскадры, о брожении среди матросов ревельской эскадры и предупреждал, что в случае появления оных – расстреливать их с любой дистанции и любыми видами оружия. А буде матросы и солдаты Свеаборга тоже вздумают бунтовать – сажать их в карцер, запирать в казармы, судить военно-полевым судом, как преступников перед верой, царем и отечеством...

После полудня комендант вновь пригласил к себе офицеров и приказал ставить минные заграждения по всем правилам военно-морской науки. Офицеры вновь молча выслушали его и молча разошлись по своим частям, а генерал Лайминг предался наслаждению обедом в кругу семьи. Но какая-то жилка все же дрожала у него, и, отобедав, он решил сам проверить, как идет подготовка к минированию вод. Но едва собрался выходить, как к нему ворвался адъютант и, еле переводя дыхание, сообщил то, чего менее всего ожидал Лайминг.

– Минная рота отказывается ставить мины! Бунт, ваше высокопревосходительство! – с перепугу хватил он на чин выше.

– В карцер! Под суд каналий! Запереть в казармах! Позвать ко мне всех офицеров! – восклицал комендант и заковылял по комнатам, а потом выбежал на свет божий и опять принялся за восклицания, да так уж

и не умолкал, пока сам не добрался до минеров. И тут дал волю своему характеру: отпустил нескольким матросам затрещины, а одного огромного матроса едва не оставил без глаза и заключил воинственно: — Крамолу разводить? Р-р-революцией вознамерились заниматься, канальи? Сгною! Перевешаю! Перестреляю! Каждого десятого! Каждого пятого! Каждого второго! Всех подряд, канальи!..

И уковылял восвояси.

Офицеры были более сдержанны и начали уговаривать минеров:

— Господа, приказ коменданта — приказ трона и отечества. С божьей помощью приступайте к его исполнению.

— Кто ослушается — пять суток ареста! Десять! Военно-полевой суд! — добавил почему-то вертевшийся тут же полковник Нотар и заторопился вслед за комендантом.

Высокий и могучий матрос, тот самый, которому генерал поставил синяк под глазом, негромко сказал своим друзьям:

— Братцы, куда мы поплывем? Напротив своих же товарищей? За кого он нас принимает, шкура? Выдернуть ему, суке, и другую ногу — вот что ему потребно сделать, братцы...

— Каменюку на шею — и все дело,— поддержал его тихий голос.

И вдруг как буря налетел инженер Рюмин. Увидев, что минеры грузят мины на корабль, он без всяких предосторожностей воскликнул:

— Что делаете, товарищи? Против кого ставите мины? Лайминг хочет выслужиться перед Петербургом и расправиться с революционно настроенными солдатами и матросами. Отставить мины! Вас поддержит вся крепость!

И тогда матрос с синяком под левым глазом как команду подал:

— Отставить погрузку! Напротив кронштадтцев не пойдем, братцы!

Лайминг, узнав, что минеры отказались ставить заграждения, приказал арестовать всю роту. И с этого началось... Подпоручики Коханский и Емельянов пошли к революционно настроенным артиллеристам, и те тремя ротами двинулись на помощь арестованным, дали пушечный залп из батарей — сигнал к восстанию. Но артиллеристам не удалось освободить минеров: Лайминг несколькими часами раньше заменил охранявший минеров ненадежный первый батальон вторым батальоном. Коханский, Емельянов и Рюмин вместе с шестой, восьмой и девятой артиллерийскими ротами перешли на остров Михайловский, а к артиллеристам острова Александровского послали депутацию с наказом присоединиться к восставшим.

На Михайловском уже кипели страсти: солдаты толпились группами, требовали освобождения минеров, требовали отставки Лайминга, грозились открыть артиллерийский огонь по Комендантскому острову:

— Востребовать сюда шкуру Лайминга!

— Изничтожить его навовсе, а не востребовать.

— Поднимайся, братцы! Доколь терпеть измывательства?

— За волю поднимайся, солдаты! Довольно им терзать нас и наши семейства!

Рюмин сказал Коханскому:

— События пошли стихийным путем. Надо брать руководство движением в свои руки. Выступайте, подпоручик...

Коханский подумал, снял фуражку и, пригладив зачесанные назад темные волосы, обратился к солдатам с не совсем удачной речью:

— Солдаты и матросы! Мы должны предъявить коменданту решительные требования. Если он их не удовлетворит...

Ему не дали договорить и зашумели, как на новгородском вече:

— Чего ждать-то? Долой их — и вся недолга!

— И вы заодно с ними, подпоручик?

— Запереть и его в казарму, раз такие речи сказывает!

— Братцы, думские же просили нас... Что же это мы, а?.. К орудиям!

И тогда Рюмин, сняв фуражку, изо всех сил крикнул:

— Товарищи солдаты и матросы! Вы поднимаетесь не только против генерала Лайминга! Вы тем самым поднимаетесь на борьбу со всем самодержавием, с насквозь прогнившим и продажным правительством карателей простого люда... Вперед же, товарищи, за народное дело! За свободу и республику!

Его выслушали с непривычным вниманием. Слово «товарищи» сразу напомнило о революции, и все загудело, закричало и уж больше не смолкало:

— Арестовывай офицеров, братцы! Товарищ дельные слова говорит!

— Они вон по нас из пулеметов... Довольно речей!

Все услышали: с Комендантского острова строчили пулеметы. И это переполнило чашу терпения.

— К орудиям! Огонь по казнителям народа!

— Вперед, братцы, за волю и землю!

И все, кто был на митинге, размахивая кулаками и фуражками, а то и поднятыми вверх винтовками, двинулись к орудиям, к складам и цейхгаузам.

И пошел, поплыл, полетел птицей мятежный клич свеаборгцев на соседние острова, на берег Финляндии, к сердцам всех честных людей России:

— Долой самодержавие! Смерть карателям!

Тотчас же сигнальщики просигналили на острова, матросы поплыли туда на катерах и лодках, понесли с собой вечно живое, будоражащее слово революции, разнесли его по казармам, батареям, экипажам, и к восставшему острову Михайловскому вскоре присоединились острова Артиллерийский, Александровский, Инженерный. Офицеры были арестованы и заперты в каменные казематы. Остались на стороне правительства острова Комендантский и Лагерный, но они уже ровным счетом ничего изменить не могли, а могли быть расстреляны из крепостных орудий восставших фортов.

Генерал Лайминг перетрусил: он созвал офицеров и долго не мог говорить от волнения и то и дело переставлял свою резиновую ногу с места на место, будто она выросла у него за это время и упиралась в пояс так, что и стоять было невыносимо. А на самом деле генерал Лайминг все время думал: что предпринять? Быть может, поднять руки и попытаться умиротворить мятежников добрым словом? Но в таком разе придется отвечать перед Петербургом если не головой, то всем положением и всеми орденами, какими старый Лайминг был жалован за долгую и безупречную службу.

И генерал не решился сказать офицерам о том, что уже, как червь,

точило под самым сердцем, а сказал, как говорил обычно, хотя и заметно потускневшим голосом:

— Господа офицеры, положение на вверенных нам монархом и отечеством крепостных сооружениях осложнилось и приняло бунтарский, крамольный характер. Мятежники с островов Михайловский, Александровский, Инженерный нарушили присягу государю и поднялись с оружием в руках против существующего в империи Российской законопорядка. Наше с вами, господа, положение осложняется тем обстоятельством, что на Михайловском острове находятся главные артиллерийские склады и материальные цейхгаузы. Мы не сможем противостоять огневой силе остальных фортов и поэтому должны быть строго расчетливыми и бережливыми, ибо, если нам не окажут помощи, события могут затянуться. Прошу вас, господа, быть готовыми к любым неожиданностям. Помните: на нас смотрит государь и вся Россия! Не посрамим земли русской, господа! Да поможет нам бог! — воскликнул он почти трагически, как будто за дверью стояло чужестранное войско и вот-вот должно было вторгнуться в кабинет и разорвать всех на части.

Это была самая длинная речь коменданта за время его начальствования, и произвела она угнетающее впечатление. О чем думал комендант, когда приказал арестовать минеров? И вообще: для чего потребовалось устраивать эту комедию — загораживаться минами от собственных кораблей, в благонадежности которых никто не сомневался? Можно было просто донести в Петербург о ситуации и ждать приказа, а не самовольничать. Ведь это пахнет по меньшей мере умышленной провокацией столкнуть солдат с матросами стоящих на рейде кораблей «Финн» и «Эмир бухарский» и вспомогательного судна «Трухменец». Теперь же отвечать придется всем.

Так думал начальник артиллерии генерал Агеев и вопросительно, настороженно посматривал на офицеров. Но что могли сказать офицеры? И генерал Агеев обратился к Лаймингу в абсолютной тишине:

— Ваше превосходительство, господа офицеры! В целях предотвращения ненужного кровопролития и во избежание человеческих жертв с обеих сторон я предлагаю свои услуги и согласен немедленно отбыть к мятежникам для переговоров...

Лайминг как-то вяло, без всякого вдохновения прервал его:

— Никаких переговоров с мятежниками вести нет смысла, господа. С мятежниками может быть только один разговор: под суд!

Офицеры переглянулись и поддержали генерала Агеева:

— Ваше превосходительство, благоразумный порыв его превосходительства генерала Агеева заслуживает похвалы и одобрения...

— Иначе нас расстреляют сегодня же.

— И разрушат все материальные сооружения.

— За что в Петербурге спросят со всех нас, господа...

Голоса раздавались негромкие, осторожные, но генерал Лайминг всех слышал отчетливо и рассуждал про себя: «Канальи, а им нельзя отказать в даре предвидения. Нас действительно расстреляют и предадут огню все материальные сооружения. И, разумеется, Петербург спросит за все прежде всего с меня. Но ведь ревельская эскадра выходит мне на помощь! О чем разговаривать с мятежниками? А впрочем, господа, нашей службе, карьере, положению в обществе настает конец. Флот, конечно, разгромит бунтарей,

но он разгромит и крепостные сооружения, за кои мы будем в жесточайшем ответе».

Но вслух генерал Лайминг сказал:

— Хорошо, ваше превосходительство. Я... Мы все согласны с вашим в высшей степени гуманным и патриотическим предложением. Но... — Он задумался и пошарил своими всевидящими глазами по лицам офицеров.

Полковник Нотар перехватил его взгляд и браво предложил свои услуги:

— Я прошу, ваше превосходительство, разрешить мне сопровождать его превосходительство генерала Агеева. Вы мой характер знаете и можете быть вполне уверены, что я сумею постоять за честь русского офицера в случае дальнейшего неблаговидного развития событий в лагере мятежников.

— Вот это я и хотел сказать вам, полковник. Благодарю, — тотчас согласился Лайминг, а в уме закончил так: «Очень вовремя, полковник Нотар. Это будет весьма полезное со всех точек зрения сопровождение генерала Агеева. Одному ему я не могу довериться».

И генерал Агеев и полковник Нотар отплыли на лодке на мятежные острова для переговоров. Это было рискованно, и никто другой не согласился бы плыть к бунтовщикам, разъяренным до крайности, но полковник Нотар видел всякое в жизни и думал не о том, что он может сделать на острове, а о том, что ему даст за этот геройский поступок Петербург. А что касается Лайминга, то его дни сочтены, и полковник не удивился бы, если бы коменданта разжаловали. Наоборот, он надеялся именно на это и на то, что новым комендантом может стать генерал Агеев. А они-то сейчас плывут вместе в самое пекло. И, значит, вместе могут править крепостью после Лайминга...

И он все время предупреждал:

— Вы, ваше превосходительство, не особенно с ними того... Они привыкли слышать приказы. Гуманность и все прочее — это для них что китайская грамота. Полагайтесь на меня, ваше превосходительство. Я голову положу за вас, но чести офицера не уроню.

Генерал Агеев был мрачен и не слушал его просто потому, что считал его карьеристом, который думает погреть руки в такое тяжкое время. Но он боялся полковника: Нотар может испортить все дело, прибегнув к своим излюбленным привычкам: ругани, угрозам, рукоприкладству...

Лука Матвеич приехал в Гельсингфорс, когда над фортами, над морем, как на позициях, гудела артиллерийская канонада. Восставшие острова палили по островам Комендантскому и Лагерному боевыми снарядами и сокрушали все в дым и пепел. И Лука Матвеич понял: он опоздал...

На гранитном берегу залива было как на скачках: на островах шла борьба, на островах гуляла смерть, а здесь спокойно наблюдали за этим невиданным сражением тысячи людей — русские, финны, шведы — и то восторгались, то вздыхали, то просто смотрели и молчали, будто происходящее в нескольких сотнях саженей от них не имело к ним никакого отношения.

Отовсюду слышались голоса:

— От Лайминга не останется и косточек. Они разгромят всё.

— Молодцы ребята! Ура-а русским!

— Говорят, Кронштадт тоже восстал. Что же теперь будет?

— Теперь будет революция, дядя.

— А по-моему, теперь будет расстрел и виселица, господа.

Это – говорили по-русски. А что думали и о чем говорили финны и шведы – Лука Матвеич понять не мог. Он понимал одно: инженеру Рюмину не удалось сдержать развитие событий, и подпоручикам Коханскому и Емельянову не удалось, и теперь все пошло своим естественным, стихийным путем. Питер же еще не готов выступить в поддержку восставших и сможет сделать это через день-два. И Кронштадт пока молчит, по крайней мере от Иннокентия нет ничего утешительного...

— Ну, теперь наша Красная гвардия может показать, что есть финская Красная гвардия, – услышал Лука Матвеич слова какого-то финна, сказанные на ломаном русском языке, и оглянулся. И старый финн, по-видимому рабочий, так посмотрел на него, как будто говорил: «Ну, правильно я выразил настроение финнов? Правильно, не беспокойтесь».

Лука Матвеич хотел было поговорить с ним, но старый финн подморгнул ему хитровато и весело и заспешил в город. Тогда Лука Матвеич догнал его. Разговорились. И тут он узнал всё: как началось, кто начал и как ко всему этому относятся финские социал-демократы и простые рабочие люди.

Финн говорил:

— Не так идет... Военные суда стоят против Скатудена, могут открывать огонь. Надо поднимать корабли «Финн», «Эмир бухарский», «Трухменец». И трамвай остановить надо. Он может перевозить солдат на берег. Плохо это, товарищ...

Лука Матвеич и сам видел: стоявшие на рейде, невдалеке от полуострова Скатуден, крейсера «Финн» и «Эмир бухарский» не проявляют никакого интереса к событиям в крепости, а вспомогательное судно «Трухменец» курсирует между ними и будто сведения какие-то доставляет.

И по городу ходили трамваи, в которых ехали офицеры и в которых действительно можно перевезти сотни солдат к берегу и блокировать восставших. Да солдаты уже и начали передвижение и идут строем, с оружием на плечах, в сторону моря.

И Лука Матвеич подвел нерадостный итог увиденному: «Крейсера не принимают участия в восстании, но не уходят, ждут команды. А восставшие не принимают никаких мер, чтобы перетянуть их на свою сторону или направить на них крепостные орудия и предложить сдаться. И получается: и те и другие чего-то ждут и не решаются на последний шаг. А ведь какая была бы подмога, присоединись к восставшим эти два крейсера!»

И он сказал финну:

— Ты прав, старина. Не так началось, не так идет, не к тому придет. Это – дуэль островов, а не борьба революционеров. И ваши социал-демократы хороши. И Кок тоже. Действовать надо! А они выжидают чего-то.

...На экстренном заседании Гельсингфорсского комитета РСДРП Лука Матвеич выступил с такой речью:

— ...У капитана Кока насчитывается несколько сот дружинников Красной гвардии, которых можно пустить в дело. Но где он, ваш Кок? Разгуливает по городу или любуется канонадой на море?..

Вошел высокий, худощавый и очень бравый на вид офицер с необычайной

для своего положения и звания трубкой в зубах и спросил тоном, не терпящим возражений:

— Кто здесь интересуется, где может быть капитан Кок?

Ему объяснили, кто этим интересуется. Капитан сбавил тон и примирительно сказал, не вынимая трубки изо рта:

— Я готов послать свои войска на помощь восставшим. Но почему они сами об этом не просят, позвольте осведомиться?

Лука Матвеич ответил не сразу:

— Если гора не идет к Магомету, то Магомету не вредно самому пройти к горе... Сейчас не имеет значения, кто кем интересуется. Вы можете выполнить?..

— Говорите.

— Разобрать железнодорожный путь между Гельсингфорсом и Петербургом.

— Могу.

— Захватить мост на полуостров Скатуден, чтобы офицеры не вызвали казачьи или солдатские части!..

— Могу.

— Занять электрический завод и остановить движение трамваев. Лишить казармы света...

— Гм, подумаю.

— Товарищ Кок, революция не может ждать, пока вы надумаете,— твердо сказал Лука Матвеич.

Капитана передернуло от таких слов, от такого тона, и он даже трубку вынул изо рта и постучал ею о пепельницу, однако не стал входить в пререкания: Лука Матвеич представлял Петербургский комитет, имел полномочия от Ленина, и с этим Кок не мог не считаться.

— Связь телеграфную еще следует прервать,— подсказал он.

— Совершенно верно,— одобрил Лука Матвеич и заключил: — Стало быть, расхождений у нас нет. Давайте обсудим, как остановить фабрики и как помочь восставшим вооруженной силой... Товарищ Кок должен принять на себя все заботы о помощи восставшим и доносить о всех шагах комитету.

Капитан обиделся. Не очень-то он любил, когда им помыкают, а тут ему дают настоящий приказ. И он сказал недовольно, хотя и сдержанно:

— Скатуден надо было бы захватить, но крейсера расстреляют всех моих ребят. Мосты взорвем, полотно разберем, телеграфную связь с Петербургом прервем. Вот и все, что пока может сделать Красная гвардия.— И он опять вставил трубку в зубы.

Лука Матвеич переглянулся с финнами, но те молчали. Им не впервой слышать от Кока такое: я буду делать то, что хочу. И тогда Лука Матвеич прошелся по комнате, остановился возле Кока, вынул изо рта его трубку, пыхнул ею и опять водворил на прежнее место.

— Трубка мне нравится. А вы, товарищ Кок, никак не нравитесь. Ленин не привык повторять дважды то, что следует делать во имя революции.

Кок бросил трубку в карман, вытянулся по-военному и отчеканил:

— Приступаю к выполнению приказа Петербургского комитета и товарища Ленина... Разрешите идти?

— Идите. Желаю успехов, капитан,— пожал ему руку Лука Матвеич.

С проводником, дружинником финской Красной гвардии, Лука Матвеич приплыл на лодке к острову Михайловскому и тут же был арестован часовым и препровожден к подпоручику Емельянову.

Лука Матвеич и рад был этому: лучшего способа найти нужных ему людей и не придумать. И он спросил, забыв представиться:

— Интересное наше знакомство, подпоручик. Но прежде скажите мне: у вас инженер Рюмин?

Подпоручик Емельянов, задиристый и горячий, принял его за подосланного с суши и спросил:

— Еще что вам угодно будет, сударь? Сколько у нас крепостных орудий и снарядов к ним? И что мы намерены делать с комендантом? Или: где содержатся арестованные офицеры? Спрашивайте, спрашивайте, все равно вы будете расстреляны ровно... — он посмотрел на часы, — ровно через пятнадцать минут. Пока появится ваш инженер. Кстати, он и приведет приговор в исполнение.

Лука Матвеич качнул головой, усмехнулся и достал трубку.

— Горяч. Но мне некогда горячиться, товарищ Емельянов. От Ленина я. Борщ моя кличка... Ознакомьте меня с положением. И объясните, почему в крепости болтается всякая публика, почему солдаты разгуливают пьяными, играют на гармошках и поют песни, как на свадьбе. И еще: где подпоручик Коханский, штабс-капитан Цион и кто еще есть тут из наших? Нам надо принять кое-какие решения.

Подпоручик Емельянов уже сообразил, что дал маху, и несколько раз с готовностью щелкал шпорами, но в самый последний момент спохватился проверить документы:

— Я вам верю, товарищ Борщ. Но порядок есть порядок. Предъявите документы, удостоверяющие вашу личность.

И вновь Лука Матвеич усмехнулся, качнул головой и сказал:

— То-то, зеленая молодежь. И теперь я немного понимаю, почему события пошли мимо вас. Ах, юноша, юноша!

В это время вошли Коханский и Рюмин. Оба они были черны от пороховой копоти, взбудоражены и только хотели сказать что-то горячее, да Рюмин увидел Луку Матвеича, обнял его и сказал дрогнувшим голосом:

— Не могли, старина. Все пошло не так, как предполагалось... Сейчас товарищи Коханский и Емельянов взяли руководство событиями в свои руки, но берег, берег ничего не делает! И Скатуден ничего не предпринимает. И крейсера стоят на рейде...

И у подпоручика Емельянова отлегло от сердца. Он растроганно стал пожимать руку Луке Матвеичу, а Коханскому сказал:

— От товарища Ленина... Член ЦК и ПК, о котором говорил Михаил Константинович... Знакомься. Я чуть не расстрелял его, — добавил смущенно или шутливо и рассказал о положении в крепости: — В Гельсингфорс только что послана депутация от восставших с наказом немедленно объявить всеобщую забастовку; небольшой отряд из матросов и солдат разобрал железнодорожный путь между Петербургом и Гельсингфорсом; отдельная депутация должна сегодня отправиться на полуостров Скатуден и склонить солдат и матросов к активным действиям в поддержку восставших... Все офицеры арестованы...

— Но их кто-то уже выпустил, — прервал его Рюмин.

Емельянов удивленно раскрыл глаза:

– Кто выпустил? За это будет расстрел на месте.

– Ну-ну, подпоручик... Расстрелами не швыряться,– недовольно заметил Коханский.

– Острова Комендантский и Лагерный снесли с лица земли, но они не сдаются,– продолжал Рюмин.– А их надо захватить. В общем, пока что воюем не с самодержавием, а с комендантом,– мрачно заключил он.

Лука Матвеич нахмурил широкие брови. Крепость действительно воевала с комендантом, а не с самодержавием и похожа была на маленький островок героев. А средь этих героев бродил самый разный люд, торговал чем хотел и где хотел, нашептывал, стращал карами земными и небесными. И никто этот сброд не выталкивал в шею, а, наоборот, как бы раскрыл для него все крепостные входы. Не мудрено, что какая-то предательская душа освободила арестованных офицеров и они благополучно покинули крепость.

И Гельсингфорс чего-то ждет и живет обычной обывательской жизнью, и капитан Кок со своей Красной гвардией медлит...

Лука Матвеич вздохнул. Однако корить никого не стал, а попросил показать план крепости.

– Какого калибра пушки у вас и на броненосцах? – спросил он почему-то в первую очередь, как будто за тем и приехал.

– Наши – девять дюймов. На кораблях – двенадцать и четырнадцать,– ответил инженер Рюмин.

– И Ленин так говорил... А ты, инженер, скоро сможешь командовать артиллерией. Похвально. Но не в этом дело, друзья... Давайте поговорим, что нам делать немедленно...

И было решено: очистить острова от гражданских лиц, от торговцев и всяких подозрительных личностей; поставить всюду часовых, ввести пароль, пропуска; послать депутацию на полуостров Скатуден и попытаться склонить солдат и флотские экипажи на сторону восставших; послать депутацию в Кронштадт и в Ревель, а пока что попытаться дать знать морякам тамошних эскадр о восстании и попросить помощи; отобрать наиболее бесстрашных и послать их на острова Комендантский и Лагерный, чтобы поднять солдат и матросов, а офицеров арестовать и доставить в штаб; создать собственно боевой штаб восстания, а писарей лишить всех прав ведать делами и распоряжаться документами; выпустить манифест ко всем гражданам России, к рабочим Питера и сказать о целях восстания. И, наконец, коменданту крепости предъявить ультиматум о сдаче и низложить его с поста...

Вечером на площади состоялся митинг солдат и матросов. Это было первое публичное собрание простых людей крепости, первые открытые речи о свободе, о каторжной жизни трудового человека, о революции и ее задачах, чего еще никогда не видел ни Свеаборг, ни вообще какая-нибудь царская крепость. Страсти не кипели, страсти пылали и бушевали, как вулкан, и казалось, что кипит все вокруг и бушует огнем даже само море.

Говорили все, кто хотел,– солдаты, матросы, младшие офицеры, гражданские старожилы, новички и пожилые служаки, но одно бросалось

в глаза свежему человеку: никто не упоминал о самодержавии и не требовал его ниспровержения, а все говорили о звере коменданте, о держимордах офицерах, о полковнике Нотаре, кате и экзекуторе, и требовали, требовали... расправы с ними.

Лука Матвеич выступил с речью, и все затаили дыхание: новый человек, новые слова, новые призывы, масштабы, требования...

— ...Генерал Лайминг умышленно намерен был устроить провокацию, чтобы затем расправиться с неугодными солдатами и матросами,— говорил Лука Матвеич.— Но дело не в Лайминге. Генерал — мелкая шавка, которую можно сегодня же захватить живьем и поставить к стенке...

— Верно-о! Сколь терпеть можно измывательства?

— К стенке его!

— Всех их!

Лука Матвеич повысил голос:

— Дело заключается в том, что за спиной генерала стоит самый лютый наш враг, самый кровавый тиран — самодержавие. Это оно гнет вас всех в дугу и не дает никакого просвета в жизни. Это царизм гноит простых людей России в тюрьмах и посылает на виселицу за малейшее проявление недовольства такой жизнью, такой судьбой, такими варварскими порядками... Вот против кого вы должны направить свои пушки, свои ружья, товарищи солдаты и матросы Свеаборга! — горячо воскликнул он и немного помолчал, ожидая, что скажет толпа.

— Братцы, а крейсера на нас не того? — раздался робкий голос.

— Вон «Финн» и «Эмир бухарский» направили на нас пулеметы и орудия.

— Почему они стоят без дела?

— Верно-о! Послать к ним наших ходоков — и враз пушки стрельнут в Лайминга.

— Дался тебе этот Лайминг. По царским палатам надо палить! Слыхал, что человек сказывает?

— Правильно! Мы не супротив коменданта пошли, мы пошли супротив такой жизни!

Голоса раздавались все определеннее, все смелее, и Лука Матвеич облегченно вытер вспотевший лоб и продолжал речь. Теперь он говорил о революции, о героической Пресне, о битвах шахтеров и металлистов с войсками на баррикадах в прошлом году, о восстании на «Потемкине» и на «Очакове», о крестьянских волнениях в Поволжье и на Украине, в Прибалтике и в Сибири, о земле и о том, как ее захватывали мужики, и о многом, многом из того, что знал, что сам видел и делал своими руками.

Инженер Рюмин стоял возле него и думал: «Умеет, старый, сказать людям ясно и просто то, что их более всего волнует и интересует». А Коханский и Емельянов слушали Луку Матвеича и посматривали на солдат и матросов — доходят ли его слова до души?

— А я хотел его арестовать... Бог знает, чего он только не знает и о чем не может рассказать,— произнес Емельянов и сказал плотному и мрачному Коханскому: — Как полагаешь, подпоручик, начнем отсель грозить мы самодержавию?

— А мы уже начали, подпоручик. Теперь следует продолжать еще более смело и решительно,— ответил Коханский.

...Лука Матвеич уже не речь произносил, а разговаривал о самых, казалось, обычных вещах, и только голос его дрожал на высоких нотах:

— ...Кто, скажем, не дает земли крестьянам? Помещики? Не только. У помещиков вы сами можете ее забрать. Но попробуйте взять — как враз прискачут казаки и пустят по вашим спинам нагайки или шашки, а то схватят — и за решетку. А кто посылает казаков? Самодержавие!! Без подмоги царя все помещики разбежались бы, как черти от ладана, возьмись только мужик за вилы...

— Верные слова, братцы. У нас, в деревне, значится, так оно и было в прошлом годе...

— Помолчи, дай человеку сказать.

— А чего говорить! В дым и пепел их надо, кровопийцев!

— А мы и поднялись, чтобы в дым их и пепел.

Лука Матвеич крикнул:

— Да, товарищи, вы уже поднялись! Еще день-два, еще немного — и вас поддержит весь рабочий люд России, все города и Питер — в первую очередь. Так что крепитесь и держите выше голову. Самодержавие и только самодержавие — вот наш враг. А поэтому — долой царизм! Долой все его зверские порядки! Да здравствует революция и республика солдат, матросов и рабочих! Огонь по старому, прогнившему строю!

— Огонь!

— Палить их начисто!

— Смерть катам!

— Даешь революцию и республику!

И площадь пришла в движение, колыхнулась, закричала, послышались выстрелы, воинственные крики, винтовки поднялись над головами, и засверкали штыки, и казалось, что не было уже ни царизма, ни правительства, ни старых порядков во всей России, а были новые порядки, новая судьба, новая Россия, и вот люди пришли славить ее и клялись биться за нее насмерть...

Острова Комендантский и Лагерный молчали и притушили огни. И крейсера «Финн» и «Эмир бухарский» молчали, и тоже притушили огни, и лишь шарили, шарили прожекторами по водной ночной глади, будто выискивали лазутчиков, шпионов неприятеля. И только Гельсингфорс светился вдали на берегу, как на карнавале, и не подавал никаких признаков возмущения, или настороженности, или готовности предпринять нечто, что сразу изменило бы расстановку сил. Значит, там все еще действовали электростанции и работали фабрики...

Митинг еще продолжался, когда его нарушил малиновый перезвон гармошек и разухабистая плясовая. И вдруг захлебнулись гармошки, поперхнулась плясовая и раздался крик отчаяния:

— Братцы, что ж это, а? Свобода же вышла!

Коханский пошел узнать, в чем дело, и не дошел: грянул выстрел. Все обернулись, а в следующую секунду шарахнулись назад, подняли винтовки, зашумели грозно во все глотки, и вдруг раздались выстрелы.

Митинг кончился. Началась расправа с каким-то провокатором, уложившим на месте весельчака. Когда пришел Лука Матвеич, уже все утихло. Люди стояли и смотрели на убитых солдат и офицера.

— Огонь по ним, зверям! Человека за песню убили!

— К орудиям, братцы! Отомстить!

Миг – и площадь опустела и все разбежались по казематам.

Емельянов, Коханский и Рюмин бросились к орудиям, но не успели: раздались залпы страшной силы, потом еще, еще, и все загрохотало и застонало, и сама земля заколыхалась, как будто это не земля была, не остров, а плавучее сооружение, содрогавшееся от каждого чоха.

Огонь удалось прекратить лишь через полчаса. Но за это время были выпущены сотни снарядов. По правительственным островам. Без всякой цели и смысла.

Часом позже случилась еще история, на этот раз на глазах Луки Матвеича. К берегу, со стороны Комендантского острова, приблизилась лодка.

Подпоручику Коханскому доложили: это от генерала Лайминга депутация

— Эй, на лодке! Кто вы и что вам угодно? Отвечайте или будете арестованы! – крикнул Коханский.

Полковник Нотар разразился бранью:

— ...молчать, крамольники!.. суд всех! Виселица плачет по вашим шеям!

Коханский сказал Луке Матвеичу:

— Полковник Нотар. Самый бессердечный палач. Что будем делать?

— Пусть высадятся.

Коханский еще раз спросил:

— Что вам надо, полковник Нотар? Отвечайте. Или...

Он не успел закончить фразы, как полковник Нотар крикнул ему:

— Подпоручик Коханский, вы будете завтра повешены при всем гарнизоне, если не сдадитесь немедленно... Приказываю вам от имени коменданта!..

Раздался ружейный залп часовых. Лодка как бы замерла на месте, и все в ней замерло. Но в следующую секунду послышался грозный голос Нотара:

— Мерзавцы! Ранили ведь! Всех перевешаю! Завтра же! Оружие – на землю!

Оружие на землю никто не положил, а, наоборот, его приготовили к бою. Когда лодка подошла, Коханский увидел в ней еще и генерала Агеева и спросил:

— И вы, ваше превосходительство? Приплыли, чтобы стращать нас?

— Подпоручик, прикажите помочь причалить. Я прибыл к вам с почетной миссией: уладить дело миром...

— Никакого мира, генерал! – ожесточился полковник Нотар и спрыгнул на берег. – Вы, подпоручик, и вы, и вы... – тыкал он пальцем в животы Коханского, Луки Матвеича, Рюмина и солдат.

Ему никто ничего не ответил, а все расступились. И тогда Коханский скомандовал:

— Пли по негодяю!

Грянул новый залп – и полковник упал. Мертвый.

— Вот так-то лучше... Оттащить его подальше, товарищи, чтобы и духу его здесь не было, – распорядился Коханский и обратился к генералу Агееву: – Я знаю вас, ваше превосходительство, как честного человека. Ска-

жите: почему вы остались на стороне провокатора и предателя солдат Лайминга?

Генерал Агеев снял фуражку, перекрестился над трупом полковника и вздохнул.

— Я этого ожидал. Так и должно было случиться с карьеристами и проходимцами... Но вы поступили опрометчиво, подпоручик: не следовало устраивать самосуд.

— Чем мы обязаны, генерал? — официально спросил Лука Матвеич.

— Я прибыл уговорить вас прекратить огонь. Вы уже все разрушили, господа. А сейчас добавили. Если начнете стрелять и завтра так же — форты Комендантский и Лагерный существовать не будут... Куда прикажете следовать, подпоручик, для переговоров?

— В штаб, генерал.

Переговоры не удались: генерал Агеев предлагал прекратить борьбу и ничего не обещал взамен, а лишь дал слово ходатайствовать о смягчении наказания восставшим.

Лука Матвеич ответил ему:

— Вы по ошибке приплыли сюда, генерал Агеев. Мы разделяем ваше доброе намерение, но принять его не можем. Это — не борьба восставших с генералом Лаймингом. Это — борьба народа против самодержавия. Так можете и передать коменданту, к которому вы поплывете вместе с нашей депутацией.

— Что вы намерены сказать Лаймингу, не имею чести знать вас? — поднял глаза Агеев.

— Мы намерены предъявить генералу ультиматум: или он сдаст оба острова, или мы возобновим бомбардировку, захватим его силой, и тогда он предстанет перед нашим, народным судом. Смею уверить вас, генерал, что суд будет правый и скорый.

Генерал Агеев подумал немного, посмотрел на подпоручика Коханского и отрицательно покачал головой:

— Нет, господа. Я должен быть здесь. Я — начальник артиллерии и обязан находиться при исполнении служебных обязанностей... Можете арестовать меня, но не ждите от меня возвращения к Лаймингу. Мне не о чем больше говорить с ним. Бесполезно.

Генерала Агеева подвергли домашнему аресту.

Орудия молчали, но были наготове. Часовые стояли всюду, особенно зорко смотрели за берегом, где были солдаты и казаки — об этом только что донесли финны социал-демократы. Они же сообщили: всеобщая стачка ожидается с минуты на минуту. Капитан Кок выполнил свое обещание: взорвал мост между Гельсингфорсом и Выборгом, прервал телеграфную связь; двести бойцов Красной гвардии прибыли на остров Михайловский.

Этой же ночью штаб восставших снарядил матросов в Кронштадт и Ревель с обращением от имени гарнизона Свеаборга присоединиться к восставшим. Нарочным было послано письмо Луки Матвеича к Ленину. На остров Комендантский отплыла делегация для предъявления ультиматума Лаймингу: сдаться без всяких условий, немедленно.

И на восставших островах наступило затишье. Слышались лишь отдель-

ные предупредительные окрики часовых да то и дело передавались сигналы: «У нас все хорошо. Желаем спокойной ночи».

Ночь действительно была спокойной... Слишком спокойной была эта последняя ночь восставших...

...Генерал Лайминг ждал, ждал возвращения генерала Агеева и наконец понял: начальника артиллерии арестовали. И генерал задумался: «А мне, по всей видимости, придется вывесить белый флаг. Иначе они, бестии, расстреляют всех и разгромят крепостные сооружения дочиста. Но почему Петербург не отвечает? Или у нас в России уже нет монарха, нет правительства и вообще ничего нет, а есть только анархия? Но этого не может быть! Думцы посидели, посидели в Выборге и уехали не солоно хлебавши...»

Трудно было генералу Лаймингу, очень трудно: продолжать сопротивление он не мог, нечем было, а сдаться на милость мятежников — это был крах всей карьеры и всей жизни.

Генерал был очень храбр, когда солдаты исполняли его приказы, и растерялся, когда они отказались подчиняться ему и выступили с оружием в руках. Однако он был и не настолько легкомысленным, чтобы вывешивать белый флаг в первый же день, и решил перехитрить самого себя: подождать до утра. А там — будь что будет, но умирать за веру, царя и отечество он не намеревался ни сегодня, ни завтра.

С этими мыслями генерал вышел впервые за день из подвала посмотреть, действительно ли мятежники угомонились и не будут стрелять целую ночь? И тут ему адъютант сообщил приятную новость: из Ревеля вышла эскадра. Ему, генералу Лаймингу, на помощь.

И заковылял, запрыгал на своей фальшивой ноге ободренный генерал, и пошел отдавать адъютанту приказ за приказом, и в конце каждого велел обязательно написать:

— ...За неповиновение — военно-полевой суд... За отказ сложить оружие — арест. За... виселица... За... смерть. Всем, каждому...

Инженер Рюмин застал генерала все в том же подвале, в каком он провел день, но уже в ином расположении духа: воинственным, непримиримым и, что бросилось в глаза свежему человеку, необычайно крикливым.

— Что-о? Делегация? Никакой делегации, никакой депутации! И никаких переговоров с крамольниками! — загремел генерал, едва увидев депутацию.

Рюмин, одетый матросом и окруженный матросами с винтовками наизготове, передал генералу ультиматум штаба восставших и письмо генерала Агеева.

— Прошу ознакомиться и дать ваш ответ, господин генерал,— сказал он сухо.

Лайминг поднял на него взбешенные глаза, проковылял по подвалу, но кричать не стал, а прочитал письмо начальника артиллерии, подумал и ответил более сдержанно:

— Генерал Агеев советует мне прекратить бесцельное сопротивление. Каков миротворец, а? Передайте этому изменнику и его единомышленникам, подпоручикам Коханскому и Емельянову, что они понесут наказание по всей строгости военного времени. Вот мой ответ. А теперь — кругом марш! Пока я не арестовал вас.

Матросы наставили на него винтовки. Генерал посмотрел на свою охрану, но ее и след простыл. И он мрачно бросил:

— Да, а какова судьба полковника Нотара?

— Полковник Нотар вел себя, как вы легко можете догадаться, самым недопустимым образом и задержан штабом... Еще есть вопросы?

— Под суд бестий! Под расстрел всех! — закричал Лайминг, но, увидев, что на него вновь направлены винтовки, а охраны по-прежнему нет, махнул рукой: — Уходите! Я не желаю быть с вами в одном кабинете, крамольники! И передайте всем канальям: их ждет...

Рюмин уже вышел и не слышал, что еще кричал и чем угрожал хромоногий комендант. Но каким-то шестым чувством он почувствовал: Лайминг что-то получил из Петербурга. Час тому назад, как сказали матросы-часовые, он вел себя совершенно не так и даже никого из подчиненных не выругал и ни на кого не орал. Это был знаменитый комендантский час — ни одной жертвы.

Рюмин вернулся в штаб ни с чем. А вскоре отправился с новой миссией в казармы на полуостров Скатуден.

Утром следующего дня восставшие открыли ураганный огонь по фортам Комендантскому и Лагерному. И над морем вновь загудела, застонала бешеная канонада, и все окуталось в черный дым, как на войне. Но странное дело: обстреливаемые форты не отвечали, будто там не осталось ни одного орудия и ни одного человека, и оттуда виднелись лишь вздымавшиеся к самому небу столбы огня и дыма.

Лука Матвеич понял: одним огнем батарей фортов не одолеть. Посылать же десант моряков не имело смысла: его могли расстрелять в несколько минут. Да и что это могло изменить? Питер, Питер молчал! И Кронштадт молчал. Вот где были главные силы... А эти силы пока не вступали в действие.

Под прикрытием ночи Лука Матвеич отплыл на берег и тут узнал: Гельсингфорс бастует. Финская Красная гвардия действительно перерезала железную дорогу на Выборг и блокировала полуостров Скатуден. И еще узнал Лука Матвеич: из Ревеля передали сообщение о том, что в Свеаборг вышла эскадра. Какая это была эскадра и каковы ее намерения — никто не знал. Но понять было нетрудно: то была правительственная помощь коменданту Лаймингу.

Утром следующего дня на полуострове Скатуден был спущен императорский флаг и в небо взвился красный стяг революции. Лука Матвеич отправил новое письмо Ленину и поплыл в штаб восставших. Но уже в пути с моря он увидел: на полуострове вновь был поднят императорский флаг, а вскоре с крейсеров открыли пулеметный огонь по флотским казармам. Вспомогательное же судно «Трухменец» просто обнаглело и стало палить из орудий и по флотским казармам, и по восставшим островам. И тогда крепостные батареи перенесли огонь на «Трухменец», но огонь был, видимо, предупредительным, потому что снаряды перелетали, разрывались в море, и судно благополучно спряталось за крейсер «Эмир бухарский».

Было ясно: положение осложняется. Правительство действует куда решительнее, чем восставшие, не желающие дать залп по несчастному «Трухменцу», чтобы от него щепки полетели.

Лука Матвеич так и сказал на военном совете и предложил:

— Надо немедленно навести крепостные орудия на крейсера и просигналить им ультиматум о сдаче. Не то они присоединятся к казачьим правительственным частям, которые уже блокировали нас с суши и заняли весь финский берег. Далее: надо расстрелять «Трухменца» за его подлые действия, предупредив команду сигналами — может, она сама наведет там порядок. И хорошо бы проникнуть на крейсера, поагитировать и послать один из них в Кронштадт, а другой — навстречу ревельской эскадре для проверки, с чем она идет. Если вы этого не сделаете до восстания в Кронштадте — нас подавят.

Наступило тягостное молчание. Чувствовали и подпоручик Коханский, и подпоручик Емельянов, и штабс-капитан Цион, что прав Лука Матвеич от начала до конца, и все же никто не решался ввязываться в конфликт с крейсерами, которые могли сняться с якоря, уйти в море в лучшем случае.

— ...А в худшем — навести на нас свои орудия и расстрелять. Пушки-то у них — двенадцатидюймовые, — высказал наконец Коханский то, что мучило всех.

Емельянов вскипел:

— Да вы что носы повесили? Огонь сделает свое дело куда быстрее. Я сейчас отдам команду батареям — и все решится само собой.

Штабс-капитан Цион, более опытный, остановил его:

— Подождем ревельскую эскадру. Тогда все станет ясным: или драться до последнего, или сдаваться. На всякий случай я советую приготовиться к эвакуации.

— Трус! — вспылил Коханский. — И вас, штабс-капитан, следует за такие речи...

— Глупый разговор, глупые предположения, штабс-капитан, — отрезал Лука Матвеич. — Емельянов прав. Надо действовать... Или некогда вообще будет действовать, товарищи...

Совещание ни к чему не пришло. А днем сигнальщик сообщил: на горизонте замечен дым эскадры. И сомнений не осталось: ревельцы действительно идут. Но против кого?

Подпоручик Коханский торжествовал:

— Идут! Кронштадтцы! По дыму вижу! Ура! Мы победим!

Он все еще верил в Кронштадт и отправился на катере навстречу эскадре. Лука Матвеич пытался удержать его, но Коханский был слишком молод и слишком горяч, чтобы послушать здравый голос. И уплыл... Навстречу смерти.

Вскоре эскадра дала четыре холостых залпа. Ей с готовностью ответили тем же крепостные батареи. Но следующие залпы эскадры были боевые...

— Броненосцы «Цесаревич», «Слава» и крейсер «Богатырь», — сказал Емельянов Луке Матвеичу и вздохнул. — Мы потерпели поражение, старина. Теперь уже ясно.

Лука Матвеич и сам это видел.

И тут лишь проснулись острова Комендантский и Лагерный и в свою очередь открыли стрельбу по восставшим. То ли от огня эскадры, то ли от батарей Лагерного, случилось непоправимое: снаряды угодили

в главный артиллерийский склад, что был на острове Михайловском, и он взлетел в воздух. И снаряды взлетели, и поднялась сумасшедшая канонада.

А дальнобойные орудия эскадры делали свое смертоносное дело размеренно и неутомимо, сокрушая все живое и мертвое на восставших островах и оставаясь неуязвимыми для крепостных орудий...

Двадцатого июля восстание в Свеаборге было подавлено.

И только теперь стало известно, что восстал Кронштадт и забастовали отдельные фабрики Петербурга. Но было уже поздно. Было слишком поздно...

...Ленин узнал о победе правительства из экстренных выпусков газет. Правительство сообщало об этом крикливо и торжественно, как не сообщало никогда за всю маньчжурскую кампанию, благодарило провидение, будто выиграло битву при Мукдене, и трезвонило во все петербургские колокола во главе с Исаакием.

Ленин ходил по комнате с газетой в руках, опустив голову, и долго молчал. Не хотелось ему верить в то, что случилось. Но он ясно видел: революция действует разрозненно, восстания вспыхивают несогласованно и независимо друг от друга, и правительство подавляет их порознь всей мощью армии и флота.

Так подавлял своих противников Наполеон, нападая на их отдельные части всей армией. Так Тьер подавлял Парижскую коммуну, изолировав ее от всей Франции. Так Бисмарк расправлялся с восставшими немецкими рабочими, разбивая их по очереди...

И Ленин негромко рассуждал вслух:

— ...Погибло еще одно геройское дело... Погибли люди. Подавлено еще одно выступление против казарменного режима, против варварского деспотизма. На этот раз, по всей вероятности, последнее выступление. Опять победила реакция, победила соединенная сила империи... И всегда будет так, выступай революция отдельными крепостями, кораблями, заводами или крестьянскими селами, а не всей массой революционного народа. Так было... Но так более не будет, господа! Разрозненных выступлений, несогласованных действий. Балтика, весь флот будут с нами в грядущих боях. И мы побьем вас, господа, вашим же оружием, помноженным на оружие революции. На оружие революционного марксизма!

Вошел Теодорович с пачкой газет в руках.

— Вы читали, Владимир Ильич? Свеаборг пал... — сказал он задыхающимся от быстрой ходьбы голосом и грустно добавил: — А Кронштадт опоздал. И Питер опоздал... Эх!

— Опоздал, товарищ дорогой мой. Слишком запоздало все. И что самое прискорбное, самое трагически-печальное — это то, что опоздала партия, опоздал наш благодушный, аморфный, безрукий, наш оппортунистический ЦК. Пролетариат, армия, заводы и фабрики остались без руководителей. Руководители остались без армии. Вот альфа и омега всех наших бед и поражений...

Он подошел к Теодоровичу, положил руку на его плечо, сделал с ним несколько шагов по комнате и остановился у окна.

— ...Ну ничего. Переживем и эту горечь неудачи. Пересилим. Впредь такой ошибки не повторим и бить нас поодиночке не позволим. И следую-

щая, куда более значительная, куда более непоправимая, с точки зрения царизма, будет их неудача,— кивнул он на видневшуюся за окном золотую стрелу Петропавловской крепости.— Следующей будет победа революционного народа над старым, прогнившим с головы до пят, разложившимся до мозга костей русским самодержавием. Сиречь наша победа, бесповоротная и окончательная. Это я вам гарантирую, господа. За это я ручаюсь головой!

Он подошел к окну, слегка поднял голову, будто ему плохо видно было, что и где там, в Петербурге, и так остался стоять, не снимая руку с плеча Теодоровича...



ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ





Глава первая

Хлеба горели...

Вот уже месяц дул огненный ветер «астраханец», выжигал поля и толоки, скрючивал на деревьях листья так, что они звенели, как жестяные, сбивал в садах сморщенные зеленые плоды и усыпал ими землю, как после градобоя, и уже вымел все дороги, уже свертел все пыльные столбы и угнал их в поднебесье и, однако же, не унимался ни днем ни ночью.

Все надежды на дождь рухнули, все молебны отца Акима и два крестных хода с иконой Спасителя, с хоругвями не принесли никакого утешения. В небе по-прежнему не было ни единого облачка, ни одного намека на тучку, а металась в небе, над степью, над балками и низинами, над чахлыми терновниками и лесками рыжая горячая пыль, и от нее невозможно было укрыться ни людям, ни скотине. Солнце плавало в той пыли, как в тумане, светило мертвенно-бледным светом и делало свое лютое дело безжалостно: рвало землю на трещины, в которые свободно входила ладонь, палило огнем все, что видело и не видело, иссушило речку так, что в ней обнажились вековечные коряги, и сомы уже откочевали из-под них в более глубокие места.

И смолкли шумные ребячьи гульбища на гребле, возле мельницы Нефеда Мироновича, пустовал весь день его новый пузатый магазин, и даже песни,

вечерней, звонкой, не слышалось нигде, как будто всех девок забрили в солдаты.

На Кундрючевку, на хуторян надвигалось самое страшное: неурожай, голод.

Таким обернулся 1907 год и поверг в прах все планы Игната Сысоича.

И он, в который раз, вновь поносил свою старую знакомую — лиходейку судьбу:

— Ать же треклятая, какая едучая да прилипчивая! Ты ее — со двора, а она — во двор, ты ее — взашей, а она тебе в самую душу лезет, и удержу ей нет никакого. Ну, придет и наш черед, анафемская твоя утроба, доберусь я до твоей хребтины, и все одно перехвачу ее пополам, накажи бог, не брешу. В дым и в пепел! Эх, жалко, что острогов на тебя не придумали властя, а все норовят нашего брата туда законопатить, будь бы вы все прокляты, судьбы такие и властя разные... Животину даже, овечку разнесчастную, и ту не пожалела, сгубила заживо, пропасти на тебя нету...

Игнат Сысоич имел основания костылять судьбу потому, что у него стряслась новая беда: овца наглоталась земли вместе с корешками выжженной травы и теперь подыхала. И если бы она, судьба эта, сию минуту явилась перед ним в образе человеческом, или даже в образе лешего, или домового, или просто бабы-яги,— он не оставил бы на ней живого места. Но судьба не являлась перед ним ни в каком образе, и он сидел возле овцы на корточках, гладил землисто-черную, занесенную пылью шубу ее и жалостливо уговаривал:

— Ну, крепись, потерпи маненько, может, бог даст, все хорошо кончится. Я тебе такой травки возле речки нарву своими руками чи хоть серпом нажну, что ты облизываться будешь, право слово. Потерпи, родимая, пересиль свою овечью хворость. Может, водички дать? Она враз легкость сделает,— совал он овце ведро с водой.

Но овца подергивалась судорогой и смотрела на него помутневшими влажными глазами и только что не говорила: «Ты же — человек. Ну, подсоби, освободи нутро от тяжести». А Игнат Сысоич ничем помочь не мог.

Наконец овца вздрогнула, вытянула ноги и закрыла глаза. И Игнат Сысоич закрыл свои глаза и утер слезы.

— Все. Третья...— убито проговорил он, поднимаясь с корточек.— Окотись на будущий год двойней — считай, была бы добрая пара валенок. А теперь... Эх, жизня! — произнес он с отчаянием и понес овцу в сарай, чтобы снять шкуру.

И все-таки Дороховы готовились к жатве, как и положено. Игнат Сысоич точил с Федором косы, вставлял в грабли новые деревянные зубья вместо подгнивших, заново ошиновал в кузне два колеса для дрог, подковал лошадь, а Марья Алексеевна с Настей чинили старый брезент-лантух, мешки-трехпудовики, как будто стопудовый укос намеревались свалить.

Работали молча, неторопливо, и только дети Насти шумели беззаботно или плакали горькими слезами, подравшись. Но Федор делал все с каким-то ожесточением. Топором хватит по дереву — топор звенит. Молотом ударит — земля гудит. «Может, что с Настей не поделили, не дай бог?» — тревожился Игнат Сысоич и посоветовал:

— В больницу поехал бы, к доктору Симелову. А то ты, как сват Загорулька, навовсе голоса лишился. Чи с Настей не того...

Во двор вошел Фома Максимов. Кряжистый и неторопливый, вечно как бы прислушивавшийся к тому, что делалось вокруг, и то и дело оглядывавшийся, он поздоровался тихо и будто виновато, оглянулся, словно за его спиной мог стоять атаман, и спросил о житье-бытье.

Игнат Сысоич ответил с сердцем:

— Житье такое, парень, что после рождества доведется по миру идти от урожая такого.

— Не по миру, а в тюрьму. Без нее все одно не обойтись, — сказал Федор и так стукнул обухом по колесу, что старик Максимов качнул головой, переглянулся с Игнатом Сысоичем и сказал:

— Кхе-кхе... Ловкие речи, сынок, говоришь. Мороз по коже дерет. Тюрьма, будь она неладна... А вот это, — указал он на топор, — дай срок, подсобит. Я тоже, кажись, разобрался, что оно к чему в этой житухе.

Федор мог ожидать таких слов от тестя, от Степана Вострокнутова или Егора Дубова, но от отца, который еще недавно и во сне видел себя богатым хуторянином, а наяву проходил мимо всех людских горестей, — от такого человека трудно было ожидать таких слов. И удивительное дело: у Федора как бы прибавилось сил и легче стало на душе.

Потом пришел Егор Дубов раскурить по цигарке, и Игнат Сысоич с радостью прекратил работу и присел на корточки возле старых дрог.

Егор искоса посматривал на старого Максимова и не мог начать разговора, а так хотелось сказать Дороховым немедленно. Чадил махоркой и молчал. Федор заметил: осунулся, почернел Егор и ходить как-то стал по-стариковски, слегка сутулясь, опустив голову. «Сломала жизнь и этого. А какой лихой казак был!» — отметил Федор.

Егор действительно выглядел измученным и болезненным. Драка с Загорулькиным и новый арест оставили не только шрам на лице. Они оставили в душе Егора лютую ненависть ко всему, что он видел вокруг себя, и она разлилась теперь по всему телу и готова была вырваться наружу со всей яростью.

Оттого и ходил Егор темнее тучи.

— Ну, как оно там урожай, Егор? Чи как и у нас, грешных? — полюбопытствовал старый Максимов, а про себя добавил: «Спутали тебя, парень, на все ноги. Кончилось твое геройство. Да и наше кончилось, мужицкое, и нет никакого развороту в делах».

— Всех подкосила засуха. Считай, урожай весь ушел в землю. Нанесло пыли, ровно сугробы, — выдохнул Егор. — Доведется ехать на завод, руду возить чи уголь, чтобы ноги не протянуть.

— Я свою откопал, да только надолго ли? С корнем рвет озимку. Страсть, что делается! А в российских губерниях и вовсе хоть шаром покати, сказывают. Все выгорело. Конец света идет, должно. Эх! — вздохнул он, садясь поудобнее.

— Про Илью Гавриловича ничего не слыхать? — спросил Егор. — Давненько не видались. Тот бы враз сказал, куда смотреть и где корень искать. Ясный человек.

— Уголь, должно, добывает какому-нибудь купцу-хозяину, — ответил Игнат Сысоич, хотя точно знал, что Чургин не работал из-за «политики» и все время был в разъездах по каким-то делам.

Старый Максимов пришел к Игнату Сысоичу посоветоваться о своих новых планах: переезде из хутора в другие края, на отруба, но разговора не начинал, ожидая, когда уйдет Егор. Однако Егор и не думал уходить, и тогда Максимов осторожно спросил:

— Не слыхали, в других местах на отруба скоро можно будет подаваться? Закон такой делают для мужиков, слушок пробежал.

— Куда конь с копытом, туда и рак с клешней. Зайцев там будешь гонять, на тех отрубах, чи как? — охладил его Игнат Сысоич и добавил с грустью: — Осталось нам с тобой, сват, про отруба думку держать. Слыхал я про них от расейских, да только труба нашему брату будет на тех отрубах. Худобы нет? — загибал он жесткие пальцы. — Нету. Плугов, борон железных, косилок и разного хабура-чабура нету? Нету. У богатеев загостилось. А деревом паршивым, сохой нашей несчастной, подымать целину — все равно что пальцем небо ковырять. Так что выкинь все дурацкие думки про чужое счастье.

Слова свата повергли Максимова в печаль, и он не знал, что говорить. Ведь надеялся на отруба и уже все распланировал и уже собирался съехать с казацкой земли.

— Так, — тяжко выдавил он. — Значит, выкинуть думки о переезде?

— Выкиньте, батя. Не про нас пишут тот закон министры царские, — вмешался в разговор Федор и со злостью добавил: — Для загорулькиных пишут законы.

— Им они без надобности. У казаков — паи, а у Нефеда еще и чужие в аренде состоят, — поддержал Игнат Сысоич.

Разговор оборвался, а вскоре Егор попрощался и ушел. И Максимов не стал задерживаться и ушел, расстроенный и мрачный. «Значит, пальцем ковырять небо... Так. Ну, тогда, по всему видать, я тут долго не продержусь и, кажись, поеду к Илье Гавриловичу проситься на шахту. Или попаду в тюрьму вместе с сыном. Нет больше мочи смотреть на лютости загорулькиных и атаманов разных».

Егор же думал о других вещах: он только что слыхал, будто из окружной станицы пришла бумага о Леоне. Знал ли об этом Игнат Сысоич? И какая могла быть бумага, если Леон отбывает ссылку в Сибири? Максимов помешал поговорить об этом, и Егор решил: «Проясню толком сам. Доведется выставить писарю полбутылку».

На следующий день Дороховы всей семьей пошли откапывать хлеба. Работали граблями, а больше руками: ползали по занесенной пылью озимке, разгребали похороненные посевы, в подолах и фартуках сносили землю в сторону. Но разве можно было снести все, что надул ураган?

Марья Алексеевна тоже ползала на коленях и надавила их до красноты, до крови. Наконец встала, разогнула спину и сказала:

— Все, отец, больше мучиться нечего — всю землю в подолах мы с Настей не перетаскаем.

Игнат Сысоич разгребал маленькие черные бугорки пыли, освобождал озимку, распрямлял ее ласково и бережно и еще ласковей говорил:

— Вот так, родимая, вот теперича мы скажем тому губодую: ничего, парень, нас в землю не закопаешь и жизни не решишь. Дуй себе сколько хочешь, а мы все одно будем жить и зернышками ядреными осеменимся. Такие наши думки...

Настя, Федор смотрели на него и качали головами. Вот человек! В могилу его положи – и то выгребется на свет божий. И Настя спросила:

– Батя, вы слышали, что мама говорит? Давайте бросать, все одно мертвого из могилы не поднимем.

Игнат Сысоич пробурчал:

– Много ты понимаешь, дочка. Да мы как раскопаем ее, кормилицу, да как дадим ей волю – враз к небу потянется и, гляди, на сто пудов на круг ударит, как дождичек брызнет... Иди дитя покорми лучше, чем язык задарма чесать.

И все молча продолжали работу – тяжкую, невыносимую, безнадежную. И вдруг ветер дунул под самый нос Игнату Сысоичу, запорошил глаза, разметал бугорок земли, что был положен в стороне, и засыпал кустики озимки начисто.

И Игнат Сысоич потерял терпение:

– Все, мать, я, кажись, ослеп... Ать же судьба, будь ты трижды проклята! В глаза уже лезет, в душу, а все равно на свое вернет. Шабаш!

Ему дали воды, он промыл глаза и сказал печально и тихо:

– Переждем до вечера, когда ветер уляжется. Или зорькой, утром, придем, не то подохнем с голоду, мои детки, если не откопаем.

Загорулькины тоже откапывали свои хлеба. Нефед Миронович, не вставая с линейки, смотрел на них и наказывал жене, которая была за кучера:

– Вон... того за... заго... на...

– Да скажи ты толком, ради небесного,– досадовала Дарья Ивановна.

Но толком Нефед Миронович теперь говорить не мог, а еле ворочал языком.

– С той... вон... засыпало вовсе. У-у-у,– прогудел он и раздраженно махнул рукой.

И Дарья Ивановна опять всхлипывала:

– В степу – горе... Ты чисто малое дите... Хоть в петлю лезь, боже милостивый... Люди и так напеклись, а тебе все не так. Пропал хлеб... Ты ослеп? Не картошку копать, а триста десятин вызволять.

Нефед Миронович хмурил чернявые, с проседью брови и молчал. Впервые за всю жизнь он ничего не мог возразить жене. Драка с Егором Дубовым дорого обошлась ему. Что-то случилось с головой, почему-то с великим трудом поворачивался язык, терялись мысли. Врачи сказали: пусть благодарит бога, что остался жить. А что это за жизнь, если говоришь еле-еле, ходишь с палкой в руке, ногу переставляешь, как чужую? Поэтому Нефед Миронович не раз уже и думал: «Лучше бы сшиблись насмерть. Все одно все пойдет прахом».

Таким стал теперь Нефед Миронович и думал лишь об одном: не помогут Яков с Аленой,– значит, петлю на шею. Вот и сейчас: с горем пополам договаривался с валившими валом отходниками из голодающих губерний России, с горем пополам ходил, ел, спал. А тут еще хлеба такие, что их и не видно – все занесло. Засуха делала свое черное дело и на его полях.

Дарья Ивановна терпела, терпела его косноязычие и хворь, наплакалась вволю и попросила Федора написать письмо Якову, чтобы приехал помочь спасти хлеб или распродать хозяйство, которое некому было вести.

Но приехала Алена... Разморенная жарой и ходьбой от станции, она неторопливо вошла во двор, окинула его чужим, недобрым взглядом

и вздохнула. «Отсюда вышло мое горе»,— подумала она, и в это время на нее бросились собаки.

Алена ласково пожурила их:

— Серко. Рябко, бессовестные... Меня — и не узнали...

Огромные лохматые собаки поняли свою промашку, заскулили, запрыгали возле нее в восторге и извинениях, лизали руки и подметали двор хвостами, как метлами.

На базу, в тылу двора, загремела опрокинутая цебарка, потом оттуда выбежала Дарья Ивановна, на ходу вытирая руки о белый фартук, и двор Загорулькиных наполнился причитаниями... А пока Нефед Миронович приехал со степи, у Дарьи Ивановны глаза распухли от слез, да и Алена растревожилась.

Мать жаловалась и просила ее остаться в хуторе хотя бы на две недели.

— Покута, хомут это на мою шею, его хозяйство. Я б расторговала его на первой же ярмарке, так нет, отец и ухом не ведет на мои слова. С Яшкиными миллионами, должно, тягаться вздумал по хворости,— выкладывала она свое горе.

Алена молчала. Остаться в хуторе она не могла. Огорчить мать не хотела.

Нефед Миронович приехал домой, когда в хатах уже замигали огоньки. Велев работнику убрать и накормить лошадей, он приковылял в дом и остановился на пороге. Алену он не ожидал, речи с ней вести не хотел, но делать было нечего, и он примирительно спросил:

— До... доча... при... ехала? Давненько не... не... не... Хво... рый я... вот... как, до... доч... ка.

Алену холодный пот прошиб, когда она увидела отца. Перед ней был парализованный человек: левая рука его висела, как у тряпичной куклы, язык едва ворочался, а от былого вида отца, от его гордой выправки и надменности не осталось и следа.

Нефед Миронович стоял с опущенной головой и ждал: подойдет или не подойдет? Посочувствует или не посочувствует его беде? Неужели и теперь она не смягчится?

Алена подошла к нему, склонив голову, и тихо сказала:

— Здравствуйте, батя.

Она хотела сказать нечто более значительное — и не могла, хотела посочувствовать его горю — и тоже не могла, хотела просто поднять глаза и посмотреть в его лицо — и этого не могла сделать. Два чувства боролись в ней в эти минуты: жалость и боль, тупая и незатихающая душевная боль от всего, что делал ей этот человек на протяжении всей ее жизни. И Алена не могла примирить эти чувства. Чужой был для нее этот дом, чужая она была в этом доме, и не было силы, которая могла бы теперь сблизить их, сроднить и предать забвению старые обиды.

Нефед Миронович все понимал и, будь он здоровым, нашелся бы, что сказать. Но сейчас он лишь поднял глаза, посмотрел на бледное, исхудавшее лицо Алены, на впалые темные глаза ее и заострившийся небольшой нос и подумал: «Значит, и «Торговый дом» ей не в радость. Совсем высохла как мощи. А все через любовь свою. Эх, дочка, дочка! Я ж добра тебе хотел, счастье тебе кликал, а оно аж в Сибирь залетело, треклятое счастье твое...»

И, быть может, впервые в жизни он обнял ее и повинился:

— Прости, доча! Грешен я п-п-перед тобой. Считай, в г-г-грехах, к-к-к... в репьях. За это бог и пок-к-к... — И он махнул рукой с отчаянием и злостью.

Алена мрачно проговорила:

— Поздно, батя, слишком припозднились с такими словами. — И вышла из дому, гордая, тонкая, в темной длинной городской юбке, в белой дорогой кофточке и в шляпке.

Нефед Миронович сел на стул, некоторое время помолчал и медленно, стараясь выговорить слова отчетливо, произнес:

— Не простила. Не... посо... пособолезно... вала... — И опустил голову на грудь.

Алена стояла на крыльце и печально смотрела в звездную ночь. На хуторе перебрехивались собаки, на речке галдели лягушки и задорно крякали утки, а на скале за греблей пел чей-то одинокий девичий голос и ему негромко вторила гармошка.

Слушала Алена ту песню и вспоминала свою молодость, свою любовь, и душа ее готова была разорваться от обиды. Проходит, прошла, как песня, ее молодость, пролетела как птица ее любовь и унесла ее короткое счастье, и вернется ли оно — неизвестно.

— Здесь я полюбила и пошла за ним. Здесь я молилась на него и покинула отчий дом. Помнишь ли ты любовь мою, Леон? — тихо промолвила она.

Долго стояла Алена на крылечке и думала, вспоминала свою жизнь... И хотелось ей пойти на ту скалу за речкой и спеть свою песню, чтобы услышали ее все люди, чтобы поняла ее всякая человеческая душа. И помогла пересилить ее горе, ее страдание.

Из дома вышла мать, положила руку на ее плечо и тихо проговорила:

— Не тоскуй, не терзай себя. И развяжись ты с этим треклятым магазином. Сердцем чую: быть тебе в печали от этой Яшкиной обновы, невзлюбит это Лева и еще дальше отойдет он от тебя, донюшка ты моя разнесчастная.

Алена подняла голову, прищурила глаза и сказала твердо и решительно:

— Хорошо, маманя. Я развяжусь. Со всем развяжусь. Но если он не возвернется, если кинет любовь мою... не обессудьте, маманя...

И она сошла по ступенькам, а Дарья Ивановна осталась доплакивать новое свое горе.

До полуночи Алена просидела на берегу речки одна с своими тревогами и надеждами. Поздно она вошла в землянку бабки Загорульчихи и изнеможенно села на старый, черный от времени табурет.

Бабка не заметила и не услышала, как она вошла. Сухонькая, как щепка, в черном чепце, прикрывавшем седую голову, она сидела возле лампы и что-то вязала так быстро, что спицы-иглы мелькали в ее желтых морщинистых руках, как у молодой. Вот она подняла глаза, голубые и грустные, грубовато спросила:

— Заявилась-таки? А я думала, что забыла про бабку. Хотела глянуть за ворота, да ноги стали никудышные. Ну, подойди, приласкайся к бабке, горе ты мое невыплаканное.

Алена обняла ее щуплые плечи и из самой глубины души выдохнула:

— Тяжко на душе, бабуся, родненькая...

Бабка продолжала вязать и некоторое время молчала. Знала она хорошо, почему тяжко внучке, и рада бы приласкать ее, да такова уж была у нее натура: не умела она ласкать, хотя в старой душе ее было полно нежности и невысказанных слов.

— Винился и перед тобой ирод тот, отец?

— Тяжко мне, бабушка,— повторила Алена, положив голову на ее плечо.

— Знаю. Жди и терпи. Не в гроб его положат там нехристи. Раскандалят, придет черед. Принял бы он только тебя — вот твоя печаль.

На следующий день Алена пошла к Дороховым и сказала Игнату Сысоичу:

— Батя, поезжайте в Югоринск и заберите мою корову и кабана. Я предупредила тетю Гаращиху, она присматривает за домом.

Игнат Сысоич покряхтел, вставая с корточек от печки, и сказал:

— Воля твоя, дочка. Съездить — ноги не отвалятся, а раз такое добро забрать велишь, можно и пеши сходить.

Марья Алексеевна недружелюбно спросила:

— Отец разжалобил? К нему будешь перебираться?

— Вот же вот, и я про то,— торопливо поправился Игнат Сысоич.

— Мамаша просит побыть,— мрачно ответила Алена и добавила:— А я на завод буду поступать. Муторно жить возле коровы и кабана. Надоело!

Игнат Сысоич запряг лошадь, поехал в Югоринск и привел корову, а кабана привез на дрогах, связав его веревками так, что, когда его сняли, он отлеживался полдня.

Марья Алексеевна посоветовала:

— Отец, отведи животину сватам. Узнает сам — греха не оберешься.

У Игната Сысоича легче было клещами вырвать любой ряд зубов, чем заставить его отдать корову и кабана Загорулькину, и он обозлился:

— Вот что, мать: пока я сам на своем дворе планую, что и как лучше для семейства. Закрою глаза, не дай бог, тогда ты заступишь на мое место. Так-то. Невестка — наша, а живность — ее. Стало быть, все — наше, семейное.

На том и кончился разговор. Но эти блага оказались для Игната Сысоича не последними. Еще через два дня пришел «сам», сват, и предложил: Игнат Сысоич, как свой человек, берет в руки все хозяйство Загорулькиных, а в конце года возьмет себе из урожая столько, сколько свелит совесть, да еще и из живности что-нибудь прихватит, коль будет охота.

У Игната Сысоича голова закружилась от такого предложения, и он долго после ухода Нефеда Мироновича не мог ясно представить, как же они, Дороховы, будут теперь жить. Одно он видел отчетливо: на горизонте, нет, ближе — за кундрючевским бугром, да нет — за воротами уже стоит и улыбается счастье, то самое, единственное, к которому он стремился всю свою жизнь. Если отказаться от него сегодня — тогда ради чего жить завтра?

И Игнат Сысоич не отказался. Но с этого времени он совсем забросил свое хозяйство, доверив его семье, и повел дело на полях свата опытной и твердой рукой.

Алена наблюдала за ним и диву давалась: откуда столько сил и энергии у этого человека, столько раз жестоко наказанного судьбой? И она сказала Игнату Сысоичу:

— Смотрю я на вас, батя, и думаю: ловко все у вас выходит! И с людьми умеете обходиться, и никого не обижаете. А дело идет — лучше некуда!

— А чего ж ему, делу, не ходить, дочка? — не без гордости ответил Игнат Сысоич. — Было б оно в руках, а за нашими руками остановки не будет. — И, помолчав немного, неожиданно объявил: — А я вот какую думку держу, дочка: выйдет Леон, бог даст, из острога чи из Сибири той, богом проклятой, да и перебирайтесь сюда, и будете жить-поживать да добра наживать. И мы будем под рукой, родители, и вы — при прочном отцовском деле. Сват вряд ли теперь в нормальность придет.

Алена отрицательно качнула головой и твердо ответила:

— Нет, батя, Леон в хутор не воротится. И я не вернусь.

— Так, — разочарованно произнес Игнат Сысоич, — Леона я знаю: не возвернется. Ну, это — не нашего ума дело, дочка...

Разговор происходил на току, возле той же деревянной, постаревшей теперь, будки, возле которой Алена когда-то готовила отцу и Игнату Сысоичу закуску, полагая, что они «пропивают» ее за Леона. «Сколько времени прошло с тех пор? — спрашивала она мысленно и отвечала: — Десять лет. А Леон сейчас дальше от меня, чем был тогда. Или я дальше от него стала. Вот я — хозяйка и распоряжаюсь работниками. И в магазине я — хозяйка и распоряжаюсь приказчиками. А я всего-навсего жена рабочего человека. Как же так?» И вздохнула. Не той дорогой она пошла, не теми хлопотами занялась. Но повернуть назад было трудно.

Вечером, как обычно, возвращались домой. Игнат Сысоич лихо правил лошадьми и был что жених — веселый, быстрый, хоть и уставал порядком за день, а Алена сидела на линейке и задумчиво смотрела в лиловые сумеречные дали, занятая своими беспокойными мыслями. Лошади Нефеда Мироновича были что львы и обгоняли всех хуторян. Обогнали они и подводы Егора Дубова и Степана Вострокнутова, жившего теперь на хуторе.

Игнат Сысоич натянул вожжи, придержал лошадей и бойко бросил:

— Садись, добры молодцы, прокачу на диво всему свету, как на тройке почтовой.

Шутка его была встречена молчанием. Егор Дубов, устало шагая возле своих дрог, глянул на линейку и готов был разнести ее в пух вместе с лошадьми.

Степан шел рядом с ним, оставив свои дроги на мальчонку. При виде Алены он дернул Егора за руку и что-то тихо сказал.

Игнат Сысоич понял это по-своему: «Кони и дрожки — Загорулькина, а на меня добрые люди чертом смотрят. А при чем тут я, если моему семейству нечего будет жрать еще до рождества?»

Первым нарушил молчание Егор. Бросив недобрый взгляд на Алену, он зло спросил у Игната Сысоича:

— Ты никак отработку делаешь за сватовы милости? День и ночь разгребаешь его хлеба, а они с атаманом тем часом...

— Егор! — оборвал его Степан.

Алена не прислушивалась к разговору и сидела спиной к станичникам. Но вот она услышала:

— Слезь, дело есть.

Игнат Сысоич понял: что-то касается Леона. Встал с линейки, подошел к Егору и Степану, и те, немного поотстав от подводы, сообщили:

— Леонтия властя потеряли...

— Бумагу прислали в хутор. Писарь все выложил, как на духу, за бутылкой...

И Игнат Сысоич узнал: Калина получил из Новочеркасска бумагу, в которой сообщалось, что «крестьянин хутора Кундрючевского Области Войска Донского, Леонтий, сын Игнатов, Дорохов, осужденный к высылке в отдаленные места за крамолу, совершил побег». Калине предписывалось принять меры розыска и сообщить по начальству.

— Вот какая бумага пришла, брат,— закончил Егор и мрачно добавил: — Изничтожить их надо, а не мостить их осиное гнездо своими руками,— прикоснулся он к шраму на лице.

Степан как бы виновато проговорил:

— Ты не обижайся, Сысоич. Душа болит смотреть, как ты стараешься. Аль он тебя мало учил, мироед, чи твою работу оценит? Отойдет от хвори — и опять возьмется потрошить нашего брата.

Игнат Сысоич молча пожал им руки, сел на линейку и стегнул лошадей так, что они понесли линейку вихрем.

Алена поняла: что-то случилось. Но что?

Игнат Сысоич не стал скрывать.

— Случилось, дочка: убег наш Леон от них, богом клятых. Ищите теперь ветра в поле, супостаты. Понятно? — торжествующе поведал он и погнал лошадей еще быстрее.

Алена подумала немного, потом взяла вожжи, остановила лошадей и горячо сказала:

— На станцию, батя! Сию секунду на станцию, умоляю вас.

— Так надо ж собраться, дочка. Как же так, прямо со степу?

Алена развернула лошадей, крепче взяла вожжи и гикнула:

— Ворон, наметом! Быстрее, быстрее, во всю мочь чтоб!

Один из рысаков знал ее голос. Навострив уши, он рванулся с места, увлек своего напарника, и линейка, подпрыгивая и гремя колесами, покатилась по степи, разминулась с Егором Дубовым, со Степаном, с другими хуторянами и исчезла в тучах пыли.

— Проговорился Игнат — подалась на завод. Но... молодец,— одобрительно заметил Егор.

А Игнат Сысоич, сидя на линейке, не знал, за что и ухватиться, чтобы не попасть под ноги лошадям. Наконец он взмолился:

— Придержи маненько, дочка. Сроду не видал такой езды. Перекинемся, видит бог.

— Не перекинемся, батя! — звенела Алена.— Ворон, родименький, быстрей, ну еще быстрей... Птицей чтоб! Молнией!

Она стояла на коленях, будто приклеенная к линейке, цепко держа в руках вожжи, подбадривая лошадей, упрашивая их бежать быстрее. В лицо ей дул горячий ветер, теребил сползшую на шею белую косынку, курчавые завитушки волос, выбившиеся из-под уложенной на голове тол-

стой косы, а в глазах ее было столько радости, что вся она была огонь и ветер, и вот-вот, казалось, взмоет ввысь, как степная птица, и улетит в свои золотые края, которые она конечно же видит сейчас ясно и отчетливо.

...Глубокой ночью Игнат Сысоич возвратился домой. Войдя в хату, он зажег лампу, выкрутил побольше фитиль и торжественно, как клятву, произнес:

— Ну, мать, дети, отработался я на них, мироедов. Все! Аминь!

Марья Алексеевна встала с лежанки, Настя и Федор вышли из горницы, и тогда Игнат Сысоич возвестил:

— Леон убег из Сибири. Розыск пришел в хутор. Но теперь пусть ищут! Ветра в поле ищут! — И, широким крестом осенив грудь, стал молиться на образа: — Благодарю тя, Николай-угодник, нашему делу помощник...

Долго в эту ночь не спали Дороховы.

А утром хутор облетела потрясающая новость:

— Загорульчиха кума своего побила!

— Ой, болюшки, бабы атаманьев шашками кроять!

А было так: Дарья Ивановна узнала от Игната Сысоича о розыскной бумаге и об отъезде Алены, пришла в хуторское правление и насела на Калину:

— Ты по какому такому праву, куманек, черти бы на тебе спали, следишь за хатой наших сватов? Какое твое собачье дело искать нашего зятя и строить допросы хуторянам, не кроется ли он туточки?

Калина отмахивался, делал строгое лицо, надувал красные щеки, как мячик, и наконец стал отговариваться:

— Кума, ты сдурела, накажи бог. Какого твоего зятя...

Но Дарья Ивановна не слушала его. Она схватила стоявшую в углу шашку, выдернула ее из ножен и пошла в атаку.

— А, тебе паморки отшибло? Дурачком прикидываешься, куманек бабский? Да я из твоей башки две сделаю! Говори, где бумага та треклятая!

— Кума! Постой, кума!.. — лепетал Калина, и неизвестно, чем бы все кончилось, да он нашелся: сунул ей первую попавшуюся на глаза бумагу.

— Вот она... Ох, и сумасшедшая ты, кума, — страсть! Зазря я крестил Яшку, видит бог, оплошку сделал.

Дарья Ивановна разорвала бумагу в клочья, растоптала ногами и, швырнув шашку на пол, вышла победительницей.

Калина подобрал шашку, вложил в ножны и надел на всякий случай на себя.

— Все перепуталось, истинный господь, — чесал он затылок. — Властя велят искать того крамольника, Нефед зудит, чтобы помалкивал про бумагу, Дарья чуть голову не проломила моим же клинком... Ох, тяжка царева служба! — негромко печалился он.

Глава вторая

За домом Алены было установлено наблюдение, и околоточный Карпов предупредил ее:

— Леонтий — тю-тю из ссылки. Поминай как звали. Так что жди и помалкивай.

И Алена затаилась. Но разве можно скрыть от людей радость? Соседи тотчас же заметили: Алена перестала бывать в своем магазине, не ходила на огород и поручила его тетке Гаращихе, начищала все в доме до блеска, снаружи побелила и накрасила, как под святки, и одежду Леона перегладила, а двор подметала трижды на день, будто плясать в нем намеревалась. И еще заметили соседи: каждый вечер она обязательно срезала в палисаднике две ярких, темно-темно-красных и нежных, как бархат, розы и ставила их в зале, на самом видном месте. Когда же кончался день, она одевалась в праздничное, садилась на порожке во дворе и просиживала там до третьих петухов.

И удивительное дело: до сих пор Алену как бы не замечали и вовсе перестали интересоваться ее судьбой, и вдруг все увидели, что она жила рядом, что она не такая уж и гордая, а такая же, как и все люди, и даже не чурается простой работы и «вылизала» все в доме и вокруг него до блеска, а мужнину одежонку уж так наглаживает, так накрахмаливает, будто вновь под венец собирается с ним, появись он только.

И на Алену со всех сторон посыпались самые сердечные знаки внимания – то к ней приходили за чем-нибудь, то окликали через ворота: как, мол, не надо ли чем подсобить? То приносили отведать горячих вареников с вишнями, да еще посыпанных сахаром-песком, или пирожками угощали, такими духовитыми и соблазнительными, что их хотелось проглотить единым духом, а то подолгу стояли во дворе или в доме, разговаривали о том о сем.

Алена смущалась, Алена все понимала и все принимала с благодарностью, и однако же, сколько соседки ни пытались разузнать, что сотворилось на белом свете, и почему она переворачивает вверх дном и подворье, они так ничего и не выведали. Алена отговаривалась и не выказывала своей радости даже тетке Гаращихе, к которой привязалась теперь еще больше.

Но тетка Гаращиха была тертая и как-то спросила:

– Да не кройся ты, горе наше бабское, все как на ладошке видно каждому, расшиби их гром. Сказывай уж: про Леонтия слух прошел? Радость, девонька, – это тебе не иголка в сене, ее не утаишь. Люди, они все видят и понимают, что у тебя сочинилось... Ну, чего воды в рот набрала? Аль я чужая тебе, расшиби меня гром?

– Вы мне как мать родная, тетенька. Но... как же я могу сказать, если я ничего сама не знаю? Так просто, надумала прибраться на всякий случай.

– Прибраться, расшиби тебя гром. Знаю я, как прибираются и через какие переживания. Ну, да бог с тобой. Не имеешь прав – не сказывай. А мы, бабы, все одно и так знаем: муж должон явиться, Леонтий. Ну, в добрый вам час...

Леон появился в Югоринске как снег среди лета. Сойдя с поезда на полустанке, в нескольких верстах от города, он пешком дошел до плантаций болгарина Трифона и тут, у речки, решил отдохнуть. В черной суконной тройке и в добрых юфтевых сапогах, с никелированной тростью в руке и в шляпе, он был ни дать ни взять самый элегантный приказчик самого большого магазина, а черные усы и такая же бородка могли сбить с толку даже близких, а не только шпиков – так он был не похож на того человека, фотографии которого были разосланы во все жандармские управления юга страны.

У небольшого каменного мостка через речку, на виду плантаций девчата-работницы мыли раннюю парниковую зелень — морковь, пастернак, петрушку, цветную капусту — и складывали ее на берегу кучами.

Леон поздоровался, шутливо спросил:

— Может, угостите, красны девицы? Уж больно соблазнительные,— и, взяв морковину, откусил хвостик. Морковина хрустнула на зубах, что яблоко, и Леон с удовольствием заметил: — Добрая. Она у вас всегда такая вкусная?

Девчата рады были случаю побалагурить:

— Что — морковина? Ты лучше из нас какую выбрал бы в придачу. Я бы, к примеру, каждый день по подолу приносила ее тебе — кликни только.

Леон отшучивался:

— Дурные... Я ж православный, а не турка, чтобы гарем в своем семействе устраивать... Хозяин где? Я хочу купить все это добро,— выдумал он и сел на теплый камень в стороне, возле разноцветных горок овощей.

— Смирный. Видать, жинка к юбке пришила.

— Прикуси язык, бойкая. Можно черт-те что подумать.

— Ну и думай. А мне дюже интересно с таким королем познакомиться,— слышал Леон приглушенную перепалку девчат и усмехнулся.

И в это время ухо его уловило знакомый низкий голос.

— А я тебе говорю: женись, каланча несчастная! Сколько тебя будут мучить наши бабские дела, расшиби их гром?

Леон поднял глаза и увидел: по берегу шли Иван Гордеич и тетка Гаращиха, а за ними несла синие и желтые цветы в ведре Ольга и улыбалась.

— Отстань. Свистну вон тем невестам — и отбою не будет, была бы охота канителиться с вашими юбками,— отговаривался Иван Гордеич и тряхнул огненной длинной бородой. И вдруг остановился.

Леон кинул шляпу на голову, встал и, бросив девчатам: «Спасибо, невесты», быстро пошел по тропинке.

У Ольги ведро загремело из рук, посыпались цветы, и она словно окаменела и боялась пошевелиться. «Леон! Не узнал!» — размышляла она и, как коза, запрыгала по камешкам, служившим переходом через речку, и скрылась в лозняке.

И тогда Иван Гордеич поставил ведро на землю, шагнул через речку и тоже исчез в лозняке.

Тетка Гаращиха пожимала плечами и бубнила себе под нос:

— Ничего не пойму. Нешто мухи их укусили, расшиби их гром? — и хотела догнать их, но раздумала и принялась, как у себя на огороде, наполнять ведра чужими овощами.

А Леон шел меж кустов лозняка. Встреча с Иваном Гордеичем и теткой Гаращихой никак не входила в его расчеты — старики на радостях могут проговориться. Но Ольга, Ольга... Неужели не узнала? И тотчас же вспомнилась Алена. «Эта узнала бы за сто верст. В любом наряде... Интересно, здесь ли она? Ждет ли, знает ли о моем побеге?» — спрашивал он себя и услышал позади гул сапог Ивана Гордеича и какой-то легкий, как шелест ветерка, шум лозы.

Он обернулся и остановился в радостном смятении: за ним по пятам шла Ольга. Вот она подбежала к нему и, сияющая и румяная, застыла в нерешительности. И вдруг кинулась к нему и оказалась в его объятиях.

— Наконец-то, — измученно промолвила она и посмотрела на него счастливыми синими, как лазурь, глазами.

Подбежал и расставил руки, как крылья, Иван Гордеич и обнял и Леона и Ольгу и, казалось, все кусты лозняка и троекратно поцеловал.

— Вырвался от иродов и христопродавцев, сокол наш ясный, — сказал он, похлопывая по плечу Леона, и смахнул слезу. — А Дементьевны нашей нету. Эх!

Наступило молчание. Вспомнился пятый год, баррикады, Дементьевна... И все молча сели на берегу речки.

В речке тихо плескалась рыбешка и оставляла на воде мелкие дрожащие круги. Задумчиво смотрелись в синюю воду розовые кусты калины, перевитые лапчатыми листьями дикого хмеля. Тихо, с поникшими от тьмы яблок и груш деревьями, стоял по другую сторону речки старый сад, а в конце его, на пригорке, навострив бесчисленные ветки, одиноко стоял и смотрелся в вечернее небо высоченный красавец тополь, будто на свидание со звездой вышел.

И она появилась, эта звезда, нежная и белая как невеста, и тополь заволновался и затрепетал всеми своими серебристыми листьями...

— Хорошо в родном краю! Одним воздухом жил бы и жил сто лет, — мечтательно произнес Леон и, закурив, попросил: — Ну, рассказывайте, дорогие, как дела, как друзья наши — Никита Иванович, Сергей, Бесхлебнов...

Иван Гордеич и Ольга переглянулись: Леон не спрашивает об Алене. И Иван Гордеич подумал: «Не пойму, грешник: кончилась любовь? Аль обида еще не прошла?»

Ольга рассказывала, казалось, обо всем на свете, но не говорила о самом главном. И Ивана Гордеича прорвало:

— Словом, все живы-здоровы. Деду Струкову, куму моему, доктора так ловко заштопали живот, что он еще сто годов протянет, — пристроился он к словам Ольги и продолжал: — Ваши, отец с матерью, тоже, бог дал, живы-здоровы, на хутор опять перебрались. И Аленушка дома, все начистила, как к великому дню, ждет не дождется тебя. О, сынок, она теперь высоко взлетела: собственный «Торговый дом» заимела с братцем. Делом ворочает! — вздумал он похвалить Алену.

Леону будто оплеуху дали. Он посмотрел на Ивана Гордеича потемневшими глазами, но тот был что святая невинность. Тогда он перевел взгляд на Ольгу, но она отвернулась и срывала травинку за травинкой, будто загадки загадывала и никак не могла отгадать.

— Алена — и «Торговый дом»? Что за чепуха? — досадливо поморщился Леон. Стыд и обида переполнили его душу.

Ольга вздохнула, бросила траву и сказала:

— Яков втянул ее в эту коммерцию.

— Яков... — мрачно повторил Леон. — У нее всегда были причины: то брат, то отец «втягивали» во что-нибудь. — И, помолчав, сказал с болью, с горечью: — Ну что ж, вольному — воля, святому — рай. Иван Гордеич, вы можете позвать сюда Сергея Ткаченко? Больше никто обо мне знать не должен.

— А чего же не позвать? Ног не занимать, — охотно согласился Иван Гордеич и встал.

И Ольга встала и оправила юбку, притихшая и как бы сразу ставшая безразличной ко всему на свете.

— Ты останься, нам надо поговорить,— задержал ее Леон.

Ольга отрицательно качнула головой, посмотрела на место, где был Иван Гордеич, а его и след простыл. И странно: оставшись наедине, она не знала, о чем говорить.

Леон первым нарушил затянувшееся молчание и низким голосом спросил:

— Ты ждала меня?

Ольга подняла на него глаза, они сверкнули, но тотчас же потухли. Спокойно и твердо она ответила:

— Ждала, Леон. Но тебя ждет и Алена.

— Алена сама перечеркнула свою жизнь.

— Но она любит тебя! — воскликнула Ольга не то с укором, не то с завистью и отчаянием.

— Возможно. Но теперь это ни к чему. Она вложила свою любовь в «Торговый дом», в капиталы братца. Пусть будет тем довольна.

Ольга вздохнула, не сразу проговорила:

— Не будем обманывать себя, Леон: с Аленой у тебя узелок не развязан. И никогда не развяжется. Она — твоя законная жена... А я... Я — никто. Была и буду. Всегда.

— Ольга, я люблю тебя, пойми ты это,— произнес с обидой и горечью Леон.

— Не могу. Не хочу. Устала. Ты не виноват. И я не виновата. Такова жизнь,— прошептала Ольга и закусила губы, чтобы не расплакаться, но тотчас же подняла голову: — Нам нельзя больше задерживаться. Она вот-вот прибежит. Иван Гордеич все равно скажет о тебе...

И быстро пошла по тропинке.

Алена только сегодня, впервые за много дней бесцельного ожидания Леона, появилась в магазине, но еле досидела до поры, когда надо было закрывать. Домой она приехала уставшая и раздраженная и велела кучеру больше не приезжать. Не хотела она ни торговать, ни смотреть на этот самый богатый в городе магазин, на приказчиков и покупателей, а хотела завязать глаза и уйти, куда приведут ноги от срама, от обиды, что Леон не приехал в Югоринск, не пришел домой и придет ли — неизвестно. Но едва она переоделась и вышла в огород полить цветы, как калитка широко распахнулась и во двор ворвался Иван Гордеич. Запыхавшись и тяжело дыша, он негромко окликнул ее и таинственно зашептал:

— Дочка, поди сюда. Живо! Да шибчей, ради бога

Алена только взглянула на него, возбужденного, нетерпеливого, и все поняла: «Леон!» Ноги ее подломились, по телу побежали холодные и колючие, как крапива, мурашки, и она медленно опустилась на скамью.

— В лозняке возле болгарского мостка — он,— говорил Иван Гордеич и хотел добавить: «С Ольгой сидит», но раздумал.

И Алену сдуло со скамьи. Остальное было как во сне: из сундука, из шкафа порхнули красочные, дорогие и дешевые юбки и платья, кофты и блузки, гетры, платки, полушалки. В самое лучшее, в самое красивое хотела одеться Алена и выбирала, выбирала и не могла выбрать наряда. Наконец она выбежала из дому в розовой батистовой блузке, перехваченной

в талии, в синей сатиновой юбке с тысячью оборок и сборок и в черных гетрах.

Иван Гордеич подбирал с пола юбки и блузки, навалом складывал их в сундук и вздыхал:

— Раздор, татарский набег на имущество вышел. Вот оно какое дело... Только с Ольгой же он, дочка! Как же вы делить будете эту любовь? — обратился он к Алене.

Но Алена уже была за поселком и все прибавляла шагу так, что камешки разбегались из-под ее ног и дробно отскакивали в сторону.

— Лева, муж мой... Я повинюсь... Я переменюсь вся... — повторяла она в десятый раз.

Навстречу ей плыла красная луна, дул степной ветер, доносил до нее сладкие запахи цветов и все теребил косынку, надувал юбку, словно подсобить ей хотел, поднять и унести туда, куда она бежала. Но Алена и без того летела, как птица, и уже вся была там, возле речки, средь кустов лозняка, и ясно видела Леона, заросшего бородой, одетого в арестантское, измученного до крайности.

Наконец она остановилась, перевела дыхание. В голове шумело, ноги были что деревянные, лицо горело, и лишь глаза вспыхивали на лунном свету, и вот-вот, казалось, из них посыплются искры.

— Запалюсь. Упаду... Господи, подсоби мне хоть в эту минуту... — шептала она.

И опоздала... Леона у речки не было. И никаких следов его не было, точно он в воду канул.

Алена бросилась в кусты лозняка, обшарила их, прошла вперед, воротилась назад и от изнеможения, от боли упала на траву.

— Ушел... с Ольгой... Ох, проклятая, что я сделала со своей жизнью! — стонала она и рвала, мяла траву в бессильном гневе.

...Домой она возвращалась, еле переставляя ноги. Голова ее была опущена, в руке болтался платок, волосы были растрепаны. «Всё. Теперь всё. Теперь конец», — говорила она про себя.

На мосту через запруду она остановилась. По левую сторону земляного вала, на берегу става, мерно шумела мельница, направо сбегала вниз по бетонному коридору в нижний котлован вода и там кружилась, как в омуте.

Алена глянула вниз и вспомнила: недавно, купаясь, отсюда прыгнул мальчуган, и больше его не видели...

— Эй, девка! Смотри не упади! Костей не соберешь, — послышался голос рыбака.

Алена вздрогнула и пошла прочь.

Всю ночь она просидела на ступеньках крыльца, прислушиваясь к шагам на улице, к голосам прохожих, но чужие то были голоса, незнакомые были шаги. И она вновь тоскливо шептала:

— Не пришел. Не простил...

Но не такая была Алена, чтобы так просто расстаться со своим счастьем, и на следующий день пошла к Ольге.

Ивана Гордеича уже не было дома, а Ольга собиралась на работу.

Не поздоровавшись, не спросив, видела ли она Леона, Алена измученно сказала:

— Он был с тобой. Ты была с ним... Откажись от него, выкинь из своего сердца и скажи, что ты его разлюбила.

Ольга посуровела, задумалась и не нашлась что ответить. Ей и жалко было Алену, и обидно за нее, за ее унижение.

Алена словно боялась, что ей не дадут сказать всего, и продолжала торопливо, скороговоркой:

— Откажись от него, не отымай последнюю мою надежду в жизни, Ольга, заклинаю тебя именем матери. Ты же женщина, ты все сама должна понять.

У Ольги дыхание перехватило от волнения, она отстранила Алену, долго смотрела в ее воспаленное лицо и наконец ответила:

— Ты сама разрушила свою жизнь, Алена. Что я могу тебе обещать? — Она подумала немного и спокойно и твердо заключила: — Ничего... Ничего не могу обещать.

И Алена поняла: напрасно она пришла сюда, зря говорит о своем горе. Она выпрямилась, люто сощурила глаза и выкрикнула, как заклятье:

— Ты отняла у меня мужа! Ты украла мое счастье! Бесчестный ты человек! Так знай: моя любовь сильней! Я не поступлюсь, не кину его и не откажусь от него, даже если бы мне довелось пройти через огонь и воду. И считай, что других слов ты от меня не слыхала. И больше не услышишь, — заключила она грозно и, резко повернувшись, быстро пошла.

Ольга стояла с поникшей головой, и чувство растерянности и стыда и досады охватывало ее все больше.

И ей хотелось вернуть Алену и сказать: «Я не украла твоего счастья, Алена. Я люблю Леона. Но твоя любовь сильнее. Иди к нему, а я...»

Тут мысли Ольги оборвались. Не могла она так сказать. Не видела она своей вины в том, что на протяжении многих лет всей душой, всеми думами стремилась к человеку, который стал для нее ее жизнью. И она не навязывала этому человеку своих чувств, не старалась отторгнуть его от другой любящей женщины. Наоборот, она носила свои чувства в себе робко и тихо и готова была нести до конца. Так в чем же ее обвиняют?

Прогудел второй гудок. Ольга заторопилась, схватила узелок с харчами и, набросив платок на голову, пошла на работу, а потом побежала. Бежала, то и дело спотыкалась и, добежав до контрольных ворот, упала на скамью.

— Повесьте мой номер, дядя Никита, — попросила она сторожа, деда Струкова, и тылом ладони смахнула градины пота, покрывшего лицо.

— Ты чего, Ольга?! — удивился дед Струков. — Ай горе какое навалилось, язви его? Ох, уж эти девчата... Того и гляди беды наберешься с вами. Иди в цех, а то мастер живо расчет составит...

Ольга посидела несколько секунд, о чем-то думая, и вдруг решительно встала.

— Расчет. Только расчет.

Леон не был в восторге от того, что застал в Югоринске. Ткаченко мог делать невероятные вещи, но вести черновую работу и руководить организацией — для него было пыткой. Именно поэтому он с радостью и передавал комитетские дела Леону, а заодно и большую сумму — три

тысячи. Откуда они? Он не стал скрывать и сказал: в прошлом месяце экспроприировал государственного кассира.

— Молодец,— иронически заметил Леон.— И вообще все вы, кажется, одним миром мазаны. Ты перемахнул к анархистам, Кулагин натащил в организацию всякой швали и конечно же провокаторов, Ряшин доагитировался за думу до того, что во время митинга на мосту был смят толпой и свалился в речку. Не знаю, кто из вас будет отвечать за этот развал,— заключил он и спросил: — Где Ольга? Она-то за чем смотрела и почему на вас узду не накинула?

— Чего ты ко мне пристал? Я, что ли, провокаторов натащил в организацию? И деньги... Эка велика беда, если немного казначейство потрусил! Тебе надо спрашивать за все с этих лидеров — Ряшина и Кулагина. Они тут командовали, будто Куропаткин с Линевичем в Маньчжурии.

— Позови Ольгу. Надо хорошенько обдумать план сходки.

Ткаченко вздохнул, что кузнечные мехи надавил, и мрачно ответил:

— Она уехала. Дед Струков сказал.

— Как — уехала?! — удивился Леон.

— А так: села на поезд и уехала. С Аленой, должно, поговорила как следует.

И Леону стало все понятно: «Алена ходила к Ольге... Просила, конечно, обвиняла, грозилась...»

Ткаченко сказал с укором:

— А ты зря так обошелся с Аленой. Даже не позвал ее, не захотел толком поговорить. Каменный человек.

Леона задело это, но он промолчал. В конце концов, Сергей в какой-то мере прав.

Ткаченко сидел на бревне, что борец: в плечах — косая сажень, ноги расставлены, грудь — колесом, и лишь голова была низко опущена да сильные руки лежали на коленях без дела. Видно было: тяжко ему, одолевают его какие-то думы, а какие — молчит.

— Домой пойдешь? — спросил он глухо и настороженно.

— Не знаю,— ответил Леон.

— За домом следят.

— Должны следить.

— Может, позвать все-таки Алену?

И разговор оборвался. Было очевидно: оба что-то не договаривают, не хотят назвать нечто, после чего разговаривать будет бессмысленно. Но Ткаченко любил действия решительные и поэтому, долго не думая, спросил:

— Ну хорошо, про дела мы еще поговорим, они никуда не убегут. Скажи прямо: будешь ты жить с Аленой или второй раз будешь жениться?

Леон глубоко затянулся папиросой, бросил ее в речку и недовольно ответил:

— Сергей, я бежал из ссылки не свадьбы устраивать, а сходки. Советую и тебе делать то же.

И Ткаченко не выдержал. Он вскочил с бревна, возбужденно прошелся взад-вперед и сразу повысил голос:

— Я не знаю твоих планов, не знаю, что там у вас получится с Аленой, но я должен тебе сказать прямо: без Ольги — это не я, Сергей Ткаченко, а пропащая душа. А теперь давай решать, как нам быть.

Леон молчал. Махнуть рукой на его слова он не мог, к Алене возвращаться не хотел. И он задумчиво проговорил:

— Так. Значит, и тут узелок завязался.

— Крепко завязался. Руками ничего не сделаешь,— зло подтвердил Ткаченко.

Это была почти угроза, и Леона она возмутила. Не желая продолжать этот разговор, он жестко отрезал:

— Прекратим эту болтовню, Сергей. И... давай расставаться. Я буду у болгарина Трифона Ивановича. Никого ко мне не направляй. После сходки я уеду к Чургину, а уже потом и займемся делами.

Он достал новую папиросу, закурил и встал, но не уходил, ожидая, когда Ткаченко успокоится. Но тот ходил и молчал. И Леона охватила такая досада на себя, что он готов был крикнуть: «А пропади оно все пропадом, Сергей! Давай будем, как и прежде: вместе, всегда». Но он не крикнул, а постоял еще немного, попрощался и ушел.

На сходку, назначенную в лесной балке, в пяти верстах от завода, он пришел едва ли не первым, чтобы посмотреть, что за народ явится, с какими мыслями, и познакомиться с новичками. Ему было известно, что в организации царит хаос, что никто даже не знает, сколько в ней насчитывается человек и кто они такие, и он ничего хорошего от сходки не ожидал. Да это была и не сходка партийцев, а массовка, на которой обычно проверялись новые люди, но Леону сегодня большего и не требовалось.

Он прилег под старым дубом, в тени, облокотился и стал ждать. И увидел: люди шли гурьбой, по пять — семь человек, разодетые в самое пестрое, громко разговаривали, смеялись, как на ярмарке, а какой-то ухарь даже затянул песню, да благо, на него зашикали, и он утихомирился. И Леон подумал: «Это — базар. С такими «боевиками» дальше полиции не пойдешь. В первый же вечер...»

Вскоре пришел Ткаченко. Он был одет во все черное, ни с кем не разговаривал и будто никого не замечал.

— Подсядь к Сергею,— тихо посоветовал Леон Бесхлебнову.— Что-то он не в духе.

Бесхлебнов подсел к Ткаченко, перебросился с ним о том о сем и спросил в упор:

— Ты что задумал, Сергей? Смотри, за председателя мы в ответе головой. Ты — в первую очередь.

— За провокатором наблюдаю. Следит за Леоном.

Бесхлебнов удивился: действительно, какая-то крайне развязная личность, болтающая все время, как в пивной, то и дело бросала взгляды на дуб, под которым лежал Леон, и настороженно посматривала на верхушку балки, откуда приходили люди.

Ряшин пришел вдвоем с Кулагиным, посмотрел на собравшихся и покачал головой. Такого и он не ожидал и с досадой сказал Леону:

— Не массовка, а пикник приказчиков. Черт знает, откуда их привалило. Да, а мы с тобой еще и не здоровались.— Он пожал Леону руку, поздравил: — Ну, молодец, что удрал. Ко времени прибыл. Сам видишь, до чего Сергей довел организацию. Так что скорее становись на свой лидерский пост, хотя это мне, по совести говоря, не особенно интересно. Ты ведь опять примешься за свое и начнешь потрошить нашего брата.

Ряшину нельзя было отказать в объективности, и Леон спросил:

— А ты все еще пребываешь на своем неизменном посту — лидера меков и руководителя губернского центра? Старый уже стал, пора бы и одуматься.

Ряшин усмехнулся. Чудак человек! Он принял все за чистую монету. Да, конторщиков и приказчиков пригласили его люди, неудачно пригласили, но неужели из-за этого надо впадать в уныние? Мало ли что бывает... «Шваль выгоним, а хорошее само останется», — думал он и поднялся.

— ...Прости, пришел приказчик нашего скототорговца. Уж ему-то здесь совершенно делать нечего.

Подойдя к молодому франтоватому человеку с черненькими усиками и белым галстуком бабочкой, он отвел его в сторону, а спустя немного вернулся и сообщил:

— Выставил шваль.

— Он может привести полицию, — недовольно заметил Леон.

— Побоится. Я предупредил.

Ткаченко продолжал наблюдать за своим подопечным конторщиком, беспечно раскуривавшим папиросу за папиросой, и наконец негромко, но довольно сердито предупредил его:

— Молодой человек под карагачем, бросьте курить. Вы уже десятую папиросу изводите.

Конторщик послушно загасил папиросу.

Леона из чужих никто не узнал, и каждый слушал его довольно внимательно. Ряшин и Ткаченко удивлялись: о, это уже не тот Леон, которого они знали. Собственно, он-то был все тот же, резкий и грубоватый, но знания, знания были не те, речь не та, манера говорить и держаться иная. Не было прежней горячности, громких слов и слишком ортодоксальных определений, а была какая-то мягкость во всем, даже в обращении, в речи, в самом тоне ее, как будто он годы прослужил по дипломатическому ведомству.

И Ряшин прошептал Ткаченко:

— Смотри и мотай на ус, как следует подниматься по лестнице профессионального политического деятеля. А тебя сколько ни наставляй на ум, ты, кроме бомб и разоружения полиции, ничему так и не научился. Еще эксы научился производить. Недалеко ушел...

Ткаченко готов был воскликнуть: «Так вот ты каков! Показал наконец себя и свое отношение ко мне. А я-то за тебя горой стоял. Какой я дурак! Какой непроходимый дурак!» Но разговаривать было неудобно: Леон читал лекцию. Собственно, это была не обычная лекция, какие читались в клубе инженеров местными общественными деятелями, это была беседа о партии, о ее мировоззрении, о задачах и устремлениях в общественном движении России. Но Ткаченко слушал рассеянно — мало ли об этом говорилось прежде? — и продолжал свои наблюдения за конторщиком, почему-то вновь закурившим папиросу.

— Эй, под карагачем, опять вы курите там? Прекратите! — раздраженно заметил он.

Но на этот раз куривший как бы не слышал его слов и продолжал дымить так, что искры сыпались, как будто во рту у него была трубка. Ткаченко подсел к нему, взял папиросу и понял: она была набита махоркой.

Леон заметил это, но продолжал говорить, стоя на коленях:

— ...До сих пор философы всех стран и времен говорили о необходимости познания мира. Маркс впервые поставил перед революционным человечеством новую задачу: изменить этот мир, переделать его в соответствии с новыми требованиями времени. Социал-демократическая партия и стремится к тому, чтобы видоизменить современный общественный мир со всеми его институтами угнетения и рабства, узаконенного и фактического...

Больше Леону говорить не пришлось: с бугра, на который все время посматривал куривший конторщик, послышались полицейские свистки.

Леон успел сказать:

— Расходиться вниз и вверх балки. Быстро!

Все вскочили на ноги и заторопились к речке, но там была полиция. Тогда все бросились вверх по балке, но и тут их встретила полиция. «Обложены. Провокатор...» — подумал Леон и бросился в лес. И тут был схвачен.

— А-а, вот ты где, красавчик! — раздался злорадный голос.

Леон крутнулся и пихнул ногой в живот какого-то чина, но это ничего не дало, и его еще крепче схватили за руки.

— Именем закона!

— Стой, стреляю!

— Лови того, богатыря!

И поднялась суматоха: свистели свистки, кто-то кого-то бил, кто-то стонал, ругался, грозился, и то и дело раздавалось:

— Эх, ваша благородь, не серчай!

— Лупи их, фараонов, братцы!

— Лектора отымай, лектора!

Леон боролся с отчаянием и уже троих перекинул через себя так ловко, что полицейские не могли подняться, но вдруг получил два удара в плечо и по шее кастетом.

И в это время сзади на полицейских, словно медведь, навалился, подмял их под себя Ткаченко, и Леон услышал его голос.

— Уходи, я придержу их. А вы лежите смирно, пока души целы! — прикрикнул он на полицейских, стоя у одного коленом на груди, а другого придушив за горло.

Когда Леон был вне опасности, в балке раздался выстрел.

— Падаль... Пришлось убрать, — сказал подошедший Ткаченко, пряча маузер.

— Тот, с махорочной папиросой?

— Он...

Массовка была сорвана, на новое место, назначенное заранее, пришло человек десять, и последними — Ряшин и Кулагин, растрепанные и взбешенные, и начали костылять Ткаченко:

— Дряни натащил в организацию, а теперь и шагнуть будет нельзя.

— Сдавай пост! Молокосос! — ругался Ряшин.

Ткаченко удивленно сказал:

— Позвольте, приглашали всех вы с Кулагиным. Как у тебя хватает...

— У нас всего хватает. Не хватало лишь одного: настоящего председателя организации. Ну, да теперь это дело поправится.

Леон молчал, молчал и неожиданно сказал:

— Обсудим на комитете. За такую массовку, за такой сброд придется ответить. Вам с Кулагиным, — огорошил он Ряшина.

— Нет уж, увольте, други мои,— запротестовал Кулагин.— За Ивана я отвечать не намерен. Это его люди, он их приглашал.

Ряшин готов был размахнуться и дать ему оплеуху, но сдержался и сказал презрительно:

— Навоз конторский... Мы еще с тобой поговорим, надеюсь,— и отошел в сторону.

Кулагин возмутился:

— Это безобразие, Леон. Я требую... Я категорически требую суда, да, да, товарищеского суда над Ряшиным! Это — двурушник, самый подлый и самый ядовитый двуликий Янус!

Возвращались Леон и Ткаченко со сходки с тяжелым чувством. Было очевидно: все придется начинать сначала. Организации, по сути дела, нет, а есть группки партийцев, среди которых затесались обыватели, а то и прямые провокаторы. Затесались не без участия Ряшина...

Ткаченко думал о разговоре с Леоном, о прогулке с Ольгой и о своем предложении ей. И вот она не осталась ни с кем. Так стоит ли идти на разрыв с Леоном, на такой разрыв, после которого уже ничего хорошего не может быть, а может быть только вражда, ненависть, месть...

Леон сказал дружески и как бы виновато:

— Сергей, ты выручил меня от неприятности...

— Это — мой долг.

— Спасибо. Но я хочу не об этом... Между нами наметилась серьезная трещина. Если ее не починить, она вырастет в пропасть.

— Я знаю это. Вряд ли мы договоримся, скорее всего разойдемся в разные стороны.

— К Ряшину пойдешь, в мальчики?

— К черту, к дьяволу на рога, но только не к Ряшину. Я не любил в тебе прямолинейности и резкости. В Ряшине я не люблю все его нутро. Впрочем, давай поговорим об Ольге. Я сделал ей предложение. Как ты на это смотришь? У вас — старая дружба, если не сказать больше,— угрюмо спросил Ткаченко.

На скалах закричали сычи — разом, будто прилетели сюда со всего света, и хохот, дикий и противный, эхом полетел над речкой, над вербовыми рощами и растревожил ночь.

Леон посмотрел вверх, на скалы, и сказал, поморщившись:

— Противная птица. Отец мой говорит, что сычи кричат не к добру. Как думаешь, Сергей?

Одна белая луна вяло и неторопливо ныряла средь облаков или играла в прятки, то прячась, то выглядывая белым глазом. И Ткаченко, скрывая раздражение, ответил:

— Меня интересуют не сычи. Меня интересует твой ответ. Говори, что нам делать: драться или расходиться миром?

Леон вздохнул. Да, надо назвать вещи своими именами. И он ответил:

— Я приехал к Ольге. А теперь суди, что нам с тобой следует делать дальше.

Ткаченко сбычил голову, зло ударил ногой какой-то камешек и вдруг сгреб Леона за грудки и прорычал в лицо ему:

— Я убью тебя! Ты залез в мою душу и вынул оттуда все. Что ты оставил мне? Что, я у тебя спрашиваю?

И Леон не смог больше сдерживаться: он ударил его по рукам, потом схватил за правую руку и скрутил ее.

— Дурак ты, Сергей, и больше ничего,— бросил Леон незлобливо и пошел прочь. Потом обернулся и сказал: — Ушла она от меня. Совсем...

Ткаченко стоял и не мог поднять голову. Стыд и ярость безмерная охватили все его существо, и он опротивел сам себе и готов был удушить себя за свое бессилие, за свою неудачливость, за дурацкую подозрительность — за все, что мешало ему всю жизнь стать настоящим человеком. Любимым человеком...

Он крикнул на сычей с неистовством помешанного:

— Да замолчите-е-е же, проклятые! — и повалился на каменистую землю, и бил, бил ее кулаками, пока из-под ногтей не пошла кровь.

Сычи замолчали. И вербы молчали. И речка тихо перешептывалась с красноталом.

Глава третья

Виталий Овсянников был поэтом, был романтиком дела и схватился за голову, когда узнал о свеаборгских событиях. Он разругался со своим центром, потребовал, чтобы ему поручили убрать генерала Лайминга, требовал вообще актов немедленных, особенных, эхо которых прокатилось бы по всей России и от которых задрожало бы все самодержавие. И ничего такого особенного не мог совершить: боевой центр эсеров лишь обещал ему такие акты и ровно ничего не поручал.

Виталий Овсянников пошел к друзьям-максималистам и принял участие в деле: взорвал дачу Столыпина в Аптекарском переулке. А через несколько дней узнал, что боевиком Копоплянниковой убит генерал Мин, командир Семеновского полка, разгромившего Пресню.

Тогда Овсянников пришел к Азефу и сказал:

— Мы убираем генералов, охотимся за министрами, швыряем бомбы во всякую дрянь, а эсдеки тем временем поднимают крепости, флоты и корабли против всех министров и всего самодержавного строя. И оставляют такие шрамы на теле царской России, которые вряд ли когда-нибудь заживут и затянутся, которые будут все время кровоточить, разъедаться новыми свеаборгами и кронштадтами, потемкиными, очаковами, азовами и рано или поздно разложат весь организм царизма... Все, господа. Пойду по свету искать, где оскорбленному есть чувству уголок... Честь имею,— сказал он Азефу.

Азеф выслушал его и зло спросил:

— Вы что, с Зинаидой Жученко сговорились? Та тоже помешалась на актах и на Столыпине. Иди искать свой уголок, можешь даже в охранку сообщить о своих товарищах. Но помни: в случае чего — ставь свечу заранее. Пощады не будет.

Овсянников помрачнел.

— Но-но, сударь, вы забыли, что я неплохо стреляю, черт побери! — угрожающе повысил он голос и предупредил: — А за Зинаиду Жученко ты не особенно беспокойся: она слишком преданна тебе, чтобы изменить партии.

— Это еще что за выдумки? — вскипел Азеф. — Убирайся ко всем чертям. Вместе со своей Зинаидой. Обойдемся без тебя. И без вас обоих. Мальчишка...

Овсянников запустил руку в карман, и Азеф понял: с этим юношей шутки плохи. И более мягко сказал:

— Я пошутил, Виталий. Не хочешь быть с нами, — я освобождаю тебя от обязанностей по боевой группе. Да, честно сказать, у тебя слишком резкий характер: сам можешь нарваться на петлю и других подвести. Прощай и не поминай лихом. Если у тебя нет терпения ждать дела...

И Виталий Овсянников оказался в полном одиночестве. «Обойдутся без меня... Ну что ж, Азик: раз обойдетесь, черт с вами. Мой черед придет с другого конца. Нет, не бомбы швырять я буду теперь, а нечто более существенное делать. Довольно мне рисоваться революционером. Им надо быть, друзья мои. Да, быть», — рассудил он и пошел к Зинаиде Жученко поделиться новостью.

Зинаида Жученко была потрясена:

— Ты уходишь? Совсем выбываешь из партии?

— Да, ухожу, Зинель. Совсем. Надоело слоняться в этой Финляндии без дела. Быть может, пойду в дьяконы, все хоть польза какая-то будет, — шутил Овсянников.

— Не валяй дурака. Я переговорю с Азефом, и все станет на прежнее место. Ты получишь задание на акт самый интересный.

Овсянников сказал просто и откровенно:

— Зинель, милая моя, а надоело мне все это! Акты, болтовня наша и прочее, прочее, как царь говорит. Давай выпьем за мою горемычную душу и расстанемся. Быть может, навсегда.

Жученко задумалась, зло посмотрела ему в худое бледное лицо и, казалось, готова была разорвать его на мелкие кусочки, но вместо этого обняла и сказала:

— Я люблю тебя, чертушка. Вот моя беда.

Нельзя сказать, чтобы Овсянников вставал в позу, нет, он просто не хотел толочь воду в ступе, а хотел действий, решительных и серьезных действий революции. Но с кем и где действовать, если все связи с Лукой Матвеичем, Чургиным, Леоном потеряны, а с питерскими эсдеками у него не было ничего общего?

И решил Овсянников: а будь что будет, но сидеть здесь, в Финляндии, в этой дачной деревушке, в Куоккале, и делать бомбы для других больше нечего. Арестуют или не арестуют в России — наплевать. До сих пор все сходило довольно гладко, авось сойдет и впредь, а в случае чего можно будет и удрать, как то пришлось сделать в Югоринске.

В это время и появился Лука Матвеич. Виталий глянул на него — и ахнул от изумления: старый друг его и наставник по новочеркасскому кружку студентов был одет, как самый последний батрак или кочегар. Аллах его знает, на кого он и был похож: черный, заросший, с ввалившимися глазами, изможденный и измотанный до последней степени.

— Лука Матвеич! Откуда вы? Что с вами случилось? Черт знает, что за времена такие наступили: своего человека узнать невозможно! — возмущался Овсянников.

Луке Матвеичу было не до разговоров: он слишком устал, слишком

наголодался и не знал, что прежде попросить — есть или разрешения поспать как следует. В конце концов он попросил поесть.

— Соловья баснями не кормят, парень. Угощай чем бог послал, дай поспать хорошенько, а тем временем приготовь подходящую одежонку, чтобы я мог превратиться в человека, а тогда все и узнаешь,— сказал он.

Виталий Овсянников накормил его, уложил спать рядом со складом своих бомб и пошел искать подходящую одежду. Но, поразмыслив, поехал в Петербург, закупил там целый магазин, благо денег у него было от экса хоть пруд пруди, и вернулся в Куоккалу вечером.

Лука Матвеич уже выспался, побрился и грел самовар, раздувая его у порожка при помощи своего довольно пострадавшего за время заграничных мытарств сапога.

— Ну, теперь можете принять любой вид: земского врача, учителя, коммерсанта,— сообщил Овсянников, выкладывая из коробок одежду и обувь.

Лука Матвеич качнул головой не то восхищенно, не то осуждающе, критически осмотрел наряд самого Овсянникова и поинтересовался:

— Эксами промышляешь? Такую уйму добра привез... И сам будто второй Яков Загорулькин. Отчаянная башка, да жаль, дурню досталась.

Овсянников ответил не без гордости:

— С этим покончено.

— То есть?

— Я вышел из партии социалистов-революционеров.

Лука Матвеич улыбнулся.

— Ишь ты какой бедовый стал, а? В таком случае больше и расспрашивать не стоит.

— Не стоит, учитель. Расскажите лучше о себе. Вид ваш говорит о довольно-таки неспокойной жизни. Были в Свеаборге? Или в Кронштадте?

Лука Матвеич не ответил, а стал примерять одежду. И — диво: все оказалось таким удобным, будто портной специально пригонял, а когда переоделся, подошел к Овсянникову, обнял его и сказал отечески:

— Доброе дело сделал, сынок. И как нельзя вовремя. А кабы еще и со мной поехал в Питер — совсем было бы великолепно. Мне надо кое-что рассказать там, но на первый случай самому делать неудобно, могут засечь.

— О Свеаборге? Кронштадте? Да говорите же, бога ради,— настаивал Овсянников.

— О Свеаборге, хлопче, о легендарном Свеаборге. Побывали мы там, повидали с Михаилом Рюминым. Не знаю, уцелел ли он.

Глаза Овсянникова засверкали восторженно, и весь он превратился во внимание.

Лука Матвеич рассказал о восстании, о своих приключениях. Собственно, приключений было немного: отъезд на лодке с островов в последнюю минуту, вместе с красногвардейцами капитана Кока, потом отплытие в Швецию на такой древней посудине, что ее едва не перевернуло в море, затем скитания в чужой стране под вымышленной фамилией русского рабочего-эмигранта, служба на рыболовном судне, на пароходе кочегаром и, наконец, Финляндия...

И перед Овсянниковым мысленно встала вся картина событий: и как палили из крепостных пушек, и как ревельская эскадра сокрушала на остро-

вах все до основания. И он думал: «Вот где люди занимались тем, чем и до́лжно заниматься настоящему революционеру. И в Кронштадте было настоящее дело... А я-то мечтал своими бомбами перевернуть мир! Наивно и глупо. И я тысячу раз прав, что покончил с этими позерами. И вам, господа игрушечные р-р-революционеры, следует кончать с такой жизнью, с такими выдумками, с актами и прочими атрибутами народничества. Не то время, не те люди, не те задачи стоят перед Россией...» Но вслух ничего этого не сказал, а вздохнул несколько раз, прошелся по комнате, взвихрив светлую шевелюру, и заключил вслух, как бы подводя итог своих ошибок и увлечений:

— Сколько времени пропало, сколько иллюзий развеялось в дым! Всё. Разрыв полный и окончательный с иллюзиями, и с актами, и со всем тем, чему я поклонялся и верил, как последний осел.

Лука Матвеич молчал. Что ж, коль человек сам понимает, что к чему, в добрый путь, как говорится. И предложил ехать в Питер вместе. И странно: даже не потрудился спросить, к какой теперь партии намерен примкнуть Виталий Овсянников, что думает делать, а просто поручал ему то одно, то другое.

Как-то, когда шли с собрания, где выступал Ленин, Овсянников спросил:

— Лука Матвеич, почему вы ни о чем не спрашиваете меня? Ведь я должен был прежде заслужить ваше доверие, пройти какой-то экзамен, а вы так, вдруг, приобщили меня к своей, большевистской, деятельности. А ежели я окажусь не тем, за кого вы меня принимаете? Об этом вы беспокоились?

Лука Матвеич стрельнул в него лукавыми глазами и ответил серьезно и как бы виновато:

— Да, вот это-то я и упустил – побеспокоиться. Никак времени недостает, как видишь, проверить тебя и прощупать до косточек. Вот незадача какая вышла, не успел. Мне казалось, что я тебя знаю еще с того кружка, в который ты ходил ко мне в Новочеркасске, а выходит, ты скинул то время со счетов...

Виталий Овсянников улыбнулся: хитрый, старый! Говорит так, как будто действительно сожалеет, а на самом деле и не думал тебя проверять или колебаться по поводу твоих намерений.

И с благодарностью сказал:

— Я все понял! Можете ничего больше не говорить... Мне остается лишь благодарить судьбу, что она вновь свела меня с вами в эту трудную пору моей дурацкой жизни.

— Судьба... Любопытно, – произнес задумчиво Лука Матвеич и вдруг спросил: – Это хорошо, что мы опять вместе. Но... надолго ли? Вот закавыка.

И остановился как бы закурить трубку, но не закурил, а вертел ее в руках и чего-то ждал.

Овсянников тоже остановился, почему-то бросил руки по швам и сурово, даже официально, проговорил низким голосом:

— Навсегда, товарищ Борщ. До конца. И позвольте мне обнять вас. Как друга, как отца.

Лука Матвеич обнял его, похлопал по плечу и негромко произнес явно обрадованно и тепло-тепло:

— Ну, в добрый час, Виталий. Я знал, что ты когда-нибудь так именно и скажешь мне. Спасибо, не подвел...

Нет, что ни говорите, а умел старый Борщ изменить пути-дороги человеческие и сказать тебе такое, после чего хоть в огонь, хоть в воду, но только вместе, только рядом с ним...

В этот же вечер Виталий Овсянников расстался с Петербургом и выехал в свои родные края. Искания кончились. Мытарства остались позади. Впереди была новая жизнь, новые дела, все новое...

Само собой разумеется, что первый дом, который Виталий Овсянников решил навестить в Новочеркасске, был особняк Задонсковых. Много было связано у него хорошего с этим особняком — добрых воспоминаний, надежд и разочарований, страстей и споров, а самое главное — здесь все было связано с именем Оксаны. Где она теперь? Неужели вернулась к Якову и родит ему детей, забросив былые увлечения и привязанности, баррикады и друзей? Если это так — стоит ли заходить в особняк и не лучше ли ехать дальше, к Чургину, который, наверное, уже поджидает его, предупрежденный Лукой Матвеичем?

Об этом думал Овсянников, шагая по Крещенскому спуску навстречу золотой голове собора, и не заметил, как прошел нужный переулок.

«Что-то, сударь, вы размечтались. И, кажется, немножко ударились в сантименты. Прошлое есть прошлое, и его не вернешь никакими потугами. Нет перед вами прежней Оксаны, нет и прежнего семинариста Виталия Овсянникова. Так что поднимите голову и идите тверже и решительнее».

Так мысленно говорил Овсянников и наконец вошел во двор Задонсковых. Вошел — и остановился, увидев горничную Феню.

— Господин...

Овсянников приложил палец к губам и, подойдя к ней, тепло поприветствовал, спросил совсем по-прежнему:

— Что там припасено на кухне? Сладкое? Сдоба? Несите все сюда. Вспомним добрые времена молодости.

И тут узнал: Оксана живет и работает в Александровске, а здесь сейчас находятся Яков и генерал Суховеров и о чем-то говорят, говорят и никак не могут договориться и, кажется, бранятся.

— Бранятся,— повторил Виталий Овсянников.— Что ж, послушаем, по какому поводу идет перепалка. Не докладывайте обо мне, Феня, я сам поднимусь наверх.

В гостиной шел крупный разговор. Еще издали слышался недовольный и гудящий по всему дому голос генерала:

— ...Мы из-за вас и ваших крепостнических выходок вынуждены были усмирять мужиков, а вы соизволили затем откупаться от крамольников зерном и деньгами. Как, по вашему мнению, можно сие понять: как филантропию или как противопоставление вашей персоны властям? Вы дали большие деньги на сооружение школы и больницы, а на храм божий отпустили гроши. Что это, по-вашему: филантропия или желание нарочито подчеркнуть свое небрежение к церкви, к вере и тем посеять недобрые семена в душах крестьян?

— Я дал десять тысяч, разве это — крохи? Отец Дионисий полагает, что коннозаводчики обязаны содержать храмы господни. Но это за них прекрасно делают сами верующие,— отвечал Яков.

Овсянников не хотел подслушивать семейные споры и вышел на веранду. Здесь он закурил и посмотрел в подернутые дымкой придонские займища. Вон там, вдали, как бы у горизонта, виднелся собор Старочеркасска, и там где-то был сам батюшка тихий Дон! А если посмотреть левее, миновав Кривянскую, — там будет станица Бессергеневская, родина. И глубокая, удивительно холодная и синяя-синяя речка. Бывало, нырнешь в нее — и того гляди дух перехватит. Какова-то теперь стала станица, речка, друзья детства и, самое главное, мать? Сколько лет прошло с тех пор, когда они виделись? Кажется, девять. Да, девять... Овсянников прислушался, не ушел ли Яков. Но Яков не ушел, а говорил уже явно раздраженным тоном:

— ...Но какое это имеет отношение к Оксане, к моей семейной жизни, позвольте осведомиться, ваше превосходительство?

— Самое непосредственное: вы должны прекратить свои домогательства. Она не желает жить с вами, не желает ехать в ваше имение, наконец, не желает быть и формально вашей женой. Ясно я изъясняюсь?

Овсянников насторожился. Дело, оказывается, идет о серьезных вещах. Значит, значит, Оксана все же не вернулась к прежней жизни и продолжает учительствовать в Александровске. И Овсянников отметил: «Это мне определенно нравится. И я, кажется, могу прямехонько отправиться сейчас в Александровск. Кстати, и брата повидаю. Вот только маму обнять бы. Ума не приложу, как это сделать: поехать в станицу или пригласить ее сюда».

В это время из гостиной, двери в которую были распахнуты настежь, донесся нервический голос Якова:

— Она — моя жена. Что прикажете мне: отказаться от нее, передать ее какому-то инженеру? Или, быть может, вызвать из небытия дух Овсянникова и ему вручить мечту его юности? Нет уж, увольте, ваше превосходительство.

Виталий Овсянников решительно вошел в гостиную и готов был взять за шиворот Якова, да тот ходил по комнате, размахивал руками и, опустив голову, порывался что-то сказать или сделать, но не решался. Наконец сказал грубо и зло:

— Нехороший разговор вы затеяли, ваше превосходительство, не этого я ожидал от родственника моей жены. Но после того, как у меня появился сын, никакой речи о разводе быть не может. До конца дней моих.

Генерал увидел Овсянникова, обрадованно воскликнул:

— О! Вот сюрприз. Виталий, буйная головушка, проходи и дай взглянуть на тебя хорошенько.— А Якову, стоявшему теперь посредине комнаты и враждебно смотревшему на Овсянникова, сказал: — Итак, господин Загорулькин, когда у вас кончается срок аренды войсковой земли?

Яков насторожился. Да что он, на самом деле, этот генерал, с ума сошел? При чем тут аренда, земля?.. И резко ответил:

— Через девяносто лет, ваше превосходительство. Что, может, вы хотите...

— Ну, здравствуй, душа моя,— поздоровался генерал с Овсянниковым, а Якову ответил: — Интересуется коннозаводчик Корольков. А теперь подумайте, что это может означать, коль ваши угодья перейдут к Корольковым... Ну, как дела, как успехи, душа моя? — продолжал генерал расспрашивать Овсянникова.

— Спасибо, ваше превосходительство. Все идет отлично.

— Молодец. Право, тебя можно спутать с каким-нибудь денди. Или выгодно женился?

— Нет, ваше превосходительство. Некогда, дела все, — рассеянно отвечал Овсянников, а сам не спускал глаз с Якова.

Якову было не до него. Генерал ясно намекал, что дело с разводом может принять крутой оборот: Корольковы богаче намного и могут в случае чего купить все и вся с потрохами. «Припер к стене. Что же делать? Согласиться? Отказаться? Или он стращает меня, дурака? А-а, черт. Без Оксаны моя жизнь — не жизнь», — сказал он про себя и ответил настойчивей прежнего:

— Я своего решения не изменю, ваше превосходительство. Делайте, что вам будет угодно.

Генерал принес чернильницу, ручку и бумагу, поставил и положил все на столе, потом взял Якова за руку, усадил за стол и изрек:

— Садитесь и пишите. Письмо Оксане. По поводу вашего согласия на развод.

И Яков взбесился. Он вскочил из-за стола и загорланил на весь дом:

— Разоряйте! Расторгайте договор, отбирайте движимое и недвижимое, но от Оксаны, от сына не откажусь и развода не дам. Не к этому я стремился всю жизнь, не об этом думал и ночей не спал, — распалился он не на шутку. — Впрочем, миллион я вам не отдам. Пропью, прокучу все до нитки, наконец, отдам социалистам! — бросил он дикий взгляд на Овсянникова и добавил, собираясь уходить: — Я — не из сахарных, я — мужик душой и телом. Так что позвольте откланяться и оставить вас наедине с несостоявшимся зятем.

Овсянников повысил голос:

— Я научу вас правилам приличного тона!

— Успокойся, Виталий. Я поговорю с ним сам... Яков, я вынужден напомнить вам...

— Вы про все уже напомнили, генерал...

— Молчать!

— Не буду молчать! Я не люблю, когда на меня кричат.

— Молчать, я приказал! — пришел генерал в ярость.

В это время тихо и величественно вошла вся в черном Ульяна Владимировна и озабоченно спросила:

— Что здесь происходит, господа? Почему такой крик? Виталий? Здравствуйте. Извините, что не особенно ласково принимаю. Что здесь произошло, Яков?

Яков досадливо махнул рукой, сделал прекислейшую гримасу:

— А-а, ну вас всех... Уеду! В Петербург, в Париж, к черту на рога. Прокучу и спущу все, а потом начну кидать бомбы. Вы этого хотите? Вы это получите, генерал. В вас начну кидать, да!

— Вон! — крикнул генерал, приподнимаясь с кресла, и Якова словно ветром выдуло из дома.

Ульяна Владимировна терла виски обеими руками и измученно говорила:

— Это — кошмар. Это — солдафонство, Сергей. Я больше так не могу.

Генерал раздраженно ответил:

— Не надо было выдавать Оксану за этого авантюриста. Вот была ее судьба: Виталий. Впрочем, это еще не поздно исправить... Заходи ко мне на службу, мой друг,— сказал он Овсянникову запросто и добавил: — Бомбы-то ты в меня швырять не станешь, надеюсь. И батюшка будет рад. Он стал первым лицом после архиерея... А братец Михаил дьяконствует в Александровском соборе. Настоящий Шаляпин, доложу я тебе...

Овсянникову пришлось задержаться в Новочеркасске и даже съездить на генеральских рысаках в станицу Бессергеневскую, к матери.

К Чургину он попал через несколько дней и застал его в тяжкой печали: Варя простудилась, заболела крупозным воспалением легких и металась в агонии.

Оксана плакала и все время повторяла: «Не будет теперь у нас Варюши». И Дороховы плакали.

Чургин не отходил от жены ни днем ни ночью. Он знал, что она умирает, что положение безнадежно, и, однако же, не хотел верить этому и подбадривал себя и родных надеждой. Но надежды не было. Никакой.

Сегодня утром Варе стало как бы лучше, и она пришла в себя. Но сказала совсем не то, что ожидал услышать Чургин:

— Илья, наклонись...— А когда он наклонился, слабым голосом стала наказывать ему: — Детей Оле... Только ей доверяю. И тебя, родной мой Чургин. И не плачь. Ты ведь железный...

— Ничего, Варюша, все обойдется. Я уверен в этом, я знаю. Крепись, милая.

Но Варя подозвала Ольгу и сказала то же самое и ей:

— Выходи за Илью. Только тебе доверяю детей...

У Ольги мурашки по телу побежали от таких слов, но она крепилась, она тоже говорила:

— Ничего, все поправится, Варюша. Все будет хорошо.

Был вечер, догорало солнце, и Варя догорала и уже не приходила в себя. А ночью ее не стало...

Чургин был потрясен, был подавлен и не знал, что же это навалилось на него так вдруг, так неодолимо тяжко. Ведь ничего же особенного не случилось: человек поехал на хутор, напился там чудесной ключевой воды. И вот его уже нет...

И Чургин все думал и все говорил: «Варюша, как же так? Этого не может быть. Этого не бывает, милая: от такой чудесной воды — и смерть... Как же так? Ведь у нас дети, милая...»

...Проводить в последний путь жену Чургина пришел весь поселок, все шахтеры, так что главный рудник Шухова фактически остановился. Но Стародуб даже не сделал никому замечания: Стародуб сам пришел в домик к Чургину, молча обнял его и взволнованно сказал:

— Крепитесь, мой дорогой друг. Надо пережить... Ради детей... Ради жизни...

Чургин не видел, сколько народу шло за гробом. И вообще ничего не видел, а смотрел, смотрел на белую от цветов, от сияния солнца Варю и не понимал, как же теперь будет, как будут жить дети, какая жизнь настанет в домике. Рухнуло все сразу: семья, благополучие детей, надежды на

грядущее лучшее, все, чем он жил сам на протяжении лет. И было впереди так плохо и пусто, что о будущем не хотелось и думать. Но крепился Чургин и смотрел, смотрел на землю, черную от угля и жесткую, как железо, и слышал, как она стонала от топота людских ног.

А впереди шли священнослужители, кадили ладаном, пели что-то тоскливое, обреченное...

Леон, Овсянников, Недайвоз, шахтеры несли гроб медленно и печально, и каждый настороженно посматривал по сторонам, где шла полиция, и то и дело слышал: «Не напирай. Не свадьба...»

Овсянников улучил минуту, когда брат оказался возле него, сказал:

— Михаил, отдадим должное этой прекрасной русской женщине: споем на кладбище наш, семинарский...

Дьякон ничего не ответил, вернулся на свое место, к хору, и запел молитвы.

Стародуб приехал на кладбище, когда уже начало темнеть. Здесь были знакомые ему штейгеры, врачи, педагоги, были реалисты, гимназисты старших классов, семинаристы духовной семинарии. Он не знал, что их никто не приглашал, не зазывал и что они все пришли по собственному желанию, и подумал было: «Отличная организация, господа! Все левое, все то, что находится на подозрении, пришло сюда, чтобы продемонстрировать нечто, за что власти готовы упрятать за решетку. И инженер и дворянин Стародуб пришел. Пусть и по наитию своей души, но пришел! Что же это такое случилось с вами, господин грозный инженер? Слепота? Старческая слабость? Что вы стоите вместе с самыми либеральными людьми?.. Уходите же, уходите, пока не поздно, уважаемый...»

Так разговаривал с собой управляющий рудниками Шухова. И не уходил. И даже сказал подошедшему к нему обеспокоенному приставу:

— Вам лучше удалиться, господин пристав. Здесь — не бунт, а похороны замечательной русской женщины.

— Но здесь, осмелюсь заметить, собрались все левые. Вам не следует быть с ними, Николай Емельянович,— панически шептал пристав.

— Уберите всех ваших людей, прошу вас. Во избежание инцидентов. Шахтеров я знаю лучше вас, поверьте.

Пристав ушел, и полиция ушла, не совсем, правда, а отошла в сторону и наблюдала за этими странными похоронами, которые конечно же ловко устроены — не похороны, а настоящая демонстрация. Как этого не понимает такой человек, как Стародуб?

И когда гроб стали опускать в могилу и послышались глухие удары земли и плач Дороховых, Виталий Овсянников поднял голову и запел во весь свой красивый и низкий, как раскаты грома, голос:

Вы жертвою пали в борьбе роковой,
Любви беззаветной к народу...

Леон оглянулся и увидел Ивана Недайвоза. Он был бледный и худой и еще не оправился от ранений, но стоял мужественно и грозно, дирижировал своими длинными руками и пел.

И Ольга пела и шахтеры, высоко подняв над головой зажженные лампы-факелы. Молчал только Чургин и думал: «Милые вы мои, дорогие вы люди... Я благодарю вас от всего сердца». Он оглянулся впервые за все

время: кладбище было что площадь — все запружено шахтерами и учащимися.

И Чургин взял на самой низкой ноте:

Идешь ты, усталый, а цепи гремят,
Закованы руки и ноги...

Священники переполошились, заторопились уходить, но не могли пробиться сквозь толпу и покорно остались стоять у могилы, опустив головы и озираясь по сторонам. И в это время дьякон, Михаил Овсянников, загремел во всю мочь:

Нагрелися цепи от знойных лучей
И в тело впилися змеями...

Виталий Овсянников одобрительно кивнул ему головой.

А Стародуб молчал, Стародуб вертел в руках фуражку и спрашивал себя: «Что же происходит? Почему я стою и не ухожу, а слушаю революционный гимн? И никто не уходит, даже священники, а дьякон, кажется, тоже поет и пуще прежнего размахивает кадилом... Значит, времена не те, господин Стародуб. И вам нечего подавать дурной пример людям, которые уважают вас как человека. И вы будете стоять здесь вместе с вашими рабочими и разделите их печаль. Так диктует время...»

А над кладбищем, над многочисленной толпой теперь уже не только шахтеров, а всех горожан как призыв, как протест лилась и стонала песня:

Падет произвол, и восстанет народ,
Великий, могучий, свободный...

Горели лампы-факелы, горели глаза людей и светились великим гневом, а песня все ширилась, будоражила обывателей, и они бежали на кладбище и становились рядом со всеми. И ночь расступалась перед песней, перед огнями-факелами, и земля будто стонала и плакала или пела своим тяжким голосом — скорбно, грозно, как поет и бурлит вешней порой переполненная бурными водами река.

...Леон первым заметил казаков, что скакали за оградой и направлялись в ворота кладбища, и сказал Овсянникову:

— Псалмы... Казаки могут испортить все. Шепни брату.

Виталий Овсянников не стал шептать брату, а запел сам «Боже, царя храни». Шахтеры сначала ничего не поняли, но потом увидели казаков и опустили горевшие лампы.

Казаки ворвались на кладбище, окружили толпу, но услышали гимн и растерялись.

— С коне-е-ей! На коле-е-ни!! — раздалась команда.

Чургин давно стоял на коленях перед свежим бугорком земли и мысленно говорил: «Прощай, Варюша. Люди сделали все, что могли, чтобы проводить тебя достойно. Ты заслужила это, милая. Жизнью своей заслужила... А это поют — камуфляж. Так надо...»

Казаки спрыгнули с лошадей, стали на одно колено и склонили головы. Что у них было на уме и почему они склонили головы, а не подняли их, как обычно, гордо и вызывающе,— никто про то не знал...

Один усатый хорунжий посматривал вокруг зло и нетерпеливо, будто не мог дождаться конца гимна. Но ничего не мог поделать... Впервые за свою долгую службу не мог...

Чургин прямо с кладбища пошел в степь. Всего, что хотите, мог он ожидать в жизни, но не смерти такой нелепой, такой внезапной — это было выше его разумения. Варя, железная душа, способная переносить любые тяготы жизни, и вот она ушла из этой жизни. Не сдюжила. Чудовищно! А ему-то казалось, что человек стоит выше горя, что горе можно пережить и когда-нибудь наступит радость, еще более приятная, чем наступала до этого. И вот он на себе почувствовал: горе есть горе и способно согнуть любого. Оно уже гнет его, клонит голову все ниже, и ее не хочется поднимать, нет сил поднимать... Сколько это будет продолжаться?

В степи было прохладно. В степи дул ветер и дышал в лицо терпким запахом полыни. Меркла вечерняя заря, и ее, как тушью, все больше заливали черные тучи, а потом насели на нее, и заря потухла. И тогда разом высыпали во все небо яркие звезды и засветились, заиграли молодо, будто рады были, что скрылась и пропала черная туча. Небо стало светлым и таким близким, что было видно, как звезды шли по самому горизонту, по краю земли и весело перемигивались.

Много их было сегодня, близко они спустились к земле, а какая-то стайка их села на курган и так там и осталась, будто на ночевку прилетела.

Чургин не видел ни неба, ни звезд, а видел перед собой темную землю...

И вдруг позади услышал шаги, обернулся неловко и увидел Оксану, а с нею — Ольгу.

Оксана прильнула к нему, сквозь слезы промолвила:

— Илья, как же ты теперь будешь? Другой Варюши в мире не существует...

А Ольга стояла и молчала. И думала: нет более прежнего Чургина — железного, уверенного, доброго. Не будет. Как смягчить его горе?

Чургин обнял их и вздохнул:

— Не надо об этом, милые... Будем жить. Надо жить...

Подошли Леон, Овсянников, Недайвоз. И зашагали тихо и молча к тем звездам, что сидели на кургане.

...На другой день Чургин надел форму и пошел в главную контору рудника, но почему-то попал в кабинет штейгера Петрухина.

Петрухин удивленно поднял глаза. Чургин сам пришел к нему! Но все же вышел из-за стола и искренне посочувствовал:

— Разрешите мне хоть раз по-человечески выразить вам свое скромное участие, Илья Гаврилович. Хорошая была женщина. Но... Все мы смертные, к великому несчастью... Чем могу быть полезен? Говорите, постараюсь помочь честь по чести.

Чургин благодарно кивнул, постоял несколько секунд, будто соображая, куда он попал, и пошел из кабинета.

Петрухин пожал своими узкими плечами, покрутил тонкие усы и, кажется, впервые понял: «А и свинья же я. Сколько пакостей устраивал людям! А у меня ведь тоже есть жена, дети, и может случиться... Бросить, все бросить к черту. Надо жить хорошо», — заключил он и долго стоял у окна и смотрел на мир смиренно и покаянно.

Стародуб обнял Чургина, усадил его в кресло и, не садясь сам, взволнованно сказал:

— Простите, Илья Гаврилович, что я потревожил вас в эти тяжкие минуты. Но я еще раз хотел сказать вам: надо жить, мой друг. Надо жить.

Когда-то вы вселили в меня веру в жизнь, в людей. Вы помните, мы ехали на шахту... Теперь я хочу сказать вам: ваш ум, ваши знания, ваши силы нужны им,— кивнул он в сторону шахты.— Надо жить во имя их...

Он сделал несколько шагов по мягкому ковру, не желая выказать волнения, а Чургин сидел в кресле, опустив голову, и не мог вспомнить, когда его приглашал прийти Стародуб, и не мог понять, почему именно к нему он пришел в эти трудные минуты.

— ...Но я не только поэтому осмелился потревожить вас, дорогой друг,— продолжал Стародуб.— Я хочу предложить вам должность своего помощника. Хотя бы ради того, чтобы вас раз и навсегда оставили в покое власть предержащие. Вы понимаете, что я имею в виду...

— Понимаю, Николай Емельянович,— наконец ответил Чургин и поднял голову.

Стародуб глянул на его черное лицо, запавшие глаза, выдавшиеся скулы. Чургин показался ему смертельно больным человеком. И заторопился высказать все:

— Я вскоре уезжаю за границу. Мне нужен человек, на которого я могу положиться во всем. Этого человека я вижу в вас. Кстати, я говорил с кем следует и могу порадовать вас: вам придется немного потрудиться над дипломным проектом, кое-что сдать — и вы станете горным инженером. Не сочтите это, пожалуйста, за протекцию. Я этого не терплю. Просто мне хотелось бы немного исправить превратности судьбы. Ну-с, вот и все.

Чургин молчал и начинал наконец понимать, что происходит. Все было так неожиданно и серьезно, что ему потребовалось некоторое время, чтобы собраться с мыслями. Он знал: принять такое предложение — значило перестать думать решительно обо всем, в чем человек нуждается. Но что тогда подумают о нем самом шахтеры? Отказаться же от такого предложения — значило по-прежнему перебиваться с хлеба на квас и быть вечно под надзором недремлющего ока властей. Остается одно: уехать. Подальше. «Какое-нибудь место я найду».

Стародуб наблюдал за ним и ждал ответа. Знал он: трудно будет помочь простому шахтеру стать горным инженером, но... «Но надо сделать именно так. И я сделаю это»,— твердил Стародуб, а вслух как бы добавил к уже сказанному:

— Да, квартиру вам готовят рядом с моей. Свой домик можете продать. Или поручите это сделать нашему агенту. Ну-с, Илья Гаврилович,— вопросительно посмотрел он на Чургина и еще добавил, как бы между прочим: — Кстати, на этой квартире вы можете иметь встречи со своими друзьями в любое время дня и ночи. У вас слишком много врагов, Илья Гаврилович. А мне, право, было бы жаль, если бы они подвели вас, мягко говоря. Я не знаю ваших друзей, ваших дел, ваших мыслей. Я знаю вас как отличного горного инженера без диплома и хотел бы быть вашим искренним другом.

Эти последние слова он произнес с нескрываемым волнением и уважением, если не сказать — с участием, и у него даже голос стал глуше. Он заходил по кабинету медленно и тихо, словно не хотел мешать Чургину собраться с мыслями.

Чургин все понимал отлично. Не понимал он одного: что же все-таки сталось в последние месяцы с этим человеком? Горе людское вдруг тронуло

его и он расчувствовался? Или что-то надломилось в душе? Но сейчас не время было говорить об этом, и он ответил после некоторого молчания:

— Я благодарю вас, Николай Емельянович, за столь лестную оценку моих скромных способностей. Но... вы немного преувеличиваете и мои возможности и, самое основное, возможности нашего горестного времени: претворите вы в действие свои намерения — вас немедленно запишут в социалисты.

— Вы в этом убеждены? — не оборачиваясь, спросил Стародуб.

— Да. Больше того: вас причислят к тем людям, которым вряд ли хозяин смог бы долго доверять... Вернее, полиция. А мне не хотелось бы, чтобы вас приняли не за того, кем вы на самом деле являетесь.

— Не понимаю, Илья Гаврилович.

— Я хотел сказать, что вы ведь не являетесь политическим деятелем. Во всяком случае, пока не являетесь, — сказал Чургин более значительно.

Стародуб подумал немного и спросил:

— Вы хотите сказать, что когда-нибудь я все же стану таким деятелем?

— Да, Николай Емельянович.

— Любопытно. Я, признаться, об этом как-то не думал. Это не моя стихия, это стихия ваша, если говорить откровенно. У вас это может великолепно сочетаться с горным делом. У меня — никогда. Ни с чем, смею уверить вас.

Чургин готов был сказать: «Дорогой Николай Емельянович, я берусь доказать, что вы жестоко ошибаетесь. И еще берусь я доказать, что вы конечно же можете и будете рано или поздно таким политическим деятелем, который нужен народу, революции». Но он не стал говорить этого, а поднялся тяжко, устало и сказал:

— Не будем спорить, Николай Емельянович. Жизнь есть жизнь, и она делает свое непоколебимо. Итак, позвольте еще раз поблагодарить вас за столь сердечное участие во мне. Если вы не будете настаивать на немедленном ответе, я подумаю обо всем и зайду к вам. — Чургин пожал его руку и пристально посмотрел в темные, как угольки, задумчивые глаза.

Он ушел, как уходил всегда: спокойный, прямой и недоступный, казалось, никаким треволнениям.

— Остался верен себе до конца. Другой на коленях ползал бы, услышав такое предложение, аршином бы изгибался от благодарностей, а этому хоть шахту подари — не повел бы и бровью. Чудесная личность, господа! — произнес Стародуб.

Он подошел к окну, долго смотрел на удалявшегося Чургина и думал: «Если я продолжу подобные беседы, он сделает из меня политического деятеля. Да, он никогда не говорил о своих убеждениях, но, видит бог, я не могу назвать их крамольными, или несостоятельными, или как там называет их мой хозяин... Мой хозяин!.. А я кто? Я раб — и больше никто», — вдруг заключил он впервые в своей жизни и потемнел.

Подойдя к столу, он позвонил и грозно сказал вошедшему управляющему делами:

— Господ штейгеров ко мне. Маркшейдеров ко мне. Всех техников всех рудников ко мне! Я им покажу, как следует работать. Я их научу, как надо уважать труд человека и ценить человека. Всё!

Управляющий делами побелел. Такого распоряжения он еще не слышал.

Глава четвертая

Леон повел дела круто: очистил организацию от случайных людей, разбил ее на ячейки по пять – семь человек, а ячейки свел в подрайоны; перенес типографию в такое место, что ее и сам черт не мог найти; установил новые явки, да такие, что свежему человеку, прежде чем попасть в комитет, надо было покружить по городу и его окраинам полдня, не менее.

И еще: отобрал у Ткаченко все комитетские деньги и стал выдавать, как артельный кассир – по расписке, с обязательным указанием, сколько и для чего расходовалось. А на днях ввел новый порядок: всякий лектор, до того как начнет читать лекцию в ячейках, обязан кратко рассказать, о чем собирается говорить с партийцами. Если кто этого не желал делать – не разрешал читать лекции.

И, наконец, создал второй комитет – на случай провала настоящего, действующего комитета.

Короче говоря, Леон наводил порядок в организации, но именно это и возмущало Ряшина.

– Председатель попирает все принципы демократии: живых и здравствующих членов комитета он считает уже проваленными, уже несуществующими или, в лучшем случае, доживающими свои последние дни. Это издевательство над живыми. Кто эти комитетчики? Почему я должен вверить им судьбу товарищей? – шумел он на Леона.

Дело, конечно, было не в запасном комитете. Дело было в том, что меньшевистская половина живого и здравствующего югоринского комитета теряла бразды правления во всех делах: потеряла право бесконтрольно распоряжаться материальными средствами организации, печатать в типографии все, что взбредет на ум, но только не то, что следовало, наконец, лишалась права пропагандировать перед рядовыми партийцами свои фракционные идеи, противоречащие решениям объединительного съезда, в частности идею беспартийных рабочих комитетов. Вот почему, когда Леон предложил поддержать созыв Пятого съезда РСДРП и выдать мандат Луке Матвеичу, Ряшин заявил:

– Наш железный канцлер зажал все в кулак: установил казарменный порядок в организации, никому не доверяет и, видите ли, от имени всех нас заявляет, что мы будем поддерживать необходимость созыва Пятого съезда. Но ЦК, Плеханов, Мартов высказались против этой затеи. Мы их поддерживаем.

И разгорелся спор: большевистская часть комитета настаивала выдать мандат Луке Матвеичу, меньшевистская – была против созыва съезда и никому вообще мандата выдавать не хотела. Дело мог решить голос Сергея Ткаченко, но он молчал, будто ничего не слышал и слышать не хотел.

У Ряшина уже язык онемел от бесконечных доводов против съезда и против выдачи мандата Луке Матвеичу, которого, мол, и близко нет возле Югоринска, и он толкнул локтем Ткаченко и зло сказал:

– Ты что, в рот воды набрал? Если они устроят новый съезд – мы вылетим отовсюду. Выступай за мое предложение.

Ткаченко тяжко вздохнул, посмотрел на него чужим, отрешенным взглядом и ответил:

— Я не буду выступать, Иван Павлович.

— Понятно. По Ольге страдаешь. Леон обошел тебя и провел с ней весь вечер в кустах возле речки. Так ты так и скажи всем нам. За невесту, брат, надо бороться так же, как и за идеи. Начинай... Я поддержу тебя.

Ткаченко встал и вышел в коридор якобы покурить, так как в комнате дым стоял коромыслом. Однако на самом деле он все время думал: убить Леона сейчас или после, когда кончится заседание? Иного возмездия он не достоин. А возмездие должно быть. Не может он, Сергей Ткаченко, простить такого поступка по отношению к Ольге. «И теперь понятно, почему она так внезапно покинула Югоринск... Все понятно, дорогой друг мой бывший и враг самый лютый – настоящий, Леон Дорохов», – рассуждал Ткаченко.

В коридор пришел Леон, закурил и мягко, даже с нежностью сказал:

— Сережа, без твоей помощи мы не придем к чему-либо определенному до утра и делегата не изберем. Кстати, ты не знаешь, приезжал ли Лука Матвеич? Он должен был быть третьего дня.

Ткаченко выхватил револьвер, отпрыгнул назад и грозно повысил голос:

— Не подходи! Я убью тебя! Что ты сделал с Ольгой? Что ты сделал со мной? Я ненавижу тебя!

Леон потемнел, бросил папиросу и грубо сказал:

— Перестань валять дурака, Сергей... Ничего я не сделал с Ольгой. Я у тебя спрашиваю: ты знаешь что-нибудь о Луке Матвеиче? Он должен быть третьего дня, а его все еще нет.

— Не знаю. Ничего я не знаю. Ничего не видел. Я спал в саду у Ряшина... Стреляй, убивай. Или я сам себя пристрелю! Я не могу больше... – горячился Ткаченко и вдруг повернулся к Леону спиной и глухо сказал: – Простите все. Я не виноват перед Лукой Матвеичем.

Раздался выстрел, звякнуло рассыпавшееся оконное стекло, и все стихло, но Ткаченко был уже на полу, сбитый Леоном, и стоял на коленях, опустив голову.

Леон поднял револьвер, проверил барабан и спрятал в карман.

— Дурак ты, и больше ничего. Ни перед кем ты не виноват. Встань, – сказал он мягко, растроганно.

Из землянки выбежали все, кто там был, увидели Ткаченко на коленях и поняли: что-то произошло неприятное. И ждали: что скажет Леон?

Но Леон помог Ткаченко подняться и, будто ничего с ним и не было, участливо спросил:

— Не ушибся? Чертова птица. И, скажи, надо же такому случиться? Сова почему-то оказалась тут, ну и вздумала померяться силами с Сергеем. Чудно!

Никто этой выдумке не поверил, но никто ни о чем и не спрашивал. Лишь Ряшин кашлянул многозначительно и негромко сказал Леону:

— Кончай с ним. Он выдал Луку Матвеича. Провокатор.

Ткаченко потерял дар речи от удивления, от возмущения. Миг – и он схватил Ряшина за грудь и затормошил, закричал:

— Я? Провокатор? Да я удушу тебя – Лука Матвеич ночевал у тебя. Почему его арестовали? Как они узнали? Почему ты ничего не сказал им?

— Пусти-и-и, предатель. И это ты скажи им всем, как его арестовали, – хрипел Ряшин.

У Леона мурашки побежали по спине от таких слов Ткаченко, и он подумал: «Так вот оно в чем дело, Иван Павлович. Наконец-то все стало ясным», — но сделал вид, что не придал значения словам Ткаченко, и сказал:

— Прекратите это глупое пикирование и идите в землянку. Я сейчас вернусь, и будем кончать заседание. — И, взяв Ткаченко под руку, вывел его из коридора на двор.

Ряшин поправил пиджак, сплюнул и пошел было за ними, но Овсянников преградил ему путь:

— В землянку — велел Леон. А тут — плантации можешь потоптать: капуста, помидоры и прочее.

В землянке Ряшин надел шляпу, взял трость и нетерпеливо сказал своим друзьям:

— Здесь не комитет, а какая-то банда эсеров. Покрывают провокаторов, не считаются с мнением членов комитета... Пошли, ребята, нам тут делать больше нечего. Это — позор, а не организация.

Овсянников вспыхнул как порох и готов был на самое крайнее, но сдержался, вновь преградил ему путь и спросил даже спокойно:

— Одну минуточку, шибко ортодоксальный, мне надо уточнить одну вещь: кто из вас провокатор и выдал Луку Матвеича? И еще: кто из вас выдал типографию, затем Чургина, потом Леона и так далее? Отвечай.

— Я все сказал Леону. А ты убирайся ко всем чертям! — гаркнул на него Ряшин и, отпихнув его, ушел.

Кулагин поднялся уходить, но потом остановился, снял синее пенсне и стал протирать стекла.

— А-а-а, дьявольщина, уйдет же! — спохватился Овсянников и выбежал, на ходу доставая из-за пояса маузер.

Навстречу ему быстро шел Леон. Не увидев Ряшина, он мрачно спросил:

— Ушел? Догони его Виталий. Из-под земли достать, подлеца. Будем судить всем комитетом. Ткаченко все рассказал.

Вскоре от балки донесся глухой выстрел, будто из подземелья. Потом раздался выстрел резкий, как удар бича, и всполошил сычей на скалах. Они истошно закричали, захохотали и всполошили все скалы, весь лес под ними и самое речку с ее столетними дремавшими вербами...

Кундрючевке мало было дела до событий в Югоринске и до треволнений подпольщиков. У Кундрючевки были свои треволнения: опять горели хлеба, и их не могла спасти никакая сила. Но Кундрючевка была недалеко от главного Московского шляха, по которому то и дело прогоняли арестантов, а так как шлях тот пролегал на виду у леса, чем черт не шутит, особенно ночью, возьмут арестанты да и разбегутся в лесу, и выйдет тогда новая беда всем хуторам и станицам.

И станция Донецкая была от Кундрючевки — рукой подать, а на ту станцию то и дело приходят поезда с арестантскими вагонами. Значит, и тут можно ждать беды: взбунтуются арестанты — и айда всё в тот же лес, лови потом их, нехристей...

Так, по крайней мере, рассудил кундрючевский атаман Калина, когда получил бумагу из Новочеркасска, в которой ему предписывалось учредить дозор за шляхом и за железной дорогой. Калина не очень любил такие

бумаги, да он и не помнил, когда получал их, и поначалу даже ругнул новочеркасское начальство:

— Черти, чего придумали: я принужден выставлять дозоры на разных дорогах! А с какой стати, спрашивается? Мое дело — службу справлять да разных оглоедов, вроде Егора Дубова, держать в узде. А касаемо иных крамольников, на то есть и другие властя. Так-то...

Однако разговоры разговорами, а бумага бумагой. А она лежала в железном ящике у Калины там, где лежали казенные деньги, и от нее никуда не денешься. И коль она уж лежала там, значит, ее следует выполнять, а заодно и пораскинуть мозгами: нельзя ли что-нибудь удумать, чтоб та паршивая бумага сослужила какую-нибудь добрую службу и ему, атаману, а не только властям, какие побольше?

Игнат Сысоич, разумеется, ничего о такой бумаге и не знал и все ходил по своим полям, смотрел на погоревшую озимку и вздыхал: урожай пропал начисто, не вернуть даже семян. А ведь как все хорошо началось на родном месте! И все порушилось за какие-то считанные недели. И Игнат Сысоич приуныл.

И казаки приуныли: суховей наделал бед всем, и не хотелось даже в поле идти — так все там пожелтело, скрючилось и выглядело до боли беспомощным и обреченным: хлеба, травы, бахчи, картофельные делянки.

И кундрючевцы почти каждый день собирались у лавки Загорулькиных, сидели там под навесом и в самой лавке, примостившись на корточках вдоль стен, и вели томительные разговоры о суховее, чадя самокрутками так, что Нефед Миронович не мог дышать. Но он терпел: Яков велел ему менять свои взгляды, свои привычки и находить общий язык с людьми в любом случае жизни. Именно поэтому Нефед Миронович и торчал в лавке и чадил махоркой вместе со всеми, лишь бы люди перестали думать о нем как о живоглоте. Язык у него отпустило, речь вернулась, а что правую ногу немного заносило — не беда, придет и нога в свою форму, дай срок.

Игнат Сысоич не думал заходить в лавку к свату — надоели ему разговоры Нефеда Мироновича об Алене, о Яшке, как будто на них свет клином сошелся. Виноватой оказалась лиса, что встретилась ему, когда он возвращался домой. Лиса притомилась и перешла ему дорогу под самым носом, низко опустив правило, голову и раскрыв рот от духоты.

Игнат Сысоич увидел ее и качнул головой.

— Что, запалилась, бегаючи за живностью, кумушка? Не одним людям горе горевать, а и тебе теперь перепадет по горло. Теперь и мыши передохнут с голодухи, и доведется тебе пойти на шубу бабке Мухе, не иначе, девка,— наставительно сказал он ей вслед.

Лиса услышала его голос, остановилась невдалеке от дороги, в редком и низком хлебе, таком низком, что шуба ее пылала поверху и не было видно лишь ног. Но потом вяло поплелась своей жаркой дорогой, будто поняла человеческие мысли: на шубу так на шубу, все равно теперь не жизнь будет, а мука.

И тут Игната Сысоича осенило: зверю-то теперь нечем будет кормиться? Нечем. В таком разе не пристроиться ли к деду Мухе и не заняться ли охотой? Ведь вот лиса: убей ее — и считай, что положил в карман полтинник за шкурку. А если убить сто? Да к ним присоединить сотню байбаков? Да куропаток подкараулить или стрепетов, каких благородные едоки

с руками оторвут у тебя на базаре? А если стаю дроф подстрелить, каждая из которых весит с пуд? Это ж капитал можно нажить!

Однако Игнат Сысоич трезво смотрел на вещи и сказал вслух:

— Думки, думки... Терзаете вы крестьянскую душу, а толку от вас как не было, так и не будет. Эх, жизня!

Размечтавшись, он и не заметил, как оказался в хуторе и пошел к свату за табаком.

Возле магазина Нефеда Мироновича сидели в холодке казаки, невесело перебрасывались новостями, иные сидели в магазине и говорили все о том же: о плохом урожае.

Игнат Сысоич устало подошел к казакам, поздоровался:

— Здорово дневали. В такую духоту сидеть тут, углы подпирать... Чи магарыч новый ждете? — намекнул он на недавнее угощение Калины, что тот выставлял по случаю переизбрания его атаманом.

— Да кому в рот попало, а кому только по усам растеклось,— съязвил рыжий казак Силантий и подмигнул друзьякам, как бы спрашивая: «Ловко я его?»

Казаки еще не успели и засмеяться, как Игнат Сысоич срезал рыжего:

— Да твои усы, парень, в аккурат так и сделаны, чтобы чужое лить в свою горлянку. Стрелками закрутил, чтобы и капля не проскочила мимо.— И пошел в магазин.

— Но-но, плети, да не заплетайся! — крикнул ему Силантий и досадливо сплюнул: — Шваль мужицкая.

— Так тебе и след,— услышал Силантий голос Пахома-вахмистра и, обернувшись, оскалился:

— Пахом, чи ты не в политики, случаем, подался? Шибко глотку дерешь за ихнего брата, какого мы катали в пятом годе.

Пахом налился злобой, подошел к нему и, взяв за ворот рубахи, так сжал горло, что лицо Силантия позеленело. И сказал гневно:

— Вот сейчас придавлю и удушу. Но мне сподручней и так,— ударил он его с левой и отпихнул от себя.

— Мало учен? — выкрикнул Силантий в бешенстве.— Так запомни: придет черед — в две руки катать будем таких.

Пахом сплюнул и ушел в магазин, а казаки молча смотрели на Силантия и качали головами, точно хотели сказать: «Нашел чем выхваляться».

Одинокий голос пропел фальцетом:

— Оно еще не известно, чем обернется, парень, если они сызнова голову поднимут, политики разные.

— Шомполами обернется, станишник,— это я тебе говорю в точности,— огрызнулся Силантий.

В магазине негде было шагу ступить. Многие сидели на корточках и разговаривали о делах, женщины копались в мануфактуре, примеряли к себе материю разных цветов и никак не могли выбрать подходящую,— не было денег.

Нефед Миронович, завалив прилавок разноцветными тюками, предлагал казачкам и то и это, к себе примерял сарпинки, сатины, ситцы и поплины, распускал тюки, тыкал материю в подбородок казачкам, и в лавке гудел его добродушный голос:

— Чисто невеста, видит бог. Жалкую, что я не парубок. Бери и не крути носом, в другой раз придешь — за золотой не найдешь.

Казачки переглядывались, стеснялись, в уме что-то подсчитывали, но товар не брали, а уходить было трудно — слишком хороши были материи.

— Счас, не наседай, Мироныч, не в церкву итить, — отнекивались казачки и вновь просили: — Вон то покажи, небесного цвета.

Нефед Миронович достал голубой тюк, развернул его, и по прилавку разлилось нежнейшей голубизны утреннее небо.

— Как и это не взять — тогда, считайте, что вас зазря на свет произвели, баб таких. В таком цвете сам бог Саваоф с ангелами восседает на тучах, — теряя терпение, гудел Нефед Миронович и, увидев вошедшего Игната Сысоича, сказал: — А-а, сват пришел. Чи не в степу был — потом весь взялся? Как оно там, озимка наша совсем зачахла, не дай бог?

— Тебе об чем печалиться? Полный магазин добра всякого.

Нефед Миронович вздохнул и подумал: «Завидки берут. И всех берут... Ну как же тут, сынок Яша, подладить под всех, как у меня — магазин, а у них в кармане — вошь на аркане?.. Тягость одна, а не подлаживание под них, оглоедов, выходит».

Игнат Сысоич присел на корточки возле Фомы Максимова, облегченно вздохнул и попросил закурить. Максимов дал ему кисет, бумагу и спросил:

— Мимо моей не довелось проходить?

— Довелось. Жива-здорова, бог дал, — ответил Игнат Сысоич, делая самокрутку, и добавил: — Навоз подсобил, видать. Как уродит — в помещики выйдешь, не менее.

— А может, в наказные атаманья вытянешь, Фома?

— Не-е, в наказные обличием не вышел.

— Видно сокола по полету, а хама — по соплям, — бросил вошедший в магазин рыжеусый Силантий и, скосив злые глаза на Пахома, заключил: — А иные наймутся к такому голозадому в аблакаты да еще и дочку в придачу отдадут за его лапотный род.

Пахом уже поднялся с корточек, чтобы отучить рыжего от шуток, но в это время Нефед Миронович, приняв намек в свой адрес, приковылял из-за прилавка и, держа в руках деревянный аршин, подошел к Силантию и спросил:

— Как, как ты сказал, станишник?

Силантий метил в дочку Пахома, но понял, что попал и в Загорулькина, и повинился:

— Извиняй, Мироныч, я забыл, что твоя дочка...

Нефед Миронович не дал ему договорить и со всего размаху ударил аршином по голове.

— Это чтобы в другой раз тебе паморки не отшибало, станишник, какие речи след вести в моем магазине, — сказал он и, подобрав отломившуюся часть аршина, гаркнул: — Пшел прочь из заведения, рвань несчастная!

Силантий стрельнул змеиными глазками и с нескрываемой угрозой произнес:

— Не кричи, а только вспомянется тебе это.

— Что, палить будешь?

В это время на пороге появился атаман Калина, строго спросил:

— Это кто кого тут палить собирается, я б хотел знать?

— А вот эта короста грозится. И, сдается мне, что это он тогда и пустил мне красного петуха,— вспомнил Нефед Миронович про пожар.

Калина покрутил пышные усы, окинул Силантия с головы до пят презрительным взглядом и приказал:

— Марш в правление, тебе велено!

Силантий повернулся по-военному и вышел, а Нефед Миронович раздраженно бросил казачкам:

— Раньше надо было прицениться, а теперь аршина нет, повылазило вам?

— Завтра у Дарьи купите, не умрете,— сказал атаман и, пригладив усы, так ласково оглядел казачек со всех сторон, что они смущенно удалились.

И все, кто был в магазине, вышли, остался лишь Игнат Сысоич. Тяжко поднявшись, он попросил:

— Ты мне табачку, сват, займи. Денег сейчас нету, а как чуть разбогатею — беспременно занесу.

Нефед Миронович взял с полки две пачки махорки, бросил их на прилавок и миролюбиво проговорил:

— Возьми, на том свете сосчитаемся. Да расскажи, что оно там, в степу, делается... И сюда ближе проходь, а то сидишь там, как бедный родственник, прости бог.

Пахом, Фома Максимов заглянули в дверь и ничего не сказали. Да и без слов было понятно: Загорулькин после драки с Егором меняет шкуру.

Нефед Миронович ничего особенно не менял, а просто запомнил слова Якова: «Или вы, батя, измените свои взгляды на жизнь, или вас в одно не совсем прекрасное время убьют». Сейчас, убирая товар с прилавка, он думал: «Ну как тут, скажи на милость, переменишься с такими людьми? Бог же свидетель, что Силантий сам подскочил под руку и пришлось в морду давать. А не дай я в морду? Верхи сядут и зачнут детей твоих дегтем марать на все лады. И выходит, сынок Яша, что через вас с Аленкой мне не можно переменяться, потому – я родитель и за вас любому душу выну и на плетень повешу сушиться, даром что вы поставили свою жизнь не по-моему. Но про то бог рассудит, а не короста эта, хоть она и казацкого звания. Всяк сверчок знай свой шесток...»

Нефед Миронович так погрузился в свои думы, что не заметил, как убрал товар, а когда поднял голову, увидел, что атаман стоит возле полки, где был еще тюк с поплином, и что-то прикидывает. Вот он спросил вкрадчивым голосом:

— Как считаешь, кум, а не набрать ли мне поплинчика на платье дочке? Как-никак, а девка на выданье...

Нефед Миронович отлично умел читать мысли атамана и ответил:

— Этого, небесного цвета? С дорогой душой. Четыре аршина хватит. Росточком-то она не в тебя вышла,— кольнул он кума, а мысленно добавил: «Говорил бы уж: режь и куме заодно. И принесут же чёрты, когда я торгую. У Дарьи посовестился бы просить».

— Четыре? А баба моя что подумает про тебя? Режь пять. Так выйдет и для тебя похвальней, и мне гора с плеч,— посоветовал Калина.

Тогда Нефед Миронович зло распустил тюк и, как заправский приказчик, начал мерять на локоть, да атаман остановил его, лукаво заметив:

— Аршином вроде сручней бы, а? А то еще промашку сделаешь.

— Поломал об рыжего черта, об Силантия-дурака... Отрежу ровно на два целковых и семь гривен,— ответил Нефед Миронович.

Калина недобро посмотрел на него, подумал: «Чертова жадоба, заместо двух целковых уже семь гривен накинул». И, пошарив в карманах, сожалеюще произнес:

— Кошелек забыл, видит бог. В другой раз занесу. И дай я сам отмеряю, а то ты семь гривен уже накинул да еще пол-аршина украдешь.

Нефед Миронович швырнул тюк на полку, раздраженно сказал:

— Под три чёрты, куманек. Я пять ведер водки за тебя выставил, а ты что-то не поспешаешь возвертать должок. Хочется тебе все в моем магазине закупить — изволь: клади десять тысяч — и вот тебе ключик и замочек,— бросил он на прилавок пудовый замок.

Калина ухмыльнулся, оглянулся на дверь, за которой стояли Игнат Сысоич и казаки, и миролюбиво заговорил:

— Жадоба ты, кум, видит бог. У тебя снега зимой не разживешься. А ить я пришел к тебе, как к своему человеку, по государственному делу... На днях арестантов будут этапом гнать через станицу, на Москву. Пораскинь-ка своей умной башкой, что к чему.

Нефеда Мироновича бросило в жар. «Левку будут гнать!» — мелькнула у него догадка, но он сделал вид, что ничего не понял, и сказал:

— Арестанты есть царевы ослушники, а мой товар — есть божье дело. В толк не возьму, куда ты гнешь.

Калина хитровато прищурился, прикрыл дверь и тихо продолжал:

— А гну я, куманек, вот куда: а что, если конвоить будут и твоего зятька? Как тебе сдается? Он-то убег? Убег. А его поймать могли? Могли. Так что режь шесть аршин, а я тем часом подумаю, как подсобить твоему сродствию: чи пеши ему итить по этой пылюке, чи ехать в бричке, какую я случайно могу нарядить, вроде для болящего. Я б за такую бричку целую катеринку отвалил, не пожалел.

Нефед Миронович не знал, что и ответить, и думал: «Убил, до смерти убил, собачий сын, зять такой. Эх, Аленка, Аленка! Взвалила ты крест на мою шею до самого гроба», а вслух спросил:

— Восемь аршин поплинчику хватит для дочки и кумы? Деньги занесешь опосля.

Атаман покручивал усы и наблюдал, как Нефед Миронович сопел и отмерял чудесной голубизны поплин, и спросил с ехидцей:

— А катеринку хочешь зажилить? Я ж взаймы, а не задаром. Зятек-то поболе стоит, чи как думаешь?

Нефед Миронович достал из кассы сто рублей, но не положил их в карман атаману, а сказал:

— Егора назначь в наряд. Они — дружки.

— Назначу.

— И Пахома-вахмистра. Эти оглоеды все сами обтяпают.

— И Пахома можно,— согласился Калина.

— Ну, вот так, значится,— только теперь сунул Нефед Миронович сто рублей в карман атаману и сказал: — Девять аршин отмерил, на два небесных платья выйдет...

А когда Калина ушел, Нефед Миронович позвал Игната Сысоича,

плотно закрыл двери лавки и рассказал под большим секретом, о чем говорил атаман.

Игнат Сысоич поначалу разволновался, несколько раз подходил к двери, боясь, не слышит ли кто их разговора, потом подумал: «Ну хорошо, Леона будут гнать по Московскому шляху. Так какое же мне родительское облегчение от того, пеши ли он будет месить пыль или на бричке будет ехать? Ведь в Сибирь направляют!» И без обиняков сказал:

– Пеши чи на бричке, а дорога одна: в острог, в Сибирь. Так что, окромя горя, ничего эта новость мне не даст, сват.

Нефед Миронович шепотом сказал:

– Дурак ты, Игнат, прости бог. А ежели, к примеру, будет ночь или вечер и будет дорога идти лесом? Может же, случаем, конвой зазеваться, а тем часом Левка в лес и – поминай как звали?

Теперь Игната Сысоича бросило в жар, и он даже не совсем понимал: Загорулька ли это говорит или чей-то добрый голос подсказывает ему добрые планы?

С этого дня у Игната Сысоича отшибло сон, а в глазах засверкали такие злодейские огоньки, будто он готовился весь мир кверху ногами перевернуть. Но потом он трезво подумал: а что, собственно, он может сделать, если Леона и будут гнать этапом мимо хутора? Ничего. И Нефеду ничего не сделать.

Никогда Игнат Сысоич никого не ждал так, как в эти дни. Все равно кого – Чургина, Алену, Оксану, даже Якова ждал, хотя, говорят, он распродавал запасы пшеницы в каких-то странах и наживал бешеные деньги. Но вернувшийся из Александровска Федор сообщил: Чургин тушит пожар в шахте, где погибло много людей, и его даже повидать не удалось. От Алены не было ни слуху ни духу.

И Игнат Сысоич потерял всякие надежды: никто не приехал, никому нет дела до его горя. Тогда он отправился вечером к Егору и рассказал все, что знал.

Егор выслушал его, подумал немного и обнадежил:

– Если, случаем, будут гнать пеши, считай, что Леонтий будет дома. Жизни своей не пожалеем, стражу порубаем, но его вызволим.

Игнат Сысоич успокоился и стал ждать развития событий. А они разворачивались так: в хутор нагрянула из города целая ватага охотников травить волков и уничтожать молодые выводки. А во главе той ватаги был Овсянников.

Атаман Калина был в восторге: наконец-то нашлись в городе добрые люди и в кои веки решили помочь хуторянам перевести волков, которые до того обнаглели, что стали резать овец едва не под носом у хозяев.И обрадованно сообщил казакам:

– Ставь, станишники, два ведра водки! Сжалились над нашей бедой городские охотники! Отольются теперича бирюкам овечьи слезки!

Егор Дубов незаметно посмеивался и мысленно говорил Калине: «Правильно, атаман. Отольются тебе теперича наши слезки. За оплошку дозора начальство шкуру с тебя сдерет».

У Овсянникова было два плана действий: если Леону удастся остановить поезд возле леса, как и условились, на самой высокой точке Донецкого кряжа – взорвать арестантский вагон. Если не удастся – машинист попадется не тот, – сделать налет на станцию Донецкая и при помощи Егора и Пахома освободить Луку Матвеича раньше, чем казачий патруль сможет броситься на выручку жандармам. Для успеха дела Овсянников оставил одну дружину на станции, а другая должна была залечь в трех верстах от нее, возле леса. Вот почему он и прибыл в Кундрючевку с дипломатической миссией и с дюжиной мнимых охотников.

Калина и тут решил извлечь выгоду и шепнул Овсянникову:

– Деньги наперед? Аванец там и все такое... Чи опосля пошабашим? По четвертаку за шкуру, с рук на руки – и концы в воду.

Овсянников рассеянно ответил:

– Я не люблю, атаман, делить шкуру неубитого медведя. Сочтемся, когда заработаем. А вот пары две лошадей назначить нелишне. Для меня, для моих помощников... В лесу пешком все не проверишь.

Атаману понравился такой деловой тон: действительно, деньги порядочные люди сначала зарабатывают, а уж потом получают. И он даже крякнул от удовольствия.

– Дельные речи и слушать одна приятность. А об конях спросу не будет, возьмем хоть весь табун у Загорулькина, – сказал, а про себя добавил, уже Нефеду Мироновичу: «Вот так, куманек, послужи обществу, раз зятька хочешь вызволить».

Овсянников расположил первую дружину на Донецкой, вторую оставил за собой и стал ждать условной телеграммы Кошкина. Но на Донецкую приехал Кошкин – он когда-то здесь служил – и сообщил: поезд отправится из Югоринска послезавтра, поздним вечером.

Овсянников повидался с Егором Дубовым, который был назначен атаманом в наряд на станцию Донецкая вместе с Пахомом, и условился: если казаки услышат взрыв, надо возможно дольше задержать их на станции.

Поздно ночью, в назначенное время со стороны Югоринска показались два тусклых глаза паровоза. Овсянников удивился: подъем здесь был очень большой и поезда никогда с одним паровозом не ходили. Значит, югоринские железнодорожники что-то придумали и прицепили к составу один паровоз. Поэтому он и пыхтел изо всех сил, пытался взять разгон и часто вращал колесами, но состав по-прежнему еле тянулся.

Овсянников лежал за штабелем щитов и рассчитывал, где именно может оказаться паровоз, а где вагон с арестованными. Впереди, саженях в ста, лежал телеграфист Кошкин, вооруженный маузером, бомбами; через каждые десять саженей лежали дружинники, по цепи которых Овсянников то и дело передавал распоряжения.

А желтые глаза паровоза все двигались и, казалось, уже не по рельсам, а где-то в стороне, по проселочной дороге, за деревьями. Овсянникову так и хотелось побежать и завернуть его, чтобы не ушел стороной, но он всякий раз говорил себе: «Спокойнее, черт возьми. Отвык от серьезных дел, что ли? Сейчас подойдет».

Но он напрасно беспокоился: дед Струков знал свое дело, поднял красный фонарь как раз там, где ему велено было, и пошел махать фонарем. Паровоз зашипел, резко осадил, и по вагонам пошел перестук буферов.

Послышались крики:

— Именем революци-и-и!

Леон и Овсянников оказались возле вагона с арестованными одновременно. И не успели разбить окно в двери, как она неожиданно открылась, из нее высунулась борода, потом весь жандарм, и в это время через его голову в тамбур полетели разом две бомбы.

Жандарм скрылся в дыму, а от тамбура полетели щепки.

Леон вскочил в вагон, крикнул:

— Оружие — на пол! Стреляем!

Жандармы бросали револьверы на пол, иные на ходу вытаскивали их из кобур и никак не могли вытащить, но им помогал телеграфист Кошкин и деловито складывал оружие в саквояж.

А Леон и Овсянников ходили из купе в купе, искали Луку Матвеича и не могли найти его. «Неужели... провели? В последний момент решили гнать этапом?» — затревожился Леон, но Овсянников что-то услышал в последнем купе и побежал туда.

Действительно: в последнем купе на полу лежал Лука Матвеич, а верхом на нем сидели два толстых жандарма и душили железным сундучком, в которых железнодорожники обычно возят харчи.

— Отставить! — резко скомандовал Овсянников, влетев в купе.

Леон пнул ногой одного жандарма, Овсянников дал маузером по затылку другому, и Лука Матвеич встал на ноги и радостно воскликнул:

— О! Так вы оба тут? Ай, хлопчики, а? Эти шкуры насели на меня, как слоны, бисовы души.— И, обняв Леона и Овсянникова, распорядился: — Освободите всех арестованных. Они заперты. И в степь. Задерживаться нельзя. Да, а Ряшин жив-здоров? Подлец он, оказывается.

— После, старина, потом,— ответил Леон.— Быстро из вагона. Возможна погоня казаков... Виталий, товарищи, разбивай двери, освобождай всех!

И арестованные высыпали из разбитого вагона и исчезли в ночи.

Глава пятая

...И собрались друзья...

Не знали они, что собрались, чтобы расстаться, и что судьба вот-вот расшвыряет их по чужим землям на долгие, долгие годы. Но если бы и знали, они все равно собрались бы, потому что никакая судьба не в силах была остановить и отнять у них мечту, которой они жили, ради которой шли на все. Нелегок был их путь, немало на нем встретится лишений, но кто же из живых думает о смерти? И они не думали об этом. Они думали о том, как пройти сквозь лихолетье, и мечтали о том дне, когда над землей грянут неслыханные еще громы, в неистовом штурме народа рухнут черные миры, падут кровавые тираны и над Россией взойдет солнце и явит день, который станет новым днем человеческой жизни...

Молчала степь, уснула после тяжких трудов, и балки уснули, и леса в них, и только совы-полуношницы опять кричали противным криком или же бесшумно скользили в бледной лунной дымке, гоняясь за юркими летучими мышами.

И болгарин Трифон уснул, намаявшись на своих зеленых плантациях.

А в землянке, на нарах, облокотясь, полулежали Лука Матвеич, Леон, Чургин, Бесхлебнов. Лишь один Овсянников — вихрастый, с подстриженными желтыми усиками, в черной косоворотке и в начищенных сапогах — ходил неслышными, кошачьими шагами и одним ухом ловил слова Луки Матвеича, а другим — шорохи за землянкой и сычиные крики на речке и думал: «Чертова птица. Так и хочется разрядить в нее маузер».

— Ну и говорит Владимир Ильич: в новую думу мы, разумеется, пойдем, это решено. Революция, по всей видимости, затягивается, реакция торжествует, рабочий класс обессилен, а одно крестьянство самодержавия не осилит. Очевидно, придется глубоко уходить в подполье. Если очередной съезд ничего не изменит в партии, в ЦК — мы еще крепче возьмемся за руки и пойдем вперед, как шли и идем с момента «Искры». И рано или поздно, но все равно придем к нашей заветной цели: к победоносной социалистической революции. Вот что он просил передать вам и что я делаю с некоторым запозданием. Выследили все же меня, бисовы души. Да, а о Ряшине вы что молчите? Я убежден, что мой арест произошел не без его участия.

Леон невесело ответил:

— Удрал Ряшин. Виталий ранил его.

— Упустил. Жаль. Ну, когда-нибудь Виталий второй раз не упустит.

— Что? — переспросил Овсянников, все время смотревший в окно и прослушавший последние слова.

— Я говорю: молодец, что взялся за ум, — ответил Лука Матвеич.

— А-а...

— Что ж вам еще сказать, друзья мои и товарищи? — продолжал Лука Матвеич. — Хорошие вы солдаты партии, славные люди. Не хочется мне расставаться с вами, а хочется посидеть вот так, при луне, хотя бы до рассвета, и помолчать...

Он пососал давно угасшую трубку, вынул ее изо рта и заключил:

— Нас всегда ждет борьба — скрытая и явная, горькая и радостная. Мы не знаем, сколько она будет продолжаться, но мы знаем, что она будет продолжаться ровно столько, сколько надо. И дай нам бог, как говорится, пересилить все и дожить до победы нашего великого дела... Была бы чарка — я поднял бы первый тост за вас. А коль ее нет — скажу так: большое, сердечное вам спасибо за все, что вы сделали для партии и что сделаете завтра...

А потом пели песни. Собственно, пел Овсянников своим красивым бархатным басом, а остальные подпевали:

Солнце всходит и заходит,
А в тюрьме моей темно,
Дни и ночи часовые
Да — эх! —
Стерегут мое окно...

Леон вышел из землянки проверить, что творится за нею, и увидел: огородник Трифон преспокойно откинул голову к глинобитной стене и сладко похрапывал. Леон хотел разбудить его, но пожалел: наработался Трифон, умаялся за день — вот и уснул.

И степь спала в белесой лунной дымке, и сама луна подремывала, набросив на седую голову розовую кисею облаков. Одни сомы резвились и шлепали хвостами на речке так, что лягушки умолкали с перепугу.

Но не нравилась эта тишина Леону, неживая она была, холодком веяло от нее, и он даже поморщился и наклонился подтянуть голенища сапог, будто бежать намеревался. А когда поднял голову — увидел: из балки быстро приближалась белая фигура. И Леон узнал: Алена!

Алена подбежала к нему и еле вымолвила:

— Запалилась... Дай воды... Что ж не пришел? Я ночи просидела на крылечке.

Леон хотел сказать: «Напрасно ты так неосторожно пришла, провокаторов у нас развелось слишком много», но не сказал, а посмотрел в ее глаза — искрящиеся, наполненные великой жизненной силой. И хлынули на него, как паводок, воспоминания, хорошие и незабываемые воспоминания о своей молодости. Любил он ее? Ее нельзя было не любить: живую и трепетную, преданную своей любви бесконечно. Но это уже была не та Алена, которую Леон знал, а была богатая городская женщина. И Леон с горечью подумал: «Владелица «Торгового дома». Никогда не предполагал». Ему надо было бы привлечь ее к себе, постоять с ней в этой сразу посветлевшей, чудесной степи, среди этой безмолвной белой ночи и сказать ей слово, ради которого она кинется в огонь и в воду. Но он набрал кружку воды и подал ей:

— Не пей всю — простудиться недолго.

Сказал так равнодушно, как будто и не Алена была перед ним, но она и этому была рада безмерно и смотрела, смотрела на него — сияющая, доверчивая, счастливая — и не могла насмотреться. Сколько они не виделись? Ей казалось, что вечность.

Вдруг послышалось далекое ржание лошадей. Леон постучал в окно, и песня в землянке оборвалась. И сон огородника Трифона оборвался: он прислушался и метнулся в землянку за охотничьим ружьем.

— Вот что ты наделала, Алена,— с обидой произнес Леон.— По твоим следам едут жандармы, из лап которых мы только что освободили Луку Матвеича. Эх! Лучше бы уж ты сидела в своем магазине!..

Это было жестоко, и Леон понял это, но делать было нечего.

Алена, освещенная бело-розовым светом, держала в руках жестяную кружку с водой и молчала. Голова ее упала на грудь, кружка наклонилась, из нее струйкой текла на землю вода, и наконец она упала. Но Алена не слышала этого и уже судорожно крутила, скручивала махорчики кремового, в розочку, полушалка.

И поняла Алена: зря она умоляла деда Струкова сказать, где Леон, зря бежала сюда, готовила слова, брызжущие счастьем предстоящей встречи. Ничего не нужно было от нее Леону, а если что и нужно еще было, это чтобы она ушла. И как она ни боялась сказать это тяжкое слово, она сказала его:

— Ты разлюбил меня, Лева? Но почему же? Почему?

Она вся дрожала, она цеплялась за последнее, самое святое в ее жизни, и не могла поднять глаз потому, что в глазах ее было отчаяние, были слезы, был конец всему...

— Милые, надо уходить,— услышала она голос Чургина.

И вслед за этим услышала слова Леона, которые запомнила на всю жизнь:

— Ну как, как жить с ней после этого, Илья? Она ни с чем не считается, ничего не хочет признавать. Вот пришла и привела... Не могу. Не вынесу я такой жизни, Алена.

И тогда Алена рухнула на колени, и из самой глубины души ее вырвались слова, потрясшие ночь:

— Ну, прости, прости меня, окаянную! Я все, все сдеру с себя, как коросту. С кровью, с мясом. Верни мне свою любовь, Лева...

Подошел Лука Матвеич, поднял ее.

— Дурочка ты, дочка, и больше ничего, как по-отцовски сказать. Вон едут казаки по твоим пятам,— мягко пожурил он ее и сказал всем: — уходим. Виталий, бомбы свои бросай в крайнем случае. Берите и ее, Леон, Илья.

И тут лишь на Алену нашло просветление, и она вспомнила:

— Полковник! Он был сегодня у меня...— И истошно вскрикнула: — Не дам! Не дам, полковник! У-у-у, как я всех вас ненавижу, клятые!

Раздались свистки, послышался топот ног на противоположной стороне балки и голоса:

— Именем закона — сдавайся! Крамольницкое отродье!

Овсянников подождал, пока жандармы спустились в балку, и, встав во весь рост, крикнул:

— Получайте, вашескородь, подарок от донского казака! — и швырнул вниз пятифунтовую бомбу.

В балке, в степи, над речкой и над всей округой ухнуло тяжким орудийным гулом, и все застонало, заохало, загудело, как гром. Эхо покатилось над низинами, над скалами, и земля задрожала и будто закачалась, как от землетрясения.

Выяснение причин провала не потребовало больших усилий. Околоточный Карпов сообщил, что налетом на болгарские плантации действительно руководил полковник, из Новочеркасска. Овсянников подождал, когда полковник возвращался домой, и днем, на виду у всего Югоринска, выстрелом в упор отправил его на тот свет.

Леон приехал в Петербург с Лукой Матвеичем, побывал с ним на заводах и наконец приехал в Териоки, на совещание петербургских партийцев.

— А теперь сиди и слушай, хлопче, жалеть не будешь. А чтобы не заскучал — кликни вон ту парочку, а то она так увлеклась, что и нас за людей не признает,— кивнул Лука Матвеич в сторону.

Леон посмотрел туда, куда он указал, и у него глаза округлились: недалеко от них стояли инженер Рюмин и Ольга.

— Так это же Ольга! И инженер Рюмин,— негромко воскликнул он и рванулся с места, да Лука Матвеич придержал его:

— Брат Леонида. Михаил. А ты поумерь свои восторги. Не из деревни, чай.

Леон смутился и притих. А Ольга смотрела на него во все глаза, будто сто лет не видела, а когда подошла — растерялась.

— Ты приехал? Вот хорошо...

Лука Матвеич уединился с Рюминым и повел расспросы о Свеаборге.

Рюмин рассказал: он выбрался в Гельсингфорс вместе с бойцами финской Красной гвардии, потом уехал в Швецию, едва не был интернирован вместе с другими матросами из Свеаборга, но помог заграничный паспорт и бумага министерства. Потом был в Германии по делам министерства, в Париже, и вот только что возвратился в Питер.

— Сейчас собираюсь в Югоринск, на старое место. Директор прислал отцу письмо и просит вернуть меня на завод... Ну а вы как? Провалились, я слышал?

Лука Матвеич не стал рассказывать, потому что Ленин заметил его, подошел и, пожимая руку, сказал весело:

— Нуте-с, здравствуйте! Рассказывайте, старый конспиратор. Провалились? Так я и знал. Коль уехал и молчал, значит, выследили и засекли. Не так ли? — недовольно прищурил он глаз и поздоровался с Рюминым.

— Так, Владимир Ильич. Провалился, бисов сын, — виновато ответил Лука Матвеич. — Там черт знает что делается: провал за провалом. Леон и другие хлопчики выручили.

— Леон тоже здесь? Вы непременно познакомьте меня с ним. А Илья Муромец не приехал?

— Спасает людей и рудник. Сорок два человека погибло.

— Сорок два человека?! Ай-яй-яй, — качнул Ленин головой и, подозвав Надежду Константиновну, сказал: — Надюша, ты слышала? У Ильи Гавриловича большое несчастье: погибло в шахте сорок два человека. Ужасно!

Надежда Константиновна поздоровалась, сказала:

— Мне Оля говорила, ей Илья Гаврилович писал. Это действительно ужасно. И за чем только смотрят наши техники, не говоря о властях, — уколола она Рюмина.

Рюмин развел руками, а Ленин подхватил ее слова и с горечью продолжал:

— Вот именно: за чем смотрят техники, не говоря о правительстве. Правительству нашему, сиречь главному виновнику сих архимерзких дел, такой варварской эксплуатации копей, ему-то недосуг заниматься такими мелочами. Ему впору заниматься думой, левыми элементами и готовить против них драконовские законы... Ну, об этом мы еще поговорим. Как вы, Михаил Константинович? Как наша очаровательнейшая пианистка, Марфенька, жива-здорова? Музицирует, поди?

— Хочет бросить курсы и пойти в революцию.

Ленин нахмурился, строго повторил:

— Хочет бросить курсы. Бестужевские. Гм, гм. Это печально, очень печально. Нам нужны не просто революционеры. Нам нужны великолепно образованные профессиональные революционеры, а не только энтузиасты. На одном энтузиазме, на одном великодушном, пусть и самом честном, пусть и самом благородном порыве мы революцию не совершим и власть не возьмем. Так и передайте вашей сестрице. — И добавил шутливо: — Иначе в революцию не пустим!

— Хорошо, Владимир Ильич. Так и скажу.

— Ну, тогда все будет отлично... А не пора ли начинать, как вы думаете? — посмотрел Ленин на часы.

Леон и Ольга сидели в зале и озирались по сторонам с любопытством и нетерпением. Для них все здесь было необычным: и то, что это было совещание партийцев столицы; и то, что оно происходило не где-нибудь в балке тихой ночью, как в Югоринске, а за границей, в добротном светлом здании; и то, что на нем присутствовали самые видные деятели партии и конечно же будет присутствовать Ленин. А ради одного этого Леон и Ольга готовы были пешком идти сюда хоть от самого Югоринска.

Они перешептывались, вертелись и все время высоко поднимали головы: не пришел ли Ленин?

Наконец рядом сел Рюмин, и Леон спросил:

— Михаил Константинович, а Владимир Ильич...

Рюмин молча указал глазами вперед. Леон с Ольгой привстали от удивления: как же они не заметили? Но Ленина, такого, как они мысленно представляли его себе — могучего, заметного среди всех смертных, такого не увидели.

— Вы, желторотые, вы можете посидеть хоть минуту спокойно? — негромко раздалось сзади. — Откуда вы такие взялись?

— Мы шахтеры, из Донецкого района.

— Угу. А у вас там все такие вертлявые?

Вскоре началось совещание, и Ольга замерла, будто ее приклеили к стулу. Человек с круглым, похожим на женское лицом и черной шапкой курчавых волос высоким голосом, совсем не подходившим к его плотной фигуре и довольно высокому росту, предоставил слово Аксельроду.

— Что за девчачий голос!.. Неприятно слушать, — поморщилась Ольга.

— Зиновьев, — ответил Рюмин.

Фамилия ни Ольге, ни Леону ничего не говорила, и они не обратили на Зиновьева особенного внимания.

Оратор вяло что-то рассказывал о деятельности ЦК во время выборов во II думу, жаловался, корил:

— ...Агитация на предвыборных собраниях была неудовлетворительной... Агитационную литературу невозможно было издавать... Рабочие принимали слабое участие в проведении выборов... Сильно чувствовалось бойкотское настроение, которое удалось преодолеть слишком поздно, — посмотрел Аксельрод на передний ряд слева, будто продолжал: «А все это по вашей милости, дорогой товарищ».

И тотчас же оттуда раздался металлически звонкий и убийственно иронический голос:

— Ай-яй-яй, какие несчастненькие, какие бедные наши меньшевики-цекисты, даже когда они находятся в большинстве! Поистине поразительное сочетание всех бедствий, проистекших от не менее, если не более, поразительного забвения целей и элементарнейших обязанностей подлинно революционной партии и подлинно революционных деятелей: учить и еще раз учить рабочих искусству политической борьбы, а не ныть, не обвинять их, не плакаться в жилетку... Прошу извинить за вторжение в прямо-таки заупокойную речь оратора...

Брызнул смех, залик загудел, задвигался, заскрипел стульями, а оратор разводил руками, тоже улыбался и что-то бормотал, оправдываясь, кивая в сторону сказавшего эти слова, но так ничего вразумительного и не сказал.

Леон уже догадался, кто мог так ловко отбрить оратора, и восхищенно шептал Ольге:

— Вон он какой... Другому потребовалось бы целую лекцию прочитать, а он уложил одной фразой. Наповал.

— Это же Ленин! — восторженно сказала Ольга и заерзала на стуле, готовая, кажется, сама выбежать на трибуну.

— Ты, курносенькая, садилась бы на мое место, пра... — сказал голос с хрипотцой за спиной Ольги.

— Да какая же я такая, дядя?

— Известное дело. Прошла бы вперед, что ли, раз тебе не терпится. Все больше своим донецким расскажешь.

И Ольга сорвалась с места, быстро стала протискиваться между рядами стульев, поближе к президиуму, а через две минуты потерялась там среди других, стоявших по сторонам.

Леон сказал Рюмину:

— Никогда не видал ее такой. Протаранила. То-то Ольга...

Оратор между тем продолжал — теперь уже о рабочем съезде. Но мысли эти были не новыми и не вызывали ни восторгов, ни протестов. Однако многие все же посматривали туда, где сидел Ленин и что-то записывал, наклонив голову, и будто ожидали, что он обязательно должен что-то сказать.

Ленин выступил в прениях. Спокойно, шаг за шагом, он разобрал доводы Аксельрода, напомнил, что предстоящий Пятый съезд РСДРП скажет окончательное слово о так называемом рабочем съезде и что предопределять заранее его необходимость нет никакой нужды.

Аксельрод подал реплику:

— Но мы затем и собрались здесь, чтобы обсудить обстоятельно и всесторонне все вопросы, какие будут стоять на повестке дня съезда. Зачем же уклоняться от этого?

Ленин ответил:

— Понимаю... Товарищу оратору требуется решить вопрос немедленно, не дожидаясь общепартийного съезда. А на каком основании, позволительно спросить? И не есть ли это попытка нашего уважаемого оратора, — впрочем, не одного его, а, как вы помните, целой плеяды ему подобных, выступавших в «Народной газете», в других органах печати, ораторов, — потихонечку, вместо объединения всех сил партии и революции для новых предстоящих выступлений пролетариата, свести дело к ликвидации партии вообще? — спросил он, глянув на тех, кто сидел в первом ряду, слегка прищуренными глазами. И сказал неожиданно для всех: — Я утверждаю, что все эти речи, все эти сочинения, все статьи в некоторых газетах есть именно попытки ликвидировать марксистскую партию, заменить ее беспартийными комитетами, беспартийными съездами...

— Вы сгущаете краски, Владимир Ильич. Рабочий съезд — это всего лишь новая форма руководства движением, — заметил Аксельрод.

Ленин слегка, как бы только к нему одному, наклонился, отбросил руки назад и воскликнул:

— Руководства движением! А позвольте осведомиться: кто это, по-вашему, должен воздействовать на него, на его массы, на его органы? И как, позволительно задать вопрос, беспартийная организация может

влиять на партийного товарища Аксельрода, к примеру? Или на товарищей Ларина, Хрусталева и компанию? Нет, что ни говорите, а наши новоявленные беспартийные социал-демократы достойны превосходного фельетона. Подумать только: широкая рабочая партия, как проговорился товарищ Ларин, должна включить в себя девятьсот тысяч человек из девяти миллионов всех рабочих России. Чудовищная сила, не правда ли? Но беда в том, что с этой силы вы рекомендуете снять нашу вывеску, социал-демократическую вывеску. Да-с, господа реорганизаторы партии, упразднители марксизма, революции и всего нами завоеванного и выстраданного на протяжении десятилетия...

— Ленин отвергает все, что не согласуется с его взглядами,— заметили из первых рядов.

— Да, да, господа, отвергаю, не принимаю, протестую самым энергичнейшим образом. Ибо ваша беспартийная партия, ваши беспартийные заводские комитеты есть фикция, есть чисто интеллигентская причуда, которая, буде она оказалась бы принятой, отбросила бы нашу партию назад, к группам и группочкам, к кружковщине, к разброду, к шатаниям, к разложению политического организма, над созданием которого русские рабочие, русские революционеры трудились годы и годы...

Аксельрод запальчиво крикнул:

— Но, позвольте, товарищ Ленин, этого еще никто не предлагает!

И Ленин воспламенился:

— А вот и не позволим! Под страхом смерти не позволим, да-с! — энергично взмахнул он правой рукой.— Вы именно к этому и ведете партию, милостивые государи,— к ликвидации ее, к растворению ее в массах — и из авангарда движения, из руководителя масс, намереваетесь превратить ее в беспартийную партию неорганизованных масс, неорганизованного, сиречь стихийного, движения! Вот этого-то мы вам и не позволим сделать, костьми ляжем, а не позволим, да-с!

Все молчали. Так Ленин еще не говорил, об этом еще вообще не было речи — о попытках ликвидации партии. Не может этого статься! Вот-вот состоится очередной съезд. Как же можно вести речь о ликвидации партии? Нет, тут что-то преувеличено. Ну рабочие съезды, ну заводские комитеты — это ведь всего лишь подсобные органы социал-демократии, только и всего. Почему надо бояться этих новых форм и видов революционного движения? Почему Ленин так резко ставит вопрос?

Так думал Красин, а отчасти и Рюмин. Они сидели рядышком и все время значительно переглядывались и посматривали на Аксельрода, Дана, но те пожимали плечами, тоже переглядывались и как бы удивлялись и такой речи Ленина, такой постановке вопроса, такой страстности всего разговора о рабочем съезде. Не понимали они его или не были согласны с ним?

И Рюмин наконец сказал Красину вслух, негромко, но Леон услышал:

— Не понимаю я Владимира Ильича. Очень уж резко, очень горячо и очень дискуссионно ставит он вопрос. Или действительно видит на три аршина под землей... Ты согласен со мной, Леонид?

Красин не торопился отвечать. И ему не совсем была понятна такая резкость и непримиримость Ленина. Но Красин знал Ленина больше, работал с ним и был убежден: да, положение дел в партии куда серьезней,

чем это представляют себе, пожалуй, все здесь присутствующие. И ответил Рюмину:

— Нет, Михаил. Здесь все гораздо сложнее и гораздо значительнее, чем нам то кажется. Ленин прав.

— Потому что он Ленин?

— Нет. Потому что он увидел нечто, что еще нам с тобой не совсем ясно.

Леон, все время молчавший, сказал:

— Владимир Ильич сказал то, что уже явно наметилось даже у нас, в Югоринске.

Голос позади глуховато поддержал его:

— Верно. Дело клонится как раз к тому, про что он толковал...

Во время перерыва Леон сказал Рюмину:

— Вот почему Лука Матвеич видит всегда дальше нас, острее нас и может распутать любой клубок. Не те масштабы, не та гора, все не то, что у нас. У нас — завод, шахта, город. Здесь — вся Россия, судьба революции. Эх, как далеко видно отсюда! — вздохнул он.

Рюмин улыбнулся, посоветовал:

— Ну и оставайтесь в Питере. На Путиловский устроим, и будете столичным франтом — вальцовщиком.

Разговор их прервала Ольга. Раскрасневшаяся, быстрая, она подошла к ним, охваченная необычным волнением, и доложила:

— Где же вы пропадали? Лука Матвеич... познакомил меня с товарищем Лениным! Он такой простой и хороший...

В это время раздался шутливый, знакомый теперь Леону голос:

— Ага, вот они где запропастились...

Лука Матвеич представил Леона:

— Ну, вот это и есть Леон Дорохов, железный канцлер Югоринска.

— Как-как? Железный канцлер? — рассмеялся Ленин. — Ох, юмористы какие, честное слово... Надя, — позвал он жену, что шла позади, — ты слышала? Железный канцлер... товарищ Леон. Как находишь, похож на Бисмарка?.. Ох и юмористы у вас там, в Югоринске. Ну-с, давайте знакомиться, товарищ Дорохов, — энергично подал Ленин руку.

Леон пожал ее с осторожностью, принялся благодарить:

— Спасибо вам, Владимир Ильич, за то...

Ленин прервал его:

— Простите, вы женаты?

Леон не ожидал такого поворота, но не растерялся и ответил:

— Женат.

— Детки есть?

— Был, но... Преждевременно родился. При первом моем аресте случилось.

— Гм, гм. Понимаю. Печально... — задумчиво проговорил Ленин и посмотрел на Надежду Константиновну: — Слышала, Надя?

Надежда Константиновна уже виделась с Леоном и знала о его жизни от Луки Матвеича. Чтобы изменить этот тягостный разговор, она тепло сказала:

— Ничего. Люди молодые, наживут еще... А тебя можно увести в буфет? Хотя бы вы, Лука Матвеич, посодействовали...

Лука Матвеич прикинулся проголодавшимся:

— Бисова душа, совсем забыл, что я ни маковой росинки не имел во рту еще с прошлого года... Так что, Владимир Ильич, господа, угощаю. За свой личный счет.

Ленин сказал шутливо:

— Ну, от угощений отказываться неприлично. Так что я – за. А как другие?

Леон спросил:

— Владимир Ильич, значит, мы правильно поступаем на местах, что критикуем идею рабочего съезда? Наши меки тоже носятся с этим.

— Правильно, совершенно правильно поступаете, товарищ Леон,— оживленно ответил Ленин.— И это не вам, а мне у вас следует спросить: правильно ли я критиковал эту идею? По-моему, здесь следует не только ограничиваться критикой, а надо самым энергичным, самым, вот именно, железным образом протестовать против этой архивреднейшей, антимарксистской чепухи. Это первый шаг к ликвидации партии, чего мы, разумеется, ни в коем случае, ни при каких обстоятельствах не допустим и допустить не имеем права. Вы согласны со мной?

— Вполне, Владимир Ильич. Но неужели это может привести...— не унимался Леон.

— Может, уверяю вас,— понял его мысль Ленин.— Может, но не приведет. Не позволим. Ну-с, спасибо вам за поддержку, товарищ Леон... Да, а как вы устроились?

— Благодарю, устроился у товарища Рюмина.

— О, у него как на даче Столыпина, я знаю. Прелесть как удобно! А вы, товарищ Оля? Тоже там, с Марфенькой, поди?

— Да, Владимир Ильич. С Марфенькой.

— Чудесная девушка, скажу я вам по секрету и чтобы жена не слышала. Гм, гм,— лукаво подмигнул Ленин и заторопился уходить.— Прошу извинить, товарищи. Меня ждут угощения, так что честь имею. Надеюсь, еще встретимся, поговорим обстоятельно, с вами в частности, товарищ Леон.

— Я к вашим услугам, Владимир Ильич.

— Ну, вот и условились... Итак – до скорой встречи.

Ленин ушел, а Леон и Ольга все еще смотрели ему вслед. А Рюмин смотрел на них и улыбался и думал: «Как все-таки чудесна жизнь! Как хороши люди! И, право же, ради этого стоило идти хоть в самое пекло, а не только в Свеаборг. Во имя людей...»

Глава шестая

Лука Матвеич засиделся на даче у Красина. Говорили о совещании, о выступлении Ленина и Аксельрода, и было немного грустно. Попытка меньшевиков навязать партии идею рабочего съезда произвела тягостное впечатление. И Ленина поддержали не все: партийцы питерских заводов были с ним, но меньшевистский ЦК был против.

И Зиновьев хорош: при голосовании воздержался.

Лука Матвеич сцепился на совещании с Аксельродом, потребовал от

ЦК прекратить агитацию за созыв рабочего съезда, а с Зиновьевым едва не поругался.

Сейчас Красин заметил:

— Что-то у тебя неладно вышло в том месте речи, где ты говорил о боевом настроении на местах и о разброде в организации. Непонятно, как Ильич пропустил это.

— Значит, все было правильно.

И еще обсуждали денежные дела партии.

— Поговори с Ильичем. Мне не совсем удобно. Без хорошего экса мы со съезда не вернемся. Туда доедем, а обратно ехать будет не на что. Остальное я устрою сам с Камо, не впервой.

Лука Матвеич крутил усы и не знал, что делать. Какой может быть экс, когда не сегодня-завтра надо отбыть в Копенгаген, чтобы проверить, как идут дела и все ли готово. И он ответил:

— На охоту идут — собак не кормят, Леонид. Что может успеть сделать даже Камо? Придется туго — попросим помочь Горького, он тоже будет на съезде... Меня беспокоит не это. Меня беспокоит состав делегатов. Неужели опять меньшинство будет иметь численное превосходство и опять провалит наши проекты?

И Лука Матвеич начал подсчитывать, кто от какой организации может быть делегатом. Красин знал партию не хуже его, но не мог не удивиться: друг его знает положение дел на местах куда лучше.

— ...Свердлов от уральцев непременно будет...— говорил Лука Матвеич.— Роза, само собой, поддержит нас... Горький тоже должен стоять за нас насмерть... Ну, Семашко, Зиновьев, Теодорович, Феликс, Богданов... Артем тоже должен быть. Затем Коба — от Кавказа...

— Он в ссылке.

— Уже удрал. Горазд бегать. Жаль, что Серго и Алеши не будет, попались, говорят... Так кто же еще из наших будет, дай бог память?..— Он задумался и вдруг зевнул, извинился и сказал: — Давай кончать эту арифметику, уже двенадцатый час ночи. А мне завтра ехать в Питер.

На дачу, где жили Ленин и Богданов, Лука Матвеич шел и все время сладко зевал. «Бисова душа, раззевался, как загулявшаяся дивчина. А люди вон еще дела делают, не спят,— корил он себя, заметив в комнате Ленина огонек. И сел на порожек.— Итак, за границу. А с бабкой своей даже не попрощался. Срамота, придется хоть письмецо бросить с дороги... Старый стал, в молодости ничего не забывал»,— продолжал он отчитывать себя.

В передней-столовой было полутемно, и лишь тоненький лучик света еле пробивался сквозь неплотно закрытую дверь комнаты Ленина. Лука Матвеич чиркнул спичкой, осмотрелся. Та же кровать, что служила ему кратким отдыхом после свеаборгских событий, когда его принимал здесь Овсянников, но только теперь на ней было серое солдатское одеяло и белая подушка; так же, посредине, стоял стол, за которым он уснул, так и не допив чай, но теперь на нем была желтая скатерть и одиноко стоял пузатый кувшин, а рядом с ним — стаканы и тарелочка с серыми ломтиками хлеба.

Лука Матвеич заглянул в кувшин и увидел там молоко. «Подкрепимся на славу»,— подумал он, и в это время услышал жалобный, хотя и очень низкий голос:

— Так... Но мы были не против того, чтобы выступать заодно с ореховозуевцами, товарищ Ленин?

— А вот наоборот: вы были против. И извольте смотреть фактам в лицо. Вы отказались выступить в поддержку костромичей, тверичей, зуевцев и сорвали... да-да, именно сорвали общее выступление всего центрально-промышленного района. Вот что вы наделали, господа... И извольте отвечать за этот анархизм, милостивые государи. Отвечать перед партией, перед рабочим классом России. По всей строгости революции...

Лука Матвеич даже поежился. Было очевидно, что у Ленина находились руководители партийной организации текстильщиков и что разговор шел крутой. Голос, еще более неуверенный, но упрямый, продолжал:

— Но мы же хотели прояснить ихние лозунги, Владимир Ильич. Что ж тут худого? А вы так нас изничтожили...

— А разве эти лозунги и цели недостаточно были «прояснены» на баррикадах Пресни? И только вам, изволите ли видеть, они оказались неясными! — негодующе воскликнул Ленин и убийственным тоном спросил: — А вы знаете, как называется эта ваша неясность? Забвением общепролетарских общереволюционных задач и обязанностей в угоду своим узкоцеховым, профессиональным, тред-юнионистским настроениям и интересам. За это вас следует не «изничтожить», как вы изволили выразиться. За это вас следует исключить из партии, немедленно исключить всех, чтобы впредь другим неповадно было. Да-с! — отрубил Ленин и умолк.

И настала тишина. Слышалось лишь, как по полу стучали каблуки: тук-тук... тук-тук...

Лука Матвеич сидел на кровати не шевелясь. «Получили сполна ивановцы. Эх, други мои, уж лучше бы помалкивали со своим «выяснением». Не капиталисты, чай, бастовали», — посочувствовал он текстильщикам, узнав по голосу одного из боевых руководителей ткачей, Иванова.

Иванов, явно подавленный, сказал:

— Эх! А все это получилось через те письма ЦК. На бланках ведь! А теперь, значит, вы больше нам не верите, товарищ Ленин.

— Этого я вам не говорил, совсем не говорил, — ответил Ленин более спокойно. — У ивановцев есть хорошие революционные традиции партийных организаций. Вы забыли об этих традициях, о геройских делах ткачей в октябрьско-декабрьской битве, заболели куриной, то бишь меньшевистской, а вернее всего — анархосиндикалистской слепотой, что, впрочем, одно и то же. Вот в чем суть.

— Так бланки, бланки же были ЦК! — в отчаянии воскликнул другой голос. — Там же ясно сказано: мол, исходить из местной обстановки и больше налегать на страхкассы, а не на беспочвенные мысли про баррикады.

— Вот, вот, вот... Что и требовалось доказать! Не думали о баррикадах! Исходили из местной обстановки! — повторил Ленин язвительно и резко. — А того не могли понять, что бумажки Дана и Мартова, присланные под маркой директив ЦК, — это и есть чистейшей воды анархосиндикализм, и что на те бумажки надо было решительно наплевать. Да-с! Ибо меньшевики еще никогда и ни при каких обстоятельствах революционерами не были и не будут. А мы с вами — революционеры, батенька мой, до мозга

костей революционеры, и нам с вами кланяться меньшевистским бумажкам стыдно, недопустимо со всех точек зрения...

Лука Матвеич облегченно вздохнул. Он видел: не все у его друзей потеряно и дело явно клонится к перелому разговора. И подумал: «Крепись, парень, дело можно еще поправить. Ленин, он в пух разнесет, но и подскажет, как лучше сделать завтра. Так-то». Лука Матвеич пошел в коридор докурить трубку, которой он достаточно уже начадил, и оттуда услышал:

— Эту болячку, Владимир Ильич, слепоту и анархосиндикализм, мы вырвем с корнем. Это нас, меня в особенности, черт попутал,— пытался было пошутить ивановец, но голос Ленина прервал его и тут:

— Э-э, черти здесь ни при чем, абсолютно ни при чем. Чертей тоже люди делают, малюют их по крайней мере...

Лука Матвеич закрыл дверь поплотнее. Теперь уже не нужно было слушать, чем кончится разговор, и он, отставив трубку, с удовольствием стал полоскаться под рукомойником. А когда освежился, вышел на порожек, почистил запыленные сапоги и взял их за ушки, чтобы внести в комнату, дверь комнаты распахнулась, брызнул яркий свет, и вышли трое, а за ними, держа лампу в левой руке, вышел Ленин.

Лука Матвеич успел отойти в сторону, не желая, чтобы друзья-текстильщики видели его. Ленин тоже не заметил его и сказал, обращаясь к плотному и мрачноватому человеку с черными усами:

— Так и условимся: вы возвращаетесь домой, созываете всех активистов-низовиков и выкладываете все начистоту. И никаких кривляний и игры в раскаяние.

— Будет исполнено в точности все, Владимир Ильич.

— Отлично. Оценку вашего поступка и положения дел надо дать самую объективную и беспощадную: вы сорвали могшее стать грандиознейшим выступление ткачей. Впрочем, мы говорили уж, достаточно говорили. Так что желаю всех благ, товарищи,— протянул Ленин руку каждому.

Ткачи пожимали ее, а сами не могли поднять на него глаз и наперебой говорили:

— Это последний раз такое с нами вышло. Больше не повторится до гроба.

— Ну, зарекаться, пожалуй, не стоит. Не ошибается тот, кто ничего не делает,— уже совсем мягко говорил Ленин.

— Умрем, а партию никогда больше не подведем, Владимир Ильич.

— И это, пожалуй, лишнее — умирать. Впереди у нас с вами масса всяких дел, требующих от нас уймы сил и энергии. Жить! — приподнято произнес Ленин.— Бороться и победить, непременно победить! Итак, до встречи, товарищи. Привет текстильщикам передайте от меня.

Проводив гостей, Ленин вернулся в комнату и негромко воскликнул:

— Так и знал! Сразу почувствовал, кто пришел, а самого не видел.— И, поставив лампу на стол, заметил Луку Матвеича: — Пришли? Вот и хорошо. А я уже беспокоился: где, мол, запропастился? И готов был ругаться. А здесь оказия вышла — электричество испортилось, и пришлось едва не дедовскую лучину изобретать, да благо лампа нашлась...

Ленин прошелся по комнате, заложив руки под жилет и опустив голову. Думал о чем-то своем. Но не хотел говорить, о чем именно, и спросил:

— Вы не у Леонида Борисовича были?

— У него. Финансы обсуждали. Может экс устроить один,— как-то вдруг бухнул Лука Матвеич.

Но Ленин будто не слышал и опять спросил:

— Вы, разумеется, слышали наш разговор с текстильщиками?

— Не все, но кое-что. Страшновато даже стало.

Ленин обернулся к нему, посмотрел, шутит ли он или говорит серьезно, и опять заходил — медленно, задумчиво. И не сразу, а помолчав, произнес:

— Да... Мало еще, очень мало мы делаем и непростительно легкомысленно относимся к работе, каждодневной постоянной работе с низовыми деятелями партии, с рабочими. И вот вам результат...— Остановившись и глядя на Луку Матвеича беспокойными глазами, спросил: — А я определенно говорил страшные вещи? Не повлияет это в отрицательном смысле на дальнейшую деятельность товарищей, как вы находите?

— Не глиняные, не раскиснут,— ответил Лука Матвеич.

— Я, грешным делом, подумал, когда проводил их: резковато получилось, очень резко. Но... Иначе нельзя, невозможно, вы это лучше меня понимаете.— И вспомнил: — Да, так об эксе. Это, разумеется, Красин предложил вам поговорить со мной? Так вот, передайте ему: никаких эксов, никакой паники. Деньги на съезд есть, и их вполне хватит. Не месяц же будем заседать там, в Копенгагене. Кстати, когда вы намерены выехать, Лука Матвеич? Завтра не смогли бы? Чтобы все проверить, все лично пощупать своими руками: готово ли помещение, столовка, квартиры и так далее?

Лука Матвеич вздохнул.

— Постараюсь завтра, Владимир Ильич.

Ленин подошел к столу, снял с кувшина салфетку, заглянул в него и предложил:

— Есть хотите?

— Спасибо, Владимир Ильич. Я малость подкрепился. У Леонида Борисовича. Чай пили.

— В таком случае не подкрепиться ли и мне, как вы полагаете? Правда, Елизавета Васильевна и Надя ставят это на всякий случай, если кто из наших, питерских, приедет поздно или делегаты нагрянут. Но сейчас уже, по всей вероятности, никого не будет, так что мы имеем полное право налить по стаканчику. А остальное — Наде, она вот-вот приедет из Питера. Ну? — подмигнул он.

Ленин налил в стаканы молока, подвинул Луке Матвеичу тарелочку с хлебом и, взяв ломтик, как бы извинясь сказал:

— Серенький едим. Финны-то своего белого не имеют, потому и пекут такой. Между прочим, редко пекут и едят больше черствый, чтобы экономичее было... Что же мы стоим? Присаживайтесь, в ногах-то правды нет.

Лука Матвеич сел на скрипучий стул, Ленин тоже сел на табурет, и они стали пить молоко, молча, каждый занятый своими мыслями. Лука Матвеич посматривал, как Ленин отщипывал хлеб маленькими кусочками и старательно жевал их, запивая молоком, и хотел сказать: «Да вы больше хлеба ешьте, Владимир Ильич. Нельзя же такими воробьиными порциями питаться!», но молчал и прислушивался, как наверху, там, где жили Богдановы, что-то упало на пол тяжелое и раздался торопливый топот.

— Гроссбух махистский упал, очевидно,— тихо и недобро заметил Ленин.— Еще Елизавету Васильевну разбудит.

Когда перешли в другую комнату, Ленин продолжал задумчиво, как бы сам с собой:

— А с Богдановым нам придется воевать. И серьезно. Очень серьезно, если хотите. По поводу его махистских махинаций в философии.

Лука Матвеич знал философские работы Богданова, но, по совести говоря, не придавал им особого значения. Да и не до этого было: Богданов, как и другие, и без того возмущал его своими бойкотистскими разговорами по поводу участия социал-демократов, в том числе и большевиков, в думе. И Лука Матвеич спросил:

— А насчет бойкота думы он не передумал свои думы? Не нравятся мне эти разговоры бойкотистов. Смешивают все на свете — и коней и людей.

Ленин тотчас же подхватил:

— Вот именно: и коней и людей валят в одну кучу.— Поставив стакан на стол, вытер руки платком и с удовлетворением произнес: — Подкрепился, кажется, и я на славу. А вы?

Лука Матвеич рассматривал комнату. Она была, как все комнаты, где жил и работал Ленин, завалена гранками, письмами, книгами, справочниками, расставленными стопками на столе, рядами — на старенькой этажерке, а какая-то книга лежала на покрытой серым одеялом кровати, выглядывая из-под белоснежной подушки. «На сон грядущий приготовил. Ужас, какой жадный!» — подумал он и ответил:

— Спасибо, Владимир Ильич, я сыт вполне... Так что же будем делать на съезде, как вы полагаете? Опять драться с меньшевиками, а может статься — теперь уже и со своими, с такими, как Богданов?

— Драться, Лука Матвеич. Нам не привыкать. И с Александром Александровичем в том числе. Нельзя, недопустимо сейчас говорить о бойкоте думы, когда нет непосредственно революционных условий, нет массового революционного подъема движения. Бросать лозунг бойкота сейчас — это недопустимое фразерство, архивредное и архифальшивое, со всех точек зрения. Будут меки или наши колеблющиеся, вроде Александра Александровича, стоять на этом — мы будем драться. И разобьем, смею вас уверить,— заключил он. И прислушался: — Кажется, Надя приехала. Извините, я сейчас,— и торопливо вышел из комнаты.

Наверху вновь что-то упало или сместилось на другое место и послышались шаги, неторопливые, крупные. Лука Матвеич обернулся, как будто шаги раздавались за дверью, и покачал головой горестно и сожалеюще: «Значит, и тут начинается... В области философии... Борьба... Трудные времена наступают, старый. И придется тебе, кажется, посерьезнее знакомиться с трудами махистов и самого Маха с компанией. Бисова душа, сколько же это надо знать, где и что делается на белом свете? И когда читать, знакомиться, если сейчас надо ехать за тридевять земель и устраивать делегатов съезда? А там — отправлять их в Россию, а там — докладывать на местах о самом съезде. А надо все успеть»,— подвел он итог своим раздумьям.

В столовой послышались приглушенные голоса:

— Ну, ну, извини, Надюша. Это последний раз — такие поручения, честное слово. Попрошу наших пекистов доставлять литературу, газеты и все прочее. Ну, что ты там привезла?

— Сейчас ужинать будем. Ты ведь, наверное, и чаю не попил еще?

— Под матрешкой храню, так что изволь, хоть сейчас принесу. Принести? Мы тут с Лукой Матвеичем немного молочком побаловались, но что такое молочко? Так, червячка заморить можно, тогда как твои покупки... О, да здесь целый магазин!

Надежда Константиновна заглянула в комнату Ленина, сузив глаза от света, и улыбнулась.

— Так и знала: не даст он спать вам, Лука Матвеич,— сказала она шутливо.— Ох уж эти полуночные совещания. С ума можно сойти. Когда ты только успеваешь спать?

Ленин с готовностью откликнулся:

— Как только ты скажешь нам два слова о том, что там, в Питере, собираются ли делегаты съезда, сколько и откуда приехало,— так мы незамедлительно примем горизонтальное положение. А быть может, прежде все же бы чайку попить? — спросил он и исчез, не дожидаясь ответа.

Надежда Константиновна вздохнула, взяла лампу и пригласила в столовую Луку Матвеича.

— Вот так всегда: когда ни вернусь из Питера, хоть перед рассветом,— не спит. Или читает, или статьи строчит, или с депутатами говорит. А теперь что-то с Александром Александровичем начинается, каждый день спорят.

— Вот, вполне еще горячий,— вошел Ленин, неся чайник под матрешкой.

Надежда Константиновна всплеснула руками, и ей ничего не оставалось, как накрыть стол, а Ленин тем временем потрошил кульки, свертки и приговаривал:

— Прелестные сосиски, честное слово. И сыр великолепен, с душком даже. Вы любите с душком, Лука Матвеич? Мы с Надей, когда были в Швейцарии...

— Лука Матвеич может тебе рассказать дальше,— улыбнулась Надежда Константиновна.

— Гм, гм. Виноват, запамятовал. Но сыр все равно превосходный.

И засиделись допоздна...

Утром следующего дня, едва Лука Матвеич встал и умылся, к нему в коридор вышел Ленин и таинственно зашептал:

— А я вас жду. Проедемся немного, погуляем до завтрака. Я — на Надином велосипеде, а вы — на моем. Верст двадцать отмахаем, пока она проснется. Только не услышала бы, а то все пропадет.— И пошел на носках в комнату.

Весна была ранняя, день — солнечный. Но далеко было здешнему солнцу до южного, и Лука Матвеич даже продрог поначалу и согрелся, лишь когда сели на велосипеды.

— А калошу, калошу-то и забыли! — вспомнил Ленин и объяснил: — Мы с Надей чиним камеры старыми калошами. Надо полагать, что по случаю вашего приезда чинить не придется.

— Я родился в рубашке,— шутил Лука Матвеич, виляя по тропинке робко и неуверенно, но Ленин ехал впереди и не видел его езды.

Финские крестьяне шли на работу: кто с топором на плече или с пилой под мышкой, кто с косой или граблями, а рабочие заводов — со свертками и бутылками молока в карманах.

— Обратите внимание: хорошо одеты, прилично выглядят, на лицах — чувство уверенности и довольства. Не то, что у наших рабочих, — говорил Ленин, придержав свой велосипед, и заметил, как вилял Лука Матвеич: — Э-э, да вы не совсем надежный партнер, оказывается, можете где-нибудь и свалиться.

— А вы не спешите, и я буду ехать за вами по следу. А как бы еще и веревочка нашлась, чтобы привязаться к вашему быстроходу, — совсем не отстал бы.

— Нет уж, милостивый государь, я решительный противник паразитического образа жизни. Извольте ехать смелее, а я буду следовать позади, на всякий случай.

Лука Матвеич ездил когда-то в молодости, но сейчас с него уже три пота сошло от усердия, однако он не сдавался и юлил по тропинке все вперед и вперед, да так, незаметно, и выровнялся и поехал уверенней.

— Теперь вполне сносно. Можете продолжать самостоятельно, — заключил Ленин, обгоняя его, и укатил в лес так проворно, что Лука Матвеич поотстал, а когда настиг его, Ленин уже сидел под высокой сосной, сбив соломенную шляпу на затылок, и смеялся: — Обросли жирком, батенька, сильно обросли, потому и трудненько дается эта механика... Слезайте, отдохнем, послушаем пичужек разных. Удивительно мелодично поют, обратите внимание.

Лука Матвеич положил велосипед на землю и, утирая лоб, сел на мягкую подушку из сосновых старых игл.

— Я уже думал, что все пары выйдут, — признался он, тяжело дыша, и достал трубку.

Ленин заметил:

— Вот здесь-то и не следует курить. Такой воздух! Чудесно! А когда пригреет солнышко — пьяным можно сделаться...

В лесу пели птицы, что-то потрескивало, что-то падало мягко и осторожно, и было слышно, как стучат дятлы.

Лука Матвеич почему-то вспомнил, как стучат в шахте обушки шахтеров, и на память пришел Чургин... Что там теперь? Как его шахта?

Ленин взял сосновую шишку, повертел ее в руках, потом встал и начал собирать старые, высохшие шишки и прятать их в карман чесучового пиджака.

— Знаете, для чего я собираю их? — спросил он у Луки Матвеича. — Они очень хорошо горят в самоваре. Великолепный чай получается, и главное — быстро закипает. Жаль, что мы не прихватили какую-нибудь посудину, мешок, что ли.

Лука Матвеич улыбнулся, заметил:

— Мешок шишек! Сколько же это самоваров можно вскипятить? Миллион... — И тоже принялся за дело.

Когда карманы у обоих были полны, Ленин сказал:

— Всё. Мы свой чай заработали честно. Давайте посидим — и в обратный путь. А то дома, поди, уже в полицию заявили о пропаже наших персон.

Они сели, немного помолчали, а Лука Матвеич все же зажег свою трубку и запыхтел синим дымком.

Ленин вынимал из карманов шишки и считал их сосредоточенно и молча, точно работу делал. И Лука Матвеич подумал: «А сам наверняка занят

отнюдь не шишками. По всему вижу ведь» – и тоже стал выкладывать на землю шишки и считать их.

– Двадцать. На два самовара. А у вас сколько, Лука Матвеич?

– Еще не сосчитал... Пятнадцать. Но мои покрупнее. Тоже на два самовара.

– Отлично. Значит, два самовара – вам, а два – мне. Каждому по труду... – шутил Ленин. Спрятал шишки в карманы и неожиданно сказал: – А знаете, товарищ Лукьян, я вот все время думаю о вашем вчерашнем выступлении на совещании. Блестящее выступление, блестяще вы разделали Аксельрода, но... в одном вы неправы, в том, что положение на местах архиплачевное.

– Я не так говорил, Владимир Ильич.

– Не отвертитесь: получилось так. Да, да. Не все так мрачно и так безнадежно на юге, как вы вчера изволили изобразить. Вы говорили: «Все кипит в душе у каждого, все ждут момента». Так, кажется?

– Так, – подтвердил Лука Матвеич и усмехнулся: «Я же знал: сам шишки считает, а думает совсем о другом».

– Вот видите, – продолжал Ленин, оживляясь и рассовывая почему-то теперь не вмещающиеся в карманы шишки. – Значит, по-вашему выходит: если этот момент наступит – гнев должен так или иначе вылиться наружу, дать взрыв. Так или нет?

– Выходит, так, – соглашался припертый к стене Лука Матвеич, но не сдавался: – Однако такого момента в ближайшее время не предвидится, Владимир Ильич. Стало быть...

– Пардон, пардон, – нетерпеливо прервал его Ленин. – Что вы имеете в виду под словом «сейчас»? Месяц? Год? Бесконечность? В механике революции имеет значение неделя, день, даже час. Парижские коммунары допустили ошибку в первые же часы, и Маркс был неправ, когда говорил, что если бы были деньги, можно было бы поднять французскую деревню и спасти Коммуну. Дело не в деньгах. Дело в том, что парижские коммунары не экспроприировали экспроприаторов немедленно, в первый же час победы. Вторую, прямо-таки роковую, ошибку допустили в первые же дни, не организовав поход на Версаль и версальцев. Третью, совершенно непростительную, – в первые недели, не подняв крестьянство и не перетянув его на свою сторону. Вам сие, надеюсь, известно?

Лука Матвеич с обидой произнес:

– Вы совсем за ученика принимаете меня, Владимир Ильич. А я все же учитель, хоть и бывший, других учил...

– Вот и отлично. – Ленин встал и заходил взад-вперед. – И именно потому, что я знаю вас как образцово подкованного на все четыре ноги марксиста и прекрасного практика революции, я должен напомнить вам об этом, – остановился он против Луки Матвеича. – Мы с вами располагаем такими возможностями, каких не было и быть не могло у коммунаров: руководить движением и направлять его по определенному руслу из единого революционного центра партии и принимать решительно все меры против контрреволюции по всей линии. Вот в чем суть, вот что отличает нас коренным образом от коммунаров. Вторую часть этого преимущества мы используем всесторонним образом, когда сами возьмем власть. Первую – обязаны использовать немедленно, как только созреют условия для буржуазной ре-

волюции. Ожидание здесь тождественно неверию. Богданов, которым вчера вы изволили возмущаться, тоже ждет этого «теоретического момента»...

Лука Матвеич сидел словно пришитый и не мог поднять глаз. Он никак не хотел сравнивать себя с Богдановым и все время думал: «Попался на старости лет».

А Ленин искоса посматривал на него и улыбался одними глазами и тоже думал: «Опытнейший ведь воробей, интересно, понял ли, о чем речь?» И заглянул в лицо:

– Вы обиделись, Лука Матвеич? Обиделись, вижу. Вот и напрасно, совершенно напрасно, батенька. В нашем деле надо правду-матку резать без обиняков. Мы, от руководителей партийных центров начиная и рядовыми партийцами кончая, должны ставить перед массой беспартийных товарищей задачи ясные, точные и конкретные. Мы говорим: верим в новый подъем и будем все делать ради того, чтобы он наступил возможно скорее. Меки говорят: не верим в новый подъем и не будем его готовить, а верим только в думу. Ясны цели? Ясны. Видны кардинальные расхождения? Видны. Понятны задачи пролетариата? Понятны всякому и каждому. Вот и все, – заключил он так просто, как будто речь шла не о том, как делать революцию, а о том, как ставить самовар на сосновых шишках.

Лука Матвеич покачивал головой, пыхтел трубкой. Ведь одну только обмолвку сделал он вчера – и вот Ленин прочитал ему целую лекцию о стратегии партии в революции. И он виновато проговорил:

– Значит, придется впредь больше налегать на умственные способности, бисова работа.

– Вот именно, придется, – оживился Ленин.

Лес курился синим туманом, а где-то за ним, за поляной, огнем полыхало солнце и никак не могло выбраться из-за сосен и разогнать туман.

Лука Матвеич посмотрел на туман, качнул головой и постучал трубкой по сосне. Не сразу, с сожалением, он проговорил:

– Да... Большой туман застилает еще некоторые головы. Мало видят еще люди день завтрашний. Будущее партии. Больше видят день нынешний, а этого – мало, очень мало...

– Гм, гм. Мечтаете. Это хорошо. Я тоже иногда люблю помечтать. А что же, любопытно, вы видите в будущем? – живо спросил Ленин и приготовился слушать.

– Не романтик я, вот беда! Но вот смотрите, – продолжал Лука Матвеич. – Начали мы с каких дел? С кружков. Потом прокламации. Потом «Искра», потом выступления целыми заводами, шахтами и, наконец, баррикады. Это в городе. А в деревне походы на помещиков, раздел имений, земли. От кружков – к революции. Вот какой путь прошли. А в будущем социалистическую Россию вижу.

Ленин сидел, прислонившись к дереву, и было похоже, что он слушал, как поют в лесу птахи или долбят деревья дятлы, и щурил глаза от солнца, поднявшегося уже над лесом и залившего все вокруг белым светом.

И Лука Матвеич услышал:

Струн вещих пламенные звуки
До слуха нашего дошли,
К мечам рванулись наши руки,
Но лишь оковы обрели...

Слова оборвались, и стало так тихо, что было слышно, как мягко упала на землю сухая шишка, шевельнулась и замерла, будто испугалась своего озорства.

Но будь спокоен, бард: цепями,
Своей судьбой гордимся мы.
И за затворами тюрьмы
В душе смеемся над царями...
Наш скорбный труд не пропадет:
Из искры возгорится пламя...

Лука Матвеич не заметил, он ли произнес эти слова, или их произнес Ленин, и опять услышал:

Из искры возгорится пламя...

Лука Матвеич почувствовал: Ленин взял его за руку, пожал ее, поднялся сам и помог подняться ему.

— Спасибо вам, дорогой товарищ Лукьян, — сказал он негромко и чуть взволнованно. — Вы напомнили мне далекое и близкое хорошее прошлое... А мечту вашу о будущем я разделяю, вполне разделяю. Хорошая мечта, вполне реальная: так и должно быть — социалистическая Россия. — И, подумав, повторил твердо и энергично: — Так и будет. Наверняка будет...

В лесу стучали дятлы и топоры дровосеков, в лесу порхали и щебетали птицы, а солнце уже принималось за дело и выкуривало туман отовсюду. И открывались, встряхивались ото сна тяжелые мохнатые деревья, и тянулись макушками ввысь, в небо, синее и яркое, с плывущими по нему облаками оттуда, с бескрайних просторов юга, из России...

На обратном пути ехавший первым Ленин остановился, встал с велосипеда и горестно покачал головой.

— Все. Лопнула. В плохой рубашке вы родились, Лука Матвеич, придется идти пешком. А все это из-за отсутствия калоши. Эх, оказия какая! — произнес он, почесывая затылок и сбив шляпу на лоб.

Лука Матвеич осмотрел покрышку, пощупал ее и причмокнул языком:

— Бисова калоша! Будь она с нами — все обошлось бы.

— Тсс, — приложил Ленин палец к губам. — Белка.

Лука Матвеич поднял голову и увидел белку... Маленькая, рыжая, она сидела на ветке, подняв хвост, и смотрела на него черными угольками глаз. Потом почесала лапкой за ухом, прыгнула на другую ветку, на третью и пропала средь толстых стволов.

— Прелесть что за зверек. Бегает по деревьям, как по земле. Так что и не уследишь, честное слово, — сказал Ленин.

Они пошли пешком, подталкивая вперед велосипеды. И тут лишь Лука Матвеич сообщил:

— Владимир Ильич, у Чургина большое несчастье: жена умерла. Напилась родниковой воды на хуторе и — воспаление легких.

— Позвольте, как умерла? — остановился Ленин в изумлении. — Да ведь он... Ах, какой же вы, товарищ Лукьян! — произнес он с огорчением. — Почти сутки у нас — и не сказать о горе такого человека, а? Нет, как хотите, это ни на что не похоже, совершенно недопустимо молчать о таком несчастье человека, который для партии, для всех нас очень и очень дорог.

— У вас столько дел, Владимир Ильич... Ну, вот и решил сказать сейчас, на прогулке.

— Неправильно решили, позвольте вам заметить,— возразил Ленин.— Знаете, горе так может скрутить человека, что ему и свет белый станет не мил.

— Чургина не скрутит. Вы его немного знаете, а я — достаточно. Тяжко, слов нет, но что поделаешь? Все мы смертны, к сожалению.

Ленин качал головой и долго не разговаривал, о чем-то думая. Наконец он сказал с горечью и великой обидой:

— Нет, просто невероятно: испить ключевой воды, чистейшей, как слеза, и — конец. Удивительно немощна еще наша медицина! Мы, политики, ведь ищем и находим средства борьбы с целым вековечным рабским строем. Больше надо фантазии, дерзания! А они режут — и все тут. Скальпель — панацея от всех бед. И здесь, как видите, наше полицейско-чиновничье общество налагает свой отпечаток: душит, не дает разворота поиску. Пусть меня извинят медики, но и им пора бы кое о чем хорошенько подумать и внести свою посильную лепту в наше общее с ними дело...

Утро было хорошее, и солнце нежаркое и такое светлое, что Лука Матвеич готов был похвалить его.

Остальную часть пути прошли молча. Навстречу им шла Надежда Константиновна и упрекала:

— Эгоисты... Какие эгоисты! Я с удовольствием бы поехала с вами. А вы укатили. Благо шишек припасли на целый год, кажется, все карманы у обоих набиты,— сменила она гнев на милость и в это время увидела, что на ее велосипеде приплюснулась покрышка.— Опять прокололи! Ну, господа, чинить будете сами, не то завтрака не получите. А какой холодец мама приготовила.

— Студень будет? — переспросил Ленин без всякого энтузиазма.— Гм, гм, это очень хорошо, но у нас настроение с Лукой Матвеичем неважнецкое. У Ильи-то Гавриловича, оказывается, жена умерла.

— У Ильи Гавриловича? Какой ужас... Какое несчастье! У них ведь двое детей...

— Да, двое деток,— повторил Ленин печально.— Трудно теперь ему будет. Но ничего не поделаешь. Такова жизнь. А он устроился или все еще не служит? — спросил у Луки Матвеича.

— Служит. Управляющий пригласил своим заместителем. Инженером собирается еще стать.

— И станет, вот увидите, кремень характер. Печально говорить, но жизнь все еще состоит не только из радости, а и из горя. К сожалению, горя пока больше. Много больше, чем радостей...

...Лука Матвеич разыскал старую калошу, вырезал из нее лоскуток резины и принялся починять камеру. Выбрал он довольно укромное место — в тени, в тыловой стороне дачи, чтобы не привлекать внимание, но потом раздумал: в тени резиновый клей будет долго сохнуть. Тогда Лука Матвеич перекочевал на солнечную сторону.

К даче подъехал на велосипеде Красин. Остановившись возле калитки, он слез, поставил велосипед и, увидев Луку Матвеича, подошел и весело бросил:

— Привет рабочему классу! Быть может, и я могу рассчитывать на твое участие? Только что поставил запасную, гулял у моря.

Лука Матвеич поднял глаза, серьезно ответил:

— Привет-то привет, а только латка от этого дешевле стоить не будет. По целковому за штуку. Цекистам — десять процентов скидки и калоша заказчика. Впрочем, ты — инженер и не прикидывайся... Послушай лучше, что там происходит, — указал он на комнату Ленина, где шел какой-то разговор. — Александр Александрович уже, кажется, сызнова подогревает Ильича. Все время подогревает и спорит. Вчера — эмпириомонизм защищал, нынче — думу. Совсем рехнулся, кажется.

Красин прислушался, присел рядом на корточки и достал папиросы. В это время из окна послышался гневный голос Ленина:

— Товарищ Богданов, вы — не рядовой член партии, и не мне говорить вам, что ваша бойкотистская по отношению к думе позиция меня как раз не смущает. Она возмущает меня до последней степени, и не только меня... Поймите же наконец, что у нас нет баррикад, нет!

Лука Матвеич восхищенно качнул головой, сказал:

— Упрямец Богданов... Подсобить Ильичу, что ли? Реабилитироваться маненько за вчерашнюю оплошку.

— Значит, не пропустил?! — приглушенно воскликнул Красин.

— Держи карман шире... — невесело ответил Лука Матвеич. — Такое просвещение устроил нынче, что уши краснели. Целую лекцию прочитал. На прогулке были, в лесу.

Красин улыбнулся, негромко сказал:

— У вас, по-моему, были всегда такие отношения, что другие ревновали даже. Мог просто сделать замечание — и все.

— До поры до времени делают замечания, а потом...

Лука Матвеич потихоньку встал, подошел к окну и незаметно прикрыл половинку рамы, а потом, нагнувшись, притворил и вторую.

Красин сидел задумавшись, покручивая стрелки темных усов, и негромко говорил, как бы продолжал недосказанную мысль:

— ...И что будет дальше — трудно даже сказать. Цекисты против пекистов, пекисты валят на правых цекистов, эти — на тех и других, эсеровские центристы — за бойкот, рядовые — против... Куда мы идем, старина, как думаешь?

— К революции, к революции идем, Леонид Борисович, не пугайся, — ответил Лука Матвеич, собирая свой инструмент. — А что война идет в партиях и во фракциях — так это даже хорошо. Силы, так сказать, выявляются, против которых придется драться. На съезде ты в этом убедишься.

Красин погладил бородку и вздохнул:

— Да, ты неисправимый оптимист. Завидно даже. А вот я, кажется, что-то не все понимаю и хотел поговорить с Ильичем.

Ленин, видимо, все же услышал голоса, распахнул половинки окна и, выглянув, сказал:

— Так и знал... Это товарищ Лукьян закрыл. О, да у вас тут представительное собрание, господа? Здравствуйте! А нуте-ка заходите сюда. И вы мне нужны, Леонид Борисович. Про сомнения свои расскажите. И про новый замысел экса...

Красин смутился, встал и нерешительно произнес:

— Здравствуйте, Владимир Ильич. Но я уж... Уж я лучше в другой раз.

— Трусите, вижу. Но здесь — Александр Александрович Богданов. Так что два на два выйдет: мы с Лукой Матвеичем — и вы.

Ленин скрылся, а Красин подумал, походил взад-вперед, потом взял велосипед и мрачно сказал:

— Нет, я, кажется, не останусь. Не хочу спорить с Владимиром Ильичем. В другой раз заеду. До свидания, старина.

Красин укатил, а Лука Матвеич посмотрел ему вслед и подумал: «Значит, есть причины удирать. Ну-ну, удирай, в другой раз он все едино тебя поймает»,— и пошел в дом.

Ленин встретил его удивленным вопросом:

— А где же Леонид Борисович? Ясно: на воре и шапка горит. Ну, в таком случае прекратим спор. Нас-то двое, а противник один,— кивнул он в сторону Богданова, задумчиво расхаживавшего по комнате, и сказал через раскрытую дверь: — Надюшенька, мы готовы к чаю. Вот только Леонид Борисович удрал, к сожалению. Струсил. Не съездить ли мне за ним? Ах, да! — вспомнил Ленин, хлопнув себя по лбу, и, посмотрев на Луку Матвеича, понизил голос: — Камера-то, камера!.. Осталась теперь до утра.

— Не осталась. Что это вы нынче, Владимир Ильич, мой авторитет подрываете?

— В таком случае приношу вам свои извинения. За подрыв авторитета. Как это вам нравится, Александр Александрович? Я подрываю его авторитет? А если он станет когда-нибудь министром, тогда что мне прикажете делать? И критиковать не позволите? Ну нет, все равно буду критиковать, и со всей возможной суровостью, если будет нужда.

— Лукьяна-то вы пощадите, знаю,— заметил Богданов.

— Пощадить? Если он даст повод? Это — старый воробей, его на мякине не проведешь, и спрос с него — втрое.

— Я министром быть не собираюсь, Владимир Ильич, и вам не придется меня критиковать,— возразил Лука Матвеич.

— А мы вас назначим и заставим быть министром, дай срок. И не бойтесь. Я тоже иногда кое-чего боюсь, но... Интересы революции, партии превыше всего, батенька. Надо будет — будем и министрами, пожелал бы только народ. Больше того, мы обязаны хотеть стать министрами, если действительно и всерьез беспокоимся о благе революции. Обязаны! Запомните это раз и навсегда и не кокетничайте. Мы — политические деятели, а не гимназистки.

Вошла Надежда Константиновна, пригласила к столу.

— Хватит вам тут. Пора и честь знать. Чай-то сварен на шишках Ленина.

Ленин рассмеялся, подбоченился и весело произнес:

— Вы слышали, господа? «На шишках Ленина». Каково? Стало быть, для того чтобы в доме был чай, надо, чтобы Ленину наставляли побольше шишек? Превосходная картина, прямо-таки великолепная!

Богданов смеялся, Лука Матвеич приглаживал усы и лукаво подмигивал, а Надежда Константиновна кричала из другой комнаты:

— Да перестань же, насмешник! Я ведь сосновые, тобой собранные имею в виду.

— Поздно, дорогая моя жена, оправдываться, — говорил Ленин и приглашал: — Откушайте, господа, чаек сварен на шишках Ленина. Не все же некоторым получать... Гм, гм, — запнулся он, — а чай действительно получился на славу. Обратите внимание на аромат. Чудесный! — наклонился он над заварным чайником, а самого душил смех.

За столом остроты продолжались, и тогда Надежда Константиновна, чтобы отвлечь внимание, напомнила:

— А помнишь, Володя, как за этим столом Камо резал арбуз?

Ленин оживился, рассказал, как Камо принес арбуз, обернутый салфеткой, в политехнический институт и как все, кто был в столовой института, шарахнулись по сторонам, приняв арбуз за бомбу.

— ...Ну, а затем эта «бомба» оказалась у нас, здесь. И знаете, как он резал его? — Ленин взял в руку нож и привстал: — Не просто резал, а священнодействовал. Вот так. — Он хотел показать, как именно, но опрокинул на себя стакан горячего чаю и молниеносно выскочил из-за стола.

Брызнул смех, комната наполнилась новыми шутками, и казалось, что сюда со всех концов разом ввалились все веселые компании и все шутки.

...Вскоре Лука Матвеич уехал в Питер.

Глава седьмая

Ольга перераждилась...

Она не ходила на работу на картонажную фабрику, пропустила занятие в воскресной школе, забросила учебники, и без устали разгуливала с Леоном по Питеру, без умолку болтала, и смотрела, смотрела на мир счастливыми синими глазами, и удивлялась, как это она до сих пор не замечала, что он такой хороший и светлый и может доставить человеку столько радости.

Марфенька удивлялась: что такое сотворилось с этой всегда задумчивой Ольгой, которая, казалось, и была создана для того, чтобы работать, бегать по сходкам и сидеть за книгами?

Сегодня, идя на курсы, Марфенька сказала ей:

— Оля, ты какая-то стала такая, что я тебя просто не узнаю. Замуж выходишь, что ли?

Ольга обняла ее, поцеловала и призналась:

— Праздник у меня, Марфенька, на душе праздник. Понимаешь? Леон приехал...

— Счастливая! А я... А у меня еще никого нет. Ну, желаю счастья.

Марфенька, конечно, тотчас же рассказала обо всем брату, и инженер Рюмин улыбнулся: так вот она какая, Ольга. А он-то некогда думал: сухарь, моралистка. Такая если и улыбнется тебе случайно — будь осторожен: за этой улыбкой может последовать убийственная насмешка. И с удовольствием подумал: «Молодость есть молодость. А вот ты перестал смеяться и замечать прекрасное. Или постарел, инженер?» — иронизировал он над собой.

Дело, конечно, было не в старости. Рюмин не мог забыть Оксану, не мог представить себе, как теперь сложится его жизнь... Леону же он сказал дружески:

— А знаешь, Ольга-то, строгая и мрачная Ольга, совсем переродилась. Отчего бы это, ты не думал?

Конечно, Леон видел, что Ольга рада тому, что он приехал, и не скрывает своей радости, но он сейчас думал не о ней. Он сказал Ленину, что женат, и даже глазом не моргнул. А жены на самом деле нет. То есть она-то есть, Алена, но ведь он не живет с ней. Как же теперь быть? Одно из двух: или он самый бессовестный враль, или, или... надо окончательно решать с Ольгой.

И ему не очень-то нравилось, что Ольга не дает ему и слова вымолвить и вообще ведет себя как девчонка, когда ей прекрасно ведомо, что у него творится на душе.

Ольга знала не только то, что у него творится на душе сейчас, а могла сказать, что у него будет завтра, и через месяц, и через год. И она очень хорошо запомнила, что он ответил Ленину о своей семейной жизни. Что ж? Так сложилась жизнь, и его меньше всего можно было уличить в чем-то нехорошем.

И Ольга не хотела мешать ему. Она хотела лишь одного: чтобы он хоть день, хоть два, а побыл с ней. Не знала она, что он уедет домой, к Алене? Знала. Пусть едет, пришивать к своей юбке она его не намеревается. А пока он был с ней. Вот почему она радовалась жизни и немножко позволила себе забыться. Плохо это, несерьезно? Возможно. Но какой мудрец скажет, как лучше вести себя с любимым человеком: весело или мрачно? Серьезно или легкомысленно? Выказывать свою радость или таить ее?

Ольга не таилась и была как этот день — ясная и светлая, а душа ее была просто распахнута настежь. И вдруг все рухнуло.

А случилось так: когда Ольга и Леон гуляли по городу, газетчик-мальчуган привлек их внимание резкими криками:

— Читайте «Речь»! Читайте, как два помещика с Дона побили все зеркала в гостиницах Петербурга! Читайте «Речь»!

Леон купил газету, прочитал отдел «Происшествия» и увидел инициалы помещиков: «З» и «Ф». Он скомкал газету, намереваясь выбросить ее в мусорную урну.

— Пакость... А Оксана, должно, все еще любит этого обормота. Якова «З» — Загорулькина.

Ольга взяла у него газету, прочитала и спрятала в сумочку.

— А пойдем поищем этого твоего родственничка,— неожиданно предложила она.— Нам-то все равно времени не занимать, а картину мы с тобой увидим превосходную. Будет что рассказать твоей сестрице-страдалице...

— Иди, коль у тебя так много свободного времени. Ты вообще, я смотрю, и работу забросила, и в школу не ходишь. О чем ты думаешь, Ольга? Странная какая-то ты стала в этом Петербурге.

Ольга вспыхнула. Неужели он не понимает, почему она позволила себе несколько дней не ходить на работу, из-за кого перестала посещать воскресную школу, почему такая счастливая? И потухла радость в глазах Ольги, и они наполнились слезами.

Она ушла, даже не попрощавшись, а Леон долго стоял один на Литейном проспекте и думал, думал об Алене... Потом купил бумагу и конверт

и тут же, в магазине, уединившись, написал Алене письмо, краткое, но такое, какого еще не писал за многие, многие годы.

Но письмо опоздало, слишком опоздало. Раньше, намного раньше надо было писать его, и тогда не случилось бы с Аленой того, что случилось...

Яков кутил уже много дней, даже недель. Кутил и играл в карты днем и ночью, то вместе со своим другом Френиным, то один, в какой-то, одному богу ведомой, теплой компании, с единственным желанием, с одной-единственной целью: проиграться, промотать все и вся до последней копейки, лишь бы не жить больше такой дурацкой жизнью, из-под которой генерал Суховеров вышиб теперь последнюю опору, последнюю надежду. После того злосчастного, прямо-таки варварского разговора с генералом можно было думать только об одном: Оксаны не видать ему, Якову, как своих ушей. А этого одного было вполне достаточно, чтобы если не покончить все расчеты с жизнью, то, по крайней мере, спустить все.

И Яков стал спускать все, что приобрел, и поначалу стал проигрывать довольно успешно, как он хвалился перед Френиным. И Френин тоже, разумеется, за его, Якова, счет, преуспевал: пил в каждом заведении, где можно было что-нибудь пить, бил в этих заведениях все, что можно было разбить бутылками полными и пустыми, и, разумеется, прибавлял Якову счетов на новые тысячи.

Так продолжалось с неделю, и можно было ожидать полного успеха начатого дела: Петербург был Петербургом и, кажется, обещал Якову полный крах в самом недалеком будущем. И вдруг фортуна изменила Якову самым коварным образом: он стал выигрывать. Выигрывал тысячи, десятки тысяч за одну ночь, а на днях выиграл целый особняк.

И, наконец, вчера выиграл у какого-то штабс-капитана жену.

Старый помещик пришел в неописуемый восторг.

— Ура! Наша берет! И, с божьей помощью, как монарх любит говорить в особых случаях, мы кладем на лопатки столицу государства Российского: выигрываем особняки с бабами или наоборот и, дай бог, скоро заполучим дворец Кшесинской. Хотя дудки, тут монарх нам может дать по шапке.

Яков оборвал его:

— Перестаньте, сосед, мне не до дворцов. Я, кажется, опозорился на весь род людской.

— А на это начхать с высоты стамбульского минарета, а еще лучше — с макушки Эйфелевой башни, на коей я начал проматывать свои капиталы. И вы знаете, какая идея пришла в мою лысую голову? А не поставить ли мне на банк мою дуру — монахиню и тем покончить с печальными моими родительскими обязанностями: выклянчивать у вас деньги и передавать ей на разврат? Как вы полагаете, милейший?

Яков понял, что зашел далеко, и готов был поворачивать назад, да не знал, как это лучше сделать, потому что всяк, кого он обыгрывал, требовал, чтобы он непременно отыгрался. А фортуна делала свое «черное» дело: опять подбрасывала ему новые десятки тысяч целковых. А тут еще эта чужая жена. Додумалась фортуна: стала промышлять чужими супругами и дарить их направо-налево удачливым картежным игрокам.

И Яков заявил штабс-капитану:

— Вашу дражайшую фортуна всучила мне незаконно. Так что считайте факт как бы не бывшим, и я дарю вам вашу собственную половину.

Штабс-капитан возмутился:

— Вы оскорбляете честь офицера, милостивый государь. Мы условились, что моя жена стоит двадцать пять тысяч золотом. Вы их выиграли. А денег у меня нет. Таким образом, или получайте ее, или приготовьте душу богу — я пристрелю вас.

Якову не было никакого расчета отдавать богу душу ради самого монарха, а не только его офицеров, и он махнул рукой:

— Честь так честь, штабс-капитан, черт с нею. В таком разе обмоем мое новое сокровище. Как вы полагаете, сосед? — спросил он у Френина.

Старому помещику такое сказать — что бочку коньяку перелить в его бездонную утробу, и он, еле стоя на ногах, ответил с возможной торжественностью:

— Обмоем! Всем Петербургом! Ибо подобная собственность ниспосылается на нашу несчастную голову единожды в жизни, как великий крест, по воле и по указанию перста Самого... — ткнул он своим худосочным перстом куда-то вверх.

Конфликт был благополучно разрешен: все великолепно справились с тяжкими обязанностями кутил, а в заключение старый помещик пытался показать свой коронный номер — пустить несколько бутылок с коньяком в зеркало, но был схвачен за руку метрдотелем.

И Яков решил: а пошел он ко всем чертям, этот чопорный Петербург, тут и промотаться не дадут по-человечески, и вконец умилил своего друга:

— Сосед, а поехали в Париж? А то я здесь целый гарем выиграю и попаду не только в газету, а и в тюрьму.

Френин даже прослезился от таких слов и елейным голоском изрек:

— Мой милейший сосед, да в Париж я пешком готов идти! Разумеется, при непременном условии, что в оный вы переведете на мое имя по крайней мере тысчонок сто. Смею вас уверить, что в этом священном граде мы с завидным успехом и молниеносно промотаем с вами все до последней нитки. Положитесь на мой несравненный личный опыт. Итак, да здравствует Париж!

И Яков устроил прощальный ужин, на этот раз в своем номере, а старый помещик устроил в этом номере такой ералаш, что вся гостиница «Европейская» застонала тяжким стоном.

...Утром следующего дня в номер постучали. Яков спал на диване, накрыв голову подушкой, и ничего не слышал. Проснулся он, когда подушка слетела с его головы и над ухом задребезжал, как старое ведро, осипший голос Френина:

— Потрясающая новость: еще чья-то жена! Вставайте же, милейший, а я бегу в свой номер приводить себя в порядок. Боже, какой у нас караван-сарай! — всплеснул он руками и исчез.

Яков встал с неохотой, пошел открывать дверь, да в этом не было нужды: на пороге стояла Ольга и мрачно смотрела на его измятое, бледное лицо.

Яков всего ожидал, но только не такой встречи.

— Оксана здесь? Алена? Отец? — растерянно спросил он.

— Леон.

— Слава богу. Я думал, что Оксана. В таком разе мы сейчас отметим это редкое событие: посещение разгульного миллионера представителями революционного человечества.

Ольга открыла форточки, критически осмотрела ресторанный хаос.

— А вы порядком распустились. Приведите себя в должный вид, а то вы похожи на свинью.

Яков рассмеялся. Молодец эта Ольга! Без мыла бреет! И, глянув в зеркало, ужаснулся:

— Настоящая свинья и есть. Клянусь богом, красочней рожи и сам Репин не написал бы.

Ольга принялась наводить порядок, позвала коридорного и нагрузила его горой бутылок, тарелок со снедью, отдала корзину, набитую бумагой и осколками хрусталя, потом открыла платяной шкаф, достала свежую сорочку, визитную тройку и подала Якову в ванную комнату.

— Быстрее. Сейчас Леон явится.

Яков удивленно выглянул из ванной, прищелкнул языком и затворился, а когда через несколько минут вышел, его и не узнать было. Выбритый и свежий, в белоснежной сорочке и в таком же галстуке бабочкой, в блестевших шевровых ботинках и с белым платочком в карманчике визитки, он был — ни дать ни взять — столичный франт.

Ольга лишь заметила:

— Постричься надо, а то волосы, как у деревенского парня, вздыбились. Ну, да это можно сделать после. А теперь садитесь и рассказывайте, как это вы решили стать пропойцей. Только без вранья, все начистоту.— Она подняла с пола сторублевый кредитный билет и, улыбнувшись, сказала: — И деньгами нечего швыряться. Если у вас есть лишние — можете отдать их мне. На хранение, разумеется.

Яков все еще смущенно смотрел на Ольгу, в ее синие глаза, на уложенные золотым жгутом волосы.

— Особняки, скаковые лошади не приходили сюда еще? Вот эти,— насмешливо спросила Ольга и отдала ему газету.

Яков прочитал и схватился за голову. Оксана, Оксана ведь наверняка прочитает. И он приуныл, сел в кресло и опустил голову.

— Прославился. Получил всероссийскую известность. Идиот.

В это время малиново-красный, как молодой бурак, этаким кочетком присеменил к Ольге Френин.

— Ручку-с, мадам.

Но Якова вдруг подбросило с кресла, поднесло к Френину, и несдобровать бы старому помещику, да Ольга отвела уже занесенную над ним руку.

— Счастье ваше, что эта женщина здесь,— прорычал Яков и резко повысил голос: — Убирайтесь к дьяволу, пока я не свернул вам шею. Это вы подбили меня на свинство!

Френин не был готов к подобному обращению, поцеловал руку Ольге и ответил:

— Милейший, я всего лишь пил и пел, а вы платили деньги. Так что с больной головы на здоровую нечего перекладывать. А если говорить откровенно, то с вас следует штаны снять за то, что вверили вы мне уйму денег и пустили, таким образом, козла в огород. Благо вам везет и мое

расточительство на ваших счетах не сказалось! А за сим – честь имею, господа!

Он шаркнул сапожками, галантно поклонился, прихватил стоявшую на столе непочатую бутылку шустовского коньяку, сунул ее в бриджи и отбыл в свои покои.

Яков люто прошелся по комнатам, брякнул по клавишам рояля и громко хлопнул крышкой. Конечно же он зря наорал на старого помещика. Не в нем дело!

Ольга словно читала его мысли:

– Совесть гложет... Наорал, а теперь стыдно. Его-то дело маленькое: пить и петь.

– Да, я виноват сам. Мне казалось, что жить больше не имеет смысла. В обществе – уныние и растерянность, в правительстве – свирепость и расправа варварская со всеми неугодными, в семье у меня – разлад. Во имя чего жить? Во имя денег? Но я сыт ими по горло. Сыт! И если вы серьезно хотите, я могу отдать вам все. Полтора миллиона. Достаточно?

Ольга усмехнулась:

– Я подумаю. А сами что будете делать?

– Служить стану. Выучусь на агронома и поступлю на службу. Если я захочу, я своего добьюсь. А впрочем, давайте поговорим о другом: кто и зачем прислал вас ко мне? И как вы вообще оказались в столице?

– Просто мы гуляли с Леоном, прочитали о ваших похождениях, и мне захотелось своими глазами посмотреть, как помещики идут ко дну. Впрочем, я думаю, что вы сами на дно не опуститесь, а скорее спустите других.

– Вы как в зеркало смотрели, – усмехнулся Яков. – Где Леон и что вы намерены сегодня делать? Быть может, поедем в оперу и проведем вечер по-человечески?

Ольга не успела ответить: в номер постучали, затем вошел коридорный.

– Депеша тут, ваше степенство... – подал он Якову телеграмму. – Со вчерашнего дня лежит, потому как к вам страшно было входить, – объяснил он и удалился, даже не рискнув подождать чаевых.

Яков вскрыл телеграмму и побелел.

– Несчастье! С Аленкой!.. – в отчаянии повысил он голос и заметался по комнатам. – Сама на себя руки... Где Леон? Едем! В Югоринск!..

Ольга закрыла лицо руками, постояла так несколько секунд в полном отчаянии и вдруг выбежала из номера, спустилась на улицу, но Леона нигде не было. Она кликнула извозчика и велела гнать лошадей как можно быстрее.

Леон пришел сам, так как прохаживался невдалеке от гостиницы, и, увидев, как Ольга погнала извозчика, почувствовал: что-то случилось. И пошел к Якову.

Яков бросился к нему со слезами на глазах:

– Алена... Вот... На себя руки... Эх, Левка, Левка, что ты наделал!..

Леон прочитал телеграмму, и у него оборвалось дыхание. Ведь он только что послал Алене такое хорошее письмо, только что решил труднейший вопрос своей жизни, и вдруг... И он глухо, срывающимся голосом сказал:

– Я послал ей письмо, чтобы она ехала сюда. Совсем...

— Послал, послал... На смерть ты ее послал! Идиот, никогда не ожидал, что ты станешь таким дубом. Едем! Сегодня же! Курьерским! — восклицал Яков и начал выбрасывать вещи из шкафов и швырять их в чемоданы.

Леон поехал на квартиру инженера Рюмина. Ольга была уже там и, видимо, все рассказала, потому что Лука Матвеич и Рюмин встретили его обеспокоенно и поспешили с утешением:

— Не очень, не очень волнуйся. Жива она, Виталий прислал депешу, — говорил Лука Матвеич.

— Я уезжаю, Лука Матвеич, — угрюмо сказал Леон.

— Езжай, Леон. Но будь осторожен. Сейчас именно тебя будут там ждать власти.

— Не провалюсь, не беспокойтесь... Ах, как же это случилось? — схватился за голову Леон. — Где депеша Виталия?

Депешу ему не показали. Нельзя было показывать.

Леон обнял всех и ушел. И Ольга молча пошла за ним.

Несчастная Ольга! Сколько в ней сил душевных и нечеловеческого терпения, и мужественной готовности ко всяким печальным неожиданностям, которые судьба сыплет на ее одинокую голову!

Над Петербургом шел дождь и разгонял людей с улиц, а Леон и Ольга не замечали его и шли, как на похоронах — молча, опустив головы.

Они могли сесть на конку и домчаться до вокзала в считанные минуты. Но они не хотели этого делать. Они расставались и хотели продлить время. И оттого, что они понимали это и не могли говорить об этом, им было тяжело вдвойне. Наконец Леон порывисто обнял ее и сказал надломленным голосом:

— Прости... Больше не надо идти со мной. Я не могу поступить иначе. И спасибо тебе, что ты такая...

И быстро зашагал по тротуару.

Ольга остановилась. И все вокруг остановилось и перестало жить. Лишь дождь все лил и лил с темного неба, и капли его падали на руки Ольги, на лицо — холодные, как снежинки, и от них стыло все в груди.

Но Ольга не уходила и смотрела туда, где потерялся и исчез Леон, где исчезла любовь ее, последняя надежда. Теперь уже навсегда...

Что сталось с Аленой? Она, конечно, никакого письма Леона не получила и вообще уже ничего от него не ожидала. Он сказал ей все, что хотел, на болгарских плантациях. Для чего и ради чего ей осталось жить?

И Алена решилась на самое жестокое... Вечером она неожиданно пришла в магазин, села в конторке и, подождав, пока закончится торговля, взяла ключи у управляющего и сказала:

— Идите. Я сама запру.

Управляющий пожал плечами. Что это ей взбрело на ум закрывать магазин, когда это с успехом делал он сам? Но он отдал ключи. Однако, покинув магазин, не мог идти домой и закружил невдалеке от него, думая, что бы все это могло значить, и позванивая запасными ключами, которые были у него в кармане. И тут его увидал Овсянников...

А Алена, заперев дверь изнутри, поднялась на второй этаж, походила туда-сюда по отделам, задержалась возле игрушек и обратила внимание

на мишек. Выбрав самого маленького, она любовно погладила его бурую плюшевую шубку, с нежностью, как будто он был живой.

— Плохо тебе одному тут? И мне плохо. Всем нам плохо. Только ты — глупый и ничего не понимаешь, — прошептала онемевшими от напряжения губами. — И придется нам с тобой тут и быть. Так сказал мой муж...

Она не заметила, как вернулась в конторку, а когда вошла в нее, положила мишку-малыша на стол и долго смотрела на него печальными глазами. И вдруг побежала в писчебумажный отдел, нахватала там бумаги, сунула ее в корзину и принесла в конторку.

Взяв мишку со стола, она поправила золотой бант на его шее и, открыв тяжелый стальной сейф, бережно положила игрушку туда. Потом села за стол, написала записку: «Простите, люди добрые. Я очистилась. А.», положила записку в сейф, закрыла его и даже не проверила, хорошо ли закрыла.

В следующую секунду она перекрестилась, зажгла спичку и бросила ее в корзину с бумагой. Бумага вспыхнула.

Алена отступила и долго смотрела на огонь безумными глазами. И упала на стул, выбросив руки на стол, а потом положила на них голову.

И так осталась сидеть.

Корзина уже пылала, и шелковые занавески пылали на застекленной двери, и уже запахло горевшей краской. Вскоре огоньки полезли вверх по лакированной деревянной перегородке, по тумбам стола...

Алена почувствовала жаркое дыхание пламени и дым — противный, как дым сырой травы перекати-поля. И тут пламя обожгло ноги. Стало нестерпимо больно.

Алена укусила себя за руку и еще сильнее прижалась головой к столу. И не шевелилась. Горела и не шевелилась...

...Леон задержался в Москве, ожидая поезда, и приехал в Югоринск поздно вечером. Спрыгнув с подножки на малом ходу, у семафора, он пошел в поселок и еще издали увидел: в доме его еле мерцал огонек — как свеча возле покойника. И ни одного живого голоса не было слышно.

И у Леона все оборвалось в груди. «Опоздал. Все кончено», — подумал он и обреченно и тяжело, как на гору, поднялся по ступенькам крыльца. Странное чувство охватило Леона: не боявшийся ни ада, ни смерти, сам отправлявший на тот свет на баррикадах врагов, он не решался открыть дверь в дом. Но это длилось доли минуты, а в последующее мгновение какая-то сила бросила его через порог, внесла в комнату и остановила в растерянности.

В комнате висели тучи дыма, мерцала и задыхалась в чаду керосиновая лампа да видны были разлетавшиеся во все стороны мельчайшие красноватые искорки возле печки, где курили Игнат Сысоич и Нефед Миронович.

— Леон?! — негромко и крайне удивленно спросил Игнат Сысоич. — Ох, господи, откуда ты взялся? Успокойся, сынок, она в больнице. И Яша, и все там, возле нее, — торопливо встал он, но не дошел до Леона, а задергал носом и скорее прошептал, чем сказал: — Спасибо Виталию, подоспел вовремя, а то бы... Эх, что делается на белом свете!

— Где Виталий?

— На станцию пошел, три дня уже ходит, тебя ждет.

Нефед Миронович не проронил ни звука и лишь больше задымил самокруткой. Все боли от этого человека, от зятя такого, все обиды на него за многие, многие годы лютым пламенем вспыхнули в душе старого Загорульки. Но не мог Нефед Миронович давать сейчас волю своим обидам, не время было сводить счеты, потому что Алена была жива, потому что она была обвенчана с этим человеком на всю жизнь, и только смерть могла развязать руки Нефеду Мироновичу. Но смерть отступила от Алены.

Нефед Миронович рад был, что дочь осталась в живых, но подумал в эту тяжелую минуту: «Ну, счастье твое, разбойник крамольницкий, что Аленка, бог дал, выцарапалась из могилы. Душу вынул бы, проклятое семя, и развеял бы по ветру. У-у, какого змея впустил в свой дом, в сродствие засчитал»,— сжал он лошадиной силы челюсти и кряхтя встал.

— Ну, здорово дневали, зять, негде тебя взять. Прибёг на жену законную полюбоваться? Изволь, полюбуйся, погляди, до чего ты ее довел, анчихрист, до чего докохал своей любовью. Тьфу,— сплюнул он с ожесточением и бросил цигарку к печке.

Игнат Сысоич тронул Леона за плечо, сказал:

— Пойдем, сынок, отсюда. В больницу тебе опасно, а руки марать об этого живоглота я не желаю. Перебудем у добрых людей.

Леон стоял посреди комнаты, как чугунный, смотрел исподлобья на Нефеда Мироновича и не двигался с места. Он тоже вспомнил все обиды на этого человека, и наливался ненавистью все больше, и готов был взять его за холку и выпроводить на улицу. Но не до этого было, и он вздохнул.

— Не время сейчас за грудки хватать один другого, отцы. Я знаю, что вы ненавидите меня, Нефед Миронович, и вы знаете мое мнение о вас, Загорулькиных. Подымется Алена — мы с вами потолкуем, что к чему. А сейчас...— Он выпрямился, надел картуз и заключил: — Я иду в больницу.

— Нельзя тебе туда, сынок! — вцепился в него Игнат Сысоич.— Враз заарестуют и в кутузку опять загонят.

— Волков бояться — в лес не ходить, батя. В какой она палате?

— В крайней, возле окна.

Леон шагнул к двери, но теперь его остановил Нефед Миронович:

— Меня могешь и ухом не вести, не слушать, как мы с тобой есть вроде цепного кобеля и кошки. А отцу покорись. Тут мы с Яшкой полицию под три чёрты шуганем в случае чего, а в больнице сгребут. А за слова мои извиняй. Жили бы вы, как люди, все обошлось бы, Аленка на себя руки не наложила бы.— И резко заключил: — Не то, видит бог, вдаримся с тобой когда-нибудь на смертельный исход. Ты порушил законный брак, ты и починяй все.

Леон спокойно ответил:

— Мне починять нечего.

— Сынок, помолчи, богом прошу,— вмешался Игнат Сысоич.— С таким тестем твоим на кулачки схватиться след, а не увещевать его.— И напустился на Нефеда Мироновича: — Вот возьму кочергу — ты живо поймешь, кто законный брак рушил, супостат, пропасти на тебя нету.

— Замолчь, сват, а то до греха дойдем! — гаркнул Нефед Миронович.— Я катеринку атаману дал, поплину девять аршин отмерил за него, за зятя такого. И аршин поломал тоже. А чем он отблагодарил? Мутит меня от такого зятя, царева отступника.

— А мутит — под забор сбегай, опорожнись трошки, — срезал его Игнат Сысоич.

Леон подумал: «Все то же. И на смертном одре не изменится». И, растревоженный, вышел из дома.

Игнат Сысоич перекрестил его вслед, закрыл дверь и, вернувшись в комнату, с горечью произнес:

— Эх, Нефед, Нефед! Выросли мы с тобой в одном хуторе, за девками убивались вместе, одной ложкой ели, да руку ты мою в молодости всегда держал и правду-матку за меня резал, а только как был ты сатаной с толку сбитый, так им и остался. Таки дитя своего, зятя, и такими словами привечать, а? Да на тебе крест православный есть чи нет? Хамлет ты — и больше ничего, извиняй за гострое слово.

Нефед Миронович схватился за голову, пробежал из угла в угол комнаты и, остановившись посредине, воскликнул:

— Боже мой милосердный, да за какие грехи ты возложил крест на мою хворую спину!.. Я ж добро кличу дитю своему, а меня живоглотом считает нехристь этот, Игнат, и зятя стравляет со всеми нами...

— Брехня, сват, я сына своего с тобой не стравляю, — возразил Игнат Сысоич. — А живоглот ты и есть, истинная правда, и нечего бога гневить — отрекаться от такого справедливого прозвища.

— Плетей, плетюганов тебе за такие слова, видит бог, это по справедливости получится. Но... — махнул рукой Нефед Миронович, — черт с тобой, в огненной геенне будешь гореть на том свете.

Игнат Сысоич опять мостился возле печки курить и хрипло отговаривался:

— Разевай рот пошире, парень. Мне-то с какой стати связываться с той геенной? А вот тебя осмолят там, как кабана жирного, за милую душу, истинный бог.

Нефед Миронович сел на стул, хлопнул по толстым коленям, люто посмотрел на Игната Сысоича и не нашелся что ответить. Огненной геенны он не очень-то боялся, а вот язык этого Игната — совсем другое дело. Тут или драться надо, или молчать — третьего нет.

— Ладно... Твой верх, холера тебе в бок... Доставай из горки полбутылку. Я две принес от монопольщика на радостях, что дочка будет жить. А как теперь и зять возвернулся в благополучии, прополоснем за спокойствие в нашем семействе.

— Не до бутылок теперь, сват, — отказался Игнат Сысоич. — Меня думки берут, как бы они не заарестовали Леона. Эх, жизня-а! Законную свою супругу, какая находится, скажем, при смерти, и ту нельзя проведать. Тьфу, да и только, — сердито сплюнул он и поднялся на ноги.

Нефед Миронович принес из буфета бутылку водки, нашел где-то в коридоре две сухие таранки и, бросив их на стол, недовольно сказал:

— Надо было хорошенько доглядать за такими деточками смолоду, как ты есть родитель. А теперь нечего кивать на властя.

Игнат Сысоич готов был вновь сцепиться, да в это время послышалось ржание лошадей, топот ног, и в дом ввалился казачий наряд, и раздалась команда:

— Именем закона...

Игнат Сысоич растерялся от неожиданности и подумал: «Все. Поскачут в больницу и заарестуют».

Нефед Миронович глянул на казаков и среди них узнал станишника, приезжавшего к нему в Кундрючевку молоть хлеб. И ожесточился:

— Это по какому такому закону ты шляешься по чужим домам не в положенный час?

Урядник прищурился и посмирнел,— знал он, с кем его свела служба. И сказал как бы виновато:

— Чи сам Мироныч? Здорово дневали, станишник. Да вишь какое дело: нам велено доставить в целости Леонтия, как он крамольник и убегший с дальних краев. Зятька твоего, так что не серчай, сам знаешь — служба.

Нефед Миронович налил себе водки, отпил немного и, разрывая тарань, сказал более миролюбиво:

— Я тебе, урядник, могу случаем и по загриву дать за такое обхождение с моим сродствием.— И сразу повысил голос: — Вон из моего подворья! Тут тебе не острог с крамольниками, а дом моей дочки и сына. Понял?

Игнат Сысоич перепугался: сам же, ирод, гонит казаков в больницу. Как же быть? И решил: «Угостить. Задержать, а тем часом Леон посидит возле Алены и — ищи ветра в поле». И засуетился с угощением:

— Служивые, прополоснем для первости по маленькой, а там поглядим, кого вам искать и брать. Тут живут православные христиане, а не острожники какие-нибудь, так что прополоснуть будет в самый раз.

Нефед Миронович смекнул: «И скажи какой смышленый, нехристь: угостить и след, пока Левка проведает Алену», и сам принялся доставать стаканы.

Урядник облизнулся, переглянулся с казаками и сбил картуз на лоб, будто дело кончил. Но все же сказал:

— За угощения — спасеть Христос, но порядка для дозволь, Мироныч, заглянуть в горницу, и на том конец делу.

Игнат Сысоич ухмыльнулся, милостиво разрешил:

— Заглядывай, заглядывай, я разогрешаю. Да только смотри, как бы по загривку не схватил: там сам царь висит и рядком с ним — самая царица и всем семейством за порядком доглядывают, парень.

Урядник поправил картуз, как положено при исполнении службы, вошел в залик и, увидев портрет царя и царицы, вытянулся, бросил руки по швам и попятился, а когда вышел в переднюю, сказал с облегчением:

— На самом деле, царь и царица. А сказывали, крамола. И чёрти чево выдумывают, скажи на милость?

Игнат Сысоич уже держал в руке стакан водки и говорил почти по-домашнему:

— Держи, парень, да в другой раз не вводи людей в грех. А то Нефед ты знаешь какой? Треснет кулаком — поминай, как тебя звали.

Урядник снял картуз, расправил рыжие усы и, подморгнув казакам, выпил водку и крякнул:

— Ах, какая же скорая! В однораз до самых до коленочек докатилась.

Нефед Миронович разрывал вторую тарань, делил ее на кусочки и думал: «Вот за-ради такого оглоеда и царева отступника я принужден добро свое раздавать и угощать целыми стаканами всякую коросту. Дожился, Нефед».

Но казакам все же налил по полстакана и дал по кусочку тарани...

А Леон тем временем сидел в палате на краешке белого табурета и смотрел, смотрел на Алену печальными, затуманенными глазами. И думал: «Ну, вот и не будет больше Алены, не выживет она...» Почему, по чьей вине у них не получилась жизнь, та, о которой они когда-то мечтали на хуторе, ради которой любились, из-за которой Алена претерпела столько мучений от отца, от молвы, от судьбы, отнявшей у нее ребенка? И вот теперь и вовсе обрекла себя на муки, кинувшись в огонь. Из-за него, Леона. Из-за своей любви. Чудовищная решимость! Невероятное отчаяние. И протест. Протест против его равнодушия к ее чувствам, пренебрежения ее любовью, унижения ее человеческого достоинства.

Леон готов был сказать, крикнуть: «Не виноват я перед тобой, Алена! И что бы там ни было в прошлом, в те горькие часы размолвок, ссор и взаимного отчуждения, но я остался все равно чист перед тобой, как человек, как муж».

Но Алена не видела его и не могла слышать: она бредила и металась в жару, белая от бинтов и простынь, неистовая и тут, едва не на смертном одре.

Яков шепотом переговаривался с врачами, что хлопотали возле нее, мрачно посматривал на Леона, сидевшего с низко опущенной головой и не шевелившего ни одним мускулом, и наконец подошел к нему и тихо сказал:

— Заговори с ней. Может, она придет в себя. Ты же знаешь, что для нее значит одно твое слово...

Леон тяжко поднял голову, посмотрел на Алену, и у него глаза наполнились слезами, и невозможно было говорить. И он боялся говорить, боялся, что она узнает его и... и скажет: «Уходи. Уходи с глаз долой, бесчувственный человек!»

И не сказал Леон, не успел: Алена вдруг открыла глаза, черные, огненные, сверкнула ими в мучительной ярости и тихо спросила:

— Ты?

Леон кивнул головой.

— Уходи. И будь ты проклят,— произнесла она еле слышно и вновь заметалась, перекладывая голову с места на место.

— Аленка, ты сошла с ума! — шикнул на нее Яков, но Алена не слушала его и застонала.

Леон встал, поправил простыню на ней, хотел взять ее за руку, но не решился и вопросительно посмотрел на Якова, как бы говоря: «Я пойду. Сейчас с ней говорить нельзя», но Яков лишь чертом смотрел на него и ходил по палате, о чем-то думая и ероша волосы.

И Леон все же решил сказать:

— Алена, я лучше потом, после... Сейчас не время вспоминать старое. Напрасно ты это сделала. Я-то звал тебя к себе и думал забыть... Думал, что мы будем жить и жить...

Алена дико крикнула:

— Уходи! Я все сказала! Я все сделала. Будь же ты проклят, мучитель моей жизни!

Яков схватился за голову:

— Дура! Беспросветная дура, что ты болтаешь? Опомнись же! — говорил он в крайнем возбуждении, но потом махнул рукой и сказал Леону: —

Уходи. Сейчас с нее толку не будет. Не хочет видеть тебя – пусть пеняет на себя. И тебе опасно тут задерживаться.

Леон стоял как в оцепенении, опустив голову, опустив руки, и молчал. Нечего ему было больше говорить, нечего было на что-то рассчитывать и ждать нового хорошего в будущем. Алена остается Аленой...

И он сумрачно сказал:

– Ну что ж, Алена, я уйду... Прощай.

К нему бросились мать и Дарья Ивановна и заголосили:

– Да куда ж ты уходишь, сынок? Она ж совсем не в себе...

– От жены законной уходишь же, сынок. Одумайся...

Вбежал запыхавшийся Овсянников, схватил Леона за руку, потащил к окну и распахнул его.

– Жандармы. Прыгай, а я займусь ими,– говорил он срывающимся голосом. Но Леон не слышал его и ничего не понимал.

И когда он вышел в коридор, там послышалось:

– Именем закона!

Овсянников выхватил маузер и побежал в коридор, но было поздно и стрелять было нельзя: в коридоре было полно больных.

– Все. Пропал,– произнес он и, как подкошенный, упал на табурет.

А Яков подумал, достал из кармана бумажник и пошел из палаты, но вскоре вернулся с пачкой денег в руках и мрачно сказал Алене:

– Что ж ты наделала, сестра? Он больше к тебе не вернется. Я хотел им деньги, но жандармы... Ротмистр сам...– И с отчаянием произнес: – Клятая жизнь! Клятый мир и все люди!

Алена ничего не слышала. Она вновь была без сознания.

Где-то слышалось: топ-топ, топ-топ. Как рота солдат шла...

Власти оказались более предусмотрительными после случая с Лукой Матвеичем и не доверились наряду казаков.

Глава восьмая

У Чургина была новая трагедия: катастрофа на руднике.

Это случилось так: в новой шахте Шухова невесть откуда появился метан. Рабочие заметили его по длинным язычкам пламени коптилок и покинули уступы, но подрядчик Кандыбин убежденно сказал:

– Загазована на три копейки. Проветрим – и все дело. А которые трусы – задерживать не буду.

Разговор происходил в верхнем откаточном штреке. Шахтеры переглянулись, как бы спрашивая: «Ну, полезем?» Первым сказал Иван Недайвоз, которого Кандыбин наконец соблаговолил принять на работу неделю назад, и то только потому, что об этом попросил сам Чургин:

– Вот что, господин подрядчик, вы пока проветривайте, а мы покурим на свежем воздухе, на земле. С газом игрушки плохи: шибанет так, что и пикнуть не успеешь.

Кандыбин был озадачен: остановка работы – это убыток в несколько сот рублей в день. Но предложить что-нибудь боялся и, поднявшись на-гора, пошел к штейгеру Петрухину за советом.

Петрухин спустился в шахту, осмотрел ее, велел усилить вентиляцию сказал довольно определенно:

— Но, разумеется, следует немного подумать о том, кому передать ваши уступы. Вы врезались в старые выработки, перешли границу участка...

Кандыбин достал двести рублей, и Петрухин выехал из шахты. Вскоре мальчик-посыльный позвал его к Стародубу. «Ну, начнется новая истерика. Тот раз хозяин не дал рассчитать меня. Теперь съест заживо»,— подумал он и, приосанившись, пошел к управляющему.

Стародуб встретил его не особенно любезно:

— Вы когда-нибудь, господин Петрухин, поймете одну очень простую истину, что вы получаете деньги за службу, а не за должность?

Петрухин прикинулся дурачком:

— Что случилось, Николай Емельянович? Разве я не заслуживаю своих ста рублей в месяц? Это ведь так ничтожно мало в сравнении с тем...

— В сравнении с тем, сколько вы берете с подрядчиков? — прервал его Стародуб.— Это действительно ничтожно мало.

Петрухин умел держаться и с достоинством ответил:

— Напрасно вы вспоминаете старое, Николай Емельянович. Василь Васильевич Шухов сказал же вам, что вы увлекаетесь излишней подозрительностью...

— Извольте молчать, когда говорят старшие! — повысил голос Стародуб.— Я сейчас говорю не о вас. Я говорю о людях, которые могут остаться под землей из-за вашей беспечности, преступности, наконец. Шахта загазована, ее надо хорошо провентилировать, досконально исследовать причины появления метана и закрыть ему пути в шахту, словом, надо думать головой и работать руками и ногами. А вы чем занимаетесь?

— Я? Служу, разумеется.

— «Служу»...— пренебрежительно повторил Стародуб и приказал тоном, не терпящим возражений: — Спускайтесь в забои, исследуйте все щелки, поставьте бетонные перемычки с плотными дверьми, замените все коптилки лампами Дэви и не разрешайте работать до тех пор, пока рудник не освободится от газа. Всё.

— Николай Емельянович, позвольте заметить...

— Я сказал вам: спускайтесь в шахту и не выходите оттуда до тех пор, пока в ней не будет так, как в моем кабинете,— прервал его Стародуб и написал телеграмму владельцу рудников.

Петрухин налился кровью до самых ушей, но возражать не было расчета, и он ушел к себе в кабинет. Там он написал владельцу рудников свою телеграмму, но вложил ее в конверт, чтобы с телеграфа не позвонили Стародубу, потом составил письмо жене шахтовладельца, затем приставу и лишь после этого спустился в шахту.

Кандыбина в забоях не было, но шахтеры тут работали в полную силу. Иван Недайвоз вновь сказал:

— Штейгер, рубать рискованно. Смотрите вон на язычок в лампе: краснеет и растет. Ясная картина?

— Ясная: рубать, а не совать нос в чужие дела,— оборвал его Петрухин и напомнил: — Это тебе не юмовский террикон.

Недайвоз подполз к нему с обушком в руке и выразительно повертел им перед его лицом.

— Эта штука кормит не только меня, но и тебя, штейгер. Ясно я растолковываю дело?

— О да,— криво усмехнулся Петрухин.— Туманно лишь одно: как ты вновь оказался на нашем руднике?

На следующий день в шахте появился Стародуб и увидел: работы шли своим чередом, а штейгер своим чередом ничего не делал. И Стародуб стал ждать Чургина.

Чургин облазил все уголки рудника, обследовал воздушные шурфы, проник в соседнюю шахту и убедился: метан проникал оттуда.

На техническом совещании он сообщил:

— Полагаю совершенно необходимым, господа, во-первых, немедленно и решительно избавиться от метана посредством выжигания. Совершенно необходимо немедленно прекратить работы в уступах подрядчиков Кандыбина и Жемчужникова; во-вторых, установить добавочно два вентилятора: нагнетающий в ствол и вытяжной в воздушном шурфе; в-третьих, изолировать тупик вентиляционного штрека, где возможен взрыв, от лавы Кандыбина, а самого Кандыбина убрать за вопиющее нарушение правил ведения работ. И, наконец, подвести воду в верхний штрек. Концентрация метана в выработках дошла до десяти процентов. А это — взрыв.

Он сказал это спокойно, будто все, что могло случиться на руднике, его совершенно не касалось.

Петрухин воспользовался его хладнокровием и драматически воскликнул:

— Господа инженеры и штейгеры! Господин управляющий! Я буквально потрясен тем удивительным, стоическим спокойствием, с которым штейгер Чургин сообщал нам о столь тяжелых, по его словам, последствиях, которые ожидают всех нас и наших рабочих в случае катастрофы. Но...

— Но? — мрачно прервал его Стародуб.

— Одну минуточку, Николай Емельянович... Но дело в том, что никаких ужасов и страхов у нас нет и быть не может! Они могут быть лишь в том случае, если мы произведем выжигание метана в соседней шахте. Я категорически и самым настоятельнейшим образом предупреждаю, что в нашей шахте...

Стародуб встал и, как бы между прочим, объявил:

— Да, простите, господа, я рад сообщить вам, что со вчерашнего дня господин Чургин назначен моим особо доверенным лицом по устранению причин надвигающейся катастрофы. Так что прошу вас, Илья Гаврилович, делать все так, как вы полагаете должным. Извините, господин Петрухин, что я прервал вашу столь бездоказательную речь. Если вы будете делать то, что делаете в нашей шахте, действительно случится катастрофа. А посему я полагаю для вас за лучшее приступить к выполнению распоряжения Ильи Гавриловича.

Это было бесцеремонно и жестоко, но инженеры поглядывали на Петрухина с явным удовольствием, будто говоря: «Попался, бестия?»

Петрухин видел: его судьба опять встретилась с Чургиным, и он, конечно, воспользуется этим. Что предпринять? Как подставить ему ножку?

Чургин же подумал: «Доверенным так доверенным. Не все ли равно? Надо обезопасить работу людей, а кто будет делать это первым, кто — последним, не суть важно». И он приступил к исполнению обязанностей особо

доверенного управляющего рудниками Шухова и не заметил, как Стародуб сам стал его заместителем.

И шахта превратилась в муравейник: в нее без конца спускали цемент, кирпич, железо, огнетушители, в нее вели трубы от мощных вентиляторов, устанавливаемых наверху, дополнительные насосы на случай, если появится вода после взрыва на соседней шахте, в нее строжайше было запрещено спускаться со старыми лампами-коптилками, и всем были выданы запломбированные английские лампы Дэви с сетками, исключающими прямое соприкосновение огня с газом.

И когда все было подготовлено и можно было делать взрыв в соседней шахте — сын владельца рудников, выслушав Стародуба, сказал:

— До соседней шахты нам дела нет, выжигать там метан — не наша забота. Отдаю распоряжение: откачать газ из нашего рудника, не прерывая добычи.

Стародуб был возмущен:

— В таком случае, милостивый государь, извольте написать все это письменно, чтобы ваш папаша знал, по чьей вине мы погубим рудник и рабочих. Или я буду поступать так, как велит мне долг.

— Мой дорогой крестный, — ухмыльнулся шахтовладелец, поправляя изящные усики, — я слишком мало понимаю в горном деле, чтобы писать вам подобные распоряжения. Но я хорошо понимаю толк в том, сколько я получаю денег от продажи угля. Как его лучше добыть — право, вам это лучше знать.

Стародуб с явным раздражением оборвал его:

— В таком случае уезжайте домой и не мешайте нам. — И распорядился: — Действуйте, Илья Гаврилович, как вы находите необходимым.

Неделю Чургин провел под землей, наблюдая за работами, а когда они были закончены, поднялся на-гора, зашел в «свой кабинет», где прежде работал Стародуб, и, позвав Петрухина, объявил довольно равнодушно:

— Вот что, господин Петрухин: подавайте в отставку. Даю пять минут на размышление.

Петрухин развалился в кресле, в котором он никогда еще не сидел — Стародуб не приглашал, и не преминул вспомнить:

— Вы как-то сказали мне, что рассчитали бы меня в две минуты. Почему вы увеличили срок в два с половиной раза?

— Потому, что за две минуты вы просто не успеете вспомнить, что у вас есть честь.

Петрухин усмехнулся, встал и бросил высокомерно:

— Мерси. Вам нельзя отказать в гуманности. — И ушел из конторы.

Чургин написал представление Стародубу и пошел к стволу. Возле копра было как на ярмарке: шахтеры спорили о целесообразности выжигания газа в соседней шахте, поносили Петрухина, подрядчиков и обсуждали, как быть и кто будет платить за время продувки шахты.

— Что за спор, друзья? — спросил Чургин и поднес руку к вентилятору, установленному возле ствола. — Дует. Хорошо. А из вентиляционного отсасывает. Через три дня можно лезть в забои.

Он говорил это как бы про себя, а шахтеры слушали его и недоверчиво переглядывались. Коренастый парень с щербатыми зубами, Степан, хихикнув, громко сказал:

— Братва, а он того, в начальники вышел. А говорили, мол, за нашу шахтерскую кость стоит. До чего ж люди умеют брехать!

Шахтеры молчали, зная, что Степану это так не сойдет. Но Чургин будто пропустил его слова мимо ушей и спросил с усмешкой:

— Степан, главный уличный забияка? Давненько мы с тобой не видались. Вот что, брат: перестань болтать, а сбегай к воздушному шурфу и проверь, работает ли там вентилятор.

— Я не мальчик. Пущай Иван Недайвоз бегает, братеник ваш,— огрызнулся Степан.— И вы мне упряжку пишите за газ. Понятно? — И торжествующе посмотрел на шахтеров, как бы говоря: «Видали, как я с ним?»

Чургин посмотрел на его иссеченное углем лицо и просто сказал:

— Я полагал, что за эти годы ты поумнел, а выходит, ошибся. Так что извини, я лучше сам, не то люди могут задохнуться. Если вентилятор не отсасывает воздух из вентиляционного шурфа, а нагнетает, то газ будет спрессован в шахте, а это может стоить жизни тем, кто там работает. А упряжки будут зачтены. Всем.

И он спустился в шахту.

Шахтеры насели на Степана:

— Балда, знаешь, кто таков Чургин?

— Он же сам полез, а там газ и ребята Кандыбина рубают.

— Из шурфа никакой тяги нет, я только что проходил там.

— Ну и черт с ними со всеми. Нацепил золотые молоточки — пущай сам и бегает,— не поддавался Степан и лихо плюнул на сажень от себя.

Шахтеры переглянулись, некоторые полезли в карманы, чтобы скрутить по цигарке, но вспомнили: табак и спички отобраны в ламповой.

Степан достал кисет из-за голенища, из-за другого достал спичку.

Шахтеры уставились на него, на кисет злыми глазами и подняли шум:

— Да знаешь ли ты, что твоя спичка похоронит всех нас?

— Отымай!

— В морду ему за это!

Степан отступил, сверкнул глазами и не знал, что делать, да благо в это время готовилась к спуску клеть. Он юркнул в нее и поехал в шахту.

А Чургин между тем разговаривал в шахте с плитовым Митричем и наблюдал, как поступает по стволу воздух.

Сверху, по бремсбергу, бежал Иван Недайвоз. Едва не упав, он остановился возле Чургина, закричал:

— В уступах Кандыбина работают, а там все загазовано! Тяги в вентиляционный штрек нету! Это же смерть, братуша-а...

— Как это — тяги в вентиляционном нет!

— Нету! Это я тебе говорю... Спасай народ, братуша...

— Не надо волноваться, брат, а надо прежде всего выяснить, в чем дело. Поднимись наверх и проверь, работает ли вентилятор возле воздушного шурфа. Я буду у Кандыбина.

Недайвоз пошел к стволу и там встретил Степана. Но тот не остановился. Вскоре встретились еще двое и сообщили:

— У Степана — спички, он что-то затевает, собака.

Недайвоз понял. Махнув рукой, чтобы шахтеры следовали за ним, он было побежал по штреку, но потом свернул в первый попавшийся проход•

печку к старым выработкам и вскоре увидел еле заметный огонек. И вдруг он исчез...

Степан хитрил: не побежал по уклону — там мог быть Чургин, а решил проникнуть в вентиляционный штрек через старые выработки. Убедившись, что за ним никто не идет, он остановился передохнуть и смахнул с лица крупные капли пота. Он еще не понимал, что пот выступил у него не только потому, что он торопился, а и потому, что в шахте было очень мало воздуха.

«Уморился, шибко спешу», — подумал он и заторопился по штреку, низко нагибаясь и цепляясь за стойки. Вскоре он достиг первой двери, настежь раскрытой для лучшего прохождения воздуха с поверхности. Степан захлопнул дверь, подпер ее старой стойкой и побежал дальше. И тут у него потухла лампа. Он достал спички и уже было хотел зажечь огонь, да вспомнил: лампа была под пломбой. Он сорвал пломбу и в это время почувствовал, как в голове зашумело и стало душно.

— Дорого, кажись, достанется мне твой золотой, господин Петрухин, — недобро сказал он, поняв, что воздуха мало, и, собрав силы, на ощупь двинулся дальше.

Вскоре он натолкнулся на вторую дверь и обрадованно подумал: «Осталась еще одна, а там — шурф, воздух». Он также закрыл и ее, подпер стойкой, что лежала тут же, и удивился: «Откуда они, стойки? Кто их приготовил?..» Но рассуждать было некогда. Задыхаясь и карабкаясь на четвереньках, он думал теперь об одном-единственном: скорее бы появился воздух. Но воздуха, казалось, не было.

Степан упал на мокрую подошву штрека и припал губами к холодной, жесткой воде, а затем пошел дальше. И в то время, когда он опять упал и больше не мог подняться, расширенные ноздри его крупного носа почувствовали свежий воздух. Он шел оттуда, сверху, по воздушному шурфу, и Степан не понял, что это делал стоящий наверху вентилятор, а понял: жизнь его спасена, и дышал, дышал с жадностью, с какой не дышал всю жизнь. Он прошел сквозь смерть! Ах, как мало он запросил с Петрухина!

— Десять целковых. Это же плевое дело! Пущай дает сто, иначе самого сюда притащу, — грозился он штейгеру и, увидев тоненькую полоску света, проникавшую словно сквозь забор, поднялся, толкнул что-то перед собой и понял: дверь была закрыта. Он попал в западню.

— А-а, гад, так ты, значится, со мной?.. — прошипел он и всей силой налег на дверь.

Что-то треснуло, что-то упало, и вдруг поток воздуха, свежего и до того пахучего, что голова закружилась, дохнул могучей струей и едва не сбил с ног...

Степан не знал, что распахнулась дверь, прикрытая тугой струей встречного воздуха, подававшегося сверху, и побежал на белевший вдали слабый свет, проникавший через шурф, и вскоре оказался перед лестницей.

А Недайвоз со своими друзьями шел по пятам, прикрутив лампу сколько можно было. Первую закрытую Степаном дверь он выломал плечом.

— Эта гадюка закрыла дверь и подперла стойкой, чтоб перекрыть тягу. Но почему нету сквозняка, почему тяги нет и при раскрытой двери — вот закавыка, братва, — рассуждал он вслух.

Шахтеры еле дышали от усталости и от недостатка воздуха и рады были остановиться хоть на минуту.

— Иван, а ты не думал про то, что вентилятор наверху дует не туды? — спросил пожилой шахтер.

— Не может того быть! И тут дело не в спичках Степана. Тут дело в чем-то другом. А ну быстро к шурфу!

И они побежали по штреку, шлепая сапогами по грязи и воде. Вот наконец и вторая дверь. Она тоже плотно прикрыта и подперта, но через нее идет такой свежий и приятный степной воздух. Удар плечами — и дверь падает, но Ивана Недайвоза и друзей его едва не валит с ног ураганный поток воздуха.

И все поняли: кто-то сделал страшное дело — направил струю воздуха в шахту, навстречу газу.

— Они погибнут, — сказал Недайвоз и с проворностью, с какой не бегал с детских лет, устремился вперед, к шурфу.

Единым духом он взбежал по бесконечным ступенькам крутой лестницы, выбрался на-гора, и когда его ослепил солнечный свет, и когда в груди все распирало так, что невозможно было дышать, а руки и ноги перестали ощущаться, крикнул всем, всем:

— Остановите его, проклятого!

И упал на выжженную солнцем, сухую и жесткую траву.

Степан срывал вентилятор с места, чтобы повернуть его противоположной стороной к шахте, но не мог осилить и бил по кожуху ногами.

Недайвоз увидел его и не понял, что он делал.

— Степан, удушу! — крикнул он и, подбежав, со всего размаху ударил его, но слишком обессилел, и Степан устоял на ногах.

— Ваня, прости, я одумался. Подсоби. Вся братва же задохнется!..

— Гадюка. Какая ты гадюка, Степка! Все двери закрыл, а?

— Петрухин велел, золотой дал. Бей, но подсоби, Ваня, — умолял Степан, обливаясь потом от натуги.

— Черт с тобой. Но если не одумался, Степка, — удушу, как гадюку... Давай... — налег Недайвоз на вентилятор.

Выбрались на поверхность дружки Недайвоза и всей артелью навалились на вентилятор, сорвали с болтов и повернули к шурфу противоположной стороной. Это было спасение. А тем временем Чургин зашел в камеронную, велел включить насосы и, когда шланги вздулись так, что их и не сдавить ногой, поднялся по уклону вверх, к уступам Кандыбина, где уже начали делать перемычку. В уклоне лежали две бесконечные змеи — два противопожарных рукава, и Чургин подумал: «Выдержат ли напор двух центробежных насосов?»

На самом верху уклона, на площадке против верхних откаточных штреков, монтер хлопотал возле вентилятора, прилаживая его на чугунных плитах, а подрядчики Кандыбин и Жемчужников ругались, каждый требуя направить струю воздуха в свой штрек.

— Послушай, Жемчужников, у меня рубают, у меня — концентрация газа...

— Что ты меня просвещаешь?! — кипел Жемчужников. — У меня тоже рубают и тоже хотят жить. Давай поворачивай в мой штрек, дружище, — хлопал он монтера по спине. — Магарыч за мной.

— Не слушай его, молодой человек,— твердил свое Кандыбин.— Весь газ собрался у меня, и Чургин именно потому и распорядился поставить сюда еще один вентилятор. Давай скорей, там дышать нечем.

Чургин подошел незаметно, попробовал вентили водопроводов и сказал монтеру:

— Торопись, брат, каждая секунда дорога. Где-то что-то не ладится; тяги нет к Кандыбину. А-а, легки на помине,— заметил он подрядчиков.— Почему вы здесь?

Подрядчики виновато заговорили, перебивая друг друга, но Чургин лишь понял, что в их уступах идет работа.

— Штрафую по пятьсот рублей каждого. За нарушение правил ведения работ. Если через пять минут не выведете людей — будете отстранены от работы навсегда.

Подрядчики онемели от таких слов, а Чургин принялся помогать монтеру.

И тут Кандыбин пошел напрямую:

— Илья Гаврилович, вы же сделали нас нищими. Столкуемся, в обиде не останетесь.

— Илья Гаврилович злопамятен,— заметил Жемчужников.

— Не столкуемся. И не потому, что я злопамятен. Идите в уступы и кончайте работы немедленно.

— Но ведь мои уступы вы хотите замуровать! — воскликнул Кандыбин с таким отчаянием, будто его самого будут замуровывать.

— Завтра. А сегодня прошу выполнять распоряжение.

Подрядчики переглянулись, как бы говоря: «С этим чертом и на том свете не сговоришься», и разошлись в противоположные стороны, каждый в свой штрек.

Но потом Жемчужников раздумал: «А уеду на-гора — и все будет в порядке. Я внезапно заболел. Голова закружилась». И спустился к стволу через соседнюю лаву.

Кандыбин же рассуждал иначе: «Дорубают, ничего, а выдадим после. Чего терять лишнюю сотню? Выгонит Чургин — тогда и уйду: мол, замешкался». И с этой мыслью пришел в лаву. Шахтеры не работали, а сидели в штреке, не решаясь уходить вовсе.

— Что, пошабашить решили? Смелый народ и расчета не боится,— сказал Кандыбин и ласково попросил: — Порубаем еще, ребята,— и шабаш.— И направился на четвереньках в забои.

Шахтеры продолжали сидеть, подолами рубах утирали обильный пот и молчали. Наконец один, пожилой, сказал:

— Господин подрядчик, туды нельзя, все загазовано до краев.

Кандыбин вдохнул воздух раз, второй и задумался: тяги почему-то не было. «Гм. Сверху, возле ствола, дует в шахту огромный вентилятор. В степи, у воздушной, другой такой же тянет воздух из шахты. А я ничего не чувствую»,— затревожился он, но шахтерам пообещал:

— Сейчас Чургин приладит вентилятор в уклоне и прямо в наш штрек пустит воздух. Полезли!

Шахтеры молча поползли в лаву, через узкий проход-печку, но старый шахтер с бородой остался сидеть:

— Вы как знаете, а я скажу Илье Гавриловичу. Свелит он рубать — знать, так тому и быть.

Кандыбин кричал в лаве:

— Трусы, бабы, а не шахтеры! Ведь я с вами. Плачу за дорубку пая по лишнему полтиннику. — И, вырвав из рук молодого парня обушок, полез вверх, ругаясь: — Подлецы! Я вам покажу, как надо деньги зарабатывать!

В верхнем уступе, второпях подвесив лампу к кровле, он размахнулся обушком, но крючок лампы скользнул, и она попала под обушок. Стекло разлетелось, брызнул огонек...

Раздался страшный взрыв, загремели тысячи громов, засветили тысячи молний, и Кандыбину показалось, что горят голова, руки, ноги, и он уже не чувствовал их, а может, их уже и не было. Он хотел крикнуть, но не мог, задыхался и извивался, а вскоре затих и уже не пытался ни кричать, ни подняться, ни дышать, а лишь открывал черный рот с оскалом золотых зубов, захватывал воздух, но воздуха не было, а был угарный газ, были миллионы танцующих огоньков и, как раскаленный металл, вливались и текли в самое сердце, в мозг, в каждую жилку его длинного сухопарого тела.

...Чургин, едва Кандыбин ушел, дал сигнал вниз по проволоке, где в особом месте был рубильник, и вентилятор зашумел, завыл, как гудок. Но что за чудеса? Позади него, на площадке, поднялась столбом черная пыль, а воздух пошел в штрек Жемчужникова, в противоположную сторону.

И у Чургина холодный пот выступил на лбу.

— Кто повернул лопасти вентилятора в обратную сторону?! — загремел он на монтера. — Значит, и в шурфе точно такое же? Подлецы!.. Переставляй! Обратной стороной!

Чургин стал сбрасывать глыбы угля с салазок. В туче пыли он не заметил подошедшего Стародуба и нескольких шахтеров, доставивших в вагончике огнетушители, противогазовые маски, цемент.

— Что случилось? — спросил Стародуб глазами, так как голоса не было слышно из-за шума.

— Лопасти вентилятора повернуты в обратную сторону! — крикнул Чургин. — Полагаю, что такое же и у вентиляционного шурфа. На шахте есть негодяй. Наденьте маску!

— А почему я не вижу Петрухина?

— Он исчез.

Стародуб надел маску. И в это время раздался отдаленный взрыв в кутке вентиляционного штрека, на стыке с соседней старой шахтой, потом — второй, на этот раз ближе, и из лавы Кандыбина в штрек вырвался огонь.

— Тика-ай! — послышалось издали.

— Огнетушители! Воду! Маски! — распоряжался Чургин и, открыв вентили, схватил брандспойты и направил струи воды в штрек.

И тут раздался новый взрыв.

Стародуб и слесарь схватили огнетушители, бросились в штрек и в это время увидели: по нему бежали люди-факелы. Ни Стародуб, ни слесарь не слышали нового взрыва. Они увидели возле себя огонь, много огня, но поднимали горевших людей, подставляли их водяному вихрю Чургина и наконец сами упали, задыхаясь.

Чургин знал: взрыв поглотил весь метан, но и кислорода теперь в воздухе не осталось. Вдруг он почувствовал: снизу потянуло свежестью. Значит, шахта продувается. И побежал к Стародубу, к шахтерам, освещая штрек своей электрической лампочкой, висевшей на шее, и поливая все впереди бешеными струями воды сразу из двух брандспойтов.

А Петрухин лежал в постели. Голова его была повязана платком, смоченным уксусом, на стуле стояли пузырьки с лекарствами, лежали порошки, но он не прикасался к ним, не жаловался на головные боли и вообще ни на что не жаловался. Он проклинал всех и вся на свете за то, что все получилось не так, как он рассчитывал. Расчет же этот был сложен: если вентилятор будет установлен так, как и положено, а не так, как Петрухин сказал монтеру, тогда Степан, закрыв двери в вентиляционном штреке, перекроет тягу газа из шахты. Если монтер сделает в уклоне то, что ему велено, тогда вентилятор заставит газ повернуть назад. В обоих случаях Чургину придется задохнуться вместе с другими.

Так рассчитывал Петрухин и вдруг испугался: «Но ведь это убийство! Суд! Каторга!» И, вскочив с постели, закричал благим матом:

— Вентиляторы! Они погибнут!.. Каторга!..

Жена вбежала к нему, увидела ужас в его глазах и крикнула:

— Негодяй! Ты что наделал? — Она бросилась к нему и услышала во дворе, в особняке, возле самых дверей:

— Кровопиец, хворым прикинулся?

— Выходи к народу!

— В шахту его! В ствол, иуду!

— Пущай ответит, куда делись наши мужья!

И Петрухин упал на кровать ни жив ни мертв и зашептал молитвы.

В дом ворвались Недайвоз, Степан, ворвался, казалось, весь мир шахтеров, и особняк задрожал и зарыдал от проклятий и угроз.

У Петрухина началась рвота...

Когда Недайвоз и Степан приволокли его на шахту, тут уже был весь поселок, все население. Плач женщин, возмущенные крики мужчин, свистки полиции — все смешалось и слилось в сплошной гул, будто тут именно и бушевал пожар.

Матрена Ивановна, старая шахтерка, стоя на опрокинутой вагонетке, возле ствола, кричала:

— Доколе же... терпеть, женщины?! Обвалы и взрывы... уносят в могилу... Требовать человеческой работы!.. Как шахтер есть самый главный, приносит человеку тепло и жизнь... Соединяйтесь за шахтерское дело, товарищи!

— Бастовать!

— В шахту их, душегубов!

— Петрухина первого, вражину!

— И подрядчиков!

— И самого кровососа хозяина!

— И всю ихнюю шайку властей! — кричали отовсюду.

Недайвоз с дружками и со Степаном подняли Петрухина и бросили в толпу.

— Вот кто хотел подушить всех!

— В ствол!

— Расквитаться за все!

— Это ложь! Это чудовищная ложь, господа! — изворачивался Петрухин, но его не слушали и, погоняя кулаками, лампами, обушками, гнали к копру.

Петрухин безумно заорал:

— Не я! Степан закрыл все двери в вентиляционном штреке!

— А-а, гадюка, изворачиваешься! — разъярился Степан и, подняв его над собой, поднес к стволу, ногой сбил крючок с дверцы, преграждавшей вход в клеть.

Шахтеры замерли. Бросать в шахту человека было нелегко. Но Степан не успел свершить свой приговор. Недайвоз вырвал из его рук Петрухина и повелительно сказал:

— Проси, штейгер, у людей прощения... Не то и я подсоблю Степану.

— Простите. Пощадите... Дети, жена...

В стволе показалась клеть и остановилась. Из нее вынесли сгоревших и угоревших. Они были в истлевших лохмотьях, лица их вздулись от ожогов, глаза заплыли, пальцы рук торчали, что черные колья.

Шахтеры ахнули и отшатнулись. И тогда Степан исступленно крикнул:

— Он не пускал газ из шахты! Смерть ему!

И бросился на Петрухина, свалил его и с неистовой яростью стал бить тяжелыми своими ногами.

Из второго этажа клети вышел Стародуб. Лицо его было в волдырях, бровей, усов и бороды не было, брезентовый плащ, одежда под ним превратились в лохмотья. Увидев его, Петрухин бросился ему в ноги, взмолился:

— Пощадите. Они хотят... в ствол... — И хватался руками за сгоревшие сапоги Стародуба, за остатки одежды, целовал их и молил, просил.

— Вы — негодяй, и вас надо отправить на каторгу. Убрать! — распорядился Стародуб полиции, а шахтерам сказал: — Мои дорогие русские люди, у нас случилось страшное несчастье: погибли наши рабочие, загорелась шахта. Будьте мужественны...

Он хотел еще что-то сказать и не мог.

...Шахта загорелась с вентиляционного штрека, что был рядом с уступами Кандыбина. Чургин хотел поскорее замуровать место пожара, но там был сам Кандыбин, и его надо было вынести из лавы, конечно же мертвого. Рабочие горноспасательной команды достали уже сорок два человека из штрека Кандыбина, но проникнуть в уступы не могли из-за угарного газа и высокой температуры воздуха и лишь временно закрыли печки-проходы в лаву. К тому же и кислорода было в масках так мало, что долго работать стало невозможно, два человека из команды уже угорели.

А пожар разгорался все больше, и если бы не вода, которую Чургин направил в уступы из нижнего горизонта и которой омывалась стенка откаточного штрека, огонь вышел бы сюда и перекинулся бы в нижние лавы.

На техническом совещании Чургин сказал:

— Поиски Кандыбина безрезультатны. Он погиб — отравлен окисью углерода. Промедление опасно, может загореться вся крепь, целики и нижележащие уступы. Считаю необходимым прекратить поиски и замуровать уступы.

Уступы Кандыбина замуровали, но пожар в шахте не прекратился. Еще через день на техническом совещании Чургин сообщил о положении и заключил:

— Если немедленно не впустить в уступы воду — шахта погибнет. Остается одно: затопить. — Он хотел сказать: «Можно пробурить дно речки, под которой проходит лава Кандыбина, взорвать его и впустить речку в уступы», но не сказал, подумал немного и повторил: — Да, только затопить, господа... Посредством взрыва соседней старой шахты.

Наступило тягостное молчание.

Приехавший владелец рудников Шухов решительно возразил:

— Господа, я прошу вас спасать рудник как-либо иначе. Не могу я топить все выработки, коль горит лишь незначительная часть их. Вы... — посмотрел он маленькими воспаленными глазами на Чургина. — Вы разорите меня, господин Чургин. И не скрою: я буду мучиться сомнениями: а не сводите ли вы со мной старые счеты? — И заходил по кабинету — небольшой, полный, опустив голову с лысиной посредине.

Это было непостижимо. Чургин и Стародуб переглянулись и готовы были встать и уйти. И они встали. Стародуб сказал:

— Я самым категорическим образом отвожу от господина Чургина подобные подозрения, Василь Васильевич...

— Вы нездоровы, мой друг Николай Емельянович, поэтому я прощаю вам вашу забывчивость, — прервал его Шухов и добавил: — К сожалению, я не могу полагаться на сего господина.

Стародуб поправил бинт на лице, освободил больше рот и сказал четко и неторопливо:

— Я вполне здоров, господин Шухов, и поэтому хочу заявить вам следующее: я покину шахту, если вы немедленно не поблагодарите господина Чургина за то, что он предупредил гибель сотен людей и взрыв всей шахты. Я уже не говорю, что вы должны извиниться перед ним...

Шухов молчал и потирал заложенные за спину маленькие руки.

Тогда заговорил Чургин:

— Я понимаю господина Шухова: ему жалко потерять сто тысяч. Но то, что мы потеряли сорок два человека рабочих, — это его не интересует.

— Как вы смеете, милостивый!.. — повысил голос Шухов, но Чургин жестко продолжал:

— В таком случае, господин Шухов, меня не интересует ваша шахта. Как говорится: баба с воза — кобыле легче...

— Это возмутительно! И я не желаю больше слушать вас и принимать ваши дурацкие советы!..

Чургин подошел к нему и тяжким голосом прогудел в лицо:

— Вы! Я не привык, чтобы на меня орали... Неугодны мои советы — честь имею. Но прошу запомнить: рудник запылает через две недели весь. Желаю всех благ, господа, — кивнул он инженерам и неторопливо вышел.

Инженеры посмотрели на Стародуба, ожидая, что он скажет, но тот молчал и что-то писал.

Шухов, будто опомнившись, открыл дверь и крикнул Чургину:

— Скатертью дорога, милостивый!.. Вы бесчестный человек! И все вы здесь бесчестные, да-с!

Стародуб хлопнул рукой по столу так, что кровь проступила сквозь бинт. Резко он сказал Шухову, стоя за столом:

— Здесь не базар, а собрание русских инженеров. Я требую, как старший среди всех, прекратить ваши истерики и извиниться перед господами инженерами и перед моим заместителем, инженером Чургиным...

— Он — не инженер! — взвизгнул Шухов.

— Он — инженер, господин Шухов,— повторил Стародуб.

И Шухов понял: он не может противостоять Стародубу и не знает, что говорить и что делать. «И шахта сгорит. И я прогорю»,— только и было у него на уме. Наконец он извинился:

— Простите, господа, я действительно погорячился.

— Да-а,— мрачно произнес Стародуб.— А теперь — продолжайте. Здесь мое письмо. Я ухожу в отставку. Честь имею, господа,— кивнул он инженерам и ушел.

Инженеры — их было десять человек — переглянулись, встали, взяли фуражки и вышли вслед за ним, даже не простившись с хозяином.

— Что вы делаете, господа?! Что вы делаете? Остановитесь! Вы же разорили меня! — кричал Шухов, выбежав в коридор.— Вернитесь, прошу вас. Я на все готов. Я даже готов заплатить за нанесенные оскорбления, если хотите...

Стародуб не вернулся. И инженеры не вернулись.

Шухов, вытирая лоб и лысину платком, вошел в кабинет, сел за стол и простонал:

— Я разорен...

Глава девятая

Ольга приехала в Александровск в воскресный день и застала Чургина за необычным занятием: он сидел на низкой скамеечке, широко расставив ноги, и чинил штанишки сына. Получалось это у него довольно оригинально: штанишки были исчерчены мелом, на полу лежали ножницы, линейка, лекало и даже кронциркуль. И трудился он так сосредоточенно, будто проект новой шахты делал.

Возле него стоял восьмилетний сын и пристально наблюдал за работой отца. В домике была такая тишина, будто здесь священнодействовали.

Штейгер Соловьев, перелистывая газеты, терпеливо ждал конца этому занятию своего друга и подковыривал:

— Ничего у тебя все равно не получится, Илья, зря я только ожидаю. Бильярд, очевидно, придется отложить до следующего воскресенья.

— Мой тесть в таких случаях любит говорить: «Много ты понимаешь, парень». Так и я тебе скажу. Еще один заход — и дело будет сделано капитально.

Соловьев посматривал на часы, посматривал в окно. Там виднелась шахта, два копра с молоточками на макушке, замершие шкивы, и не было ни одной живой души вокруг. И Соловьев подумал: «Горит... И сгорит, если Шухов будет упорствовать». Он взглянул на длинную спину Чургина и сказал:

— Иди на шахту, иначе через месяц ее не будет. Весь технический мир съехался сюда, а толку что-то никакого.

— Не мешай, Семен. Не то бильярд действительно не состоится.

Соловьев пошелестел газетами и бросил их на стол.

— Деньги у тебя есть? На жизнь...

— Есть...

— Неправда. Возьми у меня двадцать пять рублей. Устроишься — вернешь.

— Я еще те не вернул...

— Пустяки.

Ольга стояла у порога, и ее душил смех. В любом положении, за любым занятием она могла себе представить Чургина, но за таким делом...

В это время сын проговорил:

— А мама лучше тебя делала. И без мела. Когда ты найдешь новую маму?.. Слышишь, папа?

Соловьев вспомнил жену Чургина и задумался. «Разладилась жизнь у Ильи. И больше, сынок Арсений, мамы у вас не будет. Не может быть, милый. И у Ильи опять нет денег. Какое безобразие! У Чургина нет денег!» — возмущался он мысленно.

А Чургин сделал вид, что не слышал слов сына, и говорил:

— Расскажи лучше, милый, как там у тебя, на улице, дела идут. Со всеми передрался? Смотри, кол получишь за поведение.

— Ох, папа, какой ты стал... Всегда придираешься, как учитель русского.

— А вот так говорить об учителе, сынок, нехорошо. Учитель не придирается, а требует, это его обязанность... Иди лучше побегай, пока я управлюсь с делом. Говорил ведь тебе, чтобы ехал на хутор. Там бабушка все сделала бы в отменном виде, и нам не пришлось бы открывать чертежное бюро.

Ольга наконец сказала, ставя на пол желтую фанерную коробку:

— Илья Гаврилович, ну кто же так шьет? Ох, я не могу... Здравствуйте и давайте все сюда.

Чургин-младший подбежал к ней и запрыгал, затанцевал, поднял ликующий крик на весь домик:

— Тетя Оля! Тетя Оля приехала! А папа говорил, что вы забыли про нас.

Соловьев вздохнул, пожал руку Ольге и произнес с облегчением:

— Ну, слава богу. Забирайте у него всю эту музыку, пожалуйста, пока он сапоги свои не пришил к заплатам.

Чургин обернулся к Ольге, посмотрел на нее и заулыбался и с радостью проговорил:

— Вот какие мастера, оказывается, прибыли к нам. А мы и не заметили... Ну, здравствуй, милая. Очень хорошо, что ты надумала навестить эту обитель. — Он встал и добавил виновато: — Я полагал, так сказать, поставить дело на научную основу, но... — махнул он рукой, — собственные штаны пришил... И покурить даже некогда.

— Курит, курит, тетя Оля, не верьте, — запрыгал Арсений.

— А тебе, сынок, прежде следовало поздороваться с тетей Олей. Это во-первых...

Арсений смущенно прижался к Ольге, а Чургин продолжал:

— А во-вторых, тетя Оля, надо полагать, обойдется и без твоего доклада.

— А вы не уедете, тетя Оля? Папа все время говорит, что вы нас забыли.

— Я не уеду, Арсений.

Чургин-старший взял сына за руку и повел из комнаты, наставительно говоря:

— Несерьезный ты, оказывается, человек, сын. Иди погуляй...

— Нет, я серьезный. Я перешел во второй класс,— возразил Арсений.

Чургин вывел его из комнаты, и тогда штейгер Соловьев пожаловался Ольге:

— Невозможный стал: целыми днями сидит дома, что-то мастерит, что-то пишет, чертит, а теперь портняжить вздумал... А рудник горит. Воздействуйте хоть вы на него, Ольга Ивановна.

— Это пустая затея, Семен Тимофеевич. Как другие дела? Симелов дома?

— Сухари сушит, готовится сидеть за выборгское воззвание. А дела... Все ждут вестей о съезде, но его, говорят, не было, что ли...

Ольге, конечно, было приятно, что о ней не забыли здесь, говорили и ждали ее приезда, а вместе с тем ей было до боли чего-то жалко: малыша ли, что бегал в порванных штанишках, Чургина ли старшего, что сидел и штопал их по своей причудливой методе, или ее томило то, что она так несправедливо забросила родные края, близких, друзей и перестала думать о них. Да о Чургине что беспокоиться? Этот сильный, этот все одолеет и перетерпит и скорее другому, сотням других подаст руку помощи, чем упадет сам. Таких не сшибешь. И он ей что отец, что брат и учитель жизни, перед которым она всегда чувствовала себя только девчонкой, той самой шахтеркой, которую он так бесцеремонно однажды вернул домой, когда она, ничего не подозревая, шла в контору, к штейгеру Петрухину, чтобы получить лучшую работу. И как сказать? Быть может, тем и спас ее честь, ее жизнь...

Вошел Чургин — веселый, живой — и торжественно возвестил:

— Чай будет готов через десять минут. Если ты, Семен, можешь сходить и кое-что...— Он пошарил по карманам, но, ничего там не найдя, присел на корточки возле горки с посудой, погремел тарелками, пошевелил кульки и ничего не нашел.— Да-а. И тут нет.

Соловьев задумчиво прошелся по комнате. У Чургина нет в доме ничего, чем можно было бы угостить друзей! У такого человека, за руки которого можно дать тысячи, нет ничего только потому, что какой-то купчик Шухов, изволите видеть, не желает доверять ему. Да если бы не эта голова, не эти руки — шахта давно взлетела бы на воздух!

И Соловьев незаметно положил в горку четвертной билет, надел шляпу и направился к двери, бросив на ходу:

— Илья, готовь чай. Я быстро вернусь.

Он ушел, и Чургин умолк и взгрустнул... Приехала Ольга, приехала та Ольга, которая только и могла понять его, помочь ему, поддержать добрым словом. А у него не было денег, чтобы угостить ее...

— Да, милая... — произнес он немного застенчиво.— Не думал я, что мы так встретимся. Но... не будем об этом, все уладится, придет срок... Рассказывай, что там и как в Питере. Съезд состоялся? Наши меки болтают, что, мол, делегаты разъехались по Европе, а часть попала в руки нашей полиции, когда возвращались домой. Что здесь правда, а что вранье?

Ольга закончила работу, встала и, осматривая, нет ли еще где дырки в штанишках, сказала:

— Ну, вот и все. Теперь проглажу — и будут как из магазина. Утюг бы мне,— поискала она глазами.

Чургин дал ей утюг и повторил:

— Ты что-то долго молчишь. Или случилось что?

— Сейчас расскажу. Утюг только поставлю.

Ольга вышла.

Чургин взял штанишки сына, повертел их в руках и бережно повесил на прежнее место. Нет, что ни говорите, а женские руки сделают так, что и чертежники позавидуют. И Ольга: в шахте работать — полезет, не задумываясь... На заводе? Можно и на заводе. На митинге выступить и сказать такое, на что и не всякий мужчина решится? И это может. И в домашних делах долго не раздумывает, как видите.

Вошла Ольга, и все наполнилось молодостью, жизнью...

— Нет, вы подумайте: циркуль, линейка... Ох, не могу. Даже штейгер Соловьев сбежал от конфуза,— потешалась Ольга над новыми техническими способами штопки детских штанишек.

Чургин улыбался. Приятно ему было, что приехала Ольга, что зазвенел ее мелодичный голос, немного, правда, насмешливый и даже дерзкий, но зато свой — голос близкого человека.

И вдруг Ольга сказала:

— А знаете, Илья Гаврилович, зачем я приехала? Владимир Ильич вами интересуется. Он знает про пожар и гибель шахтеров и беспокоится. Надежда Константиновна говорила. Не приключилось ли чего с вами? На съезде-то вы не были и вестей о себе никаких не подаете. Так что собирайтесь...

Чургин прошелся по комнате, подумал немного. Да, он о себе никаких вестей не подавал, не до этого было. И сейчас еще не знает, сможет ли уехать из города. Шухов-то порычит, побуйствует, а все равно шахту надо спасать. Спасать конечно же лучше местным техникам, которые хорошо знают и ее, и ее подземное окружение, а не сторонним людям, которых наехало тьма, а толку нет до сих пор. Но Чургину было очень приятно слышать, что о нем не забыли, что Ленин не забыл. И он ответил:

— Спасибо, милая, за такую новость. Я непременно поеду в Питер при первой же возможности. Вот разве что придется прежде рассказать о съезде нашим и вывести меньшевиков на чистую воду. Ты, надеюсь, привезла кое-что?

— Нет. Мне пока велено оповестить организации о том, что съезд прошел хорошо, наш, большевистский, съезд. Я уже была в Киеве, в Екатеринославе, в Ростове. От вас поеду в Югоринск, а уж после — в Питер. Доклад вот только не знаю, как делать центру, который теперь будет руководить всей практической работой в России. Центром-то управляет Владимир Ильич. А я боюсь его...

— Ты? — удивился Чургин.

— Боюсь — и все тут. Ленин же это, а я кто? Шахтерка.

— Выдумываешь. Шахтер — это почетная должность на земле, очень почетная, милая. Стесняешься — это понятно. Но почему бояться? Не спорить

же тебе с Владимиром Ильичем? Спорить с ним — это действительно дело весьма рискованное, для противников, разумеется.

— На съезде они его так вымотали, противники всякие, что Надежда Константиновна увезла его подальше от Куоккалы. Совсем замучился, говорила. Сядет возле речки посмотреть, как рыбу ловят, и спит. Вот что такое для него был этот съезд. Ох, дали бы мне власть! В три шеи наладила бы из партии этих спорщиков — мартовых, данов и прочих. Иначе у нас никогда не будет спокойствия и дело будет хромать постоянно.

Чургин одобрительно заметил:

— Вот это Ольга, узнаю. — И подумал о речке: «И у нас есть своя речка. А если попытаться использовать ее для тушения пожара и впустить в шахту воду и ил? Можно ведь!» — загорелся он и посмотрел в окно, в сторону речки, но ее не было видно.

Ольга вспомнила:

— Да, Горький тоже был на съезде. На наших позициях стоит. А меньшевиков терпеть не может. Даже не захотел хлопотать о деньгах на их обратный проезд. Впрочем, про это Лука Матвеич расскажет, они с Красиным, наверное, уже вернулись....

— Об инженере Рюмине ничего не говоришь, — напомнил Чургин. — Приедет он в наши края или разочаровался? Оксана им интересовалась как-то.

— Оксана пусть лучше интересуется своим супругом. Во все газеты попал. Кутил две недели, хотел спустить свои несчастные миллионы, да фортуна прибавила еще несколько сот тысяч. Везет же таким!

— Оксана сначала возмущалась, когда прочитала о его похождениях, а затем хотела ехать к нему, но он с горя закатился куда-то, даже Алену забросил — дал денег на лечение и укатил.

— Алена выздоровела? — насторожилась Ольга.

— Почти. Но стала еще более замкнутой... Да, так чем же мне тебя угостить? — забеспокоился Чургин, чтобы изменить разговор, и засуетился неуклюже.

Но Ольга улыбнулась и остановила его:

— Сейчас поглажу штанишки Арсения — и сама все сделаю. Картошка, селедка есть? Я с удовольствием съела бы.

— Ну, картошка с селедкой — это фирменное блюдо шахтеров. Так что затруднений здесь не будет.

Когда Ольга гладила, в комнату вбежал Чургин-младший и бойко спросил:

— Тетя Оля, вы уже все зашили? А то мне надо идти на речку.

— Все, Арсений. Сейчас поглажу — и можешь надевать.

— А вы останетесь у нас, да? Оставайтесь, тетя Оля, — увивался возле Ольги Чургин-младший.

Но Чургин-старший строго сказал:

— Арсений, перестань болтать глупости. У тети Оли есть свои дела.

— Я не болтаю, папа, а говорю, — обиделся малыш.

Ольга краснела, торопилась и никак не могла догладить. Наконец она закончила дело, нарядила Арсения в штанишки, любовно осмотрела его со всех сторон и проводила из комнаты. А когда вернулась, Чургин спросил так естественно — просто и хорошо:

— Слышала, милая? А быть может, останешься? Хватит дел. И детям будет хорошо. А то я дочурку вынужден был отправить на хутор. Тяжело с двоими...

Ольга вздохнула. Нет, нельзя ей оставаться здесь. Слишком она привязана к этой семье, к этим людям и — как сказать? — может статься, что она и вовсе тогда не уедет отсюда. Варя-то просила ее перед смертью и ей вверила детей...

И, чтобы изменить этот мучительный разговор, Ольга спросила, будто не слышала слов Чургина:

— Вы когда управитесь с шахтой, Илья Гаврилович? Вам надо быть в Питере. — И, помолчав, добавила: — А мне оставаться нельзя, Илья Гаврилович. Боюсь я оставаться. Лучше я возьму к себе Полинку.

Чургин густо покраснел. Да, он, кажется, разболтался не в меру. И сбивчиво произнес:

— Спасибо, милая. Но Полинка пусть будет... Словом, я не о том. И нянчиться тебе с моими детьми не следует. Я уж сам как-нибудь. Я просто хотел, чтобы ты помогла мне в работе... Извини, милая.

Ольга готова была разрыдаться. Внутренний голос ясно говорил ей: «Это же твоя судьба! Куда тебе ехать? Чего ты мечешься, дуреха этакая? Ведь с Леоном у вас все кончено: он ушел к Алене совсем». Но жесткая была Ольга по отношению к себе и сказала вслух:

— Вы не поняли меня, Илья Гаврилович. Я люблю вашу семью, как свою. Но... Не могу я, вы должны понять... На большее не могу...

Чургин поцеловал ее в голову и сказал почти весело:

— А знаешь, что надо делать? С шахтой?

Но мысль его прервал штейгер Соловьев. Он пришел с покупками, принес бутылку вина и шутливо-таинственно сообщил:

— Илья, мужайся: тебя приглашает сам хозяин рудника. Спасать положение. Стародуб и инженеры настояли. Так что выпьем на радостях, друзья.

Чургин все еще о чем-то думал и вдруг сказал:

— Да. Только речкой. Шахту будем тушить водой. Илом. Грязью.

Соловьев и Ольга смотрели на него удивленными глазами, переглядывались и ничего не понимали. Сказать, что он сошел с ума, — нельзя. А выпить еще не успел.

А Чургин, весь сияющий, взял бумагу, карандаш и стал чертить.

— Вот, смотрите... Это — речка. Это — рудник наш... Здесь пробурим шурф. Здесь пророем канаву...

Соловьев долго смотрел на чертеж, долго слушал Чургина и наконец задумчиво проговорил:

— Это диссертация... Ученая степень. Без защиты...

Вечером Ольга уезжала. Чургин провожал ее молча, видимо думая о своем проекте тушения рудничного пожара, но потом неожиданно спросил:

— Леоном почему не интересуешься?

— Не хочу. Не могу. Устала.

Чургин помолчал немного и произнес глухо и явно недовольно:

— Провалился. Арестован в больнице. А теперь могут пересмотреть дело и передадут в военно-полевой суд...

Ольга не остановилась, не опустила голову. Ольга шла и смотрела вперед, на мигавшие в ночи огоньки на рудниках, и молчала. Что она там видела и о чем думала – Чургин не знал. Но он хорошо знал: если она еще раз приедет сюда, он ее уже не отпустит.

И вдруг Ольга бросилась ему на грудь и с великой болью и горечью в душе сказала:

– Я не могу так больше, Илья Гаврилович...

Он обнял ее и погладил по плечу. И так они и пошли по степи...

На следующий день Чургин получил записку от шахтовладельца. Шухов приглашал его на службу.

И Чургин пошел... в степь, на речку, походил по берегу, палкой поковырял ил и наконец разделся и полез в воду...

Шахта Шухова горела, как печь, и была похожа на гигантский подземный газогенератор. Горноспасательные рабочие пытались пробраться к месту пожара и изолировать его от соседних выработок, но все было тщетно: огонь сжег целик, отделявший уступы от штрека, и перебрался в нижележащую лаву.

Шахта наполнилась угарным газом так, что в нее невозможно было спускаться. А аппаратов с большим запасом кислорода, в которых можно было работать, не было.

Шахтовладелец Шухов похудел, зарос бородой, осунулся, слушая бесконечные споры горноспасателей. И наконец пошел с поклоном к Стародубу.

Стародуб и сам не понимал, что творится: привлечены все силы, все техники, но прошло уже две недели, а пожар не только не прекратился, а, наоборот, разгорался все больше. И инженер Стародуб впервые за свою жизнь не знал, что делать...

– Чургин. Только Чургин. Или все сгорит, – заявил он Шухову.

Чургин побрился, переоделся и пошел в контору. Шел и думал: «Речку, конечно, можно впустить в уступы, но сколько времени уйдет на это? Не менее месяца. Значит, обо всем остальном придется забыть. И выезжать из города никуда будет нельзя... Да. И надо сделать так: пусть проект тушения пожара исходит как бы от управляющего. Так мне будет удобнее», – решил он.

В кабинете Стародуба было что на кладбище: тишь и безлюдье. Шахтовладелец, расхаживая из угла в угол в полном одиночестве, думал все о том же: спасут или не спасут техники шахту? По крайней мере, пока не спасали, а лишь спорили, строили всяческие проекты и сами не знали, как их осуществить. Что же может сделать Чургин – обыкновенный штейгер? Нет, Стародуб явно помешался на этом человеке. «Ну, посмотрим, послушаем... Авось и в самом деле он что-то придумает», – решил Шухов и послал Чургину записку.

Чургин вошел в кабинет вместе со Стародубом, и Шухов подал ему руку так, как будто между ними ничего и не было. И сказал так, как будто Чургин был по меньшей мере министром:

– Ждем, ждем, дорогой Илья Гаврилович. Думали, думали без вас и ни черта не надумали, честно говоря. Все... Так что извините за тот инцидент, бога ради. Все мы грешные. Разрешите продолжать о деле?

Чургин переглянулся со Стародубом, который улыбался одними глазами, и ответил:

— Я вас слушаю, Василь Васильевич. Буду рад, если мое скромное участие поможет хоть в какой-то мере избавиться от нашего общего несчастья.

Шухов без долгих слов предложил:

— Я плачу вам пять тысяч единовременно в случае, если вы предложите радикальный проект спасения рудника. Должность заместителя управляющего рудниками — независимо от исхода дела. Наконец, гарантию, что вас оставят в покое местные власти. Ну, и тантьему в конце каждого года, если рудники будут работать с должной прибылью. А теперь, с вашего позволения, мы хотели бы с Николаем Емельяновичем послушать вас, — широким жестом пригласил он Чургина к столу и сел за него в ожидании разговора.

Чургин неожиданно сказал:

— Хорошо, Василь Васильевич. Я благодарю вас за столь лестные предложения, но позвольте мне все хорошенько обдумать. И, откровенно говоря, позвольте поделиться своими соображениями прежде всего с управляющим рудниками, Николаем Емельяновичем.

Это было неслыханно: так говорить хозяину! Но делать было нечего: надо было спасать шахту, а ради этого Шухов готов был спуститься в ад, а не только покинуть кабинет. И он встал и криво усмехнулся.

— Что ж, в другом случае, не скрою, я не сказал бы вам так, как говорю сейчас. Но, — развел он руками, заросшими рыжими волосами, — вы — техники. А техники в нашем деле — боги. Так что сделайте одолжение, посекретничайте с управляющим.

Он вышел, а Стародуб прикоснулся к обгоревшим усам и сказал медленно и восторженно:

— Н-да-а... Самого Шухова выставить за дверь! Гениально... Ну-с, присаживайтесь, Илья Гаврилович, и рассказывайте, о чем вы намерены были вести конфиденциальные переговоры с управляющим.

Чургин сел в кресло, подумал немного и начал:

— Я провел целый день на речке...

— Любопытно, — усмехнулся Стародуб, но тотчас обернулся, глянул на план района, что висел за его спиной, и потер лоб всей ладонью, о чем-то думая.

— Вы видите нашу речку? Присмотритесь, где она течет, — глазами указал Чургин на план.

Стародуб уже все понял: впустить речку в уступы! И он даже встал из-за стола и прошелся по кабинету. Предложение Чургина было непостижимо.

Но Стародубу приятно было слушать, как и что предлагал этот человек, и он сделал вид, что ничего не понял.

— Не совсем ясно: речка, вода... Ну и что за сим следует? Затопить?

Чургин продолжал:

— Не только. Заилить, задушить все илом. Капитально. Ну, придется потом расковыривать в уступах спекшуюся землю, да это пустяки...

Стародуб взял лист чертежной бумаги, карандаш, отдал все Чургину и попросил:

— Нарисуйте, Илья Гаврилович, схему, как вы думаете тушить пожар. Я что-то не все понял...

Чургин, ничего не подозревая, взял карандаш и стал быстро чертить.

— Подробнее. Как воду думаете впускать, где, куда,— подсказывал Стародуб, расхаживая по кабинету и победно посматривая на дверь, где конечно же их ждал владелец рудников.

«Вот что такое для Чургина речка. Просто и гениально. Речка действительно течет над уступами Кандыбина и действительно накопила столько ила, что и Нил позавидовал бы. Но кому могла прийти в голову эта простая и светлая мысль, что так именно и можно сразу разрешить неразрешимое? Никому. А ему пришла, Чургину». И Стародуб еще более был горд оттого, что вновь не ошибся в этом человеке, и готов был свой диплом отдать ему, а не только добиться, чтобы Чургин получил его в институте.

Чургин между тем говорил:

— ...Вот здесь, на берегу, пройдем шурф, потом пробурим малость, после этого заложим динамит и взорвем. Вода вместе с илом ринется как раз в противолежащие уступы Кандыбина, и все будет кончено. Придется только взбаламутить ил... Как видите, способ довольно простой, и поэтому именно владелец рудника может отвергнуть его. Чтобы сего не случилось, я просил бы вас все делать от вашего имени. И проект в том числе...

Он разогнул спину, посмотрел на Стародуба, который все время ходил по кабинету, и спросил:

— Вы не согласны со мной, Николай Емельянович? Я ручаюсь за успех.

Стародуб подошел к столу, посмотрел на схему и ткнул в нее пальцем:

— Подпишите вот здесь, пожалуйста. Дело-то происходит в моем кабинете, и шахтовладелец может подумать...

Чургин ничего не понял и четко поставил свою фамилию на листе бумаги. И тогда Стародуб обнял его и сказал торжественно:

— Ну, вот и все. Вот все и решено. Тушим шахту по проекту Чургина. Поздравляю, мой друг, и дай вам бог удачи. После вы немного поработаете, опишите как следует, и это станет вашим дипломным проектом горного инженера. А теперь позовем нашего... хозяина,— иронически произнес он.— Пусть посмотрит, кто здесь истинный хозяин.— И, выйдя в коридор, действительно нашел там томившегося владельца рудников.

Чургин растроганно думал: «Николай Емельянович, Николай Емельянович! Благороднейшая душа, честнейшее сердце... А я ничего и не подозревал, подписывая...»

В кабинет вошел ликующий владелец шахты, бросился к чертежу, потом бросился к Чургину и готов был обнимать его, да этикет не позволял.

— Поразительно! Неслыханно! Такой сложнейший переплет — и такое гениально простое решение,— восторгался он.— Да, вы честно заработали пять тысяч. Я верю вам, дорогой штейгер Чургин и будущий инженер. Нет, настоящий, к черту — будущий! — восклицал он и потирал руки от удовольствия, от счастья, что сотни тысяч рублей останутся у него в кармане.

Так началось спасение шахты, которую, казалось, уже нельзя было спасти...

Три недели потребовалось Чургину, чтобы пройти шурф на берегу речки. Работа шла днем и ночью, и Недайвоз, который был назначен старшим конторским десятником всех работ, почти все это время не был дома, а переселился к речке и жил в будке-конторке. И штейгер Соловьев частенько ночевал здесь вместе с Чургиным, и даже сам Стародуб иногда задерживался допоздна.

В день, когда был назначен взрыв, на берегу речки собрались все инженеры, все власти города, а шахтеры пришли со всех поселков, как на праздник. Шухов ходил с высоко поднятой головой, был прост в обращении со всеми и даже распорядился выдать семьям погибших по десять рублей на душу. И уже сожалел, что не принял первого предложения Чургина — взрыв в соседней шахте, вода которой сделала бы свое дело куда проще и дешевле. Но теперь уже говорить об этом не имело смысла.

Взрыв был произведен, когда до главного очага пожара осталось пройти всего с десяток аршин. Это было эффектное зрелище: где-то в утробе земли раздался сначала глуховатый, но затем такой силы гул, что стало даже страшновато: все качнулось, как при землетрясении. Тотчас же из земли поднялся к небу столб пыли, камней и вылетели под самые облака бревна — обшивки шурфа.

Чургин замер: не завалился ли шурф? Однако все шло, как и ожидалось: сила взрыва была направлена вниз и выдавила оставшиеся десять аршин породы в уступы. И тогда была взорвана узкая перемычка, отделявшая речку от шурфа. Речка шарахнулась вспять как бы с перепугу, брызнула по берегам черной водой, которую специально взбаламутили сотни шахтеров, но в следующее мгновение вдруг ринулась вперед, в новый проход, и забурлила, зашумела, как вешний поток, и устремилась в подземелье так, что шурф вначале даже не вмещал всю воду, а потом словно раздался, и вода полилась в него черным, как сажа, потоком да так уже и не останавливалась.

— Все, господа. Шахта спасена, — торжественно объявил Стародуб и, подойдя к Чургину, обнял его и проговорил взволнованно: — Спасибо, от всей русской души великое спасибо вам, наш чудесный человек Илья Гаврилович. Вы вписали новую страницу в историю горной промышленности России, и не только России. Ваш ил станет главным средством борьбы с подобными несчастьями на рудниках.

Шухов тоже обнял Чургина и признался:

— Не верил. До последнего. Но теперь вижу: вы не только отличный горный инженер, вы еще и волшебник. И позвольте, как и условились, вручить вам чек на пять тысяч рублей.

Чургин повертел чек в руке, посмотрел на шахтеров и хотел сказать: «Благодарю, но передайте его вот этим людям», как его разом подхватили десятки рук и стали качать:

— Ура шахтерской смекалке! Качай его, братцы!

— До самого неба кидай!

— Потому как он заместо нашего шахтерского бога был всегда!

Это кричал Степан и старался больше всех.

— Милые вы мои люди, я еще не все сказал! — взмолился Чургин, а когда его поставили, не понимая, в чем дело, он поднял над головой чек и обратился к шахтовладельцу: — С вашего позволения, Василь

Васильевич, я передаю деньги семьям погибших. – И отдал чек Ивану Недайвозу.

Шухов растерялся и пожал плечами, как бы говоря: «Дело ваше, Илья Гаврилович», но Стародуб нашелся и сказал:

– Илья Гаврилович, это ваша честно заработанная плата. А Василь Васильевич уже приказал выдать семьям погибших рабочих по полтораста рублей, что и составляет сумму, немногим большую пяти тысяч.

Шухов посмотрел на него удивленно и зло: он отдал распоряжение о десяти рублях на душу! Кто здесь хозяин? Но вынужден был закивать, как бы говоря: «Да, да, господа, я приказал...»

В это время вода заклокотала и брызнула во все стороны, а из земли вырвался пар, клубы пара.

– Господа, вода заполняет горящие уступы и растекается по всем очагам пожара. Более шахта вне опасности, – сказал Чургин.

– Господин Недайвоз, приступайте к продувке леволежащих лав и всех выработок! – распорядился Стародуб.

У Ивана Недайвоза сердце остановилось. Впервые его при всем народе, при всех инженерах и самом хозяине шахты назвали «господином». Свет, что ли, перевернулся кверху ногами? Но Недайвоз знал себе цену и ответил, как отвечали Стародубу инженеры:

– Иду исполнять, Николай Емельянович. – И заторопился в будку-конторку к телефону.

Вечером шахтовладелец дал банкет и произнес зажигательную речь о великом единении предпринимателей и рабочих, о новой эре в отечественной промышленности и в управлении делами государства Российского – о думе, и закончил здравицей в честь... царствующего дома.

Чургин промолчал. Шухов ничего не понял...

Понял все Стародуб и сказал Чургину на второй день, когда они остались одни в кабинете:

– Наш делец Василь Васильевич – тупица и бездарность. Дело не в том, что наступает новая эра во взаимоотношениях предпринимателей и рабочих. Дело в том, что наступает новая эра во взаимоотношениях народа и властей, с одной стороны, и труда и капитала – с другой. Я убежден, что ни первое, ни второе ничего радостного нашему шахтовладельцу не доставит. Труд одержит верх. Народ сбросит подобную власть... Когда? Я не знаю. Но я верю в это сегодня так, как не верил ни во что иное всю жизнь.

Чургин пожал его руку обеими своими мощными руками и долго не мог говорить от охватившего его волнения. Наконец он произнес гулко, на самой низкой ноте:

– Теперь мне хочется сказать вам, дорогой Николай Емельянович: спасибо вам русское. За то, что вы – настоящий человек, настоящий инженер и гражданин России...

Никогда еще Чургину так не хотелось побыть с этим человеком хотя бы десять минут, но надо было уходить: в шахте его ждали люди. И он ушел.

Стародуб проводил его любовным взглядом, сел за стол и задумался: «Нет и нет, господа! Живут на Руси люди, которые поведут ее по новому, неизведанному пути социального, технического и культурного прогресса.

Так почему, почему я, старый и опытный инженер, все еще чего-то не понимаю, в чем-то сомневаюсь, чему-то не верю? Дума решит все вековые вопросы и упразднит все противоречия в жизни? Нет!»

Революция казалась Стародубу слишком грозной стихией, в которой может погибнуть все, что копили веками поколения. И вместе с тем он ясно понимал: да, только революция, только народ способен на коренные преобразования общества, о которых так бездумно много и широковещательно и без всякой пользы болтает Шухов и ему подобные и неподобные. О монархе Стародуб больше не вспоминал. Монархия доживала последние годы — в этом он больше не сомневался...

— Да. Так будет. И иначе быть не может. И вы, господин инженер, должны сделать выбор. Между народом и закостенелыми традициями и привычками — отдавать себя хозяину, как раб отдавал себя господину своему, или...

Глава десятая

Чургин не замечал, как идет время: Стародуб лежал в больнице, а шахтовладелец все торопил. Наступала осень, приближалась зима, и надо было спешить с восстановлением рудника, чтобы не упустить покупателей. И Шухов не упускал: он продавал уголь тот, который добывали на других шахтах, и тот, который преспокойно еще лежал под землей, а Чургину говорил, писал и опять говорил:

— Быстрее, как можно быстрее, дорогой Илья Гаврилович. Не то я прогорю, видит бог... Паромов, кажется, уже подложил мне свинью на итальянском рынке.

Чургин молчал. Восстановление левого крыла шахты, где был пожар, шло хорошо, правое выдавало добычу по-прежнему, и проходка второго горизонта шла хорошо. Чего ему недостает, этому хозяину? И он сказал Шухову, когда тот вновь приехал в город:

— Василь Васильевич, я полагаю, что дела у нас идут так, как им и положено, и вскоре мы не только будем выдавать добычу со всех уступов. Прошу вас: не гоните людей в шею. Я не люблю этого. И не пытайтесь переложить в свой карман все деньги, какие есть на земном шаре. Иначе они сами положат вас в гроб.

Шухов не сердился, не мог сердиться. Этот Чургин действительно оригинал.

— Вижу: вам хоть кол на голове теши — вы все равно не измените себе. Но вы в одном правы: все деньги я действительно не смогу переложить в свой карман.

— Совершенно справедливо, — подтвердил Чургин. — А посему полагаю для вас за лучшее уехать домой и предоставить дело нам. Смею уверить вас, что мы, шахтеры, не любим работать как-нибудь. Тут есть своя профессиональная честь.

И Шухов уехал в Ростов. На прощание он сказал:

— Хорошо, я покидаю вас и не буду мешать. Но прошу, очень прошу вас, Илья Гаврилович: не помните зла и делайте все как бы для себя.

Чургин улыбнулся: «Ты ему – стриженое, а он тебе – кошеное... Одним словом, делец», – заключил он и спустился в шахту. Пробыл он там три дня. На четвертый поднялся и пошел домой, чтобы отдохнуть часика два и повидать сына. И тут увидел Луку Матвеича и доктора Симелова. Они о чем-то спорили, вернее, спорил доктор, а Лука Матвеич сидел и перелистывал журналы. По всему домику раздавался возмущенный голос доктора:

– ...Никаких дум! Никаких выборов! Ложь, наглая ложь и фальсификация! Так говорил Ленин во времена первой думы. Так почему же вы решили идти в третью, я спрашиваю? Только потому, что нет нового Свеаборга, нового «Потемкина» или Пресни?

– Понимаешь ведь, а витийствуешь... И еще потому, что ты уже сушишь сухари и готовишься садиться в Бутырку, – не отрывая взгляда от журнала, пошутил Лука Матвеич. – А другие уже сидят, тысячи других, и крестьян усмирили.

– Э-э, да что с тобой толковать... Вы, большевики, удивительно упрямые люди. Или не избирать, или избирать. Иного у вас нет...

Лука Матвеич увидел Чургина и бросил на стол журналы.

– Довольно, Михаил. Вон хозяин пришел и может погнать нас за такие речи.

Чургин рад был гостям: теперь-то наверняка задержится дома. Но Лука Матвеич разочаровал его:

– Я приехал за тобой. Ты избран делегатом на Всероссийскую конференцию. Правда, она будет через месяц, но все равно тебе следует побыть в Питере – дела есть.

Чургин усмехнулся. Куда ему ехать, на какую конференцию, если на его руках – все шахты Шухова, тысячи шахтеров? И он пошутил:

– Я стал крупным деятелем отечественной горной промышленности, брат, так что советую поменьше разговаривать.

– Ох ты герой какой!.. – воскликнул Лука Матвеич. – Тогда рассказывай, как и чем занимаешься, а то доктор едва не убаюкал меня своими сладкими бойкотистскими речами.

Симелов наконец сел, вытер платком лицо и громко вздохнул:

– Давайте, давайте, други, теперь вас двое.

Лука Матвеич рассказал о положении дел в южных организациях, о конференциях. Конференции проходили бурно, не все партийцы понимают, почему следует идти в думу. И Чургину стало неловко: а он-то сидит в шахте, старается для Шухова... Как же выйти из положения? Пригласить Соловьева, а самому хотя бы немного помочь Луке Матвеичу? Но это было невозможно... И он объяснил положение дел.

Лука Матвеич думал не о его помощи, он думал о его работе. «Молодец Илья Муромец, идет как по лестнице. Быть такому министром горной промышленности». Но об этом говорить не стал, а попросил угостить чаем. Едва сели за стол, как пришел Иван Недайвоз и радостно сообщил:

– Кандыбина достали! Целехонек, будто живой, только в илу весь, насилу отколупали и человеком сделали. Так что уступы начали освобождать от породы.

Чургин улыбнулся и подмигнул Луке Матвеичу:

— Слышал? Это Иван Недайвоз. Начальством стал — в десятники вышел. И не зря, как видите: уже добрался до главного очага пожара. Спасибо, брат, — поблагодарил он Недайвоза.

...И никуда Чургин не поехал, а поехал в шахту, и Лука Матвеич не видел его несколько дней. Увиделись они на одной из сходок, на загородной даче Симелова.

На этот раз доктор сидел не шевелясь, не вскакивал, не произносил свои огненные речи: он слушал рассказ Луки Матвеича.

Чургин поздоровался, подсел к ним и услышал не совсем обычное и немного грустное повествование.

— ...Ну, ходили тот парубок и дивчина на речку, читали романы, любовались божьим миром, спорили о жизни... Дивчина была гимназисткой, много читала, да и парубок не лыком был шит, и деньжонки водились — по полтиннику в день зарабатывал на копировании всяких предписаний и приказов...

Тут Лука Матвеич остановился, пососал трубку, но она не горела, и раздумчиво продолжал:

— Иногда парубок куда-то уезжал, что-то там делал, но помнил о той дивчине неизменно. На что он надеялся? Ни на что. Он больше слесарил, чем копировал в конторе. И на что было надеяться рабочему парню, как ее отец был коммерсантом и слышать не хотел о каком-то черномазом женихе? Но вот беда: старшую не шибко что-то примечали и не сватали, так что она значилась «пересидкой», засиделась то есть в девках...

Чургин улыбался. Ему никак не хотелось верить, что он слышит все это из уст человека, для которого, казалось, только и было написано на роду: политика, подполье, споры с противниками, устройство сходок и конференций. И вот, извольте слушать...

— Да-а... — протяжно вздохнул Лука Матвеич, будто вспоминая что-то особенно дорогое, давным-давно прошедшее. — Ну, не знаю уж, как и объяснить вам, а только парубку не стало жизни без той дивчины. Да и она, по всему видно, льнула к нему всем сердечком. Но вот незадача: между ними была стена, что крепость, — отец смотрел, смотрел на их встречи и в один не совсем прекрасный день заявил той дивчине: встречи прекратить, мысли о парубке выбросить из головы и кончать гимназию, а после — дело покажет. А до окончания гимназии оставался год...

Лука Матвеич бросил косой взгляд на Чургина, спросил:

— Управился с делами своими? Ну-ну, посиди, послушай мою байку. Да-а. Конец той гимназии наступил незаметно. Но еще более незаметно наступил и конец девичеству гимназистки: папаша уже сторговал ее кому-то приятелю по коммерции, оставалось обкрутить в церкви и справить свадьбу. И тут началось. Парубок явился и сказал при всей честной компании: или отдавайте дивчину за меня, или мы обвенчаемся тайно — и делу конец...

Лука Матвеич не спешил, посмотрел на небо, но там ничего особенного и не было, а была луна да звезды, и он почему-то восхищенно произнес:

— Красивая ночь... Похожа на ту ночь...

— Про ночь — потом, говори, что было дальше, — торопил Симелов.

— Что было дальше? А вот что, доктор: дивчина повторила отцу то же, что сказал парубок ее, и тем, разумеется, привела папашу в отчаяние

невероятное. Долго ли оно длилось, нет ли – не знаю, знаю лишь, что папаша призвал, в конце концов, парубка и изрек: младшую не отдам. Хочешь родниться – бери старшую, черт с тобой.

– А она как была собой? – допытывался доктор.

– Ничего, не плохая была и старшая. Но парубок-то любил младшую. Тогда он пошел на хитрость: согласился венчаться со старшей. Условились делать свадьбу чин чином, сладили с попом, день договорили. Когда он приступил вплотную, жених сказал попу, что привезет невесту накануне вечером, а чтобы дело прочнее было – дал золотой. Ну, действительно, молодые приехали, как условились, батя приготовился, но обратил внимание: не было родных невесты, а были лишь молодые дружки, шаферы да посаженые родители со стороны жениха. Ну, парню пришлось на этот раз дать бате четвертную, благо друзья конторские скинулись по трояку.

– Не понял: невеста была старшая?.. – допытывался доктор.

– В том-то и дело, что младшая, – ответил Лука Матвеич. – Батя не разобрался, что к чему, имени старшей не знал. Короче говоря, обвенчал молодых. И только они тронулись со своими друзьями из церкви, как грянул скандал: подкатил папаша и привез под венец старшую. Она-то, очевидно, поняла, в чем дело, когда младшая наряжалась больно пышно, и шепнула родителю. Ох, что тут поднялось! Батюшка поначалу заявил: супруги обвенчаны законным браком и разговаривать теперь поздно...

– Ловко... Прекрасные души, чудесная любовь, – восторгался доктор. – Родитель, конечно, не успокоился?

Лука Матвеич сидел на лунном свету, поджав под себя ноги, и будто рассматривал трубку, вертя ее в руках. Наконец он невесело произнес:

– Курить хочется, разрешишь, доктор? Все равно твоему стожку тут торчать без дела не к чему. Может, бог даст, спалим, – пошутил он.

– Кури, кури, но что же ты умолк, старина? – допытывался Симелов и встал.

– А дальше было что? Дальше было вот что: в церковной книге переделали имя невесты, и на том вышел конец делу.

Доктор Симелов как раскрыл рот, чтобы выразить возмущение, так и остался стоять. Не сразу он, удивленно понизив голос и даже слегка присев, спросил:

– Как это – «переделали»? Обвенчали со старшей?

– Выходит, так, – грустно подтвердил Лука Матвеич и добавил: – Но если бы на этом кончилось...

Он закурил, пыхнул дымом и опустил голову, а Чургин наблюдал за ним и говорил себе: старина, старина, дорогой ты наш...

Доктор же Симелов ходил, возмущался и наполнял дворик восклицаниями:

– Негодяй! Подлец! Ихтиозавр! Обвенчал с одной, а записал имя другой. Да я бы всю епархию перевернул вверх дном, а такого родителя и попа предал бы общественному позору. Ах! Ведь она могла...

– А оно так и получилось. Младшая не смирилась, заболела, и случилась горячка. Ночью выбежала из дому и пропала. Я забыл сказать, что дело происходило зимой... Когда бросились в поиск, да пока нашли – было

поздно. В степи, у дороги, по которой они ходили с парубком гулять на речку, там и замерзла... Вот какие дела бывали, друзья мои,— заключил Лука Матвеич и долго молчал. Потом, тяжко поднявшись, спросил у Чургина: — И ты любил младшую, а взял старшую... Ну, я пойду, а то ноги затекли. И люди уже собрались.

— А жених, жених?! Так и остался холостяком? — нетерпеливо воскликнул Симелов.

Чургин сидел под стогом и молчал. Вновь вспомнились те годы юности, Новочеркасск, Оксана... Потом вспомнилось возвращение из тюрьмы — и опять Оксана...

И услышал вдруг приглушенный голос доктора:

— Илья, так и ты...

Чургин встал и ответил спокойно:

— Нет. Это — его судьба, нашего с тобой друга. Моя — совсем иная.— И ушел, не обычно, а немного сутулясь и опустив голову.

Доктор Симелов взял вилы, чтобы подобрать ссунувшееся сено, но вдруг вогнал их в стог, отбросил ногой пучок валявшегося разнотравья и махнул рукой, как бы говоря: а пропади оно пропадом — и сено, и дача, и жизнь такая... И пошел за ворота посмотреть, нет ли там чего подозрительного.

Когда он открыл дверь дачи, где было собрание, Лука Матвеич уже говорил:

— ...Таким образом, Пятый съезд принял все наши проекты резолюции. Меньшевики еще раз остались в меньшинстве. Теперь уже навсегда.

В Петербург Чургин приехал накануне святок. И тотчас отправился в Финляндию, на дачу Ваза. Подойдя к бревенчатому зданию, окруженному вековыми соснами, он заметил вокруг на снегу черные хлопья и с беспокойством подумал: «Уничтожают бумаги. Следовательно, собираются в путь-дорогу. И я, надо полагать, опоздал».

Действительно, войдя в дом, он увидел: Надежда Константиновна усердно совала в печь бесчисленные вырезки из газет, гранки, письма, брошюры. Заметив его, она облегченно произнесла:

— Наконец-то вы объявились, Илья Гаврилович! Ильич все уши прожужжал о вас. Мы думали, что вас уже сцапали.

— Пока бог миловал. А вот вас могут если не сцапать, то определенно выследить. Кругом-то черно от ваших бумаг. Похоже, что вы рудник здесь открыли.

Надежда Константиновна, подобрав серую юбку, выбежала на улицу и всплеснула руками. Снег вокруг был черным от пепла, и всякому шпику или жандарму этого было бы вполне достаточно для того, чтобы перевернуть на даче все вверх дном.

— Наталья! Александр Александрович! — всполошилась Надежда Константиновна, вернувшись в дом.— Илья Гаврилович говорит, что у нас, как рудник, все черно на улице. Что же теперь делать? Хорошо, что нет Ильича, задал бы он нам трепку за такую конспирацию.

Спустились сверху Богдановы, посмотрели на снег и не знали, что и делать. Такая мелочь могла стоить большой неприятности.

— Да, господа, на самом деле нечто похожее на Донбасс получилось. Что вы посоветуете предпринять, товарищ горный инженер? Но прежде познакомимся: Богданов...

— Очистные работы у вас запущены. Придется брать в руки лопаты,— шутливо ответил Чургин и представился: — Чургин — Гаврилов.

Надежда Константиновна дала им две деревянные лопаты, и Чургин с Богдановым пошли заметать следы.

— А вы почему не были на конференции? Тут такое Владимир Ильич устроил нам, бойкотистам, что пришлось давать задний ход,— невесело рассказывал Богданов и добавил: — А как дружно мы работали всю революцию...

Чургин сообщил, почему не смог приехать на конференцию, и попросил рассказать подробнее, что на ней было. Но Богданов был сдержан, и Чургин понял: разошлись. И не только из-за думской тактики. Но допытываться не стал и складывал снег в кучки.

— Мы начисто разошлись с Владимиром Ильичем. По поводу эмпириомонизма,— спустя немного пожаловался Богданов.— Не приемлет он моих философских работ. В Лондоне, во время Пятого съезда, мне стало это совершенно ясно. Он сказал: «Пощады не ждите».

Он помедлил, будто и сам думал, начисто ли разошелся с Лениным, и невесело продолжал:

— Съехал Ильич отсюда. Охотиться здесь начали за нашим братом, а за ним особенно... Старик Лукьян приехал?

Чургин отметил: «А расхождение с Лениным переживает. Надо почитать, в чем там дело» — и ответил:

— Жена у него... болеет.... Вы черный снег подрезайте и сбрасывайте в бугорки, а сверху чистый кладите. Вот так,— показал он, как следует делать.

Вскоре двор дачи был приведен в надлежащий вид, и сели пить чай. Надежда Константиновна спросила Чургина о детях:

— Как же вы теперь будете, Илья Гаврилович? Это ведь дети. Без материнского глаза трудно им будет. Они еще крошки...

Чургин ответил, что за детьми присматривают дед и бабушка. И больше не стал говорить. Вспомнилась Ольга, ее приезд в Александровск, и хотелось спросить о ней, да было неловко. И он спросил, куда съехал Ленин.

— В Оглльбю, под Гельсингфорсом. Вам надо непременно повидаться. По всей видимости, мы скоро уедем совсем. Так складываются обстоятельства,— с грустью говорила Надежда Константиновна и, чтобы изменить разговор, сказала: — А вы берите масло, вы честно его заработали.

— Позвольте, господа, некто тоже честно заработал,— пошутил Богданов и взял немного масла кончиком ножа.

Но от шутки никому весело не стало, наоборот, Надежда Константиновна понимающе переглянулась с женой Богданова. Обеим было ясно: Богданову и самому было не до шуток, расхождения с Лениным зашли далеко.

В это время вблизи дачи проскакали конные жандармы и, взвихрив снег, исчезли за деревьями. И разговор совсем оборвался. Да, реакция подобра-

лась и к Финляндии. Значит, придется уезжать подальше... Но куда? Неужели опять за границу, на долгие, долгие годы? Об этом думала Надежда Константиновна и сурово сказала:

— Мужчины, а пойдите-ка вы в лес, прогуляйтесь на всякий случай. И вам приятно будет, и нам спокойнее. Жандармы определенно охотятся за вашим братом.

Когда часа через два Чургин вернулся на дачу, Надежда Константиновна шутливо напустилась на него:

— Где же вы изволили пропадать, сударь? Здесь одна красная девица вами интересовалась. Из ПК. Вы даже и не подозреваете, кто бы это мог быть.

Чургин улыбнулся.

— Вот и ошиблись. Подозреваю вполне.

Ольга выбежала из комнаты, где жила мать Надежды Константиновны, и едва не бросилась ему на шею, да сдержалась. Но Чургин дружески обнял ее и спросил тепло и просто, почему она больше не приехала в Александровск. Ольга зарделась и опустила голову.

— Так нужно было, Илья Гаврилович.— И тотчас принялась помогать Надежде Константиновне.

Чургин вскинул брови и искоса посмотрел на Надежду Константиновну: поняла ли она что-нибудь? И увидел: поняла все великолепно и бросала на него укоризненные взгляды. И когда Ольга вышла на кухню, она напустилась на него:

— Никогда не предполагала, что вы такой, Илья Гаврилович...

— Какой же именно, Надежда Константиновна, позвольте осведомиться?

— Тюлень. Она вся засветилась, когда узнала, что вы здесь, а вы сбили все ее настроение. Ох, какие вы, мужчины, недогадливые...

— Да,— только и мог произнести Чургин, опустив глаза, а на уме у него было: «Значит, Оля, нам с тобой следует реже встречаться. Как можно реже, милая».

Вечером он уехал в Оглъбю. Боясь, чтобы не увязались шпики, искавшие Ленина в каждом закоулке Финляндии, Чургин со всеми предосторожностями пришел по адресу и удивленно остановился перед небольшим деревянным домиком. Удивленно потому, что из домика доносились бравурные звуки рояля и веселые голоса, а окна светились так ярко электрическим светом, что Чургин осмотрелся. Он был убежден, что попал не туда, и уж, во всяком случае, не предполагал услышать такое в доме, где скрывался Ленин.

«Да. Плохо. Некрасивое место. Не подполье, а настоящий «Яр»,— подумал он и, сбив башлык на шею и поправив форменный картуз с молоточками, легонько нажал кнопку звонка. И не успел нажать положенное число раз: в доме так задребезжало, будто там был и вот сломался рудничный вентилятор.

Дверь открыл Ленин.

— А-а, вот кто здесь так несмело звонит! Наконец-то вы появились, батенька,— проговорил он вполголоса и отступил в сторону, пропуская Чургина в свою комнату.

Чургин был весь внимание. Разбушевавшийся рояль, неудержимое

веселье, топанье десятка ног, яркий электрический свет — все это в его представлении присуще было скорее разухабистому ресторанчику, но никак не квартире Ленина. А между тем чистота в комнате, белоснежные занавески на окнах, подшитые ажурными кружевами, безделушки, деревянные, мраморные, стеклянные, расселившиеся где только было возможно, и вообще идеальный порядок во всем, начиная от парадного входа и кончая блестевшими, как в царском дворце, ручками на окнах и дверях, говорили о другом: в домике жили аккуратные люди, разве что немного мещанского склада и понятий... Кто мог поселить здесь Ленина? За чем же смотрят ЦК и ПК?

Ленин, как бы поняв его мысли, махнул рукой и с безнадежностью произнес:

— Не присматривайтесь и не прислушивайтесь — не привыкнете. Я пробую и, знаете, довольно безуспешно. Вот...— кивнул он в сторону стола, где стопкой лежали исписанные страницы какой-то рукописи,— закончу брошюру и, по всей видимости, пущусь во все тяжкие. Самодержавие растоптало финляндскую дарованную независимость и наводнило страну жандармами. Шагу нельзя ступить... А как там у наших, все в порядке? Богданова видели, конечно? Представляю, как он рассказывал вам о нашей конференции. Здорово им досталось там, до морковкиных заговен хватит. Да, куда товарищ Лукьян запропастился, не знаете?

— Лука Матвеич — в Новочеркасске. Жена приболела. А в Куоккале все в порядке. С Богдановым познакомились. Мрачный он,— отвечал Чургин, а сам косил глаза вправо-влево, на кружевные занавески, на бесчисленные безделушки и думал: «Ленин — и в такой обстановке! Невероятно!»

Ленин подал ему стул-табурет с прорезом посередине, сам сел у маленького стола, отодвинул в сторону рукопись и невесело произнес:

— Нехорошие, непозволительные ни с какой точки зрения марксиста политические зигзаги начинаются — уже начались — среди некоторых из нашей публики. Если дело пойдет вглубь и вширь, придется воевать не на живот, а на смерть. С Александром Александровичем особливо. А он мне, признаться, нравился, положительно нравился, всю революцию были вместе и вместе дрались за нашу, большевистскую, тактику.

Чургину ясно было, о чем речь, но ему хотелось смягчить разговор о Богданове. Все-таки тот тяжело переживал расхождения с Лениным, а коль переживал, значит, мог одуматься. И он убежденно сказал:

— Ничего, Владимир Ильич, пройдет некоторое время — и все уладится. Александр Александрович — человек умный, поймет, что не туда хватил.

Ленин бросил на него быстрый, острый взгляд и немного подумал. Не сразу, но твердо он возразил:

— Нет, товарищ Гаврилов, ум умом, я этого не оспариваю, наоборот, именно этим он и нравился мне. Но этот ум не туда хватил, как вы совершенно правильно заметили,— вот в чем штука. В корень смотреть надо, как Козьма Прутков говаривал. Корень же этот у Богданова изрядно покрылся махистской гнильцой. И в области философии, и в области политики. Значит, придется драться решительно и без всяких скидок на прошлые заслуги, о чем я предупредил его в Лондоне.

— Я, правда, не читал его работ и не думал об этом.

— А вы почитайте. Философия марксизма — это архитруднейшая наука, это альфа и омега духовной жизни партии, пролетариата, революции вообще и социалистической в частности, и здесь мы должны быть всегда начеку. Махизм — это разновидность идеализма, поповщины, идейного гнилья и всякой чертовщины, и здесь компромисса быть не может. Ни на йоту.

Он помолчал немного, словно желая отвлечься от невеселых мыслей, заложил пальцы за жилет и попросил:

— Нуте-с, рассказывайте, как там подземные пролетарии живут-здравствуют. Да, а почему вы не соизволили быть на нашей конференции? Мы вас ждали. Хотя, виноват, я слышал, что у вас произошла страшная катастрофа. Как же это вы, техники, недосмотрели и погубили более сорока человек? Так, кажется?

— Сорок два. Но дело тут не в нас, Владимир Ильич, вы сами понимаете,— мрачно подтвердил Чургин и достал папиросы, но курить не стал.

— Сорок два человека! Ай-яй-яй...— произнес Ленин и, встав, заходил по комнате, о чем-то думая. Наконец он сказал: — Вы правы, это я просто срезонерствовал. Дело здесь в другом, в том, что капитализм — «наш», отечественный, и иностранный — создал прямо-таки варварские условия для пролетариата России, особливо на рудниках. И вы, техники, ничего радикального здесь не измените. Радикальные изменения здесь могут сделать только миллионные массы самого пролетариата, самого народа...

Он подошел к столу, взял ручку, излишне долго вытирал перо и, макнув его, наклонился и стал писать, а Чургину бросил:

— Виноват, я запишу кое-какие мысли. Польские товарищи просили, и Роза тоже, дать им статейку. И курите, курите, Илья Гаврилович. Я давно не чувствовал запаха хорошего табака.

Но Чургин, наоборот, спрятал папиросы. Его начинал раздражать бедлам, который творился в смежной комнате, и ему хотелось подойти к стене и грохнуть по ней кулаком, но он лишь сжал челюсти, тихо встал и начал рассматривать фигурки, но все равно глаза его упрямо поворачивались в сторону горланивших хозяев. «Нет, это ни на что не похоже. Следует немедленно подыскать другую квартиру»,— подумал он и услышал голос Ленина, не то читавшего, не то думавшего вслух:

— ...Самодержавно-капиталистический строй можно только уничтожить, дочиста и раз и навсегда. А уничтожить его без революционного действия, без революционного натиска сознательных миллионных масс революционного пролетариата, всего народа, без великого и величайшего массового революционного героизма и умения «штурмовать небо», как говорил Маркс о парижских коммунарах, нельзя, невозможно ни при каких, на вид самых выгодных и самых подходящих, условиях... Вы согласны, Илья Гаврилович? С Марксом, разумеется. Именно штурмовать!..— положил он исписанный листок на стол.

Чургин понял: Ленин читал статью и рассуждал вслух. И он ответил:

— Вполне согласен, Владимир Ильич. С Марксом — вообще, с вами — в особенности. У вас получается более, я бы сказал...— Он запнулся, посмотрев на Ленина из-за безделушки, и увидел, как тот недобро прищурился.

— Что у меня получается, по-вашему?

— Не буду продолжать, вижу, что попадет непременно.

— Гм, гм,— произнес Ленин и прошелся по комнате и сказал: — Хочу посоветовать вам, Илья Гаврилович, по-дружески: никогда больше не думайте о том, о чем вы подумали и хотели сказать. Я такой же рядовой марксист, как и вы, и смею вас уверить, что, к великому сожалению, ничего, решительно ничего нового еще не придумал, а лишь неизменно повторял и буду повторять то, что говорил Маркс.

Чургин кивнул и виновато произнес:

— Понимаю, Владимир Ильич. Не подумал, значит.

— Вот именно.

В это время в соседней комнате послышалась какая-то милая задушевная песенка. Ленин на носках подошел к стене, за которой пели, прислушался и поманил Чургина.

Чургин тоже на носках подошел к стене, но все равно и от этих его шагов полы так жалобно заскрипели, что Ленин покачал головой.

— Хорошая, по всей вероятности, песенка,— прошептал он.— Я плохо знаю язык, но чувствую, что о лесе поют.— И спросил неожиданно: — А вы не поете? У вас должен быть бас-профундо. Когда слушаешь Шаляпина, «Есть на Волге утес» например, за душу берет. Силища! И не какая-нибудь, а именно нашенская, русская, заметьте. Вся матушка Русь в этой песне. Когда-то мы теперь услышим свои песни? — задумался он и заключил грустно: — По всей видимости, не скоро...

Чургин понял: Ленин готовится к отъезду, а уезжать не хочется. И подумал: «А быть может, устроить его где-нибудь в глубине Финляндии?» Но не сказал об этом, а как можно веселее ответил:

— Я четырнадцати лет под землю полез, Владимир Ильич. Так что некогда было петь. А теперь начинать поздновато.

Ленин увел его от стены и медленно повторил:

— С четырнадцати лет... Под землей... Какое варварское, каннибальское отношение к человеку! — негромко воскликнул он и участливо пожал Чургину руку повыше локтя.— Ну ничего, Илья Гаврилович, не так далек час, когда их песенка будет спета, тех, кто послал вас так рано под землю вместо того, чтобы дать вам возможность хорошенько научиться ходить по земле... Одну минуту, кто-то звонит, и, кажется, ко мне,— забеспокоился он и вышел из комнаты.

Чургин медленно ходил по комнатке и думал: Надежда Константиновна говорила, что Петербургский комитет настаивает на отъезде Ленина за границу. Видимо, это лучшее, что можно сделать, чтобы не попасть в руки жандармов. Власти уже подобрались почти к Оглльбю, и провал может наступить в любое время.

И Чургин пожалел, что сейчас не было Луки Матвеича. «Надо вызвать его. И я предложу свои услуги. Со мной-то будет безопаснее»,— рассуждал он.

Дверь тихонько скрипнула, и вошел Ленин.

— Не ко мне. Я было обрадовался, но...— развел он руками и, взяв висевший на стуле пиджак, набросил его на плечи и продолжал: — Оказывается, и вам не мешает этот бедлам, думали, по всей вероятности, о чем-то интересном, а? — Подойдя к столу, он вновь взял ручку, записал что-то,

прочитал тихо, как бы про себя, пощипал бородку и бодро заключил: — Вот теперь все стало ясно предельно. То-то истерику поднимут наши меки... Ну-с, а теперь рассказывайте, как там мои — Надя, милая Елизавета Васильевна. Она должна была лечь в больницу. Не слышали, не легла?

— Кажется, нет. Надежда Константиновна не говорила.

Ленин задумался, медленно расхаживая по комнате.

Чургин сидел, расставив ноги, обутые в добрые сапоги с подковками на каблуках, и косил глаза то на смежную комнату, в которой продолжался пир горой, то на Ленина, осторожно, на носках, ходившего по дощатым полам, и думал: он, Чургин, не смеет, закинуть ногу на ногу при Ленине, не решается закурить, старается поменьше говорить. Как же те, что были за перегородкой, так развязно и бессовестно галдят и гремят на своем дурацком рояле?

И захотелось Чургину войти к тем людям и чугунным голосом сказать: «Уважаемые! Рядом с вами находится Ленин! Как же вы позволяете себе так орать?!» Но этого нельзя было делать, и тогда он обрушил всю ярость на самого себя: какой же он бестактный и навязчивый до неприличия! Вломился ведь к Ленину, а не к кому другому, и торчит как пень, хорошо зная, что у Ленина каждая минута на счету.

И он решительно встал, оправил форменную куртку и виновато произнес:

— Простите великодушно, Владимир Ильич, что я помешал вам. Вон статья вас ждет, — кивнул он на стол, — вон рукопись, книги с закладками, а я, право, как истукан сижу и попусту занимаю ваше время. Позвольте удалиться.

Ленин улыбнулся и посмотрел на него живыми и немного лукавыми глазами, а потом оглянулся на стол и сказал:

— А у меня всегда так: то статья, то книги, то гранки, то товарищи. Вот статью закончил — и на всех парах надо продолжать брошюру по аграрному вопросу. Такая моя злодейка-судьба, Илья Гаврилович. И, представьте, я не в обиде. Притом это я хотел повидать вас, стало быть, это я помешал вам, если на то пошло. Статью я закончил, и мы можем побеседовать обстоятельно. Не скоро теперь свидимся... Гм, гм. И я подумал: мамы наши с Надей стали совсем старенькие, болеют то и дело... А если придется уехать — как они будут здесь? И Маняша, и Митя? По совести признаться, немного грустно расставаться, не хочется, а придется.

Он умолк, но через минуту поднял глаза, и в них было по-прежнему столько жизни, и энергии, и уверенности, что Чургин улыбнулся и у него самого посветлело на душе.

— Сядемте, Илья Гаврилович, — пригласил Ленин мягким, задушевным голосом. — У меня так редки гости, что я, представьте, стал скучать...

Чургину показалось немного странным: Ленин интересовался жизнью деревни и расспрашивал о видах на урожай, о распределении доходов в крестьянской семье, о ценах на хлеб и о скупщиках, о земстве и о его участии в жизни крестьянских общин и будто не хотел более возвращаться к самому главному: к разговору о предстоящем отъезде за границу.

Ленин действительно не хотел возвращаться к этому, не хотел вовлекать в это предприятие Чургина и мысленно говорил: «Таких людей надо беречь

пуще зеницы ока, ибо они – суть надежда партии и будущее революции. Таким надо быть здесь, под рукой у партии, – это непреложная, железная необходимость. И Луке Матвеичу следует сказать то же, и Дубровинскому, и другим. Все должны быть на своих местах».

Чургин не знал этих его мыслей, а если бы и знал, он все равно сказал бы то, ради чего, собственно, и приехал. И он сказал наконец:

– Вы знаете, Владимир Ильич, что ПК принял решение о необходимости вашего отъезда из России. Я не осведомлен о том, что и как они намерены предпринять, но я приехал специально за тем, чтобы предложить вам свои услуги. Располагайте мной, как вам заблагорассудится.

Ленин улыбнулся, но потом лицо его стало строгим, и он сухо ответил:

– Благодарю вас, товарищ Гаврилов, но я пока никуда не собираюсь уезжать, по крайней мере в ближайшие дни никуда не собираюсь. Так и скажите пекистам: пока в этом крайней необходимости нет.

– И, однако же, я очень прошу вас: располагайте мною во всех отношениях, Владимир Ильич. А ехать... – Чургин подумал, прямо глядя в его порозовевшее, видимо, от неудовольствия лицо, – ехать вам придется, дорогой Владимир Ильич. Непременно придется.

– Вы уверены?

– Да.

Ленин прошелся взад-вперед, потом остановился возле него, подал ему руку и сказал:

– Я все знаю, Илья Гаврилович, просто не хотел еще и вас вовлекать в это архиприскорбное занятие. Если интересы дела потребуют – я человек дисциплинированный. Так и скажите нашим. И, коль судьбе угодно будет, чтобы мы расстались, не забывайте нас с Надей. По всей вероятности, мы остановимся на старом месте, в Женеве, для начала. Условились?

Чургин с готовностью ответил:

– Условились, Владимир Ильич.

– И Луке Матвеичу скажите, чтобы задержался здесь елико возможно. Но если обстоятельства осложнятся и реакция... Вы понимаете меня. Тогда лучше уехать. Ну, давайте пожмем друг другу руки. До скорой встречи, – бодро произнес Ленин.

Он проводил Чургина до двери, а когда тот ушел, помахал рукой и медленно закрыл.

В Петербурге охранка сбилась с ног, ища следы Ленина, наводнила шпиками и жандармами Финляндию, установила слежку за депутатами думы – социал-демократами, норовя сразу убить двух зайцев: уличить их в связи с «государственными преступниками» и схватить Ленина. А за Надеждой Константиновной так следили, что ей стоило больших усилий ускользать от филеров. О встречах ее с Лениным не могло быть и речи. Шпики уже появились в Гельсингфорсе, а до станции Оглбю – рукой подать.

В Оглбю Чургин заметил, что за ним наблюдает крайне подозрительная личность, и поехал не в Куоккалу, а в Гельсингфорс, намереваясь оттуда следующим поездом уехать в Куоккалу. Но шпик не отставал. И тогда Чургин взял извозчика и покатил в город. Но вскоре спрыгнул с саней и пошел куда глаза глядят... И простудился...

...Чургин пропал. Ольга ждала его в Куоккале, побывала в Огльбю и вернулась ни с чем, но зато узнала, что никаких особенных происшествий не случалось. И она поехала в Петербург, на Загородный, но и здесь ничего не узнала. «Неужели арестовали? Или уехал домой? Но этого не может быть... Ох, я сойду с ума», — тревожилась она все больше и не могла придумать, что делать. И рискнула: взяла извозчика и поехала по гостиницам, но Гаврилова нигде не было. И Ольга сообразила: остановился под какой-нибудь вымышленной фамилией, и стала называть портье приметы: высокий инженер, другого такого во всей столице не сыщешь. И наконец, спустя несколько часов, вошла в незапертый номер одной из гостиниц, возле Николаевского вокзала.

Там она увидела такую картину: на белоснежной кровати, под верблюжьим одеялом, свесив ноги, спал богатырским сном Чургин и легонько похрапывал, а на столике с изогнутыми ножками увидела пустую бутылку из-под коньяка, пузатый семейный самовар и горку порошков.

И Ольга вздохнула с великим облегчением. Лечится! Но на бутылку все же посмотрела явно непочтительно, а когда сняла крышку с самовара — и вовсе отшатнулась: оттуда шибануло спиртом. Она поправила сползшее одеяло и села на диван, ожидая, когда Чургин проснется, и удивляясь, как это он ничего не слышит.

Это было совсем не так. Чургин не только все слышал, но все видел, что она делала, и наблюдал за ней еле-еле приоткрытым правым глазом. Наконец он вздохнул, а Ольге показалось, будто ухнула петропавловская пушка.

— У-ух! Пропотел-таки, кажется. Блестящая смесь: бутылочка коньяку, один самоварчик чайку и фунт аспирину. Как находишь, милая? — спросил он таким басом, что стоявший в номере рояль отозвался на его голос тоже всеми басами.

Ольга качала головой и не знала, как это понять и что говорить. И она не без страха спросила:

— А если белая горячка хватит? Это же смесь для слонов!

— Отличная смесь, милая. Без оной ты могла бы найти меня в больнице, и в довольно прискорбном виде. Так что ты пока почитай правительственную печать, а я приведу себя в надлежащую форму, и ты убедишься, что самовар — тоже хороший доктор.

Ольга взяла газеты. Не нравилось ей что-то в этом шутливом тоне Чургина. И когда он побрился и оделся, она сказала:

— Что-то не верится, чтобы у вас на душе было так хорошо, как вы изображаете. Почему вы не вернулись в Куоккалу? Ведь вы знали, что мы вас ждем.

Чургин рассказал о своих приключениях, и Ольга помрачнела.

— А если шпики выследят Владимира Ильича?

Чургин взглянул на дверь, причесал волосы и, спрятав расческу, ответил сначала уклончиво:

— В общем, пока все обошлось хорошо. — Потом добавил: — Собственно, не очень хорошо. — Потом еще добавил: — И даже безобразно плохо. — И наконец заключил: — Я повесил бы того провокатора, который придумал устроить Ленина на такой квартире, в таком месте, на виду у всех

жандармов. Это – преступление. Сведи меня на явку в ПК, ЦК, куда хочешь, но поскорее. Владимиру Ильичу следует немедленно уходить из Оглыбю. Или немедленно уезжать за границу.

В ПК Чургин узнал: вчера принято решение о немедленном отъезде Ленина за границу.

Ольга нарядилась в Куоккале финской молочницей, приехала в Оглыбю и, постучав в окно комнатки Ленина условным стуком, передала ему записку ПК. Ленин прочитал ее, подумал немного, опять прочитал и переспросил:

– Гм. Значит, по-вашему, пристало ехать непременно через два-три дня?

– Через два дня, Владимир Ильич, – ответила Ольга.

– М-да, – задумчиво произнес Ленин, потом спрятал записку в кармашник жилета. – Хорошо. Коль ехать, значит, ехать, и быть по сему. Я подожду Надежду Константиновну в Стокгольме. Так и передайте: в Стокгольме. А кто такие будут мои провожатые, позвольте осведомиться, если это не секрет?

– Вас проводят на пароход через залив товарищ Борго и Илья Гаврилович. До свиданья, Владимир Ильич.

Ленин поднял глаза, посмотрел на нее с любопытством, даже на одежду оценивающе глянул и подал руку.

– До свиданья... Да это же вы, товарищ Оля! Очень хорошо законспирировались. А вот клички все еще и нет. Нет же?

– Не придумала, Владимир Ильич.

– Плохо. Надо непременно придумать. Итак, товарищ Ольга... – Он оборвал фразу и вдруг спросил: – А вы там, в ПК, абсолютно уверены в том, что мне надо безотлагательно, без промедления уехать? У меня такое чувство, будто меня отправляют, знаете, в гроб. Как вам кажется?

Ольга не знала, что ответить. Перед ней был Ленин, и она смотрела на него безотрывно, волновалась все сильней и то и дело поправляла свой пуховый серый платок. Наконец она ответила:

– Мне нельзя задерживаться, Владимир Ильич. Если у вас нет ко мне ничего, разрешите уйти.

– Мне больше ничего не нужно, товарищ Оля, и я «разрешаю» вам уйти. Но вот если бы все вы там, в ПК, разрешили мне еще хотя бы с недельку побыть здесь – это было бы замечательно, просто превосходно. Уезжать от своих, из Питера, из России, и, по всей вероятности, надолго, по всей вероятности, вновь на годы... – Он прошелся по комнате, о чем-то думая, и повторил: – Трудно представить даже. Вы все там привыкли говорить о Ленине нелепости и всякую, извините, чертовщину, а он, как видите, обыкновенный человек, и ему до боли не хочется уезжать бог весть куда. Гм, гм... – Он заходил по комнате нетерпеливо, нервно.

Ольгу душили слезы, Ольга не могла говорить от обиды, от злости, от ненависти ко всем, всем, по чьей вине должен был уехать в далекие чужие края этот человек. И у Ольги вся душа кричала: кто сказал, что этому человеку нужно непременно, во что бы то ни стало уезжать в неизвестное, чтобы вновь скитаться там под чужим свинцово-тяжелым небом и с тоской думать о близких, о родных, о земле, вскормившей его, о людях, ради счастья которых он готов был отдать всего себя?!

Ольга подняла голову, глаза ее заблестели от слез.

Ленин подошел к ней, положил руку на плечо, поправил платок ее и сказал мягко:

— Не надо плакать, Оля. Революция не побеждена, она лишь отступила. Тяжелые уроки ее не пропадут даром. Русский народ теперь не тот, что был до пятого года. Пролетариат обучил его борьбе за свободу. В новой революции пролетариат поведет за собой всю массу сельских рабочих и разоренного крестьянства и приведет народ, приведет Россию к победе. Так и только так поставила вопрос история. И верьте мне: так именно и будет. И не может не быть, да-с!

Он обнял ее и проводил до двери, а выпустив на улицу — помахал рукой. Но, вернувшись в комнату, постоял посредине, подошел к столу, тронул бумаги, переложил с места на место книжки и остался стоять, опустив голову и думая о новой, предстоящей ему жизни, о новых, предстоящих испытаниях.

...Уезжать пришлось на день раньше условленного. Борго сообщил: его выследили, и, если он придет провожать, Ленин будет арестован.

«Там вас проводят два финна, из наших. И уезжать следует не из Або, как предполагалось, а с ближайшего острова, где не было русской полиции», — писал Борго.

Ленин подумал, походил по комнате, возле окна постоял, побарабанил пальцем по подоконнику и подумал: «В таком случае ехать сегодня же. Я сам пойду до острова и подожду там парохода».

Когда появился Чургин, Ленин был уже готов к отъезду и ждал вестей от Борго, но от него не было ни слуху ни духу. Тогда Чургин предложил:

— Владимир Ильич, обстоятельства изменились, разрешите мне увезти вас в Швецию под видом, извините, штейгера и моего помощника. У меня есть документы, я приготовил форму...

Ленин недовольно прервал его:

— Покорно благодарю, Илья Гаврилович, но вам ни к чему рисковать, совсем ни к чему. Вы нужды здесь, в России. А мне не привыкать. Заберите книги и рукописи и передайте Наде. Я буду ждать ее в Стокгольме.

Губы Чургина сжались, лицо стало каменным. Не нравился ему план финских товарищей, но где сейчас был автор его, Борго, он не знал. И он сказал, не скрывая своего недовольства:

— Я не знаю, какая это голова разработала такой план, но убежден, что три-четыре версты идти по льду, нóчью, без проводников... Как хотите, Владимир Ильич, но это в высшей степени рискованно. Вы можете попасть в руки ищеек в лучшем случае. В худшем же... Вы понимаете: это же море, а не речка, где до берега — рукой подать, если что. Позвольте только разузнать, где этот злосчастный остров находится.

Ленин строго возразил:

— А вот и не позволю, товарищ Гаврилов, никак не могу позволить. Уезжаю я, один я, а вы остаетесь. Да-с, так диктуют интересы дела... Вот вам мои вещички, и честь имею кланяться.

Он вручил Чургину стопку книг и рукописей, перевязанную шпагатом, и стал прощаться.

— Ну? Договорились? Вижу: недовольны. Но... иначе поступить я не

могу, не имею ни малейшего права. Так что извольте делать то, что я сказал.

Чургин взял книги, пожал его руку и сказал тяжко:

— Я, разумеется, поступлю так, как вы сказали, но я все равно не согласен с вами, Владимир Ильич. Решительно, категорически не согласен. Я полагаю, что это риск — так уезжать.

— Гм, гм, протестуете? А знаете, ничем я не рискую. Это вы в ПК выдумываете, чтобы настращать меня. Не надо меня стращать, товарищ Гаврилов. Я в ведьм и чертей не верю и их не боюсь. Да-с. Итак, до свиданья,— жестко заключил Ленин.

Это было сказано почти с выговором, и Чургин лишь подумал: «Какой же, право, настойчивый и решительный. Эх, нет Луки!»

И Чургин ушел, а когда пришел на станцию и купил билет, увидел своего старого знакомого — шпика, который преследовал его прошлый раз, и в мгновенье решил: «А не уеду — и все тут. Его могут схватить по пути. Вон ее сколько, мрази этой». Чургин предъявил билет, вошел в вагон и вышел на противоположную сторону, а потом исчез в ночи. Жандарм и шпик подошли к тому же вагону, кивнули проводнику и поднялись в тамбур.

...Чургин видел, как из квартиры Ленина вышли двое, потом за ними следом вышел Ленин, в пальто, в шапке, с саквояжем в руке, и сел в сани. Вдруг один из проводников запел, споткнулся и еле-еле сел в сани. Чургина в жар бросило: «Пьяный. Проводники пьяные! Безобразие! — возмущенно подумал он и, поискав взглядом извозчика и не найдя его, крупно зашагал за подводой.— Видимо, мне показалось, не могут они быть пьяные»,— думал он, придерживаясь теневой стороны, чтобы его не заметили, и пристально смотрел по сторонам. Но всюду было безлюдно.

Ночь была звездная, снег искрился на лунном свету и вспыхивал крошечными разноцветными огоньками, дул небольшой ветер. «Куда же они везут его? Мороз крепчает, на море будет большой ветер, и по льду трудно идти. Что это: преступление? Провокация?» — все более волновался Чургин и не знал, что лучше сделать: догнать ли Ленина и вернуть его или продолжать идти следом за ним и быть готовым к неожиданностям?

Ленин принял его за шпика и подумал: «Выследили. Успеть бы до берега... Да, жаль, что я отверг участие Ильи Муромца. Этот со всем департаментом полиции управился бы один». И заторопил подводчика. Тот помахал кнутом, подергал вожжами, и только после этого сани рванулись вперед и вскоре исчезли в ночи.

Наконец приехали к берегу моря. Он был пустынен, здесь дул резкий ветер, сметал снег со льда, и он блестел, как полированный. «Гм. Неважная дорога, оказывается. Ну, да ничего, идти можно»,— подумал Ленин, ступив на лед и пробуя его ногами.

— Суда, господин русски,— позвал его один из проводников и пошел влево от того места, где стоял Ленин, а другой проводник поскользнулся, упал и вдруг залился соловьем, сидя на льду и жестикулируя.

«Пьяные! Как же так?» — возмущался Ленин и готов был повернуть назад. Но более трезвый проводник вновь сказал:

— Суда, господин русски.

Когда Чургин убедился, что проводники были пьяны, он уже ускорил шаги, чтобы догнать Ленина, но в это время заметил: следом за ним шли две темные фигуры. Размышлять было некогда: Чургин свернул в переулок, остановился и опять увидел две фигуры. «Черт возьми, что вам здесь нужно в такой час?» — выругался он и прибавил шагу. Тут ему попался извозчик. Вскочив в сани, он сказал:

— Молнией! — и заюлил по улочкам и переулкам, потом выбрался на простор и велел вознице гнать лошадь.

И опоздал... На берегу никого уже не было.

Чургин ринулся на лед. Послышался легкий треск, и лед будто изогнулся. Тогда Чургин шагнул в сторону, но и здесь лед легонько треснул. «Тонкий. Не для меня», — подумал он и вновь шагнул в сторону, потом вперед, опять в сторону, опять вперед. И вдруг крикнул:

— Эй, люди!.. Лед тонкий! Береги-ись!..

Ленин не видел его и не слышал его голоса, потому что ветер был встречный и относил слова в сторону, но тоже почувствовал: лед тонкий, идти опасно. Он осторожно «проехал» по льду, и вспомнились далекие юношеские годы, Симбирск, Волга зимой и ватага гимназистов, лихо катившая на коньках по неокрепшему льду. А лед еще был молодой, прогибался и трещал, ходил волнами под ногами, но на это не обращали внимания, наоборот, треск и опасность придавали еще больше азарта.

Вот и сейчас ясно чувствовалось: лед не только затрещал и прогнулся, но как бы раскололся и уходит из-под ног. Ленин сделал шаг в сторону, но лед заходил ходуном.

Ленин понял: еще секунда — и разверзнется море. И проводники почувствовали это, подняли пьяный крик и разбежались в стороны, но Ленин не понимал их слов и шел. Неожиданно он качнулся как-то неловко назад и едва не упал в черную пропасть. И вновь вспомнился Чургин: «Эх, как он был прав. Глупо приходится уходить!»

И когда лед треснул так, что сомнений больше не оставалось, что сейчас он проломится и из-под него брызнет вода, Ленин напрягся до последнего мускула, что было силы устремился вперед и покатился точно так, как делал когда-то на Волге. Лед так и заколыхался и затрещал противным стеклянным треском.

— Держите... право!.. — вдруг услышал он отдаленный голос из темноты и подумал, что это кричат отставшие от него проводники. Он вильнул вправо и покатился. Треск прекратился, и лед стал как железный.

Ленин снял шапку, смахнул ею пот со лба и облегченно вздохнул, а в следующую секунду пошел вперед, потом направо, опять вперед...

Лед больше не трещал и не прогибался...

А Чургин бежал в сотне шагов от него и все кричал:

— Держи-и право!.. — И сам вилял туда-сюда, но лед был слишком тонким для такой глыбы.

И вдруг проломился. Булькнула вода, Чургин успел выхватить из нее ногу, но через секунду провалилась другая. «Шалишь, брат. Мы — шахтеры. Сейчас уменьшим давление во столько раз, во сколько площадь нашего бренного тела больше площади подошвы сапога», — мысленно сказал он, будто был у классной доски, и лег на лед.

— Право-о, Владимир Ильич! — кричал он и полз вперед, за силуэтами, переставляя с места на место стопку книг. И силуэты растаяли в ночи.

Чургин напрягал слух, зрение, но ничего не слышал и не видел. «Прошли, бог дал. Если бы случилось что — были бы крики», — решил он, но какая-то сила все равно двигала его вперед.

И лишь тут он вспомнил: да ведь на каблуках сапог были подковки. Он согнул правую ногу, оперся о лед краем острой, как бритва, подковки и оттолкнулся. Потом то же сделал левой ногой, потом еще раз правой и так, двигая ногами, как лягушка, пополз. Полз и все время кулаком пробовал лед: «Тонкий. Еще правее». Наконец, ударив кулаком и не услышав треска, он встал и быстро-быстро, пригнувшись, будто в шахте, побежал.

Лед все же затрещал раскатисто, как дробь о стекло, но выдержал, а вскоре зазвенел под ногами, как мерзлая земля.

Когда Чургин встал во весь рост и посмотрел в заснеженную ночную даль — ни проводников, ни Ленина уже не было видно. Но зато невдалеке виднелись два парохода, освещенные красноватыми огнями. Первый густо дымил и шел впереди, на некотором расстоянии от второго.

— Ледокол. Ведет пароход к острову. Значит, успеют, — промолвил Чургин. Окоченевшими руками он достал измятые папиросы, выбрал целую и закурил с величайшим наслаждением.

И вдруг с берега донеслось:

— ...свидания-я... Гаврилович! Скорого свидания!

— Перешел, — с великим облегчением произнес Чургин и, глубже надвинув на лоб фуражку и набросив на голову башлык, пошел в студеную ночь.

Возвратился он тем же путем, без особых приключений, но два раза все-таки проваливался то правой, то левой ногой. Добравшись до берега, он снял сапоги, вылил из них воду и только тогда почувствовал озноб.

В Петербург он приехал поздно вечером и направился на старую квартиру Лениных, на Забалканской.

Надежда Константиновна ходила из угла в угол, набросив на плечи серый пуховый платок, и все время зябко вздрагивала, а Ольга стояла у окна, теребила занавеску и прислушивалась к малейшему шороху во дворе. Оттого она первой и услышала шаги Чургина и открыла дверь, не дожидаясь условного звонка. Она посмотрела в лицо ему беспокойными глазами, увидела, что он улыбался, опрометью бросилась в маленькую комнату в конце коридора.

— Илья Гаврилович прибыл!

Надежда Константиновна как остановилась в дальнем углу, так там и осталась, воспаленными глазами молча смотря на дверь.

Чургин не вошел, а втиснулся боком в узкую половинку двери, стащил с головы фуражку и башлык разом и услышал тихий, нетерпеливый голос:

— Да говорите же, наконец!

— Все благополучно... Перешел. Вот книги... — ответил он, стараясь говорить так, чтобы не стучали зубы, и отдал стопку книг.

Надежда Константиновна положила их на стол, тыльной стороной ладони вытерла лоб, немного помолчала и устало сказала:

— Спасибо, Илья Гаврилович...— И, подняв глаза, посмотрела на него более пристально: — Да вы больны! Почернели совершенно.

Ольга приложила руку к его лбу и отняла ее.

— Жар!

— Пустяки, милая,— успокоил ее Чургин.— Разрешите мне удалиться... Немедленно. Честь имею...

Ольга схватила шубку и рванулась за ним, но Надежда Константиновна остановила ее, набросила на нее свой пуховый платок и сказала:

— Декабрь ведь, Оля...

И улыбнулась хорошо-хорошо.

1963

СОДЕРЖАНИЕ

КНИГА ТРЕТЬЯ

Соколов М. Д.

С59 Искры. Роман. Кн. 3-я. М., «Худож. лит.», 1978.

387 с.

Третья книга романа М. Соколова «Искры» (1–2 кн. вышли в 1977 г.) посвящена общественно-политической жизни России в первые годы после революции 1905 года и продолжает повествование о судьбах лучших людей революционной России, связавших свою жизнь с судьбой народной, с великими идеалами свободы и человеческого счастья.

Значительное место в романе занимает образ В. И. Ленина.

С $\frac{70302\text{-}202}{028(01)\text{-}78}$ 106-78 **Р2**

Михаил Дмитриевич
Соколов

ИСКРЫ

РОМАН
Книга третья

•

Редактор
Н. Новикова
Художественный редактор
Ю. Боярский
Технический редактор
Е. Полонская
Корректор
В. Влазнева

•

ИБ № 885

Сдано в набор 28.07.77. Подписано к печати 15.02.78. А00919. Формат 60×$\times 90^1/_{16}$. Бумага типографская № 1. Гарнитура «Таймс». Печать высокая. 24,5 усл. печ. л. 32,068 уч.-изд. л. Тираж 100 000 экз. Заказ № 1409. Цена 2 р. 30 к.

Издательство «Художественная литература» Москва, Б-78, Ново-Басманная, 19

Ордена Октябрьской Революции, ордена Трудового Красного Знамени Ленинградское производственно-техническое объединение «Печатный Двор» имени А. М. Горького Союзполиграфпрома при Государственном комитете Совета Министров СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 197136, Ленинград, П-136, Гатчинская ул., 26.

2р. 30к.


МИХАИЛ СОКОЛОВ • ИСКРЫ